

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Г-н де Шарлюс в светском обществе. — Врач. — Характерные черты г-жи де Вогубер. — Г-жа д'Арпажон, фонтан Юбера Робера и смешливость Великого князя Владимира. — Г-жа д'Амонкур де Ситри, г-жа де Сент-Эверт и т. д. — Любопытный разговор между Сваном и принцем Германтским. — Альбертина у телефона. — Визиты перед моей второй и последней поездкой в Бальбек. — Прибытие в Бальбек. — Перебои чувства

Так как я не торопился попасть на вечер к Германтам, не будучи уверен, что я приглашен, то, ничем не занятый, оставался на улице; но и летний день, так же как и я, казалось, не спешил двинуться с места. Хотя уже было больше девяти часов, он все же еще придавал Луксорскому обелиску на площади Согласия сходство с розовой нугой. Затем он изменил его окраску и превратил его в нечто металлическое, так что обелиск не только стал более драгоценным, но как будто сделался тоньше и чуть ли не приобрел гибкость. В голову приходила мысль, что эту драгоценность можно было бы погнуть, что, может быть, ее уже даже слегка искривили. Луна стояла в небе точно ломтик апельсина, тщательно отрезанный, но уже надкушенный. Однако позже ей суждено было оказаться вычеканенной из самого прочного золота. Прижавшись к ней сзади, маленькая бедная звездочка должна была служить единственной спутницей одинокой луны, которая между тем, охраняя свою подругу, но обнаруживая большую смелость и продвигаясь вперед, должна была поднять, словно неотразимое оружие, словно восточный символ, свой широкий и великолепный золотой серп.

Перед особняком герцогини Германтской я встретился с герцогом де Шательро; я уже не помнил, что полчаса тому назад меня еще терзало опасение, — которое, впрочем, вскоре должно было снова овладеть мною, — будто я иду на вечер, не получив приглашения. Мы беспокоимся, — и нередко лишь спустя много времени после момента опасности, о котором мы забыли, потому что отвлеклись, мы вспоминаем о нашем беспокойстве. Я поздоровался с молодым герцогом и вошел в дом.

Но здесь я сперва должен отметить незначительное обстоятельство, позволяющее понять один факт, о котором вскоре будет речь.

Был человек, который в тот вечер, так же как и в предыдущие вечера, много думал о герцоге де Шательро, не подозревая, впрочем, кто он; это был стоявший в передней лакей г-жи де Германт (в ту пору их называли «крикунами»). Г-н де Шательро, весьма далекий от того, чтобы находиться в числе близких друзей герцогини, — так как он был один из ее кузенов, — первый раз появлялся в ее салоне. Его родители, десять лет пребывавшие с нею в ссоре, помирились с ней две недели тому назад и, вынужденные в этот вечер уехать из Парижа, поручили сыну роль своего представителя. Между тем, несколько дней тому назад лакей герцогини повстречал на Елисейских Полях молодого человека, которого нашел очаровательным, но личность которого не мог установить. Не потому, чтобы любезность молодого человека уступала его щедрости. Все те милости, которые лакей считал себя обязанным оказать столь юному господину, были, напротив, оказаны ему самому. Но г-н де Шательро был столь же труслив, сколь неосторожен; он тем более был намерен не открывать своего инкогнито, что не знал, с кем имеет дело; он испытал бы страх гораздо больший, хотя и мало обоснованный, если бы он это знал. Он ограничился тем, что выдал себя за англичанина, а на все страстные вопросы лакея, жаждущего встретить вновь человека, которому он был обязан таким удовольствием и который проявил такую щедрость, только и твердил все время, пока они шли по бульвару Габриэль: «I do not speak french».

Хотя, несмотря ни на что — и имея в виду предков своей кузины по материнской линии, — герцог Германтский делал вид, будто в салоне принцессы Германтской-Баварской он находит нечто идущее от Курвуазье, — об изобретательности и умственном превосходстве этой дамы все судили вообще по одному нововведению, которого в этом кругу нигде больше не встречали. После обеда, как бы важен ни был раут, который должен был затем последовать, стулья оказывались расположенными таким образом, что гости рассаживались небольшими группами, которые в случае необходимости поворачивались друг к другу спиной. Тут принцесса проявляла свои общественные наклонности, садясь в одной из этих групп как бы из предпочтения к ней. Она, впрочем, не боялась удостоить выбора и привлечь к себе члена другой такой группы. Если, например, ей случалось обратить внимание г-на Детай, разумеется, соглашавшегося с нею, — на то, какая красивая шея у г-жи де Вильмюр, которая, сидя в другом кружке, видна была только со спины, — принцесса не колебалась сказать вслух: «Госпожа де Вильмюр, господин Детай, будучи великим художником, как раз любит вашу шею». Г-жа де Вильмюр чувствовала в этом приглашение принять участие в разговоре; с ловкостью, которую дает привычка к верховой езде, она медленно поворачивала свой стул, описывая дугу в три четверти окружности, и, насколько было ей безпечна своих соседей, оказывалась почти что прямо против самой принцессы. «Вы не знакомы с господином Детай?» — спрашивала хозяйка дома, которая еще не довольствовалась ловким и полным целомудрия поворотом, проделанным ее гостьей. — «Я с ним незнакома, но я знакома с его произведениями», — отвечала г-жа де Вильмюр любезным и почтительным тоном, а принцесса с той естественностью, которая во многих возбуждала зависть, обращалась, еле заметно наклоняя голову, к знаменитому художнику, ибо реплика, относившаяся к нему, еще не успевала положить формальное начало знакомству: «Пойдемте, господин Детай, я представлю вас госпоже де Вильмюр». Тогда последняя проявляла такую же изобретательность, чтобы найти место для автора «Сна», какую она только что выказала, чтобы повернуться к нему. А принцесса уже придвигала стул и для себя; на самом же деле к г-же де Вильмюр она обратилась только затем, чтобы иметь повод покинуть предшествующую группу гостей, в которой она провела положенные десять минут, и удостоить следующую столь же длительного пребывания. В три четверти часа все группы успевали получить ее визит, который, казалось, определялся лишь внезапным наитием и вкусами хозяйки, но главным образом имел целью подчеркнуть, с какой естественностью «важная дама умеет принимать». Но сейчас гости, приглашенные на вечер, еще только начинали съезжаться, и хозяйка дома сидела недалеко от входа, — прямая и горделивая в своем почти королевском величии, с глазами, сверкающими своим собственным блеском, — между двумя некрасивыми высочествами и женой испанского посла.

Я стоял, ожидая своей очереди, стоял позади нескольких гостей, приехавших раньше меня. Прямо перед собой я видел принцессу, красота которой, наверно, — не единственное, что заставляет меня вспоминать об этом вечере, где было столько красавиц. Но лицо хозяйки дома было так совершенно, оно было вычеканено словно медаль, столь прекрасная, что сохранила для меня свою способность доминировать. Принцесса имела обыкновение говорить приглашенным, встречая их за несколько дней до одного из своих вечеров: «Вы приедете, не правда ли?» — как будто у нее было сильное желание побеседовать с ними. Но так как, напротив, ей не о чем было с ними

говорить, она, едва только они представали перед ней, ограничивалась тем, что не поднимаясь с места, прерывала на миг свой пустой разговор с обоими высочествами и женой посла и благодарила, говоря: «это мило, что вы приехали», — не потому, чтобы она считала, что гость, приехав, проявил этим свою любезность, а только для того, чтобы в большей мере проявить свою; затем, тотчас же отбрасывая его прочь, она прибавляла: «Господина де Германта вы встретите у двери в сад», так что гость отправлялся здороваться с ним и оставлял ее в покое. Некоторым она даже ничего не говорила, довольствуясь тем, что показывала им свои чудесные агатовые глаза, как будто гости приехали всего лишь на выставку драгоценных камней.

Человек, который должен был войти передо мной, был герцог де Шательро.

Вынужденный отвечать на все улыбки, отвечать всем тем, кто жестом руки приветствовал его из гостиных, он не заметил лакея. Но тот с первого же мига его узнал. Через какое-нибудь мгновение ему предстояло услышать это имя, которое ему так хотелось узнать. Спрашивая своего «англичанина», встреченного третьего дня, лакей не только был взволнован, он считал себя нескромным, неделикатным. Ему казалось, что он перед всем светом (впрочем, ничего не подозревавшим) разоблачит тайну, которую преступно было перехватывать таким путем и выставлять напоказ. Слыша ответ гостя: «Герцог де Шательро», — он исполнился такой гордости, что на миг онемел. Герцог взглянул на него, узнал, решил, что погиб, а между тем слуга, уже пришедший в себя и достаточно знавший геральдику, чтобы от себя дополнить слишком скромное наименование, орал с профессиональной энергией, которую смягчала интимная нежность: «Его высочество господин герцог де Шательро!» Но теперь пора было докладывать обо мне. Погруженный в созерцание хозяйки дома, еще не заметившей меня, я не подумал о страшных для меня, — хотя и по-иному, чем для герцога де Шательро, — обязанностях этого лакея, одетого в черное, словно палач, окруженного отрядом слуг в ливреях самых радостных цветов, сильных парней, готовых схватить незваного гостя и выставить его за дверь. Лакей спросил у меня мою фамилию, я сказал ее с той же машинальностью, с какой приговоренный к смерти дает привязать себя к плахе. Он тотчас же величественно поднял голову и, прежде чем я смог попросить его доложить обо мне вполголоса, чтобы пощадить мое самолюбие в случае, если я не приглашен, и самолюбие принцессы Германтской в случае, если я приглашен, он прокричал эти тревожащие слоги с силой, способной поколебать своды дома.

Знаменитый Гексли (тот, чей племянник занимает сейчас господствующее положение в области английской литературы) рассказывает, что одна из его пациенток больше не решалась ездить в свет оттого, что часто в том самом кресле, куда ее приглашали сестра, любезно указывая на него, она видела старого господина, уже успевшего усесться. Она была вполне уверена, что или приглашающий жест или присутствие старого господина являются галлюцинацией, ибо ей не указали бы таким образом на уже занятое кресло. И когда Гексли, чтобы вылечить ее, заставил ее снова выезжать, она одно мгновение мучительно колебалась, спрашивая себя, является ли чем-то реальным любезный жест, обращенный к ней, или же, повинувшись видению, не существующему в действительности, она при публике сядет на колени какому-то господину, состоящему из плоти и костей. Ее краткая нерешительность была ужасна. Быть может, в меньшей мере, чем моя. После того как я услышал громовые раскаты моего имени, подобные шуму, предвещающему возможный катаклизм, я, чтобы доказать свою чистоту, должен был, словно меня не терзали никакие сомнения, с решительным видом двинуться в сторону принцессы.

Она заметила меня, когда до нее мне оставалось всего лишь несколько шагов, и, уже не оставляя во мне места для сомнений, что я стал жертвой чьих-то козней, вместо того чтобы продолжать сидеть, как она делала, здороваясь с другими гостями, поднялась с места, пошла мне навстречу. Секунду спустя я мог облегченно вздохнуть, как пациентка Гексли, — в тот момент, когда, решившись сестра в кресло, она нашла его незанятым и поняла, что галлюцинацией был старый господин. Принцесса с улыбкой протянула мне руку. Несколько мгновений она продолжала стоять с той своеобразной грацией, которой полна строфа Малерба, кончающаяся таким стихом:

И ангелы встают, чтобы воздать им честь.

Она извинилась, что герцогиня еще не приехала, как будто мне должно было быть скучно без нее. Чтобы таким образом поздороваться со мной, она, держа меня за руку, проделала вокруг меня какое-то полное изящества вращательное движение, вихрем которого, как я это чувствовал, я был увлечен. В ту минуту я даже почти ожидал, что она, словно корифей котильона, вручит мне трость с набалдашником из слоновой кости или часы на браслете. Она, по правде сказать, ничего такого не дала мне, и, как будто вместо того, чтобы танцевать бостон, она скорее слушала какой-нибудь святейший квартет Бетховена, божественные звуки которого боялась заглушить, она на этом и прервала разговор, вернее — не продолжила его, и, все еще сияя радостью, которую вызвало в ней мое появление, сообщила мне только то место, где находился принц.

Я отошел от нее и больше уже не решался к ней приблизиться, чувствуя, что ей совершенно нечего было мне сказать и что, при своей бесконечной доброжелательности, эта женщина, поразительно высокая и красивая, полная того благородства, которым обладало столько знатных дам, гордо поднимавшихся на эшафот, смогла бы, поскольку она не решалась предложить мне мелиссовой воды, только повторять сказанное мне уже дважды: «Принца вы найдете у двери в сад». А идти к принцу — это значило почувствовать, как снова возрождаются мои сомнения.

Во всяком случае пора было отыскать кого-нибудь, кто представил бы меня. Заглушая все разговоры, до меня доносилась неиссякающая болтовня г-на де Шарлюса, беседовавшего с герцогом Сидониа, с которым он только что познакомился. Люди одинаковой профессии угадывают ее друг в друге, а люди, страдающие одинаковым пороком, — тоже. Г-н де Шарлюс и г-н де Сидониа тотчас же почуяли друг в друге общий обоим недостаток, заключавшийся в том, что оба они в обществе оказывались монологистами, — настолько, что и малейший перерыв был для них невыносим. Сразу рассудив, что зло непоправимо, как сказано в одном знаменитом сонете, они приняли решение — не замолчать, а говорить, не обращая внимания на то, что скажет другой. Это и создало тот смутный шум, который в комедиях Мольера производят несколько персонажей, говорящих в одно и то же время разные вещи. Впрочем, барон с его оглушительным голосом был уверен, что одержит верх, заглушит слабый голос г-на де Сидониа, не лишая его, однако, бодрости, ибо когда г-н де Шарлюс на миг переводил дыхание, пауза заполнялась бормотанием испанского гранда, который невозмутимо продолжал свою речь. Я мог бы попросить г-на де Шарлюса представить меня принцу Германтскому, но я (имея на то слишком веские основания) опасался, что он на меня зол. По отношению к нему я поступил самым неблагоприятным образом, вторично отвергнув его предложения и не подавая ему признаков жизни с того самого вечера, когда он с такой сердечностью проводил меня домой. А между тем мне отнюдь не могло служить извинением то, что я предугадывал сцену, которая как раз сегодня на моих глазах произошла между ним и Жюльеном. Я и не подозревал ничего подобного. Правда, незадолго до этого, когда мои родители ставили мне в упрек мою лень и то, что я еще не

отрудился написать хоть несколько строк г-ну де Шарлюсу, я с запальчивостью упрекнул их в том, что они хотят заставить меня принять бесчестные предложения. Но этот лживый ответ мне был продиктован только гневом и желанием найти фразу, которая могла бы им быть наиболее неприятной. На самом же деле в предложениях барона я не угадывал ничего ни похотливого, ни даже чувственного. Я сказал это моим родителям как совершенно безумную выдумку. Но иногда будущее живет в нас неведомо для нас самих, и в наших словах, казалось бы лживых, выступают очертания близящейся действительности.

Г-н де Шарлюс простил бы мне, наверно, отсутствие признательности. Но его в ярость приводило то, что мое присутствие сегодня вечером у принцессы Германтской, так же как с некоторых пор у его кузины, казалось насмешкой над его торжественным заявлением: «В эти гостинные попадают только через меня». Серьезная ошибка, неискупимое, быть может, преступление — я не пошел по этому иерархическому пути. Г-н де Шарлюс знал, что громы, которые он метал против тех, кто не подчинялся его приказаниям или заслужил его ненависть, начинали в глазах многих людей, какую бы ярость в нем это ни вызывало, представляться громами картонными и уже не имели силы прогнать кого бы то ни было откуда бы то ни было. Но, быть может, он думал, что его ослабевшая власть, еще немалая, остается невредимой во мнении новичков, подобных мне. Потому-то я и счел не очень уместным просить его об услуге на этом празднестве, где одно мое присутствие казалось ироническим опровержением его притязаний.

В эту минуту меня остановил человек довольно вульгарный, профессор Э... Он был удивлен, что встретил меня у Германтов. Я не меньше удивился, встретив его здесь, ибо никогда до сих пор, да также и впоследствии, у принцессы нельзя было встретить подобное лицо. Он совсем недавно вылечил принца, которого уже соборовали, от гнойного воспаления легких, и совершенно исключительная благодарность, которую чувствовала к нему г-жа де Германт, была причиной, что на этот раз нарушили традицию и пригласили его. Так как в этих гостиных он не знал решительно никого и не мог же без конца бродить по ним в одиночестве, словно посланник смерти, то, узнав меня, он первый раз в жизни ощутил потребность сказать мне множество всяких вещей, что позволило ему обрести уверенность в себе, и это-то и было одной из причин, по которой он направился ко мне. Была и другая. Он придавал большое значение тому, чтобы никогда не ошибаться в диагнозе. Однако его практика была так обширна, что в тех случаях, когда он только раз видел больного, он не всегда особенно хорошо помнил, пошла ли болезнь по тому пути, который он ей назначил. Читатель, может быть, не забыл, что перед тем, как с бабушкой случился удар, я возил ее к нему, — как раз в тот вечер, когда ему нашивали такое множество орденов. За время, прошедшее с тех пор, он уже забыл о траурном уведомлении, посланном ему тогда. «Ведь ваша бабушка умерла, не правда ли? — сказал он мне голосом, в котором мнимая уверенность старалась побороть легкое опасение. — Ах! Действительно! Впрочем, мой прогноз с первой же минуты, как только я ее увидел, был совершенно безнадежен, я прекрасно помню».

Так профессор Э... узнал или вспомнил о смерти моей бабушки, и к чести его, которую он разделяет со всем медицинским сословием вообще, я должен сказать, что он при этом не проявил, а может быть и не почувствовал, удовлетворения. Ошибки врачей бесчисленны. Обычно они грешат оптимизмом, поскольку дело касается прописываемого режима, и пессимизмом — поскольку оно касается развязки. «Вино? В умеренном количестве оно не может повредить вам, в сущности оно укрепляет... Жить половой жизнью? В конце концов, это функция организма. Я разрешаю вам, но не злоупотребляйте ни тем, ни другим, излишество — всегда порок». Какое для больного искушение: вдруг сразу отказаться от этих двух воскресительных средств — от воды и от целомудрия! Зато, если есть что-нибудь в сердце, если у больного белок и т. п. — то это долгая история. Серьезные, однако лишь функциональные, расстройства с легкостью приписываются воображаемому раку. Бесплезно продолжать визиты, которые не в силах устранить неизбежное зло. Если же больной, предоставленный самому себе, сам назначит себе беспощадный режим и затем выздоровеет или хотя бы выживет, то врач, видящий, как тот кланяется ему на улице Оперы, хотя он давно уже считал его похороненным на кладбище Пер-Лашез, усмотрит в этом поклоне наглую насмешку. Сильнее не разгневался бы даже и председатель суда, если б заметил, как под самым его носом и, видимо, без всяких опасений совершает безобидную прогулку какой-нибудь бездельник, которому он два года назад произнес смертный приговор. Вообще врачей (разумеется, дело идет не обо всех врачах, и мы не забываем о некоторых замечательных исключениях) больше сердит, больше раздражает неисполнение их приговора, нежели радует его осуществление. Вот чем объясняется, что профессор Э..., каково бы ни было то умственное удовлетворение, которое он, конечно, испытал, узнав, что не ошибся, все же печальным тоном стал разговаривать со мной о несчастии, постигшем нас. Он не старался сократить разговор, который давал ему точку опоры и оправдывал дальнейшее его пребывание здесь. Он заговорил со мной о сильной жаре, разгневшей в последние дни, и хотя он был человек образованный и мог бы выразиться на правильном французском языке, сказал мне: «Вы не страдаете от этой гипертермии?» Ведь медицина со времен Мольера сделала кое-какие маленькие успехи в своих познаниях, но никаких — в области своего словаря. Мой собеседник прибавил: «Главное — это избегать испарины, которую вызывает такая погода, особенно в гостиных с перегретым воздухом. Когда вы возвращаетесь домой и вам хочется пить, делу можно помочь теплотой» (что, очевидно, означало горячие напитки).

Ввиду тех обстоятельств, при которых умерла моя бабушка, эта тема меня интересовала, и недавно я в книге одного крупного ученого прочитал, что испарина вредна для почек, поскольку через кожу проходит то, чему надлежит выходить в другом месте. Я с огорчением думал о тех знойных днях, когда умерла бабушка, и не далек был от того, чтобы винить их в ее смерти. Доктору Э... я об этом не говорил, но он сам мне сказал: «Эта весьма жаркая погода, когда испарина весьма обильна, имеет то преимущество, что она в такой же мере облегчает работу почек». Медицина не есть точная наука.

Уцепившись за меня, профессор Э... не собирался меня покидать. Но вот я заметил маркиза де Вогубера, который и направо и налево, то и дело отступая на шаг, отвечивал низкие поклоны принцессе Германтской. Г-н де Норпуа недавно познакомил меня с ним, и я надеялся, что найду в нем человека, который сможет представить меня хозяину дома. Размеры этого труда не позволяют мне объяснить здесь, вследствие каких событий своей молодости г-н де Вогубер являлся одним из немногих светских людей (может быть, единственным), находившимся с г-ном де Шарлюсом в таких отношениях, которые в Содоме называют «близкими». Но если наш посол при дворе короля Феодосия имел некоторые общие с бароном недостатки, то это были всего лишь слабые отблески. Бесконечно более мягкую, sentimentalную и глупую форму принимали у него те чередования симпатии и ненависти, через которые барона заставляли проходить стремление очаровать, а затем боязнь, столь же воображаемая — если не вызвать презрение, то выдать себя. Эти чередования, столь смешные благодаря его целомудрию, его «платонизму» (которому он, будучи великим честолюбцем, уже в молодые годы принес в жертву все наслаждения), а в особенности — его умственному ничтожеству, все же были свойственны г-ну де Вогуберу. Но тогда как у г-на де Шарлюса неумеренные похвалы отличались подлинным блеском красноречия и бывали приправлены самыми тонкими, самыми язвительными насмешками, навсегда клеймами свое клеймо на человека, у г-на де Вогубера, напротив, симпатия выражалась с банальностью, свойственной человеку низшего разбора, человеку великосветскому и чиновнику, а упреки (большой частью имевшие

самый жесткий характер, так же как и у барона) были полны недоброжелательства, не знавшего усталости, но лишенного также и ума и шокировавшего тем более, что обычно они противоречили суждениям, которые посол высказывал полгода тому назад и которые, быть может, ему вскоре предстояло высказать снова: постоянство в переменах, придававших почти астрономическую поэтичность различным фазам в жизни г-на де Вогубера, хотя, если не считать этого обстоятельства, он менее, чем кто бы то ни было, мог навести на мысль о каком-нибудь светиле.

Приветствие, которым он обменялся со мной, ничем не напоминало того, которым ответил бы г-н де Шарлюс. Не говоря о тысяче ужимок, которые г-н де Вогубер считал подходящими светскому человеку и дипломату, он придавал этому приветствию развязность, резвость, веселость, чтобы, с одной стороны, казаться в восторге от своей жизни, тогда как мысленно он перебирал неудачи своей карьеры, не приносившей повышений, и находился под угрозой отставки, с другой же стороны, чтобы казаться молодым, мужественным, обольстительным, тогда как в зеркале он видел — и даже больше не решался созерцать — морщины, застывшие на лице, которое ему хотелось бы сохранить полным очарования. Не то, чтобы он стремился к действительным победам, одна мысль о которых уже пугала его возможностью всяких толков, скандалов, шантажа. Перейдя от разврата почти инфантильного к абсолютному воздержанию, начало которого относилось к той поре, когда он стал думать об Орсейской набережной и захотел сделать большую карьеру, он напоминал зверя в клетке и бросал во все стороны взгляды, выражавшие страх, вожделение и глупость. Он даже — такова была эта глупость — не соображая, что проходимость его юношеской поры теперь уже не мальчишки, и когда какой-нибудь газетчик выкрикивал ему в лицо «La Presse!», он вздрагивал больше от испуга, чем от желания, считая, что его уже узнали и выследили.

Но за отсутствием наслаждений, принесенных в жертву неблагодарной Орсейской набережной, у г-на де Вогубера — и как раз поэтому ему еще хотелось нравиться — бывали внезапные сердечные порывы. Бог весть, каким множеством писем он надоедал своему ведомству, какие ухищрения личного порядка пускал в ход, как злоупотреблял влиянием г-жи де Вогубер (которую, вследствие ее дородности, знатного происхождения, ее мужественного вида, а главное — ничтожества ее мужа, все считали одаренной замечательными способностями, думая, что в действительности она исполняет обязанности посла), чтобы ввести в состав посольства, без всякой уважительной причины, какого-нибудь молодого человека, не отличающегося никакими достоинствами. Правда, несколько месяцев или несколько лет спустя, стоило ему только вообразить, будто этот незначительный атташе, чуждый и тени злого намерения, проявил холодность к нему, к своему начальству, как он, считая себя жертвой пренебрежения или измены, уже стремился наказать его с таким же истерическим пылом, с каким прежде благодетельствовал ему. Он пускал в ход все средства, чтобы его отозвали, и директор департамента политических сношений каждый день получал такие письма: «Чего же вы ждете, чтоб избавить меня от этого проходимца! Помуштруйте его для его пользы. Что ему нужно — так это посидеть на голодной пище!» Вот почему должность атташе при короле Феодосии была малопривлекательной. Но во всем остальном, благодаря безукоризненному здравому смыслу светского человека, г-н де Вогубер являлся одним из лучших представителей французского правительства за границей. Когда впоследствии его сменил человек, считавшийся выше его по способностям, якобинец, сведущий во всем, между Францией и страной, где правил король, не замедлила вспыхнуть война.

Г-н де Вогубер, так же как и г-н де Шарлюс, не любил здороваться первым. И тот и другой предпочитали «отвечать», всегда опасаясь сплетен, которые тот, кому иначе они подали бы руку, мог слышать на их счет с тех пор, как они не виделись с ним. Что касается меня, то г-ну де Вогуберу не пришлось ставить себе этот вопрос, — я в самом деле первый поклонился ему, хотя бы уже ввиду разницы возраста. Он ответил мне с видом изумленным и восхищенным, а глаза его продолжали бегать, словно по обеим сторонам его росла люцерна, которую ему нельзя было щипать. Я подумал, что следовало бы попросить его представить меня г-же де Вогубер, прежде чем просить о представлении принцу, и собирался заговорить с ним об этом лишь потом. Мысль, что он познакомит меня со своей женой, как будто наполнила его радостью и за себя и за нее, и он решительным шагом направился со мной к маркизе. Подойдя к ней и указывая на меня глазами и жестом руки, всячески выражая мне свое уважение, он тем не менее остался нем и через несколько секунд с суетливым видом удалился, оставив меня наедине со своей женой. Она сейчас же протянула мне руку, не зная, однако, к кому относится ее любезность, ибо я понял, что г-н де Вогубер забыл, как меня зовут, может быть даже не узнал меня и, не пожелав, из вежливости, признаться мне в этом, превратил акт презентации просто в пантомиму. Итак я ничего не добился, ибо как же достичь того, чтобы хозяину дома меня представила женщина, не знающая моего имени? К тому же я оказался вынужденным побеседовать несколько минут с г-жой де Вогубер. А это мне было неприятно с двух точек зрения. Я не собирался застревать до бесконечности на этом празднестве, так как условился с Альбертиной (я подарил ей ложу на «Федру»), что она приедет ко мне незадолго до полуночи. Конечно, я несколько не был влюблен в нее, приглашая ее на нынешний вечер, я повиновался исключительно чувственному влечению, хотя стояла та знойная пора года, когда освобожденная чувственность охотнее обращается к органам вкуса, — главное ищет прохлады. Больше, чем поцелуя девушки, она жаждет оранжада или купанья, созерцает даже эту сочную, очищенную от шелухи луну, что утоляет жажду неба. Но все же вблизи Альбертины, напоминавшей мне к тому же и прохладу ванны, я рассчитывал избавиться от сожалений, которые непременно оставили бы во мне прелестные женские лица (ибо вечер, который давала принцесса, был в такой же мере вечером девушек, как и вечером дам. С другой же стороны, в лице г-жи де Вогубер, бурбонообразном и угрюмом, не было ничего привлекательного).

На службе у г-на де Вогубера, без всякой задней мысли, говорили, что в домашнем быту юбку подобало бы надевать ему, а штаны — жене, державшей мужа под башмаком. И в этих словах заключалось больше правды, чем можно было думать. Г-жа де Вогубер была мужчиной. Всегда ли она была такая или стала тем, чем я ее увидел, — безразлично, ибо и в том и в другом случае мы имеем дело с одним из самых трогательных чудес природы, которые, особенно во втором случае, заставляют человеческое царство походить на царство растительное. В соответствии с первым предположением, — в случае, если будущая г-жа де Вогубер всегда была столь же громоздко-мужеподобной, — природа, прибегая к дьявольской и благотворной хитрости, дала девушке обманчивый образ мужчины. И юноша, который не любит женщин и хочет выলেখиться, с радостью открывает возможность найти невесту, напоминающую ему грузчика с рынка. В противоположном случае, если первоначально женщина не отличается мужскими свойствами, она мало-помалу, чтобы понравиться мужу, приобретает их, даже бессознательно, в силу того своеобразного миметизма, что позволяет некоторым цветам придавать себе сходство с насекомыми, которых они хотят привлечь. Сожаление о том, что ее не любят, что она не мужчина, придает ей мужественность. Даже выходя за пределы рассматриваемого нами случая, кто не наблюдал, как самые нормальные супруги под конец становятся похожи друг на друга, порою даже взаимно меняются свойствами? Князь Бюлов, старый германский канцлер, женился на итальянке. Со временем на Пинчио стали замечать, сколько итальянской тонкости приобрел германский супруг и сколько немецкой грубости перешло к итальянке. А если до эксцентрической степени выйти за рамки законов, очерченных нами, то всякому известен видный французский дипломат, о происхождении которого напоминает только его имя, одно из самых знаменитых на Востоке. С

возрастающей зрелости, с приближением старости в нем стал сказываться человек Востока, о котором раньше никто и не подозревал, и друзья, глядя на него, жалели об отсутствии фески, необходимой для полноты впечатления.

Если же перейти к нравам, отнюдь неизвестным послу, чей прародительски утолщенный силуэт мы только что вызвали в памяти, то г-жа де Вогубер осуществляла приобретенный или предназначенный ей судьбой тип, бессмертным воплощением которого является принцесса Палатинская, всегда одетая амазонкой и взявшая от своего супруга не только мужественность, воспринявшая недостатки мужчин, которые не любят женщин, и в своих болтливых письмах разоблачая связи, в которых находятся между собой вельможи при дворе Людовика XIV. Одна из причин, еще сильнее подчеркивающих мужественный вид женщин, подобных г-же де Вогубер, заключается в том, что пренебрежение, которое они видят со стороны мужа, стыд, который они от этого испытывают, постепенно помрачают в них все женское. Кончается тем, что они усваивают достоинства и недостатки, которых у мужа нет. По мере того как он становится все более легкомысленным, все более изнеженным, все более нескромным, они как бы становятся лишены очарования копией тех добродетелей, в которых супруг должен был бы упражняться.

Следы стыда, скуки, возмущения кляли тень на правильные черты лица г-жи де Вогубер. Увы, я чувствовал, что она смотрит на меня с интересом и любопытством, — как на одного из тех молодых людей, которые нравились г-ну де Вогуберу и на месте которых ей так хотелось бы быть теперь, когда ее стареющий муж стал предпочитать молодежь. Она смотрела на меня с внимательностью провинциалки, рассматривающей каталог магазина мод и копирующей платье-тал-ер, которое так идет красивой особе, нарисованной там (в действительности повторяющейся на всех страницах, но благодаря различию поз и разнообразию туалетов превращенной в обманчивое множество различных существ). Животное влечение, толкавшее ко мне г-жу де Вогубер, было столь сильно, что она, собираясь пойти выпить стакан оранжада, даже схватила меня за руку, чтобы я проводил ее. Но я высвободился, сославшись на то, что мне скоро надо уезжать, а я еще не представился хозяину дома.

Расстояние, отделявшее меня от входа в сад, где он беседовал с несколькими гостями, было не очень велико. Но оно пугало меня больше, чем если бы я должен был, чтобы пройти его, подвергнуться непрерывному обстрелу. Многие из женщин, которые, как мне казалось, могли бы представить меня, находились в саду, где не знали, собственно, что делать, хотя и прикидывались, будто восхищены до экзальтации. Подобные празднества обычно бывают рассчитаны на будущее. Реальность они приобретают только на другой день, когда овладевают вниманием лиц, которые не были приглашены. Когда настоящий писатель, чуждый глупого самолюбия стольких литераторов, читая статью критика, всегда выражавшего ему величайшее восхищение, встречает в ней имена посредственных авторов, но не видит своего имени, у него нет времени задерживаться на том, что могло бы быть для него поводом к удивлению: время нужно ему для его книг. Но светская женщина ничего не делает и, читая в «Фигаро»: «Вчера принц и принцесса Германтские давали большой вечер» и т. д., — она восклицает: «Как! Я три дня тому назад час разговаривала с Мари-Жильбер, и она мне ничего не сказала!» — и ломает себе голову, чтобы понять, чем она могла обидеть Германтов. Что касается празднеств, устраиваемых принцессой, то надо сказать, что удивление приглашенных часто бывало столь же велико, как и удивление тех, кто приглашения не получал. Ибо эти празднества раздражались в тот момент, когда их менее всего ожидали, и оказывались призывом к людям, о которых г-жа де Германт забывала в течение нескольких лет. И почти все светские люди столь незначительны, что каждый из них судит себе подобных лишь в меру их любезности, нежно любит их, если они — приглашенные, питает отвращение к отвергнутым. Что до последних, то если принцесса и в самом деле, хотя бы даже это были ее друзья, часто не доставала их приглашения, то это нередко зависело от ее опасения — рассердить «Паламеда», отлучившего их. Итак, я мог быть уверен, что она не говорила обо мне с г-ном де Шарлюсом, иначе меня не было бы здесь. Теперь он стоял против сада, рядом с германским послом, облокотившись на перила большой лестницы, ведшей в дом, таким образом, что гости, несмотря на трех или четырех поклонниц, окружавших барона и почти закрывавших его, были вынуждены его приветствовать. Он отвечал, называя имена и фамилии. И было слышно одно за другим: «Добрый вечер, господин дю Азе, добрый вечер, госпожа де-ла Тур дю Пен-Верклоз, добрый вечер, госпожа де-ла Тур дю Пен-Гуверне, добрый вечер, Филибер, добрый вечер, дорогая моя посланница» и т. д. Это был несмолкающий визг, прерываемый благосклонными наставлениями или вопросами, ответы на которые г-н де Шарлюс не слушал и которые он произносил тоном деланно-смягченным, имевшим целью выразить равнодушие, или благодушными словами: «Смотрите, чтобы малютке не было холодно, в садах всегда немного сыро. Добрый вечер, госпожа де Брант! Добрый вечер, госпожа де Мекленбург! Молодая девушка приехала? Она в своем воспитательном розовом платье? Добрый вечер, Сен-Жеран!» Конечно, гордость в этой позе была, г-н де Шарлюс знал, что он — один из Германтов, занимающий на этом празднестве исключительное место. Но тут была не только гордость, и самое слово «празднество» приобретало для человека эстетически одаренного пышный и любопытный смысл, который оно может иметь в том случае, когда это празднество происходит не у светских людей, а на картине Карпаччо или Веронезе. Более вероятно даже, что немецкому принцу, каким был г-н де Шарлюс, скорее должно было рисоваться то празднество, которое развертывается в «Тангейзере», и сам он представлялся себе маркграфом, который у входа в Варбургский замок для каждого из гостей находит доброе снисходительное слово, меж тем как их поток, льющийся в замок или в парк, приветствуется долгой, сто раз вновь подхватываемой фразой знаменитого «Марша».

Все же надо было решаться. Правда, я видел сидевших под деревьями женщин, с которыми я был более или менее близко знаком, но они казались совсем другими, потому что они были у принцессы, а не у ее кузины, и потому что я видел их сидящими не перед тарелкой саксонского фарфора, а в тени каштана. Изысканность окружения была тут не при чем. Будь она даже бесконечно слабее, чем у «Орианы», во мне была бы та же самая тревога. Пусть в нашей гостиной погаснет электричество и его заменят керосиновыми лампами, — все покажется нам иным. Из моей нерешительности меня вывела г-жа де Сувре. «Добрый вечер, — сказала она, подходя ко мне. — Давно ли вы не видали герцогиню Германтскую?» Она в совершенстве умела придавать такого рода фразам интонацию, доказывавшую, что она произносит их не от простой глупости, как те люди, которые, не зная, что сказать, тысячи раз заговаривают с вами, ссылаясь на общее знакомство, часто весьма сомнительное. Напротив, взгляд ее с тонкостью проводящей провокацией выражал: «Не думайте, что я вас не узнала. Вы тот молодой человек, которого я видела у герцогини Германтской. Я прекрасно помню». К несчастью, покровительство, которое простирала на меня эта фраза, по видимости глупая, а по замыслу изящная, было чрезвычайно непрочно и рассеялось тотчас же, как только я захотел к нему прибегнуть. Когда нужно было поддержать чью-либо просьбу перед каким-нибудь влиятельным лицом, г-жа де Сувре владела искусством делать вид, будто она, с точки зрения просителя, замолвила за него слово, а с точки зрения высокого лица — будто она ничего не сделала для просителя, так что в последнем этот двусмысленный жест вызывал благодарность, не создавая для нее никакого ущерба в противоположном направлении. Когда я, ободренный любезностью этой дамы, попросил ее представить меня г-ну де Германту, она воспользовалась моментом, когда глаза хозяина дома были обращены не на нас, по-матерински взяла меня за плечи и, улыбаясь отвергнувшемуся принцу, который не мог ее видеть, толкнула меня в его сторону

движением, якобы повлеченным и нарочито недействительным, так что я почти и не сдвинулся с исходной точки. Такова трусость светских людей.

Трусость одной дамы, которая поздоровалась со мной, назвав меня по имени, оказалась еще больше. Как ее зовут, — это я старался вспомнить, уже разговаривая с ней; я прекрасно помнил, что обедал вместе с ней, я помнил слова, которые она говорила. Но мое внимание, направленное в ту внутреннюю сферу, где таились воспоминания о ней, не могло обнаружить этого имени. Все же оно там было. Моя мысль как бы затеяла с ним своеобразную игру, стараясь уловить его очертания, букву, которой оно начинается, а затем осветить его целиком. То были тщетные усилия, я приблизительно ощущал его объем, его тяжесть, но что до формы его, то, сопоставляя ее с сумрачным пленником, спрятавшимся внутри, в этой ночной тьме, я говорил себе: «Это не то». Конечно, мой ум мог бы создать и самые трудные имена. К несчастью, ему приходилось не творить, а воссоздавать. Деятельность ума всегда бывает легкой, когда она не подчинена действительности. Тут я должен был подчиниться. Наконец, внезапно имя явилось целиком: «Госпожа д'Арпажон». Я неправ, говоря, что оно появилось, ибо, как кажется, оно мне представилось не в самостоятельном своем движении. Я не думаю также, чтобы легкие и многочисленные воспоминания, которые относились к этой даме и к которым я не переставал обращаться за помощью (прибегая к таким, например, увещаниям: «Ну, ведь это же та дама, которая дружна с г-жой де Сувре, та, которая испытывает по отношению к Виктору Гюго такой наивный восторг, смешанный с таким ужасом и отвращением»), — я не думаю, чтобы все эти воспоминания, носившиеся между мной и ее именем, сколько-нибудь помогли извлечь его. Эта оживленная игра «в прятки», которая происходит в нашей памяти, когда мы хотим вспомнить имя, не знает никакого ряда постепенных приближений. Мы ничего не видим, потом вдруг сразу появляется точное имя, весьма отличное от того, которое мы думали угадать. Не оно явилось к нам. Нет, я скорее думаю, что по мере того, как идет жизнь, мы проводим наше время в том, что отдаляемся от зоны, где какое-нибудь имя — еще отчетливо, и только напрягая мою волю и мое внимание, усиливавшее зоркость моего духовного взгляда, я смог прорезать полутьму и ясно все Увидеть. Во всяком случае, если и есть переходы от забвения к воспоминанию, то эти переходы бессознательны. Ибо эти переходные имена, которые мы встречаем на пути, прежде чем найдем настоящее имя, ложны и нисколько не приближают нас к нему. Это, собственно говоря, даже не имена, а часто лишь обыкновенные согласные, которые даже и не встречаются в найденном имени. Впрочем, эта работа мысли, переходящей от небытия к реальности, столь таинственна, что в конце концов не исключена возможность, что эти ошибочные согласные суть шесты, которые неумело, но заранее, протягиваются нам, чтобы мы могли уцепиться за настоящее имя. «Все это, — скажет читатель, — ничего не говорит нам о неуслужливости этой дамы; но раз уж вы так задерживаетесь, позвольте мне, господин автор, отнять у вас еще одну лишнюю минуту и сказать вам, что неприятно в столь молодом возрасте, в каком находились вы (или ваш герой, если он — не вы), иметь такую плохую память, чтобы не быть в силах вспомнить фамилию дамы, которую вы прекрасно знали». Это действительно очень неприятно, господин читатель. И более печально, чем вы думаете, потому что в этом чувствуется предвещие того времени, когда имена и слова исчезнут из светлого поля мысли и когда навеки придется отказаться от того, чтобы самому себе называть имена тех, кого мы лучше всего знали. Действительно неприятно, что уже с молодости нужен этот труд для отыскания имен, которые хорошо знаешь. Но если бы эта немощь сказывалась только в отношении имен, которые нам едва известны, весьма естественно забываются и ради которых мы не захотим утомлять себя воспоминаниями, она была бы не бесполезна. — «А каким образом, скажите пожалуйста?» — Ах, сударь, ведь только болезнь дает нам случай заметить и узнать и позволяет разложить на части механизмы, с которыми иначе мы бы не познакомились. Человек, который каждый вечер, словно какая-нибудь глыба, валится на свою постель и перестает жить вплоть до того момента, когда ему пора проснуться и встать, — разве этот человек когда-нибудь сделает хоть какие-нибудь мелкие наблюдения в области сна, не говоря уже о больших открытиях? Он едва знает, что спит. Умеренная бессонница бесполезна, помогая оценить сон, пролить на этот мрак некоторый свет. Неослабевающая память — не очень сильный импульс к исследованию явлений памяти. — «В конце концов, представила ль вас принцу госпожа д'Арпажон?» — Нет, но помолчите и дайте мне продолжить мой рассказ.

Г-жа д'Арпажон оказалась еще более трусливой, чем г-жа де Сувре, но ее трусость была более извинительной. Она знала, что влияние ее в обществе всегда было не велико. Связь, в которой она когда-то находилась с герцогом Германтским, еще более ослабила это влияние, а разрыв связи нанес последний удар. Досада, причиненная ей моей просьбой — представить меня принцу, имела у нее следствием молчание, которым она по наивности думала дать мне понять, будто не слышала того, что я сказал. Она не заметила даже, что гнев заставил ее нахмурить брови. А может быть, напротив, она это заметила, не смутилась противоречием и воспользовалась им для урока скромности, который она могла мне дать без особой грубости, — я подразумеваю — урок немой, однако от этого не менее красноречивый.

Впрочем, г-жа д'Арпажон была очень недовольна, так как многие взгляды поднялись теперь к балкону во вкусе Возрождения, в углу которого, вместо монументальных статуй, столь часто украшавших в ту пору подобные балконы, но не менее скульптурная, чем они, склонялась над перилами великолепная герцогиня де Сюржи-ле-Дюк, — та, что в сердце Базена де Германта стала наследницей г-жи д'Арпажон. Под белым тюлем, защищавшим ее от ночной прохлады, было видно ее гибкое тело, устремленное ввысь, словно статуя Победы. Мне теперь лишь оставалось прибегнуть к г-ну де Шарлюсу, который зашел в одну из комнат нижнего этажа с выходом в сад. У меня было достаточно времени (так как он притворялся, будто всецело занят фиктивной партией в вист, позволявшей ему делать вид, что он не замечает других), чтоб полюбоваться нарочитой и художественной простотой его фрака, который, благодаря мелочам, не укрывающимся от глаза портного, казался вистлеровской «Гармонией» в черных и белых тонах, вернее — в черных, белых и красных, так как у г-на де Шарлюса на широкой ленте, прикрепленной к жабо, висел крест Мальтийского рыцарского ордена из белой, черной и красной эмали. В этот момент барона, занятого вистом, отвлекла от его партии г-жа де Галардон, с которой шел ее племянник, виконт де Курвуазье, молодой человек с лицом миловидным и нахальным. «Кузен, — сказала г-жа де Галардон, — разрешите представить вам моего племянника Адальбера. Адальбер, ты ведь знаешь знаменитого дядю Паламеда, о котором ты столько слышал?» — «Добрый вечер, госпожа де Галардон», — отвечал г-н де Шарлюс и прибавил, даже не глядя на молодого человека: «Добрый вечер, сударь», с видом сердитым и тоном столь невежливым, что все были изумлены. Быть может, г-н де Шарлюс, зная, что г-жа де Галардон сомневается в его нравах и однажды не смогла воспротивиться удовольствию — сделать на них намек, — старался разом пресечь все, чем она могла бы приукрасить любезный прием, оказанный ее племяннику, а вместе с тем — разом согласно показав свой равнодушие к юношам; быть может, он не нашел, что названный Адальбер с должной почтительностью отозвался на слова своей тетки; быть может, желая в дальнейшем поддержать связь с таким приятным кузеном, он хотел иметь преимущества, создаваемые первоначальной агрессией, подобно тем монархам, которые, прежде чем осуществить дипломатическое начинание, подкрепляют его мероприятием военным.

Добиться того, чтобы г-н де Шарлюс согласился на мою просьбу представить меня, было менее трудно, чем я думал. С одной стороны, в течение последних двадцати лет этот Дон-Кихот сражался с таким множеством ветряных мельниц (нередко с родственниками, которые, как он считал, неподобающе вели себя по отношению к нему), так часто запрещал разным представителям или представительницам рода Германтов приглашать то или иное лицо, которое «немыслимо было бы принять», что Германты начинали опасаться ссоры со всеми теми, кого они любили, боялись лишиться на всю жизнь некоторых новых знакомых, интересовавших их, чтобы получить взамен громоподобные, но необъяснимые обиды своего шурина или кузена, которому хотелось бы, чтобы ради него бросали жен, братьев, детей. Будучи более умен, чем другие Германты, г-н де Шарлюс замечал, что с его запретами считаются из двух раз только один, и, предвидя будущее, опасаясь, как бы в один прекрасный день не пожертвовали его обществом, начал тушить пожар, начал, что называется, понижать себе цену. К тому же, если он обладал способностью на месяцы и годы наделять ненавистную личность жизнью, подобающей ей, и не потерпел бы, чтобы к такому существу обратились с приглашением; если он, как какой-нибудь грузчик, вступил бы в драку с королевой, ибо ценность того, что становилось для него препятствием, уже не принималась им в расчет, то с другой стороны взрывы гнева бывали у него слишком часты и не могли не быть достаточно скоропреходящими. «Дурак! Прохвост! Его поставят на место, метлой толкнут его в клоаку, где он, к сожалению, не будет безвреден для города с точки зрения гигиены», — орал он даже у себя дома, наедине читая письмо, которое находил неуважительным, или вспоминая чьи-нибудь слова, переданные ему. Но уже новый приступ гнева, направленного против другого дурака, рассеивал предыдущий порыв, и если только виновник его проявлял почтительность, вызванный им гнев забывался, ибо длился слишком мало времени, чтобы накопилась ненависть, на которой можно было бы нечто построить. Вот почему я, несмотря на его досаду, направленную против меня, пожалуй достиг бы успеха, попросив его представить меня принцу, если бы мне от щепетильности не пришла в голову несчастная мысль, имевшая целью предупредить возможность подозрения, будто я вошел в этот дом, надеясь лишь на случай и рассчитывая на барона, чтобы остаться здесь, и если бы я не прибавил: «Вы ведь знаете, я с ними прекрасно знаком, принцесса была очень мила со мной». — «Ну так что же, если вы с ними знакомы, то к чему мне представлять вас», — ответил он важным тоном и, повернувшись ко мне спиной, продолжал свою фиктивную партию в вист с нунцием, германским послом и еще одной личностью, которой я не знал.

Тут из глубины этих садов, где когда-то по приказанию герцога д'Эгильона разводили редких животных, ко мне, сквозь шумно распахнутые двери, донесся звук сопения: кто-то вдыхал в себя разлитое здесь изящество и ничего не хотел упустить. Звук приближался, я на всякий случай пошел в ту сторону, откуда он доносился, так что слова «добрый вечер» прошелестели у моего уха из уст г-на де Бреоте не как звук ржавого зазубрившегося ножа, который начали точить, и уж вовсе не как крик кабана, опустошителя возделанных полей, но как голос будущего спасителя. Вниманием этого человека, — менее влиятельного, чем г-жа де Сувре, но не в такой сильной мере страдающего нежеланием услужить, гораздо более непринужденного с принцем, чем г-жа д'Арпажон, питающего, может быть, иллюзии насчет моей роли в кругу Германтов или, может быть, осведомленного о ней лучше, чем я, — мне в течение первых секунд трудно было овладеть, ибо он, с раздувающимися и вздрагивающими ноздрями, вертелся во все стороны, тараща глаза и всюду с любопытством направляя свой монокль, как будто перед ним были сонмы шедевров. Но, услышав мою просьбу, он удовлетворенно принял ее, повел меня к принцу и представил с видом лакомым, церемонным и вульгарным, словно передал ему, расхваливая их, тарелку с пти-фу-рами. Насколько прием у герцога Германтского, если он того хотел, отличался любезностью, сердечностью, простотой и носил товарищеский характер, настолько прием, оказанный принцем, произвел на меня впечатление педантичности, торжественности, высокомерия. Он едва улыбнулся мне, важно назвал меня: «сударь». Я часто слышал, как герцог насмехался над спесивостью своего кузена. Но по первым же словам, которые он мне сказал и которые по своей холодности и серьезности представляли полнейший контраст с речами Базена, я сразу понял, что презрительность была глубоко свойственна именно герцогу, который, начиная с первого же визита, обращался к вам как равный к равному, и что из двух кузенов действительно простым был принц. В его сдержанности для меня более сильно проявлялось чувство, не скажу равенства, ибо это было бы немыслимо для него, но того уважения, которое может быть оказано низшему, как это имеет место во всяком сильно иерархическом кругу, например в суде или в университете, где прокурор или декан, полные сознания своего высокого долга, таят под своим традиционным высокомерием, быть может, больше подлинной простоты, а если ближе узнать их, то и больше доброты, неподдельного простосердечия, чем люди более современного склада — в игривом подражании игриво-товарищеским отношениям. «Собираетесь ли вы избрать тот же род деятельности, что и ваш отец?» — спросил он меня тоном, в котором чувствовалось расстояние, разделявшее нас, но также и интерес. На этот вопрос я ответил в общих чертах, понимая, что принц задал его только из любезности, и отошел, чтобы не мешать ему здороваться с вновь прибывающими гостями.

Я заметил Свана, хотел заговорить с ним, но в ту же минуту увидел, как принц Германтский, вместо того чтобы, стоя на своем месте, выслушать приветствия мужа Одетты, тотчас же, с силой высасывающего насоса, увлек его в глубину сада, словно даже собираясь, как сказали некоторые лица, «выставить его за дверь».

Будучи настолько рассеян в обществе, что я только через день из газет узнал, что весь вечер играл чешский оркестр и что каждую минуту зажигались все новые бенгальские огни, я смог несколько задержать свое внимание лишь на мысли о знаменитом фонтане Юбера Робера, который я собирался идти смотреть.

На лужайке, окруженной прекрасными деревьями, из которых иные были столь же стары, как и фонтан, он виднелся уже издали, возвышаясь в стороне, стройный, неподвижный, затвердевший, и позволял ветерку играть лишь более легкими струями, низвергавшимися с высоты его бледного трепещущего султана. Восемнадцатый век облагородил изящество его линий, но, определив собою стиль водомета, словно остановил его жизнь; на таком расстоянии он скорее производил впечатление мастерства, чем давал ощущение воды. Даже влажное облако, непрестанно сгущавшееся на его вершине, хранило отпечаток эпохи, подобно тем облакам, которые собираются в небе вокруг дворцов Версаля. Но вблизи можно было отдать себе отчет в том, что хотя его струи, подобно камням античного дворца, и соблюдают предначертанный рисунок, это все же вечно-новые струи, которые, взлетая вывысь и желая подчиниться древним велениям зодчего, с точностью осуществляют их лишь путем мнимого нарушения, ибо тысячи этих разбросанных взлетов создавали впечатление единого порыва. В действительности фонтан был чем-то столь же дробным, как и распыленность падающих струй, меж тем как издали он казался мне чем-то плотным, не знающим изгибов, совершенно непрерывным. Подойдя несколько ближе, можно было увидеть, что эта непрерывность, на вид всецело линейная, во всех точках подъема струи, во всех местах, где она могла бы разбиться, обусловлена вступлением в строй параллельной боковой струи, которая подымалась выше первой и в свою очередь — на еще большей, но уже трудной для нее высоте — сменялась третьей. Вблизи было видно, как бессильные капли отрывались от водяного столба, встречались на пути со своими сестрами, подымавшимися вверх, и порою, разорвавшись, увлеченные вихрем этих нескончаемых брызг, парили в воздухе, прежде чем низринуться в бассейн. Своими колебаниями, своим движением вверх и

вниз они нарушали и вялой своей влагой заволакивали напряженную прямизну этого ствола, вознося над собой продолговатое облако, составленное из тысячи капелек, но на вид словно выкрашенное в золотисто-коричневый цвет, — облако, которое в своей неизменности, незыблемости, неподвижности, быстрое и стройное, устремлялось к небу, к другим облакам. К несчастью, достаточно бывало порыва ветра, чтобы обрушить его на землю косым ударом; порою даже просто вырывалась какая-нибудь непослушная струя и, если бы зрители не держались на почтительном расстоянии, то до костей могла бы промочить эту неосторожную созерцающую толпу.

Один из таких случаев, происходивших только тогда, когда поднимался ветерок, был довольно неприятен. Г-жу д'Арпажон заставили поверить, будто герцог Германтский, — на самом деле еще не приехавший, — находится с г-жой де Сюржи в галереях розового мрамора, куда можно было попасть, миновав двойной ряд колонн, возвышавшихся по краям бассейна. И вот в ту минуту, когда г-жа д'Арпажон собиралась пройти мимо одной из колонн, струя водомета, от сильного и теплого дуновения ветра изменив направление, совершенно залила красавицу-даму и насквозь, словно ее погрузили в ванну, промочила ее платье, за которое стала стекать вода, упавшая ей на шею и обнаженные плечи. Сразу же неподалеку раздалось какое-то ритмическое рычание, настолько громкое, что его могла бы услышать целая армия, однако распадавшееся на периоды, как будто оно обращено было не ко всему войску в целом, а поочередно к каждому отдельному отряду; это был Великий князь Владимир, от всей души смеявшийся при виде затопления г-жи д'Арпажон, одного из самых веселых случаев, при которых, как он любил потом говорить, ему пришлось присутствовать на своем веку. Когда некоторые человеколюбивые лица заметили москвиту, что, пожалуй, потерпевшая заслуживает слова соболезнования из его уст и что оно доставило бы удовольствие этой женщине, которая, несмотря на свои несомненные сорок лет, ни к кому не обращается за помощью и, вытираясь своим шарфом, выжимает воду, лукаво оставляющую след на краю бассейна, — великий князь, имевший доброе сердце, считал долгом покориться, и едва только стихли последние военные раскаты смеха, как послышалось новое рычание, еще более громкое, чем предшествовавшее ему. «Браво, старушка!» — воскликнул он, хлопая в ладоши, точно в театре. Г-жа д'Арпажон не была тронута тем, что ее ловкость похвалили в ущерб ее молодости. И когда кто-то ей сказал, оглушенный шумом воды, который однако покрывали громовые раскаты великокняжеского голоса: «Кажется, его императорское высочество что-то говорит вам», — она ответила: «Нет, это госпоже де Сувре».

Я прошел через сады и поднялся обратно по лестнице, где, из-за отсутствия принца, удалившегося куда-то вместе со Сваном, гости вокруг г-на де Шарлюса собрались более густой толпой, подобно тому как во время отсутствия Людовика XIV в Версале больше народа бывало у его брата. Когда я проходил мимо барона, он меня остановил, а шедшие за мной две дамы и молодой человек тем временем приближались к нему, чтобы поздороваться.

«Это мило — видеть вас здесь, — сказал он, протягивая мне руку. — Добрый вечер, госпожа де-ла Тремуй, добрый вечер, моя дорогая Эрмини». Но наверно воспоминание о том, что он мне говорил относительно своей роли главы в доме Германтов, вызывало в нем желание притвориться, будто источник его недовольства, который он все же не мог устранить, заставляет его испытывать удовлетворение, которому его аристократическая дерзость и его истеричность тотчас же придали форму исключительной иронии: «Это мило, — повторил он, — но прежде всего это забавно». И тут же начались взрывы смеха, как будто выражавшие радость и в то же время — бессилие человеческого слова выразить эту радость. Между тем некоторые лица, зная, как он недоступен и как вместе с тем ему свойственны вызывающие «выходки», с любопытством приближались к нам и с поспешностью, почти непристойной, удирали. «Полно, не сердитесь, — сказал он мне, тихонько тронув меня за плечо, — вы знаете, что нравитесь мне. Добрый вечер, Антиош, добрый вечер, Луи-Рене. Ходили ли вы смотреть фонтан? — спросил он меня тоном скорее утвердительным, чем вопросительным. — Это очень красиво, правда? Это чудесно. Это могло бы быть еще лучше, разумеется, если упразднить некоторые детали, и тогда во Франции не было бы ничего, что могло бы сравниться. Но даже в том виде, какой он имеет, он уже в числе самых лучших вещей. Бреоте вам скажет, что напрасно его украсили фонариками, — скажет, чтоб заставить забыть, что у него же и явилась эта нелепая мысль. Но в общем ему лишь очень мало удалось обезобразить фонтан. Изуродовать мастерское произведение гораздо труднее, чем создать его. Впрочем, мы уже смутно подозревали, что Бреоте менее даровит, чем Юбер Робер».

Я снова присоединился к веренице гостей, входивших в дом. «Давно ли вы видали мою прелестную кузину Ориану?» — спросила меня принцесса, которая незадолго до того покинула свое кресло и с которой я вместе возвращался в гостиные. — «Она должна быть сегодня, я видела ее днем, — прибавила хозяйка дома. — Она мне обещала. Кажется, впрочем, вы с нами обеими будете обедать в четверг у королевы итальянской в посольстве. Там будут всевозможные высочества, будет очень страшно!» Они нисколько не могли пугать принцессу Германтскую, в гостиных которой всё было ими полно и которая говорила: «маленькие мои Кобурги», как она могла бы сказать: «маленькие мои собачки». Да и сказала она: «Это будет очень страшно» — просто от глупости, которая у светских людей берет верх даже над тщеславием. О своей генеалогии она знала меньше, чем какой-нибудь учитель истории. Что же касается ее знакомых, то она старалась показать, как она знает прозвища, которые им дают. Спросив меня, буду ли я на следующей неделе обедать у маркизы де-ла Помельер, которую часто называли «la Pomme», и получив от меня отрицательный ответ, принцесса замолчала на несколько секунд. Потом, безо всякой иной причины, кроме желания выставить напоказ свою невольную эрудицию, банальность и согласие с общим духом, она прибавила: «Она довольно приятная женщина, la Pomme!»

Как раз в то время, когда принцесса беседовала со мной, входили герцог и герцогиня Германтские. Но сразу мне не удалось пройти навстречу им, потому что по пути в меня вцепилась жена турецкого посла и, указывая мне на хозяйку дома, от которой я только что отошел, и хватая меня за руку, воскликнула: «Ах! Какая очаровательная женщина — принцесса! Существо, которое стоит выше всех! Мне кажется, — прибавила она с оттенком некоторого низкопоклонства и восточной чувственности, — если бы я была мужчиной, я посвятила бы мою жизнь этому божественному существу». Я ответил, что действительно нахожу ее прелестной, но что я больше знаю ее двоюродную сестру, герцогиню. «Но между ними ничего общего, — сказала мне жена посла. — Ориана очаровательная светская женщина, которая берет свое остроумие от Меме и от Бабала, а Мари-Жильбер — это нечто особое».

Мне всегда не очень нравится, когда мне безапелляционно говорят то, что я должен думать о людях, которых знаю. А тут никаких оснований не было к тому, чтобы жена турецкого посла оценивала герцогиню Германтскую более правильно, нежели я.

С другой стороны, мое раздражение против жены посла объяснялось также и тем, что недостатки обыкновенного знакомого и даже друга являются для нас настоящей отравой, от которой, к счастью, у нас есть «противоядие».

Но, прибегая к таким бы то ни было научным сравнениям и не говоря об анафилактики, заметив, что наши дружеские связи или чисто-светские отношения бывают сопряжены с чувством враждебности, от которой мы излечиваемся на время, но приступы которой повторяются. Обычно мы мало страдаем от этих ядов, пока люди «естественны». Говоря «Бабал», «Меме», чтобы обозначить людей, которых она не знала, жена турецкого посла парализовала действие «противоядия», благодаря которому я обычно мог выносить ее. Я сердился на нее, а это было тем более несправедливо, что говорила она так не с целью убедить других, будто она близка с «Меме», а от слишком поспешного образования, в силу которого и называла этих аристократов именами, соответствовавшими, как ей казалось, местным обычаям. Школу она прошла в несколько месяцев и экзаменов не держала. Но, размышляя, я нашел также и другую причину, по которой мне было неприятно ее общество. Не так давно у «Орианы» эта же дипломатическая особа тоном основательным и серьезным говорила мне, что принцесса Германтская ей прямо несимпатична. Я счел правильным не задерживать внимание на этой перемене: ее вызвало приглашение на сегодняшнее празднество. Жена посла была совершенно искренна, говоря мне, что принцесса Германтская — божественное существо. Она всегда это думала. Но до сих пор ни разу не будучи приглашена к принцессе, она сочла нужным придать этому обстоятельству такой характер, как будто она сама из принципа и по своей воле уклонялась от приглашений. Теперь, когда ее позвали и когда она, по всей вероятности, могла рассказывать на то же и в дальнейшем, симпатия ее могла свободно выразиться. Для объяснения трех четвертей тех мнений, которые высказываются о людях, нет надобности ссылаться на любовную неудачу или на утрату политического могущества. Суждение остается неопределенным: приглашение или отказ в приглашении обуславливают его. Впрочем, как сказала баронесса Германтская, вместе со мной делавшая смотр гостиницам, жена турецкого посла «приходилась кстати». Главное, она была весьма полезна. Настоящие светские звезды устали появляться в свете. Тот, кому любопытно увидеть их, часто должен переселяться в другое полушарие, где они почти что одни. Но женщины, вроде жены оттоманского посла, совсем недавно появившиеся в свете, не устают блистать в нем, так сказать, всюду зараз. Они полезны на этих своеобразных представлениях, которые называют вечерами или раутами и на которые они, даже находясь при смерти, заставили бы себя притащить, лишь бы не пропустить одно из них. Они фигурантки, на которых всегда можно рассчитывать, страстные посетительницы всех празднеств. Недаром глупые молодые люди, не знающие, что это — звезды фальшивые, видят в них королей роскоши, и потребовалась бы целая лекция, чтобы объяснить, в силу каких причин г-жа Стандиш, неведомая им и вдали от света разрисовывающая подушки, является дамой, по крайней мере, столь же аристократической, как герцогиня Дудовиль.

В обычной жизни глаза герцогини Германтской выражали рассеянность и некоторую меланхолию, огнем мысли она зажигала их лишь тогда, когда ей приходилось здороваться с кем-нибудь из друзей — совершенно так, словно этот друг был некое остроумное слово, какая-нибудь очаровательная шутка, какое-нибудь утонченное блюдо, вкус которого вызвал лукавое и радостное выражение на лице знатока. Но что касается больших вечеров, когда ей слишком много раз приходилось здороваться, то она считала утомительным — каждый раз после каждого из приветствий гасить этот огонь. Так ценитель литературы, собираясь смотреть в театре новую вещь какого-нибудь мастера сцены, проясляет свою уверенность в том, что вечер у него не пропадет даром, и, отдавая гардеробщнице пальто, уже приспособляет свои губы к многозначительной улыбке, а оживившийся взгляд — к лукаво-одобрительному выражению; также и герцогиня с момента своего прибытия зажигалась уже на весь вечер. И пока она освобождалась от своего вечернего мантио великолепного красного цвета, напоминавшего краски Тьеполо, засверкало целое ожерелье из рубинов, сжимавшее ей шею; окидывая свое платье последним взглядом, внимательным и исчерпывающим, как у портнихи, — взглядом светской женщины, — Ориана убедилась, что глаза ее светятся не менее ярко, чем прочие ее драгоценности. Напрасно некоторые «доброжелатели» вроде г-на де Жанвиля устремились к герцогу, чтобы не дать ему войти: «Так вы не знаете, что бедный Мама при смерти? Его только что соборовали». — «Знаю, знаю, — отвечал г-н де Германт, оттесняя этого докучливого человека, чтобы войти. — Причастие оказало на него самое лучшее действие», — прибавил он, улыбаясь от удовольствия при мысли о бале, на который он непременно хотел попасть после вечера у принца. — «Мы не хотели, чтобы о нашем возвращении было известно», — сказала мне герцогиня. Она не подозревала, что принцесса заранее обесценила эти слова, рассказав мне, что она мельком видела свою кузину, обещавшую ей приехать. Герцог, целых пять минут не спускавший с жены долгого утомительного взгляда, промолвил: «Я рассказал Ориане о сомнениях, которые были у вас». Теперь, видя, что они были не обоснованы и что ей ничего не нужно предпринимать, чтобы рассеять их, она объявила их нелепыми и долго не прекращала своих шуток. «Вот фантазия — решить, что вас не пригласили. И ведь тут была я. Неужели вы думаете, что я не могла бы достать для вас приглашение к моей кузине!» Я должен сказать, что впоследствии она часто делала для меня вещи и более трудные; тем не менее я остерегся воспринять ее слова в том смысле, что я был слишком скромно. Я начинал понимать истинную цену немого или звучащего вслух языка аристократической любезности, счастливой пролить бальзам на чувство приниженности, свойственное тем, к кому эта любезность относится, однако не идущей столь далеко, чтобы вовсе рассеять его, ибо в этом случае она утратила бы свой смысл. «Но вы же равный нам, если даже не выше», — казалось, всеми своими поступками говорили Германты; и говорили они это так мило, как только можно вообразить, старались возбудить любовь, восхищение, но отнюдь не веру; умение различить фиктивный характер этой любезности было то, что они называли хорошим воспитанием; верить же в действительную любезность было неблагоприятно. Впрочем, я вскоре после того получил урок, который научил меня с самой безупречной точностью распознавать размеры и пределы известных форм аристократической любезности. Это было на утреннем приеме, устроенном герцогиней де Монморанси в честь королевы английской; гости двинулись в буфет, образуя нечто вроде маленького шествия, а во главе его была королева, которую вел под руку герцог Германтский. Как раз в эту минуту я и вошел. Ручкой, которая у него была свободна, герцог, отделенный от меня расстоянием, по крайней мере, в сорок метров, делал мне бесконечные знаки, которыми звал меня подойти и выражал свою дружбу и которые как будто означали, что я безбоязненно могу подойти, что я не буду съеден живьем вместо сэндвичей. Но я, начинавший уже совершенствовать свои познания в языке дворов, вместо того чтобы приблизиться хотя бы на один только шаг, на расстоянии сорока метров от него низко поклонился, но не улыбаясь, словно я видел человека, едва знакомого мне, а затем продолжал свой путь в противоположном направлении. Если бы даже я написал какой-нибудь шедевр, он в глазах Германтов не принес бы мне такой чести, как этот поклон. Он был замечен не только герцогом, которому, однако, в тот день пришлось ответить на приветствия более чем пятисот человек, но и герцогиней, которая, встретив мою мать, рассказала ей о нем, причем остереглась прибавить, что я был неправ, что я должен был бы подойти. Она сказала, что муж ее был в восхищении от этого поклона, что невозможно было выразить им нечто большее. Этому поклону не уставали приписывать все качества, не указывая однако на то, которое и представлялось самым ценным, а именно — скромность, а мне тоже не переставали делать комплименты, из которых я понял, что они в гораздо меньшей степени — награда за прошлое, чем указание на будущее, подобное тому, которое давал своим ученикам директор учебного заведения: «Не забывайте, дети, что эти награды предназначены не столько для вас, сколько для ваших родителей, чтобы они послали вас учиться и на будущий год». Таким же образом г-жа де Марсант, когда в ее кругу появлялся человек, принадлежавший другому обществу, хвалила в его присутствии деликатных людей, которые «всегда откликаются, когда их зовешь, а в остальное время не напоминают о себе», подобно тому, как слуге,

от которого дурно пахнет, в целях предупреждения намекают, что ванны превосходно действуют на здоровье.

Во время разговора с г-жой де Германт, даже еще не успевшей выбраться из вестибюля, я услышал один из тех голосов, которые впоследствии мне было суждено отличать совершенно безошибочно. В данном случае это был голос г-на де Вогубера, беседовавшего с г-ном де Шарлюсом. Врачу-клиницисту даже не требуется, чтобы больной, которого он наблюдает, поднял рубашку, ему незачем слушать, как он дышит, достаточно голоса. Сколько раз потом меня где-нибудь в гостиной поражали интонация или смех того или иного человека, который, однако, лишь в точности воспроизводил язык своей профессии или манеры своего круга, надевая маску строгой благовоспитанности или грубой непринужденности, но чей фальшивый голос уже сам по себе говорил моему уху, чуткому к оттенкам, словно камертон настройщика: «Это один из Шарлюсов». В эту минуту в полном составе проследовало целое посольство, кланяясь г-ну де Шарлюсу. Хотя я только в тот вечер впервые (увидев г-на де Шарлюса вместе с Жюльеном) открыл ту особую болезнь, о которой идет речь, мне для установления диагноза не понадобилось бы ни задавать вопросы, ни выстукивать. Но г-н де Вогубер, беседовавший с г-ном де Шарлюсом, казалось, был в нерешительности. Между тем ему, после сомнений юности, следовало бы знать, как тут быть. Извращенный думает, что во всем мире он — единственный; лишь потом он — новое преувеличение — воображает, будто единственным исключением является нормальный человек. Но г-н де Вогубер, честлюбивый и опасливый, весьма давно уже не предавался тому, что для него было бы удовольствием. Дипломатическая карьера имела на его жизнь такое же влияние, как если б он пошел в монахи. В сочетании с усердным посещением школы политических наук она с двадцатилетнего возраста обратила его к христианскому целомудрию. Недаром, поскольку каждый орган чувства утрачивает силу и живость восприятия, атрофируется, когда им больше не пользуются, г-н де Вогубер, — подобно тому, как человек цивилизованный уже не способен на проявления силы и тонкости слуха, свойственной пещерному человеку, — утратил ту особую пронизательность, что редко изменяла г-ну де Шарлюсу; и на официальных обедах, будь то в Париже или за границей, полномочному послу уже не удавалось узнавать людей, которые, будучи наряжены в форменные мундиры, были в сущности подобны ему. Несколько имен, названных г-ном де Шарлюсом, который возмущался, когда о нем упоминали в связи с его вкусами, но которого всегда забавляла возможность рассказать о чужих вкусах, вызвали в г-не де Вогубере сладостное удивление. Не потому, чтобы он после стольких лет собирался чем бы то ни было поживиться. Но эти внезапные откровения, — подобные тем, благодаря которым в трагедиях Расина Аталия и Абнер узнают, что Иоад — из племени Давидова, что Эсфирь, восседающая в пурпуре, имеет еврейских родителей, — меняли облик...ского посольства или такого-то департамента министерства иностранных дел, делали эти дворцы ретроспективно столь же таинственными, как храм иерусалимский или тронный зал в Сузах. Что же касается этого посольства, молодые члены которого все в полном составе явились пожать руку г-на де Шарлюса, то г-н де Вогубер принял тот восхищенный вид, с которым Элиза восклицает в «Эсфири»:

О боже праведный, откуда этот рой

Прелестных девушек возник передо мной?

Богоизбранного Израиля надежда,

Как целомудренны ваш облик и одежда!

Затем, желая быть более «осведомленным», он, улыбаясь, бросил г-ну де Шарлюсу глупо-вопросительный и похотливый взгляд. «Ну да, разумеется», — сказал г-н де Шарлюс ученым тоном эрудита, разговаривающего с невеждой. После того г-н Вогубер (что очень раздражала г-на де Шарлюса) не сводил уже глаз с этих молодых секретарей, которых...ский посол во Франции, старый неисправимый развратник, выбрал неслучайно. Но, привыкнув с детства приписывать даже тому, что немо, язык классических произведений, я даже и взгляд г-на де Вогубера заставлял произносить стихи, в которых Эсфирь объясняет Элизе, что Мардохей в своем религиозном рвении счел нужным окружить царицу только девушками, исповедующими его веру:

Но, пламенно любя родимый мой народ,

Сионских дев в чертог он вводит хоровод.

Ведь каждая из них — цветок молодой и нежный,

Как я заброшенный сюда судьбой мятежной.

В любви к Израилю, вдали от глаз чужих,

С великим тщаньем он (он — этот превосходный посол) воспитывает их.

Наконец, г-н де Вогубер заговорил не только взглядами. «Кто знает, — сказал он меланхолично, — не существует ли то же самое и в той стране, где пребываю я?» — «Это вероятно, — ответил г-н де Шарлюс, — начать хотя бы с короля Феодосия, относительно которого я, правда, не знаю ничего определенного». — «О, вовсе нет!» — «Если так, то непозволительно до такой степени вводить в заблуждение своим видом. И у него ужимочки! Его манера — это «дорогая моя», — манера, которую я ненавижу больше всего. Я не решился бы вместе с ним показаться на улице. Впрочем, вы должны знать его таким, каков он есть, все его знают». — «Вы совершенно заблуждаетесь на его счет. Впрочем, он очарователен. В день, когда было подписано соглашение с Францией, король обнял меня. Я никогда не был так растроган». — «Это был подходящий момент, чтоб сказать ему, чего вам хотелось бы». — «Ах, боже мой, какой ужас, если бы он только мог подозревать! Но по этому поводу у меня нет опасений». Вот слова, которые я слышал, находясь неподалеку, и которые побудили меня мысленно продекламировать:

Кто я — об этом царь не знает до сих пор,

И тайна навсегда уста мои сковала.

Этот диалог, наполовину состоявший из слов, наполовину же — из умолчаний, длился всего несколько мгновений, и я успел пройти с герцогиней Германтской всего несколько шагов по гостиной, как вдруг ее остановила маленькая брюнетка, чрезвычайно красивая:

— Я очень хотела бы повидать вас. Д'Аннунцио видел вас из ложи, он написал принцессе Т... письмо, в котором говорит, что никогда не видел подобной красоты. Он готов отдать жизнь за десять минут разговора с вами. Во всяком случае, даже если вы не можете или не хотите, письмо в моем владении. Надо было бы, чтобы вы назначили мне день. Есть кое-какие секреты, которые здесь я не могу сказать. Вижу, что вы меня не узнаете, — прибавила она, обращаясь ко мне, — я с вами познакомилась у принцессы Пармской (у которой я никогда не бывал). Русский император хочет, чтобы вашего отца послали в Петербург. Если б вы могли приехать во вторник, там как раз будет Извольский, он поговорил бы с вами. У меня для вас есть подарок, — прибавила она, повернувшись к герцогине, — подарок, который я не сделала бы никому, кроме вас. Рукописи трех пьес Ибсена, которые он мне переслал через старика, ухаживавшего за ним во время болезни. Я оставлю себе одну из них, а две другие подарю вам.

Герцог Германтский был не в восторге от этого дара. Ему, неуверенному в том, покойники ли Ибсен и д'Аннунцио, или они еще живы, уже мерещились писатели и драматурги, приходящие с визитами к его жене и помещающие ее в свои произведения. Светские люди легко представляют себе книги чем-то вроде куба, у которого одна грань отсутствует, так что автор торопится «ввести» туда людей, встреченных им. Это, разумеется, непорядочно, и поступают так лишь люди низкородные. Правда, было бы нескучно встречаться с ними «мимоходом», ибо благодаря им, читая книгу или статью, всегда знаешь «закулисную сторону» и можешь «заглядывать под маски». Все же, несмотря ни на что, благоразумнее иметь дело с авторами умершими. Г-н де Германт считал «безукоризненно-приличным» только того господина, который писал некрологи в «Le Gaulois». Этот человек, по крайней мере, ограничивался тем, что упоминал г-на де Германта вместе с лицами, «особо отмечаемыми» в отчетах о похоронах, на которых герцог расписывался в числе присутствующих. Когда он предпочитал, чтобы имя его не фигурировало, он посылал соболезнующее письмо семье покойного, уверяя ее в своих самых скорбных чувствах. Если же эта семья просила поместить в газете: «из полученных писем укажем на письмо герцога Германтского» и т. д., то это была вина не хроникера, а сына, брата или отца покойницы, которых герцог называл выскочками и с которыми отныне намеревался порвать всякие отношения (то, что он, не зная как следует смысла речений, называл «вступить в ссору»). Как бы то ни было, имена Ибсена и д'Аннунцио и неуверенность в том, живы ли они, заставили герцога нахмурить брови, хоть он и был еще недостаточно далеко от нас, чтобы не слышать разнообразных любезностей г-жи Тимолеон д'Амонкур. Это была прелестная женщина, с умом столь же очаровательным, как и ее красота, так что каждого из этих свойств в отдельности достаточно было для того, чтобы иметь Успех. Но ей, родившейся не в той среде, где она жила теперь, мечтавшей первоначально лишь о литературном салоне, последовательно и безраздельно являвшейся приятельницей — отнюдь не любовницей, так как нравственности она была безукоризненной, — каждого крупного писателя, дарившего ей все свои рукописи, писавшего для нее книги, — теперь, когда случай ввел ее в Сен-Жерменское предместье, эти литературные преимущества сослужили службу. Теперь у нее было такое положение, что от нее и не требовалось других знаков внимания, кроме тех, которые несло с собой одно ее присутствие. Но, некогда привыкнув к уловкам, хитростям, к умению оказывать услуги, она продолжала делать то же самое, хотя в этом уже и не было нужды. Она всегда готова была открыть вам государственную тайну, познакомить вас с важным лицом, подарить вам акварель крупного художника. Во всех этих приманках была, правда, некоторая доля лжи, но они превращали ее жизнь в комедию блестящей сложности, и действительно от нее зависело назначение префектов и генералов.

Глаза герцогини Германтской, шедшей рядом со мной, излучали голубой свет, но лился он куда-то в пространство, избегая тех людей, с которыми она не собиралась завязывать отношений и которые, словно опасные рифы, иногда угадывались ею издали. Мы шли между двумя рядами гостей, которые, зная, что никогда не познакомятся с «Орианой», хотели по крайней мере показать ее своим женам как какую-нибудь редкость: «Урсула, скорее, скорее, идите взглянуть на герцогиню Германтскую, которая разговаривает с этим молодым человеком». И, — чувствовалось, — немного еще нужно для того, чтоб они взобрались на стулья, желая лучше видеть, словно во время смотра 14 июля или на скачках. И не потому, чтобы у герцогини Германтской был более аристократический салон, чем у ее кухни. У первой бывали люди, которых вторая никогда не пригласила бы к себе, особенно из-за своего мужа. Она никогда не стала бы принимать г-жу Альфонс де Ротшильд, которая, будучи в тесной дружбе с г-жой де-ла Тремуй и с г-жой де Саган, так же как и сама Ориана, часто бывала у последней. Так же обстояло дело с бароном Гиршем, которого принц Уэльский ввел к ней в дом, но отнюдь не в дом к принцессе, потому что ей он бы не понравился, а также с кое-какими важными лицами из бонапартистских или даже республиканских кругов, которые интересовали герцогиню, но которых принц, убежденный роялист, не пожелал бы принять. Его антисемитизм, тоже имевший принципиальный характер, был непреклонен даже к самым изысканным лицам, каким бы доверием они ни пользовались, и если он принимал Свана, другом которого был искони, являясь, впрочем, единственным среди Германтов, кто называл его «Сван», а не «Шарль», то дело было в том, что, зная о его бабушке, протестантке, вышедшей замуж за еврея, что она была любовницей герцога Беррийского, он время от времени пытался верить этой легенде, превращавшей отца Свана в незаконного сына принца. По этой гипотезе, неверной впрочем, в Сване, сыне католика, являвшегося сыном одного из Бурбонов, и католички, все было только христианское.

— Как, вы не знаете этих великолепий? — сказала мне герцогиня, разговаривая о доме, где мы находились. Но, воздав похвалы «дворцу» своей кухни, она поспешила прибавить, что в тысячу раз предпочитает свою «жалкую берлогу». «Здесь замечательно, когда осматриваешь. Но я умерла бы от горя, если бы мне пришлось остаться ночевать в комнатах, где произошло столько исторических событий. Мне казалось бы, будто я застряла после закрытия, будто меня забыли в замке Блуа, в Фонтенебло или даже в Лувре, и мне остается единственное средство от тоски — говорить себе, что я нахожусь в комнате, где был убит Мональдески. Для успокоения этого недостаточно. А! Вот госпожа де Сент-Эверт. Мы только что у нее обедали. Так как завтра она дает свой пресловутый ежегодный вечер, то я думала, что она ляжет спать. Но она не может пропустить ни одного праздника. Если бы вот это празднество происходило за городом, она скорее поехала бы в мебельном фургоне, чем не поехала бы вовсе».

На самом деле, г-жа де Сент-Эверт приехала сегодня вечером не столько для того, чтобы не пропустить чужое празднество, сколько для того, чтобы обеспечить успех своего собственного, довершить вербовку приверженцев и, так сказать, *in extremis* произвести смотр военным силам, которые завтра на ее *garden-party* будут проделывать свои блистательные эволюции. Ибо уже с довольно давних пор гости, приглашаемые на празднества Сент-Эверт, были вовсе не те, что прежде. Женские знаменитости из круга Германтов, столь редкие в былую пору, после всех тех знаков внимания, которыми осыпала их хозяйка дома, привели понемногу и своих приятельниц. Вместе с тем, путем параллельных поступательных усилий, однако в противоположном направлении, г-жа де Сент-Эверт сократила число лиц, неизвестных изящному обществу. Перестала видаться сперва с одним из них, потом — с другим. В течение некоторого времени действовала система, позволявшая, благодаря особым празднествам, относительно которых хранилось молчание, приглашать

порядочными. На что же было жаловаться? Разве им не подавали (panem et circenses) пти-фуры и прекрасную музыкальную программу? Вот почему, в известной симметрии с двумя герцогинями-изгнанницами, которые прежде, в пору дебютов салона Сент-Эверт, подобно двум кариатидам поддерживали его шатающиеся своды, в течение последних лет там среди светской публики можно было увидеть только двух чужеродных особ, — старую г-жу де Камбремер и жену одного архитектора, обладавшую красивым голосом и к которой часто приходилось обращаться с просьбой спеть что-нибудь. Но, никого уже не зная у г-жи де Сент-Эверт, оглаживая своих утраченных подруг, чувствуя, что они мешают, — они, казалось, готовились к смерти от холода, словно две ласточки, не улетевшие вовремя. Зато на следующий год их уже не приглашали. Г-жа де Франкто решила похлопотать за свою кузину, которая так любила музыку. Но так как ей не удалось получить ответ более определенный, чем следующие слова: «Ведь всегда же можно войти послушать музыку, — если это вас занимает, тут нет ничего преступного!», то г-жа де Камбремер сочла приглашение недостаточно любезным и воздержалась.

Поскольку г-же де Сент-Эверт удалось совершить такое превращение, салон прокаженных сделать салоном важных аристократок (последняя, казалось бы, ультрашкарная форма, которую он принял), можно было удивляться, что женщине, которая на следующий день дает самое блистательное празднество сезона, нужно накануне приезжать и обращаться с последним призывом к своей рати. Но в том-то и дело, что превосходство салона Сент-Эверт существовало лишь в представлении тех, для кого светская жизнь состоит только в том, что они в «Gaulois» или «Figaro» читают отчеты об утренних приемах и вечерах, сами никогда не бывая ни на одном из них. Для этих светских людей, которые видели свет только сквозь газету, перечисления жен послов английского, австрийского и т. д. и т. д., герцогинь д'Юзес, де-ла Тремуй и т. д. и т. д. было достаточно, чтобы в их глазах салон Сент-Эверт с легкостью занял первое место в Париже, тогда как он был одним из последних. Не потому, чтобы отчеты лгали. Большинство лиц, названных в них, действительно присутствовало там. Но каждое из них приезжало в результате просьб, любезностей, услуг и с таким чувством, будто оно оказывает невероятную честь г-же де Сент-Эверт. Подобные салоны, не столько привлекающие, сколько избегаемые, куда ездят, так сказать, лишь по обязанности, создают иллюзии только у читательниц «светской хроники». Читательницы эти проходят мимо празднества подлинно изысканного, — празднества, где хозяйка дома могла бы иметь всех герцогинь, горящих желанием быть «в числе избранных», но приглашает только двух или трех и не помещает в газете имен своих гостей. Вот почему эти женщины, не оценившие того влияния, которое приобрела теперь гласность, или пренебрегающие им, являются изысканными в глазах королевы испанской, но не признаны толпой, ибо первая знает, а вторая не знает, кто они такие.

Г-жа де Сент-Эверт не была из их числа и, подобно настоящей пчеле, явилась с тем, чтобы завтра собрать всех, кто получил приглашение. Г-н де Шарлюс его не получал, он всегда отказывался бывать у нее. Но он был в ссоре с таким множеством людей, что г-жа де Сент-Эверт могла отнести отказ за счет его характера.

Конечно, если бы тут была одна только Ориана, г-жа де Сент-Эверт могла бы и не беспокоиться, так как приглашение было сделано в устной форме и к тому же принято с той очаровательной обманчивой благосклонностью, что является предметом упражнения для тех академиков, от которых кандидат выходит умиленный и не сомневаясь, что он может рассчитывать на их голос. Но дело было не только в ней. Прибудет ли принц Агригентский? И г-жа де Дюрфор? Вот почему, желая быть настороже, г-жа де Сент-Эверт нашла более целесообразным приехать сюда собственноручно; вкрадчивая с одними, повелительная с другими, она всем в форме намеков сообщала о невообразимых развлечениях, которыми другой раз нельзя уже будет насладиться, и каждому обещала, что у нее он найдет то лицо, которое ему хотелось или которое ему надо было встретить. И это полномочие, которое она, подобно иным деятелям древности, возлагала на себя раз в год, как человек, дающий на следующий день самую заметную garden-party за весь сезон, придавало ей временную значительность. Списки приглашенных были окончательно составлены, так что, медленно обозревая гостининые принцессы, чтобы шепнуть по очереди в каждое ухо: «Завтра вы меня не забудете?», — она могла чувствовать эфемерную гордость в те минуты, когда, продолжая улыбаться, она все же вынуждена бывала отводить глаза в сторону, если замечала какую-нибудь дурнушку, встречи с которой следовало избежать, или какого-нибудь провинциального дворянина, который был принимаем у Жильбера как товарищ по колледжу, но присутствие которого нисколько не могло бы украсить ее garden-party. Она предпочитала не разговаривать с ними, чтобы впоследствии иметь возможность сказать: «Мои приглашения я делала устно, а вас я, к несчастью, не встретила». Так, будучи всего-навсего Сент-Эверт, она «сортировала» гостей, приглашенных на вечер к принцессе. И, поступая так, она воображала себя настоящей герцогиней Германтской.

Надо сказать, что последняя тоже не столь свободно, как можно было бы думать, распоряжалась своими приветствиями и улыбками. Конечно, в некоторых случаях, она по своей воле отказывала в них: «Да надоела она мне, — говорила она, — неужели я должна буду целый час разговаривать с ней о ее вечере?»

Мимо нас прошла некая весьма черноволосая герцогиня, которая, из-за своей уродливости и глупости и кое-каких рискованных моментов в своем поведении, была изгнана, правда, не из общества, но из некоторых более интимных и изысканных кругов. «А! — пробормотала г-жа де Германт, бросая на нее безошибочно-трезвый взгляд знатока, которому показывают фальшивую драгоценность. — Здесь принимают и такое!» Уже по одной встрече с этой полуувядшей дамой, на лице которой было слишком много бородавок и черных волосков, г-жа де Германт давала невысокую оценку вечеру принцессы. Она воспитывалась вместе с ней, но прекратила с нею всякие отношения; на ее поклон она ответила, как нельзя более сухо кивнув головой. «Не могу понять, — сказала она мне, словно извиняясь, — как это Мари-Жильбер приглашает нас вместе со всеми этими подонками. Можно сказать, что тут есть всякая всячина. У Мелани де Пурталес было устроено гораздо лучше. Она могла собирать у себя и Святейший Синод и приверженцев Кальвина, если ей это было угодно, но нас-то, по крайней мере, не звали в такие дни». Но во многих случаях это происходило от робости, от страха перед сценой, которую ей устроит муж, не желавший, чтоб она принимала артистов и т. п. (Мари-Жильбер покровительствовала многим из них, надо было остерегаться, как бы с вами не вступила в разговор какая-нибудь знаменитая немецкая певица), а также и от опасений, внушаемых ей национализмом, который она, обладая, подобно г-ну де Шарлюсу, умом Германтов, презирала с точки зрения светской (теперь, чтобы возвеличить генеральный штаб, плебейского генерала пропускали впереди некоторых герцогов), но которому она, зная, что «ее считают неблагомыслящей, делала обширные уступки, — настолько, что страшилась подать руку Свану в этой антисемитской среде. На этот счет она быстро успокоилась, узнав, что принц не дал Свану войти и вступил с ним в «какое-то пререкание». Она не рисковала публично завязывать разговор с «бедным Шарлем», которого предпочитала окружать заботами частным образом.

— А это еще кто такая? — воскликнула г-жа де Германт, заметив, как дама маленького роста и немного странного вида, в черном платье

того просто, что можно было заподозрить бедность, отвесила ей, так же как и муж этой дамы, низкий поклон. Герцогиня не узнала ее и, будучи заносчива, выпрямилась, словно оскорбленная, и, не отвечая, с удивлением посмотрела на нее. «Что это за особа, Базен?» — спросила она удивленным тоном, в то время как г-н де Германт, чтобы загладить невежливость Орианы, кланялся этой даме и пожимал руку мужу. «Ведь это же госпожа де Шоспьер, вы были очень невежливы!» — «Я не знаю, что это такое — Шоспьер!» — «Племянник старухи Шанливо». — «Я ничего этого не знаю. Кто эта женщина, почему она мне кланяется?» — «Вы всё свое, это же дочь госпожи де Шарлевалль, Анриетта Монморанси». — «Ах! Я прекрасно знала ее мать, она была прелестна, очень остроумна! Зачем она породнилась со всеми этими людьми, которых я не знаю? Вы говорите, она называется госпожа де Шоспьер?» — сказала она, произнося последнее слово по слогам, вопросительным тоном и как будто боясь ошибиться. Герцог бросил на нее суровый взгляд. «Называться Шоспьер — вовсе не так смешно, как вам, невидимому, кажется! Старик Шоспьер был братом Шарлевалль, уже названной, а также госпожи де Сенкур и виконтессы дю Мерлеро. Это люди почтенные!» — «Ах, довольно! — воскликнула герцогиня, которая, подобно укротительнице, желала никогда не показывать вида, будто ее пугают кровожадные взгляды хищника. — Базен, я не нарадуюсь на вас. Не знаю, где вы откопали все эти фамилии, но выражаю вам свое восхищение. Если Шоспьер для меня новость, то я читала Бальзака, не вы единственный, и я даже читала Лабиша. Я ценю Шанливо, я не против Шарлевалль, но признаюсь, что дю Мерлеро — верх совершенства. Впрочем, сознаетесь ли, что и Шоспьер — тоже совсем недурно. Вы собрали все это для коллекции, этого не может быть. Вот вы собираетесь писать книгу, — обратилась она ко мне, — вам следовало бы запомнить Шарлевалль и дю Мерлеро. Ничего лучше вы не найдете». — «Против него просто-напросто возбудят процесс, и он попадет в тюрьму; вы даете ему очень дурные советы, Ориана». — «Надеюсь за него, что к его услугам есть особы более молодые, если ему хочется выслушивать дурные советы, а главное — следовать им. Но если книга — самое дурное из всего, что он собирается натворить!..» В некотором отдалении мягко выделялась фигура гордой и очаровательной молодой женщины в белом тюлевом платье, усеянном брильянтами. Г-жа де Германт взглянула на нее, когда она обращалась к целой кучке гостей, замороженных ее прелестью.

— Ваша сестра везде самая красивая; она очаровательна сегодня, — сказала она, садясь на стул, принцу де Шиме, проходившему мимо. Полковник де Фробервиль (у него был дядя-генерал, носивший ту же фамилию) сел рядом с нами, так же как и г-н де Бреоте, меж тем как г-н де Вогубер, идя вразвалку (от избытка вежливости, не покидавшей его даже во время игры в теннис, причем он, вечно спрашивая позволения у всех важных лиц, прежде чем ловить мяч, неизбежно заставлял проигрывать своих партнеров), возвращался к г-ну де Шарлюсу (до сих пор почти совершенно закрытому огромной юбкой графини Моле, восхищавшей его более всех женщин, как он сам об этом заявлял), и случайно именно в тот момент, когда несколько членов одной из дипломатических миссий в Париже раскланивались с бароном. При виде молодого секретаря с исключительно умным лицом, г-н де Вогубер устремил к г-ну де Шарлюсу улыбку, в которой явно блистал только один вопрос. Быть может, г-н де Шарлюс охотно скомпрометировал бы кого-нибудь, но сам почувствовал себя скомпрометированным этой улыбкой, которая, исходя от другого, могла иметь только одно значение и раздражала его. «Я ничего решительно не знаю на этот счет, прошу вас держать ваше любопытство про себя. Оно оставляет меня более чем холодным. Впрочем, в данном случае вы делаете из ряда вон выходящую ошибку. Я считаю этого молодого человека совершенно противоположным тому, что вы думаете». Сейчас, рассерженный тем, что его тайну выдал глупец, г-н де Шарлюс говорил неправду. Если сказанное им было верно, то секретарь явился бы исключением в составе посольства. Действительно, в него входили весьма разные личности, из которых иные были чрезвычайно ничтожны, так что если бы кто и попытался открыть мотивы, которыми могли руководствоваться при выборе их, то причину удалось бы найти только в извращенности. Ставя во главе этого маленького дипломатического Содома посла, который, напротив, питал к женщинам комически преувеличенную любовь водевильного весельчака, который по всем правилам заставлял маневрировать свой батальон, наряженный в мужские костюмы, люди как будто повиновались закону контрастов. Несмотря на то, что было у него перед глазами, он не верил в извращенность. Он не замедлил это доказать, выдав свою сестру замуж за поверенного в делах, которого весьма ошибочно считал охотником до женщин. С той поры он стал представлять собой некоторую помеху и вскоре был заменен новым превосходительством, обеспечившим однородность всего состава. С этим посольством старались соперничать другие, но не могли его превзойти (подобно тому, как на всеобщем конкурсе какое-нибудь одно училище всегда выходит победителем), и понадобилось больше десяти лет, чтобы в это столь совершенное целое могли вкрасться чужеродные атташе, и другое посольство, отняв у него наконец роковую пальму первенства, могло оказаться впереди.

Успокоившись относительно пугавшей ее возможности беседы со Сваном, г-жа де Германт чувствовала теперь только любопытство, которое возбуждал в ней разговор, происходивший между ним и хозяином дома. «Вы не знаете, на какую тему?» — спросил герцог у г-на де Бреоте. — «Я слышал, — ответил тот, — что дело шло о маленькой пьеске, которую у них поставил писатель Бергот. Это, впрочем, было чудесно. Но говорят, что актер загримировался под Жильбера, которого к тому же господин Бергот действительно хотел изобразить». — «Вот как, мне было бы забавно посмотреть, как передразнивают Жильбера», — сказала герцогиня с мечтательной улыбкой. — «По поводу этого маленького спектакля, — продолжал г-н де Бреоте, выпячивая свою челюсть, которой он напоминал грызуна, — Жильбер и потребовал объяснений от Свана, ограничившегося ответом, который все нашли очень остроумным: «Да нет, ничуть, на вас это было вовсе непохоже, вы куда более комичны». Впрочем, — продолжал г-н де Бреоте, — говорят, что пьеска была очаровательна. Госпожа Моле была там, она страшно веселилась». — «Как, госпожа Моле ездит туда? — спросила удивленная герцогиня. — Ах! Наверно Меме все это устроил. Под конец так обычно и получается со всеми подобными местами. В один прекрасный день все начинают там бывать, а я, которая нарочно из принципа воздерживалась от этого, оказываюсь одна и скучаю в своем углу». После того, что рассказал сейчас г-н де Бреоте, герцогиня Германтская, как мы видим, уже изменила свою точку зрения (если не на салон Свана, то, по крайней мере, на возможность встретиться с ним самим через какую-нибудь минуту). «Объяснение, которое вы приводите, — сказал полковник де Фробервиль г-ну де Бреоте, — совершенно искусственно. У меня есть основания утверждать это. Принц просто-напросто напустился на Свана и, как говорили наши отцы, отказал ему от дома ввиду тех взглядов, которыми он хвастает. И, по моему мнению, мой дядя Жильбер не только тысячу раз прав, что напустился на Свана, уже полгода тому назад он должен был бы порвать с этим явным дрейфусаром».

Бедный г-н де Вогубер, превратившийся теперь из чрезмерно медлительного теннисиста в летающий по инерции теннисный мяч, который кидают без всякой осторожности, оказался отброшенным к герцогине Германтской, которой он засвидетельствовал свое почтение. Ориана приняла его довольно нелюбезно, пребывая в уверенности, что все дипломаты или политические деятели из ее круга — глупы.

Г-ну де Фробервилю не могло не пойти на пользу то благорасположение, которое с недавних пор стали оказывать в обществе военным. К несчастью, женщина, на которой он женился, если и была вполне бесспорной родственницей Германтов, то была вместе с тем родственницей крайне бедной, а так как сам он лишился своего состояния, то они ни с кем не поддерживали отношений и были из числа

тех, кого оставляют на стороне, кроме тех чрезвычайных случаев, когда на их удачу какой-нибудь родственник умирает или вступает в брак. Тогда они в самом деле приобщались к высшему свету, словно те католики по названию, которые лишь раз в год приближаются к алтарю. Их материальное положение было бы даже прямо бедственным, если бы г-жа де Сент-Эверт, верная привязанности, которую она питала к покойному генералу де Фробервилю, не оказывала им всяческой помощи в их домашнем быту, даря платья и доставляя развлечения двум его девочкам. Но полковник, слышавший добрым малым, душу имел неблагодарную. Он завидовал великолепиям благодетельницы, которая сама восхваляла их без устали и без меры. Ежегодная garden-party была для него, для его жены и его детей чудесным удовольствием, которое они за все золото в мире не согласились бы пропустить, но удовольствием, отравленным мыслью о тех радостях, которые оно доставляло самолюбию г-жи де Сент-Эверт. Газетные строки, возвещавшие эту garden-party и после обстоятельного описания заканчивавшиеся такой фразой: «Мы еще вернемся к этому прекрасному празднеству», хвалебные подробности о туалетах, сообщавшиеся несколько дней подряд, — все это было так болезненно для Фробервильей, что они, хотя удовольствия достаточно редко выпадали на их долю, а на это утреннее празднество они могли рассчитывать, все же каждый год доходили до пожеланий, чтобы дурная погода помешала его успеху, смотрели на барометр и с наслаждением ожидали приближения грозы, из-за которой торжество могло бы расстроиться.

— Я не стану спорить с вами о политике, Фробервиль, — сказал герцог Германтский, — но что касается Свана, то я смело могу оказать, по отношению к нам он вел себя неслыханно. Мне рассказывают, что он, которому мы, которому герцог Шартрский когда-то покровительствовали в свете, открыто стал дрейфусаром. Я никогда бы не поверил, что он на это способен, — он, тонкий гастроном, положительный ум, коллекционер, любитель старых книг, член Жокей-Клуба, человек, окруженный всеобщим уважением, знаток лучших марок, приславший нам лучший портвейн, какой вообще случалось пить, любитель искусств, отец семейства. Ах! Я очень обманулся. Не говорю о себе, известно, что я старик, мнение которого ничего не значит, в своем роде бродяга, но хотя бы уже ради Орианы он не должен был этого делать, ему следовало открыто отречься от евреев и от приверженцев осужденного.

«Да, после той дружбы, которую моя жена всегда выказывала ему, — продолжал герцог, видимо считавший, что осуждать Дрейфуса за государственную измену, каково бы в глубине души ни было ваше мнение насчет его виновности, в своем роде значило благодарить за тот прием, который ему оказывали в Сен-Жерменском предместье, — ему следовало заявить о своем несогласии. Ведь Ориана, спросите ее сами, действительно была к нему расположена». — Герцогиня подумала, что тон наивный и спокойный придаст больше искренности и драматичности ее словам, и проговорила наивным тоном школьницы, как бы давая правде сказываться самой и только сообщая выражению своих глаз которую меланхоличность: «Да, это правда, у меня нет никаких оснований скрывать, что я была искренно привязана к Шарлю». — «Вот вы видите, я же не заставлял ее говорить. И после этого он в своей неблагодарности доходит до того, что становится дрейфусаром!»

— Кстати, по поводу дрейфусаров, — заметил я, — говорят, принц Вон тоже принадлежит к ним. — «Ах, — воскликнул г-н де Германт, — вы хорошо сделали, что заговорили о нем, я чуть не забыл, что он звал меня обедать в понедельник. Но дрейфусар он или нет, — это мне совершенно безразлично, раз он иностранец. Мне на это наплевать. Для француза — это дело другое. Правда, что Сван — еврей. Но до этого дня — вы меня простите, Фробервиль, — я имел слабость думать, что еврей может быть французом, разумеется — еврей уважаемый, человек светский. А Сван им был в полном смысле слова. Ну что ж! Он заставляет меня признать, что я ошибся, раз он стал на сторону Дрейфуса (который, независимо от того, виновен он или невиновен, отнюдь не относится к его кругу и с которым он никогда бы не встретился) против общества, которое его усыновило, которое обращалось с ним как с одним из своих. Не приходится и говорить, все мы отвечали за Свана, за его патриотизм я готов был ручаться как за свой собственный. Ах! Он очень скверно отблагодарил нас. Признаюсь, что этого я никогда от него не ожидал. Я был лучшего мнения о нем. Он был умен (в своем роде, разумеется). Я, правда, знаю, что он уже сделал глупость, женившись так постыдно. А вот, знаете ли, кого очень огорчила женитьба Свана? Мою жену. У Орианы часто бывает то, что я называл бы притворной бесчувственностью. Но в сущности она необыкновенно сильно все переживает». Г-жа де Германт, в восторге от этого анализа ее характера, слушала с видом скромным, но ничего не говорила, совестясь соглашаться с похвалой, а главное — боясь прервать ее. Г-н де Германт мог бы говорить на эту тему целый час, а она оставалась бы еще более неподвижной, чем если бы слушала музыку. «Так вот! Я помню, что когда она узнала о женитьбе Свана, она почувствовала себя оскорбленной; она нашла, что это зло душой со стороны человека, которому мы выказывали такую дружбу. Она очень любила Свана; она очень была огорчена. Не правда ли, Ориана?» Г-жа де Германт сочла нужным ответить на столь прямо поставленный вопрос, позволявший ей подтвердить, не показывая вида, похвалы, которые, как она чувствовала, уже были кончены. Тонком робким и простым, приняв вид тем более неестественный, что он должен был выражать «чувство», она сказала сдержанно и мягко: «Это верно, Базен не ошибается». — «И все-таки это было еще не то. Что поделаешь? Любовь — любовью, хотя, на мой взгляд, она должна оставаться в известных пределах. Я еще извинил бы какого-нибудь юношу, какого-нибудь сопляка, увлекающегося утопиями. Но Сван, человек умный, заведомо чуткий, прекрасный знаток картин, свой человек у герцога Шартрского, даже у самого Жильбера!» В тоне, которым г-н де Германт говорил это, была абсолютная симпатия, без всякой тени той вульгарности, которую он слишком часто проявлял. Он говорил с грустью, смешанной с некоторым возмущением, но все в нем дышало той нежной важностью, что составляет широкое и мягкое обаяние иных персонажей Рембрандта, бургомистра Сикса например. Чувствовалось, что вопрос о безнравственности поведения Свана в деле Дрейфуса для герцога даже и не возникал, настолько она была несомненна, она печалила его как отца семейства, видящего, что один из его детей, для образования которого принесены были величайшие жертвы, сам по своей воле разрушает великолепное положение, созданное для него, и проказами, недопустимыми с точки зрения принципов или предрассудков семейства, позорит уважаемое имя. Правда, в свое время, узнав о том, что Сен-Лу — дрейфусар, г-н де Германт не выказывал столь глубокого и болезненного удивления. Но, во-первых, он смотрел на своего племянника как на молодого человека, который идет по дурному пути и который, пока не исправится, ничем не сможет удивить его, тогда как Сван был, пользуясь словами г-на де Германта, «человеком уравновешенным, человеком, занимающим положение первостепенное». А потом — и это самое важное, — прошел достаточно большой промежуток времени, в течение которого, хотя события с исторической точки зрения отчасти как будто и оправдали утверждения дрейфусаров, антидрейфусарская оппозиция все же усилилась вдвое и из чисто-политической, какой была сначала, превратилась в социальную. Теперь это был вопрос милитаризма, вопрос патриотизма, и волны гнева, поднявшиеся в обществе, успели достичь той силы, которой они никогда не имеют в начале бури. «Видите ли, — продолжал г-н де Германт, — даже с точки зрения своих мифических евреев, раз уж он безусловно желает их поддерживать, Сван совершил промах, последствия которого даже нельзя определить. Он доказал, что они как бы вынуждены оказывать поддержку человеку своего племени, даже если они его не знают. Это опасность для общества. Мы явно были слишком снисходительны, а бестактность, которую делает Сван, вызовет тем больший шум, что его уважали, даже принимали и что он был почти единственным известным нам евреем. Будут говорить: «Ab uno disce omnes». (И только удовлетворение от того, что он в

самую пору отыскал в своей памяти столь подходящее изречение, озарило улыбкию улыбкию меланхолию этого обманутого аристократа.)

Мне очень хотелось узнать, что в точности произошло между принцем и Сваном, и увидеть этого последнего, если он еще не ушел. «Должна вам сказать, — ответила мне герцогиня, с которой я поделился этим желанием, — что я особенно не стремлюсь видеть его, так как судя по тому, что мне сейчас говорили у госпожи де Сент-Эверт, ему как будто хочется, чтобы я, пока он еще не умер, познакомилась с его женой и дочерью. Боже мой, мне бесконечно грустно, что он болен, но, во-первых, я не верю, что это так уж опасно. А потом, в конце концов, это все-таки не основание, иначе все было бы слишком просто. Бесталанному писателю стоило бы только сказать: «Голосуйте за меня в Академии, потому что моя жена умирает, а я хочу доставить ей эту последнюю радость». На свете больше не осталось бы салонов, если бы надо было знакомиться со всеми умирающими. Мой кучер мог бы мне оказать: «Дочь моя очень больна, устройте, чтоб меня приняла принцесса Пармская». Я обожаю Шарля, и мне было бы очень огорчительно отказать ему, вот оттого-то я и предпочитаю избегать случая, при котором он мог бы попросить меня об этом. Я всей душой надеюсь, что он не умирает, как он сам говорит, но, право, если бы это и должно было случиться, сейчас для меня вовсе не время знакомиться с этими двумя существами, которые в течение пятнадцати лет лишали меня самого приятного из моих друзей и которых он оставил бы мне взамен как раз тогда, когда я даже не могла бы воспользоваться ими, чтобы видеть его, раз он к тому времени уже умер бы».

Но г-н де Бреоте все еще не пережил опровержения своих слов, которым его обидел полковник де Фробервиль. «Я, — сказал он, — не сомневаюсь в точности вашего рассказа, дорогой друг, но мои сведения — из достоверного источника. Мне их сообщил принц де-ла Тур д'Овернь».

— Удивляюсь, — прервал его герцог Германтский, — как это ученый, подобный вам, может еще говорить: принц де-ла Тур д'Овернь, — вы же знаете, что он не является им ни в малейшей мере. Остался всего только один член этой семьи. Это дядя Орианы, герцог Бульонский.

— Брат госпожи де Вильпаризи? — спросил я, вспоминая, что она была урожденная де Бульон. — «Совершенно верно. Ориана, госпожа де Ламбресак здороваается с вами». Действительно, было видно, как временами возникает и скользит, словно падучая звезда, слабая улыбка, предназначенная герцогиней де Ламбресак какому-нибудь лицу, узанному ею. Но вместо того, чтобы превращаться в действенное утверждение, в немой, но ясный язык, эта улыбка почти тотчас растворялась в своего рода идеальном экстазе, ничего не различавшем, меж тем как голова наклонялась с набожно благословляющим видом, словно голова какого-нибудь полурасслабленного прелата, наклоняющаяся над толпой причастников. Г-жа де Ламбресак отнюдь не была расслабленной. Но мне знаком был этот вид устарелой благовоспитанности. В Комбре и в Париже все приятельницы моей бабушки имели обыкновение раскланиваться в светском обществе с видом столь серафическим, как будто знакомого они встретили в церкви, в момент вознесения даров, или на похоронах, и вяло бросали ему приветствие, переходившее в молитву. Но вот фраза, сказанная г-ном де Германтом, дополнила сопоставление, которым я был занят. «Ведь вы же видели герцога Бульонского, — сказал мне г-н де Германт. — Он выходил из моего кабинета как раз, когда вы входили, — господин низенького роста и совсем седой». Это был тот самый, которого я принял за мелкого обывателя Комбре и сходство которого с г-жой де Вильпаризи я теперь, по размышлении, улавливал. Сходство мимолетных поклонов герцогини де Ламбресак с поклонами приятельниц моей бабушки заинтересовало меня, показывая, что в узких и замкнутых кругах, все равно — мелкобуржуазных или аристократических, — старинные манеры продолжают жить и позволяют нам, словно археологам, определять, чем было воспитание и душевные особенности, им отражаемые, в пору виконта д'Арленкура и Лоиза Пюже. Полное внешнее сходство между герцогом Бульонским и мелким обывателем Комбре того же возраста еще резче напомнило мне теперь (так сильно это поразило меня еще тогда, когда я увидел деда Сен-Лу по материнской линии, герцога Ларошфуко, на дагеротипе, где он по своей одежде, своему виду и манерам был абсолютно подобен моему двоюродному деду), что социальные, даже индивидуальные различия тонут на расстоянии в единообразии эпохи. Ведь на самом деле сходство одежд и дух эпохи, отражающийся на лице, занимают в человеке место настолько более значительное, чем то, которое каста занимает в его самолюбии и в воображении других, что, стараясь понять, насколько вельможа времен Луи-Филиппа менее отличается от буржуа времен Луи-Филиппа, чем от вельмож времен Людовика XV, мы вовсе не должны обзирать галереи Лувра.

В этот момент длинноволосый баварский музыкант, которому покровительствовала принцесса Германтская, поклонился Ориане. Она в ответ наклонила голову, но герцог, в ярости от того, что его жена здороваается с человеком, с которым он не знаком, у которого странная внешность и, как считал г-н де Германт, весьма дурная репутация, обернулся к жене с видом грозным и вопросительным, словно хотел сказать: «Что это за готтентот?» Положение бедной г-жи де Германт было уже достаточно сложное, и если бы музыкант немножко сжалился над этой женой-мученицей, он удалился бы как можно скорее. Но потому ли, что он не хотел проглотить оскорбление, нанесенное ему публично, среди самых старых друзей герцога и его круга, присутствие которых все-таки, быть может, немного оправдывало его безмолвный поклон, и старался показать, что он имел все основания, и отнюдь не как незнакомый, поклониться ей, — потому ли, что он повиновался темной и непреодолимой силе того промаха, который заставлял его — в минуту, когда скорее следовало бы довериться разуму, — выполнять все правила светского кодекса, — музыкант еще ближе подошел к г-же де Германт и сказал ей: «Госпожа герцогиня, я хотел бы попросить о чести быть представленным герцогу». Г-жа де Германт была в большом отчаянии. Но в конце концов, пусть она и являлась обманутой женой, все-таки она была герцогиня Германтская и не могла показывать вида, что у нее отнято право — представлять мужу людей, с которыми она знакома. «Базен, — сказала она, — позвольте мне представить вам господина д'Эрвека».

— Не стану вас спрашивать, будете ли вы завтра у госпожи де Сент-Эверт, — сказал полковник де Фробервиль г-же де Германт, чтобы рассеять тягостное впечатление, вырванное неуместной просьбой г-на д'Эрвека. — Там будет весь Париж. — Меж тем, круто и внезапно повернувшись к нескромному музыканту и оказавшись прямо против него, герцог Германтский, монументальный, немой, разъяренный, с глазами, сверкающими от гнева и удивления, со взбитыми волосами, словно подымающимися над кратером вулкана, подобный Юпитеру, мечущему грома, оставался неподвижен в течение нескольких секунд. Потом, как бы охваченный резким порывом, только и позволявшим ему оказать ту любезность, о которой его просили, и своей вызывающей позой как будто призвав всех присутствующих в свидетели того, что он не знает баварского музыканта, заложив за спину руки в белых перчатках, подался вперед и отвесил музыканту поклон, столь низкий, полный такого изумления и такой ярости, такой стремительный, такой грубый, что трепещущий артист, кланяясь, попятился назад, дабы избежать страшного удара головой в живот. «Но меня-то как раз и не будет в Париже, — ответила герцогиня

Ковнику в Монфор-л'Амори. — Должна вам сказать (а в этом не следовало бы признаваться), что я дожила до моих лет, никогда не выдав росписи окон в Монфор-л'Амори. Это позорно, но это так. И вот, чтобы загладить свое преступное невежество, я дала обещание — поехать завтра посмотреть на них». Г-н де Бреоте лукаво улыбнулся. Действительно, он понял, что если уж герцогиня смогла дожить до своих лет, не дав росписи окон в Монфор-л'Амори, то эта художественная поездка не имеет характера внезапного и неотложного решения, еще не успевшего «остыть», и могла бы без всякого ущерба быть отложена на двадцать четыре часа, после того как ее откладывали двадцать пять лет. Замысел, возникший у герцогини, заключался просто в том, чтобы в духе Германтов провозгласить, что салон Сент-Эверт отнюдь не является подлинно порядочным местом, что это — место, куда вас приглашают с расчетом сделать из вас украшение для отчета в «Gaulois», место, которое будет накладывать печать особой изысканности на тех — или во всяком случае, если она окажется в одиночестве, на ту, — кого там не удастся увидеть. Изящно-лукавая радость г-на де Бреоте, усиленная от того поэтического удовольствия, которое светские люди получали, наблюдая, как г-жа де Германт делает вещи, недоступные им в силу их менее высокого положения, но сами по себе вызывавшие у них ту улыбку, что бывает на устах прикованного к земле крестьянина, когда он видит, как над его головой проносятся люди более свободные и более счастливые, — это изящное удовольствие ничего общего не имело с маскированным, но безумным восторгом, который тотчас же ощутил г-н де Фробервиль.

От усилий, которые делал г-н де Фробервиль, чтобы другие не слышали его смеха, он покраснел как рак, и, несмотря на это, перемежая свои слова звуками радостной икоты, он все же воскликнул жалостливым тоном: «Ах! Бедная тетушка Сент-Эверт, она от этого заболеет! Нет! Несчастливая не увидит своей герцогини, — какой удар, ведь этим ее можно уморить!» — прибавил он, корчась от смеха. В своем упоении он не мог удержаться, чтобы не притопывать ногой и не потирать себе руки. Одним лишь глазом и углом рта улыбаясь г-ну де Фробервилю, любезное намерение которого она умела оценить, но не столь снисходительная к смертельной скуке, навеваемой им, г-жа де Германт в конце концов решила его покинуть.

— Послушайте, мне придется пожелать вам доброго вечера, — сказала она ему, вставая с видом меланхолического смирения, словно это было для нее несчастье. Таковы были чары ее синих глаз, что и голос ее, нежно-музыкальный, наводил на мысль о жалобах какой-нибудь волшебницы. — Базен хочет, чтобы я пошла немного поговорить с Мари. — В действительности же ей надоело слушать Фробервиля, который уже не переставал завидовать ей, что она поедет в Монфор-л'Амори, меж тем как она прекрасно знала, что он впервые в жизни слышит о росписи тамошних окон, и что, с другой стороны, он ни за что на свете не пропустил бы утреннего праздника у Сент-Эверт. — Прощайте, мы едва только начали разговаривать, так всегда в свете, не видишься друг с другом, не говоришь того, что хотелось бы сказать, — впрочем, в жизни везде одно и то же. Будем надеяться, что после смерти это будет лучше устроено. По крайней мере, не надо будет вечно ходить с открытой шеей. И еще как знать? Может быть, для больших торжеств надо будет вытаскивать свои кости и своих червей. Отчего бы и нет? Вот взгляните на старуху Рампильон, разве вы находите большое различие между ней и скелетом в открытом платье? Правда, что на это у нее полное право, ведь ей, по меньшей мере, сто лет. Когда я еще только начинала выезжать, она уже была одним из тех отъявленных чудищ, которым я отказывалась свидетельствовать свое почтение. Я давно уже считала ее мертвой; что, впрочем, было бы единственным объяснением того зрелища, которое она являет нам. Это потрясающе, в этом есть что-то церковное. Словно на Кампо-Санто. — Герцогиня отошла от Фробервиля; он снова к ней приблизился: «Мне хотелось бы напоследок сказать вам два слова». — «Что еще?» — высокомерно спросила она, немного раздраженная. А он, побоявшись, что в последний момент она откажется от Монфор-л'Амори: «Об этом я не решался сказать из-за госпожи де Сент-Эверт, чтобы не причинить ей огорчения, но раз вы не собираетесь к ней, то я могу сказать вам, что радуюсь за вас, так как в доме у нее корь!» — «Ах! Боже мой! — сказала Ориана, боявшаяся болезней. — Но мне-то это все равно, я болела ею. А второй раз она не бывает». — «Это врачи так говорят; я знаю людей, у которых она была до четырех раз. Но как бы то ни было, вы предупреждены». Что же касается его, то лишь в том случае, если бы он действительно был болен этой вымышленной корью и прикован к постели, он согласился бы пропустить праздник у Сент-Эверт, ожидаемое столько месяцев. Он имел бы удовольствие видеть там столько изысканных лиц! Имел бы еще большее удовольствие констатировать некоторые неудачные моменты, а главное — быть в состоянии еще долго хвастаться, — с кем он общался там, и, преувеличивая или измышляя, сокрушаться о неудачах.

Я воспользовался тем, что герцогиня перешла на другое место, и тоже встал, чтобы направиться в курительную справиться о Сване. «Не верьте ни одному слову из того, что рассказывал Бабал, — сказала она мне. — Маленькая Моле никогда бы не полезла в такое место. Нам это рассказывают для того, чтобы нас привлечь. Они никого не принимают и никуда не получают приглашений. Он сам признается: «Мы сидим в одиночестве у нашего камина». Так как это «мы» он говорит не в том смысле, как говорит король, а имея в виду свою жену, то я не возражаю. Но я прекрасно осведомлена», — прибавила герцогиня. В эту минуту мы — герцогиня и я — повстречались с двумя молодыми людьми, которые своей яркой, но непохожей красотой обязаны были одной и той же женщине. Это были сыновья г-жи де Сюржи, новой любовницы герцога Германтского. Совершенства матери блистательно отражались в них, но в каждом — по-разному. Одному перешла, сохраняя и в мужественном теле свои колеблющиеся очертания, царственная величественность г-жи де Сюржи, и та же горячая, золотистая, священная бледность прилиwała к мраморным щекам матери и этого сына; но его брату достались от нее греческий лоб, безукоризненный нос, скульптурная шея, бездонные глаза; созданная из различных даров, которые богиня распределила между ними, их двуединая красота доставляла вам умозрительное удовольствие, — вызывая мысль о том, что источник этой красоты находится вне их; можно было бы сказать, что основные свойства матери воплотились в два различных тела, что один из этих молодых людей воплотил в себе ее осанку и цвет ее лица, а другой — ее взгляд, подобно тем божественным существам, которые были не чем иным, как силою или красотой Юпитера или Минервы. Полный уважения к г-ну де Германту, о котором оба они говорили: «Это большой друг наших родителей», старший все же счел более осторожным не кланяться герцогине, о враждебности которой к его матери он, не понимая, может быть, ее причины, знал, и, увидев нас, слегка повернул голову в сторону. Младший брат, всегда подражавший старшему, так как, будучи глуп и вдобавок близорук, он не решался иметь собственное мнение, наклонил голову под тем же углом, и оба они проскользнули в залу, где шла игра, один вслед за другим, словно две аллегорические фигуры.

Подходя к этой зале, я был остановлен маркизой де Ситри, еще по-прежнему красивой, но сейчас — чуть ли не с пеной у рта. Будучи довольно аристократического происхождения, она стремилась сделать блестящую партию, что и осуществила, выйдя замуж за г-на де Ситри, чья прабабушка была Омаль-Лоррен. Но едва только испытал это удовлетворение, она под влиянием своего характера, все отрицающего, почувствовала отвращение к людям высшего общества, не вполне исключавшее, однако, светскую жизнь. Мало того, что на каком-нибудь вечере она издевалась над всеми, — в этих шутках было нечто столь резкое, что и самый смех оказывался недостаточно жестким и превращался в гортанный свист. «Ах! — сказала она мне, показывая на герцогиню Германтскую, только что расставшуюся со мной и уже отошедшую на некоторое расстояние. — Меня поражает, что она может вести такую жизнь». Кем были

принесены эти слова — разъяренной ли святой, удивляющейся тому, что язычники не сами приходят к истине, или анархистом, жаждущим резни? Во всяком случае это восклицание было столь же неоправданно, сколь неправдоподобно. Во-первых, «жизнь, которую вела» г-жа де Германт, очень мало отличалась (если не считать возмущения) от той, которую вела г-жа де Ситри. Г-жа де Ситри изумлялась тому, что герцогиня способна принести столь страшную жертву — присутствовать на вечере у Мари-Жильбер. В данном случае надо отметить, что г-жа де Ситри весьма любила принцессу, действительно очень добрую, и знала, что, приехав к ней на вечер, она доставит ей большое удовольствие. Недаром, чтобы попасть на это празднество, она отменила одну танцовщицу, в которой видела талант и которая должна была приобщить ее к таинствам русской хореографии. Другая причина, обесценивавшая скрытую ярость, которую ощущала г-жа де Ситри, видя, как Ориана здороваается с тем или другим гостем или гостьей, заключалась в том, что г-жа де Германт, — правда, в гораздо менее развитой форме, — обнаруживала симптомы того же недуга, который терзал г-жу де Ситри. Мы, впрочем, видели, что зародыши его она носила в себе с самого рождения. В конце концов, г-жа де Германт, будучи умнее, чем г-жа де Ситри, имела бы больше прав на такой нигилизм (менее всего светский), но правда, что иные достоинства скорее помогают переносить недостатки ближнего, чем заставляют страдать из-за них; и человек больших дарований, как правило, придаст меньше значения чужой глупости, чем это сделал бы глупец. Мы достаточно обстоятельно описывали характер ума герцогини, чтобы убедиться, что если он ничего не имел общего с каким-нибудь высоким интеллектом, это был все же ум, ловко умеющий (подобно переводчику) применять различные формы синтаксиса. Но как будто у г-жи де Ситри не было ничего такого, что давало бы ей право презирать в других свойства, столь близкие ей самой. Она считала всех идиотами, но в своем разговоре, в своих письмах скорее, казалось, уступала тем людям, к которым проявляла такое презрение. Впрочем, жажда разрушения была у нее столь сильна, что после того, как г-жа де Ситри почти отказалась от светского общества, другие удовольствия, к которым она обратилась, одно за другим испытали на себе ее страшную разлагающую силу. Перестав ездить на вечера, чтобы слушать музыку, она принялась говорить: «Вам это нравится — слушать музыку? Ах, боже мой! Это зависит от данного момента. Но как это иногда может быть скучно! Ах! Бетховен! Тошно!» Что до Вагнера, а впоследствии Франка, затем Дебюсси, она даже не давала себе труда говорить «тошно» и ограничивалась тем, что подносила руку к горлу.

Вскоре скучным стало все. «Это так скучно — красивые вещи. Ах, картины — можно умереть от тоски. Как вы правы, это так скучно — писать письма». Наконец она объявила нам, что и самая жизнь — желтая скука, причем так и осталось неизвестно, откуда она почерпнула сравнение.

Не знаю, вследствие ли того, что говорила об этой комнате герцогиня Германтская, когда я обедал у нее в первый раз, но игорная зала или курительная, с ее узорным полом, ее треножниками, фигурами богов и животных, глядевших на вас, сфинксами, вытянувшимися на ручках кресел, а главное — огромным столом из мрамора или блестящей мозаики, покрытым символическими знаками, которые более или менее являлись подражанием этрусскому или египетскому искусству, — эта игорная зала произвела на меня впечатление поистине волшебной комнаты. А в кресле, придвинутом к сверкающему столу, г-н де Шарлюс, сам не притрагивавшийся ни к одной карте, бесчувственный к тому, что происходило вокруг него, неспособный заметить, что я сейчас вошел, казался именно волшебником, применяющим всю силу своей воли и своего разума, чтобы составить гороскоп. Мало того, что у него, словно у пифии, восседающей на треножнике, глаза выступали из орбит: он даже, дабы ничто не могло отвлечь его от трудов, требовавших прекращения самых простых движений, и уподобляясь математику, не желавшему заниматься ничем посторонним, пока он не решит задачу, положил подле себя сигару, которую незадолго до того держал во рту, но теперь не в силах был курить, так как для этого ему уже не хватало необходимой свободы сознания. При виде двух божественных существ, которые, вытянувшись, держали своими лапами кресло, стоявшее напротив, можно было подумать, что барон пытается разрешить загадку сфинкса, если бы это скорее не была загадка молодого и живого Эдипа, как раз и сидевшего в этом кресле, в которое он опустился, чтобы начать игру. А черты, на которых г-н де Шарлюс сосредоточил, и с таким напряжением, все свои умственные способности и которые, по правде говоря, не принадлежали к числу тех, что обычно изучаются *more geometrico*, были чертами лица молодого маркиза де Сюржи; г-н де Шарлюс так глубоко был погружен в их созерцание, что казалось, будто это — некое косоугольное начертание, некий ребус, в загадку которого он хотел бы проникнуть, или алгебраическая задача, формулу которой он хотел бы раскрыть. Таинственные знаки и письмена, начертанные перед ним на этой скрижали Завета, представлялись темной речью, которая должна была позволить старому колдуну узнать, в каком направлении определятся судьбы молодого человека. Внезапно барон заметил, что я на него смотрю, поднял голову, как будто пробуждаясь от сна, и, краснея, улыбнулся мне. В этот миг другой сын г-жи де Сюржи подошел к тому, который играл, чтобы взглянуть на его карты. Когда г-н де Шарлюс узнал от меня, что они братья, лицо его не могло не выразить восхищения, которое внушала ему семья, создавшая столь великолепные и столь несхожие шедевры. А восторг барона еще усугубился бы, если бы он узнал, что сыновья г-жи де Сюржи-ле-Дюк были не только от одной матери, но и от одного отца. Дети Юпитера непохожи друг на друга, но это происходит оттого, что сперва он женился на Метиде, которой суждено было родить на свет разумных детей, затем на Фемиде, а потом — на Эвриноме и Мнемозине и Лето и лишь в последнюю очередь — на Юноне. Но у г-жи де Сюржи от одного мужа родилось два сына, которым от нее досталась в дар красота, но каждому — красота различная.

Наконец, к моему удовольствию Сван вошел в эту комнату, которая была очень обширна, так что сперва он меня не увидел. Удовольствие это было смешано с грустью, которой, может быть, не осознавали другие гости, но которая заключалась для них в тех особых чарах, что исходят от неожиданных и странных форм близкой смерти, — той смерти, которая, как говорит народ, уже написана на лице. И с почти невежливым изумлением, выражавшим и нескромное любопытство и жестокость, с видом спокойным и вместе с тем озабоченным (одновременно сочетавшим в себе и «*suave mari magno*» и «*memento quia pulvis*», как сказал бы Робер) все устремили взгляды на это лицо, щеки которого, словно месяц на ущербе, были до того изглоданы болезнью, что только под одним определенным углом, — наверно, тем самым, под которым Сван смотрел на себя в зеркало, — они не обрывались внезапно, подобно непрочной декорации, которая только благодаря оптической иллюзии может казаться чем-то плотным. Может быть впрочем, в эти последние дни раса с большей резкостью заставила выступить в нем физические черты, характеризующие ее, так же как и чувство нравственной солидарности с другими евреями, — солидарности, о которой Сван всю жизнь как будто забывал и которую, затронув его друг за другом, в нем пробудили смертельная болезнь, дело Дрейфуса и антисемитская пропаганда. Он, с его лицом, в котором, под влиянием болезни, исчезли целые сегменты, словно в глыбе тающей льды, от которой отваливаются целые куски, разумеется, очень изменился. Но я не мог не поражаться, насколько сильнее он изменился по отношению ко мне. Я не мог понять, как этого прекрасного, просвещенного человека, которого мне вовсе не неприятно было встретить, я когда-то мог наделять такой таинственностью, что его появление в Елисейских Полях заставляло биться мое сердце, что я стыдился подойти ближе к его пелерине с шелковой подкладкой, что у дверей квартиры, где жило подобное существо, я даже позвонить не мог без волнения и несказанного страха, который охватывал меня; все это

теперь исчезло не только из его лица, но и из его личности, и мысль о разговоре с ним могла мне быть приятна или неприятна, но ни в какой мере не затрагивала моей нервной системы.

И кроме того — как он изменился с тех пор, как я его встретил нынче днем — всего несколько часов тому назад, — в кабинете герцога Германтского. В самом ли деле произошла у него сцена с принцем, расстроившая его? В этом предположении не было необходимости. Незначительнейшие усилия, которых требуют от тяжелобольного, становятся для него источником крайнего переутомления. Стоит лишь ему, уже усталому, попасть куда-нибудь на вечер, где жарко, и вот лицо его искажается и синеет, как это менее чем за один день случается с чрезмерно спелой грушей или молоком, готовым свернуться. К тому же волосы Свана местами поседели и, как говорила г-жа де Германт, нуждались в услугах скорняка, казались пропитанными — и притом неудачно пропитанными — камфорой. Я собирался перейти на другой конец курительной и заговорить со Сваном, как вдруг, к несчастью, чья-то рука опустилась мне на плечо.

— Здравствуй, дорогой, я в Париже на двое суток. Я проехал к тебе, мне сказали, что ты здесь, таким образом моя тетка обязана тебе моим присутствием на ее празднестве. — Это был Сен-Лу. Я сказал ему, каким прекрасным кажется мне этот дом. — Да, он в достаточной мере имеет вид исторического памятника. По-моему это убийственно. Не будем близко подходить к моему дяде Паламеду, а то он завладеет нами. Так как госпожа Моле только что уехала (а это ведь она сейчас пользуется всеми привилегиями), он остался совершенно покинутый. Говорят, это был прямо спектакль, он не отходил от нее ни на шаг, расстался с нею только тогда, когда посадил ее в экипаж. Я не сержусь за это на моего дядю, но только по-моему смешно, что семейный совет, всегда проявлявший ко мне такую строгость, состоит именно из тех родственников, которые более всех кутили, начиная с главного гуляки — моего дяди Шарлюса, заменяющего мне опекуна, у которого женщин было не меньше, чем у Дон-Жуана, и который, дожив до такого возраста, все не унимается. Одно время шла речь о том, чтобы учредить надо мной официальную опеку. Я думаю, когда все эти старые греховодники собирались для обсуждения вопроса и призывали меня, чтобы прочесть наставление и сказать мне, что я огорчаю мою мать, они, наверно, без смеха не могли глядеть друг на друга. Посмотри, из кого составился этот совет — как будто нарочно выбрали тех, которые более всех бегали за бабами. — Не говоря о г-не де Шарлюсе, по адресу которого удивление моего друга казалось мне не более обоснованным, а по иным причинам, которые, впрочем, позднее должны были измениться в моем представлении, Робер был весьма неправ, находя необыкновенным то, что уроки благоразумия дают молодому человеку родственники, которые сами занимались шалостями или продолжают заниматься ими и сейчас.

Если бы дело заключалось только в атавизме, в семейных сходствах, — и то было бы неизбежно, чтоб у дяди, делающего выговор, оказывались примерно такие же недостатки, как и у племянника, которого ему поручили отчитать. Дядя, впрочем, не лицемерит, будучи введен в обман человеческой способностью — думать при каждом новом случае, что здесь «дело другое», — способностью, позволяющей людям впадать в заблуждения художественные, политические и т. д., не замечая, что это — те самые, которые они принимали за истины десять лет тому назад — в связи с другой школой живописи, осуждаемой ими, другим политическим делом, заслуживавшим, как им казалось, их ненависти; те самые, от которых они освободились и к которым возвращаются, не узнавая их в новом обличье. Впрочем, даже если проступки дяди отличны от проступков племянника, наследственность тем не менее в известной мере может играть здесь причинную роль, ибо следствие не всегда похоже на причину, как копия — на оригинал, и даже если проступки дяди еще хуже, он вполне может считать их менее серьезными.

Когда г-н де Шарлюс с возмущением упрекал Робера, впрочем, не знавшего еще о настоящих вкусах своего дяди, хотя бы даже это происходило в ту пору, когда барон сам клеймил свои собственные вкусы, он вполне мог быть искренен, находя с точки зрения светского человека, что Робер бесконечно более виноват, чем он. Разве в тот момент, когда дяде было поручено образумить его, Робер не подвергался опасности оказаться изгнанным из своего круга? Разве много еще нужно было для того, чтобы его забаллотировали в Жокей-Клубе? Не давал ли он повода для насмешек безумными тратами, которые делал ради женщины самого последнего разбора, своими дружескими связями со всякими людьми — писателями, актерами, евреями, из которых ни один не принадлежал к обществу, — своими взглядами, не отличавшимися от мнений предателей, болью, которую он причинял всем своим? Чем могла она быть похожа, эта скандальная жизнь, на жизнь г-на де Шарлюса, который до сих пор сумел не только сохранить, но еще и возвысить свое положение как члена рода Германтов, являясь в свете абсолютно привилегированным существом, знакомства с которым добиваются, которому льстят в самом избранном обществе и которое, будучи женато на принцессе Бурбонской, женщине замечательной, сумело дать ей счастье, посвятило ее памяти культ более ревностный, более строгий, чем это принято в свете, и таким образом явилось столь же хорошим мужем, как и сыном!

— Да ты уверен, что у господина де Шарлюса было столько любовниц? — спросил я, — разумеется, не с сатанинской целью открыть Роберу тайну, обнаруженную мной, но все же потому, что был раздражен, слыша, как он с такой уверенностью и самонадеянностью делает неверное утверждение. Он только пожал плечами в ответ на то, что ему представлялось наивностью с моей стороны. «Но, впрочем, я не осуждаю его за это, я нахожу, что он совершенно прав». И он стал набрасывать теорию, которая внушила бы ему ужас в Бальбеке (где он считал недостаточным заклеить соблазнителя, ибо смерть казалась ему единственной карой, соразмерной с преступлением). Ведь тогда он был еще влюблен и ревнив. Он дошел до того, что стал хвалить мне дома свиданий. «Только там и находишь обувь по ноге, — то, что в полку мы называем нашим габаритом». К этого рода местам он больше не испытывал того отвращения, которое наполнило его в Бальбеке, когда я намекнул на них, и, услышав теперь его суждение, я сказал ему, что Блок ознакомил меня с ними, но Робер мне ответил, что дом, куда водил меня Блок, должен был быть «чем-нибудь чрезвычайно жалким, раем бедняка». «Впрочем, это в конце концов зависит от того, где это было». Я дал неопределенный ответ, ибо помнил, что действительно там-то и отдавалась за один луи та самая Рашель, которую так любил Робер. «Во всяком случае я покажу тебе дома гораздо лучшие, где есть потрясающие женщины». Услышав о моем желании, чтобы он как можно скорее сводил меня в эти дома, которые ему были известны и в самом деле должны были стоять много выше того дома, куда водил меня Блок, он выказал искреннее сожаление по поводу того, что не может исполнить мою просьбу в этот раз, так как завтра ему предстояло уехать. «Это будет в следующий мой приезд, — сказал он. — Ты увидишь, там даже есть молодые девушки, — прибавил он таинственным тоном. — Там есть одна девочка, мадмуазель де... кажется д'Оржевиль, могу сказать тебе совершенно точно — дочь таких людей, что лучше и не бывает; мать — как будто урожденная Ла-Круа-л'Эвек, это люди из самого избранного общества, даже, если не ошибаюсь, родственники моей тетки Орианы. Впрочем, стоит только посмотреть на девочку, — сразу чувствуешь, что она из хорошей семьи (я почувствовал, как на голос Робера уронил на один миг свою тень дух Германтов, точно облако, пронесшееся на огромной высоте и не остановившее своего полета). — На мой взгляд это что-то совсем удивительное. Родители вечно больны и не могут заниматься ею. Конечно, девочка развлекается, и я

рассчитываю, что тебе удастся повеселить эту малютку!» — «О! А когда ты приедешь опять?» — «Не знаю; если тебе не обязательно требуются герцогини (а титул герцогини являлся в среде аристократии единственным, означавшим положение исключительно-блестящее, — в том смысле, как в народе говорят о принцессах), — то имеется еще, совсем в другом роде, камеристка госпожи Пютбю».

В эту минуту в гостиную вошла г-жа де Сюржи, разыскивавшая своих сыновей. Увидев ее, г-н де Шарлюс пошел к ней навстречу с любезностью, тем более приятно поразившей маркизу, что она ожидала большей сухости от барона, который всегда держал себя как защитник Орианы и единственный из всей семьи, — слишком часто снисходительной к прихотям герцога, чему причиной было его наследство и ревность по отношению к герцогине, — неумолимо держал на почтительном расстоянии любовниц своего брата. Вот почему г-жа де Сюржи прекрасно поняла бы причины того отношения, которого опасалась со стороны барона, но ни в какой мере не догадывалась, чем вызван совершенно иной прием, который она встретила у него. Он с восхищением заговорил с ней о портрете, который когда-то писал с нее Жаке. Это восхищение даже усилилось до степени восторга, который, если отчасти и имел известную цель — помешать маркизе отойти дальше, «сковать» ее, как говорил Робер о попытках задержать военные силы противника на определенном месте, все же, пожалуй, был и столь же искренен. Ибо если всякий рад был любоваться в сыновьях г-жи де Сюржи царственной осанкой и глазами их матери, то барон мог испытывать обратное, но столь же живое удовольствие, видя сочетание этих чар в их матери, как бы в портрете, который сам не порождает желаний, но питает эстетическим восторгом, им внушаемым, желания, воскресшие благодаря ему. Желания эти ретроспективно придавали сладострастное очарование портрету Жаке самому по себе, и в этот момент барон охотно приобрел бы его, чтобы изучить по нему физиологическую генеалогию обоих сыновей Сюржи.

— Ты видишь, что я не преувеличиваю, — сказал мне Робер. — Посмотри-ка на моего дядю, как он усердствует перед госпожой де Сюржи. И здесь это меня даже удивляет. Если бы Ориана знала об этом, она была бы в ярости. Откровенно говоря, достаточно есть женщин, и нечего устремляться именно вот к этой, — прибавил он. — Как все люди, которые не влюблены, он воображал, что любимого человека выбирают после бесконечных размышлений и в зависимости от разных качеств и светских условностей. Впрочем, хотя и ошибаясь насчет своего дяди, которого он считал поклонником женщин, Робер в своем гневе слишком легкомысленно отзывался о г-не де Шарлюсе. Не всегда безнаказанно можно быть племянником того или иного человека. Очень часто через него рано или поздно передается какая-нибудь наследственная привычка. Так можно было бы создать целую портретную галерею, носящую заглавие немецкой комедии: «Дядя и племянник», где было бы видно, как дядя ревниво, хотя и бессознательно, следит за тем, чтобы племянник в конце концов был на него похож.

Я даже прибавлю, что эта галерея была бы неполной, если бы в ней не были представлены дядья, отнюдь не являющиеся настоящими родственниками, поскольку они приходятся дядьями лишь жене племянника. Г-да Шарлюсы, действительно, так убеждены в том, что они — единственно хорошие мужья, к тому же и единственные, которых жена не станет ревновать, что обычно из привязанности к своей племяннице они выдают ее замуж тоже за какого-нибудь Шарлюса. Вследствие чего клубок сходств запутывается. И к привязанности, питаемой к племяннице, порою присоединяется привязанность к ее жениху. Такие браки нередки и часто бывают тем, что называется счастливым браком.

— О чем мы говорили? Ах, да, об этой высокой блондинке, камеристке г-жи Пютбю. Она любит также и женщин, но я думаю, тебе это безразлично; могу сказать тебе прямо, что никогда не видел существа более прекрасного. — «Я представляю ее себе во вкусе Джорджоне?» — «Настолько Джорджоне, что можно с ума сойти! Ах, если бы я мог проводить время в Париже, сколько чудных вещей можно было бы проделать! А потом — идешь к другой. Потому что ведь любовь — это, знаешь ли, такая ерунда, я от нее совсем отделался». Я вскоре с удивлением заметил, что он не в меньшей степени отделался и от литературы, тогда как при нашей последней встрече мне показалось, что он только трезвее стал смотреть на литераторов («почти все они — сволочь и К°», — сказал он мне, что могло объясняться его злобой, справедливо заслуженной некоторыми из друзей Рашели. Они действительно убедили ее в том, что у нее никогда не будет таланта, если она позволит «Роберу, человеку другой расы» оказывать на нее влияние, и вместе с нею издевались над ним, в его присутствии, на обедах, которые он им же и задавал). Но на самом деле любовь Робера к литературе несколько не отличалась глубиной — она не вытекала из его подлинной сущности, она была лишь следствием его любви к Рашели и исчезла вместе с его отвращением к любителям удовольствий и его благоговейным преклонением перед женской добродетелью.

— Какой странный вид у этих двух молодых людей. Посмотрите, маркиза, на эту замечательную страсть к игре, — сказал г-н де Шарлюс, указывая г-же де Сюржи на обоих ее сыновей, как будто он совершенно не знал, кто они такие. — Они, наверно, с Востока, у них есть некоторые характерные черты, может быть это турки, — прибавил он, чтобы еще раз подтвердить свою притворную невинность и в то же время выказать смутную антипатию, которая впоследствии, уступив место любезности, должна была доказать, что эта любезность обращена к ним только как к сыновьям г-жи де Сюржи и возникла только тогда, когда барон узнал, кто они такие. Может быть также, г-н де Шарлюс, у которого дерзость была природным даром и который с радостью упражнялся в ней, пользовался минутой, в течение которой он мог не знать, как зовут этих двух молодых людей, чтобы позабавиться над г-жой де Сюржи и предаться обычным своим насмешкам, — подобно тому, как Скапен пользуется тем, что господин его перерядился, и осыпает его палочными ударами.

— Это мои сыновья, — сказала г-жа де Сюржи, покраснев, чего не случилось бы с нею, если б она была более проникательна, не будучи и более добродетельна. Она поняла бы тогда, что абсолютно равнодушный или насмешливый тон, который г-н де Шарлюс принимал в отношении какого-нибудь молодого человека, был не более искренен, чем тот совершенно напускной восторг, который он проявлял по адресу женщин и который не выражал истинной сущности его характера. Та, к которой он без конца мог обращаться с самыми хвалебными речами, могла бы почувствовать ревность, увидев взгляд, который он, разговаривая с ней, бросал на какого-нибудь мужчину, якобы незамеченного им, как он притворялся потом. Ибо это был взгляд иной, чем те, которыми г-н де Шарлюс смотрел на женщин, — взгляд особенный, зародившийся в глубинах, взгляд, который даже где-нибудь на вечере не мог не направляться со всей наивностью на молодых людей, подобно тому, как взгляд портного выдает его профессию, немедленно приковываясь к одеждам.

— Ах, как это любопытно, — не без вызова ответил г-н де Шарлюс, с таким видом, как будто мысль его проделала долгий путь, чтобы привести его к действительности, столь отличной от той, которую он предполагал. — Но я с ними незнаком, — прибавил он, опасаясь, что в выражении своей антипатии зашел слишком далеко и парализовал намерение маркизы познакомить его с ними. «Не разрешите ли вы мне представить их вам?» — робко спросила г-жа де Сюржи. — «Ах, боже мой! Я-то рад, как вы можете себе представить, может быть только я не очень интересное лицо для таких молодых людей», — прогнул г-н де Шарлюс холодным и нерешительным тоном человека,

которого силой заставляют оказывать любезности.

— Арнюльф, Викторньен, идите скорей, — сказала г-жа де Сюржи. Викторньен встал, колеблясь, Арнюльф, не видевший дальше своего брата, покорно последовал за ним.

— Теперь очередь за сыновьями, — сказал мне Робер. — Можно умереть от смеха. Он всем, вплоть до хозяйской собаки, старается угодить. Это тем более смешно, что мой дядя терпеть не может мальчишек. А смотри, как серьезно он их слушает. Если бы я захотел представить их ему, он послал бы меня подальше. Послушай, мне придется пойти поздороваться с Орианой. В Париже я пробуду так недолго, что хочу постараться увидеть здесь всех тех, кому иначе мне пришлось бы завозить карточки.

— Как хорошо они воспитаны, какие у них изящные манеры, — говорил г-н де Шарлюс. — «Вы находите?» — отвечала г-жа де Сюржи.

Сван, заметив меня, подошел ко мне и к Сен-Лу. Еврейское остроумие было у Свана менее тонко, чем шутки светского человека.

— Добрый вечер, — сказал он нам. — Боже мой! Все трое вместе, — можно подумать, заседание синдиката. Еще немного — и уж спросят, где же касса! — Он не заметил, что г-н де Босерфейль стоит за его спиной и слушает его. Генерал невольно нахмурил брови. Голос г-на де Шарлюса мы слышали совсем близко от нас: «Как, вас зовут Викторньен, как в «Музее древностей»?» — говорил барон, чтобы продолжить разговор с двумя молодыми людьми. — «У Бальзака, да», — ответил старший де Сюржи, который никогда не читал ни одной строчки этого романиста, но которому его преподаватель несколько дней тому назад указал на совпадение его имени с именем д'Эсгриньона. Г-жа де Сюржи была в восторге, что сын ее блеснул и что г-н де Шарлюс восхищен такими познаниями.

— Говорят, Лубе целиком на нашей стороне, это из вполне достоверного источника, — сказал Сван, но на этот раз менее громко, чтобы генерал не мог слышать его, — Сван, для которого республиканские связи его жены стали более интересны с тех пор, как дело Дрейфуса оказалось в центре его внимания. — Рассказываю вам это потому, что, как мне известно, вы всецело с нами.

— Да нет, не в такой уж степени; вы в полном заблуждении, — ответил Робер. — Это скверная история, и я очень жалею, что впутался в нее. Мне тут нечего было соваться. Если бы это могло повториться, то я бы уж держался в стороне. Я солдат и прежде всего стою за армию. Если ты одну минутку останешься с господином Сваном, я сейчас же вернусь к тебе, я пойду к моей тетке. — Но я увидел, что он отправился разговаривать с мадмуазель д'Обресак, и был огорчен при мысли, что он солгал мне насчет возможности их помолвки. Я успокоился, узнав, что он лишь полчаса тому назад был представлен ей г-жой де Марсант, желавшей этого брака, так как Обресаки были очень богаты.

— Наконец-то, — оказал г-же де Сюржи г-н де Шарлюс, — я встречаю образованного молодого человека, читавшего Бальзака, знающего, что такое Бальзак. И это доставляет мне тем большее удовольствие, что я встречаю его там, где такая вещь всего реже, что это — один из равных мне, один из наших, — прибавил он, напирая на эти слова. Хотя Германты и делали вид, будто считают всех людей равными, но в торжественных случаях, когда они оказывались в обществе людей «высокородных», а в особенности — менее «высокородных», которым они хотели и могли польстить, они не колебались извлекать на поверхность старые семейные воспоминания. — В прежние времена, — продолжал барон, — слово «аристократы» означало лучших людей, лучших по уму и по душевным качествам. И вот первый среди нас, который, как я вижу, знает, что такое Викторньен д'Эсгриньон. Но я напрасно говорю: первый. Ведь есть еще и Полиньяк и Монтекью, — прибавил г-н де Шарлюс, знавший, что это двойное уподобление не может не быть упоительно для маркизы. — Впрочем, вашим сыновьям было от кого унаследовать все это, их дед по материнской линии имел знаменитую коллекцию восемнадцатого века. Я покажу вам мою собственную, если вы захотите сделать мне удовольствие — когда-нибудь позавтракать у меня, — сказал он молодому Викторньену. — Я покажу вам любопытное издание «Музея древностей», с поправками, сделанными рукой Бальзака. Для меня будет наслаждением — свести вместе обоих Викторньенов.

Я не мог решиться оставить Свана. Он достиг той степени усталости, когда тело больного уже всего лишь реторта, в которой происходят химические реакции. Лицо его покрывалось мелкими точками цвета берлинской лазури, казалось, не относившимися к живой природе, и выделяло тот особый запах, из-за которого в училищах так неприятно оставаться после «опытов» в кабинетах «естественных наук». Я спросил его, не было ли у него долгого разговора с принцем Германтским и не согласится ли он мне рассказать, что это был за разговор.

— Да, — сказал он мне, — но сперва побудьте немного с господином де Шарлюсом и госпожой де Сюржи, я буду ждать вас здесь.

Г-н де Шарлюс, предложив г-же де Сюржи уйти из этой комнаты, где было слишком жарко, и пойти немного посидеть в другой вместе с ним, — не к ее сыновьям обратился с просьбой последовать за их матерью, а ко мне. Таким путем он, поманив их сперва, теперь делал вид, что эти молодые люди для него не важны. Вместе с тем он мне оказывал нетрудную любезность, так как на г-жу де Сюржи-ле-Дюк смотрели довольно косо.

К несчастью, не успели мы усесться около окна в фонаре, не имевшем другого выхода в залу, как мимо прошла г-жа де Сент-Эверт, мишень для насмешек барона. Стараясь, быть может, сделать незаметными дурные чувства, возбуждаемые ею в г-не де Шарлюсе, или проявить свое презрение к ним, а главное — показать, что она близко знакома с дамой, так непринужденно разговаривающей с бароном, она пренебрежительно-дружеским тоном поздоровалась с знаменитой красавицей, которая ответила на ее приветствие, одним глазом поглядывая на г-на де Шарлюса и насмешливо улыбаясь. Но фонарь был такой узкий, что г-жа де Сент-Эверт, продолжавшая и за нашими спинами обход своих завтрашних гостей, оказалась в западне и выбраться могла не так легко, — драгоценная минута, которой г-н де Шарлюс, желая блеснуть своим вызывающим остроумием перед матерью двух молодых людей, не преминул воспользоваться. Глупый вопрос, который я задал без злого умысла, послужил ему поводом для победоносной тирады, из которой бедная де Сент-Эверт, почти застывшая на месте за его спиной, не могла бы проронить ни одного слова. «Поверите ли, что этот дерзкий молодой человек, — сказал он, указывая на меня г-же де Сюржи, — спросил меня сейчас, насколько не заботясь о том, что этого рода нужды следует скрывать, буду ли я у г-жи де Сент-Эверт, то есть, по-моему, страдаю ли я расстройством желудка. Во всяком случае я постарался бы облегчить его в месте более комфортабельном, чем дом особы, которая, если мне память не изменяет, праздновала свое столетие, когда я начинал ездить в свет, — другими словами, не к ней. А все же кого другого было бы интереснее послушать, как не ее? Сколько воспоминаний об исторических событиях, виденных и пережитых за время Первой империи и Реставрации, сколько разных интимных

истории, в которых, разумеется, не было ничего святого, но должно было быть много игривости, судя по лямкам почтенной попрыгуньи, сохранившим свою легкость. Что мешает мне расспросить маркизу об этих увлекательных эпохах, — так это чувствительность моего обоняния. Достаточно уже одной близости этой дамы. Вдруг я говорю себе: «Ах! Боже мой, разрыли выгребную яму!» — оказывается, что маркиза, ради каких-нибудь пригласительных целей, просто раскрыла рот. А вы понимаете, что если бы я имел несчастье поехать к ней, то выгребная яма разрослась бы в ужасающую бочку с нечистотами. Однако имя у нее мистическое и всегда наводит меня на веселую мысль, хотя для нее-то самой пора веселья давно должна была бы пройти, — на мысль об этом глупом стихе, который называют «декадентским»: «Ах, сколь резва была в тот день душа моя...» Но мне нужна резвость более чистоплотная. Мне рассказывают, что неутомимая бегунья устраивает какие-то garden-parties, — я бы назвал это «приглашением прогуляться в клоаку». Неужели вы поедете туда пачкаться?» — спросил он г-жу де Сюржи, оказавшуюся теперь в неприятном положении. Желая ради барона притвориться, что она не поедет туда, и сознавая, что она предпочла бы пожертвовать многими днями своей жизни, чем пропустить празднество Сент-Эверт, она прибегла к компромиссу, то есть к неопределенности. Эта неопределенность приняла форму столь глупо неумелую и мешански убогую, что г-н де Шарлюс, не боясь оскорбить г-жу де Сюржи, которой он все же хотел понравиться, стал смеяться, чтобы показать ей, что «ничего не выходит».

— Я всегда удивляюсь людям, которые делают планы, — сказала она. — Я часто отменяю все в последний момент. Из-за летнего платья может произойти полная перемена. Я поступлю так, как мне подскажет минута.

Что до меня, то я был возмущен отвратительной маленькой речью, которую произнес г-н де Шарлюс. Я рад был бы осыпать всяческими благами устроительницу этих garden-parties. К несчастью, в светском кругу, так же как и в кругах политических, жертвы бывают столь трусливы, что нельзя долгое время сердиться на палачей. Г-жа де Сент-Эверт, которой удалось выбраться из фонаря, хоть мы и загоразживали выход из него, проходя, нечаянно задела барона и, бессознательно повинувшись своему снобизму, совершенно парализовавшему в ней всякий гнев, может быть даже питая надежду завязать разговор, — причем это, видимо, была не первая попытка в таком роде, — воскликнула: «О, простите, господин де Шарлюс, надеюсь, что я не сделала вам больно!» — таким тоном, как будто становилась на колени перед своим хозяином. Вместо ответа, которого он ее не удостоил, раздались раскаты иронического смеха, и барон благоволил лишь сказать: «Добрый вечер», — слова, которые являлись новым оскорблением, поскольку он сделал вид, что заметил присутствие маркизы только тогда, когда она первая поклонилась ему. Наконец, дойдя до крайнего предела пошлости, так что мне стало больно за нее, г-жа де Сент-Эверт подошла ко мне и, отведя меня в сторону, сказала на ухо: «Да что это я сделала господину де Шарлюсу? Говорят, он считает меня недостаточно шикарным для него», — прибавила она, смеясь во всю глотку. Я хранил серьезность. С одной стороны, я находил глупым, что она делает вид, будто считает сама или хочет уверить других, что действительно нет на свете никого более шикарного, чем она. С другой же стороны, люди, которые так громко смеются собственным словам, вовсе не смешным, избавляют нас от обязанности смеяться вместе с ними, ибо ее они берут на себя.

— Другие уверяют, будто он обижен, что я его не приглашаю. Но он не особенно и поощряет меня. Он на меня как будто дуется (это выражение показалось мне слишком слабым). Постарайтесь разузнать это, а завтра приезжайте рассказать. А если у него будут угрызения и он захочет сопровождать вас, везите его. Всякому греху — прощение. Это даже доставило бы мне довольно большое удовольствие, — потому что госпоже де Сюржи это было бы досадно. Я даю вам полную свободу действий. У вас тончайшее чутье во всех этих делах, а я не хочу иметь такой вид, словно я зазываю гостей. На вас, во всяком случае, я полагаюсь полностью.

Я подумал о том, что Сван, вероятно, устал меня ждать. Кроме того, я из-за Альбертины не желал возвращаться слишком поздно и, простившись с г-жой де Сюржи и г-ном де Шарлюсом, вернулся в игорную залу к моему больному. Я спросил его, говорил ли он в самом деле, беседуя с принцем в саду, то, что передавал нам г-н де Бреоте (которого я ему не назвал) и что было связано с пьесой Бергота. Он расхохотался: «Тут ни слова правды, ни одного слова, все это полностью выдуманно и совершенно глупо. Право, невероятная вещь — это мгновенное возникновение ошибок. Я не стану вас спрашивать, кто вам это сказал, но было действительно любопытно, в кругу столь узком, как этот, постепенно проследить и узнать, как это получилось. Впрочем, как это людей может интересовать, что сказал мне принц? Люди очень любопытны. Я никогда не был любопытен, кроме тех случаев, когда был влюблен и был ревнив. А чему это меня научило! Вы ревнивы?» — Я сказал Свану, что никогда не испытывал ревности, что я даже не знаю, что это такое. — «Ну! Так я вас поздравляю. Когда человек слегка ревнив, это не совсем неприятно — с двух точек зрения. С одной стороны, оттого, что позволяет людям, которые не любопытны, интересоваться жизнью других или, по крайней мере, жизнью одной женщины. А также оттого, что это вам довольно отчетливо дает почувствовать прелесть обладания, когда вы вместе с женщиной садитесь в экипаж, не оставляете ее одну. Но это бывает лишь в самом начале болезни или когда выздоровление — почти полное. В промежутке же — это самая ужасная из пыток. Впрочем, должен вам сказать, что даже эти два удовольствия, о которых я вам говорю, были мне мало знакомы: первое — по вине моей природы, неспособной к слишком долгим размышлениям; второе — в силу обстоятельств, по вине женщины, то есть я хочу сказать — женщин, которых я ревновал. Но это ничего. Даже когда мы больше не дорожим той или иной вещью, все-таки нам не вполне безразлично, что мы дорожили ею, ибо на то всегда были причины, ускользавшие от других. Мы чувствуем, что воспоминание об этих чувствах — только в нас; чтобы созерцать его, мы должны вернуться в самих себя. Уж вы особенно не издевайтесь над этим идеалистическим жаргоном, а я хочу сказать, что я очень любил жизнь и очень любил искусства. И что же! Теперь, когда я уж слишком устал, чтобы жить с посторонними людьми, эти мои давнишние чувства, такие личные, кажутся мне весьма ценными, — это мания всех коллекционеров. Я самому себе открываю мое сердце, словно какую-нибудь витрину, и разглядываю одно за другим множество любовных увлечений, которых другие не узнают. И по поводу этой коллекции, к которой я теперь привязан больше, чем к остальным, я, так же как Мазарини — по поводу своих книг, говорю себе — впрочем, без всякой горечи, — что очень досадно будет бросить все это. Но перейдем к моей беседе с принцем, я расскажу о ней только одному человеку, и этим человеком будете вы». Слушать его мне мешал разговор, который без конца тянул совсем рядом с нами г-н де Шарлюс, вернувшийся в игорную залу. «А вы также и читаете? Чем вы занимаетесь?» — спросил он графа Арньюльфа, не знавшего даже имени Бальзака. Но его близорукость, из-за которой все представлялось ему очень маленьким, придавала ему такой вид, как будто он видит весьма далеко, так что в зрачках его — поэтическая черта, редкая в статуе греческого бога — словно отражались отдаленные и таинственные звезды.

— Что, если б мы с вами прошлись немного по саду, — сказал я Свану, а тем временем граф Арньюльф сюсюкающим голосом, словно указывавшим на неполноту его развития, по крайней мере умственного, отвечал г-ну де Шарлюсу с любезной и наивной обстоятельностью: «О! Я больше по части гольфа, тенниса, мяча, прогулок пешком, а главное — поло». Так Минерва, раздвоившись, в иных городах переставала быть богиней Мудрости и воплощала часть самой себя в божество чисто спортивное, конно-ристалищное, в

«Афину Гиппию». Бывал он также и в Сен-Морице, где ходил на лыжах, ибо Паллада Тригоения посещает высокие вершины и догоняет всадников. «А-а!» — ответил г-н де Шарлюс с высокомерной улыбкой человека умственного труда, который даже не старается скрыть, что он смеется, но который, впрочем, настолько чувствует свое превосходство над другими и так презирает ум людей, еще наименее глупых, что почти и не отличает их от тех, кто всего глупее, — едва только они оказываются в состоянии быть приятными для него в другом отношении. Г-н де Шарлюс считал, что, разговаривая с Арнюльфом, он тем самым сообщает ему превосходство, которое во всех должно было возбуждать зависть и всеми должно было быть признано. «Нет, — ответил мне Сван, — я слишком утомлен, чтобы ходить, давайте лучше сядем в уголке, я на ногах не стою». Это была правда, а все-таки стоило ему только начать разговор — и к нему уже вернулась некоторая живость. Дело в том, что какая-то доля усталости, даже самой подлинной, особенно у людей нервных, зависит от степени внимания и сохраняется только благодаря памяти. Человек сразу утомляется, едва только начинает этого опасаться, а чтобы оправиться от усталости, ему стоит только забыть о ней. Конечно, Сван был не из числа тех неутомимых, которые, хотя бы пришли совершенно усталые, расстроенные, увядшие, еле держась на ногах, оживают во время разговора, словно цветок, поставленный в воду, и могут целыми часами черпать в собственных словах силы, — к несчастью, не сообщаемые ими тому, кто слушает их и кажется все более и более подавленным по мере того, как говорящий чувствует себя все более бодрым. Но Сван принадлежал к тому могучему еврейскому племени, чья жизненная энергия, чье умение сопротивляться смерти словно передаются даже отдельным личностям.

Мы уселись, но прежде чем отойти от группы, которую образовали г-н де Шарлюс, оба молодых Сюржи и их мать, Сван не мог удержаться, чтобы пристальным взглядом знатока, полным вожделения, не посмотреть на ее стан. Чтобы лучше видеть, он прибег к моноклю и, разговаривая со мной, время от времени бросал взгляд в сторону этой дамы. «Вот слово в слово, — сказал он мне, когда мы сели, — мой разговор с принцем, а если вы вспомните, что я вам говорил сейчас, то увидите, почему я избрал вас моим слушателем. А кроме того, есть еще одна причина, которую вы когда-нибудь узнаете. «Мой дорогой Сван, — сказал мне принц Германтский, — вы меня извините, если с некоторых пор могло казаться, что я избегаю вас. (Я этого вовсе и не замечал, так как я болен и сам всех избегаю.) Во-первых, я слышал, да и предвидел, что на злополучное дело, разделившее страну на два лагеря, вы держитесь взглядов, совершенно противоположных моим. А мне было бы чрезвычайно мучительно, если бы их стали проповедывать при мне. Моя раздражительность дошла до того, что когда два года тому назад принцесса услышала, как ее шурин, великий герцог Гессенский, заявил, будто Дрейфус невиновен, она не только страстно принялась возражать ему, но даже не передала мне его слов, чтобы не возбуждать меня. Когда почти в то же самое время наследный принц шведский приезжал в Париж и, услышав, вероятно, что императрица Евгения — дрейфусарка, перепутал ее с принцессой (согласитесь, странная ошибка — спутать женщину, занимающую такое положение, как моя жена, с испанкой еще гораздо менее знатной, чем утверждают, и вышедшей замуж за простого Бонапарта), — он ей сказал: «Принцесса, я вдвойне счастлив видеть вас, ибо знаю, что на дело Дрейфуса вы смотрите так же, как я, чему и не удивляюсь, потому что ваше высочество родились в Баварии». На это он получил такой ответ: «Ваше высочество, теперь я только французская принцесса, и я думаю то же, что и мои соотечественники». Но вот, мой милый Сван, приблизительно полтора года тому назад у меня был разговор с генералом де Босерфейлем, возбуждавший во мне подозрение, что в ходе процесса были допущены даже не ошибки, а незаконные действия».

Наш разговор был прерван (Сван не хотел, чтобы другие слышали его рассказ) голосом г-на де Шарлюса, который (впрочем, не обращая на меня внимания) проходил мимо нас, провожая г-жу де Сюржи, и остановился, стараясь еще задержать ее, может быть из-за ее сыновей или от желания, характерного для Германтов, — не видеть конца настоящей минуты, желания, которое погружало их в некую тревожную неподвижность. По поводу этой дамы Сван несколько позднее сообщил мне нечто, лишившее для меня имя Сюржи-ле-Дюк всей той поэзии, которую я в нем находил. Маркиза де Сюржи-ле-Дюк занимала в свете гораздо более высокое положение, имела связи гораздо более блестящие, чем ее двоюродный брат, граф де Сюржи, который, будучи беден, жил в своем поместье. Но происхождение слова, которым оканчивалась ее фамилия, — «ле-Дюк», — было отнюдь не то, которое я ему приписывал и благодаря которому я в моем воображении сблизил его с «Бур-л'Аббе», с «Буа-ле-Руа» и т. д. Просто-напросто один из графов де Сюржи женился в пору Реставрации на дочери богатейшего промышленника г-на Ледюка или ле-Дюка, который, сам являясь сыном фабриканта химических изделий, был самым богатым человеком своего времени и пером Франции. Для ребенка, родившегося от этого брака, король Карл X учредил маркизат Сюржи-ле-Дюк, поскольку маркизат Сюржи уже существовал в этом роду. Прибавление буржуазного имени не помещало этой его ветви породниться, благодаря ее огромному богатству, с самыми знатными родами в королевстве. И теперешняя маркиза де Сюржи-ле-Дюк, будучи такого высокого происхождения, могла бы занять в обществе положение первостепенное. Демон испорченности заставил ее пренебречь уже созданным положением, бежать из супружеского дома и вести самый предосудительный образ жизни. Но светского общества, которым она пренебрегла в двадцать лет, когда оно было у ее ног, ей уже мучительно не хватало в тридцать, после того как уже десять лет никто, кроме нескольких редких друзей, ей не кланялся, и она решила мало-помалу трудолюбиво завоевать вновь все то, чем она владела при рождении (возвращения, которые бывают нередко).

Что же касается ее аристократических родных, отвергнутых ею и в свою очередь отрекшихся от нее, то радость, которую ей должно было доставить примирение с ними, она оправдывала тем, что сможет предаться вместе с ними воспоминаниям детства. И, говоря это для того, чтобы скрыть свой снобизм, она лгала, быть может, меньше, чем думала сама. «Базен — это вся моя молодость!» — сказала она в тот день, когда он к ней вернулся. И отчасти это в самом деле была правда. Но она плохо рассчитала, избрав его своим любовником. Ибо все приятельницы герцогини Германтской должны были стать на ее сторону, и г-же де Сюржи предстояло таким образом второй раз спуститься с того склона, на который она поднялась с таким трудом. «Ну так вот! — говорил ей сейчас г-н де Шарлюс, старавшийся затянуть разговор. — Вы засвидетельствуете мое почтение прелестному портрету. Как он поживает? Что с ним?» — «Но вы же знаете, — ответила г-жа де Сюржи, — что у меня его больше нет; мой муж был недоволен им». — «Недоволен! Одним из шедевров нашего времени, который может сравниться с герцогиней де Шатору, писанной Натье, и который к тому же должен был запечатлеть черты богини не менее величественной и не менее смертоносной. Ах! Этот синий воротничок! С таким мастерством написать кусок материи — никогда не удавалось даже и самому Вермеру, не будем говорить это слишком громко, чтобы Сван не напал на нас, защищая своего любимого художника, Дельфтского мастера». Маркиза, обернувшись, улыбнулась и протянула руку Свану, который встал, чтобы поздороваться с ней. Но почти уже не прибегая к маскировке, потому ли, что годы отучили его от нее, или благодаря силе нравственной воли, равнодушию к чужому мнению или, быть может, под влиянием физических воздействий, возбуждению желания и ослаблению факторов, помогающих его скрыть, Сван, как только он, пожимая руку маркизы, увидел сверху и совсем близко от себя ее шею, направил вглубь ее корсажа внимательный, серьезный, сосредоточенный, почти озабоченный взгляд, и ноздри его, с упоением вдыхавшие аромат духов, затрепетали, точно бабочка, готовая опуститься на увиденный ею цветок. Он тотчас же преодолел головокружение, охватившее его, и сама г-жа де Сюржи, хотя и ощутила неловкость, подавила глубокий вздох — настолько иногда заразительно желание. «Художник обиделся, — сказала она г-ну де Шарлюсу, — и взял его. Говорили, что теперь он у Дианы де Сент-

Эверт». — «Никогда не поверю, — возразил барон, — чтобы у шедевра был столь дурной вкус».

— Он говорит с ней о ее портрете. Об этом портрете я бы поговорил с ней не хуже, чем Шарлюс, — сказал мне Сван, придавая своему тону тягучесть и вульгарность и следя глазами за удаляющейся группой. — И это доставило бы мне, конечно, больше удовольствия, чем Шарлюсу, — прибавил он. Я спросил его, правда ли то, что говорят о г-не де Шарлюсе, причем солгал вдвойне, ибо если мне никогда ничего не приходилось слышать на этот счет, то, с другой стороны, я с недавних пор прекрасно знал, что подразумеваемое мною — правда. Сван пожал плечами, как будто я сказал нелепость. «То есть он очаровательный друг. Но стоит ли прибавлять, что это чисто-платонические отношения. Он более сентиментален, чем прочие, вот и все; с другой стороны, так как с женщинами дело у него никогда не заходит слишком далеко, то нелепые слухи, о которых вы говорите, заслужили известное доверие. Может быть, Шарлюс и очень любит своих друзей, но будьте уверены, что, кроме как в его голове и в его сердце, нигде ничего не происходило. Наконец-то нам, кажется, хоть несколько секунд никто не будет мешать. Итак, принц Германтский продолжал: «Признаюсь вам, что эта мысль о возможности незаконных действий в ходе процесса была для меня чрезвычайно мучительна в силу того поклонения, с которым, как вы знаете, я всегда относился к армии; я снова беседовал об этом с генералом, и — увы! — у меня не осталось никаких сомнений на этот счет. Во всем этом деле, скажу вам откровенно, мысль, что невинный, может быть, подвергается позорнейшей каре, даже и не беспокоила меня. Но под влиянием этой мысли о незаконности и стал изучать то, чего раньше не желал читать, и вот меня стали преследовать сомнения, на этот раз уже не в законности, а в самой виновности. Я не считал нужным говорить об этом принцессе. Знает бог, что она стала француженкой в такой же степени, в какой я — француз, тех пор, как я женился на ней, я всегда с таким самолюбованием показывал ей нашу Францию во всей ее красоте и самое блистательное в ней для меня — ее армию, что было бы слишком больно сообщить принцессе о моих сомнениях, затрагивавших, правда, всего нескольких офицеров. Но я из военной семьи, я не хотел поверить, что офицеры могут ошибаться. Я снова заговорил об этом с Босерфейлем, он признался мне, что замышлялись преступные махинации, что бордеро писано, может быть, и не Дрейфусом, но что существует бесспорнейшее доказательство его виновности. Это был документ, связанный с Анри. А несколько дней спустя оказалось, что он — подложный. С тех пор я тайком от принцессы стал читать «Век», «Зарю»; вскоре у меня уже не осталось никаких сомнений, я больше не мог спать. Я открыл мои нравственные страдания нашему другу аббату Пуаре, у которого, чему я был удивлен, встретил такое же убеждение, и попросил его служить мессы и молиться за Дрейфуса, за его несчастную жену и его детей. Вскоре после того, как-то утром, идя к принцессе, я увидел ее горничную, которая прятала от меня что-то в руке. Я спросил ее, смеясь, что это такое, она покраснела и не захотела мне сказать. Я питал к моей жене величайшее доверие, но этот случай сильно смутил меня (а наверно также и принцессу, которой ее камеристка, должно быть, рассказала о случившемся, потому что за завтраком, который последовал затем, дорогая моя Мари ничего не говорила). В тот день я спросил аббата Пуаре, сможет ли он завтра отслужить мессу о здравии Дрейфуса. Ну, вот!» — вполголоса воскликнул Сван, прерывая свой рассказ. Я поднял голову и увидел герцога Германтского, шедшего к нам. — «Простите, что помешаю вам, дети мои. Дорогой мой, — обратился он ко мне, — меня отправила к вам Ориана. Мари и Жильбер попросили ее остаться у них отужинать в обществе всего только пяти или шести человек: принцессы Гессенской, госпожи де Линье, госпожи де Тарант, госпожи де Шеврез, герцогини д'Аренберг. К несчастью, мы не можем остаться, так как собираемся на маленький костюмированный бал». Я слушал его слова, но ведь всякий раз, когда нам предстоит что-нибудь сделать в определенный момент, мы сами поручаем некоему лицу, привыкшему к таким обязанностям, — следить за часами и в нужное время известить нас. Этот внутренний слуга напомнил мне, как я и просил его несколько часов тому назад, что Альбертина, от которой в этот момент мысли мои были очень далеко, должна посетить меня после театра. Вот почему я и отказался от ужина. Не потому, чтобы мне не нравилось у принцессы Германтской. Так, для человека может существовать несколько разных удовольствий. Среди них настоящее — то, ради которого он бросает другое. Но это другое, если оно или даже только оно заметно со стороны, может обмануть насчет первого, оно успокаивает ревнивца или наводит его на ложный след, сбивает с толку мнение света. А между тем достаточно было бы чуточки счастья или чуточки страдания, чтобы мы пожертвовали первым ради второго. Иногда третий род удовольствий, более серьезных, но и более значительных, еще не существует для нас, узнающих о самой возможности их лишь потому, что они вызывают в нас чувства сожаления или уныния. И все же именно этим удовольствиям мы отдадимся впоследствии. Чтобы привести пример вполне второстепенный, укажем, что в мирные времена офицер будет приносить светскую жизнь в жертву любви, но как только объявят войну (причем вовсе нет необходимости предполагать идею патриотического долга), пожертвует любовью ради более сильной страсти — сражаться. Пусть Сван и говорил, что он счастлив рассказать мне свою историю, я чувствовал, что из-за позднего часа, а также и потому, что он слишком плохо чувствовал себя, разговор его со мною был одним из тех утомлений, которые в людях знающих, что излишества и долгие бдения для них смертельны, вызывают сожаление, полное отчаяния, подобное тому, которое безумная трата, только что совершенная, снова вызывает в расточителях, хотя завтра они все-таки не смогут удержаться и снова будут бросать деньги за окно. На известной ступени слабости, независимо от того, что служит ее причиной — старость или болезнь, всякое удовольствие, которое человек доставляет себе за счет сна, выходя за пределы привычки, всякое нарушение порядка уже становится неприятным. Ваш собеседник продолжает говорить, потому что он вежлив, потому что он возбужден, но он знает, что час, когда он мог бы еще заснуть, уже прошел, и он знает также те упреки, которые будут обращать к себе во время той бессонницы и тех мук усталости, которые последуют. Впрочем, даже и мимолетное это удовольствие уже кончилось, тело и ум потеряли слишком много сил, чтобы им могло быть приятно то, что представляется собеседнику чем-то занимательным. Они напоминают квартиру в день отъезда или переезда, когда тяжелым бременем бывают гости, которых принимаешь, сидя на чемоданах, глядя на часы. «Наконец мы одни, — сказал он мне, — я уже не помню, на чем остановился. Ведь правда, я вам рассказывал, как принц спросил аббата Пуаре, сможет ли он отслужить мессу и помолиться за Дрейфуса. «Нет, — ответил мне аббат (я говорю «мне», — сказал мне Сван, — оттого что принц так говорил со мною, вы понимаете?), — потому что у меня другая месса, которую меня просили отслужить тоже завтра утром, тоже за него». — «Как, — сказал я ему, — есть другой католик, кроме меня, убежденный в его невинности?» — «Надо думать». — «Но у этого приверженца Дрейфуса такое убеждение сложилось, должно быть, позднее, чем у меня». — «Однако этот его приверженец просил меня служить мессы уже тогда, когда вы еще считали Дрейфуса виновным». — «Ах! Я вижу, что это кто-нибудь не из нашего круга». — «Напротив». — «Право, среди нас есть дрейфусары? Вы меня заинтриговали; я хотел бы излить ему мою душу, если только я знаком с этой редкой птицей». — «Вы с ней знакомы». — «Как ее зовут?» — «Принцесса Германтская». В то время как я опасался оскорбить националистические взгляды, французские убеждения моей дорогой жены, она боялась задеть мои религиозные взгляды, мои патриотические чувства. Но она со своей стороны думала так же, как и я, хотя с несколько более давних пор, чем я. А то, что ее горничная прятала, входя в ее комнату, то, что она ходила покупать для нее каждый день, была «Заря». Дорогой мой Сван, с тех пор я думал о том удовольствии, которое я вам доставлю, когда скажу, насколько мои мысли в этом вопросе родственны вашим; простите мне, что я не сделал этого раньше. Если вы вспомните о молчании, которое я хранил по отношению к принцессе, вас не удивит, что единомыслие с вами еще больше отдалило бы меня от вас, чем разность в мнениях. Ибо мне было бесконечно мучительно затрагивать эту тему. Чем более я убеждаюсь в том, что были совершены ошибки, даже преступления, тем

больше я терзаясь при моей любви к армии. Я думал, что мнения, подобны моим, отнюдь не вызывают у вас тех же страданий, как вдруг на днях мне сказали, что вы резко осуждаете оскорбления, наносимые армии, и дрейфусаров, которые готовы примкнуть к ее оскорбителям. Это заставило меня решиться, не скрою, мне было больно признаться вам в том, что я думаю о некоторых офицерах, к счастью немногочисленных, но для меня облегчение, что я больше не должен сторониться вас, а главное — вы почувствуете, что если я и мог питать другие чувства, то я ничуть не сомневался в обоснованности приговора. Как только сомнение возникло, я стал желать лишь одного — исправления ошибки». Признаюсь вам, что эти слова принца Германтского глубоко взволновали меня. Если бы вы были знакомы с ним так, как я, если бы вы знали, какое расстояние ему пришлось преодолеть, чтобы до этого дойти, вы прониклись бы восхищением, и он этого заслуживает. Впрочем, его мнение меня не удивляет, это такая прямая натура». Сван забыл, что нынче днем он, напротив, говорил мне, что мнения о деле Дрейфуса определяются атавизмом. Он, самое большее, делал исключение для ума, потому что в Сен-Лу он смог победить атавизм и смог сделать из него дрейфусара. Но он только что видел, что эта победа была кратковременна и что Сен-Лу перешел в другой лагерь. Таким образом, он теперь приписывал прямооте души ту роль, которая раньше принадлежала уму. В действительности же мы всегда обнаруживаем с опозданием, что у наших противников была причина стать на сторону той партии, к которой они принадлежат, и причина эта не зависит от степени правоты данной партии, а что касается тех, которые думают так же, как и мы, то к этому склонил их ум, если их нравственная сущность слишком низка, чтобы стоило звать к ней, или их прямой характер, если пронизательность их не велика.

Сван считал теперь умными всех без различия, кто разделял его мнение, — и старого своего друга принца Германтского и моего товарища Блока, которого он сторонился до сих пор, а теперь пригласил на завтрак. Сван очень заинтересовал его, сказав ему, что принц Германтский — дрейфусар. «Надо было бы попросить его, чтоб он подписался под нашим протестом против дела Пикара; с таким именем, как имя принца, это произвело бы чудовищный эффект». Но Сван, сочетая в себе страстную убежденность еврея и дипломатическую сдержанность светского человека, чьи привычки он слишком хорошо усвоил, чтобы так поздно отделаться от них, отказался уполномочить Блока послать принцу, даже как будто и невзначай, бумагу для подписи. «Он не может это сделать, не нужно просить о невозможном, — повторял Сван. — Это очаровательный человек, прошедший тысячи миль, чтобы дойти до нас. Он может быть для нас очень полезным. Если б он подписал ваш протест, он просто скомпрометировал бы себя среди своих, был бы наказан за нас, раскаялся бы, пожалуй, в своих признаниях и больше не стал бы их делать». Мало того, Сван отказался дать и свое имя. Он находил, что оно слишком еврейское, чтобы не произвести дурного эффекта. А кроме того, если он и одобрял все, касавшееся пересмотра дела, то не желал ни в какой мере быть замешанным в антимилитаристической кампании. Он теперь носил, чего никогда не делал раньше, знак отличия, который получил в 70-м году, когда, еще совсем молодой, был солдатом подвижной гвардии, и сделал добавление к своему завещанию, прося, чтобы, вопреки его более ранним распоряжениям, ему, как кавалеру Почетного легиона, были возданы воинские почести. В результате чего вокруг церкви в Комбре и собрался целый эскадрон тех самых всадников, будущность которых оплакивала в былое время Франсуаза, когда размышляла о возможности войны. Словом, Сван отказался подписаться под протестом Блока, так что, если многие и считали его яростным дрейфусаром, то в глазах моего товарища он оказался человеком равнодушным, зараженным национализмом и любителем знаков отличия.

Сван простился со мной, не пожимая мне руки, чтобы не быть вынужденным прощаться и с другими в этой зале, где у него было слишком много друзей, но он сказал мне: «Вам надо было бы навестить вашу приятельницу Жильберту. Она в самом деле выросла и изменилась, вы бы ее не узнали. Она была бы так рада!» Я больше не любил Жильберту. Она была для меня словно покойница, которую долго оплакивали, потом пришло забвение, и если бы она воскресла, то не могла бы найти себе места в жизни, созданной уже не для нее. У меня больше не было желания видеть ее, ни даже того желания — показать ей, что я не хочу ее видеть, которое я, когда еще любил ее, намеревался выказать ей впоследствии, когда я уже не буду ее любить.

Вот почему, стараясь теперь только о том, чтобы держаться по отношению к Жильберте так, как будто я всей душой хотел встретиться с ней вновь, в чем мне помешали обстоятельства, которые, как говорится, «не зависели от моей воли» и которые на самом деле, по крайней мере с известной последовательностью, случаются лишь тогда, когда воля не противодействует им, я, далекий от того, чтобы холодно принять приглашение Свана, не расстался с ним до тех пор, пока он не обещал мне подробно объяснить своей дочери, какие хлопотствия лишила меня и еще некоторое время будут лишать возможности навещать ее. «Впрочем, — прибавил я, — я напишу ей письмо теперь же, как только вернусь домой. Но скажите ей, что письмо это будет содержать угрозы, потому что через месяц или через два я буду совершенно свободен, и тогда пусть она трепещет, так как я буду у вас бывать столь же часто, как и раньше».

Прежде чем покинуть Свана, я спросил его о его здоровье. «Нет, дело не так уж плохо, — ответил он мне. — Впрочем, как я вам говорил, я довольно сильно устал и заранее мирюсь со всем, что может произойти. Признаться только, что очень обидно было бы умереть до окончания дела Дрейфуса. У всей этой сволочи много хитростей в запасе. Я не сомневаюсь, что в конце концов они будут побеждены, но ведь они очень сильны, у них всюду поддержка. Когда дело идет на лад, все опять трещит. Хотелось бы мне прожить еще столько, чтоб увидеть Дрейфуса оправданным, а Пикара — полковником».

Когда Сван уехал, я вернулся в большую гостиную, где находилась та самая принцесса Германтская, с которой впоследствии, чего я тогда и не подозревал еще, мне суждено было так близко сойтись. Страсть, которую она питала к г-ну де Шарлюсу, открылась мне не сразу. Я только заметил, что с каких-то пор барон, отнюдь не питая к принцессе Германтской тех враждебных чувств, которые не были удивительными в нем, и продолжая относиться к ней с прежней, а может быть даже и с большей нежностью, казался недовольным и раздраженным всякий раз, когда с ним затоваривали о ней. Он больше никогда не указывал ее имени в списке лиц, с которыми выражал желание обедать.

Правда, что еще до этого я слышал, как один светский человек, очень злой, говорил, будто принцесса стала совсем другой, что она влюблена в г-на де Шарлюса, но это злословие показалось мне бессмыслицей и возмутило меня. Однако я с удивлением замечал, что если мне случается рассказывать что-нибудь, касающееся меня, и если в середине рассказа вдруг появляется имя г-на де Шарлюса, внимание принцессы сразу же сосредоточивается, словно внимание больного, который, слушая, как мы рассказываем о себе и, следовательно, относясь рассеянно и небрежно к нашему рассказу, внезапно улавливает в нем слово, являющееся названием болезни, которой он страдает, и это радует его и вызывает в нем интерес. Так, если я говорил ей: «Господин де Шарлюс рассказывал мне...», принцесса напрягала свое ослабевшее внимание. А однажды, сказав при ней, что г-н де Шарлюс питает сейчас довольно пылкие чувства к одной особе, я с удивлением увидел, как в зрачках принцессы появилась та особая мимолетная черточка, которая как бы означает

линию трещины и бывает следствием мысли, внушенной нашими словами, хотя мы этого и не сознаем, нашему собеседнику, — мысли тайной, которая не выразится в словах, а будет подыматься из глубин, потревоженных нами, на поверхность взгляда, исказившегося на одну минуту. Но если слова мои волновали принцессу, то я не подозревал, почему.

Впрочем, немного времени спустя она стала разговаривать со мной о г-не де Шарлюсе, и притом почти не прибегая к уверткам. Если она и намекала на слухи, которые весьма немногие лица распространяли насчет барона, то всего лишь как на нелепые и гнусные выдумки. Но, с другой стороны, она говорила: «Я считаю, что женщина, которая увлеклась бы человеком такой огромной мощи, как Паламед, должна была бы обладать достаточной широтой взглядов и быть настолько преданной ему, чтобы принять его и понять его всего, таким, какой он есть, чтобы уважать его свободу, его прихоти, чтобы стараться только об одном — как бы устранить все препятствия с его пути и утешить его в горе». Но в этих, столь смутных, словах принцессы как раз и открывалось то, что она стремилась возвеличить — совершенно так же, как это делал порою и сам барон. Разве не слышал я, как он несколько раз говорил людям, которые до сих пор не были уверены, правда или клевета все то, что рассказывает о нем: «Я, у которого в жизни столько было взлетов и столько падений, я, который знал людей всякого рода — как воров, так и королей — и, должен сказать, отдавал некоторое предпочтение ворами, я, который искал красоту во всех ее формах...» и т. д., и как этими словами, искусными с его точки зрения, стараясь опровергнуть слухи, о существовании которых собеседник еще и не подозревал (или — под влиянием вкуса, чувства меры, заботы о правдоподобии — сделать истине уступку, которую он единственный считал ничтожно-малой), — он у одних отнимал последние сомнения и внушал первые сомнения тем, у кого их еще не было. Ибо из всех укрывательств самое опасное — то, когда проступок живет в уме самого виновника. Постоянное сознание этого проступка мешает ему предположить, насколько он вообще может быть неизвестен другим, с какой легкостью все поверили бы полной лжи, но зато и отдать себе отчет в том, какая доля истины открывается людям в словах признания, которые ему самому кажутся невинными. Да впрочем, ему и скрывать было бы безусловно незачем, ибо нет пороков, которые не встретили бы услужливой поддержки в высшем свете. Но что касается любви принцессы, то она стала мне ясна благодаря особому обстоятельству, которое я здесь не стану подчеркивать, так как оно относится к совсем иному эпизоду, где повествуется о том, как г-н де Шарлюс готов был оставить умирающей королеву, лишь бы не пропустить парикмахера, который должен был завить его барашком ради какого-то омнибусного контролера, перед которым барон почувствовал необычайную застенчивость. Однако, чтобы покончить с любовью принцессы, скажем, какой пустяк открыл мне глаза. В тот день мы ехали с нею в экипаже, одни. Когда мы проезжали мимо почты, она велела кучеру остановиться. Из своей муфты она наполовину извлекла какое-то письмо и собралась выйти из экипажа, чтобы бросить его в ящик. Я хотел удержать ее, она стала слабо отбиваться, и оба мы уже отдали себе отчет в том, что ее первое движение было предосудительно, как будто она пыталась охранить некую тайну, а мое — нескромно, поскольку я препятствовал этой попытке. Первая овладела собой она. Внезапно очень сильно покраснев, она отдала мне письмо, я уже не осмелился не взять его, но, бросая его в ящик, я нечаянно увидел, что оно адресовано г-ну де Шарлюсу.

Продолжая прерванный рассказ и возвращаясь к этому первому вечеру у принцессы Германтской, вспоминаю, что я пошел проститься с ней, так как ее кузен и кузина должны были отвезти меня домой и очень торопились. Между тем г-н де Германт хотел попрощаться со своим братом. Г-жа де Сюржи успела уже где-то в дверях сказать герцогу, что г-н де Шарлюс был очарователен с нею и с ее сыновьями. Эта большая любезность со стороны его брата, первая в таком направлении, глубоко тронула Базена и пробудила в нем семейственные чувства, никогда не засыпавшие надолго. В тот момент, когда мы прощались с принцессой, он, словами не выражая благодарности г-ну де Шарлюсу, решил выказать ему свою нежность, потому ли, что ему в самом деле трудно было сдерживать ее, или для того, чтобы барон помнил, что такого рода действия, как сегодня вечером, не проходят незамеченными в глазах брата, подобно тому, как собаке, служившей на задних лапах, дают сахару, чтобы и на будущее время закрепить за этим воспоминанием благоприятные ассоциации. «Ну что же, братец! — сказал герцог, остановив г-на де Шарлюса и нежно взяв его под руку. — Так-то мы проходим мимо старшего брата, даже не здороваясь. Я больше не вижу с тобой, Меме, и ты знаешь, как мне тебя не хватает. Разбирая старые письма, я как раз нашел несколько писем покойной мамы, в которых она всюду с такой нежностью говорит о тебе». — «Спасибо, Базен», — ответил г-н де Шарлюс прерывающимся голосом, ибо о своей матери он никогда не мог говорить без волнения. — «Ты должен был бы решиться и позволить мне обставить для тебя флигель в Германте», — сказал герцог. — «Это мило, когда видишь, что братья так нежны друг с другом», — сказала принцесса Ориана. — «О! Я и не думаю, чтобы много было таких братьев. Я приглашу вас вместе с ним», — обещала она мне. — «Ведь вы с ним не в дурных отношениях? Но о чем бы им разговаривать?» — беспокойным тоном прибавила она, так как неясно слышала их слова. В ней всегда возбуждало известную ревность то удовольствие, которое испытывал г-н де Германт, разговаривая со своим братом о прошлом, к которому он слишком близко не подпускал свою жену, она чувствовала, что в тех случаях, когда они были рады беседовать наедине, а она, не в силах сдержать свое нетерпеливое любопытство, присоединялась к ним, ее появление не доставляло им удовольствия. Но сегодня вечером к этой обычной ревности присоединилась ревность иная. Ибо, если г-жа де Сюржи рассказала г-ну де Германту о проявленной его братом благосклонности для того, чтобы он его поблагодарил, то в то же время верные приятельницы четы Германтов сочли своим долгом предупредить герцогиню, что любовницу ее мужа видели наедине с его братом. И это мучило г-жу де Германт. «Вспомни», — продолжал герцог, обращаясь к г-ну де Шарлюсу, — как мы когда-то были счастливы в Германте. Если бы ты летом наезжал туда порой, мы бы зажили так же счастливо, как и прежде. Помнишь старика Курво: «Отчего это Паскаль нас так волнует? Потому что мысль его — как вол... вол...» — «На», — проговорил г-н де Шарлюс, как будто еще отвечая на вопрос своего учителя. — «А отчего это мысль у Паскаля — как волна? Оттого что он вол... оттого что он вол... нует. Очень хорошо, вы выдержите экзамен, получите похвальный отзыв, и госпожа герцогиня подарит вам китайский словарь». — «Еще бы не помнить, милый мой Меме, а старинная фарфоровая ваза, которую тебе привез Эрве де Сен-Дени, я как сейчас вижу ее. Ты грозил нам, что в конце концов поедешь жить в Китай, так ты был увлечен этой страной; ты и тогда уже любил большие кутежи. О! Ты был тип особенный, ведь можно сказать, что никогда и ни в чем твои вкусы не совпадали с вкусами других людей...» Но, едва только произнеся эти слова, герцог сразу же так и вспыхнул, ибо он знал если не нравы, то, по крайней мере, репутацию своего брата. Так как об этом они никогда не говорили друг с другом, то он тем более смутился, сказав вещь, которая как будто могла относиться к этой теме, и еще более смутился от того, что выказал свое смущение. Помолчав одну секунду, он прибавил, чтобы загладить свои последние слова: «Как знать, в ту пору ты, быть может, был влюблен в китайку, — еще до того, как стал так часто влюбляться в белых женщин и иметь у них успех, насколько я могу судить по одной даме, которой сегодня вечером было очень приятно беседовать с тобой. Она была в восторге от тебя». Герцог давал себе слово не говорить о г-же де Сюржи, но при том беспорядке, в который поверг его мысли сделанный им промах, он ухватился за ближайшую же мысль — как раз ту самую, которая в разговоре не должна была давать о себе знать, хотя она и явилась к нему поводом. Но г-н де Шарлюс заметил, что брат его покраснел. И подобно тем преступникам, которые не желают казаться смущенными, когда при них говорят о преступлении, якобы не совершенном ими, и считают нужным продолжать опасный разговор, он

«Я польщен, но я хотел бы остановиться на предыдущей твоей фразе, по-моему глубоко правильной. Ты говорил, что я всегда держался других взглядов, чем все прочие; как это верно; ты говорил, что у меня особые вкусы». — «Да нет», — возразил г-н де Германт, который действительно не говорил этих слов и относительно своего брата, может быть, даже и не верил в реальное существование того, что они обозначают. Да впрочем, разве он считал себя вправе огорчать его из-за каких-то его странностей, которые во всяком случае оставались в достаточной мере неясными или тайными и нисколько не вредили блестящему положению барона? Более того, чувствуя, что положение его брата пойдет на пользу его любовницам, герцог говорил себе, что ради этого стоит проявить некоторую снисходительность; даже если бы ему теперь были известны кой-какие «особые» связи его брата, все же, в надежде на поддержку, которую тот ему окажет, — в надежде, сочетающейся с благоговейной памятью о прошлом, — г-н де Германт не обратил бы на них внимания, закрыл бы глаза, а в случае надобности и помог бы брату. «Ну, довольно, Базен, прощайте, Паламед, — сказала герцогиня, которую мучили гнев и любопытство и которая больше не в силах была сдерживать их, — если вы намерены проводить здесь ночь, то лучше нам остаться ужинать. Вы уже полчаса заставляете нас стоять, и Мари и меня». Герцог расстался со своим братом, многозначительно обнявшись с ним, и мы втроем спустились по огромной лестнице этого дома.

На самых верхних ступенях, по обе стороны, были рассеяны пары, ждавшие, чтобы им подан был экипаж. Держась прямо и как-то обособленно, герцогиня стала между своим мужем и мной на левой стороне лестницы и уже завернулась в свое мантио, напомилавшее картины Тьеполо, украшенная фермуаром из рубинов, которые сдавливали ее шею, привлекая внимание женщин, мужчин, пожиравших ее своими взглядами и старавшихся разгадать тайну ее изысканности и ее красоты. Стоя в ожидании своего экипажа на той же ступени, что и г-жа де Германт, но с противоположной стороны, г-жа де Галардон, давно уже потерявшая всякую надежду удостоиться когда-нибудь визита своей кузины, решила повернуться к ней спиной, чтобы не могло и показаться, будто она видит ее, а главное, чтобы не служить доказательством того, что герцогиня не здорова с ней. Г-жа де Галардон была в очень злом расположении духа, потому что мужчины, сопровождавшие ее, сочли нужным заговорить с ней об Ориане. «Я вовсе не стремлюсь встречаться с ней, — ответила она им, — я, впрочем, мельком видела ее сейчас, она начинает стареть; кажется, она не может к этому привыкнуть. Сам Базен ей это говорит. И право же, я это понимаю, потому что она ведь не умна, зла как черт, манеры у нее неприятные, и она чувствует, что у нее ничего не останется, когда она больше не будет красивой».

Я уже надел пальто, за что подвергся порицанию со стороны г-на де Германта, который в связи с жарой, стоявшей эти дни, опасался простуды и высказал мне свое мнение, пока мы спускались. А то поколение аристократов, которое более или менее полностью прошло через руки епископа Дюпанлу, говорит на столь плохом французском языке (за исключением семьи Каstellлан), что герцог выразил мысль свою так: «Лучше ничего не надевать, пока вы не вышли на улицу, по крайней мере вообще...» Я как сейчас вижу весь этот выход гостей, как сейчас вижу, если только не по ошибке поместил его на этой лестнице, — портрет, отделившийся от своей рамы, — принца де Сагана, для которого этот вечер должен был стать последним выездом в свет и который, свидетельствуя герцогине свое почтение, снял цилиндр и, держа его в руке, одетой в белую перчатку, по цвету соответствовавшую гардени в его петлице, отвесил ей поклон, сопровождаемый столь широким жестом руки, что можно было удивляться, отчего это у него не шляпа с перьями, как при старом режиме, о котором напоминало лицо этого аристократа, в точности воспроизводившее целый ряд лиц его предков. Он совсем недолго постоял подле нее, но даже и те его позы, которые сохранились всего одно мгновение, уже представляли целую живую картину, как бы историческую сцену. Впрочем, так как теперь он умер, а при жизни я видел его лишь мельком, он для меня настолько отошел в область истории, — по крайней мере, в область истории светского общества, — что мне случается испытывать удивление при мысли о том, что женщина или мужчина, которых я знаю, — это его сестра или его племянник.

Пока мы спускались с лестницы, по ней подымалась с усталым видом, который был ей к лицу, дама на вид лет сорока, хотя на самом деле она была старше. То была принцесса д'Орвилье, как говорили — внебрачная дочь герцога Пармского, в нежном голосе которой смутно проступал австрийский акцент. Она шла, высокая, слегка наклонившись вперед, в платье белого шелка, с рисунком из цветов, и сквозь броню из брильянтов и сапфиров видно было, как вздымается ее усталая грудь, трепещущая и прелестная. Встряхивая головой, словно царская кобылица, которой мешают ее жемчужный недоуздок неисчислимой цены и чрезмерной тяжести, она то тут, то там останавливала свои взгляды, нежные и очаровательные, полные синевы, которые, по мере того, как начинали блекнуть, становились еще более ласкающими, и большинству разговаривающихся гостей дружелюбно кивала головой. «Как рано вы приезжаете, Полетта!» — сказала герцогиня. — «Ах, я так жалею! Но право же я была лишена физической возможности», — ответила принцесса д'Орвилье, которая заимствовала этого рода фразы у герцогини Германтской, но придавала им оттенок природной мягкости и искренности, зависевшей от того, что в ее голосе, столь нежном, с приглушенной силой звучал германский акцент.

Она как будто намекала на сложности жизни, о которых слишком долго рассказывать, а не на обыкновенные званые вечера, хотя нынче она уже успела побывать на нескольких. Но не они были причиной ее столь позднего приезда. Так как принц Германтский в течение многих лет не позволял своей жене принимать г-жу д'Орвилье, то последняя, когда запрет был снят, ограничивалась тем, что, получая приглашения, но не желая показывать вида, будто она их жаждет, в ответ на них только завозила карточки. После двух или трех лет, в течение которых она поступала таким образом, она стала приезжать и сама, но очень поздно, как будто после театра. Благодаря этому могло казаться, что она вовсе не стремится присутствовать на вечере или быть замеченной на нем, а только приезжает с визитом к принцу и принцессе, исключительно ради них, из симпатии к ним, в такой час, когда больше половины гостей уже успеет разъехаться и она сможет «полностью насладиться их обществом». «В самом деле, Ориана дошла до последнего предела, — брюзжала г-жа де Галардон, — не понимаю, как это Базен дает ей разговаривать с госпожой д'Орвилье. Уж господин де Галардон мне бы этого не позволил!» Что до меня, то в г-же д'Орвилье я узнал ту женщину, которая около дома Германтов бросала на меня долгие томные взгляды, оборачивалась, останавливалась у витрин магазинов. Г-жа де Германт представила меня, г-жа д'Орвилье была очень мила — в меру любезна, ничуть не удивлена. Она посмотрела на меня, как смотрела и на других, своими кроткими глазами... Но больше мне уже не было суждено хоть раз еще увидеть, встречаясь с ней, одну из этих попыток, доверивших, казалось бы, о ее желании отдаться мне. Бывают особые взгляды, — такие, как будто тот, кто смотрит, вас узнает, взгляды, которые иные женщины бросают на молодого человека только до тех пор, пока не познакомятся с ним и не узнают, что он — друг людей, с которыми они тоже знакомы.

Объявили, что экипаж подан. Г-жа де Германт подобрала свою красную юбку, как бы для того, чтобы спуститься с лестницы и сесть в экипаж, но, почувствовав, может быть, угрызения совести или желание доставить удовольствие, главное — воспользоваться той краткостью, на которую можно было рассчитывать в силу внешних препятствий, мешавших затянуться этому столь скучному занятию, посмотрела на г-жу де Галардон; затем, как будто лишь сейчас заметив ее, вдохновилась, перешла, прежде чем спускаться вниз, на

противоположную сторону ступени и, подойдя к своей восхищенной кузине, протянула ей руку. «С каких давних пор», — сказала ей герцогиня и, чтобы дальше не излагать тех сожалений и законных оправданий, которые должны были заключаться в этой формуле, испуганно обернулась к герцогу, который, уже спустившись вместе со мной к экипажу, действительно негодовал, видя, что жена его направилась к г-же де Галардон и задерживает теперь другие экипажи. — «Ориана все-таки еще очень хороша, — сказала г-жа де Галардон. — Мне смешно, когда люди говорят, что мы с ней в холодных отношениях; по причинам, в которые нам незачем посвящать других, мы можем годами не видеться друг с другом, но все же у нас слишком много общих воспоминаний, чтобы мы могли расстаться, и в сущности она прекрасно знает, что любит меня больше, чем столько других, которых она видит каждый день и которые ей не чета». Г-жа де Галардон, действительно, уподоблялась тем влюбленным, которые, будучи отвергнуты, во что бы то ни стало хотят уверить других, что они более любимы, чем те, которых лелеет их красавица. И (этими похвалами, которые она, не заботясь о противоречии с тем, что говорила всего несколько минут тому назад, расточала теперь по адресу герцогини Германтской) она косвенным образом доказала, что та в совершенстве знает правила, которыми должна руководствоваться изысканная аристократка, способная в ту самую минуту, когда ее замечательнейший туалет вызывает, наряду с восхищением, и зависть, устремиться на другую сторону лестницы, лишь бы обезоружить эту зависть. «Постарайтесь хотя бы не замочить ваши туфли» (прошел маленький дождик после грозы) — сказал герцог, все еще пребывавший в ярости от того, что ему пришлось ждать.

На обратном пути, так как в карете было тесно, красные туфли герцогини поневоле оказались совсем близко от моих ног, и г-жа де Германт, даже опасаясь, как бы не задеть их, сказала герцогу: «Этот молодой человек будет вынужден сказать мне, как написано на какой-то карикатуре, не помню где: «Сударыня, скажите мне сразу, что вы любите меня, но только не наступайте мне на ноги». Мои мысли были, впрочем, довольно далеко от г-жи де Германт. С тех пор как Сен-Лу рассказал мне про девушку аристократического происхождения, которая бывает в доме свиданий, и о горничной баронессы Пютбю, — именно на этих двух существах, сливаясь нераздельно, сосредоточились желания, которые каждый день возбуждали во мне бесчисленные красавицы, делившиеся на два разряда, — с одной стороны, вульгарные и пышные, величественные камеристки из аристократических домов, напыщенно-гордые и говорящие «мы», когда речь идет о герцогинях, с другой стороны, те молодые девушки, чье имя мне лишь стоило прочесть в отчете о каком-нибудь бале, — и я, даже если мне никогда не случалось видеть, как они проезжают в экипаже или проходят пешком, уже влюблялся в них и, добросовестно изучив обзоры замков, где они проводят лето (причем меня часто вводило в заблуждение какое-нибудь похожее имя), по очереди начинал предаваться грезам о том, как я буду жить среди равнин западной Франции, среди северных дюн, среди хвойных лесов юга. Но как я ни пытался слить в единый сплав все плотские прелести, чтобы представить себе, в соответствии с идеалом, который начертал мне Сен-Лу, легкомысленную девушку и камеристку г-жи Пютбю, — все же обоим красавицам, которыми я стремился овладеть, недоставало того, чего я и не мог узнать, пока не видел их, — индивидуальных черт. В те месяцы, когда мне суждено было отдавать предпочтение камеристкам, я должен был делать тщетные усилия, стараясь вообразить себе камеристку г-жи Пютбю. Но после того как меня долгое время непрерывно волновали мои беспокойные желания, устремленные к стольким мимолетным существам, которых имени я даже не знал порою, которых во всяком случае так трудно было найти, еще труднее — узнать, и которыми, быть может, вовсе нельзя было овладеть, — какое наступило спокойствие, когда среди всей этой рассеянной, мимолетной, безымянной красоты для меня наметились две избранные особи, которые имели свои приметы и которые, — я, по крайней мере, не сомневался в том, — я мог в любое время получить в свое распоряжение. Я отдалял срок, когда смогу испытать это двойное наслаждение, как отдалял срок, в который примусь за работу, но уверенность, что я его испытаю, когда захочу, почти избавляла меня от необходимости его испытывать, словно это был один из тех наркотических порошков, которые нам достаточно лишь иметь под рукой, чтобы заснуть, не прибегая к ним. Во всем мире для меня были желанны только две женщины, лиц которых, правда, мне не удавалось представить себе, но имена которых Сен-Лу мне сообщил, поручившись также за их готовность. Таким образом, если слова, сказанные им только что, задали большую работу моему воображению, то моей воле они дали длительный отдых, принесли ей немалое облегчение.

— Скажите, — спросила меня герцогиня, — если оставить в стороне балы, на которых вы бываете, не могу ли я вам быть сколько-нибудь полезна? Может быть, есть какой-нибудь салон, и вам было бы приятно, чтобы я представила вас там? — В ответ я открыл ей мое опасение, что единственный салон, куда мне хотелось бы попасть, покажется ей слишком неизысканным. «У кого это?» — спросила она голосом угрожающим и хриплым, почти не размыкая губ. — «У баронессы Пютбю». Тут она притворилась, что сердится по-настоящему. — «Ну, нет! Это — извините, я думаю, что вы издеваетесь надо мной. Я даже не знаю, по какой случайности мне известна фамилия этой пакости. Но это же подонки общества. Это вроде того, как если бы вы попросили меня представить вас моей беловшейке. И даже не то, потому что беловшейка у меня очаровательная. Вы немножко с ума сошли, дитя мое. Во всяком случае умоляю вас быть вежливыми с теми, кому я вас представила, завозить им карточки, навещать их и не заговаривать с ними о баронессе Пютбю, которой они не знают». Я спросил, не легкомысленна ли г-жа д'Орвиллье. — «О! Нисколько, вы путаете, она скорее недотрога. Правда, Базен?» — «Да, во всяком случае, как мне кажется, о ней никогда не было никаких толков», — сказал герцог.

— Не хотите ли поехать вместе с нами на этот бал? — спросил он меня. — Я дал бы вам венецианский плащ, и я знаю одно лицо, которому это доставило бы страшное удовольствие, об Ориане я и не говорю, это само собой разумеется, нет, это — принцесса Пармская. Она все время поет вам дифирамбы, вашим именем только и клянется. Так как она в летах уже довольно зрелых, то ваше счастье, что она абсолютно целомудренна. А то она, конечно, сделала бы вас своим чичисбеем, как говорили в годы моей молодости, своего рода кавалером для услуг.

На бал мне не хотелось, мне хотелось увидеться с Альбертиной. И я отказался. Карета остановилась, выездной лакей распорядился, чтоб открыли ворота, лошади стали бить землю копытами, пока ворота не распахнулись во всю ширь, и карета въехала во двор. «До свидания», — сказал мне герцог. — «Мне порой случалось жалеть, что я живу так близко от Мари, — сказала мне герцогиня, — если я и очень ее люблю, то не так уже люблю у нее бывать. Но я никогда еще так не жалела об этой близости, как сегодня вечером, потому что из-за нее нам столь недолго пришлось ехать вместе». — «Ну, Ориана, довольно разговаривать». Герцогине хотелось, чтобы я зашел к ним на несколько минут. Она долго смеялась, так же как и герцог, когда я сказал, что не могу зайти к ним потому, что как раз сейчас ко мне в гости должна прийти молодая девушка. «Странное у вас время, чтоб принимать гостей», — сказала она мне.

— Ну, идем, дитя мое, надо торопиться, — сказал своей жене г-н де Германт. — Без четверти двенадцать, вам пора надевать костюмы... — У двери, которую они неотступно караулили, герцог натолкнулся на двух дам с палками, не побоявшихся спуститься ночью со своей вершины, чтобы предотвратить скандал. «Базен, мы очень хотели предупредить вас, так как боялись, что вас увидят на этом балу: бедный Аманьен скончался час тому назад». Герцог пережил тревожную минуту. Ему уже представлялось, как отпадает для него

этот пресловутый бал, раз уж эти проклятые обитательницы гор известили его о смерти г-на д'Осмона. Но он быстро овладел собой и бросил своим кузинам такую фразу, в которой отразил и свое намерение — не отказываться от удовольствия, и свою неспособность усвоить со всей точностью значение слов: «Скончался! Да нет, это преувеличено, преувеличено!» И, больше уже не обращая внимания на своих двух родственниц, которые, вооружившись альпенштоками, должны были совершить свое ночное восхождение, поспешил узнать новости у камердинера.

— Привезли для меня шлем? — «Да, господин герцог». — «Сделана в нем дырочка, чтоб можно было дышать? Мне бы не хотелось задохнуться, чорт возьми!» «Да, господин герцог». — «Ах! дьявол! Это прямо — вечер несчастий. Ориана, я забыл спросить Бабала, для вас ли башмаки с острыми носами!» — «Дорогой мой, но раз костюмер из Комической оперы здесь, он нам скажет. Я не думаю, чтобы это могло подойти к вашим шпорам». — «Идем за костюмером, — сказал герцог. — Прощайте, дитя мое, я бы рад был попросить вас зайти к нам, пока мы будем примерять костюмы, это бы вас позабавило. Но мы заговоримся, скоро двенадцать, а чтобы все вышло на славу, мы не должны опаздывать».

Мне тоже как можно скорее хотелось расстаться с г-ном и г-жой де Германт. «Федра» кончалась в половине двенадцатого. К моему возвращению Альбертина уже должна была приехать. Я первым делом направился к Франсуазе. «Мадмуазель Альбертина здесь?» — «Никого не было».

Боже мой, неужели это должно было означать, что никого и не будет! Я волновался, посещение Альбертины казалось мне тем более желанным, что моя уверенность в нем уменьшалась.

Франсуаза тоже досадовала, но по совсем иной причине. Она только что усадила свою дочь за вкусный ужин. Но, услышав, что я иду, и решив, что ей не хватит времени убрать кушанья и разложить иголки и нитки, как будто вместо ужина имелась в виду работа, Франсуаза сказала мне: «Она тут съела ложку супа», дабы свести на нет ужин своей дочери и словно преступлением было то, что он отличался обилием. Даже если мне случалось сделать оплошность — войти в кухню во время завтрака или обеда, Франсуаза старалась показать, что уже кончили, и даже просила извинения, говоря: «Мне захотелось съесть кусочек» или «закусить». Но сомнений не оставалось при виде множества кушаний, которые стояли на столе и которые Франсуаза, застигнутая врасплох моим неожиданным приходом, точно злоумышленник, каким она не являлась, не успела скрыть. Потом она прибавила: «Ну, иди ложись, ты достаточно поработала сегодня (ибо она желала представить дело в таком виде, будто дочь ее не только ничего не стоит нам, терпит лишения, но еще и убивает себя работой для нас). Ты только занимаешь место в кухне, а главное — мешаешь мосье, который ждет гостей. Ну, иди к себе», — повторила она, словно была вынуждена прибегнуть к своей власти, чтобы послать дочь ложиться спать, хотя последняя, после того как ужин сорвался, оставалась только для приличия, а если бы я пробыл еще пять минут, ушла бы и сама. И, обернувшись ко мне, Франсуаза сказала на том прекрасном народном и все же слегка индивидуальном языке, который был ей свойствен: «Вы, сударь, не видите, что на ней лица нет — так ей хочется спать». Я был в восторге, что мне не придется разговаривать с дочерью Франсуазы.

Я говорил уже, что она была родом из местности, находившейся по соседству с родной деревней ее матери и все же отличавшейся от нее характером почвы, растительности, говором, а главное — некоторыми особенностями жителей. Таким образом, «мясничиха» и племянница Франсуазы очень плохо понимали друг друга, но имели ту общую черту, что, когда их посылали с поручением, они целыми часами засиживались у «сестры» или у «двоуродной», будучи неспособны сами закончить разговор, — разговор, в ходе которого повод, заставивший их выйти из дому, испарялся настолько, что если по их возвращении им говорили: «Ну, можно ли будет в четверть седьмого увидеть маркиза де Норпуа?» — они даже не хлопали себя по лбу, восклицая: «Ах, забыла!», но отвечали: «Ах, да я не поняла, что мосье этого хотели, я думала, что надо было только снести ему поклон!» Если они на этот лад «теряли голову», забывая вещи, сказанные им час тому назад, то, с другой стороны, невозможно было разуверить их в том, что когда-нибудь говорила при них сестра или кузина. Так, если мясничиха слышала, что англичане воевали с нами в 1870 году, — тогда же, когда пруссаки, — хоть я и объяснял ей, что это неверно, — она каждые три недели повторяла мне в ходе какого-нибудь разговора: «А все потому, что англичане воевали с нами в 70-м году, тогда же, когда и пруссаки!» — «Но я же вам сто раз говорил, что вы ошибаетесь!» Она отвечала, доказывая своими словами, что в ее воззрениях ничего не изменилось: «Как бы то ни было, это не причина, чтоб на них сердиться. С 70-го года много воды утекло» и т. д. Другой раз, проповедуя войну с Англией, не встречавшую одобрения с моей стороны, она сказала: «Конечно, всегда лучше, если можно без войны; но раз уж так нужно, лучше сразу. Вот сестра объяснила сейчас, что с тех пор, как англичане воевали с нами в 70-м году, нам — разорение от торговых договоров. А когда их побьют, во Францию не впускают ни одного англичанина, если он не заплатит трехсот франков за въезд, как платим мы, чтоб поехать в Англию».

Таковы, если не считать большой честности и проявлявшегося в их разговорах глухого упрямства, с которым они никому не позволяли перебивать себя, по двадцать раз начиная с того места, где их прервали, что в конце концов стало придавать их речам непоколебимую твердость Баховой фуги, — таковы были особенности жителей этой местности, насчитывавшей их не более пятисот и окаймленной каштанами, ивами, полями с картофелем и свекловицей.

Дочь Франсуазы, напротив, считая себя женщиной современной и расставшейся со стариной, говорила на парижском арго и не пропускала случая, когда можно было сказать какой-нибудь каламбур. Она слышала от Франсуазы, что я был в гостях у принцессы: «Ах, наверно, у принцессы на горошине!» Видя, что я кого-то жду в гости, она притворилась, будто думает, что меня зовут Шарлем. Я наивно ответил ей, что это не так, и дал ей повод сказать: «Ах, а я думала! И говорила себе: «Шарль ждет».[1] Это было довольно безвкусно. Но я остался менее равнодушен, когда по поводу опоздания Альбертины она, в виде утешения, сказала: «Мне кажется, что ждать вам придется без конца. Она уж не придет. Ах! Эти нынешние девчоночки!»

Так речь ее отличалась от речи ее матери; но — обстоятельство более любопытное — речь ее матери была не совсем та, что речь ее бабушки, уроженки Байю-ле-Пен, находившегося так близко от родины Франсуазы. Все же говоры были слегка различны, так же как и характер пейзажей. В холмистой, спускавшейся в сторону долины местности, где жила мать Франсуазы, водились ивы. И весьма далеко оттуда была во Франции маленькая область, где слышался почти тот же самый говор, что и в Мезеглизе. Это обстоятельство, едва только я открыл его, сразу же причинило мне досаду. В самом деле: как-то раз я застал Франсуазу в разгаре долгой беседы с какой-то горничной из нашего дома, происходившей из той местности и говорившей на том же наречии. Они обе почти понимали друг друга, я не понимал их вовсе, они это знали и, поскольку извинением на их взгляд должна была служить радость встречи двух землячек, хотя бы и

родившихся так далеко одна от другой, это не мешало им продолжать в моем присутствии разговор на чужом языке, как делают люди, не желающие, чтобы их поняли. Эти упражнения двух служанок в языковой географии и товарищеских чувствах происходили потом на кухне каждую неделю, не доставляя мне никакого удовольствия.

Так как всякий раз, когда открывались ворота, швейцар нажимал электрическую кнопку, чтобы осветить лестницу, и так как в этот час не оставалось больше квартирантов, которые бы не вернулись еще домой, я сразу же ушел из кухни и вернулся в переднюю, где и уселся, приглядываясь к тому месту стеклянной двери нашей квартиры, где портьера, недостаточно широкая, оставляла незакрытое пространство — темную вертикальную полосу, зависевшую от полумрака на лестнице. Если бы вдруг эта полоса сделалась светло-золотистой, это значило бы, что Альбертина — внизу, что она вошла в подъезд и будет у меня через две минуты; больше никто другой не мог прийти в этот час. И я оставался здесь, не в силах отвести глаза от полосы, которая упорно оставалась темной; я наклонялся всем корпусом, чтобы увериться, что я хорошо все вижу; но сколько я ни смотрел, темная вертикальная полоса, несмотря на мое страстное желание, не давала мне той пьянящей радости, которую я испытал бы, если бы увидел, как она по внезапному и знаменательному волнению превратилась в сверкающую золотую черту. Это несомненно было беспокойство — из-за той самой Альбертины, о которой я и трех минут не думал на вечере у Германтов. Но, пробуждая чувства нетерпения, испытанные прежде, когда другие девушки, а в особенности Жильберта, медлили прийти, мысль о том, что я могу лишиться простого физического наслаждения, причиняла мне жестокие моральные страдания.

Мне пришлось вернуться к себе в комнату. Франсуаза последовала туда за мной. Она считала, что раз я вернулся с вечера, то не стоит мне сохранять розу в петлице, и пришла отцепить ее. Ее жест, напомнив мне о том, что Альбертина может уже и не прийти, и заставив меня признать, что я желал быть эlegantным ради нее, вызвал во мне раздражение, еще усилившееся от того, что, пытаясь высвободиться, я сделал резкое движение и смял розу, а Франсуаза мне сказала: «Лучше было позволить мне взять ее, чем вот этак портить цветок». Впрочем, всякое ее слово раздражало меня. Когда мы ждем, мы так страдаем от отсутствия того, кого нам хочется, что не выносим присутствия другого существа.

Когда Франсуаза вышла из комнаты, я подумал, что если теперь я ради Альбертины стал прихорашиваться, то весьма досадно, что раньше, в те вечера, когда я звал ее для новых ласк, я так часто показывался ей небритым, с бородой, не подстригавшейся уже несколько дней. Я чувствовал, что, забыв обо мне, она оставит меня в одиночестве. Чтобы украсить немного мою комнату на тот случай, если Альбертина еще придет, и потому что это была одна из самых красивых вещей, которые я имел, я в первый раз после многих лет положил на стол, возле моей постели, портфельчик с украшениями из бирюзы, который Жильберта подарила мне как вместительное для брошюры Бергота и с которым я долгое время не желал расставаться даже во время сна, кладя его подле агатового шара. Впрочем, в такой же, может быть, мере, как и сама Альбертина, все еще не пришедшая ко мне, присутствие ее в эту минуту в каком-то другом месте, которое она, видимо, нашла более приятным и которое мне было неизвестно, вызывало во мне мучительное чувство, которое, несмотря на то, что я меньше чем час тому назад говорил Свану о своей неспособности ревновать, могло бы, если бы с моей приятельницей я виделся через менее длительные промежутки, превратиться в тревожную потребность — знать, где и с кем она проводит время. Я не решался послать к Альбертине, было слишком поздно, но в надежде, что, ужиная, может быть, с приятельницами где-нибудь в кафе, она вздумает мне позвонить, я повернул переключатель и перевел телефон к себе в комнату, прервав связь между станцией и помещением швейцара, с которым она обычно и сохранялась в эти часы. Поставить аппарат в коридорчике, куда выходила комната Франсуазы, было бы более просто и менее неудобно, но бесполезно. Успехи цивилизации каждому дают случай проявить не подозревавшиеся в нем качества или же новые пороки, которые делают его еще более дорогим или напротив еще более несносным для его друзей. Так, открытие Эдисона дало Франсуазе случай приобрести новый недостаток, — выражавшийся в том, что она отказывалась пользоваться телефоном, как бы полезно, как бы необходимо это ни было. Она находила способ — убежать, когда ее пытались этому научить, подобно тому, как другие убегают от прививки. Поэтому телефон был поставлен в моей комнате, а чтобы он не мешал моим родителям, звонок заменялся простым треском вертушки. Из опасения, что я его не услышу, я не двигался с места. Неподвижность моя была такова, что впервые за многие месяцы я заметил тикание стенных часов. Франсуаза пришла, чтобы что-то прибрать. Она разговаривала со мной, но не был противен этот разговор, несмолкающий и буднично-однообразный, меж тем как мои чувства менялись с минуты на минуту, переходя от опасения к страху, от страха — к полному разочарованию. Я чувствовал, что в произведении с теми словами, которые я считал нужным говорить ей, придавая им оттенок удовлетворенности, вид у меня был такой несчастный, что я сослался на ревматические боли, лишь бы объяснить это несоответствие между моим притворным равнодушием и горестным выражением лица; к тому же я опасался, как бы слова Франсуазы, хотя говорила она вполголоса (не из-за Альбертины, ибо считала, что время, в которое она еще могла бы прийти, давно прошло), не помешали мне услышать спасительный призыв, который уже не повторится. Наконец Франсуаза пошла ложиться спать; я отослал ее ласково, но грубовато, чтобы уходя она не делала шума, который мог бы заглушить треск телефона. И я снова начал прислушиваться, мучиться; когда мы ждем, двойной путь от уха, воспринимающего шум, до сознания, производящего отбор и подвергающего их анализу, и от сознания до сердца, которому оно сообщает результат, столь краток, что мы даже не можем почувствовать, сколько времени он длится, и нам кажется, будто мы слушаем прямо сердцем.

Меня терзали непрестанно повторявшиеся вспышки желания, все более тревожного и все еще не исполнившегося, — услышать зовущий меня звук; дойдя до апогея мучительного восхождения по спиральям своей одинокой тоски, я вдруг услышал, как внезапно, поднявшись до меня из глубин людного ночного Парижа, механический и божественный, словно зрелище развевающегося шарфа в «Тристане» или звук пастушеской свирели, рядом с моими книжными шкафами внезапно раздался телефонный треск. Я бросился к аппарату, это звонила Альбертина. «Я вам не помешала своим звонком в такой час?..» — «Да нет, — сказал я, сдерживая свою радость, ибо слова ее о неподходящем часе должны были, наверно, явиться извинением тому, что она придет в столь позднее время, придет сейчас, а не означать, что она не придет вовсе. — Вы придете?» — спросил я равнодушным тоном. — «Да нет... если вы можете как-нибудь обойтись без меня».

Одна часть моего я, к которой стремилась другая, была в Альбертине. Ей надлежало прийти, но этого я ей сразу не сказал; так как теперь мы были связаны телефоном, то я решил, что в конце концов смогу в последнюю секунду заставить ее или прийти ко мне или позволить мне поспешить к ней. «Да, я очень близко от своей квартиры, — сказала она, — и бесконечно далеко от вас; я невнимательно прочла вашу записку и испугалась, что вы меня ждете». Я чувствовал, что она лжет, и если теперь, воспылав яростью, я хотел принудить ее прийти, то потребность помешать ей играла здесь еще большую роль, чем потребность увидеть ее. Однако сперва я желал отказаться от того, что постараюсь получить через несколько мгновений. Но где же она находилась? К словам ее примешивались другие звуки: рожок

мотоциклиста, голос поощряющей женщины, духовая музыка, доносящаяся издали, — все это раздавалось столь же отчетливо, как и милый ее голос, словно показывая мне, что это в самом деле Альбертина в ее теперешнем окружении находится сейчас со мной, подобно тому, как ком земли мы захватываем вместе с злаками, приставшими к нему. Те же самые звуки, которые я слышал, касались и ее слуха и являлись помехой ее вниманию, — правдивые подробности, посторонние ей самой, ненужные сами по себе и тем более необходимые для того, чтобы доказать очевидность подобного чуда, черты строгие и очаровательные, рисующие нам какую-то парижскую улицу, черты вместе с тем резкие и жесткие какого-то неведомого вечера, помещавшего Альбертине прийти ко мне после окончания «Федры».

«Прежде всего, — сказала ей, — предупрежу вас, что говорю я это не для того, чтоб вы пришли ко мне, так как вы очень стеснили бы меня в этот час... Я падаю от усталости. И потом множество осложнений. Хочу вам сказать, что с моим письмом не могло быть недоразумений. Вы ответили мне, что это решено. Так что же вы тут подразумевали, если вы не поняли?» — «Я сказала, что решено, но только я не очень-то помню, что именно было решено. Но я вижу, что вы рассердились, это мне неприятно. Жалею, что я была на «Федре». Если бы я знала, что из-за этого будут такие истории...» — прибавила она, как все люди, которые, будучи виноваты в чем-нибудь, прикидываются, будто думают, что в вину им ставят нечто другое. — «Федра» тут ни при чем, ведь это я просил вас пойти на спектакль». — «Так вы обиделись; досадно, что сегодня вечером уже слишком поздно, но завтра или послезавтра я приеду, чтоб извиниться». — «О, нет, Альбертина, прошу вас, после того как я из-за вас потерял вечер, оставьте меня в покое хотя бы в ближайшие дни. Свободен я буду не раньше, чем через две или три недели. Послушайте, если вам неприятно, что мы расстанемся под впечатлением ссоры, — а в сущности, вы, может быть, правы, — так я уж предпочту, — усталость за усталость, раз я прождал до такого часа и раз вы еще не дома, — чтоб вы приехали сейчас же, я выпью кофе, чтоб проснуться». — «Нельзя ли было бы отложить на завтра? Ведь трудно...» Слыша эти слова извинения, произнесенные таким голосом, как будто она не придет, я ощутил, что к желанию увидеть вновь бархатисто-нежное лицо, которое уже в Бальбеке направляло все течение каждого моего дня к той минуте, когда я на берегу лилового сентябрьского моря приближусь к этому розовому цветку, теперь мучительно пыталось присоединиться еще и совсем иное чувство. Эту страшную потребность в человеческом существе я испытал в Комбре, по отношению к моей матери, вплоть до желания умереть, когда она передавала мне через Франсуазу, что не сможет подняться ко мне. Эти усилия давнего чувства, пытавшегося сочетаться и слиться в одно целое с другим, более новым, которому сладострастной целью служила красочная поверхность, розовая расцветка прибрежного цветка, — эти усилия часто приводили к тому, что создавали (в химическом смысле) новое тело, которое может существовать лишь несколько мгновений. В этот вечер, по крайней мере, и еще долго потом оба элемента оставались разъединенными. Но уже слыша последние слова, сказанные Альбертиной по телефону, я начал понимать, что ее жизнь (не в физическом отношении, разумеется) расположена на таком расстоянии от меня, что мне всякий раз требовались бы долгие разведки, чтобы получить ее в свою власть, и что к тому же эта жизнь устроена наподобие полевых укреплений, и притом, ради большей надежности, наподобие тех из них, которые впоследствии вошло в обыкновение называть камуфляжем. Впрочем, Альбертина, хотя и стоя на более высокой общественной ступени, принадлежала к разряду тех женщин, которым консьержка обещает передать по ее возвращении письмо, принесенное вашим посыльным, — пока вы в один прекрасный день не обнаружите, что именно она, та женщина, которую вы встретили на улице и которой вы позволили себе написать, и есть консьержка. Таким образом, она действительно — но только в помещении для швейцара — живет в доме, указанном вам ею и являющемся в свою очередь домом свиданий, причем роль сводни играет сама консьержка, назвавшая вам, в качестве своего адреса, другой дом, где ее знают сообщники, которые не выдадут вам ее тайны, откуда ей переправят ваши письма, но где она не живет, оставляя там, самое большее, кое-какие свои вещи. Это — бытие, огражденное целым рядом извилин, так что, когда хочешь увидеть эту женщину или узнать, кто она, оказывается, что вы слишком далеко прошли вправо, или влево, или вперед, или назад, и вы целыми месяцами, целыми годами пребываете в полном неведении. Что касается Альбертины, я чувствовал, что никогда ничего не узнаю, что мне никогда не удастся разобраться в бесконечной смеси реальных подробностей и выдуманных фактов. И что так будет всегда, до самого конца, если только не заточить ее в тюрьму (но ведь можно из нее бежать). В тот вечер эта мысль возбуждала во мне лишь беспокойство, в котором для меня однако уже был трепет, подобный предчувствию долгих страданий.

— Да нет, — ответил я, — я вам уже сказал, что буду свободен лишь через три недели, а завтра — не более, чем в какой-нибудь другой день. — «Хорошо, тогда... тогда я к вам бегу... Но досадно, потому что я сейчас у одной подруги, которая...» Я чувствовал, что она не думала, будто я соглашусь на ее предложение прийти, которое, значит, было неискренно, и мне хотелось загнать ее в тупик. — «Ваша приятельница, — это меня не касается, приезжайте или не приезжайте — это ваше дело, не я вас просил приехать, вы мне сами предложили». — «Не сердитесь, сейчас сажусь в фиакр и буду у вас через десять минут». Итак, после того как из ночных глубин этого Парижа в мою комнату уже проник, словно указывая на радиус действий далекого от меня существа, голос, которому предстояло подняться на поверхность и появиться, после этой первой благой вести должна была прийти та самая Альбертина, которую я знал когда-то под небом Бальбека, когда официантов Гранд-отеля, накрывавших на стол, ослепляли лучи заката, когда неуловимые вечерние дуновения в растворенные настех окна проникали с пляжа, где еще оставались некоторые гуляющие, в огромную столовую, где еще не успели усесться за стол те, кто первыми пришли обедать, и когда в зеркале за стойкой проплывало красное отражение корпуса последнего парохода, отправлявшегося в Ривбель, и долго еще отражался его дым. Я больше не спрашивал себя, что могло заставить Альбертину опоздать, и когда Франсуаза вошла ко мне в комнату со словами: «Мадмуазель Альбертина пришла», я только из притворства, даже не поворачивая головы, ответил: «Как это мадмуазель Альбертина приходит так поздно!» Но, подняв после этого глаза на Франсуазу, как бы любопытствуя узнать ее ответ, который должен был подтвердить мнимую искренность моего вопроса, я с удивлением и яростью увидел, что, способная соперничать с самой Берма в искусстве наделять даром речи неодушевленные одежды и черты лица, Франсуаза сумела привести в соответствующий вид и свой корсаж и свои волосы, из которых самые седые были извлечены на поверхность, словно метрическое свидетельство, и легли на ее шею, сгибавшуюся под бременем усталости и послушания. Они словно выражали жалобу, что ей, в ее возрасте, пришлось проснуться среди ночи и расстаться с теплой постелью, наспех и кое-как одеться, с риском схватить воспаление легких. Вот почему, опасаясь дать повод к мысли, будто я извиняюсь за Альбертину, пришедшую так поздно, я сказал: «Во всяком случае я очень рад, что она пришла, все как нельзя лучше», и дал волю моей глубокой радости. Эта радость оставалась неомраченной лишь до тех пор, пока я не услышал ответа Франсуазы. Франсуаза, нисколько не жалуясь, даже как будто всячески стараясь подавить неудержимый кашель и только кутаясь в шаль, как если бы ей было холодно, первым делом сообщила мне все, что она сказала Альбертине, не преминув спросить, как поживает ее тетка. «Я как раз и говорила, мосье, верно, боится, что мадмуазель уже не придет, ведь не такое время, чтобы приехать, скоро уже утро. Но она, верно, была в таких местах, где порядком весело, — ведь она даже и не пожалела, что заставила ждать мосье, она мне ответила, словно ей на все наплевать: «Лучше поздно, чем никогда». И Франсуаза прибавила слова, насквозь пронзившие мне сердце: «Она себя выдала, раз так говорит. Может быть, ей бы и хотелось утаить, но...»

Мне особенно не приходилось удивляться ей. Я говорил сейчас, что Франсуаза, исполнив данное ей поручение, редко давала отчет в том, что касалось если не ее собственных слов, которые она охотно и пространно пересказывала, то, по крайней мере, ожидавшегося ответа. Но если в виде исключения она и повторяла нам слова, сказанные нашими друзьями, как бы они ни были коротки, ей в случае надобности обычно удавалось, благодаря тому выражению, тому тону, которыми, как она уверяла, они сопровождалась, придать им несколько оскорбительный характер. На худой конец она соглашалась признать, будто от поставщика, к которому мы ее послали, она претерпела обиду, впрочем, по всей вероятности, воображаемую, лишь бы эта обида, будучи обращена к ней, как к нашей представительнице, говорившей от нашего имени, косвенно задела и нас. Оставалось лишь ответить ей, что она не так поняла, что она страдает манией преследования и что все торговцы не могут же быть в заговоре против нее. Впрочем, чувства их мало трогали меня. Не то было по отношению к Альбертине. И, повторив мне эти насмешливые слова: «Лучше поздно, чем никогда!», Франсуаза тотчас вызвала в моем воображении подруг, в обществе которых Альбертина провела остаток вечера и с которыми ей, значит, было приятнее, чем со мной. «Она просто смешная, у нее шляпенка плоская, глаза большущие, оттого-то у нее такой забавный вид, а главное — это ее пальто, его надо бы послать к штопалке, оно все съедено молью. На нее смешно смотреть», — прибавила, словно насмехаясь над Альбертиной, Франсуаза, у которой редко бывали те же впечатления, что и у меня, но которая испытывала потребность делиться своими. Я даже и вида не хотел показывать, что понимаю презрительно-иронический смысл этого смеха, но, чтобы не оставаться в долгу, я ответил Франсуазе, хотя и не видел той плоской шляпки, о которой она говорила: «То, что вы называете «плоская шляпенка», — это прямо восхитительная вещь...» — «То есть она просто ничего не стоит», — ответила Франсуаза, откровенно на этот раз выразив свое настоящее презрение. Тогда (придав мягкость моему тону и замедлив мою речь, чтобы мой лживый ответ показался выражением не гнева, а самой истины), не теряя однако времени, чтобы не заставлять Альбертину ждать, я обратился к Франсуазе со следующими жестокими словами: «Вы прекрасный человек, — медоточиво сказал я ей, — вы очень хорошая, у вас масса достоинств, но вы все не сдвинулись с того места, на котором были, когда первый раз приехали в Париж, и все так же не разбираетесь в туалетах, как не умеете правильно произносить слова и делаете ошибки». А этот упрек был особенно нелеп, ибо те французские слова, правильным произношением которых мы так гордимся, сами представляют не что иное, как «ошибки», которые делались галльскими ртами, коверкавшими латинский или саксонский языки, поскольку наш язык является лишь неверным произношением слов, принадлежащих нескольким другим языкам.

Дух языка в его живом проявлении, будущее и прошлое французской речи — вот что должно было бы заинтересовать меня в ошибках Франсуазы. Разве «штопалка», вместо «штопальщицы», представляла собой явление менее любопытное, чем те животные, что сохранились нам от далеких времен, как кит или жираф, и показывают нам те стадии, через которые прошел животный мир? «И, — прибавил я, — раз уж вы в течение стольких лет ничему не смогли научиться, то никогда и не научитесь. Впрочем, вы можете утешиться, это не мешает вам быть превосходным человеком, как нельзя лучше готовить холодную говядину в желе и делать еще множество всяких вещей. Шляпа, которая на ваш взгляд слишком проста, скопирована с одной из шляп герцогини Германтской, стоившей пятьсот франков. Впрочем, я предполагаю в ближайшее время подарить мадмуазель Альбертине новую шляпку, еще лучше». Я знал, что самую большую неприятность я доставляю Франсуазе, тратя деньги ради людей, ею нелюбимых. В ответ она мне сказала несколько слов, которые трудно было разобрать из-за внезапного приступа одышки, случившейся с ней. Когда впоследствии я узнал, что у нее была болезнь сердца, — какие угрызения совести я испытал при мысли, что я никогда не мог отказать себе в свирепом и бесполезном удовольствии — давать такой отпор ее словам. Впрочем, Франсуаза терпеть не могла Альбертину, так как, будучи бедной, Альбертина ничего не могла прибавить к тому, в чем Франсуаза видела мои преимущества. Она благожелательно улыбалась всякий раз, как я получал приглашение от г-жи де Вильпаризи. Зато она возмущалась, что Альбертина сама никогда не приглашает меня в гости. Я дошел до того, что был вынужден выдумывать подарки, которые она якобы сделала мне и в существование которых Франсуаза совершенно не верила. Эта неблагодарность особенно оскорбляла ее в отношении пищи. То, что Альбертина принимала от мамы приглашения на обед, тогда как нас не приглашали к г-же Бонтан (которая, впрочем, половину времени не бывала в Париже, потому что муж ее принимал «назначения», как и прежде, когда министерство надоедало ему), казалось ей бестактностью со стороны моей приятельницы, которую она косвенным образом и клеймила, повторяя следующее присловье, распространенное в Комбре:

— Хочешь, будем есть мой хлеб?

— Хорошо.

— Хочешь, будем есть твой хлеб?

— Я уж сыт.

Я притворился, что пишу письмо. «Кому это вы писали?» — спросила, входя, Альбертина. — «Одной славной приятельнице, Жильберте Сван. Вы ее не знаете?» — «Нет». Я отказался от намерения спросить Альбертину о том, как она провела вечер, я чувствовал, что буду упрекать ее и что, принимая во внимание поздний час, у нас не будет времени помириться настолько, чтобы перейти к поцелуям и ласкам. Поэтому с них-то сразу я и хотел начать. Впрочем, если я несколько успокоился, то не чувствовал себя счастливым. Утрата компаса, утрата направления, характеризующая ожидание, ощущается и после того, как появилось существо, которого мы ждали, и, подменяя то спокойствие, благодаря которому его приход представлялся нам таким наслаждением, вовсе не позволяет нам насладиться им. Альбертина была здесь: мои расстроенные нервы по-прежнему пребывали в возбуждении, все еще ждали ее. «Я хочу получить хороший поцелуй, Альбертина». — «Сколько захотите, — со всей своей добротой ответила она мне. Я никогда не видал ее такой красивой. — Хотите еще?» — «Но вы же знаете, что это для меня большое, большое наслаждение». — «А для меня еще в тысячу раз большее, — ответила она мне. — Ах, какой у вас тут хорошенький портфельчик!» — «Возьмите его себе, я дарю вам его на память». — «Вы такой милый...» Человек навсегда исцелился бы от всего романтического, если бы, думая о той, кого он любит, он пробовал быть таким, каким станет тогда, когда уже не будет ее любить. Портфельчик, агатовый шар Жильберты — все это имело когда-то свое значение только в силу состояния безусловно низшего порядка, потому что теперь это был для меня обыкновенный портфельчик, обыкновенный шар.

Я спросил Альбертину, не хочет ли она пить. «Тут как будто я вижу апельсины и воду, — сказала она. — Это будет превосходно». Так я смог вместе с ее поцелуями вкусить ту свежесть, которая на вечере у принцессы Германтской представлялась мне чем-то лучшим, чем они. И сок апельсина, смешанный с водой, казалось, дарил мне, по мере того как я его пил, тайную жизнь его созревания, благотворно влияя на некоторые состояния этого человеческого организма, принадлежащего к миру столь отличному от него, проявляя свое

Бессилие его оживить, но зато делясь с ним силами своей влаги, которая могла быть живительна для него, открывая сотни тайн моему чувству, но отнюдь не уму.

Когда Альбертина ушла, я вспомнил, что обещал Свану написать Жильберте, и решил, что было бы хорошо сделать это сейчас же. Без всякого внимания и как будто дописывая последнюю строчку скучного школьного урока, начертил я на конверте имя Жильберты Сван, которым прежде испещрял свои тетради, стараясь создать себе иллюзию, будто я переписываюсь с ней. Ведь если прежде это имя писал я сам, то теперь эту обязанность привычка поручила одному из тех многочисленных секретарей, которых она берет себе в помощники. И этот секретарь с тем большим спокойствием мог писать имя Жильберты, что, лишь совсем недавно поступив ко мне на службу, лишь совсем недавно будучи рекомендован мне Привычкой, он не был знаком с Жильбертой и, не вкладывая в эти слова никакого реального содержания, он только потому, что слышал их от меня, знал, что это девушка, в которую я был влюблен.

Я не мог обвинить ее в сухости. Существо, которым я теперь являлся по отношению к ней, было «свидетелем», самым подходящим для того, чтобы понять, чем сама она была для меня. Портфельчик, агатовый шар просто стали для меня по отношению к Альбертине тем, чем они были для Жильберты, чем они были бы для всякого другого существа, которое не озаарило бы их отблесками внутреннего пламени. Но теперь во мне была новая тревога, которая в свою очередь искажала представление об истинной силе вещей и слов. И когда Альбертина, чтобы еще раз поблагодарить меня, сказала: «Я так люблю бирюзу!», я ответил ей: «Так не дайте поблекнуть этим камням», как бы поручая им будущее нашей дружбы, которое, однако, не в большей мере могло внушить Альбертине какое-либо чувство, чем сохранить то, которое когда-то связывало меня с Жильбертой.

В ту пору стало обнаруживаться явление, которое заслуживает упоминания только потому, что оно встречается во все значительные периоды истории. В тот самый момент, когда я писал Жильберте, г-н де Германт, лишь сейчас вернувшийся с бала, еще не снявший своего шлема, размышлял о том, что завтра ведь ему придется надеть официальный траур, и решил на неделю раньше уехать на воды, где он должен был пройти курс лечения. Когда через три недели он вернулся (я забегаю вперед — ведь я только что кончил письмо к Жильберте), друзья герцога, видевшие, как он, в начале процесса столь равнодушный, стал яростным антидрейфусаром, — онемели от изумления, услышав от него (словно лечение подействовало не только на мочевого пузырь): «Ну что ж, дело будет пересмотрено и его оправдают, нельзя же осудить человека, против которого нет никаких улик. Видели ль вы когда-нибудь такого кретина, как Форшвилль? Офицер, готовящий для французов бойню, другими словами — войну. Странные времена». Дело в том, что за это время герцог Германтский познакомился с тремя очаровательными дамами (одной итальянской принцессой и двумя ее свояченицами). Услышав несколько слов, сказанных ими по поводу книг, которые они читали, по поводу пьесы, которая ставилась в Казино, герцог сразу понял, что имеет дело с женщинами, превосходящими его в умственном отношении, с которыми, как он сам говорил, он не мог бы померяться силами. Тем более он был счастлив, что принцесса пригласила его играть в бридж. Но как только он, сразу же по приходе к ней, в пылу своего антидрейфусарства, не зная различий, сказал: «Ну что ж, больше не слышно о пересмотре дела этого пресловутого Дрейфуса», — велико было его удивление, когда он услышал ответ принцессы и ее своячениц: «Мы никогда еще не были так близки к этому. Нельзя же держать на каторге человека, который ничего не сделал». — «Да что вы! Вот как?» — пробормотал сперва герцог, как будто узнав причудливую кличку, которой пользуются в этом доме, чтобы в смешном виде представить кого-нибудь, кого он до сих пор считал человеком умным. Но через несколько дней, подобно тому, как из трусости и духа подражания мы сами, не зная почему, кричим: «Эй! Жожотт!» — великому артисту, которого так называли при нас в этом доме, герцог, еще стеснявшийся этого нового обыкновения, все-таки говорил: «действительно, раз против него нет никаких улик». Три очаровательные дамы находили, что он эволюционирует недостаточно быстро, и обращались с ним несколько строго: «Да в сущности ни один умный человек и не думал, что в самом деле было что-нибудь». Всякий раз, как открывалась новая, убийственная улика против Дрейфуса и герцог, думая, что это убедит трех очаровательных дам, сообщал им о ней, они много смеялись и без труда, с чрезвычайной тонкостью диалектики, доказывали ему, что довод ничего не стоит и совершенно смехотворен. Герцог вернулся в Париж ярым дрейфусаром. И, разумеется, мы не собираемся утверждать, что три очаровательные дамы не были в данном случае провозвестницами истины. Но можно отметить, что через каждые десять лет, даже если мы и оставляем человека во власти искреннего убеждения, оказывается, что с ним начала общаться умная супружеская чета или хотя бы какая-нибудь одна очаровательная дама и через несколько месяцев привела его к противоположному мнению. И в этом смысле много есть стран, которые уподобляются такому искреннему человеку, много есть стран, которые были полны ненависти к тому или иному народу, а шесть месяцев спустя уже питают совсем другие чувства и нарушают союзы.

Я некоторое время не виделся с Альбертиной, но продолжал посещать, правда, не г-жу де Германт, уже ничего не говорившую моему воображению, а других волшебниц и их дома, которые были столь же неотделимы от них, как оболочка из перламутра или из эмали — от моллюска, создавшего ее и притаившегося в ней, или зубчатая башенка — от раковины. Я не смог бы применить к этим дамам какую-либо классификацию, поскольку трудность вопроса заключалась в бесцельности и невозможности не только решения, но даже и самой его постановки. Прежде чем проникнуть к даме, надо было проникнуть в волшебный особняк. А одна из них принимала летом всегда после завтрака; еще не доезжая до ее дома, приходилось поднимать верх пролетки, так страшно палило солнце, воспоминание о котором, хоть я и не отдавал себе отчета в этом, должно было войти в состав всего впечатления в целом. Я думал, что еду всего-навсего на бульвар Кур-ла-Рен; в действительности же, еще не приехав на званое собрание, которое, может быть, вызвало бы насмешки человека практического, я, словно путешественник по Италии, бывал ослеплен, испытывал наслаждения, от которых и самый дом был уже неотделим в моей памяти. Кроме того, ввиду жары, стоявшей в эту пору года и в эти часы, хозяйка дома наглухо закрывала ставни в обширных прямоугольных гостиных нижнего этажа, где она принимала. Я сперва плохо узнавал хозяйку дома и ее гостей, даже герцогиню Германтскую, хриплым голосом приглашавшую меня сесть рядом с ней в кресло Бове, на котором изображено было похищение Европы. Потом я начинал различать на стенах большие гобелены XVIII века, изображавшие корабли с мачтами, украшенными штюкросами, сидя под которыми я как будто оказывался не во дворце на берегах Сены, а во дворце Нептуна, на берегу океана, где герцогиня Германтская словно превращалась в богиню вод. Не было бы конца, если бы я стал перечислять все салоны, непохожие на этот. Этого примера достаточно, чтобы показать, что мои суждения о свете зависели и от поэтических впечатлений, которые однако при подведении итога я никогда не принимал в расчет, так что, когда я определял достоинства того или иного салона, результаты сложения всегда оказывались неправильными.

Разумеется, эти причины ошибок были далеко не единственными, но до отъезда в Бальбек (где, на мое несчастье, мне во второй и последний раз предстояло провести лето) мне остается слишком мало времени, чтобы приступить к картинам светского общества, которые займут свое место в рассказе значительно позднее. Скажу только, что к первой мнимой причине письма к Жильберте (мой

сравнительно легкомысленный образ жизни, судя по которому можно было бы предполагать, что я люблю свет) и возвращение к Сванам, которое оно как будто означало, Одетта могла бы прибавить и другую, столь же недействительную. Те различные аспекты, в которых свет может являться одному и тому же лицу, я представлял себе до сих пор, лишь предполагая, что та самая женщина, которая ни с кем не была знакома, стала вдруг бывать у всех, или что другая, игравшая видную роль, оказалась всеми покинутой, причем в этом мы склонны видеть лишь один из тех взлетов или одно из тех падений исключительно личного характера, которые время от времени, как следствие биржевых спекуляций, в одном и том же кругу приводят к разорению, вызывающему громкие толки, или к неожиданному обогащению. Однако дело не только в этом. В известной мере проявления светской жизни, — протекающие на гораздо более низком уровне, чем художественные направления, политические кризисы, чем та эволюция, в силу которой общественный вкус обращается к театру идей, потом к импрессионистической живописи, потом к сложной немецкой музыке, затем к простой русской музыке или же к социальным идеям, к идеям справедливости, к религиозной реакции, к патриотическим эксцессам, — представляют собой все же их отдаленное отражение, преломленное, неясное, мутное, переменчивое. Таким образом, даже и салоны не могут быть описаны в состоянии статической неподвижности, являвшемся до сих пор достаточным условием для оценки характеров, которым теперь как бы предстоит быть вовлеченными в мимео-историческое движение. Вкус к новизне, под влиянием которого светские люди, с большей или меньшей искренностью жаждущие приобщения к умственной эволюции, посещают те места, где они могут следить за ней, обычно заставляет их отдавать предпочтение какой-нибудь даме, доселе неизвестной, подающей надежды на какой-то более высокий склад ума, — надежды, находящиеся еще в расцвете, тогда как в отношении женщин, властвовавших в свете, они уже утратили всякую свежесть и поблекли и ничего уже не говорят их воображению, ибо они знают и сильные и слабые стороны этих женщин. И каждая эпоха воплощается таким образом в новых женщинах, в новых группах женщин, которые, будучи тесно связаны с тем, что в данную минуту впервые стало привлекать любопытство, как будто лишь сейчас впервые появились в своих туалетах, словно неведомое племя, рожденное последним потоком, — несокрушимые красавицы любого нового консульства, любой новой директории. Но весьма часто эта новая хозяйка дома уподобляется тем государственным деятелям, которые впервые достигают министерского портфеля, но которые уже в течение сорока лет стучались во все двери, не открывавшиеся перед ними, — это одна из тех женщин, которых не знали в обществе, но которые тем не менее уже с очень давних пор устраивали приемы, за неимением лучшего, для «немногих близких друзей». Конечно, это не всегда бывает так, и когда, одновременно с расцветом русских балетов, появилась княгиня Юрбелетова, сразу открывшая и Бакста, и Нижинского, и Бенуа, и гений Стравинского, юная крестная мать всех этих новых великих людей, украсившая голову огромной дрожащей эгреткой, доселе неведомой парижанкам и возбудившей у них всех жажду подражания, — можно было подумать, будто это чудесное существо привезли с собой в своем неисчислимом багаже, как самое драгоценное сокровище, русские танцовщики; но когда рядом с ней, в ложе авансцены, мы увидим, словно настоящую волшебницу, до этого дня неизвестную аристократии, г-жу Вердюрен, присутствующую на всех «русских спектаклях», мы будем в состоянии на вопросы светских людей, с легкостью предположивших, будто г-жа Вердюрен только что прибыла вместе с трупой Дягилева, сообщить, что эта дама существовала и в прежние времена и прошла через различные стадии перевоплощения, из которых последняя отличалась только тем, что она была первой, приводившей к успеху, которого так долго и тщетно ждала Хозяйка, который отныне был обеспечен и приближался все более быстрыми шагами. Что касается г-жи Сван, то новизна, носительницей которой она являлась, не имела такого собирательного характера. Ее салон выкристаллизовался вокруг умирающего человека, который в тот момент, когда талант его уже истощился, внезапно достиг большой славы, сменившей неизвестность. Увлечение творчеством Бергота было огромно. Весь день он, выставленный напоказ, пребывал у г-жи Сван, которая щептала какому-нибудь влиятельному лицу: «Я поговорю с ним, он напишет для вас статью». Впрочем, он был в состоянии написать и ее и даже одноактную пьесу для г-жи Сван. Он был ближе к смерти и чувствовал себя несколько менее плохо, чем в то время, когда он приезжал справляться о здоровье моей бабушки. Дело в том, что сильные физические страдания заставили его придерживаться режима. Болезнь — врач, которого мы слушаемся более всего: доброте и знанию мы умеем только обещать; страданию мы повинемся.

Конечно, маленький клан Вердюренов представлял в настоящее время интерес более живой, чем слегка националистический, в большей мере литературный и главным образом берготический салон г-жи Сван. Маленький клан в самом деле был действенной узловой точкой долгого политического кризиса, достигшего сейчас максимума интенсивности — дрейфусарства. Но светские люди большей частью были в такой мере противниками пересмотра, что дрейфусарский салон казался чем-то столь же невозможным, как в свое время — салон коммунистический. Правда, принцесса де Капрарола, познакомившаяся с г-жой Вердюрен в связи с большой выставкой, устроенной ею, отдала ей длительный визит в надежде переманить нескольких интересных членов маленького клана и приобщить их к своему салону, — визит, в течение которого принцесса (разыгрывавшая в уменьшенном масштабе герцогиню Германтскую) выражала мнения, противоположные общепринятым взглядам, объявляя идиотами людей своего круга, что г-жа Вердюрен сочла весьма смелым. Однако впоследствии этой смелости не суждено было простереться до того, чтобы на гонках в Бальбеке под обстрелом взглядов националистических дам осмелиться поклониться г-же Вердюрен. Что до г-жи Сван, то антидрейфусары, напротив, были благодарны ей за «благодарность», в которой они видели двойную заслугу, поскольку она была жена еврея. Тем не менее люди, никогда не бывавшие у нее, воображали, что она принимает лишь каких-то неизвестных евреев да учеников Бергота. Вот каким образом женщины, даже и по-иному влиятельных, чем г-жа Сван, ставят на низшую ступень общественной иерархии — или в силу их происхождения, или в силу того, что они не любят званых обедов и вечеров, где их никогда не видно, почему и возникает ошибочное предположение, будто их куда не приглашают, или в силу того, что они никогда не говорят о своих дружеских светских отношениях, а только о литературе и об искусстве, или в силу того, что люди, бывая у них, скрывают это обстоятельство, или что сами они, во избежание невежливости по отношению к другим, скрывают эти посещения — словом, в силу множества причин, превращающих, с точки зрения некоторых, ту или иную из них в женщину, которой не принимают. Так было и с Одеттой. Г-жа д'Эпинау, которой по случаю желательного для нее денежного взноса в пользу «Французского отечества» пришлось заехать к ней, как она заехала бы в магазин галантерейных товаров, уверенная, впрочем, что она встретит там только неизвестных, даже не презираемых, лиц, застыла на месте, когда дверь открылась перед ней вовсе не в ту гостиную, которую она представляла себе, а в волшебную залу, где словно благодаря сценическому превращению, какие бывают в феериях, она в ослепительных фигурантках, полулежавших на диванах или восседавших в креслах и называвших хозяйку дома просто по имени, узнала принцесс и герцогиню, которых ей, принцессе д'Эпинау, с трудом удавалось привлечь к себе и которым в эту минуту, под благожелательными взглядами Одетты, маркиз дю Ло, граф Луи де Тюренн, принц Боргезе, герцог д'Эстре подавали оранжад и птифуры, исполняя обязанности виночерпиев и хлебодаров. Принцесса д'Эпинау, которая, сама того не сознавая, видела в светских достоинствах человека какое-то внутреннее его свойство, вынуждена была переосознать г-жу Сван и мысленно перевоплотить ее в изысканную даму. Незнание той действительной жизни, которую ведут женщины, не выставяющие ее напоказ в газетах, набрасывает, таким образом, на некоторые положения (содействуя тем самым и разнообразию салонов) покров таинственности. Что касается Одетты, то вначале несколько мужчин, принадлежавших к самому высшему обществу и желавших познакомиться с Берготом, стали обедать у нее

В тесном кругу. Она выказала так, недавно лишь приобретенный, и не хвасталась этим, а они находили у нее, как плод воспоминаний о маленьком «кружке», традиции которого Одетта сохраняла и после раскола, заранее поставленный прибор и т. п. Одетта возила их вместе с Берготом, которого это, впрочем, уже окончательно приближало к гибели, на интересные премьеры. Они рассказали о ней некоторым женщинам своего круга, способным заинтересоваться всей этой новизной. Те были уверены, что Одетта, связанная дружбой с Берготом, принимала более или менее деятельное участие в его творчестве, и считали ее в тысячу раз более умной, чем самые замечательные женщины предместья, по той же причине, по которой в политике они все свои надежды возлагали на некоторых стойких республиканцев вроде г-на Думера или г-на Дешанеля, меж тем как, по их мнению, Франция оказалась бы на краю гибели, если бы судьба ее была доверена монархистам, которых они приглашали на обеды, каким-нибудь Шаретам, Дудовилям и т. д. Осуществляя эту перемену в своем положении, Одетта проявляла сдержанность, которая делала победу и более прочной и более быстрой, но отнюдь не позволяла догадываться о ней публике, склонной судить по хронике «Gaulois» об успехах или об упадке какого-нибудь салона, так что, когда на генеральной репетиции одной из пьес Бергота, происходившей в одной из самых изысканных зал в пользу благотворительного общества, в центральной ложе — ложе автора — появились и сели рядом с г-жой Сван г-жа де Марсант и та, которая благодаря принимавшему все более отчетливый характер самоустранению герцогини Германтской (пресыщенной почестями и избравшей путь наименьшего усилия) собиралась стать львицей, властительницей наступавшей эры, графиня Моле, — это стало настоящим событием. «Мы еще и не подозревали, что она пошла в гору, — говорили об Одетте в ту минуту, когда в ее ложу вошла графиня Моле, — а она уже поднялась на самую вершину».

Таким образом, г-жа Сван могла думать, что я из снобизма стараюсь сблизиться вновь с ее дочерью.

Несмотря на своих блестящих приятельниц, Одетта с таким же необычайным вниманием прослушала пьесу, как если бы она приехала сюда только ради этой пьесы, подобно тому, как прежде она гуляла в Булонском лесу из соображений гигиенических и ради моциона. Люди, которые прежде были не столь предупредительны с нею, подошли к балюстраде, расталкивая всех, чтобы коснуться ее руки, а тем самым — приблизиться к тому внушительному кругу, среди которого находилась она. Она, с улыбкой скорее любезной, чем иронической, терпеливо отвечала на их вопросы, выказывая при этом спокойствие большее, чем можно было думать, и, быть может, искреннее, ибо теперь, хотя и с запозданием, выставлялись напоказ уже ставшие привычными, но из скромности скрываемые связи. Позади этих трех дам, привлекая к себе все взгляды, был Бергот, окруженный принцем Агригентским, графом Луи де Тюренном и маркизом де Бреоте. И нетрудно понять, что для этих людей, которые всюду были приняты и только в поисках оригинального могли открыть средство подняться еще выше, эта возможность показать свое значение, — возможность, которую, как им казалось, они получили, когда их привлекла к себе дама, слышавшая женщиной с широким умственным кругозором, в чьем доме они ожидали увидеть всех молодых драматургов и романистов, — была чем-то более манящим и живым, нежели вечера у принцессы Германтской, которые, без всякой программы и каких-либо новых приманок, следовали один за другим в течение стольких лет, более или менее напоминая вечер, так обстоятельно описанный нами. В этом большом свете, свете Германтов, любопытство к которому несколько ослабевало, новые интеллектуальные моды отнюдь не выливались в развлечения, рассчитанные на этих людей, вроде тех безделушек, которые Бергот писал для г-жи Сван, или тех настоящих заседаний, посвященных общественному благу (если допустить, что свет мог бы проявить интерес к делу Дрейфуса), на которые к г-же Вердюрен собирались Пикар, Клемансо, Зола, Рейнак и Лабори.

Жильберта тоже была полезна своей матери, так как дядя Свана недавно оставил девушке наследство в восемьдесят миллионов, благодаря чему в Сен-Жерменском предместье о ней уже начинали думать. Обратная сторона медали заключалась в том, что у Свана, впрочем, умирающего, были дрейфусарские взгляды, но и это не вредило его жене и даже оказывало ей услуги. Не вредило ей это потому, что в свете говорили: «Он впал в детство, он идиот, никто на него не обращает внимания, все дело в его жене, а она очаровательна». Но даже и дрейфусарство Свана приносило пользу Одетте. Предоставленная самой себе, она, быть может, первая пошла бы навстречу разным шикарным дамам, и это погубило бы ее. Между тем в те вечера, когда она таскала своего мужа на обеды в Сен-Жерменское предместье, Сван, угрюмо сидевший в углу, не стеснялся, если видел, что жена его готова представиться какой-нибудь националистической даме, и говорил ей вслух: «Да полно же, Одетта, вы с ума сошли. Прошу вас, сидите спокойно. Было бы пошlostью с вашей стороны представляться антисемитам. Я вам запрещаю!» Светские люди, за которыми все бегают, не привыкли к такой гордости и к такой невоспитанности. Впервые они видели человека, считавшего себя чем-то «большим», чем они. Они рассказывали друг другу про это брюзжание Свана, и визитные карточки с загнутыми углами так и сыпались к Одетте. Бывая в гостях у г-жи д'Арпажон, она возбуждала порыв живого и полного симпатии любопытства. «Вам не было неприятно, что я вам представила ее? — говорила г-жа д'Арпажон. — Она очень милая. Это Мари де Марсант познакомила меня с ней». — «Да нет, напротив, говорят, что она необыкновенно умна, что она очаровательна. Наоборот, мне хотелось увидеть ее; скажите мне, где она живет». Г-жа д'Арпажон говорила г-же Сван, что ей было очень весело у нее третьего дня и что ради нее она с удовольствием не поехала к г-же де Сент-Эверт. И это была правда, так как отдать предпочтение г-же Сван значило показать, что вы человек умный, как если бы вы отправились в концерт вместо того, чтобы ехать на чашку чая. Но если г-жа де Сент-Эверт одновременно с Одеттой приезжала к г-же д'Арпажон, последняя, поскольку г-жа де Сент-Эверт отличалась большим снобизмом, а г-жа д'Арпажон, хоть и относилась к ней свысока, дорожила ее приемами, не представляла ей Одетту, чтобы г-же де Сент-Эверт осталось неизвестно, кто это. Маркиза воображала, что это, должно быть, какая-нибудь принцесса, очень редко бывающая в свете, раз она никогда не встречала ее, затягивала свой визит, косвенно отвечала на то, что говорила Одетта, но г-жа д'Арпажон оставалась неумолима. И когда г-жа де Сент-Эверт, побежденная, уезжала, хозяйка дома говорила Одетте: «Я вас не представила, потому что у нее не особенно любят бывать, а она приглашает страшно часто; вы не могли бы отделаться от нее». — «О! Это ничего», — отвечала с сожалением Одетта, но после того она уже считала, что у г-жи де Сент-Эверт не любят бывать, и в известной мере это была правда, и она из этого заключала, что сама она занимает положение более высокое, чем г-жа де Сент-Эверт, хотя у последней было блестящее положение, а у Одетты — еще никакого.

Она не отдавала себе в этом отчета, и хотя все приятельницы г-жи де Германт были дружны с г-жой д'Арпажон, когда последняя приглашала г-жу Сван, Одетта говорила шепотливый тон: «Я буду у госпожи д'Арпажон, но вы найдете, что я очень отсталая, — меня это шокирует из-за госпожи де Германт» (которой она, помимо всего, и не знала). Утонченные мужчины думали, что если в высшем свете г-жа Сван знакома лишь с немногими, то это зависит от того, что она, видимо, женщина незаурядная, вероятно исключительная музыкантша, и что знакомство с ней дает какое-то сверхсветское отличие, подобное тому, которого достиг бы герцог, имеющий степень доктора наук. Женщин абсолютно ничтожных к Одетте влекло по совсем иной причине: узнав, что она посещает концерты Колонна и называет себя «вагнеристкой», они из этого заключали, что, должно быть, она «забавная», и воспламенялись желанием познакомиться с ней. Но, не особенно уверенные в прочности собственного положения, они боялись скомпрометировать себя, если покажут, что они

знакомы с Одеттой, и, замечая г-жу Сван где-нибудь в благотворительном концерте, они поворачивали голову в другую сторону, так как считали невозможным — на глазах у г-жи де Рошшуар поклониться женщине, которая вполне была способна съездить в Байрейт, что означало нечто совершенно неслыханное. Каждое лицо в гостях у другого казалось иным. Не говоря о чудесных метаморфозах, совершавшихся у волшебниц, — в салоне г-жи Сван даже и г-н де Бреоте, неожиданно приобретающий вес благодаря отсутствию людей, обычно окружавших его, благодаря выражению довольства, которое он испытывал от того, что находился здесь, как если бы он, решив не ехать на вечер, надел вдруг очки и заперся у себя дома для чтения «Revue des Deux Mondes», благодаря тому таинственному обряду, который он как будто исполнял, посещая Одетту, — даже и сам г-н де Бреоте казался новым человеком. Я дорого дал бы, чтобы увидеть, каким превращением подверглась бы в этой новой среде герцогиня де Монморанси-Люксембург. Но она была одной из тех, кому Одетта никогда не могла бы быть представлена. Г-жа де Монморанси, гораздо более доброжелательная по отношению к Ориане, чем Ориана — к ней, очень удивила меня, сказав о г-же де Германт: «Она знакома с остроумными людьми, все ее любят, я думаю, что если бы у нее было больше последовательности, она в конце концов создала бы себе салон. Правда, что она этого никогда и не хотела, она вполне права, она счастлива и так, все стремятся к ней». Если г-жа де Германт не имела «салона», то что же в таком случае был «салон»? Удивление большее, чем то, в которое привели меня эти слова, я вызвал у г-жи де Германт, сказав ей, что мне нравится бывать у г-жи де Монморанси. Ориана находила, что она старая кретинка. «Я-то, — говорила она, — я к этому вынуждена, она моя тетка, но вы! Она даже не умеет привлекать приятных людей». Г-жа де Германт не отдавала себе отчета, что приятные люди оставляют меня холодным, что, когда она говорила: «салон госпожи д'Арпажон», мне представлялась желтая бабочка, а когда она говорила: «салон Сван» (зимой г-жа Сван принимала у себя от шести до семи) — бабочка с черными крыльями, посыпанными снегом. Еще этот последний салон, даже и не являвшийся салоном, она считала, хотя и неприемлемым для себя, но все же извинительным для меня — ввиду «остроумных людей». Но г-жа де Люксембург! Если бы еще я «создал» нечто такое, что уже было бы замечено, она решила бы, что с талантом может сочетаться известная доля снобизма. А я до крайних пределов довел ее разочарование: я признался ей, что к г-же де Монморанси я ездю не для того, чтобы (как она предполагала) «собирать наблюдения» и «делать наброски». Впрочем, г-жа де Германт ошибалась не более, чем те светские романисты, которые извне подвергают жестокому анализу поступки сноба, действительного или мнимого, но никогда не ставят себя на его место в тот момент, когда в его фантазии словно расцветает целая весна общественных представлений. Когда я захотел понять, в чем сущность того огромного удовольствия, которое я получаю от посещений дома г-жи де Монморанси, я сам был разочарован. Она жила в Сен-Жерменском предместье, в старинном здании, которое состояло из флигелей, отделенных друг от друга садиками. Под аркой небольшая скульптура, как говорили — работы Фальконета, изображала родник, откуда, впрочем, все время сочилась сырость. Немного дальше консьержка, у которой всегда были красные глаза, — может быть от горя, может быть вследствие неврастения, может быть от мигреней, может быть от насморка, — никогда ничего не отвечала вам, делала неопределенный жест, означавший, что герцогиня дома, и роняла из глаз несколько капель, падавших в чашку, которую наполняли забудки. Удовольствие, которое доставлял мне вид скульптуры, оттого что она напоминала мне маленького гипсового садовника, стоявшего в Комбре, в одном из садов, было ничто по сравнению с тем наслаждением, которое мне доставляла большая лестница, сырая и гулкая, где возникало эхо, похожая на некоторые лестницы в общественных банях прежних времен, с вазами, полными цинерарий, синих на синем фоне, а главное — позвякивание колокольчика, точь-в-точь такое же, какое слышалось в комнате Евлалии. Это позвякивание доводило мой восторг до крайней степени, но казалось мне чем-то слишком скромным, чтобы я мог рассказать о нем г-же де Монморанси, которая таким образом всегда видела меня в состоянии восхищения, никогда не догадываясь о его причине.

Перебои чувства

Второй мой приезд в Бальбек был очень непохож на первый. Директор гостиницы сам вышел встретить меня в Понт-а-Кулевр и несколько раз повторил, как он дорожит своими знатными клиентами, вызвав во мне опасение, что он произвел меня в аристократы, пока я не сообразил, что при его смутных грамматических представлениях слово «знатный» означало «известный», «уже знакомый». Вообще же по мере того, как он овладевал новыми для него языками, он начинал хуже говорить на тех, которые знал раньше. Он объявил мне, что поместит меня в гостинице на самом верху. «Надеюсь, — сказал он, — вы не усмотрите в этом отсутствие вежливости; мне было бы неприятно дать вам комнату, которой вы недостойны, но я это сделал ввиду шума, потому что там над вами никого уже не будет и никто не будет утомлять вашу барабанную перепорку (вместо «перепонку»). Будьте спокойны, я велю затворять окна, чтоб они не хлопали. На этот счет я нестерпим» (слова эти выражали не его мысль, заключающуюся в том, что его считают неумолимым в данном отношении, а скорее, пожалуй, мысль коридорных). Комнаты, впрочем, были те же, что и в первый мой приезд. Они находились не ниже, чем тогда, но я поднался, как бы на потолок не появились трещины. «Главное, ежели захотите возвести огонь, смотрите, чтоб дрова, положенные раньше, загорелись дотла (вместо «сгорели»). Самое важное — как бы не поджечь камин, тем более, что я хотел немного украсить комнату и поставил на него большую китайскую вазу, которая от этого могла бы испортиться».

Он с большою грустью сообщил мне о смерти старшины адвокатов из Шербурга: «Старик был от себя без ума», — сказал он (вероятно, вместо «себе на уме») и дал мне понять, что смерть его была ускорена «непорядочным» образом жизни, что означало «беспорядочным». «Уже с некоторых пор я все замечал, что после обеда он в гостиной сразу же приседает (наверно, вместо «присаживается») и засыпает». «В последнее время он так переменялся, что если бы вам не сказали, кто это, вы, глядя на него, вряд ли бы его узнали» (наверно, вместо «признали»).

Зато — счастливая весть: председатель суда из Кана недавно награжден «ордером» Почетного легиона. «Бесспорно и несомненно, способности у него есть, но говорят, что ему его дали за его чрезвычайную «немошь». Впрочем, об этом награждении была речь во вчерашнем номере «Echo de Paris», которого директор еще не читал, за исключением самых первых «входных» (вместо «вводных») строк. Там основательно расправлялись с политикой г-на Кайо. «Я, впрочем, нахожу, что они правы, — сказал он. — Уж слишком он хочет отдать нас Германт в полное расположение» (вместо «распоряжение»). Так как эта тема в трактовке директора гостиницы казалась мне скучной, я бросил слушать. Я думал о тех образах, которые обусловили мое решение вернуться в Бальбек. Они были очень непохожи на образы прежние; картина, которой я искал теперь, была настолько же блистательна, насколько та, прежняя, была туманна, но и она не менее сильно должна была разочаровать меня. Образы, на которых память остановила свой выбор, столь же произвольны, столь же узки, столь же неуловимы, как образы, созданные воображением и разрушенные действительностью. Нет никаких оснований к тому, чтобы некое место, внеположное нам, больше соответствовало образам памяти, чем образам мечты. И к тому же новая действительность заставит нас, быть может, забыть, даже возненавидеть те желания, ради которых мы отправились в путь.

Желания, заставившие меня отправиться в Бальбек, отчасти были связаны с тем, что Вердюрены (приглашениями которых мне ни разу не удалось воспользоваться и которые, наверно, были бы рады принять меня, если бы я приехал к ним на дачу извиниться, что никогда не мог сделать им визита в Париже), зная, что многие из «верных» будут проводить лето на этом побережье, и по этой причине сняв на весь сезон один из замков г-на де Камбремера (Ла-Распельер), пригласили туда г-жу Пютбю. В тот вечер, когда я (в Париже) узнал об этом, я, как настоящий безумец, послал нашего молодого лакея справиться, возьмет ли эта дама свою камеристку в Бальбек. Было одиннадцать часов вечера. Швейцар не скоро отворил ему, но каким-то чудом не выгнал моего посланца, не позвал полицию, удовольствовался тем, что принял его очень сердито, сообщив, однако, требуемые сведения. Он сказал ему, что действительно первая камеристка будет сопровождать свою госпожу сперва на воды в Германию, потом — в Биарриц и, в заключение, к г-же Вердюрен. С той минуты я был спокоен и доволен, чувствуя себя обеспеченным. Я мог уже не бросаться вдогонку какой-нибудь красавице, встреченной на улице, будучи при этом лишен того рекомендательного письма, каким, по отношению к этой камеристке во вкусе Джорджоне, должно было бы послужить то обстоятельство, что я в тот же вечер обедаю у Вердюренов вместе с ее госпожой. Впрочем, она, быть может, составила бы себе лучшее мнение обо мне, узнав, что я знаком не только с этими буржуа, снявшими Ла-Распельер, но и с владельцами замка, а главное — с Сен-Лу, который, будучи не в силах познакомить меня на расстоянии с самой камеристкой (не знавшей имени Робера), написал обо мне Камбремерам теплое письмо. Он думал, что помимо всяких услуг, которые они смогут мне оказать, г-жа де Камбремер-младшая, урожденная Легранден, будет интересна для меня как собеседница. «Она женщина умная, — уверял он меня. — Она не будет тебе говорить ничего бесповоротного («бесповоротное» заменило в его языке «возвышенные вещи», так как Робер каждые пять-шесть лет менял некоторые из своих излюбленных выражений, сохраняя, впрочем, главное), но это — характер, у нее есть своя индивидуальность, есть интуиция; она умеет найти нужное слово. Временами она раздражает, говорит какую-нибудь глупость, чтобы показать себя во всем аристократическом блеске, а это тем более нелепо, что нет ничего менее изысканного, чем Камбремеры, она не всегда в курсе, но в общем она все-таки из числа самых сносных особ».

Как только рекомендательное письмо Робера дошло до них, Камбремеры, из снобизма ли, в силу которого им хотелось оказать Сен-Лу косвенную любезность, или из благодарности за все то, что он в Донсьере сделал для одного из их племянников, а главное — и это всего вероятнее — от доброты и традиций гостеприимства, стали писать длинные письма, в которых просили, чтобы я поселился у них, а в случае, если я предпочту быть более независимым, предлагали подыскать для меня помещение. Когда Сен-Лу возразил им, что я буду жить в бальбекском Гранд-отеле, они отвечали, что, по крайней мере, будут ждать моего посещения сразу же по моем приезде, а если я буду слишком медлить, то они сами не преминут заявиться ко мне, чтобы пригласить на свои garden-parties.

Конечно, по существу ничто не связывало камеристку г-жи Пютбю с бальбекскими краями; она не стала бы для меня здесь тем, чем была та крестьянка, к которой на дороге в Мезеглиз я тщетно зывал в одиночестве, вкладывая в этот зов всю силу моего желания.

Но я давно уже не пытался извлечь из женщины, так сказать, квадратный корень того неизвестного, что было в ней и что часто отказывалось от сопротивления, как только меня представляли ей. В Бальбеке, где я давно уже не был, у меня, за отсутствием прямой связи между местностью и этой женщиной, по крайней мере было бы то преимущество, что чувство реальности здесь не заглушалось бы привычкой, как в Париже, где, все равно — у себя ли дома или в какой-нибудь знакомой комнате, — наслаждение, доставляемое мне женщиной среди будничной обстановки, не могло дать мне иллюзию, будто это открывает мне доступ в новую жизнь. (Ибо если привычка — вторая натура, то она не позволяет нам узнать первую, жестокости которой она лишена, так же как лишена и ее очарования.) И вот, быть может, эта иллюзия была бы мне суждена в новой местности, где чувствительность возрождается от какого-нибудь луча солнца и где, наконец, меня воспламенила бы страстью та самая камеристка, к которой я стремился; но, как мы увидим, обстоятельства сложатся так, что не только эта камеристка не придет в Бальбек, но и я больше всего на свете буду бояться, как бы она не приехала, так что главная цель моей поездки не будет достигнута и я даже не буду преследовать ее. Конечно, г-жа Пютбю не так скоро, не в начале сезона должна была приехать к Вердюренам; но наслаждения, избранные нами, могут пребывать и в отдалении, если они нам обеспечены, и в ожидании их мы можем предаваться той лени, что лишает нас охоты нравиться и силы любить. Впрочем, в Бальбек я отправился с намерениями не столь практическими, как в первый раз; в чистом воображении всегда меньше эгоизма, чем в воспоминании; и я знал, что окажусь именно в одном из тех мест, где в изобилии встречаются прекрасные незнакомки; на пляже их бывает не меньше, чем на балу, и о прогулках перед гостиницей, в дамбе я заранее думал с таким же удовольствием, какое доставила бы мне г-жа де Германт, если бы вместо того, чтобы добиваться для меня приглашений на блестящие обеды, почаще указывала мое имя для списков кавалеров хозяйкам тех домов, где бывали танцы. Завязывать знакомства с женщинами в Бальбеке мне было бы настолько же легко, насколько это было затруднительно прежде, так как теперь я здесь был настолько же богат связями и доброжелателями, насколько мне их недоставало в первую мою поездку.

Из моей задумчивости меня вывел голос директора, политические рассуждения которого я так-таки прослушал. Переменив тему, он сказал мне, как рад был председатель суда, узнав о моем приезде, и сообщил, что он сегодня же вечером собирается посетить меня в моем номере. Мысль об этом посещении так испугала меня (я начинал чувствовать большую усталость), что я попросил его воспрепятствовать визиту (что он мне и обещал), а для большей безопасности поручить своим подчиненным в течение этого первого вечера караулить мой этаж. Он, по-видимому, не очень их долюбивал. «Я принужден все время бегать за ними, потому что они уж слишком мало инертные. Если бы не я, они бы с места не двигались. Я поставлю лифтера на вахту перед вашей дверью». Я спросил, назначили ли его наконец «начальником над курьерами». «Он недостаточно давно служит в гостинице, — ответил директор. — У него есть товарищи, которые старше его. Стали бы возмущаться. Во всяком деле нужна грануляция (вместо «градация»). Я согласен, он недурно сдерживает себя (вместо «держит себя») в лифте. Но еще немножко молод, чтоб занимать подобное положение. С теми, которые уж очень давно на службе, получился бы контраст. Немножко не хватает ему серьезности, а это ведь самое первоначальное (наверно, вместо «самое первоначальное», самое важное). Пусть еще немножко ощерится (мой собеседник хотел сказать: «оперится»). Впрочем, место положится на меня. Я в этом деле знаток. Прежде чем надеть мундир директора Гранд-отеля, я у господина Пайяра получил боевое крещение». Это сравнение подействовало на меня, и я поблагодарил директора за то, что он сам встретил меня у Понт-а-Кулевр. «Ах! Не за что. Времени я на это утратил самую малость». Впрочем, мы уже были на месте.

Меня ожидало глубочайшее потрясение. В тот же первый вечер, страдая от усилившейся сердечной усталости и стараясь превозмочь мое страдание, я медленно и осторожно наклонился, чтобы разуться. Но едва только я дотронулся до первой пуговицы на своем башмаке, как грудь моя стеснилась от чьего-то неведомого, божественного присутствия; охваченный дрожью, я зарыдал, слезы полились из моих глаз. Существо, которое пришло ко мне на помощь, которое спасло меня от сухости души, было то, которое несколько

лет тому назад, в минуту такого же смятения и одиночества, в минуту, когда от моего я мне ничего не оставалось, вошло ко мне и вернуло мне мое я, потому что оно было моим и даже чем-то большим, чем я сам (подобное вместилищу, которое больше, чем его содержимое). В своей памяти я увидел склоненное над моей усталостью лицо бабушки, нежное, озабоченное и разочарованное, — такое, каким оно было в вечер этого первого приезда, — лицо бабушки, не той, о которой, к моему удивлению, я так мало жалел, в чем сам себя и упрекал, и с которой у нее общего было только имя, но подлинной моей бабушки, чью живую реальность я впервые после того, как на Елисейских Полях с нею был удар, снова обрел в невольном и совершенно полном воспоминании. Эта реальность не существует для нас до тех пор, пока не будет воссоздана работой нашей мысли (иначе все те, кто принимал участие в каком-нибудь гигантском сражении, были бы великими эпическими поэтами); и таким образом лишь сейчас, больше чем через год после ее похорон, в силу того анахронизма, который столь часто не позволяет датам календарным совпадать с датами чувства, это безумное желание броситься в ее объятия сказало мне, что она умерла. За время, прошедшее с тех пор, я часто разговаривал, а также и думал о ней, но за словами и мыслями неблагодарного, эгоистического и жестокого молодого человека, каким я был, никогда не скрывалось ничего, что напоминало бы мою бабушку, ибо при моем легкомыслии, моей любви к развлечениям, моей привычке видеть ее больной, я сохранял в себе, лишь в скрытом состоянии, память о том, чем она была. Все равно, когда бы мы ни отдались созерцанию ее, душе нашей в целом присуща лишь почти фиктивная ценность, несмотря на многочисленный баланс ее богатств, ибо то одни из них, а то другие оказываются не в нашем распоряжении — независимо от того, идет ли дело о богатствах подлинных или созданных воображением, а например применительно ко мне — о старинном ли имени Германтов или же о вещи бесконечно более важной — о подлинном воспоминании, оставленном во мне моей бабушкой. Ибо с расстройствами памяти связаны и перебои чувства. Наверно, бытие нашего тела, подобного в наших глазах сосуду, заключающему в себе нашу духовную жизнь, заставляет нас предполагать, что все наши внутренние блага, наши былые радости, все наши страдания непрерывно находятся в нашей власти. Быть может, столь же неправильно считать, что они ускользают или возвращаются. Во всяком случае, если они и остаются в нас, то большую часть времени — лишь в какой-то неведомой сфере, где они не приносят нам никакой пользы и где даже самые обычные среди них бывают оттеснены воспоминаниями иного порядка, которые исключают для них всякую возможность одновременно жить в сознании. Но если восстанавливается круг ощущений, в котором они сохраняют свою силу, они в свою очередь получают возможность изгонять все, что с ними несовместимо, водворяя в нас только то я, которое пережило их. А так как тот, кем я сейчас внезапно стал вновь, не существовал с того давнего вечера, когда по приезде в Бальбек бабушка помогла мне раздеться, то, вполне естественно, эта минута, в которую бабушка наклонилась ко мне, стала моим достоянием не после прожитого нынешнего дня, о котором прежде мое я ничего не знало, а после первого же вечера, подобного прежним, без всякого нарушения последовательности, как будто во времени есть различные и параллельные друг другу серии. Тот я, которым я был в прежнюю пору и который так давно исчез, снова был столь близко от меня, что мне казалось, будто я еще слышу слова, произнесенные только что и все же оказывавшиеся сном, подобно тому, как человеку, не вполне еще проснувшемуся, чудятся совсем близкие шумы сна, уносящегося от него. Теперь я был уже только тем существом, которое стремилось укрыться в объятиях своей бабушки, стереть поцелуями все следы ее огорчений, тем существом, которое, пока я был одним из тех, что сменились во мне, я мог бы вообразить лишь пеною таких же усилий, какие, и притом вотще, мне пришлось бы теперь потратить, чтобы вновь почувствовать желания и радости одного из тех, кем я, хотя бы на известное время, перестал быть. Я вспоминал, как за час до той минуты, когда бабушка, в своем капоте, наклонилась к моим башмакам, я бродил по улице среди удушливой жары и, расхаживая перед кондитерской, думал, что никогда не пройдет для меня этот час, который я должен провести без нее, — так сильна была во мне потребность увидеть ее. А теперь, когда эта потребность возродилась вновь, я знал, что хотя бы мне и пришлось ждать целыми часами, ее никогда не будет возле меня, — я как бы впервые открывал это, ибо, впервые почувствовав ее, живую, настоящую, всецело наполнявшую мое сердце, готовое разбиться, обретая ее наконец, я узнал, что навеки ее утратил. Навеки утратил; я не мог понять и пытался вынести муку этого противоречия: с одной стороны — жизнь и нежность, сохранившиеся во мне такими, какими я их знал, то есть созданные для меня, любовь, в которой все до такой степени находило во мне свое дополнение, свою цель, так постоянно было направлено на меня, что таланты всех великих людей, все гении, существовавшие когда-либо с сотворения мира, не могли бы заменить моей бабушке хоть один из моих недостатков; а с другой стороны, едва только я, как будто в настоящем, вновь пережил это блаженство, — ощущение того, что оно пронизано непреложностью небытия, возникающей точно физическая боль, способная повторяться, — небытия, которое изгладило мое воспоминание об этой нежности, уничтожило эту жизнь, ретроспективно разрушило нашу взаимную predeterminedенность, сделало из моей бабушки в ту минуту, когда я увидел ее как бы в зеркале, обыкновенную знакомую, которая волею случая провела несколько лет возле меня, как она могла бы провести их и возле кого-нибудь другого, но для которой я и до того и после того был бы ничем, остался бы ничем.

Вместо всех удовольствий, тешивших меня с некоторых пор, единственным, которое я был бы в силах вкусить в эту минуту, была бы возможность, исправив прошлое, уменьшить муки, перенесенные когда-то моей бабушкой. А я не только вспомнил ее, в этом капоте, — одежде, приобретавшей почти что символический характер, настолько она подходила к тем утомительным заботам, наверно вредным, но вместе и приятным для нее, которые она брала на себя ради меня, — я понемногу начинал припоминать все те случаи, когда, показывая ей, а если надо было — и преувеличивая мои страдания, я доставлял ей огорчения, которые потом, как я воображал, я смывал моими поцелуями, словно моя нежность, так же как и мое счастье, могла доставить счастье ей; и, — что было еще ужаснее, — я, для которого единственное счастье было теперь в том, чтобы найти следы счастья в моем воспоминании об этом лице, изваянном и наполненном нежностью, я когда-то с бессмысленной злобой старался согнать с него даже тень самого маленького удовольствия, как например в тот день, когда Сен-Лу снимал бабушку и когда я, не в силах скрыть от нее мое мнение о ребяческом, почти смехотворном кокетстве, с которым она, в шляпе с большими полями, позировала в полутени, пробормотал несколько раздраженных и обидных слов, которые — я это почувствовал по судорожному изменению ее лица — попали в цель, задели ее; теперь они терзали меня, — теперь, когда уже навеки невозможными стали бесчисленные поцелуи, что были когда-то средством утешения.

Но никогда уже не смогу я стереть с ее лица это судорожное изменение и изгнать эту муку из ее сердца или, вернее, из моего: ибо мертвые живут только в нас и мы самим себе неустанно наносим удары, когда, упорствуя, вспоминаем об ударах, которые мы им нанесли. Я со всей силой отдавался этим страданиям, как бы жестоки они ни были, ибо я чувствовал, что они — следствие воспоминания о бабушке, доказательство того, что оно сохраняется во мне. Я чувствовал, что, только страдая, по-настоящему помню о ней, и мне хотелось бы, чтобы еще глубже вонзились в меня эти гвозди, укреплявшие во мне память о ней. Я не пытался смягчить страдание, приукрасить его, притворившись, будто моя бабушка только уехала и я только временно не могу видеться с ней, обращаясь к ее фотографии (той, которую снял Сен-Лу и которую я взял с собою) со словами и просьбами, как к существу, разлученному с нами, но сохранившему свою индивидуальность, знающему нас и по-прежнему связанному с нами узами неразрывной гармонии. Я не делал таких попыток, ибо я хотел не только страдать, но и sobлюсти подлинность моего страдания, — такого, каким я внезапно ощутил его, сам того

не желая, — и я хотел продолжать чувствовать его, повинуюсь его собственным законам — всякий раз, как повторялось это столь странное противоречие между посмертным существованием и небытием, которые переплелись во мне. Конечно, я не знал, извлеку ли я когда-нибудь хоть малую долю истины из этого мучительного и в настоящее время непонятого впечатления, но я знал, что если когда-либо я извлеку эту малую долю, то лишь благодаря ему, такому своеобразному, такому внезапному, не начертанному моим умом и не смягченному моим малодушием; я знал, что сама смерть, неожиданное откровение смерти, словно молния, провела во мне, в согласии с каким-то сверхъестественным и бесчеловечным начертанием, двойную и таинственную борозду. (Что же касается забвения, в котором до сих пор пребывала для меня бабушка, то я даже не мог бы и подумать о том, чтобы вернуться к нему и извлечь истину из него; ибо само по себе оно было не чем иным, как отрицанием, ослаблением мысли, неспособной воссоздать реальный отрезок жизни и вынужденной заменить его условными и безразличными образами.) Все же, пожалуй, поскольку инстинкт сохранения и изобретательность ума, умеющая предохранить нас от страданий, начинали уже строить на еще дымящихся развалинах, закладывая фундамент своего полезного и рокового дела, я слишком уж отдавался сладости воспоминаний о тех или иных суждениях любимого существа, словно она и теперь еще могла высказывать их, словно она существовала еще, словно я продолжал для нее существовать. Но в тот, более близкий к истине час, когда я заснул и глаза мои закрылись для внешнего мира, мир сна (на пороге которого ум и воля, внезапно парализованные, уже не могли защитить меня от жестокости моих подлинных впечатлений) отразил, преломил в органической и ставшей теперь прозрачной глубине своих таинственно освещенных недр этот мучительный синтез посмертного существования и небытия. То был мир сна, в котором внутреннее познание, поставленное в зависимости от расстройств наших органов, ускоряет ритм работы сердца или дыхания, ибо одна и та же доза испуга, печали, угрызений совести оказывает действие во сто раз более сильное, если в наши вены она введена таким путем; как только мы, предпринимая странствие по артериям подземного города, пускаемся в путь по черным волнам нашей собственной крови, как некоей внутренней Леты, бесконечно извилистой, перед нами возникают высокие торжественные образы, приближаются к нам и покидают нас, оставляя нас в слезах. Напрасно я, как только вступил под сумрачные своды, стал искать мою бабушку: все же я знал, что она еще существует, но живет какой-то ослабленной жизнью, столь же бледной, как жизнь воспоминания; темнота и ветер усиливались; мой отец, который должен был вести меня к ней, не приходил. Вдруг дыхание прервалось у меня, я почувствовал, что сердце мое как бы окостенело, я вспомнил, что в течение многих недель забывал писать бабушке. Что она должна была подумать обо мне? «Боже мой, — говорил я себе, — как она, должно быть, несчастна в этой маленькой комнатке, которую для нее сняли, такой маленькой, словно это комната какой-нибудь старой служанки, где она совершенно одна с сиделкой, которую там поместили для ухода за ней, и где она не может двигаться, потому что по-прежнему немножко парализована и ни разу не пожелала встать. Она, должно быть, думает, что я ее забыл с тех пор, как она умерла; какой одинокой и покинутой она должна себя чувствовать. О! Я должен поспешить к ней, я ни минуты не могу ждать, я не могу дожидаться, пока придет мой отец, но где же это, как я мог забыть адрес, только бы она узнала меня. Как я мог на несколько месяцев забыть об этом? Темно, я не найду ее, ветер мешает мне идти; но вот мой отец, он расхаживает там впереди; я кричу ему: «Где бабушка, скажи мне адрес! Хорошо ли она себя чувствует? Правда ли, что у нее ни в чем нет недостатка?» — «Да нет, — ответил мне отец, — ты можешь быть спокоен. Ее сиделка — особа аккуратная. Время от времени ей посылают маленькую сумму, чтобы можно было купить то небольшое, в чем она нуждается. Иногда она спрашивает, что случилось с тобой. Ей даже сказали, что ты собираешься писать книгу. Она, кажется, была довольна. Она отерла слезу». Тогда я как бы вспомнил, что вскоре после своей смерти бабушка с униженным видом, словно старая служанка, которую прогнали, словно посторонняя, всхлипывая, говорила мне: «Ты все-таки позволишь мне видиться иногда с тобой, навещая меня, не оставляя одну слишком много лет подряд. Подумай, что ты был моим внуком и что бабушку не забывают». Увидев вновь ее лицо, такое покорное, такое несчастное, такое кроткое, я хотел тотчас же броситься к ней и сказать ей то, что должен был ответить ей тогда: «Но, бабушка, ты будешь видиться со мной сколько захочешь, ты у меня одна на свете, я больше никогда не расстанусь с тобой». Как, должно быть, она рыдала все эти месяцы, в течение которых я молчал и ни разу не навещил ее там, где она лежит. Что могла она говорить себе? И я, тоже рыдая, сказал моему отцу: «Скорей, скорей ее адрес, веди меня к ней». Но он: «Да вот... не знаю, сможешь ли ты повидать ее. И потом она очень слаба, очень слаба, она уже не прежняя, я думаю, тебе это будет скорее тягостно. И я не помню точно номера дорожки». — «Но скажи мне, ты же знаешь, это ведь неправда, что мертвые больше не живут. Это все-таки неправда, что бы ни говорили, если бабушка еще существует». Отец мой грустно улыбнулся: «Ах! Знаешь, еле-еле существует, еле-еле. Мне кажется, тебе лучше будет не ходить к ней. У нее ни в чем нет недостатка. Только что все прибрали». — «Но она часто бывает одна?» — «Да, но для нее это лучше. Лучше, чтобы она не думала, это может ее только огорчить. Впрочем, знаешь, она очень угасшая. Я оставляю тебе точный адрес, чтобы ты мог навещать ее: не представляю себе, что ты сможешь там сделать, и не думаю, чтобы сиделка пустила тебя к ней». — «Однако ты ведь знаешь, что я всегда буду жить с ней, олени, олени, Франсис Жамм, вилки». Но я снова уже переплыл извилистую сумрачную реку, я поднялся на поверхность, где нам открывается мир живых, и вот почему, если я все еще повторял: «Франсис Жамм, олени, олени», этот ряд слов уже не имел для меня того ясного и логического смысла, который он так естественно выражал для меня всего минуту тому назад и который я не в силах был вспомнить. И я уже не понимал, почему слово: «Аяс», только что сказанное моим отцом, прямо и без всякого сомнения означало: «Смотри, чтобы тебе не было холодно». Я забыл закрыть ставни, и разбудил меня, наверно, дневной свет. Но я не в состоянии был вынести, что перед глазами у меня — морские волны, те самые, которые бабушка когда-то целыми часами могла созерцать; новое для меня зрелище их равнодушной красоты тотчас же дополнялось мыслью о том, что она их больше не видит; мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать их шума, ибо вид пляжа в его лучезарной полноте создавал в моем сердце чувство пустоты; все как будто говорило мне, подобно аллеям и лужайкам того общественного сада, где когда-то, еще ребенком, я потерял ее: «Мы ее не видели», и под округлостью небосвода, бледного и божественного, я чувствовал гнет, как если бы находился внутри огромного голубоватого колокола, скрывающего горизонт, где не было моей бабушки. Чтобы больше ничего не видеть, я повернулся к стене, но — увы! — то, что оказалось передо мной, была как раз та самая перегородка, которая некогда служила нам утренним вестником, — перегородка, которая, с покорностью скрипки выражая все оттенки чувства, с такой точностью передавала бабушке и мое опасение — разбудить ее, а если она уже успела проснуться — не быть услышанным ею, мою просьбу — чтоб она не смела беспокоиться, а потом, сразу же, словно ответ другого инструмента, возвещала мне о ее приходе и призывала меня к спокойствию. Приблизиться к этой стене мне было бы еще страшнее, чем если бы это был рояль, на котором бабушка играла и струны которого еще вибрировали бы от ее прикосновения. Я знал, что теперь я смогу стучать в эту стену, и даже громче, и ничто уже не разбудит ее, что я не услышу никакого ответа, что бабушка уже не придет. И если существует рай, я ничего другого не просил у Бога, как позволения повторить робкий троекратный стук в эту стену, — стук, который бабушка узнала бы среди тысячи других и на который тоже ответила бы стуком, означавшим: «Не волнуйся, мышонок, я понимаю, что ты беспокоишься, но я сейчас приду», и остаться с ней целую вечность, которая нам обоим не показалась бы слишком долгой.

Директор пришел спросить меня, не желаю ли я спуститься вниз. На всякий случай он решил проследить, какое мне отведут «помещение»

в столовой. Так как он меня не увидел, то у него появилось опасение — не вернулись ли ко мне былые припадки удушья. Он надеялся, что это будет всего-навсего маленькое «горловое домогание», и стал уверять, что, как он слышал, его легко успокоить с помощью снадобья, которое он называл «калипт».

Он передал мне записку от Альбертины. В этом году она не должна была ехать в Бальбек, но, изменив свои планы, она уже три дня находилась, правда, не в самом Бальбеке, а на одной из соседних станций, в десяти минутах езды на трамвае. Опасаясь, что я буду утомлен дорогой, она воздержалась в первый вечер от встречи, но спрашивала меня, когда я смогу ее принять. Я осведомился, сама ли она приходила, — но не для того, чтобы увидеться с ней, а для того, чтобы постараться не видеть ее. «Ну да, — ответил мне директор. — Но она хотела бы, чтобы это было как можно скорее, если только у вас нет никаких неотложных дел. Вы видите, — добавил он в заключение, — что здесь вы для всех желательны, так оно и есть». Но я никого не желал видеть.

А ведь вчера по приезде я почувствовал, как меня вновь охватило ленивое очарование этой жизни на морском курорте. Тот же прежний лифтер, молчаливый, но теперь уже не от презрения, а от почтения, покраснев от удовольствия, привел в движение свою машину. Поднимаясь вдоль столба, убежавшего ввысь, я снова проделал путь через все то, что прежде составляло для меня таинственность незнакомой гостиницы, где, когда вы приезжаете, — турист, не имеющий ни покровителей, ни престижа, — всякий житель отеля, возвращающийся к себе в комнату, всякая девушка, спускающаяся обедать, всякая горничная, проходящая по коридорам, у которых столь странные очертания, и молодая особа, приехавшая из Америки со своей компаньонкой и спускающаяся обедать, бросают на вас взгляд, в котором вы не можете прочесть ничего такого, что соответствовало бы вашим желаниям. Теперь же, напротив, я испытал слишком успокоительное удовольствие, подымаясь на лифте в знакомой мне гостинице, где я чувствовал себя как дома, где я сейчас еще раз проделал процедуру, которую вечно приходится возобновлять, на которую нужно больше времени, больше труда, чем на то, чтоб поднять веко, и которая состоит в том, что вещам мы придаем душу, близкую нам, взамен их собственной души, пугавшей нас. Надо ли будет теперь, — говорил я себе, не подозревая о резкой перемене душевного состояния, ожидавшей меня, — еще ездить в новые гостиницы, где пришлось бы обедать в первый раз, где привычка еще не успела бы убить на каждом этаже, перед каждой дверью ужасного дракона, который, казалось, стережет какую-то заколдованную жизнь, где мне случилось бы приблизиться к этим неведомым женщинам, которые в гостиницах, в казино, на пляжах оказываются собранными воедино, наподобие колонии полипов, и живут общей жизнью.

Мне доставило удовольствие даже то, что скучный председатель суда так торопился посетить меня; чтобы представить себе волны, эти лазурные горные цепи моря, его ледники и водопады, его взлеты, его небрежное величие, мне достаточно было в первый раз после столь долгого промежутка почувствовать, моя себе руки, тот особый запах чересчур душистых мыл Гранд-отеля, — запах, который, казалось, одновременно принадлежал и настоящему мигу и прошлому моему пребыванию здесь, витал между ними, словно реальное очарование некоей своеобразной жизни, куда возвращаешься лишь для того, чтобы переменить галстук. Простыни на постели, слишком легкие, слишком обширные, которые невозможно было подоткнуть, заставить их держаться, так что они извилисто вздувались вокруг одеяла, — эти простыни навели бы на меня грусть в прежнюю пору. Теперь же они только должны были на неудобной выпуклости своих парусов баюкать победные и полные надежд солнечные лучи первого утра. Но это утро не успело прийти. Еще ночью вновь дало о себе знать жестокое и божественное присутствие все того же существа. Я попросил директора уйти, распорядиться, чтобы никто не входил ко мне. Я ему сказал, что останусь лежать, и отверг его предложение — послать в аптеку за превосходным снадобьем. Он был в восторге от моего отказа, ибо опасался, что некоторым клиентам будет неприятен запах «калипта». Благодаря этому я удостоился такого комплимента: «Вы вполне правдивы» (он хотел сказать: «вы вполне правы») и такого совета: «Обратите внимание — не запачкайтесь у двери: из-за замков я велел сделать «помазание» маслом; а если кто из служащих позволит себе постучать в вашу комнату, удары на него так и рассыпятся. И уж если я сказал, пусть не сомневаются, потому что я не люблю вторить (очевидно, это означало: «я не люблю повторять одно и то же»). Но только не хотите ли, чтоб подбодриться, выпить немножко старого вина, у меня внизу целый ящериц (очевидно, вместо «ящик»). Я вам не принесу его на серебряном блюде, как голову Ионафана, и я предупреждаю вас, что это не шато-лафит, но это более или менее равномерно (вместо «равноценно»). А так как это — легкая вещь, то для вас можно было бы поджарить маленькую камбалу». Я отказался от всего этого, но был удивлен, слыша, что название рыбы («la sole» — камбала) он произносит так же, как слово «ива» («le saule»), хотя эту рыбу он, наверно, столько раз заказывал в своей жизни.

Несмотря на обещание директора, немного погодя мне принесли загнутую визитную карточку маркизы де Камбремер. Приехав навестить меня, старая маркиза спросила, здесь ли я, а узнав, что прибыл я только вчера и что мне нездоровится, не вздумала настаивать и (наверно, не без того, чтобы остановиться перед аптекой или лавкой галантерейных товаров, в которую выездной лакей, соскакивая с козел, заходил уплатить по какому-нибудь счету или обновить запасы) отправилась обратно в Фетерн в своей старой восьмирессорной коляске, запряженной двумя лошадьми. Довольно часто, впрочем, слышен был стук катящихся колес, и прохожие на улицах Бальбека, а также некоторых мелких поселков, расположенных на побережье между Бальбеком и Фетерном, любовались пышностью этой коляски. Не то, чтобы эти остановки перед лавками поставщиков были целью таких поездок. Целью было чаепитие или garden-party у какого-нибудь дворянина или буржуа, весьма недостойного маркизы. Но маркиза, хотя она по своему рождению и по своему богатству стояла много выше, чем мелкая окрестная знать, в своей безупречной доброте и простоте так боялась разочаровать кого-нибудь, пригласившего ее, что ездила на самые незначительные светские сборища по соседству. Конечно, вместо того чтобы ехать столь далеко в ожидании услышать в жаре и духоте маленькой гостиной какую-нибудь, обычно бездарную, певицу, которую она в качестве местной аристократки и хваленой музыкантши должна будет потом осыпать преувеличенными комплиментами, — г-жа де Камбремер предпочла бы отправиться на прогулку или остаться в чудесных садах Фетерна, у подножья которых замирают среди цветов сонные воды маленького залива. Но она знала, что о вероятности ее приезда хозяин дома уже успел возвестить, кто бы он ни был — дворянин ли или простой буржуа из Менвиль-ла-Тентюрьер или Шаттонкур-л'Оргелье. А если бы в этот день г-жа де Камбремер выехала, но не появилась на празднестве, тот или иной из гостей, прибывших с одного из тех маленьких пляжей, что тянутся вдоль моря, мог бы услышать стук колес и увидеть коляску маркизы, вследствие чего она уже не могла бы сослаться в оправдание на невозможность покинуть Фетерн. С другой стороны, хотя эти хозяйева часто видели, что г-жа Камбремер ездит на концерты, устраиваемые людьми, у которых, по их мнению, ей было вовсе не место, но тот маленький ущерб, который в их глазах это обстоятельство наносило чересчур доброй маркизе, исчезал тотчас же, как только им случалось принимать гостей, и они с лихорадочным нетерпением спрашивали себя, появится ли она у них, на их чаепитии. Какое облегчение после беспокойств, переживавшихся в течение нескольких дней, когда после романса, пропетого дочерью хозяина дома или каким-нибудь любителем, отдохавшим в этих краях, кто-либо из гостей сообщал (верный знак, возвещавший прибытие маркизы на празднество), что видел лошадей и знаменитую коляску перед мастерской часовщика или магазином аптекарских товаров.

Тогда г-жа де Камбремер (действительно вскоре затем появлявшаяся в сопровождении своей невестки и гостей, которые в данный момент находились у нее и которых она просила позволения привести с собой, — позволения, дававшегося с такой радостью) снова приобретала весь свой блеск в глазах хозяев дома, для которых эта награда — ее приезд, возбуждавший столько надежд, — служила, может быть, хоть они и не признавались в этом, главной причиной решения, принятого месяц тому назад — пойти на все хлопоты и взять на себя труд по устройству утреннего приема. Видя маркизу, присутствующую на их чаепитии, они вспоминали не о той готовности, с которой она ездила к малоаристократическим соседям, но о древности ее рода, о пышности ее замка, о невежливости ее невестки, урожденной Легранден, чья заносчивость оттеняла несколько пресное добродушие свекрови. Им казалось, что в светской хронике «Gaulois» они уже читают состряпанную ими же в семейном кругу и при закрытых дверях заметку об «уголке Бретани, где умеют повеселиться», о «сверхизысканном утреннем празднестве, которое окончилось не прежде, чем гости получили от хозяев дома обещание поскорее собрать их вновь». Каждый день они ждали газеты, опасаясь, что их утренний прием все еще не будет там фигурировать и что посещение г-жи де Камбремер явилось достоянием только их гостей, а не всей массы читателей. Наконец блаженный день настал: «В этом году сезон в Бальбеке отличается исключительным блеском. В моде маленькие дневные концерты» и т. д. Слава богу, фамилия г-жи де Камбремер была напечатана правильно и упомянута «между прочим», но в начале перечня. Хозяевам оставалось только притворяться, что им неприятна эта болтовня газеты, так как она может привести к ссорам с людьми, которых нельзя было пригласить, и лицемерно вопрошать в присутствии г-жи де Камбремер, кто бы это мог так вероломно послать в газету этот отголосок, по поводу которого маркиза, благожелательная и аристократическая, говорила: «Если вам неприятно, я это понимаю, но что до меня, то я была лишь очень рада, что станет известно о том, как я была у вас в гостях».

На визитной карточке, которую мне передали, г-жа де Камбремер наспех написала, что послезавтра днем она ожидает гостей. И, разумеется, всего два дня тому назад, как бы я ни был утомлен светской жизнью, для меня было бы истинным удовольствием вкусить ее здесь, на новой для нее почве, в этих садах, где, благодаря расположению Фетерна, под открытым небом росли фиговые деревья, пальмы, кусты роз, спускавшиеся до самого моря, которое спокойствием и синевой напоминало Средиземное и по которому маленькая яхта владельцев отправилась, еще до начала празднества, на противоположный берег бухты за наиболее важными из гостей, превращаясь потом, когда все уже были в сборе, в столовую, где подавалось угощение, а вечером отвозила домой тех, кто раньше прибыл на ней. Роскошь очаровательная, но стоящая столь дорого, что отчасти именно желание возместить расходы, которых она требовала, заставило г-жу де Камбремер прибегнуть к разным способам, чтобы увеличить свои доходы, и в частности сдать впервые в аренду одно из своих владений, весьма непохожее на Фетерн, Ла-Распельер. Да, каким отдыхом от жизни парижского «высшего общества» было бы для меня два дня тому назад это, по-новому обрамленное, утреннее празднество, это сборище неведомых маленьких аристократов. Но удовольствия утратили для меня теперь всякий интерес. И я написал г-же де Камбремер, чтоб извиниться, подобно тому как час назад я отправил Альбертину: горе так же начисто уничтожило во мне возможность желаний, как сильный жар уничтожает аппетит. На другой день должна была приехать моя мать. Мне казалось, что я буду менее недостоин жить подле нее, что я лучше буду ее понимать теперь, когда чуждая и унижительная для меня жизнь сменилась напыльвом мучительных воспоминаний, терновый венец которых окружал и облагораживал мою душу, так же как и ее. Так я думал, на самом же деле от настоящей скорби, подобной той, которую испытывала мама, — скорби, буквально отнимающей у вас жизнь на долгое время, а порою и навсегда, едва только вы потеряли любимое существо, — очень далеко до той, другой, мимолетной скорби, какой, несмотря ни на что, должна была оказаться моя печаль, — скорби, которая, наступив с запозданием, проходит быстро, которую мы узнаем лишь много времени спустя после самого события, ибо для того, чтобы ощутить ее, нам сперва нужно ее понять; скорби, которую испытывает столько людей и от которой та, что терзала меня сейчас, отличалась лишь характером — невольностью воспоминания.

Что касается горя столь глубокого, каким было горе моей матери, то мне суждено было узнать его впоследствии, — в дальнейшем об этом будет рассказано, — не сейчас и не так, как я себе это представлял. Тем не менее, подобно артисту, который должен был бы знать свою роль и уже давно находится на своем месте, но пришел лишь в последнюю минуту и, лишь один раз прочитав то, что ему предстоит продекламировать, достаточно искусно умеет это скрыть, когда приходит время подавать реплику, чтобы никто не мог заметить его опоздания, — моя печаль, еще совсем свежая, позволила мне, когда приехала моя мать, заговорить с нею так, словно печаль эта всегда была во мне. Моя мать решила только, что пробудил ее вид этих мест, где я был вместе с бабушкой (дело, впрочем, было не в этом). Тогда я в первый раз, потому что испытывал страдание, которое было ничто по сравнению с ее страданием, но которое открыло мне глаза, с ужасом отдал себе отчет в том, как она может мучиться. В первый раз я понял, что этот пристальный и бесслезный взгляд (из-за которого Франсуаза мало жалела ее), появившийся у нее после смерти моей бабушки, приковывало к себе nepostыжимое противоречие между воспоминанием и небытием. Впрочем, хотя она по-прежнему была в своей черной вуали и только более тщательное была одета, в этой новой обстановке я еще больше поражен был переменой, которая в ней произошла. Мало сказать, что она потеряла всякую веселость; как-то растаяв, как-то застыв, она, словно олицетворяя собой мольбу, как будто боялась слишком резким движением, слишком громким звуком голоса оскорбить страдание, никогда не покидавшее ее. Но, главное, как только она вошла в свое пальто с крепом, я заметил, — в Париже это ускользало от меня, — что вижу перед собой не мать мою, но бабушку. Подобно тому как в королевских и герцогских семьях сын после смерти главы дома принимает его титул и из герцога Орлеанского, принца Тарентского или принца де Лом превращается в короля французского, герцога де-ла Тремуи или герцога Германтского, так, в силу наследования иного порядка, имеющего корни более глубокие, мертвый хватает живого, который становится его преемником, похожим на него, продолжателем его прервавшейся жизни. Быть может, то большое горе, которым для такой дочери, какой была мама, ознаменовывается смерть матери, лишь ранее срока разрывает оболочку куколки, ускоряет метаморфозу и появление существа, которое носишь в себе и которое, если бы не этот перелом, сразу заставивший миновать целый ряд стадий и периодов, не останавливаясь на них, сложилось бы гораздо медленнее. Быть может, в сожалении о той, кого больше нет, есть некая сила внушения, придающая нам черты сходства с ней, впрочем, уже находившиеся в нашей власти, а главное — она останавливает более специфические проявления нашей индивидуальности (у моей матери — проявления ее здравого смысла, насмешливой веселости, унаследованной ею от отца), которых мы не опасались, пока было живо любимое существо, хотя бы они и относились на его счет, и которые уравнивали собой свойства, полученные нами исключительно от него. Но после его смерти нам совестно быть другими, мы восхищаемся только тем, чем было оно, чем были мы сами, хотя и с примесью других особенностей, и чем мы отныне станем безраздельно. Именно в этом смысле (а вовсе не в том, столь неопределенном, столь неверном, который обычно вкладывается в эти слова) можно говорить, что смерть не бесполезна, что умерший продолжает оказывать на нас свое влияние. Он влияет на нас даже больше, чем живой, потому что, поскольку настоящую реальность мы определяем лишь умом, делаем ее объектом умственного процесса, мы по-настоящему узнаем только то, что мы вынуждены воссоздавать мыслью, то, что скрывает от нас повседневная жизнь...

Словом, в этом культе печали о наших покойниках мы начинаем, точно идолам, поклоняясь всему, что они любили. Моя мать не могла расстаться не только с мешочком бабушки, ставшим вещью более драгоценной, чем если бы он даже был усыпан сапфирами и брильянтами, с ее муфтой, со всеми этими одеждками, еще сильнее подчеркивавшими их внешнее сходство, но даже и с томиком г-жи де Севинье, которые бабушка всегда брала с собой, — экземплярами, которые моя мать не обменяла бы даже и на самый манускрипт этих писем. Прежде она шутила над бабушкой, которая, когда писала ей, всякий раз цитировала какую-нибудь фразу г-жи де Севинье или г-жи де Босержан. Во всех трех письмах, которые я получил от мамы до ее приезда в Бальбек, она цитировала мне г-жу де Севинье, как будто эти три письма не она писала мне, а бабушка — ей. Она пожелала опуститься на мол — взглянуть на этот пляж, о котором бабушка каждый день рассказывала ей в своих письмах. Я видел из окна, как, держа в руке зонтик своей матери, вся в черном, она робкими шагами ступала по песку, на который ступали до нее ноги этого нежно любимого существа, и она шла как будто на поиски мертвой, которую волны должны были вернуть. Чтобы не оставлять ее за обедом в одиночестве, мне пришлось вместе с ней сойти в столовую. Председатель суда и вдова старшины попросили меня представить их. И ко всему, касавшемуся бабушки, она была так чувствительна, что слова председателя бесконечно тронули ее, и она сохранила о них навсегда благодарное воспоминание. Зато она с болью и возмущением отнеслась к тому, что вдова старшины, напротив, ни одним словом не помянула покойницу. В действительности же председателю так же мало было дела до нее, как и жене старшины. Прочувствованные слова одного и молчание другой, хотя моя мать и видела между ними такое огромное различие, лишь по-разному выражали то равнодушие, которое внушают нам покойники. Но мне кажется, что всего приятнее были для моей матери слова, в которые, помимо своей воли, я вложил частицу собственного страдания. Маму оно могло только порадовать (несмотря на всю ее нежность в отношении ко мне), как все то, благодаря чему бабушка продолжала жить в сердцах людей, знавших ее. Все следующие дни моя мать уходила сидеть на пляже, делая в точности то же самое, что делала ее мать, читая обе любимые ее книги: «Мемуары» г-жи де Босержан и «Письма» г-жи де Севинье. Она, да и никто из нас, не выносили, когда г-жу де Севинье называли «остроумной маркизой», так же как Лафонтена — «добряком». Но когда в письмах она читала слова: «дочь моя», ей казалось, что она слышит голос своей матери.

Ей не повезло, и во время одной из тех прогулок, когда ей хотелось, чтобы ничто не отвлекало ее, она встретила с некоей дамой из Комбре, которую сопровождали ее дочери. Кажется, звали ее г-жой Пуссен. Но мы в своем кругу называли ее не иначе, как «Ты сообщишь мне все подробности», ибо этой фразой, вечно повторяемой, она предостерегала своих дочерей от недугов, которые они себе готовили, и так, например, обращалась к той или иной из них, когда та терла себе глаз: «Когда у тебя делается хорошенькое воспаление, ты сообщишь мне все подробности». Маму она приветствовала издали долгими поклонами, выражавшими безутешность, но не в знак соболезнования, а потому, что она так была воспитана. Бабушка могла бы и не умирать и у нас могли бы быть только поводы считать себя счастливыми, — это было все равно. Ей, жившей в Комбре довольно уединенно, среди огромного сада, ничто не казалось достаточно нежным, и слова французского языка, даже собственные имена подвергались у нее разным смягчениям. Она считала слишком грубым называть «ложкой» ту серебряную вещьцу, с помощью которой разливала свои сиропы, и потому говорила «ложечка»; она побоялась бы сделать грубость по адресу певца Телемака, назвав его «Фенелон», как говорил я с полным знанием дела, поскольку любимым моим другом был самый умный, добрый и славный человек, незабываемый для всех тех, кто его знал, — Бертран де Фенелон, — и она никогда не говорила иначе, как «Фенэлон», полагая, что таким образом она вносит в это слово известную мягкость. Менее нежный зять этой г-жи Пуссен, фамилию которого я забыл, нотариус в Комбре, похитил однажды всю кассу, и по вине его мой дядя лишился довольно солидной суммы. Но большинство жителей Комбре было в столь хороших отношениях с другими членами этой семьи, что никакого охлаждения не последовало, и все только жалели г-жу Пуссен. Она никого не принимала, но каждый, кто проходил мимо решетки ее сада, останавливался, чтобы полюбоваться изумительно тенистой листвой, не в силах различить там что-либо другое. Она нисколько не мешала нам в Бальбеке, где я повстречал ее лишь однажды, как раз в такой момент, когда она говорила дочери, кусавшей себе ногти: «Когда у тебя делается хорошенькая костоеда, ты сообщишь мне все подробности».

Пока мама читала на пляже, я оставался один в своей комнате. Я вспоминал последние дни жизни бабушки и все, что с ними было связано, дверь, которая оставалась открытой на лестницу, когда она вышла со мной на последнюю свою прогулку. По контрасту со всем этим весь остальной мир казался почти нереальным, и мое страдание целиком отравляло его. Наконец моя мать потребовала от меня, чтобы я начал выходить. Но словно ветер, против которого мы не в силах бороться, меня на каждом шагу останавливала, не позволяя идти дальше, какая-нибудь забытая мной черта в облике казино или улицы, по которой я первый вечер, ожидая ее, дошел до памятника Дюге-Труэну; я опускал глаза, чтоб ничего не видеть. И, немного собравшись с силами, я возвращался к отелю, — отелю, где, как я знал, сколько бы мне ни пришлось ждать, я теперь уже никогда не смогу найти бабушку, которую я нашел там когда-то, в первый вечер по приезде. Так как это был первый раз, что я вышел из своей комнаты, многие из слуг, которых я еще не видел, с любопытством смотрели на меня. На подъезде, у самых дверей стоял молодой грум, который снял фуражку, чтобы поклониться мне, и тотчас же ее надел. Я подумал, что Эме, как он выражался, «дал ему распоряжение» быть внимательным ко мне. Но в тот же миг я увидел, как он ради другого лица, возвращавшегося в гостиницу, снова снял фуражку. Истина заключалась в том, что этот молодой человек ничего другого не умел делать в жизни, как снимать и надевать фуражку, и делал это в совершенстве. Поняв, что он не способен ни на что другое, но что в этом он мастер, он проделывал этот жест как можно большее число раз в день, благодаря чему заслужил молчаливую и неопределенную симпатию клиентов, а также большую симпатию швейцара, чьей обязанностью было вербовать грумов, причем, пока не появилась эта редкая птица, он не мог найти ни одного такого, которого через неделю не пришлось бы уволить, к великому удивлению Эме, говорившего: «Однако ж в этом деле от них ничего и не требуется, кроме вежливости, это не должно бы быть так трудно». Директор желал, кроме того, чтобы у них была «предъявительная» наружность, — видимо, неверно запомнив слово «представительный». Вид лужайки, находившейся позади гостиницы, изменился, так как с тех пор разбили несколько клумб с цветами и убрали не только экзотические растения, но и грума, который в первый год украшал выход стройным стеблем своей фигуры и любопытной окраской волос. Он уехал с некоей польской графиней, взявшей его в секретари, и последовал в этом отношении примеру обоих своих старших братьев и сестры-машинистки, которых отель лишился по вине лиц разных национальностей и разного пола, очарованных ими. Остался только их младший брат, которого никто не хотел, потому что он был косой. Он бывал очень счастлив, когда польская графиня и покровители другого брата и сестры на некоторое время приезжали в бальбекский отель. Ведь он, хотя и завидовал своим братьям, любил их и мог таким образом в течение нескольких недель предаваться семейным чувствам. Аббатисса де Фонтевро разве не имела обыкновения, покидая ради этого своих монахинь, являться ко двору Людовика XIV, когда он оказывал гостеприимство другой представительнице семьи Мортемар — своей любовнице г-же де Монтеспан? Сам грум только первый год находился в Бальбеке; меня он еще не знал, но он слышал, как его старшие товарищи, обращаясь ко мне, прибавляли к слову «мосье» мою фамилию, и с первого же раза последовал их примеру, явно удовлетворенный — тем ли, что он обнаруживает свою осведомленность в отношении лица, казавшегося ему известным,

или тем, что он подчиняется обыкновенно, о котором пять минут тому назад он не знал, но соблюдал которое было, как он думал, совершенно неизбежно. Я прекрасно понимаю то очарование, которое этот большой отель мог представлять для некоторых лиц. Он высился словно театр, и снизу доверху его оживляли многочисленные фигуранты. Хотя клиент представлял собой нечто вроде зрителя, он все же принимал непрерывное участие в самом спектакле, и даже не так, как это бывает в тех театрах, где актеры исполняют отдельную сцену в самом зале, а так, как будто жизнь зрителя протекала среди пышного великолепия сцены. Если теннисист возвращался в белом фланелевом костюме, то швейцар, отдававший ему письма, был в синей ливрее с серебряными галунами. Если же теннисист не желал подыматься по лестнице, это не избавляло его от соприкосновения с актерами, так как рядом с ним оказывался столь же пышно одетый лифтер, который и приводил в движение подъемную машину. Коридоры этажей скрывали в себе поток камеристок и горничных, красавиц морского берега, в чьи тесные комнатки любители подъяремной женской красоты проникали хитрыми окольными путями. Внизу господствовал мужской элемент, превращая эту гостиницу, благодаря крайней молодости и праздности служителей, в какую-то своеобразную иудейско-христианскую трагедию, воплотившуюся в жизнь и непрерывно исполняемую. Вот почему я, глядя на них, не мог не произносить про себя стихи Расина, — разумеется, не те, что пришли мне на ум у принцессы Германтской, когда г-н де Вогубер, раскланиваясь с г-ном де Шарлюсом, смотрел на секретарей посольства, а другие его стихи, на этот раз не из «Эсфири», а из «Аталии»: начиная от холла, или, выражаясь языком XVIII века, от самого портика, выстраивалось, главным образом в часы второго завтрака, «расцветающее племя» юных грумов, подобных юным израильтянам в хорах Расина. Но я не думаю, чтобы хоть один из них мог дать даже и тот смутный ответ, который у Иоада находится для Аталии, спрашивающей царственного младенца: «Что ж делаете вы?» — ибо они ничего не делали. Самое большее, если бы у любого из них спросили, как спрашивала новая царица: «Все эти люди, здесь заключенные, что делают они?», он мог бы сказать: «Я смотрю на пышный строй этих обрядов и соответствую этой пышности». Порою один из этих молодых фигурантов подходил к какому-нибудь более важному лицу, потом юный красавец возвращался в хор, и если только не наступала минута созерцательного отдыха, они вновь сплетали воедино свои движения, бесполезные, почтительные, декоративные и повседневные. Ведь они, воспитанные «вдали от света», не переступавшие порога храма, за исключением только своего «выходного дня», вели ту же монашескую жизнь, что и левиты в «Аталии», и, глядя на эту «юную и верную рать», расположившуюся внизу лестницы, устланной роскошными коврами, я спрашивал себя, куда я вхожу — в бальбекский ли Гранд-отель или в храм Соломонов.

Я поднялся прямо к себе в комнату. Мои мысли обычно бывали направлены на последние дни бабушкиной болезни, на эти страдания, которые я вновь переживал и теперь усиливал, внося в них новый элемент, даже более мучительный, чем страдание другого человека, и создаваемый нашей жестокой жалостью; когда мы, как нам представляется, лишь воссоздаем мучения любимого существа, наша жалость преувеличивает их; но, быть может, она-то и соответствует правде в большей мере, чем представление об этих муках, существующее у тех, кто их переносит и от кого скрыта вся печаль их собственной жизни, которую видит эта жалость и которая наполняет ее отчаянием. Однако, захваченная новым порывом, жалость моя перешла бы даже и за пределы страданий бабушки, если бы я знал тогда то, что долгое время оставалось мне неизвестным, — а именно, что бабушка, накануне своей смерти, придя на минуту в сознание и удостоверившись, что меня тут нет, взяла маму за руку и, прильнув к ней горячими губами, сказала: «Прощай, дочь моя, прощай навсегда». И, быть может, как раз на это воспоминание и был так пристально, навеки неотвратимо устремлен взгляд моей матери. Потом ко мне возвращались воспоминания более отрадные. Она была моя бабушка, а я был ее внук. Выражения ее лица были, казалось, написаны на языке, существовавшем только для меня; в моей жизни она была все, другие люди существовали только соотносительно с ней, в зависимости от тех суждений, которые она могла бы высказать мне о них; но нет, связь между нами была слишком хрупкой, чтобы не быть случайной. Она меня больше не знает, я уже никогда не увижу ее. Мы не были созданы только друг для друга, это была чужая. И лицо этой чужой я сейчас рассматривал на фотографии, снятой Сен-Лу. Мама, встретившая Альбертину, настояла на том, чтобы я повидался с ней, во внимание к тому, что Альбертина в беседе с ней так мило отзывалась о бабушке и обо мне. И я назначил ей свидание. Я предупредил директора, чтобы он попросил ее подождать в салоне. Он мне сказал, что знает ее с очень давних пор, и ее и ее подруг, что он знал их задолго до того, как они достигли «спелости», но что он зол на них за то, что они говорили об отеле. Должно полагать, они не очень «просветленные», раз они так рассуждают. Если только на них не наклеветали. Я понял без труда, что слово «спелость» было сказано вместо «зрелость». В ожидании, когда настанет время идти к Альбертине, я пристально глядел, словно на рисунок, который мы в конце концов перестаем видеть оттого, что так долго его рассматриваем, на фотографию, снятую Сен-Лу, как вдруг я снова подумал: «Это бабушка, я ее внук», — подобно тому, как человек, потерявший память, вспоминает свое имя, подобно тому, как перерождается личность больного. Франсуаза вошла сказать мне, что Альбертина пришла, и, увидев фотографию, проговорила: «Бедная барыня, вот она, как вылитая, даже с прыщиком на щеке; в тот день, когда маркиз ее снимал, она была очень больная; ей два раза делалось дурно. «Главное, Франсуаза, — так она мне сказала, — не надо, чтобы мой внук об этом знал». И она хорошо это скрывала, на людях она всегда была веселая. Вот когда она оставалась одна, мне порой казалось, что на душе у нее скучно, такой уже у нее был вид. Но это быстро проходило. А потом она мне сказала вот так: «Если со мной что-нибудь случится, надо бы, чтоб у него был мой портрет. Я ни разу не заказывала своего портрета». Тут она послала меня к маркизу и велела наказать ему, если он не сможет ее снять, чтобы он вам не говорил, что это она его просила. Но когда я вернулась и сказала, что он может, она сама уж не хотела, решила, что слишком у нее скверный вид. «Это хуже, чем если не будет никакой фотографии», — так она мне сказала. Но она была хитрая и под конец так хорошо устроила, надела большую шляпу с такими полями, что ничего и заметно не было в тени. Радовалась она своей фотографии, потому что не думала в ту пору, что еще вернется из Бальбека. Сколько я ни говорила ей: «Барыня, не надо говорить такое, не люблю я, когда барыня говорит такое», это не выходило у нее из головы. И ведь, право ж, были такие дни, что она есть не могла. Потому-то она и посылала вашу милость обедать подалее с господином маркизом. Тогда, вместо того чтоб идти в столовую, она прикидывалась, будто читает, а как только коляска маркиза уезжала, она уходила к себе и ложилась. Иногда она хотела предупредить барыню, чтобы она еще приехала повидаться. А потом боялась испугать ее, потому что она ничего ей не говорила. «Знаете, Франсуаза, пусть она лучше остается со своим мужем». Франсуаза, взглянув на меня, вдруг спросила, не чувствую ли я себя «нездоровым». Я ответил ей, что нет; а она мне: «Да и задерживаете вы меня тут разговорами. Может быть, ваша гостья уже пришла. Надо мне вниз. Не место здесь для нее. Да и такая она быстрая, что может уже и уйти. Не любит она ждать. Ах! Мадмуазель Альбертина особой теперь стала». — «Вы ошибаетесь, Франсуаза, здесь как раз место для нее, она даже, может быть, слишком для него хороша. Но сходите-ка и скажите ей, что я не смогу принять ее сегодня».

Какие жалобные причитания исторг бы я у Франсуазы, если бы она увидела, что я плачу. Я старательно скрывал это. Иначе я завоевал бы ее симпатию. Но мою симпатию я ей подарил. Мы недостаточно умеем проникать в души этих бедных служанок, которые не выносят вида наших слез, как если бы плач причинял нам боль или причинял ее им самим, ибо Франсуаза сказала мне однажды, когда я был

маленький: «Не плачьте так, не люблю я это, когда вы плачете вот так». Мы не любим громких фраз, уверений, и мы тем правы, мы тем самым закрываем наше сердце деревенской патетике, легенде, которую бедная служанка, уволенная по обвинению в краже, может быть несправедливому, вся бледная, внезапно ставшая более смиренной, как будто подвергнуться обвинению — уже преступно, раскрывает перед вами, ссылаясь на честность своего отца, на правила своей матери, на советы бабки. Конечно, те же самые служанки, которые не выносят вида наших слез, без зазрения совести дадут нам схватить воспаление легких, потому что горничная из нижней квартиры любит сквозняки и было бы невежливо их устранить. Ведь если справедливость оказывается вещь невозможной, то те самые, кто правы, подобно Франсуазе, вместе с тем должны быть и неправы. Даже скромные удовольствия служанок вызывают или отказ или насмешки со стороны господ. Ибо это всегда какой-нибудь пустяк, но глупо-чувствительный, антигигиенический. Вот почему они и могут говорить: «Почему это они не позволяют мне, ведь я весь год ничего не прошу». А между тем господа позволили бы даже гораздо больше, если бы это не было нечто глупое и опасное для служанки — или для них самих. Конечно, покорности бедной горничной, трепещущей, готовой сознаться в том, чего она не делала, говорящей: «Если надо, я сегодня вечером уйду», мы не в силах противиться. Но надо же уметь не оставаться бесчувственным, несмотря на торжественную и угрожающую банальность ее слов, несмотря на материнское наследство и славу «родного поля», когда перед нами старая кухарка, гордящаяся честной жизнью и честной родней, держащая метлу, точно скипетр, доводящая свою роль до трагизма, прерывающая ее слезами, величественно выпрямляющаяся. В тот день я вспомнил или вообразил подобные сцены, я относил их к нашей старой служанке и с тех пор, несмотря на все то зло, которое она могла причинить Альбертине, я любил Франсуазу, — правда, с переборами, но привязанность моя была из числа самых сильных, тех, в основе которых лежит жалость. Конечно, я весь день терзался, не отрываясь от бабушкиной фотографии. Она мучила меня. Но все же не так, как измучило меня в вечер того же дня посещение директора. Когда я заговорил с ним о бабушке и он снова стал выражать соболезнование, я услышал от него следующее (ведь он любил употреблять слова, которые плохо произносил): «Это как в тот день, когда с вашей бабушкой случился обморок, я вам хотел сообщить, потому что из-за других клиентов, не правда ли, это могло бы повредить отелю. Ей бы лучше было уехать в тот же вечер. Но она меня упростила ничего не говорить и обещала, что обмороков с ней больше не будет или при первом же она уедет. Коридорный мне все-таки докладывал потом, что с ней был и второй. Но что поделаешь? Вы были старые клиенты, которых хотелось убагатворить, да никто и не жаловался». Итак, у бабушки были обмороки, и она скрывала их от меня, — быть может, как раз в такой момент, когда я был к ней менее всего внимателен, когда она страдала от необходимости казаться довольной, чтобы не рассердить меня, и здоровой, чтобы ее не выставили из гостиницы. «Обморок» — это слово, которого в таком произношении я никогда не мог бы представить себе, которое, в применении к кому-либо другому, показалось бы мне смешным, но которое в своей странной и звонкой новизне, подобное оригинальному диссонансу, долгое время оставалось для меня чем-то, способным вызывать самые мучительные чувства.

На следующий день я по просьбе мамы отправился полежать на песке или, точнее, среди дюн, там, где их неровности прячут вас и где, как я знал, Альбертина и ее подруги не могли бы меня найти. Мои опущенные веки все же пропускали свет, совершенно розовый, получивший эту окраску от внутренних оболочек глаза. Потом они закрылись совсем. Тогда я увидел бабушку, сидящую в кресле. Она, такая слабая, казалась существом менее живым, чем какой-нибудь другой человек. Все же я слышал, как она дышит; иногда по какому-нибудь признаку было видно, что она поняла слова, сказанные нами, — моим отцом и мной. Но тщетно я ее обнимал, я не мог добиться того, чтобы пробудить в ее глазах любящий взгляд, вызвать на ее щеках хоть слабый румянец. Чужая себе самой, она, казалось, не любила меня, не знала меня, — может быть, не видела меня. Я не мог разгадать тайну ее равнодушия, ее подавленности, ее молчаливого недовольства. Я отвел в сторону моего отца. «Ты все-таки видишь, — сказал я ему, — и тут ничего не скажешь, она все в точности уловила. Это полная иллюзия жизни. Если б можно было позвать твоего кузена, который утверждает, что покойники не живут. Уже больше года, как она умерла, а в общем она продолжает жить. Но почему это она не хочет меня поцеловать?» — «Смотри, ее бедная голова опять свесилась». — «Но ей хотелось бы пойти сейчас на Елисейские Поля». — «Это безумие». — «Правда? Ты думаешь, что это могло бы ей повредить, что она могла бы еще больше умереть? Не может быть, чтоб она больше не любила меня. Неужели, как бы я ни обнимал ее, она мне больше никогда не улыбнется?» — «Чего же ты хочешь, покойники — это покойники».

Через несколько дней мне уже было приятно смотреть на фотографию, снятую Сен-Лу; она не пробуждала во мне воспоминания о том, что рассказала мне Франсуаза, потому что оно не покидало меня больше, и я к нему привык. Но в противовес тому, каким я представлял себе ее состояние, столь опасное, столь мучительное, — фотография, которой до сих пор шли на пользу хитрости, пущенные в ход моей бабушкой и обманывавшие меня даже после того, как они были разоблачены, показывала мне ее такой элегантно, такой беззаботной, в этой шляпе, немного прятывавшей ее лицо, что она представлялась мне менее несчастной и, казалось, чувствовала себя лучше, чем я мог думать. А между тем, хотя сама она этого не знала, щеки ее хранили свое особое выражение, какой-то свинцовый оттенок, было в них что-то блуждающее, подобное взгляду животного, которое чувствует, что оно уже отмечено и обречено, и у бабушки был вид приговоренной, вид невольного мрачный, бессознательно трагический, ускользавший от меня, но никогда не позволявший маме смотреть на эту фотографию, — на эту фотографию, казавшуюся ей фотографией не столько ее матери, сколько ее болезни, оскорбления, которое эта болезнь своей грубой пощечиной нанесла лицу бабушки.

Потом я как-то решился и велел сообщить Альбертине, что я в ближайшие дни приму ее. Дело было в том, что однажды утром, преждевременно жарким, бесчисленные крики играющих детей, купальщиков, шутивших друг с другом, и газетчиков — огненными линиями, в каком-то сплетении искр, нарисовали мне этот знойный пляж, на который одна за другой набежали маленькие волны, обдавая его своей свежестью; тут начался симфонический концерт, сливавшийся с всплесками воды, от которого звуки скрипок дрожали, подобные рою пчел, заблудившихся над морем. Мне сразу же захотелось услышать вновь смех Альбертины, увидеть вновь ее подруг, этих девушек, которые возникали на фоне волн и в моей памяти были неотделимы от очарования Бальбека, представляясь мне цветами, характерными для его флоры; и я решил послать с Франсуазой записку Альбертине, чтобы пригласить ее на будущей неделе, а между тем медленный прилив при каждом всплеске волны совершенно закрывал своими хрустальными потоками мелодию, фразы которой были, казалось, отделены одна от другой, подобные тем ангелам с лютнями, что на вершинах итальянских соборов подымаются между гребнями синего порфира и пенящейся яшмы. Но в день, когда Альбертина ко мне пришла, погода опять испортилась и стала холодной, и к тому же мне не представилось случая услышать ее смех; она была в очень дурном расположении духа. «В этом году Бальбек убийственно скучен, — сказала она мне. — Я постараюсь недолго пробыть здесь. Вы знаете, что я здесь с Пасхи, это уже выходит больше месяца. Не подумайте, что это занятно». Несмотря на дождь, который только что прошел, и тучи, сменившиеся на небе, я, проводив Альбертину до Эпрвиля, — так как, по ее выражению, она «сновала» между этим прибрежным местечком, где находилась вилла г-жи Бонтан, и Энкарвилем, где родные Ровемонды «взяли ее к себе на пансион», — пошел прогуляться по направлению к большой дороге, на которую выезжал экипаж г-жи де Вильпаризи, когда мы с ней и с бабушкой ездили на прогулку; лужи, блестящие от солнца,

не высушило их, превращало почву в настоящую болото, и я думал о бабушке, которая и двух шагов не могла пройти, чтобы не забрызгаться грязью. Но как только я дошел до большой дороги, я был ослеплен. Там, где в августе месяце мы с бабушкой видели только листву и как бы местоположение яблонь, теперь, куда бы ни кинуть взгляд, яблони были в полном цвету, небывало великолепные, внизу окруженные грязью, но сами — в бальных нарядах, и не принимали никаких предосторожностей, чтобы не запачкать чудеснейший розовый шелк, когда-либо виданный, сверкавший теперь на солнце; далекий морской горизонт являлся для этих яблонь как бы задним планом, точно на японской гравюре; когда я поднимал глаза, чтобы взглянуть на небо сквозь цветы, в просветы между которыми открывалась его ясная, почти что резкая синева, они как бы раздвигались, чтобы показать глубину этого рая. Под этим лазурным сводом от слабого, но холодного ветерка слегка колыхались розовеющие цветы. Синицы опускались на ветки и прыгали среди цветов, такие снисходительные, как будто всю эту живую красоту искусственно создал некий любитель экзотики и красок. Но она трогала до слез, потому что, до каких бы эффектов утонченного искусства она ни доходила, чувствовалось, что она естественна, что эти яблони стоят здесь в открытом поле, словно крестьяне на какой-нибудь из больших дорог Франции. Потом лучи солнца внезапно сменились лучами дождя; они своими полосами закрыли горизонт, заключили цепь яблонь в серую свою сетку. Но яблони по-прежнему возвышались в своей красоте, цветущей и розовой, под ливнем, среди ледяного ветра: то был весенний день.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тайны Альбертины. — Девушки, которых она видит в зеркале. — Неизвестная дама. — Лифтер. — Г-жа де Камбремер. — Удовольствия г-на Ниссима Бернара. — Первый набросок странного характера Мореля. — Г-н де Шарлюс обедает у Вердюренов

Опасаясь, как бы удовольствие, полученное от этой прогулки в полном одиночестве, не ослабило во мне воспоминания о бабушке, я старался оживить его мыслями о той великой нравственной муке, которую ей приходилось терпеть; по моему зову эта мука пыталась утвердиться в моем сердце, она воздвигала в нем огромные свои столбы; но, должно быть, мое сердце было для нее слишком мало, мне недоставало силы терпеть столь сильную муку, мое внимание отвлекалось как раз в тот миг, когда она вся воссоздавалась вновь, и своды ее рушились, не успев соединиться, подобно тому, как обрушиваются волны, не успев возвести свои своды до конца.

Однако уже из одних моих снов я мог бы узнать, что горе, вызванное во мне смертью бабушки, ослабеваает, ибо в этих снах она уже оказывалась менее подавленной бременем, которым являлись мои мысли о ее небытии. Я видел ее все по-прежнему больной, но уже на пути к выздоровлению, ей было лучше. А если она намекала на страдания, перенесенные ею, я зажимал ей рот моими поцелуями и уверял ее, что теперь она выздоровела навсегда. Мне хотелось заставить скептиков констатировать, что смерть в самом деле есть болезнь, от которой оправляются. Но только я уже не находил у бабушки богатой непосредственности, которая была у нее прежде. Слова ее были только слабым, покорным ответом на мои слова, почти что простым их отзвуком; она была теперь лишь отражением моей собственной мысли.

Мне, еще неспособному почувствовать вновь физическое влечение, Альбертина все же начинала внушать как бы влечение к счастью. Бывают мечты о нежной взаимности, которые, носясь в нашем сознании, в силу некоей аналогии легко сочетаются с воспоминанием (при условии, чтобы оно уже успело стать несколько смутным) о женщине, с которой нам дано было изведать наслаждение. Это чувство напоминало мне о лице Альбертины в различных его аспектах, более кротких, менее веселых, довольно непохожих на те, которые вызвало бы в моей памяти физическое влечение; и так как к тому же чувство это было менее упорно, чем подобное влечение, то исполнение моего желания я рад был отложить до следующей зимы, не пытаясь увидиться с Альбертиной в Бальбеке до ее отъезда. Но даже среди горя, которое еще не улеглось, возрождается вновь физическое влечение. Лежа в постели, в которой меня ежедневно подолгу заставляли отдыхать, я желал, чтобы Альбертина пришла ко мне и чтоб возобновились наши былые игры. Разве не случается, что в той самой комнате, где у них умер ребенок, супруги вновь сплетаются телами, и у маленького покойника рождается брат. Стараясь отогнать это желание, я подходил к окну, чтобы поглядеть на сегодняшнее море. Как и в первый год, оно редко бывало таким же, как вчера. Но, впрочем, оно несколько не было похоже на море того первого года, — потому ли, что теперь была весна с ее грозами, потому ли, что, если бы даже я приехал в такое время, как и первый раз, иная погода, более изменчивая, могла бы поселить рознь между этим берегом и морем в иных его аспектах, ленивых, воздушных и мимолетных, — морем, которое в знойные дни на моих глазах дремало у пляжа, еле заметно воздымая свою голубоватую, нежно трепещущую грудь, — потому ли, в особенности, что мои взгляды, наученные Эльстиром улавливать именно те элементы, от которых прежде я предпочитал отвлекаться, теперь подолгу созерцали то, что в первый год они не умели видеть. Столь поражающая меня в ту пору противоположность между сельскими прогулками, которые я совершал с г-жой де Вильпаризи, и этим неживым, недостижимым и мифологическим соседством вечного Океана больше не существовала для меня. И временами самое море представлялось мне почти что чем-то сельским. В те, довольно редкие дни, когда стояла действительно хорошая погода, жара проводила по воде, словно по полю, пыльную и белую дорогу, позади которой тонкая верхушка рыболовного судна подымалась, точно деревенская колокольня. Вдали появлялся буксир, от которого видна была лишь дымящая труба, — словно какой-то завод, расположенный на большом расстоянии, — а между тем на горизонте одинокий квадратик, белый и выпуклый, означавший вероятно присутствие паруса, но казавшийся чем-то очень плотным и как бы оштукатуренным, напоминал освещенный солнцем угол одиноко стоящего здания — больницы или школы. А облака и ветер, в те дни, когда они присоединялись к солнцу, довершали если не самое заблуждение, то, по крайней мере, иллюзию, создающуюся с первого взгляда, впечатление, зарождающееся в нашей фантазии. И чередование пространств, четко отграниченных друг от друга в смысле окраски, подобно тому, как это бывает в полях, где по соседству находятся разные посевы, резкие, желтые и как будто грязные неровности морской поверхности, возвышения, холмы, скрывавшие от взгляда лодку, в которой команда ловких моряков казалась жнецами, собирающими урожай, — все это в грозовые дни создавало из океана нечто столь же разнообразное, столь же плотное, столь же неровное, столь же многолюдное, столь же благоустроенное, как те проезжие дороги, по которым я гулял прежде и прогулки по которым мне вскоре предстояло возобновить. И однажды, не в силах сопротивляться моему желанию, я, вместо того чтобы лечь снова, оделся и отправился в Энкарвиль за Альбертиной. Я хотел просить ее, чтобы она проехала со мной до Дувилля, откуда я направился бы в Фетерн с визитом к г-же де Камбремер и в Ла-Распельер с визитом к г-же Вердюрен. Альбертина ждала бы меня это время на пляже, и мы вернулись бы с ней вместе к ночи. Я сел в маленький поезд местного сообщения, все названия которого, распространенные в этих местах, мне уже и раньше были известны от Альбертины и ее подруг, научивших меня тому, что его именуют то Червячком — ввиду бесчисленных извилин на его пути, то Черепахой — ввиду того, что он еле двигается, Трансатлантиком — по причине ужасной сирены, которая должна была предостерегать прохожих, идущих через рельсы, — Дековилем и Фюни — так как он, хотя отнюдь не будучи фюникулером, взбирался на прибрежные скалы и, не являясь собственно говоря Дековилем, имел колею в шестьдесят сантиметров, — Б. А. Г. — оттого, что он курсировал между Бальбеком и Гральвастом,

прохода через Анжервиль, — Трамон и Т. Ю. Н. — так как он входил в состав трамвайной сети Южной Нормандии. В вагоне в который я сел, я был один; стоял великолепный солнечный день, все задыхались от жары; я опустил синюю штору, которая оставила доступ только тонкой полоске света. Но в тот же миг я увидел бабушку такой, какой она сидела в поезде при нашем отъезде из Парижа в Бальбек, когда, страдая от того, что я пил пиво, она предпочла не смотреть на меня, закрыла глаза и притворилась спящей. Я, который в былые времена не мог выносить вида ее страданий, если дедушка пил коньяк, — я причинил ей страдание не только тем, что по указанию постороннего человека отдал дань напитку, пагубному для меня с ее точки зрения, но я добился от нее позволения сполна насладиться им, — более того, моими приступами гнева и припадками удушья я заставил ее помочь мне в этом, принудил ее посоветовать мне это средство в минуту высшего самоотречения, образ которого, безмолвный, полный отчаяния, с глазами, закрытыми, чтобы не видеть, вставал теперь в моей памяти. Это воспоминание, как бы по волшебству, вернуло мне ту душу, которую с некоторых пор я уже готов был утратить. На что была бы мне Альбертина, когда губы мои жили одним только страстным желанием — поцеловать умершую, что мог бы я сказать Камбремерам и Вердюренам, когда мое сердце билось так сильно оттого, что в нем все время укреплялась мука, выстраданная бабушкой. Я не мог оставаться в этом вагоне. Как только поезд остановился в Менвиль-ла-Тентюрьер, я, отказавшись от моих планов, вышел, направился к прибрежным скалам и пошел извилистыми тропинками. Менвиль с недавних пор имел немаловажное значение и своеобразную репутацию, потому что некий директор многочисленных казино, торговец комфортом, построил неподалеку оттуда, с роскошью, не уступавшей по своему безвкусию роскоши какого-нибудь отеля, особого рода заведение, к которому мы еще вернемся и которое, откровенно говоря, было первым публичным домом для фешенебельных людей, построенным на берегу Франции. Он был и единственный. Правда, в каждом порту бывает такое заведение, но годное лишь для матросов и любителей оригинального, которых забавляет видеть, в ближайшем соседстве с незапамятно древней церковью, почти столь же старую, почтенную и обросшую мхом хозяйку дома, которая стоит у его дверей, пользующихся такой дурной славой, и ждет, когда вернутся рыболовные суда.

Оставив в стороне блистательный дом «наслаждений», который дерзко возвышался здесь несмотря на протесты многих семей, тщетно обращавшихся к мэру, я направился к прибрежным скалам и пошел извилистыми тропами в сторону Бальбека. Цветы боярышника звали меня, но я, хоть и слышал, не откликнулся на их зов. Менее пышные, чем цветы яблони, они считали их очень тяжеловесными, хотя и признавали за ними ту свежесть красок, которой обладали эти дочери богатейших поставщиков сидра, одаренные розовыми лепестками. Они знали, что хотя у них и менее пышное приданое, все же их благосклонности добиваются еще упорнее, и даже их помятой белизны им достаточно для того, чтобы нравиться.

Когда я вернулся в гостиницу, консьерж передал мне траурное письмо от имени маркиза и маркизы де Гонвиль, виконта и виконтессы д'Амфревиль, графа и графини де Бернвиль, маркиза и маркизы де Гренкур, графа д'Аменонкур, графини де Менвиль, графа и графини де Франкто, графини де Шаверни, урожденной д'Эглевиль, а почему оно мне было послано, это я понял лишь тогда, когда прочел имена маркизы де Камбремер, урожденной дю Мениль ла Гишар, маркиза и маркизы де Камбремер, и когда я увидел, что покойница, кузина Камбремеров, звалась Элеонорой-Евразией-Эмбертиной де Камбремер, графиней де Крикто. Во всем этом обширном провинциальном роде, перечень членов которого заполнял собой тонкие, жавшиеся одна к другой строки письма, — ни единого буржуа, впрочем также — ни одного известного титула, зато — весь цвет местной аристократии, чьи певучие фамилии — подобно названиям всех любопытных мест в этом краю — оканчивались радостными сочетаниями звуков «виль» или «кур», порою же звучали глуше (оканчиваясь на «то»). Покрытые черепицей своих родовых замков или штукатуркой церковных стен, трясая головой, которая еле возвышалась над сводом или над корпусом здания, и стремясь к одной лишь цели — украситься шатровой крышей на нормандский лад или острой кровлей с башенками, они как будто протрубили сбор всем этим красивым деревенькам, расположенным или разбросанным на пятьдесят миль кругом, и, отсеяв все постороннее, построили их плотными рядами, без единого пробела, на прямоугольной и тесной шахматной доске аристократического письма с черной каймой.

Моя мать вернулась к себе в комнату, размышляя о следующей фразе г-жи де Севинье: «Я не вижу ни с кем из тех, кто хочет отвлечь от вас мои мысли, другими словами — хочет помешать мне думать о вас, ведь это меня оскорбляет», ибо председатель суда сказал ей, что ей следовало бы развлекаться. Мне он шепнул: «Вот принцесса Пармская». Страх мой рассеялся, когда я увидел, что дама, которую мне показывает судья, ничего общего не имеет с ее королевским высочеством. Но так как принцесса велела оставить для нее номер, намереваясь переночевать в отеле при возвращении от г-жи де Люксембург, новость эта для многих имела последнее следствие, что всюкую новоприбывшую даму они стали принимать за принцессу Пармскую, а для меня — то, что я пошел на свой чердак, где и заперся.

Мне не хотелось оставаться там в одиночестве. Было только четыре часа. Я попросил Франсуазу сходить за Альбертиной, чтобы она провела со мной конец этого дня.

Мне кажется, я солгал бы, сказав, что у меня уже возникло то мучительное и постоянное недоверие, которое должна была возбудить во мне Альбертина, а тем более — что уже сложились те своеобразные, больше всего напоминающие о Гоморре черты, которые должно было приобрести это недоверие. Правда, с этого дня, — но и это был не первый раз, — ожидание мое приобрело несколько тревожный характер. Уйдя, Франсуаза так долго не возвращалась, что я начал отчаиваться. Лампы я не зажигал. Было уже вовсе не светло. Ветер играл флагом над казино. И, звуча еще более жалобно среди тишины, воцарившейся над берегом, на который набегали волны, как бы уподобляясь голосу, который выразил бы и еще усилил бы раздражающую неопределенность этого беспокойного и неестественного часа, маленькая шарманка играла перед отелем венские вальсы. Наконец Франсуаза вернулась, но одна. «Я ходила так скоро, как только могла, да она не хотела идти, говорила, что не так причесана. Если бы она не мазалась помадой целый час, то на сборы у нее и пяти минут не ушло бы. Сейчас тут будет пахнуть, как в настоящей парикмахерской. Она сейчас придет, она от меня отстала — прихорашивается перед зеркалом. Я думаю, она и сейчас еще там». Прошло еще много времени, прежде чем появилась Альбертина. Но веселость и приветливость, которые она принесла с собой, рассеяли мою грусть. Она сообщила мне (вопреки тому, что говорила на днях), что останется на весь летний сезон, и спросила, нельзя ли нам будет, как и в первый год, видеться каждый день. Я сказал ей, что сейчас мне еще слишком грустно и что лучше я время от времени буду посылать за ней в последнюю минуту, как в Париже. «Если вдруг вам взгрустнется или просто захочется повидать меня, не задумывайтесь, — сказала она мне, — посылайте за мной, я быстро приду, а если вы не боитесь, что это может вызвать толки в гостинице, я буду оставаться столько времени, сколько вы захотите». У Франсуазы, когда она привела ее, был довольный вид, как и всякий раз, когда ей случалось постараться для меня и удавалось сделать мне удовольствие. Но сама Альбертина была ни при чем в этой радости, и уже на другой день Франсуазе суждено было обратиться ко мне с такими словами, полными глубокого смысла: «Мосье не должен был бы видеться с этой барышней. Я-то вижу, какой у нее нрав, от нее вам будут огорчения». Провожая Альбертину, я в освещенном ресторане увидел принцессу Пармскую. Я только взглянул на нее, сделал

так, чтобы она меня не заметила. Но признаюсь, что нашел известное величие в той царственной вежливости, которая вызвала у меня улыбку на вечере у Германтов. Как правило, монархи всюду у себя дома, а Церемониал находит этому выражение в мертвых, лишенных смысла обычаях, подобных тому, согласно которому хозяин дома в своем собственном жилище должен держать шляпу в руке, показывая, что он уже не у себя, а в гостях у принца. Принцесса же Пармская, может быть, не сумела бы сформулировать эту мысль, но она до такой степени была проникнута ею, что во всех ее поступках, непосредственно вызываемых обстоятельствами, эта мысль давала о себе знать. Встав от стола, она дала Эме на чай, — дала много, как будто он находился здесь исключительно для нее и как будто она, уезжая из замка, вознаграждает слугу, приставленного к ней. Впрочем, она не ограничилась тем, что дала на чай, но с милостивой улыбкой сказала ему несколько любезных и лестных слов, которым ее научила мать. Еще немного — и она сказала бы ему, что гостиница содержится прекрасно, что в столь же прекрасном состоянии находится и Нормандия, и что всем странам она предпочитает Францию. Другая монета скользнула из рук принцессы в пользу зрителя винного погреба, которого она велела позвать и которому пожелала выразить свое удовлетворение, словно генерал, только что производивший смотр войскам. В эту минуту лифтер принес ей ответ на какую-то записку; на его долю тоже достались поощрение, улыбка и монета, причем всему этому сопутствовали ободряющие и скромные слова, имевшие целью доказать им, что она — не выше, чем тот или иной из них. Так как Эме, зритель погреба, лифтер и прочие решили, что было бы невежливо не улыбаться до ушей в присутствии особы, улыбавшейся им, то вскоре она уже была окружена группой прислуги, с которой и вела благосклонную беседу; так как подобные обыкновения не приняты в гостиницах, то люди, проходившие по площадке, не зная ее имени, подумали, что видят какую-то постоянную клиентку бальбекского отеля, которая, будучи низкого происхождения или являясь профессионально заинтересованной в этом (может быть, это была жена посредника по сбыту шампанского), ближе стоит к прислуге, чем к подлинно блестящим клиентам. Что до меня, то я думал о пармском дворце, о совете полурелигиозного, полуполитического характера, которые давались этой принцессе, обращавшейся с народом так, как будто ей надо было привлечь его на свою сторону, чтобы править им впоследствии. Вернее — так, как будто она уже правила им.

Я вернулся к себе в комнату, но был в ней не один. Я слышал, как кто-то играет пьесы Шумана, вкладывая большую мягкость в исполнение. Случается, конечно, что образы людей, даже тех, которые нам всего дороже, проникаются печалью или раздражением, исходящими от нас. Но есть нечто, обладающее такой способностью приводить в отчаяние, которой никогда не достигнет человек: это роаль.

Альбертина просила меня запомнить те числа, по которым ей придется отсутствовать, так как она будет по нескольку дней гостить у подруг, и продиктовала мне также их адреса — на тот случай, если она мне будет нужна в один из ближайших вечеров, а все эти подруги жили недалеко. Таким образом, в поисках Альбертины, которые вели от одной девушки к другой, вокруг нее совершенно естественно возникли связи, подобные гирляндам цветов. Я решаюсь признаться, что многие из них — я не любил их еще — дарили мне на том или ином из пляжей минуты наслаждения. Эти доброжелательные юные подруги, как мне казалось, были не очень многочисленны. Но недавно я их вспомнил, имена их пришли мне на ум. Я сосчитал, что в течение одного этого сезона двенадцать из них удостоили меня своей мимолетной благосклонности. Еще одно имя вспомнилось мне, это составило тринадцать. И я с какой-то ребяческой жестокостью остановился на этом числе. Увы, я подумал о том, что забыл первую среди них, Альбертину, которой уже не было теперь и которая оказалась четырнадцатой.

Возобновляя нить прерванного рассказа, повторяю, что я записал имена и адреса девушек, у которых я мог бы отыскать ее в те дни, когда ее не будет в Энкарвиле, но я думал, что этими днями я скорее воспользуюсь для того, чтобы посетить г-жу Вердюрен. Впрочем, желания, возбуждаемые в нас разными женщинами, не всегда бывают одинаково сильны. В тот или иной вечер мы не можем обойтись без женщины, мысль о которой потом, в течение месяца или двух, нисколько нас не будет беспокоить. А потом, в силу чередований, причины которых здесь не место изучать, после какого-нибудь большого утомления, испытанного нашей плотью, женщина, чей образ неотступно будет преследовать нас в минуту внезапной слабости, окажется той, которую мы только могли бы поцеловать в лоб. Что до Альбертины, то я лишь изредка виделся с ней, и только в те, отдаленные друг от друга большими промежутками вечера, когда не мог обойтись без нее. Если же подобное желание овладевало мной в такой вечер, когда она была слишком далеко от Бальбека, чтобы Франсуаза могла отправиться за ней, я посылал лифтера в Эгревиль, в Ла-Сонь, в Сен-Фришу, прося его окончить работу чуть раньше обычного. Он входил ко мне в комнату, но оставлял дверь открытой, ибо, хотя он и добросовестно исполнял свою ежедневную работу, весьма нелегкую и заключающуюся в том, что с пяти часов утра он занимался всякого рода чисткой и уборкой, не мог решиться на попытку закрыть дверь, а когда его внимание обращали на то, что она не затворена, он возвращался к ней и, делая крайнее усилие, еле-еле толкал ее. С демократической гордостью, которая отличала его и до которой на путях своей деятельности не доходят люди вольных профессий, чересчур, может быть, многочисленных, адвокаты, врачи, литераторы, называющие своим «собратом» только другого адвоката, литератора или врача, он вполне правильно пользовался выражением, употребляемым лишь в замкнутой среде, как например в среде академиков, и говорил мне о каком-нибудь груме, который раз в три дня исполнял обязанность лифтера: «Я постараюсь, чтобы меня заменил мой коллега». Эта гордость не мешала ему, в целях улучшения того, что он называл «своим окладом», принимать в награду за исполненные поручения денежные подачки, из-за которых Франсуаза возненавидела его: «Да, как посмотришь на него первый раз, так бы его в рай и послала, а бывают дни, что он вежлив, точно надзиратель из тюрьмы. Все они вымогатели». Это была категория людей, к которой она так часто относилась Евлалию и к которой — увы! — ведь в свое время это должно было привести к множеству бед, — она уже причисляла и Альбертину, ибо ей часто случалось наблюдать, как я выпрашиваю у мамы для моей не избалованной богатством приятельницы разные мелкие вещицы, безделушки, а это Франсуазе казалось непросительным, так как г-жа Бонтан держала всего одну служанку. Лифтер, сняв то, что я назвал бы его ливреей и что сам он называл своим мундиром, вскоре затем появлялся в соломенной шляпе, с тростью в руках, стараясь придать изящество своей походке и держаться прямо, ибо мать наказывала ему никогда не брать за образец манеру рабочего или грума из гостиницы. Подобно тому, как наука, благодаря книгам, становится доступна рабочему, который, кончив трудиться, перестает быть рабочим, так же и элегантность, благодаря соломенной шляпе и паре перчаток, становилась доступной для лифтера, который, перестав поднимать клиентов, уже считал себя безукоризненным человеком общества, каким может считать себя молодой хирург, только что снявший халат, или вахмистр Сен-Лу, расставшийся со своей формой. Он, впрочем, не был лишен ни честолюбия, ни таланта, который проявлял, орудуя в своей кабинке и не давая ей застревать меж двумя этажами. Но речь его была непривлекательна. Я думал, что он честолюбив, так как о швейцаре, от которого он сам зависел, он говорил: «мой швейцар» — таким же тоном, каким могло бы говорить о своем портье лицо, владеющее в Париже «отдельным особняком», как сказал бы лифтер. Что касается его речи, то любопытно, что человек, который раз пятьдесят в день слышал, как клиенты выкликали слово: «Ascenseur» (лифт), всегда произносил «accenseur». Некоторые черты в этом лифтере действовали чрезвычайно раздражающе: что бы я ему ни говорил, он перебивал меня восклицанием: «Еще бы!» или «Вот оно что», как будто означавшим, что слова мои выражают нечто

совершенно очевидно и что всякий сказал бы то же, или же что заслуга открытия принадлежит ему, как будто он обратил на это мое внимание. «Еще бы!» или «Вот оно что», — это восклицание, исполненное величайшей энергии, — каждые две минуты срывалось с его губ по поводу вещей, о которых он никогда бы и не подумал, и это настолько раздражало меня, что я сразу же начинал говорить совершенно противоположное, лишь бы показать ему, что он ничего не понимает. Но на мое второе утверждение, хотя его и нельзя было примирить с первым, он все-таки отвечал: «Еще бы!» или «Вот оно что!» — точно этих слов нельзя было избежать. Я с трудом прощал ему и то, что некоторые обороты, связанные с его ремеслом и поэтому вполне уместные в их прямом значении, он употреблял только в переносном смысле, вследствие чего они приобретали оттенок глуповатого острословия, как было, например, с выражением: «поработать педалью». Он никогда не пользовался им, если речь шла о поездке на велосипеде. Но если, идя куда-нибудь пешком, он должен был ускорить шаг, чтобы не опоздать, он, желая сказать, что шел быстро, говорил: «Вы понимаете, пришлось поработать педалью». Лифтер был скорее малого роста, дурно сложен и довольно уродлив. Это не мешало тому, что всякий раз, как с ним заговаривали о каком-нибудь молодом человеке высокого роста, прямом и стройном, он отвечал: «Ах, да! Знаю, он как раз моего роста». А однажды, когда я ждал ответа, который он должен был принести, я вдруг услышал шаги на лестнице и, от нетерпения открыв дверь, увидел грума, прекрасного, как Эндимион, с невероятно правильными чертами лица, пришедшего с поручением к незнакомой мне даме. Когда лифтер вернулся, я, рассказав ему, с каким нетерпением ждал ответа, сообщил ему также, что мне раньше показалось, будто он поднимается по лестнице, но что это был грум из «Нормандского отеля». «Ах, да! Я знаю, который это, — сказал он мне, — там только один такой и есть, моего роста. Лицом он тоже так на меня похож, что нас можно принять одного за другого, прямо можно сказать — мой братишка». Наконец, он любил делать вид, будто все понял с первого же мига, так что, едва только вы начинали наказывать ему что-нибудь, он говорил: «Да, да, да, да, да, я прекрасно понимаю» — таким отчетливым и понимающим тоном, который первое время вводил меня в заблуждение; но люди, по мере того как мы их узнаем, уподобляются металлу, погружаемому в какую-нибудь вредную смесь, и на наших глазах теряют постепенно свои достоинства (порою также и недостатки). Прежде чем я начал давать ему указания, я увидел, что дверь он оставил открытой; я заметил ему это, опасаясь, как бы нас не услышали; он снизошел к моей просьбе и несколько уменьшил щель, образованную открытой дверью. «Только чтобы угодить вам. Но во всем этаже никого нет, только нас двое». Тотчас же я услышал, как по коридору прошел один, потом второй, потом третий человек. Это раздражало меня, ввиду возможности всяких пересудов, но главным образом потому, что это хождение взад и вперед, как я заметил, его нисколько не удивляло и было в порядке вещей. «Да, это соседняя горничная прошла — ей там что-то нужно взять. О! Это не важно, это смотритель погреба несет свои ключи. Нет, нет, ничего, вы можете говорить, это мой коллега становится на дежурство». А так как причины, по которым все эти люди шли мимо, нисколько не уменьшали моего недовольства по поводу того, что они могут меня услышать, он по моему категорическому приказанию вернулся к двери — не для того, чтобы ее закрыть, что было не по силам этому велосипедисту, которому хотелось иметь мотоцикл, а лишь слегка толкнуть ее. «Теперь нам будет спокойно». Спокойно было настолько, что некая американка вошла в комнату и должна была удалиться с извинениями — она ошиблась дверью. «Вы привезете ко мне эту девушку, — сказал я ему, сам предварительно захлопнув дверь изо всех сил (что побудило другого грума прийти удостовериться, не открыто ли где-нибудь окно). — Вы запомните: мадмуазель Альбертина Симоне. Впрочем, это написано на конверте. Вы только должны сказать, что это от меня. Она с удовольствием придет сюда», — прибавил я, чтобы поощрить его и не слишком унижаться в его глазах. — «Еще бы!» — «Да нет, напротив, это вовсе не так естественно, что она будет довольна. Попадать сюда из Бернвиля очень неудобно». — «Понимаю». — «Вы попросите ее отправиться вместе с вами». — «Да, да, да, да, прекрасно понимаю», — ответил он с той ясностью и тем понимающим тоном, которые давно уже не производили на меня благоприятного впечатления, ибо я знал, что этот тон почти машинален и что за его кажущейся определенностью скрывается немало глупости и всякой неясности. — «В котором часу вы вернетесь?» — «Мне недолго, — отвечал лифтер, доходя до крайности в соблюдении правила, предписанного Белизом, и всегда стремившийся к краткости при отрицании. — Я отлично могу туда съездить. Вот только что на днях всем было запрещено отлучаться — был завтрак в отдельном кабинете на двадцать персон. А как раз была моя очередь гулять. Оно и к стати будет, если я вечером ненадолго выйду. Я возьму свой велосипед. Так что это быстро будет». А через час он явился и сказал: «Мосье заждались, но эта барышня приехала со мной. Она внизу». — «А! Благодарю. Швейцар не будет на меня зол?» — «Господин Поль? Да он даже и не знает, где я был. Даже портье ничего сказать не сможет». Но однажды, когда я ему сказал: «Вы непременно должны привезти ее», он ответил мне с улыбкой: «Вы же знаете, я же ее не нашел. Нет ее там. А я не мог оставаться дольше; я боялся, что со мной будет такая же вещь, как с моим коллегой, которого отослали из гостиницы» (ибо лифтер, употреблявший глагол «tréper», когда речь шла о занятии, к которому приступают впервые, например о службе на почте, куда он хотел бы поступить, для соблюдения равновесия или же чтобы смягчить самый факт, на тот случай, если бы дело коснулось его самого, или же намекнуть на него более слащавым и коварным образом, поскольку речь шла о другом, опускал начальное «г» в слове «renvoyer» и говорил: «envoyer»). Улыбался он не от злости, а от застенчивости. Ему казалось, что он умаляет значение своей ошибки, обращая ее в шутку. Точно так же, если он говорил мне: «Вы знаете, я же ее не нашел», — то вовсе не потому, что он думал, будто я в действительности знаю это. Напротив, он не сомневался, что мне это неизвестно, а главное — это его пугало. И он говорил: «вы знаете», чтобы избавить себя от того ужаса, который он должен был пережить, произнося фразы, имевшие целью сообщить мне это. Никогда не следовало бы гнаться на тех, кто, будучи застигнут на месте преступления, начинает усмехаться. Они это делают не потому, что они издеваются над нами, а потому, что дрожат при мысли о возможности недовольства с нашей стороны. Будем же выказывать великую жалость, будем проявлять величайшую кротость к тем, которые смеются. Подобно настоящему нервному удару, волнение лифтера не только вызвало апоплексический румянец, но повлияло и на характер его языка, внезапно ставшего более простым. В конце концов он объяснил мне, что Альбертины не оказалось в Эгревиле, что она должна была вернуться только в девять часов и что если она нечаянно, — а это должно было означать случайно, — вернется раньше, его поручение будет передано и она непременно будет у меня еще до часа ночи.

Впрочем, еще не в этот вечер начала окончательно укрепляться моя мучительная недоверчивость. Нет, если уж сразу же говорить об этом, хотя самый факт совершился лишь несколько недель спустя, ее породило одно замечание Котара. В тот день Альбертина и ее подруги хотели затащить меня в энкарвильское казино, а я, к своему счастью, и не встретился бы там с ними (так как собирался навестить г-жу Вердюрен, несколько раз приглашавшую меня), если бы мой путь не был прерван в самом Энкарвиле из-за трамвайной аварии, вызвавшей некоторую задержку, пока все не было исправлено. Расхаживая в ожидании взад и вперед, я вдруг встретился лицом к лицу с доктором Котаром, приехавшим в Энкарвиль к больному. Я почти что не решался поздороваться с ним, так как он не ответил ни на одно из моих писем. Но любезность не у всех проявляется одинаковым образом, Котар, которому воспитание не предписывало тех же правил приличия, что людям светским, был полон добрых намерений, никому неведомых, даже отрицаемых другими вплоть до того дня, когда ему представлялся случай проявить их. Он извинился, письма мои он получил, о моем пребывании здесь он сообщил Вердюренам, которым очень хотелось видеть меня и к которым он мне советовал поехать. Он даже хотел увести меня к ним в тот же вечер, собираясь

идея сидеть в маленьком местный поезд, чтобы ехать к ним на обед. Так как задержка должна была быть еще довольно длительной и до поезда оставалось некоторое время, я, не решаясь согласиться, повел Котара в маленькое казино, — одно из тех, что показались мне такими грустными в вечер моего первого приезда, наполненное теперь шумливыми девушками, которые, за отсутствием кавалеров, танцевали друг с другом. Андре, скользя по паркету, пробиралась ко мне, через какую-нибудь минуту я вместе с Котаром собирался ехать к Вердюренам, как вдруг я окончательно отказался от его предложения, охваченный слишком страстным желанием — остаться с Альбертиной. Дело в том, что я слышал ее смех. И этот смех вызывал в памяти те румяные оттенки, те благоуханные грани, к которым он как будто только что прижимался и какие-то частицы которых, почти весомые, дразнящие и сокровенные, он словно приносил с собой, острый, чувственный и знаменательный, подобный запаху герани.

Одна из девушек, незнакомая мне, села за рояль, и Андре попросила Альбертину повальсировать с нею. Счастливым при мысли, что я останусь с этими девушками в маленьком казино, я обратил внимание Котара на то, как хорошо они танцуют. Но он, становясь на специально-медицинскую точку зрения и проявляя невоспитанность, которая не давала ему считаться с тем, что я знаком с этими девушками, хотя он должен был видеть, как я с ними здоровался, ответил: «Да, но до чего неосторожны родители, которые позволяют своим дочерям приобретать такие привычки. Моим я бы, конечно, не позволил бывать здесь. Хорошенькие они, по крайней мере? Я не различаю их лиц. Вот, смотрите, — прибавил он, указывая мне на Альбертину и Андре, которые медленно вальсировали, прижимаясь друг к другу, — я забыл свое пенсне и не вижу как следует, но они, наверно, на вершине блаженства. Мало кому известно, что женщины познают его главным образом грудью. А посмотрите-ка, их груди вплотную соприкасаются одна с другой». Действительно, груди Андре и Альбертины все время соприкасались. Не знаю, слышали ли они или угадали замечание Котара, но они незаметно отделились одна от другой, хотя и продолжали вальсировать. Андре в эту минуту что-то сказала Альбертине, и та засмеялась тем же самым волнующим глубоким смехом, который я только что слышал. Но волнение, которое он мне принес, было для меня чем-то жестоким; этим смехом Альбертина как будто давала заметить Андре, как будто открывала ей некий сладострастный и тайный трепет. Он звучал словно первые или последние аккорды неведомого праздника. Я вышел вместе с Котаром, рассеянно беседуя с ним, лишь мгновениями думая о сцене, только что виденной мной. Не потому, чтобы Котар был интересным собеседником. В эту минуту он даже стал раздражаться, потому что мы как раз увидели доктора дю Бульбона, который не заметил нас. Он приехал провести некоторое время по ту сторону Бальбекского залива, где к нему обращалось много больных. А Котар, хотя у него и была привычка заявлять, что во время каникул он не занимается практикой, все же надеялся создать себе на этом побережье избранный круг пациентов, чему как будто препятствовал дю Бульбон. Разумеется, местный бальбекский врач не мог мешать Котару. Это был всего-навсего весьма добросовестный врач, который все знал и которому даже про самый маленький зуд нельзя было рассказать, чтобы он тотчас же не назвал вам сложную формулу состава той мази или примочки, которые были нужны. Как на своем милом языке говорила Мари Жиэст, он умел «гасить» раны и язвы. Но он не был знаменит. Правда, Котару он доставил неприятность. С тех пор как Котар решил сменить свою кафедру на кафедру терапии, все специальности стали интоксикации. Интоксикации — опасное новшество в медицине, ведущее к обновлению ярлыков аптекарей, все изделия которых, в противовес другим подобным же снадобьям, объявляются отнюдь не ядовитыми и будто бы даже помогают против интоксикаций. Это — модная реклама; разве только где-нибудь остается, словно след предыдущей моды, неразборчивая надпись, уверяющая, что товар был тщательно обеззаражен. Интоксикации, кроме того, помогают успокаивать больного, который с радостью узнает, что его паралич — всего лишь недомогание, вызванное самоотравлением организма. Но вот великий князь, у которого, когда он на несколько дней приехал в Бальбек, страшно распух глаз, пригласил Котара, который, получив несколько стофранковых билетов (за меньшую плату профессор не стал бы утруждать себя), признал причиной воспаления интоксикацию и прописал соответствующий режим. Так как распухшему глазу не становилось лучше, великий князь прибег к обыкновенному бальбекскому врачу, который через пять минут извлек из глаза соринку. На другой день ничего уже не было заметно. Соперником более опасным, однако, была одна знаменитость по нервным болезням. Это был человек краснощекий и веселый, — не только потому, что общение с нервными больными не мешало ему самому пользоваться превосходным здоровьем, но и потому, что пациентов должен был успокаивать при встрече и расставании его громкий смех, в то время как он сам был готов помочь впоследствии своими же руками — руками атлета — надеть на них горячую рубашку. При всем том, когда с ним в обществе заговаривали о чем-либо, — будь то политика или же литература, — он слушал вас с внимательной благожелательностью, с таким видом, словно хотел сказать: «В чем же дело?», не высказывая сразу же своего мнения, как если бы он был приглашен на консультацию. Но в конце концов, каким бы талантом он ни обладал, он был специалист. Вот почему вся ярость Котара направлена была на дю Бульбона. Впрочем, собираясь уже возвращаться домой, я вскоре же расстался с профессором, другом Вердюренов, пообещав ему навестить их.

Боль, которую мне причинили его слова, касавшиеся Альбертины и Андре, была глубока, но самые мучительные страдания я почувствовал не сразу, как это бывает при отравлениях, которые сказываются лишь через известный срок.

В тот вечер, когда лифтер ходил за Альбертиной, она не пришла — вопреки всем его уверениям. Разумеется, все очарование какой-либо особы реже является причиной любви, чем фраза в таком роде: «Нет, сегодня вечером я не свободна». На эту фразу мы не обращаем внимания, если мы с друзьями; весь вечер мы веселы, нас не занимает знакомый образ, тем временем он погружается в раствор, который и требуется для него; вернувшись домой, мы находим отпечаток, проявленный и совершенно четкий. Мы замечаем, что жизнь — уже больше не та жизнь, с которой накануне мы бы расстались из-за какого-нибудь пустяка, ибо, хотя мы по-прежнему не боимся смерти, все же мы больше не решаемся думать о разлуке.

Впрочем, начиная если и не с часа ночи (время, указанное лифтером), то с трех, я больше не страдал, как прежде, от того, что чувствовал, как все менее вероятным становится для меня ее приход. Уверенность в том, что Альбертина больше не придет, принесла мне полное спокойствие, освежила меня; эта ночь была просто-напросто одна из многих ночей, в которые я не виделся с нею, — вот мысль, служившая для меня исходной точкой. И вот мысль о том, что я увижу ее завтра или в какой-нибудь другой день, становилась сладостной, вырисовываясь над этой пустотой, с которой я примирился. Иногда в такие вечера, занятые ожиданием, тоскливая тревога бывает вызвана каким-нибудь лекарством, которое мы приняли. Страдающий, ложно истолковывая ее, думает, что томится из-за той, которая не приходит. В этом случае любовь, так же как некоторые нервные болезни, возникает оттого, что дано неправильное объяснение причины мучительного недомогания. Объяснение, которое не следует исправлять, по крайней мере поскольку дело идет о любви, — чувстве, которое (чем бы оно ни вызывалось) всегда обманчиво.

На другой день, когда Альбертина написала мне, что она только сейчас вернулась в Эпрвиль, а значит, не получила вовремя моей записки и, если я позволю, навестит меня вечером, — за словами ее письма, как за словами, которые она мне однажды сказала по

Иногда я словно почувствовал присутствие существ и наслаждений, которые она мне предочла. Меня еще раз всецело всколыхнуло мучительное любопытство — узнать, что она могла делать, скрытое любовное чувство, которое мы всегда носим в себе, — на мгновение я мог подумать, что оно привяжет меня к Альбертине, но оно удовольствовало тем, что затрепетало и тут же успокоилось, и его последние отзвуки заглохли прежде, чем оно успело прийти в движение.

Во время моего первого пребывания в Бальбеке я, — может быть, так же как и Андре, — плохо понял характер Альбертины. Я думал, что это — легкомыслие, и не знал, смогут ли все наши мольбы удержать ее и заставить отказаться от какой-нибудь garden-party, поездки на ослух, от пикника. Во время моего второго пребывания в Бальбеке я стал подозревать, что это легкомыслие — всего только видимость, а garden-party — только предлог, если не вымысел. В разных формах происходило следующее (я говорю о том, что было видно мне сквозь стекло отнюдь не прозрачное, причем сам я не мог знать, что в действительности находится по другую его сторону). Альбертина страстно уверяла меня в своей нежной любви ко мне. Потом она глядела на часы, потому что ей надо было сделать визит одной даме в Энфревиле, которая принимала будто бы каждый день в пять часов. Мучимый подозрением и к тому же плохо чувствуя себя, я просил, я умолял Альбертину остаться со мной. Это было невозможно (и даже в ее распоряжении оставалось всего пять минут), потому что это рассердило бы даму, малогостеприимную, обидчивую и, по словам Альбертины, убийственно скучную. «Но ведь можно же и не делать визита». — «Нет, моя тетя учила меня, что прежде всего надо быть вежливой». — «Но вы так часто бывали невежливы». — «Тут дело другое, эта дама рассердилась бы на меня, и у меня из-за нее пойдут истории с моей теткой. А я уж с нею не в таких хороших отношениях. Ей важно, чтобы я один раз навестила ее». — «Но раз она принимает каждый день». Тут Альбертина, чувствуя, что она запуталась, указывала другую причину. «Разумеется, она принимает каждый день. Но сегодня я условилась встретиться там с приятельницами. Так будет менее скучно». — «Так, значит, Альбертина, эту даму и ваших приятельниц вы предпочитаете мне, раз вы предпочитаете оставить меня одного, больного и несчастного, лишь бы визит не оказался скучным?» — «Мне-то все равно, что визит будет скучный. Но это — ради них. Я привезу их домой в моей двуколке. Иначе у них не будет никакой возможности вернуться». Я заметил Альбертине, что из Энфревиля есть поездка до десяти часов вечера. «Это верно, но, знаете, возможно, что нас попросят остаться обедать. Она очень гостеприимна». — «Ну, так вы откажетесь». — «Я опять-таки рассержу тетку». — «Впрочем, вы можете пообедать и вернуться на десятичасовом поезде». — «Это, пожалуй, так». — «Ведь иначе нельзя было бы пообедать в городе и вернуться поездом. Но послушайте-ка, Альбертина. Мы сделаем одну очень простую вещь, я чувствую, что на воздухе мне будет лучше; раз вам нельзя сердить эту даму, я провожу вас до Энфревиля. Не бойтесь, я не дойду до башни Елизаветы (вилла этой дамы), я не увижу ни вашей дамы, ни ваших приятельниц». Альбертина была как будто страшно поражена. Голос у нее прервался. Она сказала, что морские купанья не идут ей на пользу. «Вам, может быть, неприятно, что я вас провожу?» — «Да как вы можете это говорить, вы ведь знаете, гулять с вами для меня самое большое удовольствие». Произошел резкий поворот. «Раз уж мы будем с вами гулять, — сказала она мне, — отчего бы нам не пойти в другую сторону? Мы бы вместе пообедали. Было бы так мило. В сущности, по ту сторону Бальбека гораздо красивее. Мне уже начинает надоедать Энфревил, да и все прочее, все эти уголки, зеленые, как шпинат». — «Но приятельница вашей тетки рассердится, если вы ее не навестите». — «Ну, так она перестанет сердиться». — «Нет, не надо сердить людей». — «Но она даже и не обратит внимания, она принимает каждый день; попаду ли я к ней завтра, послезавтра, через неделю, через две, все равно — все устроится». — «А ваши подруги?» — «О! Они так часто подводили меня. Теперь очередь за мной». — «Но там, куда вы меня зовете, после девяти часов вечера уже нет поезда». — «Ну так что ж, девять часов — это превосходно. И потом никогда не нужно задумываться — как вернуться домой. Всегда найдется тележка или велосипед, на крайний случай есть собственные ноги». — «Найти что-нибудь, Альбертина, можно всегда — какая у вас прыть! По направлению к Энфревилю, где маленькие деревянные платформы — одна возле другой, — там можно. Но по направлению к... — это дело другое». — «Даже и в этом направлении. Обещаю, что доставлю вас целым и невредимым». Я чувствовал, что ради меня Альбертина отказывается от чего-то уже подготовленного, о чем она не хотела мне говорить, и что кто-то будет чувствовать себя таким же несчастным, каким чувствовал себя я. Увидев, что то, чего ей хотелось, невозможно — раз я буду сопровождать ее, она совершенно отказалась от своего намерения. Она знала, что это не будет непоправимо. Ибо, как у всех женщин, в жизни которых совмещаются разные вещи, у нее была точка опоры, никогда не ослабевающая: сомнение и ревность. Конечно, она не старалась вызывать их, — напротив. Но влюбленные так подозрительны, что им повсюду чудится ложь. Таким образом, Альбертина была не хуже других и знала по опыту, что всегда с уверенностью сможет вернуться к людям, которых она бросила в тот или иной вечер (вовсе не догадываясь, что этим она обязана ревности). То неизвестное лицо, которое она бросает ради меня, будет страдать, от этого еще больше полюбит ее (Альбертина не знала, что именно в этом — причина) и, чтобы больше не страдать, само вернется к ней, как это сделал бы и я. Но я не хотел ни огорчать, ни утомляться, ни становиться на страшный путь розысков, многообразного бесконечного надзора. «Нет, Альбертина, я не желаю портить вам удовольствие, отправляйтесь к вашей даме в Энфревил или хотя бы к тому человеку, который скрывается за этим псевдонимом, — мне это все равно. Настоящая причина, по которой я с вами не пойду, та, что вам этого не хочется, что прогулка, которую вы совершили бы со мной, не та, которую вам хотелось совершить, — доказательство: вы раз пять, даже больше, противоречили себе, сами того не замечая». Бедная Альбертина испугалась, что ее противоречия, которых она не заметила, были более серьезны. Она как следует не помнила той лжи, которую наговорила. «Вполне возможно, что я противоречила себе. Я совсем не соображаю от морского воздуха. Я все время путаю имена». И вот (это доказало мне, что теперь ей даже и не было бы надобности в долгих и нежных уверениях, чтобы я поверил ей) я вновь почувствовал боль, как бы от раны, когда услышал признание в том, что я только смутно предполагал. «Ну так вот, решено, я уйду, — трагическим тоном сказала она, не удержавшись от того, чтобы посмотреть на часы, — не опоздала ли она в другое место, поскольку теперь я давал ей повод не проводить вечер со мной. — Вы слишком злой. Я все меняю, чтобы провести с вами славный вечерок, а теперь вы не хотите и еще обвиняете меня во лжи. Вы никогда не бывали со мной таким жестоким. Море будет моей могилой. Я никогда больше не увижу вас. (Сердце мое забилося при этих словах, хоть я и был уверен, что она вернется завтра же, как и оказалось.) Я утоплюсь, я брошусь в воду». — «Как Сафо». — «Еще новое оскорбление: вы сомневаетесь не только в том, что я говорю, но и в том, что я делаю». — «Да нет, моя милая, я сказал это без всякого умысла, клянусь вам, вы же знаете, что Сафо бросилась в море». — «Нет, нет, у вас нет никакого доверия ко мне». Взглянув на часы, она увидела, что уже — без двадцати; она побоялась пропустить то, что ей предстояло, и, выбрав самый короткий способ попрощаться (в чем она, впрочем, извинилась, когда на другой день пришла навещать меня, — по-видимому, то, другое лицо не было свободно в этот день), унеслась бегом, крикнув: «Прощайте навсегда» — тоном отчаяния. И может быть она в самом деле была в отчаянии. Ибо, лучше меня зная, что она делает в эту минуту, она, более строгая и вместе с тем более снисходительная к себе, чем я по отношению к ней, все-таки сомневалась — захочу ли я принимать ее после того, как она рассталась со мной. И мне кажется, что она мной дорожила, — настолько, что то, другое лицо ревновало еще больше, чем я.

Несколько дней спустя, когда мы находились в танцевальном зале бальбекского казино, вдруг вошли сестра и кузина Блока, которые

теперь обе стали очень хорошенькие, но которым из-за моих приятельниц я больше не кланялся, ибо младшая — кузина — жила, как это всем было известно, с актрисой, с которой она познакомилась еще в первый мой приезд. Андре, услышав какой-то намек на это, сделанный вполголоса, сказала мне: «О! К этим вещам я отношусь так же, как Альбертина, — нам обоим ничто так не противно, как это». Что же касается Альбертины, то, сидя рядом со мной на диванчике и разговаривая со мной, она повернулась спиной к этим двум девушкам неприличного поведения. И все же я заметил, что еще до того, как она переменяла позу, в тот момент, когда появились мадмуазель Блок и ее кузина, в глазах моей приятельницы возникла та резкая и глубокая сосредоточенность, которая лицу резвой девушки придавала серьезное, даже значительное выражение и сменялась у нее грустью. Но Альбертина тотчас же обратила ко мне свой взгляд, все же какой-то странно неподвижный и задумчивый. Когда мадмуазель Блок и ее кузина, которые очень громко смеялись и испускали малоприличные крики, наконец ушли, я спросил Альбертину, не есть ли маленькая блондинка (подруга актрисы) та самая, которая вчера получила приз на цветочном корсо. «Ах! Я не знаю, — сказала Альбертина, — разве одна из них блондинка? Должна вам сказать, что они меня особенно не интересуют, я никогда не разглядывала их. Разве одна из них блондинка?» — обратилась она тоном вопросительным и небрежным к трем своим подругам. Так как дело шло о лицах, которых Альбертина каждый день встречала на дамбе, то это неведение показалось мне чем-то преувеличенным, если даже не притворным. «Они как будто тоже не особенно разглядывают нас», — сказала я Альбертине, может быть строя гипотезу, впрочем не вполне ясно продуманную мной, что в том случае, если Альбертина любит женщин, я избавлю ее от всяких сожалений, показав ей, что она не привлекла их внимания и что вообще не принято, даже у самых испорченных, интересоваться девушками, которых они не знают. — «Они нас не разглядывали? — необдуманно ответила мне Альбертина. — Они все время только этим и занимаются». — «Но вы же не можете это знать, — сказал я ей, — вы сидели к ним спиной». — «Ну, а это?» — ответила она мне, показывая на вделанное в стену, против нас, большое зеркало, которого я не заметил и с которого, как я это понял теперь, моя приятельница, разговаривая со мной, все время не сводила своих красивых глаз, полных беспокойства.

С того дня, когда Котар вошел со мной в маленькое энкарвильское казино, Альбертина уже не казалась той, что прежде, хотя я и не разделял мнение, высказанное Котаром; вид ее вызывал во мне гнев. Я сам изменился в той мере, в какой она казалась мне иной. Я больше уже не желал ей добра; в присутствии ее, также и в отсутствии, если только мои слова могли быть переданы ей, я говорил о ней самые обидные вещи. Впрочем, бывали и передышки. Однажды я узнал, что Альбертина и Андре приняли приглашение от Эльстира... Я не сомневался в том, что приглашение они приняли в надежде на то, что по пути домой им, словно каким-нибудь воспитанницам из пансиона, удастся позабавиться, передразнивая девушек неприличного поведения, и испытать, не признаваясь в этом, наслаждение своей девственностью, при мысли о котором сердце у меня сжималось; я, без предупреждения, лишь бы смутить Альбертину и лишиться ее удовольствия, на которое она рассчитывала, неожиданно пришел к Эльстиру. Но там я встретил только Андре. Альбертина выбрала другой день, в который там должна была быть ее тетка. Тут я сказал себе, что, должно быть, Котар ошибся; благоприятное впечатление, которое произвело на меня присутствие Андре без ее подруги, еще сохранялось и настраивало меня на более мягкий лад по отношению к Альбертине. Но это продолжалось не больше времени, чем периоды мимолетного улучшения, наступающие в состоянии тех слабых здоровьем людей, которые от какого-нибудь вируса снова становятся больными. Альбертина вызывала Андре на игры, которые, хотя, может быть, и не заходили особенно далеко, все же были не совсем невинны; страдая от этого подозрения, я в конце концов прогонял его. Едва я избавлялся от него, как оно возрождалось в другой форме. Вот я видел, как Андре с той грациозностью, что была ей присуща, ласкаясь кладет голову на плечо Альбертины, целует ее в шею, полузакрыв глаза; или они обменивались быстрым взглядом; или кому-нибудь случалось обронить слово о том, что он видел их, когда они вдвоем шли купаться, — всё мелочи, которыми обычно полна окружающая нас атмосфера и которые в течение целого дня воспринимаются большинством людей, не принося вреда их здоровью и не влияя на их настроение, но становятся источником боли и новых страданий для человека предрасположенного. Порою я, даже и не видя Альбертины, даже ничего не слыша о ней, вдруг вспоминал какую-нибудь позу, в которой Альбертина сидела подле Жизели и которая показалась мне в то время невинной: теперь ее было достаточно, чтобы уничтожить спокойствие, которое мне вновь удалось обрести, — мне даже не нужно было дышать отравленным воздухом, я, как сказал бы Котар, сам вводил в себя яд. Тогда мне приходило на ум все, что я знал о любви Свана и Одетты, о том, как Сван всю жизнь бывал обманут. В сущности, если вдуматься, то гипотеза, позволившая мне мало-помалу создать себе представление о характере Альбертины в его целом и мучительно истолковывать каждый момент в жизни, которую я не мог проверить полностью, была воспоминанием, навязчивой мыслью о характере г-жи Сван, каким мне его описывали. Рассказы о нем способствовали тому, что впоследствии моя фантазия строила предположение, будто Альбертина, вовсе не будучи хорошей девушкой, может обладать такой же безнравственностью, таким же свойством обманывать, как старая развратница, и я начинал думать обо всех тех страданиях, которые ждали бы меня в том случае, если бы я когда-нибудь должен был полюбить ее. Однажды, стоя перед Гранд-отелем, на моле, где все мы были вместе, я обратился к Альбертине с самыми жестокими и самыми обидными словами, и Роземонда сказала: «Ах! Как вы все-таки переменялись к ней, раньше всё было для нее, она была всё, а теперь уже ни на что и не годится». Чтобы еще резче подчеркнуть мое отношение к Альбертине, я собирался наговорить всевозможных любезностей по адресу Андре, которая, если и была подвержена тому же пороку, все же, как мне казалось, более заслуживала снисхождения, ибо она была болезненна и страдала неврастенией, как вдруг на перпендикулярной к молу улице, на углу которой мы стояли, появилась коляска г-жи де Камбремер, запряженная двумя лошадьми, которые бежали мелкой рысцой. Председатель суда, который в эту минуту направлялся к нам, мгновенно, едва только разглядел эту коляску, отскочил назад, чтобы его не увидели вместе с нами; затем, когда, как ему показалось, взгляды маркизы могли бы встретиться с его взглядами, он очень низко поклонился ей. Но коляска, вместо того чтобы продолжать свой путь, как это казалось наиболее естественным, по Морской улице, скрылась во дворе гостиницы. Наверно, после этого прошло минут десять, когда лифтер, совершенно запыхавшись, пришел сообщить мне: «Это маркиза де Камамбер приехала сюда, чтоб повидать мосье. Я подымался вверх, искал в читальной, я нигде не мог найти мосье. К счастью, мне пришлось в голову посмотреть на пляже». Он едва кончил свое повествование, как уже, в сопровождении невестки и весьма церемонного господина, ко мне приблизилась маркиза, приехавшая, очевидно, с какого-нибудь утреннего раута или чаепития где-либо по соседству и совершенно сгорбившаяся под бременем не столько старости, сколько целого множества предметов роскоши, которыми она была обвешана, ибо считала, что более любезно и более достойно ее положения — казаться как можно более «одетой» в глазах людей, с которыми ей только что пришлось видеться. В сущности именно этого «десанта» Камбремеров в гостинице так боялась когда-то моя бабушка, желавшая оставить Легорандена в неведении о том, что мы, быть может, поедем в Бальбек. Мама тогда смеялась над этими опасениями, внушаемыми событием, которое она считала невозможным. И вот наконец оно все-таки произошло, но иным путем и без всякого участия Легорандена. «Можно ли мне остаться, если я вам не помешаю, — попросила меня Альбертина (в глазах которой оставались еще слезы, вызванные теми жестокими словами, которые я ей наговорил, и не без радости замеченные мной, хоть я и притворился, что не вижу их), — мне надо было бы сказать вам кое-что». Шляпа с перьями, увенчанная еще булавкой с сапфиром, небрежно была надета на парик г-жи де Камбремер, точно знак отличия, предъявление которого необходимо, но и достаточно, место —

безразлично, изящество — условно, и который не обязательно должен быть неподвижно укреплен. Несмотря на жару, почтенная женщина надела черную накидку, напоминавшую далматику, а поверх ее свисала горностаевая эпитрахиль, ношение которой, как казалось, было связано не с температурой и временем года, а с характером самой церемонии. А на груди г-жи де Камбремер золотой кружок, усаженный жемчугами, символ баронства, — висел, прикрепленный к цепочке, точно нагрудный крест. Господин был знаменитый парижский адвокат, дворянского рода, приехавший на три дня в гости к Камбремерам. Это был один из тех людей, которых самая полнота их профессионального опыта заставляет презирать свою профессию и которые, например, говорят: «Я знаю, что хорошо умею защищать, зато мне и неинтересно защищать», или: «Мне больше неинтересно оперировать; я знаю, что оперирую хорошо». Люди умные, артистические, они видят, как их зрелость, щедро обогащаемая успехом, озаряется тем «умом», той «артистичностью», которую за ними признают и их собратья и которая наделяет их чем-то вроде вкуса и разборчивости. Они загораются страстью к живописи не великого художника, но все же художника весьма выдающегося, и на покупку его произведений употребляют немалые доходы, которые приносит им их деятельность. Ле Сиданер был тем художником, которого избрал друг Камбремеров, человек, впрочем, весьма приятный. Он хорошо говорил о книгах, — правда, не о книгах истинных мастеров, а тех авторов, которые мастерски овладели своим пером. Единственно досадный недостаток, который был у этого любителя искусства, состоял в том, что он постоянно пользовался некоторыми совершенно застывшими словосочетаниями, например «в своем большинстве», что придавало всему тому, о чем он собирался говорить, характер чего-то значительного и неполного. По словам г-жи де Камбремер, она воспользовалась поездкой к друзьям, жившим вблизи Бальбека и созвавшим гостей сегодня днем, чтобы затем навестить меня, как она обещала Роберу де Сен-Лу. «Вы знаете, он вскоре должен провести несколько дней в этих краях. Его дядя Шарлюс отдыхает сейчас у своей кухни, герцогини Люксембургской, и господин де Сен-Лу воспользуется случаем повидаться с теткой и заодно заехать в свой прежний полк, где его очень любят, очень ценят. У нас часто бывают офицеры, которые все говорят о нем с бесконечными похвалами. Как это было бы мило, если бы вы доставили нам это удовольствие и приехали к нам в Фетерн». Я представил ей Альбертину и ее подруг. Г-жа де Камбремер назвала наши имена своей невестке. Та, хранившая ледяную холодность с мелкими дворянчиками, с которыми она, как с соседями, должна была общаться, такая сдержанная — из опасения уронить себя, — мне, напротив, с лучезарной улыбкой протянула руку, успокоенная и обрадованная присутствием друга Робера де Сен-Лу, которого последний, обладая большей долей светского лукавства, чем он давал это заметить, изобразил ей весьма близким другом Германтов. В противоположность своей свекрови, г-жа де Камбремер располагала двумя разными формами вежливости. Если бы я был знаком с ней через ее брата Леграндена, то мне на долю в лучшем случае выпала бы первая из них, сухая, невыносимая. Но для друга Германтов ей просто не хватало улыбок. В гостинице помещением, наиболее удобным для приема гостей, была читальня, — это место, некогда столь страшное, куда теперь я входил по десять раз в день и откуда свободно выходил, чувствуя себя хозяином, подобно тем не очень опасным сумасшедшим, которые так давно находятся в лечебном заведении, что врач доверил им ключ от здания. И вот я предложил г-же де Камбремер пройти в читальню. А так как это место уже не представляло для меня никакой прелести, ибо лица вещей меняются для нас так же, как и человеческие лица, то предложение это я сделал, несколько не волнуясь. Но она отвергла его, предпочитая остаться на свежем воздухе, и мы туг же и уселись на террасе гостиницы. Здесь я нашел и подобрал томик г-жи де Севинье, который мама не успела взять с собой, стремительно спасаясь бегством, когда узнала, что ко мне приехали гости. Она так же, как и бабушка, боялась вторжения посторонних людей и из страха, что не сможет ускользнуть, если даст неприятелю окружить себя, она убежала с такой поспешностью, по поводу которой и мой отец и я всегда шутили. Г-жа де Камбремер в той же самой руке, которой она сжимала ручку зонтика, держала несколько вышитых мешочков, маленькую корзиночку, отделанный золотом кошелек с узорчатыми шнурами и кружевной носовой платок. Мне казалось, что ей удобнее было бы положить эти вещи на стул, но я чувствовал, что неприлично и бесполезно было бы просить ее расстаться с этими украшениями ее пастырской поездки и ее светского священнодействия. Мы смотрели на море, над которым плавно носились разбросанные чайки, словно белые венчики. Опустившись до того обыкновенного «среднего уровня», к которому приводит нас светский разговор, а также и наше желание понравиться, — но не с помощью наших достоинств, неизвестных нам самим, а с помощью того, что, как нам кажется, должны ценить наши собеседники, — я невольно заговорил с г-жой де Камбремер, урожденной Легранден, так, как это мог бы сделать ее брат. «Они, — сказал я, говоря о чайках, — неподвижны и белы, как кувшинки». И в самом деле они казались неподвижными точками, к которым и устремлялись маленькие волны, качавшие их, — так что волны эти, по контрасту, словно оживали, одушевленные каким-то намерением. Маркиза-вдова не уставала восхвалять великолепный вид на море, который у нас был в Бальбеке, и завидовала мне, — она, которая из Ла-Распельер (где, впрочем, она не жила в этом году) видела волны только издали. Она имела две своеобразные привычки, связанные с ее восторженной любовью к искусствам (особенно к музыке) и вместе с тем — с недостатком зубов. Всякий раз, когда она говорила на эстетические темы, ее слюнные железы, — как у некоторых животных в период течки, — начинали выделять слюну в таком изобилии, что в углах рта старой дамы, лишенной зубов, на губах, окруженных совсем маленькими усиками, появлялось несколько капель, которым здесь вовсе было не место. Она тотчас же снова проглатывала их — с глубоким вздохом, точно человек, переводящий дыхание. Если же речь шла о каких-нибудь чрезмерных музыкальных красотах, она в энтузиазме воздымала руки и изрекала какие-нибудь суммарные суждения, энергично прожеванные и в случае надобности приобретающие и носовой оттенок. Мне же никогда не приходило в голову, что с банального бальбекского пляжа в самом деле может открываться «вид на море», и простые слова г-жи де Камбремер меняли мои взгляды на этот счет. Зато, — и это я сказал ей, — я вечно слышал похвалы неподобающему виду, который открывается из Ла-Распельер, расположенной на вершине холма и где, в большой гостиной с двумя каминами, один ряд окон выходит на море, виднеющееся в конце сада, сквозь листву, и на Бальбек, а другой ряд окон — на долину. «Как вы любезны и как это хорошо сказано: море сквозь листву. Это прелестно, можно сказать... веер». И по глубокому вздоху, имевшему целью задержать слюну и осушить усы, я почувствовал, что комплимент был искренний. Но маркиза, урожденная Легранден, хранила холодность, чтобы выразить презрение, — правда, не к моим словам, но к словам своей свекрови. Впрочем, она не только презирала направление ее ума, но также сожалела о ее любезности, вечно боясь, что у других может сложиться недостаточно высокое мнение о Камбремерах. «И какое милое название, — сказал я. — Хотелось бы узнать происхождение всех этих названий». — «Что касается этого названия, то я могу вам сказать, — мягко ответила мне старая маркиза. — Это родовое поместье моей бабушки Арашпель, род этот не знаменитый, но хороший и очень древний провинциальный род». — «Как не знаменитый? — сухо прервала ее невестка. — В соборе в Байе целое окно занято изображением его герба, а в Авранше, в главной церкви, находятся гробницы нашего рода. Если вас забавляют эти старые названия, — прибавила она, — то вы опоздали на год. Мы добились перевода в приход Крикто, несмотря на все трудности, связанные с переменной епархии, одного старика-священника из местности, где лично у меня есть владения, — это очень далеко отсюда, — из Комбре, где добрый человек впадал в неврастение. К несчастью, морской воздух не пошел ему на пользу при его преклонном возрасте; его неврастения усилилась, и он вернулся в Комбре. Но он, пока был нашим соседом, развлекался тем, что наводил справки во всяких древних грамотах, и написал маленькую брошюру о местных названиях, довольно любопытную. Впрочем, теперь он вошел во вкус, говорят, что свои последние годы он посвящает писанию большого труда о Комбре и его окрестностях. Я пришлю вам его брошюру об окрестностях Фетерна. Это настоящий труд монаха-

дантина. Вы читаете в нем очень интересные вещи о нашей старой Распельер, о которой моя свекровь отзывается слишком уж сдержанно». — «Как бы то ни было, — ответила г-жа де Камбремер старшая, — в этом году Ла-Распельер уже не наша и мне не принадлежит. Но чувствуется, что вы по природе художник; вы должны были бы рисовать, а я так рада была бы показать вам Фетерн, который гораздо лучше, чем Ла-Распельер». Ибо с тех пор, как Камбремеры сдали это свое жилище Вердюренам, его возвышенное положение вдруг перестало казаться им тем, чем оно было для них столько лет, утратило свое исключительное в этих краях преимущество, состоявшее в том, что оттуда открывался вид и на море и на долину, но зато внезапно — и слишком поздно — представило то неудобство, что для того, чтобы приехать или уехать, все время нужно было подниматься или спускаться. Словом, можно было подумать, что если г-жа де Камбремер сдала свое имение, то не столько ради приумножения доходов, сколько ради отдыха для лошадей. И, по ее словам, она была в восторге, что в Фетерне море у нее все время так близко, — она, которая в течение столь долгого времени, забывая о тех Двух месяцах, что проводила там, видела море только сверху и как будто в панораме. «Я как бы открываю его в мои годы, — говорила она, — и как я наслаждаюсь им! Это так хорошо. Я за гроши сдала бы Распельер, лишь бы быть вынужденной жить в Фетерне».

— Вернемся к темам более интересным, — начала сестра Леграндена, которая говорила старой маркизе: «матушка», но с годами стала проявлять дерзость в обращении с нею, — вы говорили о кувшинках: я думаю, вам знакомы кувшинки, писанные Клодом Моне. Какой гений! Они интересуют меня тем более, что вблизи Комбре, того места, где, как я вам говорила, находятся мои владения... — Но она предпочла не слишком распространяться о Комбре. «Ах! Это, наверно, та самая серия, о которой нам рассказывал Эльстир, величайший из современных художников!» — воскликнула Альбертина, ничего не говорившая до сих пор. — «А! Видно, что мадмуазель любит искусство», — воскликнула г-жа де Камбремер, которая, глубоко вздохнув, поспешила проглотить слюну. — «С вашего позволения, сударыня, я предпочту ему Ле Сиданера, — сказал, улыбаясь с видом знатока, адвокат. А так как в прежние времена он одобрял, или видел, как другие одобряют некоторые «смелые новшества» Эльстира, то прибавил: — Эльстир был одарен, он даже почти что был в числе передовых, но не знаю, почему перестал двигаться вперед, погубил себя». Г-жа де Камбремер согласилась с адвокатом в том, что касалось Эльстира, но, к великому сожалению своего гостя, приравняла Моне к Ле Сиданеру. Нельзя сказать, чтоб она была глупа; ум ее, лившийся через край, был для меня, я это чувствовал, совершенно бесполезен. Солнце как раз садилось, чайки были теперь желтые, как кувшинки с другого полотна в той же самой серии Моне. Я сказал, что знаю эту серию, и (продолжая подражать языку брата, чье имя я еще не решался назвать) прибавил, что жаль, что ей не пришла мысль приехать вчера, ибо в этот же час она могла бы полюбоваться освещением в духе Пуссена. Если бы какой-нибудь нормандский дворянчик, незнакомый Германтам, сказал ей, что ей следовало бы приехать вчера, она бы, наверно, приняла гордый и оскорбленный вид. Но я мог бы быть еще гораздо более фамильярным, а она лишь продолжала бы оставаться воплощением кротости, ласковой и цветущей; в этот жаркий и ясный вечер я мог вволю распоряжаться тем огромным медовым пирогом, каким столь редко являлась г-жа де Камбремер и который заменил собой пти-фуры, по забывчивости не предложенные мною моим гостям. Но имя Пуссена, не повлияв на приветливость светской женщины, вызвало протесты со стороны любительницы искусства. Услышав это имя, она в шесть приемов, почти не отделенных один от другого никакими интервалами, проговорила, чуть-чуть пощелкивая языком, — а для ребенка, готового совершить глупость, это служит и знаком порицания и вместе с тем запрещением продолжать: «Бога ради, после такого художника, как Моне, который просто-напросто гений, не называйте мне бездарного шаблонного старика вроде Пуссена. Я вам так прямо и скажу, что считаю его убийственно-скучным. Что вы поделаете, ведь не могу же я называть это живописью. Моне, Дега, Мане — да, это художники. Очень любопытно, — прибавила она, устремляя испытующий и восхищенный взор в какую-то неопределенную точку пространства, где она видела свою собственную мысль, — очень любопытно, раньше я предпочитала Мане. Сейчас я по-прежнему восхищаюсь Мане, это само собой, но мне кажется, я ему, пожалуй, предпочитаю Моне. Ах! Эти соборы!» Она столь же добросовестно, сколь любезно, осведомляла меня об эволюции, проделанной ее вкусом. И чувствовалось, что стадии, через которые прошел этот вкус, не были, на ее взгляд, менее значительны, чем разные манеры самого Моне. Впрочем, для меня не было чего-либо лестного в том, что она признавалась мне в своих восторгах, ибо даже в обществе самой ограниченной провинциалки она и пяти минут не могла просидеть без того, чтобы не почувствовать потребности исповедаться в них. Когда какая-нибудь важная дама из Авранша, которая не была бы способна отличить Вагнера от Моцарта, говорила в присутствии г-жи де Камбремер: «За время нашего пребывания в Париже не было никаких интересных новинок, мы были один раз в Комической опере, давали «Пелеаса и Мелисанду», это ужасно», — г-жа де Камбремер не только вся кипела, но испытывала потребность воскликнуть: «Да наоборот, это маленький шедевр» и «поспорить». Быть может, то была привычка, приобретенная в Комбре от сестер моей бабушки, которые называли это: «сражаться за правое дело» и любили те обеды, когда, — как они это знали заранее, каждую неделю, — им выпадало на долю защищать своих богов от филистеров. Так и г-жа де Камбремер любила «погорячиться», вступая в споры об искусстве, как другие — в споры о политике. Она становилась на сторону Дебюсси, так же как стала бы на сторону какой-нибудь своей приятельницы, чье поведение вызвало бы нарекания. А ведь она должна была понять, что, говоря: «Да нет, это же маленький шедевр», она не могла у человека, которого ставила на свое место, создать экспромтом тот уровень художественной культуры, в результате которой они могли бы прийти к согласию, не имея уже надобности в спорах. «Надо мне будет спросить у Ле Сиданера, что он думает о Пуссене, — сказал мне адвокат. — Он скрытный, молчаливый человек, но я уж сумею допытаться».

— Впрочем, — продолжала г-жа де Камбремер, — я не выношу закатов, это романтика, опера. Вот почему я терпеть не могу дом моей свекрови с его южными растениями. Вы увидите, это похоже на парк в Монте-Карло. Вот почему мне больше нравится ваше побережье. Оно более печальное, более искреннее, тут есть маленькая дорожка, откуда моря не видать. В дождливые дни тут только слякоть — это целый мир. Тут то же самое, что с Венецией, я терпеть не могу Большой канал и не знаю ничего более трогательного, чем маленькие улицы. Впрочем, весь вопрос — в окружении. — «Но, — сказал я ей, чувствуя, что единственный способ реабилитировать Пуссена в глазах г-жи де Камбремер — это сообщить ей, что он снова вошел в моду, — господин Дега уверяет, что не знает ничего более прекрасного, чем вещи Пуссена в Шантильи». — «Что такое? Я не знаю тех, что в Шантильи, — сказала мне г-жа де Камбремер, не желавшая быть другого мнения, чем Дега, — но я могу говорить о луврских его вещах, которые ужасны». — «Он тоже чрезвычайно восхищается ими». — «Надо мне будет снова взглянуть на них. Все это не очень свежо в моей памяти», — ответила она после минутного молчания и так, как будто благоприятное суждение о Пуссене, которое ей в скором времени несомненно предстояло высказать, должно было зависеть не от новости, сообщенной мною, а от дополнительного испытания, которому она собиралась подвергнуть луврские картины Пуссена, дабы иметь возможность отказаться от своего мнения. Удовлетворившись тем, что являлось началом отречения, поскольку она если и не восхищалась еще вещами Пуссена, то уже откладывала дело до следующего разговора, я, не желая подвергать ее все той же пытке, сказал ее свекрови о том, как много мне рассказывали о замечательных цветах в Фетерне. Она скромно заговорила о маленьком садике, похожем на садик какого-нибудь кюре, за домом, куда она по утрам в капоте выходит прямо из комнат

— наркомить своих павлинов, взяты снесенные за ночь яйца и нарвать цинний и роз, которые на столе, окаймляя жареную рыбу или яйца в масле, напоминают ей его аллеи. «Это правда, у нас много роз, — сказала она, — розовые кусты у нас почти что слишком близко от самого дома, бывают дни, когда от них у меня делается головная боль. На террасе в Ла-Распельер, куда ветер приносит запах роз, но уже не такой одуряющий, это приятнее». Я обернулся к ее невестке. «Прямо как в «Пелеасе», — сказал я ей, чтобы польстить ее модернистическим вкусам, — этот запах роз, поднимающийся до террас. В самой партитуре этот аромат так силен, что я, страдая и *hay-fever* и *rose-fever*,^[2] всякий раз должен был чихать, когда слушал эту сцену».

— «Пелеас» — какой шедевр, — воскликнула г-жа де Камбремер, — я от него без ума, — и, приближаясь ко мне с жестами дикарки, которая пожелала бы кокетничать со мной, пуская в ход пальцы, чтобы отмечать воображаемые ноты, она стала напевать нечто такое, что для нее, насколько я мог предположить, должно было представлять прощание Пелеаса, и продолжала это занятие со страстным упорством, как будто большое значение было в том, что г-жа де Камбремер напомнит мне сейчас эту сцену или, вернее, покажет, что она ее помнит. «Мне кажется, — прибавила она, — что это еще прекраснее, чем «Парсифаль», потому что в «Парсифале» даже величайшие красоты несвободны от известной примеси мелодических, а значит — немощных фраз». — «Сударыня, — сказал я старой маркизе, — я знаю, что вы прекрасная пианистка. Мне очень бы хотелось послушать вас». Г-жа де Камбремер-Легранден смотрела на море, чтобы не принимать участия в беседе. Считая, что музыка не принадлежит к вещам, любимым свекровью, она смотрела на ее, признанный другими, талант, воображаемый по ее мнению, а в действительности — весьма замечательный, как на виртуозность, лишенную интереса. Правда, единственная оставшаяся еще в живых ученица Шопена справедливо утверждала, что манера игры учителя, его «чувство» передалось через ее посредство одной лишь г-же де Камбремер, но играть так, как Шопен, далеко не являлось достоинством в глазах сестры Леграндена, которая никого в мире не презирала так, как польского композитора. «О! Они улетают!» — воскликнула Альбертина, показывая мне на чаек, которые, теряя теперь сходство с цветами, делавшее их неузнаваемыми, все вместе поднимались к солнцу. «Их гигантские крылья мешают им ступать по земле», — сказала г-жа де Камбремер, пугая чаек с альбатросами. — «Я очень их люблю, я насмотрелась на них в Амстердаме, — сказала Альбертина. — Они пахнут морем, они даже в камнях мостовой чуют его запах». — «А! Вы были в Голландии, вы знакомы с Вермером?» — спросила г-жа де Камбремер, властно и таким тоном, каким она сказала бы: «Вы знакомы с Германтскими?», ибо снобизм, меняя свои объекты, не меняет тона. Альбертина ответила, что нет, — она думала, что это живой человек. Но это осталось незамеченным. «Я была бы очень рада поиграть вам, — сказала мне г-жа де Камбремер. — Но вы знаете, я играю лишь такие вещи, которые вашему поколению уже не интересны. Я воспитывалась в культе Шопена», — сказала она мне, понизив голос, так как боялась своей невестки и знала, что, поскольку та не считает музыкой произведения Шопена, играть его хорошо или плохо — выражения, лишенные смысла. Она лишь признавала, что у свекрови ее есть техника, что она хорошо исполняет быстрые пассажи. «Меня вовеки не заставят признать, что она музыкантша», — говорила в заключение г-жа де Камбремер-Легранден. Ибо она считала себя «передовой», и (только в области искусства) «ничто не было для нее достаточно левым», как она говорила, представляя себе, что музыка не только прогрессирует, но прогрессирует по одной линии и что Дебюсси в некотором роде является сверх-Вагнером, композитором еще несколько более передовым, чем Вагнер. Она не отдавала себе отчета в том, что если Дебюсси не был столь уж независим от Вагнера, чему сама она должна была поверить несколько лет спустя, — ибо мы все-таки всегда пользуемся завоеванным оружием, когда желаем окончательно освободиться от того, кого мы только что победили, — то все же, после пресыщения, которое публика начала испытывать от вещей, слишком полных содержания, вещей, где все выражено, он старался удовлетворить противоположную потребность. Само собой, целые теории сразу же приходили на помощь этой реакции, подобные тем, которые в политике служат опорой законам против союзов, восточным войнам (противоестественное воспитание, желтая опасность и т. д. и т. д.). Говорилось, что торопливой эпохе подобает быстрое искусство, совершенно так же, как если бы сказали, что будущая война не сможет продлиться больше двух недель или что по вине железных дорог будут заброшены глухие уголки, которые любезны дилижансам и которые, однако, благодаря автомобилю все-таки снова должны были войти в почет. Рекомендовалось не утомлять внимание слушателя, как будто мы не располагаем разными формами внимания, причем именно от художника зависит возможность пробудить наиболее благородные из них. Ибо те, кто зевают от усталости, прочтя десять строчек посредственной статьи, каждый год вновь совершают путешествие в Байрейт, чтобы послушать «Тетралогию». Впрочем, должен был наступить и такой день, когда на некоторое время Дебюсси объявили столь же слабым, как Масне, а партию Мелисанды с ее резкими переходами низвели до степени «Манон». Ведь теории и школы, подобно микробам и кровяным шарикам, пожирают друг друга и своей борьбой обеспечивают непрерывность жизни. Но тогда это время еще не наступило.

Подобно тому, как на бирже повышение фондов идет на пользу целому ряду ценных бумаг, так и некоторым авторам, раньше презираемым, была выгодна эта реакция, потому ли, что презрение было не заслужено или просто потому, что они были его жертвами, и таким образом, восхваляя их, можно было блистать новизной. И даже в отдаленном прошлом старались отыскать какой-нибудь независимый талант, на репутацию которого современное движение как будто не должно было влиять, но чье имя, как говорили, благосклонно называл тот или иной из новых мастеров. Часто это бывает потому, что мастер, кто бы он ни был, как бы своеобразна ни была его школа, в суждениях своих руководствуется подлинным чувством, отдает справедливость таланту всюду, где его находит, и даже не столько таланту, сколько прелести какого-нибудь порыва вдохновения, которым он некогда наслаждался, которое связывается с каким-нибудь любимым мгновением его юности. Иногда же — потому, что некоторые художники другой эпохи воплотили в какой-нибудь самой простой своей вещи нечто похожее на то, что новый мастер, как он постепенно отдал себе в этом отчет, сам хотел осуществить. Тогда он в этом старом мастере видит как бы предшественника: при всем различии формы ему дорого в нем хотя бы отчасти, хотя бы временно родственное усилие. В произведениях Пуссена многое напоминает Тернера, флюберовская фраза встречается у Монтескье. А иногда эти слухи о пристрастиях мастера бывали только плодом ошибки, неизвестно где возникшей и потом распространившейся среди учеников. Но имя, будучи названо, благоденствовало благодаря фирме, под покровительством которой оно вступало в свет как раз вовремя, ибо если в выборе самого мастера и возможна известная свобода и настоящий вкус, то последователи его руководствуются лишь теорией. И вот ум, двигаясь по привычной для него линии, представляющей ряд зигзагов, один раз отклоняясь в одну сторону, а следующий раз — в другую, противоположную, снова направил свет, падающий сверху, на целый ряд произведений, к числу которых потребность в справедливости или в обновлении, или же вкусы Дебюсси, или же его прихоть, или какое-нибудь суждение, может быть даже и не высказанное им, заставили прибавить вещи Шопена. Восхваляемые судьями, возбуждавшими полное доверие, они, которым на пользу шло восхищение, вызываемое «Пелеасом», обрели теперь новый блеск, и даже те, кто больше не слушал их, так стремились полюбить их, что делали это вопреки себе, хотя и с иллюзией свободы. Но г-жа де Камбремер-Легранден часть года оставалась в провинции. Даже и в Париже она, по нездоровью, много времени проводила в своей комнате. Правда, вытекавшее из этого неудобство могло дать себя почувствовать главным образом в выборе выражений, которые г-жа де Камбремер, считала модными и которые скорее годились бы

для речи письменной, — оттенок, которого она не различала, так как она заимствовала их больше из книг, чем из разговора. Последний так же необходим для знания взглядов, как и для знания новых выражений. Однако воскрешение «ноктюрнов» еще не было оглашено критикой. Эта новость стала известной лишь благодаря разговорам в среде «молодых». Она оставалась неизвестной г-же де Камбремер-Легранден. Я доставил себе удовольствие сообщить ей, но обращаясь для этого к ее свекрови, — подобно тому, как на бильярде мы, целясь в шар противника, играем от борта, — что Шопен, отнюдь не выведенный из моды, является любимым композитором Дебюсси. «Вот как, это забавно», — с хитрой улыбкой сказала мне маркиза-невестка, как будто это был всего лишь парадокс, брошенный автором «Пелеаса». Тем не менее теперь было вполне очевидно, что отныне она будет слушать Шопена не иначе, как с почтением и даже с удовольствием. Недаром после моих слов, возвестивших старой маркизе час освобождения, ее лицо приняло выражение благодарности, относившейся ко мне, и главным образом радости. Глаза ее заблестели, как глаза Латюда в пьесе под заглавием «Латюд, или Тридцать лет тюрьмы», и грудь ее стала впивать морской воздух с той свободой дыхания, которая так прекрасно показана у Бетховена в «Фиделио», когда его узники могут наконец вдохнуть этот «живительный воздух». Что же касается старой маркизы, то я подумал, что ее губы, обрамленные усиками, коснутся моей щеки. «Как? Вы любите Шопена? Он любит Шопена, он любит Шопена!» — гнусава, но со всею пылкостью воскликнула она; она также могла бы сказать: «Как? Вы знакомы и с госпожой де Франкто?» — с той разницей, что мои отношения с г-жой де Франкто были ей глубоко безразличны, тогда как мое знакомство с музыкой Шопена привело ее в своего рода артистический экстаз. Чрезмерного выделения слюны было уже недостаточно. Даже не попытавшись понять роли Дебюсси в восстановлении Шопена, она только почувствовала, что мое суждение было достаточно. Музыкальный энтузиазм овладел ею. «Элоди! Элоди! Он любит Шопена! — грудь ее подымалась, и маркиза размахивала руками. — Ах! Я ведь чувствовала, что вы музыкант, — восклицала она. — Я понимаю, что вы, такой артист, любите это. Это так прекрасно!» И в голосе ее была такая каменность, как будто, для того чтобы выразить свое восхищение Шопеном, она, подражая Демосфену, набрала полный рот камешков, которые покрывали пляж. Наконец настал момент прилива, распространившего свое действие даже и на вуалетку, которую она не успела отдернуть и которая поэтому промокла; наконец маркиза вышитым носовым платком вытерла слюну, брызгами которой ее усики оросились только благодаря мысли о Шопене.

— Боже мой, — сказала мне г-жа де Камбремер-Легранден, — мне кажется, моя свекровь запаздывает, она забыла, что у нас обедает мой дядя де Шнувиль. Да и Канкан не любит ждать. — Канкан — это для меня осталось непонятным, и я подумал, что речь идет, пожалуй, о собаке. Но что касается кузенов де Шнувиль, то дело было вот в чем. С годами у молодой маркизы притупилось то удовольствие, с которым она на этот лад, то есть глотая первый слог, произносила их имя. А между тем именно ради этого удовольствия она и вышла замуж. В других светских кругах, когда речь шла о Шенувильях, была привычка (по крайней мере в тех случаях, когда частице «де» предшествовало слово, оканчивающееся на гласный звук, ибо иначе пришлось бы опираться на слог «де», поскольку язык отказывается произносить: «Мадам д'Шнонсо») — жертвовать немой «е» именно в частице. Говорили: «Господин д'Шенувиль». У Камбремеров была обратная, но столь же властная традиция. В фамилии «Шенувиль» во всех случаях опускалось немое «е». Независимо от того, предшествовали ли фамилии слова «мой кузен» или «моя кузина», всегда говорилось: «де Шнувиль» и никогда «де Шенувиль». (Что касается отца этих Шенувилей, то его называли «notre oncle», ибо в Фетерне не дошли еще до такой изощренности, чтобы говорить «notre onk», как сказали бы Германты, нарочитая тарабарщина которых, заставлявшая их опускать согласные, придавать французский характер иностранным именам, была столь же трудна для понимания, как старофранцузский язык или какой-нибудь современный диалект.) В этом отношении всякое лицо, соприкасавшееся с семьей Камбремеров, получало предупреждение насчет Шенувилей, в котором мадмуазель Легранден-Камбремер в свое время не нуждалась. Однажды в гостях, услышав, как какая-то девушка говорит: «моя тетка д'Юзес», «мой дядя де Руан», она не сразу узнала знаменитые имена, которые привыкла произносить: «Юзес» и «Роан», она испытала удивление, неловкость и стыд, словно человек, увидавший перед собой на обеденном столе недавно изобретенный инструмент для еды, которым он еще не умеет пользоваться и который не решается пустить в ход. Но всю ночь, последовавшую за этим, и весь следующий день она в восторге повторяла «моя тетка Юзес», — с пропуском конечного «с», пропуском, который поразил ее накануне, но не зная о котором, как ей теперь казалось, было столь неприлично, что одной своей приятельнице, заговорившей с ней о каком-то бюсте герцогини д'Юзес, она ответила сердитым и высокомерным тоном: «Вы могли бы хоть произносить как следует: госпожа д'Юзес». С той поры она поняла, что в силу превращений, переживаемых субстанциями, которые состоят из элементов все более и более летучих, ее значительное и в свое время столь почтенным образом приобретенное богатство, которое она унаследовала от отца, безупречное образование, полученное ею, усердие, с которым она посещала Сорбонну — как лекции Каро, так и лекции Брюнетьера, а также концерты Ламуре, — все это, испаряясь и переходя в иные формы, должно когда-нибудь найти свое завершение в удовольствии говорить: «моя тетка д'Юзес». Это не исключало в ее представлении того, что она, по крайней мере в первое время после брака, будет поддерживать знакомство если не с теми приятельницами, которых она любила и которыми готова была пожертвовать, то с другими, которых она не любила и которым она хотела бы говорить (ведь ради этого она и вышла замуж): «Я представляю вас моей тетке д'Юзес», а когда она увидела, что такое родство вызывает слишком большие трудности: «Я представляю вас моей тетке де Шнувиль» и «Вы будете обедать у меня вместе с супругами Юзес». Брак с г-ном де Камбремером дал г-же де Легранден возможность произносить первую из этих фраз, но отнюдь не вторую, ибо круг, в котором вращались родители ее мужа, был не тот, который она представляла себе и о котором она продолжала мечтать. И вот, после того как она сказала мне про Сен-Лу (пользуясь для этого выражением Робера, ибо если я, беседуя с нею, применял выражения Легранден, то она, в силу какого-то противоположного внушения, отвечала мне на языке Робера, который — она этого не знала — он заимствовал от Рашели), прижав большой палец к указательному и полузакрыв глаза, как будто она рассматривала нечто безмерно тонкое, оказавшееся наконец достижимым для нее: «У него приятное свойство ума», — она стала восхвалять его с таким пылом, что можно было подумать, будто она влюблена в него (впрочем, утверждали, что прежде, находясь в Донсьере, Робер и был ее любовником), на самом же деле для того, чтобы я пересказал ему это и чтобы заключить такими словами: «Вы очень близки с герцогиней Германтской. Я болею, совсем не выезжаю, и мне известно, что она замыкается в кругу избранных друзей, а это, по-моему, очень хорошо, но я с ней очень мало знакома, зато знаю, что она женщина совершенно исключительная». Зная, что г-жа де Камбремер едва знакома с нею, и чтобы умалить себя и сравнить себя с нею, я обошел эту тему и ответил маркизе, что был знаком с ее братом, г-ном Легранденом. При этом имени она приняла столь же уклончивый вид, какой был и у меня, когда речь шла о г-же де Германт, но тут присоединилось и выражение недовольства, ибо она подумала, что я это сказал для того, чтобы унижить не себя, а ее. Или ее терзало отчаяние, что она — урожденная Легранден? Так, по крайней мере, утверждали сестры и свояченицы ее мужа, провинциальные аристократки, ни с кем не знакомые и никого не знавшие, завидовавшие уму г-жи де Камбремер, ее образованию, ее богатству и тому физическому обаянию, которое было у нее до того, как она заболела. «Вот о чем она думает, вот что убивает ее», — замечали эти злые женщины, едва только им случалось заговорить о г-же де Камбремер — все равно с кем, но чаще всего с каким-нибудь плебеем, которому, если он был глуп и самодоволен, они, подчеркивая постыдность низкого происхождения, сильнее давали

повествование свою любезность по отношению к нему, или же, если он был робок и необразован и принимал их слова на свой счет, они таким образом, как бы хорошо ни принимали его, наносили к своему удовольствию косвенное оскорбление. Но что касается свояченицы этих дам, то они ошибались. Быть урожденной Легранден — это мучило ее тем меньше, что она уже утратила и воспоминание об этом. То, что я его воскресил, задело ее, и она замолкла, как будто не поняла, не считая необходимым ни уточнять, ни даже подтверждать высказанное мною.

— Наши родные — не главная причина краткости нашего визита, — сказала мне старая госпожа де Камбремер, которая, вероятно, в большей мере, чем ее невестка, была пресыщена удовольствием говорить: «Шнувиль». — Но, чтобы не утомлять вас слишком большим числом гостей, наш спутник, — это она сказала, указывая на адвоката, — не решился привести сюда свою жену и своего сына. Они в ожидании нас гуляют по пляжу, и теперь они, верно, уже заскучали. — Я попросил более точно описать мне их и поспешил их привести. У жены было круглое лицо, напоминавшее некоторые цветы из семейства лютиковых, а в углу глаза — довольно большая бородавка. А так как людские поколения сохраняют родовые черты, подобно семействам растительного мира, то и на лице сына, так же как и на блеклом лице матери, под глазом набухла бородавка, которая могла бы служить отличительным признаком при определении данной разновидности. Мои заботы о его жене и сыне тронули адвоката. Он проявил интерес к вопросу о моем пребывании в Бальбеке. «Вы, должно быть, чувствуете себя здесь немного чужим: ведь здесь в большинстве иностранцы». И, говоря это, он смотрел на меня, ибо, сам не любя иностранцев, хотя многие из них и являлись его клиентами, он желал удостовериться, что я не враждебен его ксенофобии, иначе он отступил бы и сказал бы: «Разумеется, госпожа Х. очаровательная женщина. Весь вопрос в принципе». Так как в ту пору я не имел никакого мнения об иностранцах, то и не выразил неодобрения, и он почувствовал уверенность в себе. Он дошел до того, что пригласил меня навестить его как-нибудь в Париже, взглянуть на его собрание картин Ле Сиданера и завлечь с собою Камбремеров, с которыми он, очевидно, считал меня близким. «Я приглашу вас вместе с Ле Сиданером, — сказал он мне, уверенный, что жить я теперь буду одним лишь ожиданием этого благословенного дня. — Вы увидите, какой он чудесный человек. А картины его приведут вас в восторг. Конечно, я не могу соперничать с знаменитыми коллекционерами, но мне кажется, что у меня больше всего его любимых полотен. Вам после Бальбека это будет тем более интересно, что все это — марины, по крайней мере в большинстве своем». Жена и сын, снабженные бородавками, сосредоточенно слушали. Чувствовалось, что их дом в Париже — своего рода храм, воздвигнутый Ле Сиданеру. Этого рода храмы не бесполезны. Когда божество начинает сомневаться в себе, то трещины, которые появились в его воззрениях на самого себя, ему легко бывает заткнуть с помощью непреложных свидетельств людей, посвятивших свою жизнь его творчеству.

По знаку своей невестки г-жа де Камбремер собралась встать и сказала мне: «Если уж вы не хотите пожить в Фетерне, то не захотите ли, по крайней мере, приехать позавтракать как-нибудь на неделе, завтра, например?» И, чтобы склонить меня к решению, она от полноты доброжелательства прибавила: «Вы снова встретитесь с графом де Кризенуа», с которым я не мог встретиться снова по той простой причине, что прежде ни разу его не встречал. Она хотела уже прибегнуть и к новым приманкам, чтобы прельстить меня их блеском, как вдруг внезапно остановилась. Председатель суда, который на пути домой узнал, что она в гостинице, сперва угрюмо разыскивал ее повсюду, потом подждал ее и наконец, притворившись, что встретил ее случайно, явился засвидетельствовать ей свое почтение. Я понял, что г-жа де Камбремер не стремилась распространять на него приглашение к завтраку, с которым обратилась ко мне. А между тем он знал ее с более давних пор, чем я, будучи в течение многих лет одним из тех завсегдатаев дневных фетернских сборищ, что вызывали во мне такую зависть во время моего первого пребывания в Бальбеке. Но давность — это не главное для светских людей. И приглашения на завтрак они охотнее берегут для новых знакомых, еще возбуждающих их любопытство, в особенности если их появлению предшествует полная теплоты и обаяния характеристика, вроде той, которую дал мне Сен-Лу. Госпожа де Камбремер решила, что председатель суда не должен был слышать ее слов, сказанных мне, но, чтобы заглушить угрызения совести, она вступила с ним в самый любезный разговор. В сиянии солнечных лучей, заливавших на горизонте побережье Ривбея, обычно невидимое отсюда, до нас донесся, почти неотделимый от лучезарной лазури, возникая как бы из воды, розовый, серебристый, неуловимый колокольный звон, возвещавший Angelus где-то в окрестностях Фетерна. «Это тоже словно из «Пелеаса», — заметил я, обращаясь к г-же де Камбремер-Легранден. — Вы ведь знаете, какую сцену я имею в виду». — «Еще бы, конечно знаю», — но на самом деле «не знаю, не знаю совершенно» — вот что говорили и ее голос, и ее лицо, на которые никакое воспоминание не накладывало сейчас своей печати, и ее улыбка, лишенная всякой опоры, повиснувшая в воздухе. Старая маркиза не могла прийти в себя от удивления, что колокола могут быть слышны здесь, и поднялась, вспомнив о том, который час. «Да, — сказала я, — в самом деле из Бальбека обычно тот берег не виден, да и не слышен. Надо думать, погода изменилась и вдвое расширила горизонт. Если только не предположить, что эти колокола зовут именно вас, — ведь вот я вижу, вы из-за них собрались уходить; вам они заменяют колокол, призывающий к обеду». Председатель суда, мало чувствительный к колоколам, украдкой посматривал на мол, где сегодня, к его отчаянию, было столь мало народу. «Вы настоящий поэт, — сказала мне г-жа де Камбремер. — Чувствуется, что у вас такая артистическая натура. Приезжайте, я буду вам играть Шопена», — прибавила она таким хриплым голосом, словно во рту у нее перекатывались валуны, и с экстатическим видом подняла руки. Затем наступило слюноиспускание, и старушка инстинктивно отерла носовым платком редкую — на так называемый американский лад — щетинку своих усиков. Председатель суда невольно оказал мне очень большую услугу, схватив маркизу под руку, чтобы вести ее к ее экипажу, ибо известная доля вульгарности, решительности и вкуса к показным жестам диктуют поведение, на которое у иных и не хватает решимости, но которое производит в свете далеко не отрицательный эффект. Впрочем, у него была к этому привычка более долготелая, чем у меня. Я, хоть и благословляя его, не осмеливался последовать его примеру и шел рядом с г-жой де Камбремер-Легранден, которая захотела посмотреть, что за книгу я держу в руке. Имя г-жи де Севинье вызвало у нее гримасу, и, воспользовавшись словом, которое попадалось ей в кое-каких газетах, но которое в устной речи, в женском роде, да еще в применении к писателю XVIII века производило причудливое впечатление, она спросила меня: «Вы в самом деле считаете ее эстеткой?» Маркиза сказала выездному лакею адрес кондитерской, куда ей нужно было заехать, прежде чем возвращаться домой по дороге, розовой от вечерней пыли, вдоль которой, наподобие горных вершин, синели расположенные уступами береговые камни. Своего старого кучера маркиза спросила, достаточно ли было тепло той лошади, которая отличалась зябкостью, и не болело ли у другой копыто. «Я напишу вам насчет того, о чем мы условились, — сказала она мне вполголоса. — Я видела, вы с моей невесткой разговаривали о литературе, она очаровательна, — прибавила она, хотя и не думала этого, а просто потому, что усвоила — и по доброте своей сохранила — привычку говорить это, чтобы не могло казаться, будто сын ее женился ради денег. — И потом, — восторженно прибавила она, в последний раз приводя в движение свои челюсти, — она такая аррртисстка». Затем, качая головой и поднимая ручку своего зонтика, она села в экипаж, который и унес ее по улицам Бальбека, обремененную атрибутами священнодействия, словно старика-епископа, совершающего объезд.

— Она пригласила вас на завтрак, — строго сказал мне председатель суда, когда экипаж был уже в отдалении и я шел домой с моими

— Мы в натянутых отношениях. Она считает, что я недостаточно внимателен. Господи, со мной легко ужиться. Если требуется мое присутствие, я уж всегда тут как тут: «рад стараться». Но они пожелаали накинуть на меня ярмо. О! В таком случае, — это он прибавил с хитрым видом и подняв палец, словно что-то распознавая и доказывая, — я не мог позволить. Это значило посягать на мою свободу во время каникул. Я вынужден был сказать: «Довольно». Вы как будто очень хороши с нею. Когда вам будет столько же лет, сколько мне, вы увидите, что за пустая это вещь — свет, и пожалеете, что придавали такое значение этим пустякам. Ну, я пойду пройтись перед обедом. До свиданья, дети, — крикнул он во весь голос, как будто отошел уже на пятьдесят шагов.

Роземонда и Жизель, когда я попрощался с ними, увидели с удивлением, что Альбертина остановилась и не идет за ними. «Ну, Альбертина, что же ты, знаешь, который час?» — «Идите домой, — властно сказала она им. — Мне надо с ним поговорить», — прибавила она, с покорным видом указывая на меня. Роземонда и Жизель посмотрели на меня, проникнутые новым для них почтением ко мне. Я наслаждался, чувствуя, что даже с точки зрения Роземонды и Жизели я, хоть на миг, стал для Альбертины чем-то более важным, чем время возвращаться домой, чем ее подруги, и даже мог иметь с нею серьезные секреты, в которые их невозможно было посвящать. «Так разве мы не увидим тебя сегодня вечером?» — «Не знаю, это будет зависеть от него. На всякий случай — до завтра». — «Поднимемся в мою комнату», — сказала я ей, когда подруги ее удалились. Мы сели в лифт; она хранила молчание перед лифтером. Привычка, вынуждающая людей зависимых прибегать к личному наблюдению и к дедукции как к средству, чтоб узнать всякие дела господ, этих странных людей, разговаривающих друг с другом, но не обращающихся к ним, развивает у «служащих» (как лифтер называл прислугу) способность к отгадыванию более сильную, чем у «хозяев». Наши органы атрофируются или же, напротив, крепнут, а иногда становятся более тонкими — смотря по тому, растет ли или уменьшается надобность в них. С тех пор, как существуют железные дороги, необходимость, не позволяющая нам опаздывать на поезд, научила нас брать в расчет даже минуты, меж тем как древние римляне, у которых не только астрономические познания были более приблизительны, но и жизнь была менее тороплива, едва имели точное представление о часах, не говоря уже о минутах. Лифтер недаром понял и собирался рассказать своим товарищам, что Альбертина и я были чем-то озабочены. Но говорил он без умолку, потому что был бестактен. Однако на лице лифтера, вместо привычного для него выражения дружелюбия и радости, вызванной, видимо, тем, что ему приходится поднимать меня на своем лифте, была теперь написана какая-то необыкновенная подавленность и тревога. Не зная ее причины и желая отвлечь от нее его мысли, я, хоть и был гораздо больше озабочен Альбертиной, сказал ему, что даму, которая только что уехала, зовут маркизой де Камбремер, а не де Камамбер. В коридоре этажа, перед которым мы находились в ту минуту, я заметил отвратительно-уродливую горничную, которая несла подушку и почтительно поклонилась мне, надеясь на подачку при отъезде. Мне хотелось бы знать, та ли это, которую я так желал в вечер моего первого приезда в Бальбек, но мне никогда не удалось добиться какой-либо уверенности на этот счет. Лифтер, с чистосердечием, присущим большинству лжесвидетелей, стал клясться мне, что маркиза просила доложить о ней именно как о маркизе де Камамбер. И в сущности говоря, было вполне естественно, что ему послышалось имя, которое он уже знал. А так как, кроме того, насчет аристократии и характера фамилий, с которыми связываются титулы, у него были весьма смутные представления, свойственные также многим лицам, которые отнюдь не являются лифтерами, фамилия Камамбер представилась ему тем более правдоподобной, что сыр, носящий такое же название, пользуется всеобщей известностью, и не приходилось удивляться, что эта столь блестящая репутация легла в основу маркизата, если только не предположить, что сыр был обязан маркизату своей знаменитостью. Тем не менее, поскольку он видел, что я не желаю показывать своим видом, будто ошибся, и поскольку он знал, что господам приятно, когда исполняются самые ничтожные их прихоти и на веру принимается самая очевидная ложь, он, как исправный слуга, обещал мне говорить отныне: «Камбремер». Правда, ни один лавочник в городе и ни один крестьянин в окрестностях, где фамилия и личность Камбремеров были хорошо известны, никогда не мог бы сделать такую ошибку, как лифтер. Но персонал бальбекского Гранд-отеля был не местного происхождения. Так же как и весь инвентарь, он был вывезен прямо из Биаррица, Ниццы и Монте-Карло, откуда одна часть его была направлена в Довиль, другая — в Динар, а третья сохранена для Бальбека.

Но тоска и тревога лифтера только возрастали. Если он своими обычными улыбками не выражал мне преданности, надо было думать, что с ним случилось какое-нибудь несчастье. Может быть, он получил «отставку». На случай, если это окажется так, я дал себе случай добиться его оставления на службе, так как директор обещал мне санкционировать все, что мне заблагорассудится, в отношении его персонала. «Вы можете делать всегда все, что захотите, я заранее все учреждаю» (вместо «утверждаю»). Внезапно, едва только выйдя из лифта, я понял причину смятения лифтера и его подавленного вида. Из-за присутствия Альбертины я не дал ему те сто су, которые имел обыкновение давать ему, поднимаясь к себе. И вместо того чтобы понять, что при других я не желаю выставлять напоказ распределяемые мной подачки, этот дурак затрепетал, предположив, что с ними покончено раз навсегда, что я больше никогда ничего ему не дам. Он вообразил, что я впал в «ничтожество» (как сказал бы герцог Германтский), и его предположение не вызывало в нем никакой жалости ко мне, а только ужасное эгоистическое разочарование. Я подумал, что бывал не столь неблагоразумен, как находила моя мать, когда в тот или иной день не решался не дать той чрезмерно большой, но лихорадочно ожидаемой суммы, которую дал накануне. Но зато и значение, вкладываемое мною до сих пор — и притом с полной уверенностью — в его привычно-радостный вид, в котором я, не колеблясь, усматривал знак привязанности, показалось мне теперь не столь бесспорным. Глядя на этого лифтера, готового, в своем отчаянии, броситься с высоты пятого этажа, я задавал себе вопрос, что было бы, если б, в результате революции, например, мы поменялись ролями, не вздумалось ли бы лифтеру, превратившемуся в буржуа, выбросить меня из лифта, вместо того чтобы любезно управлять им ради меня, и не отличаются ли некоторые классы народа большей двуличностью, чем светское общество, где, разумеется, самые неприятные суждения о нас высказываются в нашем отсутствии, но где никто не стал бы оскорблять нас, если бы мы были несчастны.

Все же нельзя сказать, чтобы лифтер был самым корыстным человеком в бальбекском отеле. С этой точки зрения персонал разделялся на две категории. С одной стороны — на тех, которые видели разницу между жильцами гостиницы и были более чувствительны к благоразумным подачкам какого-нибудь старого дворянина (впрочем, способного целыми неделями уклоняться от них, предоставляя таким образом провидению заботиться о них), чем к необдуманной щедрости какого-нибудь прожигателя жизни, тем самым обнаруживавшего незнание обычаев, которое лишь в его присутствии называли добротой. С другой стороны — на тех, для кого знатный род, ум, знаменитость, положение, манеры не существовали вовсе, закрытые некоей цифрой. Для таких существовал лишь один вид иерархии, — деньги, которыми обладаешь, или, вернее, которые даешь. Даже сам Эме, хотя и претендовавший, ввиду множества гостиниц, в которых он служил, на большое знание света, принадлежал, пожалуй, к этой категории. Он всего-навсего придавал этого рода оценкам общественную окраску, свидетельствовавшую к тому же о знании аристократических домов, спрашивая, например, о принцессе Люксембургской: «А много в этой особе денег?» (пользуясь знаком вопроса лишь для того, чтобы осведомиться или окончательно проверить сведения, которые он собирал, прежде чем рекомендовать клиенту, уехавшему в Париж, повара, или в Бальбеке

подоставить столик с левой стороны, с видом на море). Несмотря на это, он, хотя и не чуждый своекорыстия, не стал бы выставлять его наружу с таким глупым отчаянием, как лифтер. Впрочем, может быть, наивность последнего упрощала дело. В этом — удобство большой гостиницы или такого дома, каким являлся прежде дом Рашели; дело в том, что на лице какого-нибудь наемного служащего или женщины, доселе бесстрашном, вид стофранкового, а тем более — тысячного билета, хотя бы на этот раз его дали другому, сразу, непосредственно вызывает улыбку, за которой следует предложение услуг. Напротив, в политике или в отношениях любовника к его возлюбленной слишком много таких моментов, которые становятся между деньгами и послушанием. Их здесь столько, что даже те, на чьих лицах деньги в конечном счете и вызывают улыбку, часто бывают неспособны проследить внутренний процесс, связывающий их, считают себя, да и оказываются людьми более совестливыми. И кроме того, это же обстоятельство помогает сдерживать учтивые разговоры вроде следующих: «Я знаю, что мне остается делать, завтра мое тело найдут в море». Недаром в обществе учтивых людей мало встречается романистов, поэтов, всех этих выпендренных существ, которые говорят как раз о том, о чем не следует говорить.

Как только мы остались одни и вошли в коридор, Альбертина сказала мне: «Отчего вы сердитесь на меня?» Моя жестокость с нею — была ли она мучительна для меня самого? Не была ли она с моей стороны лишь неосознанной уловкой, имевшей целью заставить мою приятельницу испытать боязнь и прибегнуть к мольбам, что позволило бы мне расспросить ее и, может быть, узнать, которая из двух гипотез, давно уже возникших у меня на ее счет, является правильной? Но как бы то ни было, я, когда услышал ее вопрос, внезапно почувствовал себя счастливым, как человек, близкий к давно желанной цели. Прежде чем ответить, я довел ее до двери в мою комнату. Дверь, отворяясь, дала отхлынуть потоку розового света, наполнявшего комнату и превращавшего белую кисею занавесок, уже задернутых к вечеру, в ткань цвета зари. Я подошел к окну; чайки снова опустились на волны; но только теперь они были розовые. Я обратил на это внимание Альбертины. «Не уклоняйтесь в сторону, — сказала она мне, — будьте откровенны так же, как я». Я стал лгать. Я объявил ей, что ей сперва придется выслушать признание, признание в том, что с некоторых пор я чувствую страстную любовь к Андре, и это признание я сделал с простотой и искренностью, достойными актера, но в жизни возможными лишь тогда, когда мы говорим о любви, которой не чувствуем. Вновь прибегая к той лжи, которой я уже пользовался ради Жильберты еще до моего первого пребывания в Бальбеке, но варьируя эту ложь и стараясь сделать теперь более правдоподобными мои слова о том, что я ее не люблю, я даже как бы невзначай проговорился, что когда-то я чуть-чуть не влюбился в нее, но что с тех пор прошло слишком много времени, что теперь она для меня только добрый товарищ и что даже если бы я этого захотел, все же мне было бы невозможно испытать по отношению к ней чувства более страстные. Впрочем, так сильно напирая в разговоре с Альбертиной на эту холодность по отношению к ней, так уверяя ее в этом, я, — ввиду одного особого обстоятельства и ввиду особой цели, — делал лишь более ощутимым, лишь более резко подчеркивал тот двойственный ритм, которым отмечена бывает любовь у всех тех, кто слишком сомневается в себе, чтобы поверить, что женщина может их полюбить и что они по-настоящему могут полюбить ее. Они достаточно хорошо знакомы с самими собою, чтобы знать, что подле самых различных женщин они испытывали одни и те же надежды, одни и те же тревоги, придумывали одни и те же романы, произносили одни и те же слова, чтобы таким образом отдать себе отчет в том, что их чувства, их поступки не находятся в тесной и неизбежной зависимости от любимой женщины, а лишь проходят мимо нее, лишь бросают на нее свои брызги, минуют ее, словно прилив, бегущий вдоль скал, и это чувство собственного непостоянства еще усиливает их недоверие — мысль, что женщина, о любви которой они так мечтают, их не любит. Поскольку она — лишь простая случайность, оказавшаяся у истока наших желаний, бьющих ключом — почему бы случаю могло быть угодно, чтоб и мы стали целью ее желаний? Недаром, хоть и ощущая потребность излить перед ней все эти чувства, столь отличные от обыкновенных человеческих чувств, внушаемых нам нашими ближними, эти столь особенные чувства, какими являются чувства любовные, мы, сделав один шаг вперед, признавшись той, которую мы любим, в нашей нежности к ней, в наших надеждах, тут же испытываем и боязнь — не угодить ей, смущенные также и сознанием, что язык, которым мы говорили с ней, не был создан именно для нее, что он служил, что он будет служить нам и для других; что если она не любит нас, то не может и понять, и что, значит, в наших речах было отсутствие вкуса и стыдливости, свойственное педанту, который к невеждам обращается с изысканными фразами, рассчитанными не на них, — под влиянием этой боязни, этого стыда мы подчиняемся противоположному ритму, отливу, потребности, хотя бы и отступив сперва и поскорее отрекшись от симпатии, в которой сейчас исповедывались, перейти в наступление и вновь вернуть себе уважение, господство; этот двойной ритм ощутим в разные периоды одной и той же любви, а также во все соответствующие друг другу периоды аналогичных увлечений, у всех существ, более склонных к самоанализу, чем к высокому мнению о себе. Однако, если все же он более резко, чем обычно, был подчеркнут в речи, с которой я обращался к Альбертине, то причина была всего-навсего в том, что она должна была мне позволить быстрее и с большей энергией перейти к ритму противоположному, который уже скандировала бы моя нежность.

Как будто Альбертина лишь с трудом могла поверить тому, что я рассказывал о невозможности для меня полюбить ее вновь после слишком длительного перерыва, я подкреплял то, что называл причудой моего характера, примерами женщин, которых я, по их вине или по своей собственной, не успел вовремя полюбить, чего не мог уже наверстать, как бы мне этого ни хотелось. Таким образом, могло казаться, что я извиняюсь перед ней в этой неспособности вновь полюбить ее, словно это была какая-то неучтивость, и вместе с тем стараюсь растолковать ей психологические причины, словно они были специально свойственны мне. Но, пускаясь в этого рода объяснения, распространяясь о случае с Жильбертой, в отношении которой сугубо правильно было то, что в применении к Альбертине становилось столь неверным, я только придавал моим утверждениям ту степень правдоподобности, которой, как мне казалось, именно им-то и недоставало. Чувствуя, как Альбертина оценивает то, что она считала «откровенностью» с моей стороны, и как в моих выводах она признает бесспорную очевидность, я извинился за свою прямоту, сказав ей, что правда, насколько мне известно, никогда не нравится, а в данном случае к тому же должна показаться ей непостижимой. Она же, напротив, поблагодарила меня за мою искренность и прибавила, что помимо всего великолепно понимает столь распространенное и столь естественное расположение ума.

Сделав Альбертине это признание в воображаемой любви к Андре и в равнодушии к ней, которое не должно было быть принято в слишком буквальном смысле, — как я мимоходом, словно из вежливости, заметил ей, чтобы меня нельзя было заподозрить в малейшей неискренности или в преувеличении, — я смог наконец, не опасаясь уже, что Альбертина увидит в этом любовь, обратиться к ней со всей той нежностью, в которой я с таких давних пор отказывал себе и которая показалась мне очаровательной. Я почти что ласкал мою наперсницу; когда я рассказывал ей о ее подруге, любимой мною, слезы выступали у меня на глазах. Но, переходя к самой сущности дела, я наконец сказал ей, что она ведь знает, что такое любовь, ее раздражительность, ее страдания, и что, может быть, она, как старый мой друг, захочет положить конец тем большим огорчениям, которые она мне причиняет не прямо, потому что ведь люблю я не ее, — если осмелюсь повторить это, не желая ее оскорбить, — но косвенно, задевая меня в моей любви к Андре. Я остановился, чтобы посмотреть и показать Альбертине на большую птицу, одинокую и торопливую, которая на большом расстоянии от нас, рассекая воздух

номерными взмахами крыльев, с огромной быстротой пронеслась вдоль пляжа, усеянного там и здесь, словно пятнышками, отблесками заката, похожими на маленькие ключья красной бумаги, и нисколько не замедляла своего полета, ничем не отвлекаясь, не уклоняясь от своего пути, точно гонец, несущий куда-нибудь очень далеко неотложную и важную весть. «Вот эта, по крайней мере, прямо несется к цели!» — тоном упрека сказала мне Альбертина. — «Вы говорите мне это потому, что не знаете, что я хотел сказать вам; но это так трудно, что я предпочту отказаться; я уверен, что рассержу вас; и это приведет только вот к чему: я не стану более счастливым с той, которую люблю настоящей любовью, и потеряю хорошего товарища». — «Но раз я даю вам клятву, что не рассержусь на вас». У нее был такой кроткий, такой печально-покорный вид, она, казалось, так ждала от меня своего счастья, что мне трудно было удержаться и не поцеловать ее, — почти с тем же самым наслаждением, с каким я поцеловал бы лицо моей матери, — это по-новому открывшееся мне лицо, которое уже не было похоже на мордочку шаловливой испорченной кошечки с розовым, поднятым кверху носиком, но в избытке сокрушительной печали казалось насквозь проникнутым добротой, растворяясь в ней, словно в широком потоке, который расплывался и растекался. Отвлекаясь от моей любви как от хронического безумия, не связанного с нею, ставя себя на ее место, я умилился при виде этой славной девушки, которая привыкла, чтобы к ней относились приветливо и честно, и которую добрый товарищ таким образом могла считать меня, уже неделями подвергал гонениям, достигшим теперь своего апогея. Именно потому, что я становился на чисто человеческую, внеположную нам обоим точку зрения, где исчезала моя ревнивая любовь, я и не чувствовал к Альбертине эту глубокую жалость, которая была бы не так сильна, если бы я меньше ее любил. Впрочем, к чему в этом ритмическом колебании, ведущем от признания в любви к размолвке (самое верное, самое действенное и опасное средство, чтобы путем противоположных друг другу и последовательных воздействий создать узел, который уже не распутается и крепко привяжет нас к женщине), к чему в процессе этого обратного движения, составляющего один из двух элементов ритма, различать еще и отлив человеческой жалости, которая, противопоставляясь любви, хотя, быть может, ее неосознанные истоки — те же самые, дает во всяком случае те же результаты? Подводя впоследствии итог всему, что мы сделали для женщины, мы часто отдаем себе отчет в том, что поступки, внушенные желанием доказать свою любовь, вызвать ответную любовь, заслужить знак благосклонности, играют отнюдь не большую роль, чем те, которые порождены были человеческой потребностью заглаживать вину перед любимым существом лишь в силу нравственного долга, как будто мы его и не любили. «Но в конце концов что же такого я могла сделать?» — спросила меня Альбертина. В дверь постучали; это был лифтер; тетка Альбертины, проезжавшая в коляске мимо гостиницы, задержалась на всякий случай, чтоб узнать, не здесь ли она, и увезти ее домой. Альбертина велела ответить, что она не может спуститься, пусть обедают без нее, она не знает, в котором часу вернется. «Но ваша тетя будет сердиться?» — «Да что вы! Она прекрасно поймет». Таким образом, по крайней мере в тот момент, который, пожалуй, уже и не мог бы повториться, разговор со мной в силу обстоятельств приобретал для Альбертины столь очевидную важность, что все остальное должно было отойти на задний план, и моя приятельница, невольно опираясь на семейную юриспруденцию, перебирая в памяти те или иные ситуации, при которых, поскольку дело шло о карьере г-на Бонтана, в семье не отступали даже перед путешествием, — не сомневалась, что тетка найдет вполне естественным решение пожертвовать часом обеда. Приблизив ко мне этот далекий час, который она проводила без меня, среди своих, Альбертина дарила мне его; я мог воспользоваться им по своему усмотрению. Я в конце концов осмелился сказать ей то, что мне рассказывали о жизни, которую она ведет, и добавил, что, несмотря на глубокое отвращение, внушаемое мне женщинами, подверженными этому пороку, мне до этого не было дела, пока мне не назвали ее сообщницу, и что ей легко будет понять, приняв в расчет мою любовь к Андре, какую боль я должен был почувствовать. Может быть, при большей находчивости следовало бы сказать, что мне называли и других женщин, которые были мне безразличны. Но внезапно и страшное разоблачение, которым я был обязан Котару, терзало меня, терзало само по себе и только. И подобно тому, как раньше я никогда не дошел бы до мысли, что Альбертина любит Андре или, по крайней мере, может заводить с нею любовные игры, если бы Котар не обратил мое внимание на их позы во время вальса, я и от этой мысли не мог перейти к другой, столь отличной от нее в моих глазах, — мысли, что у Альбертины, помимо Андре, могут быть отношения с другими женщинами, привязанность которых к ней даже не могла бы служить извинением. Прежде чем поклясться мне, что это неправда, Альбертина, как и всякая женщина, только что узнавшая, что о ней говорились подобные вещи, рассердилась, огорчилась, а по отношению к неизвестному клеветнику проявила яростно-любопытное желание узнать, кто он, и встретиться с ним, чтобы его пристыдить. Но меня она стала уверять, что на меня во всяком случае не сердится. «Если бы это была правда, я бы вам призналась. Но у меня и у Андре одинаковое отвращение к этим вещам. Мы на своем веку видали женщин с короткими волосами и мужскими манерами, того самого пошиба, о котором вы говорили, и нас ничто так не возмущает, как они». Альбертина давала мне только свое слово, слово безапелляционное и не подкрепляемое никакими доказательствами. Но именно это и могло лучше всего успокоить меня, ибо ревность принадлежит к семейству тех болезненных сомнений, которые побеждает скорее настойчивость утверждения, нежели его правдоподобность. Впрочем, это и свойственно любви — делать нас и более подозрительными и в то же время более доверчивыми, заставляя нас заподозрить ту, которую мы любим, с гораздо большей поспешностью, чем если бы дело шло о ком-нибудь другом, и с большей легкостью верить ей, когда она все отрицает. Нужно любить, чтобы задумываться о том, что на свете не одни только порядочные женщины, а значит — и замечать это, но опять-таки нужно любить, чтобы желать, чтобы они были, а следовательно уметь в этом убеждаться. Человеку свойственно искать страдания и тотчас же освобождаться от него. Рассуждения, которые помогают нам добиться этой цели, мы с легкостью признаем правильными, — ведь не станешь особенно придираться к успокоительному средству, которое действует. И к тому же, как бы многообразно ни было существо, любимое нами, оно во всяком случае способно явить нам две существенно различные индивидуальности, — смотря по тому, считаем ли мы его нашим или же оно устремляет свои желания в сторону, противоположную нам. Первая из этих индивидуальностей обладает той своеобразной силой, которая мещает нам верить в реальность другой, и владеет особым секретом — успокаивать страдания, причиненные этой последней. Любимое существо попеременно становится то болезнью, то лекарством, которое останавливает и усугубляет болезнь. Наверно, в силу того влияния, которое пример Свана оказывал на мое воображение и на мою возбудимость, я давно уже приготовился поверить в истинность того, чего опасался, а не того, чего желал. Вот почему облегчение, которое в течение минуты дали мне слова Альбертины, находилось под угрозой, так как я вспомнил историю Одетты. Но я сказал себе, что если правильно было готовиться всегда к худшему, — не только в том случае, когда, стремясь понять мучения Свана, я пытался ставить себя на его место, но и теперь, когда дело шло обо мне самом, искавшем истины так, как если бы дело шло о другом человеке, — то все же не следовало из одной только жестокости к самому себе, подобно солдату, который становится не на тот пост, где он может принести наибольшую пользу, а на тот, где он подвергается наибольшей опасности, впадать под конец в заблуждение, будто данная гипотеза более правдоподобна, нежели другая, по той лишь причине, что она заставляет больше страдать. Разве не пропасть лежала между Альбертиной, девушкой из довольно хорошей буржуазной семьи, и Одеттой, кокеткой, которая еще в детстве была продана своей же матерью? Слово, сказанное одной, не могло идти в сравнение с тем, что говорила другая. К тому же, если Альбертина мне лгала, в этом не было того смысла, какой имела ложь Одетты Свану. Ведь ему Одетта созналась в том, что Альбертина нашла возможным отрицать. Итак, я совершил бы столь же существенную логическую ошибку, — правда, в противоположном направлении, — как если бы склонился к той или иной гипотезе лишь

потому, что она заставила бы меня меньше страдать, чем всякая другая, не считаясь с фактической разницей в положениях и воссоздавая действительную жизнь моей приятельницы всецело на основании того, что я знал о жизни Одетты. Передо мной была новая Альбертина, — такая, какой она уже, правда, несколько раз смутно представлялась мне под конец первого моего пребывания в Бальбеке, прямая, добрая Альбертина, которая из привязанности ко мне простила мне мои подозрения и постаралась их рассеять. Она усадила меня рядом с собой на моей постели. Я поблагодарил ее за то, что она мне сказала, я стал верить ей, что мы теперь помирились и что я никогда больше не буду с ней жесток. Я сказал Альбертине, что ей все-таки следует вернуться домой пообедать. Она меня спросила, хорошо ли мне сейчас. И, притянув мою голову, она провела языком по моим губам, стараясь их разжать, — особая ласка, которой я еще никогда не видел от нее и которой я, быть может, был обязан нашей окончившейся ссоре. Для начала я губ не разжал. «Ах, какой вы злой!» — сказала она мне.

Я должен был бы расстаться с ней в тот же вечер, чтобы никогда больше с ней не видеться. С тех пор предчувствие говорило мне, что в неразделенной любви, — другими словами, просто в любви, ибо есть люди, чья любовь остается неразделенной, — вместо счастья можно познать только видимость его, которую мне дано было изведать в одно из тех неповторимых мгновений, когда благодаря женской доброте, или прихоти, или же случайности, мы, в ответ на наши желания, слышим совершенно такие же слова, видим совершенно такие же поступки, как если бы мы на самом деле были любимы. Истинная мудрость требовала бы, чтобы я наслаждался этой частицей счастья, впери в нее полные любопытства взгляды, — потому что, не будь ее, я бы так и умер, не подозревая, чем это счастье может быть для сердец менее разборчивых и более избалованных судьбой; чтобы я удовлетворялся мыслью, будто она является долей счастья более обширного и более долговечного, сейчас открывшегося мне, и, дабы завтрашний день не разочаровал меня в этом притворстве, никогда бы не пытался заслужить новую милость после той, которой был обязан мимолетной, искусственно вызванной удаче. Мне следовало бы покинуть Бальбек, замкнуться в уединении, гармонически откликаясь лишь на последние отзвуки голоса, которому мне на миг удалось придать оттенок влюбленности и от которого я должен был бы требовать теперь только одного, — чтобы он больше не обращался ко мне, — из страха, что каким-нибудь новым словом, которое отныне могло бы быть только непохожим на все прежнее, он, словно диссонансом, оскорбит напряженную тишину, среди которой, как бы под воздействием некоей педали, еще долгое время могла бы жить по мне тональность счастья.

Успокоенный объяснением с Альбертиной, я теперь опять проводил больше времени с моей матерью. Ей нравилось рассказывать мне о тех временах, когда бабушка была моложе. Опасаясь при своей мягкости, что я стану укорять себя за те огорчения, которыми мог отравить конец ее жизни, она охотнее возвращалась к тем годам, когда я только начинал учиться и мои первые успехи доставляли бабушке удовлетворение, которое от меня до сих пор всегда скрывали. Мы говорили о Комбре. Мама мне сказала, что там я, по крайней мере, хоть читал и что в Бальбеке я должен был бы делать то же, если я не собираюсь работать. Я ответил, что мне приятно было бы окружить себя воспоминаниями о Комбре и о красивых тарелках с рисунками, и потому я был бы рад перечислить «Тысяча одну ночь». Как в былые времена, в Комбре, когда моя мать дарила мне книги в день моего рождения, она и теперь тайком от меня, чтобы сделать мне сюрприз, выписала зараз «Тысяча одну ночь» в переводе Галлана и «Тысячу ночей и одну ночь» в переводе Мардрюса. Но, бросив беглый взгляд на оба эти перевода, она не могла отделаться от желания, чтобы я остановился на первом из них, хотя она и боялась оказывать на меня влияние — в силу своего уважения к свободе мысли, страха перед неумелым вторжением в мою умственную жизнь и сознания того, что, с одной стороны, будучи женщиной, она, как ей казалось, не может быть по-настоящему компетентна в литературных вопросах, а с другой стороны, что о выборе чтения молодого человека ей не следует судить на основании вещей, неприятно поражающих ее. Натолкнувшись на некоторые сказки, она была возмущена безнравственностью сюжета и грубостью выражений. Но прежде всего бережно сохраняя, словно реликвии, не только брошку, зонтик, пальто своей матери, томик г-жи де Севинье, но также и ее манеру думать и говорить, в каждом случае задаваясь вопросом, какое мнение высказала бы она, мама не могла сомневаться в том, что бабушка с осуждением отозвалась бы о книге Мардрюса. Она вспоминала, что в Комбре, когда я, перед уходом на прогулку в сторону Мезеглиза, читал Огюстена Тьерри, бабушка, довольная моим чтением, моими прогулками, все-таки негодовала при виде книги автора, чье имя осталось связанным со следующим полустушем: «Потом был Меровея», переименованный в Меровига, и отказывалась говорить «Каролинги» вместо «Карловинги», которым она оставалась верна. Наконец, я рассказал ей то, что бабушка думала относительно греческих имен, которыми Блок, следуя Леконту де Лилю, называл гомеровских богов, считая своим священным долгом, в котором, по его мнению, и выражался литературный талант, даже в самых простых случаях применять греческую орфографию. Когда, например, в письме он хотел сказать, что вино, которое пьют у него в доме, истинный нектар, он писал это слово через «к» (nektar), а не «с» (nectar), и это позволяло ему издеваться при имени Ламартина. Но если «Одиссея», в которой отсутствовали имена Улисса и Минервы, для моей бабушки уже не была «Одиссеей», то что бы она сказала, видя, как на самой обложке искажено заглавие «Тысяча одной ночи», не находя имен Шехеразады, Динарзады, ставших навеки привычными в том самом виде, в каком она искони привыкла их произносить, или обнаруживая, что переводчик перекрестил, если можно употребить это слово в отношении мусульманских сказок, прелестного Калифа и могущественных гениев, преобразив их до почти полной неузнаваемости, назвав первого «Калифатом», а вторых — «джинами»? Все-таки мама отдала мне обе книги, и я сказал ей, что буду читать их в те дни, когда буду чувствовать себя слишком утомленным, чтобы гулять.

Впрочем, такие дни были не слишком часты. Мы, как и прежде, всей «ватагой», Альбертина, ее приятельницы и я, — отправлялись пить чай куда-нибудь на прибрежные скалы или на ферму «Мари-Антуанет». Но бывали дни, когда Альбертина давала мне испытать огромное удовольствие. Она говорила мне: «Сегодня я хочу побыть немного с вами, это будет лучше — остаться вдвоем». И она говорила, что занята, что, впрочем, она никому не обязана отдавать отчет, а чтобы остальные, если они все-таки шли гулять и пить чай без нас, не могли нас отыскать, мы, как влюбленная пара, одни отправлялись в Багатель или Круа д'Элан, меж тем как «ватага», которой никогда не приходило в голову искать нас там и которая никогда и не добиралась туда, до бесконечности засиживалась на ферме «Мари-Антуанет», в надежде, что мы явимся к ним туда. Мне вспоминаются стоявшие в ту пору жаркие дни, когда у деревенского парня, работавшего на солнце, со лба капал пот, и капли его, ровные, падавшие совершенно вертикально и через неопределенные промежутки времени, словно капли воды из какого-нибудь сосуда, чередовались с падением зрелого плода, срывавшегося с дерева на одном из соседних участков; эти дни и сейчас еще, связанные для меня с загадкой скрывающей свою тайну женщины, входят, как значительное слагаемое, во всякую любовь, которую мне приходится пережить. Ради женщины, о которой со мной случайно заговорили и за которой я иначе никогда бы и не подумал, я отменяю все встречи, назначенные на ближайшую неделю, лишь бы познакомиться с ней — если на этой неделе стоит как раз такая погода и если мне предстоит увидеть эту женщину где-нибудь на уединенной ферме. Пусть мне известно, что ни погода, ни самое место свидания не зависят от нее, все же я иду на эту приманку, так хорошо мне знакомую, и ее бывает достаточно, чтобы завлечь меня. Я знаю, что в холодный день, где-нибудь в городе, эта женщина могла бы возбудить во мне желание, однако не сопровождаемое

романтическим чувством, без тени любви, но от этого любовь, раз уж ей по воле обстоятельства удалось меня поработить, бывает не менее сильна, — она только становится более меланхоличной, как и все чувства, внушаемые нам женщинами, по мере того как мы все отчетливее замечаем, что они все меньшую роль играют в нашей жизни и что эта новая любовь, о долговечности которой мы так мечтаем, может стать последней и оборваться вместе с самой нашей жизнью.

В Бальбеке было еще мало народу, мало девушек. Иногда на пляже останавливалась та или иная из них, лишенная всякого очарования, хотя целый ряд совпадающих признаков как будто подтверждал ее тождество с той, к которой я не мог подойти поближе, когда она со своими подругами выходила из манежа или школы гимнастики, и от этой невозможности я был в отчаянии. Если это была та самая (и я остерегался говорить об этом Альбертине), то девушка, прежде казавшаяся мне упоительной, переставала существовать. Но я не мог добиться полной уверенности, потому что лица этих девушек не занимали на пляже определенного места, не представляли собой некоей неизменной формы, ибо их непрерывно преображало, заставляя то судорожно сжиматься, то расплываться, мое же нетерпение, тревога моих же желаний, ощущение моего собственного здоровья, которое само себе довлеет, различа в туалетах, которые они надевали, быстрота их походки или, напротив, их неподвижность. Но все-таки двух или трех из них я нашел очаровательными, когда совсем близко увидел их. Всякий раз, как я видел одну из этих немногих, мне хотелось увести ее на бульвар Тамарисков, или в дюны, или лучше — на прибрежные скалы. Но хотя в желании, в отличие от состояния равнодушия, уже заключена та смелость, какой является даже односторонняя попытка к его осуществлению, все-таки между моим желанием и самим поступком, который должен был выразиться в просьбе к этой девушке — позволить мне обнять ее, оставался пробел, полный неопределенности, колебания и робости. Тогда я входил в кафе-кондитерскую и выпивал подряд от шести до восьми рюмок портвейна. И сразу же вместо непреодолимого пустого промежутка, разделявшего мое желание и самый поступок, возникала линия, соединявшая их. Больше не оказывалось места ни для колебаний, ни для опасений. Мне представлялось, что девушка сама устремится мне навстречу. Я подходил к ней, сами срывались слова: «Мне хотелось бы с вами погулять. Не хотите ли пройтись к прибрежным скалам, там никто не мешает, если сесть, за лесочком, который защищает от ветра дачу, где сейчас никто не живет?» Все жизненные трудности были устранены, не оставалось никаких препятствий, которые могли мешать нашим телам сплестись воедино. Препятствия не оставалось, — по крайней мере для меня. Оно не исчезало для девушки, которая портвейна не пила. А если бы она это и сделала и мир потерял бы в ее глазах долю своей реальности, ее давно легкой мечтой, которая тогда показалась бы ей внезапно осуществимой, было бы, возможно, отнюдь не стремление упасть в мои объятия.

Девушек не только было мало, они в течение этой части сезона, которая еще не была настоящим «сезоном», оставались недолго. Мне приходит на память одна из них, рыжевато-золотистая, с зелеными глазами, золотисто-смуглыми щеками и лицом двойственным и подвижным, напоминающим летучие семена некоторых деревьев. Не знаю, каким ветром занесло ее в Бальбек и каким — вновь унесло. Это было так внезапно, что я потом несколько дней чувствовал огорчение, в котором решился признаться и Альбертине, когда понял, что девушка уехала навсегда.

Нужно сказать, что некоторых из этих девушек я или не знал вовсе или же не видел в течение нескольких лет. Часто, прежде чем встретиться с ними, я им писал. Если их ответ позволял мне верить в возможность любви — о, какая это была радость! Когда у нас с женщиной зарождается дружба, мы, даже если эта дружба ни к чему не должна привести нас, впоследствии бываем не в силах расстаться с этими первыми письмами, полученными от нее. Хочется все время иметь их с собой, словно цветы, полученные в подарок, — еще совсем свежие цветы, которыми мы перестаем любоваться только тогда, когда вплотную приближаем их к лицу, чтобы вдохнуть их аромат. Фразу, которую мы уже знаем наизусть, приятно перечитывать, а в тех, которые мы знаем не так уж дословно, хочется проверить степень нежности какого-нибудь выражения. Не написала ли она: «Ваше милое письмо»? Среди блаженства, испытываемого нами, наступает маленькое разочарование, которое должно быть объяснено или тем, что мы читали слишком быстро, или неразборчивым почерком нашей корреспондентки; она написала не «и Ваше милое письмо», а «и увидя Ваше письмо». Но во всем остальном — такая нежность! О! Пусть бы и завтра нам прислали этих цветов. Потом уже и этого недостаточно, к словам хочется добавить и взгляды и голос. Назначается свидание — и вот, хотя она, может быть, и не изменилась, там, где мы, руководствуясь чужим описанием или собственной памятью, ожидали встретить фею Вивиану, оказывается лишь Кот в сапогах. Все же, несмотря ни на что, мы и на завтра назначаем свидание, потому что это все-таки она и желали мы ее. А эти желания, возбуждаемые в нас женщиной, не требуют, в качестве необходимого условия, определенного рода красоты. Это только желания, которые влекут нас к определенному существу, смутные, словно ароматы, подобно тому, как стиракс был желанием Профирайи, шафран — влечением эфира, ароматы — желанием Геры, мирра — благовонием волхвов, манна — желанием Нике, а ладан — благовонием моря. Но эти благовония, воспеваемые орфическими гимнами, все же не столь многочисленны, как божества, которые ими услаждаются. Мирра — благовоние волхвов, но также и Протогоноса, Нептуна, Нереи, Лето; ладан — благовоние моря, но также и прекрасной Дике, Фемиды, Цирцеи, девяти муз, Эоса, Мнемозины, Дня, Дикайосины. Что до стиракса, манны и ароматов, то мы бы никогда не кончили, перечисляя, кто из божеств вдыхает их, — так они многочисленны. Амфиетесу принадлежат все благовония, кроме ладана, а Гея наряду с бобами отвергает ароматы. То же было и с желаниями, которые возбуждали во мне эти девушки. Не столь многочисленные, как сами эти девушки, мои желания превращались в разочарования и огорчения, довольно похожие друг на друга. Мирры мне никогда не хотелось. Ее я предоставлял Жюльену и принцессе Германтской, ибо мирра есть желание Протогоноса, «существа двуполого, ревущего как бык, любящего оргии, всем памятного, несказанного, радостно спешащего к оргиофантам, что совершают свои жертвоприношения».

Но вскоре сезон оказался в полном разгаре; каждый день стали появляться новые приезжие, а что касается внезапно участвовавших прогулок, которыми сменилось пленительное для меня чтение «Тысяча одной ночи», то тут была причина, не имевшая ничего общего с удовольствием и отравлявшая их все. Пляж был теперь полон девушек, а так как мысль, внушенная мне Котаром, не стала для меня, правда, источником новых подозрений, но сделала меня болезненно чувствительным к этого рода вещам и настолько осторожным, что подозрениям я даже не давал возникнуть, — то, едва только в Бальбек приезжала какая-нибудь молодая женщина, мне уже становилось не по себе, я предлагал Альбертине прогулки в самые далекие места, чтобы ей не удалось познать себя как новоприбывшую. И, насколько это было возможно, даже заметил ее. Разумеется, я еще больше опасался тех, которые обращали на себя внимание своими сомнительными нравами или имели дурную репутацию; я старался уверить мою приятельницу в том, что эта дурная репутация ни на чем не основана, является следствием клеветы, при этом, быть может, сам не отдавая себе отчета в моих подозрениях, из страха, еще полусознанного, что она будет искать сближения с развратной женщиной, или будет жалеть о невозможности сблизиться с ней из-за меня, или что, в силу этого множества примеров, она решит, будто порок столь распространенный не заслуживает осуждения. Отрицая наличие его в каждом отдельном случае, я стремился доказать, что сапфизм не существует вовсе. Альбертина разделяла мою точку зрения, состоявшую в том, что я не желал верить в пороки той или иной женщины: «Нет, я думаю, что это только стиль, который она хочет

себе придать, что это — для стиля». Но иногда я уже почти начинал жалеть, что защищал невинность, ибо мне не нравилось, что Альбертина, прежде столь строгая, считает, будто этот «стиль» является чем-то настолько лестным, настолько привлекательным, что женщина, чуждая подобных вкусов, может стараться производить совсем обратное впечатление. Мне хотелось бы, чтобы ни одна женщина не приезжала больше в Бальбек; я дрожал при мысли, что теперь настал приблизительно тот срок, когда г-жа Пютбю должна была приехать к Вердюренам, что ее горничная, пристрастий которой Сен-Лу от меня не утаил, сможет, гуляя, забрести на пляж и, если в тот день меня не будет с Альбертиной, попытается совратить ее. Так как Котар не скрыл от меня, что Вердюрены очень дорожат знакомством со мной и дорого бы дали, лишь бы я стал их посещать, но при этом, по его словам, не желают показывать вида, будто они за мной гоняются, я уже спрашивал себя, не удастся ли мне, с помощью обещаний привести к ним в Париже всевозможных Германтов, добиться от г-жи Вердюрен того, что под каким-нибудь предлогом она предупредит г-жу Пютбю о невозможности ее дальнейшего пребывания здесь и заставит ее уехать поскорее. Несмотря на эти мысли, а также потому, что меня главным образом беспокоило присутствие Андре, успокоение, которое дали мне слова Альбертины, в слабой мере еще давало о себе знать, — я знал, впрочем, что вскоре буду менее нуждаться в нем, так как Андре вместе с Роземондой и Жизелью предстояло уехать почти в то самое время, когда все начинали съезжаться в Бальбек, и что с Альбертиной ей осталось провести всего несколько недель. К тому же в течение их Альбертина все свои слова, все свои действия подчиняла как будто одной цели — уничтожить все подозрения, если я еще не освободился от них, или не дать им воскреснуть. Она устраивалась таким образом, что никогда не оставалась наедине с Андре, при возвращении домой всегда настаивала на том, чтобы я проводил ее до самых дверей, а если мы собирались идти гулять — на том, чтобы я за ней зашел. Андре, со своей стороны, прилагала такие же старания и как будто избегала видаться с Альбертиной. И это явное сообщничество было не единственным признаком того, что Альбертина, верно, сообщила своей приятельнице о нашем разговоре и обратилась к ее доброте с просьбой помочь успокоить мои нелепые подозрения.

В эту пору в бальбекском Гранд-отеле разыгрался скандал, который отнюдь не мог бы дать другого направления моим тревогам. Сестра Блока уже некоторое время находилась с какой-то бывшей актрисой в тайных отношениях, которых им вскоре оказалось недостаточно. Им представлялось, что, привлекая всеобщее внимание, они придадут своему наслаждению еще более извращенный характер, им хотелось, чтобы их опасные шалости запечатлелись во взглядах всех присутствующих. Дело началось с обыкновенных ласк, которые еще можно было бы объяснить их нежной дружбой и которым они предавались в игорном зале, около одного из карточных столов. Потом они осмелели. И наконец однажды вечером, в зале для танцев, в углу, даже не темном, они, развалившись на диване, совсем перестали стесняться. Два офицера, оказавшиеся поблизости со своими женами, пожаловались директору. Сперва можно было подумать, что их жалоба будет иметь успех. Но против них говорили то, что, на один вечер приехав в Бальбек из Нетехольма, где они жили, они ничем не могли быть полезны директору. А между тем мадмуазель Блок даже без ее ведома и вопреки всем замечаниям, которые мог бы ей сделать директор, осеняло покровительство г-на Ниссима Бернара. Нужно сказать, почему г-н Ниссим Бернар был в высшей степени предан семейным добродетелям. Каждый год он для семьи своего племянника нанимал в Бальбеке роскошную виллу, и никакое приглашение не могло бы его заставить не вернуться к обеду в свой дом, который на самом деле превращался в их дом. Но он никогда не завтракал у себя дома. Каждый день он в двенадцать часов уже был в Гранд-отеле. Дело в том, что он, подобно тому, как другие содержат оперных фигуранток, содержал официанта, довольно похожего на тех грумов, о которых мы уже говорили и которые заставляли нас вспоминать о юных израильтянах в «Эсфири» и в «Аталии». По правде говоря, те сорок лет, что отделяли г-на Ниссима Бернара от молодого официанта, должны были бы предохранить последнего от малоприятной близости с этим лицом. Но, как и в тех же самых хорах с такой мудростью говорит Расин:

Пусть добродетели,

Господь, еще непрочной

Средь испытаний суждено брести.

Душа, к тебе стремясь, да будет непорочной,

Преграды встретив на пути.

Хотя юный официант и возрос «вдали от света» в бальбекском храме-отеле, он не последовал совету Иоада:

В сокровищах земных опоры не ищи.

На его решение повлияло, быть может, то, что он сказал себе: «Грешников земля полна». Как бы то ни было, хотя г-н Ниссим Бернар и не надеялся, что все произойдет так быстро, он в первый же день

То ласки был порыв иль, может быть, испуг,

Но ощутил он вдруг объятья нежных рук.[3]

А начиная со второго дня, когда г-н Ниссим Бернар отправился с официантом на прогулку, эта близость стала «источником заразы», губящей его невинность. С тех пор жизнь этого молодого существа потекла по-иному. Хотя он подавал хлеб и соль, как ему приказывал помощник метрдотеля, все лицо его так и пело:

Средь наслаждений и среди цветов

Желаньям нашим путь готов.

Коротких дней земных нам срок неведом.

Спешите в жизни радость брать!

А должностей и почестей печать —

Награда скромному повиновенью,

Слепой невинности терпенью,

Чей грустный голос мог бы прозвучать![4]

С того времени не было случая, чтобы г-н Ниссим Бернар хоть раз не пришел к завтраку и не занял своего места (как приходил бы на свое место в партере человек, содержащий фигурантку, в данном случае — фигурантку совсем особого рода, еще ожидающую своего Дега). Для г-на Ниссима Бернара было удовольствием следить взглядом, как в столовой и даже в ее отдаленных окрестностях, где под пальмой восседала кассирша, лавирует этот юноша, услуживающий решительно всем, за исключением только г-на Ниссима Бернара, по отношению к которому он проявлял меньше усердия с тех пор, как тот стал его содержать, — потому ли, что, по мнению юного левита, не стоило быть столь же любезным с человеком, в любви которого он был достаточно уверен, потому ли, что эта любовь его раздражала, или, как он опасался, могла бы лишит его других благоприятных возможностей, если бы о ней стало известно. Но даже эта самая холодность, в силу ли атавистических причин или потому, что его радовало осквернение христианского чувства, нравилась г-ну Ниссиму Бернару, пленяя его всем, что за ней скрывалось, и вся эта расиновская церемония, независимо от ее еврейского или католического характера, доставляла ему своеобразное удовольствие. Если бы она была настоящим представлением «Эсфири» или «Аталии», г-н Бернар пожалел бы, что разница в веках не позволяет ему быть знакомым с автором, Жаном Расином, от которого он мог бы добиться для своего протеже роли более значительной. Но так как церемония завтрака не была связана ни с каким автором, он ограничивался тем, что был в хороших отношениях с директором и с Эме, дабы «юного израильтянина» возвысили до желанной должности старшего официанта или даже помощника метрдотеля. Должность смотрителя погребов ему была предложена. Но г-н Бернар заставил его отказаться от нее, потому что иначе ему теперь не пришлось бы видеть каждый день, как тот носится по зеленой столовой, и на положении постороннего посетителя пользоваться его услугами. А удовольствие это было столь сильное, что г-н Бернар каждый год приезжал в Бальбек и завтракал там вне дома, — привычки, первую из которых г-н Блок объяснял поэтическими вкусами, любовью к ярким краскам, к закатам, лучи которых озаряют эти берега, заслуживающие предпочтения перед всеми другими, а вторую — укоренившейся манией старого холостяка.

По правде сказать, заблуждение родственников г-на Ниссима Бернара, не подозревавших истинной причины его ежегодных приездов в Бальбек и того, что педантическая г-жа Блок называла его изменами домашнему столу, это заблуждение было глубокой истиной более сложного порядка. Ведь г-н Ниссим Бернар сам не знал, в какой мере любовь к бальбекскому пляжу, к виду, открывавшемуся на море из ресторана, и его маниакальные привычки были связаны с его пристрастием, выразившимся в том, что он, словно оперную фигурантку особого разряда, еще не дождавшуюся своего Дега, содержал одного из своих слуг, тоже продававшего себя. Вот почему г-н Ниссим Бернар поддерживал превосходные отношения с директором театра, каким являлся бальбекский Гранд-отель, с распорядителем и режиссером Эме, чья роль во всей этой истории не блистала особой безупречностью. Может быть, со временем случится пустить в ход интригу, чтобы добиться покрупнее роли, — может быть, места метрдотеля. А пока что удовольствие, испытываемое г-ном Ниссимом Бернаром, при всей своей поэтичности и спокойной созерцательности, отличалось отчасти тем же свойством, какое присуще чувствам тех женолюбивых мужчин, — в былое время, например, Свана, — которые, собираясь ехать в свет, знают, что встретят там свою возлюбленную. Не успеет г-н Ниссим Бернар сесть на свое место, как уже увидит предмет своих желаний, выходящий на сцену и несущий в руках поднос с фруктами или сигарами. Вот почему каждое Утро, поцеловав свою племянницу, поинтересовавшись занятиями моего друга Блока и угостив своих лошадей кусочками сахара, которые он протягивал им на ладони, он лихорадочно торопился попасть к завтраку в Гранд-отель. В доме у него мог бы загореться пожар, у племянницы мог бы случиться припадок, а он, наверно, все-таки отправился бы туда. Недаром он как чумы боялся простуды, из-за которой пришлось бы лежать в постели, — ибо он был ипохондрик, — и которая заставила бы его просить Эме, чтобы тот еще до завтрака послал к нему его юного друга.

Он, впрочем, любил весь этот лабиринт коридоров, укромных комнаток, гостиных, гардеробных, кладовых, галерей, каким являлась бальбекская гостиница. В силу своего восточного атавизма он любил серали, и когда он вечером уходил, можно было видеть, как он украдкой исследует извилины этого лабиринта.

Меж тем как г-н Ниссим Бернар в поисках юных левитов отваживался спускаться даже в подвальные помещения и вопреки всему, стараясь остаться незамеченным и избежать огласки, приводил на память следующие стихи из «Еврейки»:

О бог сынов Израиля,

Сойди, явись средь нас,

Сокрой же наши тайны

От нечестивых глаз, —

я, напротив, поднимался в комнату двух сестер, приехавших в Бальбек на положении горничных с одной пожилой иностранкой. Они были то, что на языке гостиниц обозначалось словом «служанка», а на языке Франсуазы — словом «прислужница».

Несмотря на то, что клиенту отеля трудно было попадать в комнаты горничных — и наоборот, у меня весьма скоро завязались очень тесные, но вместе с тем и очень чистые дружеские отношения с этими двумя молодыми особами — девицей Мари Жинест и г-жой Селестой Альбаре. Они родились у подножия высоких гор, на берегах горных ручьев и потоков (вода протекала даже под самым их домом, подле которого вертелись колеса мельницы и который несколько раз становился жертвой наводнения), и это как будто наложило отпечаток на их характер. В Мари Жинест было больше какой-то размеренной живости и порывистости, в Селесте Альбаре — больше мягкости и томности, разливавшейся точно озеро, но она была подвержена повторявшимся время от времени страшным приступам возбуждения, и тогда гнев ее напоминал об угрозе потока и о водоворотах, которые все уничтожают. Они часто навещали меня по утрам, когда я еще лежал в постели. Я не знал других женщин, которые по своей воле оставались бы столь невежественными, которые решительно ничему не научились в школе и в речи которых было, однако, нечто столь литературное, что, если бы не естественность их

тона, почти что дикарская, в словах их можно было бы признать надуманность. С фамильярностью, в которой я ничего не меняю, — несмотря на все похвалы (приводимые здесь мной не для самопрославления, а для возвеличения своеобразного дара Селесты) и столь же неверные, но очень искренние критические замечания по моему адресу, которые как будто содержались в этих словах, — Селеста говорила мне, пока я макал подковки в молоко: «Ах вы, маленький черный бесенок с волосами как смоль, ах, шутник лукавый! Уж и не знаю, что думала ваша матушка, когда была беременна, — ведь все в вас птичье. Погляди-ка, Мари, не скажешь разве, что он чистит себе перья и шейку поворачивает так ловко, он на вид совсем легонький, скажешь, что он хочет научиться летать. Ах, повезло же вам, что вы родились у богатых людей, а то что бы случилось с вами, с таким-то расточителем. Вот он бросает прочь свою подковку, потому что она упала на простыню. Ну вот, теперь он еще розлил и молоко, погодите, я вам салфетку повяжу, а то вы не справитесь, — такого глупого и неуклюжего, как вы, никогда не видала». Тогда, словно шум потока, более размеренный, раздавались слова Мари Жинест, которая, придя в ярость, разносила сестру: «Да полно тебе, Селеста, замолчишь ли ты! С ума сошла, что так разговариваешь с мосье». Селеста только улыбалась, а так как я терпеть не мог, чтобы мне повязывали салфетку, она замечала: «Да нет же, Мари, посмотри-ка на него, вот он весь выпрямился, взвился, точно змееныш. Право, змееныш, говорю тебе». Она вообще была щедра на зоологические сравнения, и, если верить ей, когда я спал, я всю ночь порхал бабочкой, а днем бывал проворен, как белка. «Знаешь, Мари, совсем как у нас, такие быстрые, что глазами не уследишь». — «Ты же знаешь, Селеста, он не любит, чтобы ему давали салфетку, когда он ест». — «Не в том дело, что он этого не любит, это для того, чтобы он мог сказать, что против его желания не пойдешь. Он важный господин и хочет показать, что он важный господин. Если надо, простыни сменят хоть десять раз, но он не уступит. Вчерашние простыни уже отправились в дорогу, а сегодня не успели их постлать, как уж придется их менять. Ах! Верно я сказала, что нельзя ему было родиться бедным. Смотри-ка, волосы у него от гнева взъерошились, затопорщились. Бедный птенчик!» Тут уж не только Мари, но и я начинал протестовать, потому что вовсе не чувствовал себя важным господином. Но Селеста никогда не верила, что моя скромность может быть искренней, и, прерывая меня, восклицала: «Ах, мастер на выдумки, ах, кротость! Ах, лукавство! Ах, хитрец из хитрецов! Плут среди плутов! Ах, Мольер!» (это было единственное известное ей имя писателя, но на мне она применяла его потому, что подразумевала человека, который был бы в состоянии сочинять пьесы и вместе с тем разыгрывать их). «Селеста!» — повелительным тоном кричала Мари, которая, не зная имени Мольера, опасалась, как бы это не было новое оскорбление. Селеста снова начинала улыбаться: «Так, значит, ты не видела у него в ящике фотографию, когда он был ребенком. Он хотел, чтоб мы поверили, будто его одевали всегда очень просто. А вот он — с тросточкой в руке, весь в мехах да кружевах, каких никогда не было ни у одного принца. Но все это пустяк, если подумать, какой он величественный, а доброта его и того больше». — «Так теперь, — гремела, словно поток, Мари, — ты еще роешься в его ящиках». Чтобы отвлечь Мари от ее опасений, я спросил ее, что она думает о поведении г-на Ниссима Бернара. «Ах, сударь, это уж такие вещи, что я бы даже и не поверила. Надо было приехать сюда, — и, беря верх над Селестой, она изрекла слова еще более глубокие: — Ах, сударь, видите ли, никогда нельзя знать, чего только не бывает в человеческой жизни». Чтобы переменить тему, я заговорил с ней о жизни моего отца, который трудится день и ночь. «Ах, сударь! Это бывают такие жизни, что человек ничего не оставляет для себя, ни одной минутки, ни одной забавы, все — для других, это жизни отданные». — «Смотри, Селеста, вот он всего-навсего кладет руку на одеяло и берет свою подковку, а какое во всем достоинство. Стоит ему сделать что-нибудь самое простое, чуть подвинуться, — а все-таки скажешь, что вместе с ним шевелится вся французская знать, вплоть до самых Пиренеев».

Уничтоженный этим портретом, столь мало соответствующим истине, я умолкал; но Селеста видела в этом новую хитрость: «Ах, любик такой невинный с виду, а чего только не кроется за ним; щечки милые и свежие, точно миндаль, ручки словно шелковые, словно плюшевые, ногти — как коготки» и т. д. «Вот, взгляни-ка, Мари, с каким он сосредоточенным видом пьет молоко, — глядя на него, мне прямо хочется читать молитву! Что за серьезность! Вот теперь нужно было бы его снять. Все у него как у детей. Не оттого ли у вас и цвет лица как у детей, что вы тоже пьете молоко? Ах, молодость! Ах, красивая какая кожа! Вы никогда не состаритесь. Вам везет, вам ни на кого не придется поднимать руку, у вас такие глаза, которые умеют приказывать. Ну вот, теперь он рассердился. Приподнялся, весь выпрямился».

Франсуазе вовсе не нравилось, что эти две, как она их называла, «ласкательницы» приходят вести со мной такие разговоры. Директор, поручавший своим подчиненным следить за всем происходящим в гостинице, даже сделал мне важным тоном замечание, что разговаривать со служанками недостойно клиента. Я же, ставя моих «ласкательниц» выше всяких клиенток отеля, только расхохотался ему в лицо, уверенный, что моих объяснений он не поймет. И сестры продолжали приходить. «Взглянь, Мари, какое у него тонкое лицо. Ах, право, точно миниатюра, лучше не бывает, даже где-нибудь в витрине не найти такой драгоценности, такие уж у него повадки, а слушать его можно бы целые дни и ночи».

Просто удивительно, каким образом иностранке удалось увезти их с собой, потому что, не зная ни истории, ни географии, они без всяких оснований терпеть не могли англичан, немцев, русских, итальянцев, — всю эту иностранную «нечисть», — и любили, тоже не без исключений, только французов. Лица их до такой степени сохранили влажную податливость глины их родных рек, что едва только в их присутствии речь заходила о каком-нибудь иностранце, находящемся в отеле, Селеста и Мари, желая повторить сказанное им, тотчас же заменяли свое лицо его лицом, их рот становился его ртом, их глаза — его глазами, — хотелось запечатлеть, сохранить эти изумительные театральные маски. Селеста, делая вид, что только пересказывает слова директора или кого-нибудь из моих знакомых, даже вставляла в свой маленький рассказ, — но так, что нельзя было догадаться, — вымышленные замечания, с большим лукавством рисовавшие все недостатки Блока или председателя суда и т. д. Отчет о каком-нибудь простом поручении, которое она услужливо взялась исполнить, становился поводом для неподражаемого портрета. Они никогда ничего не читали, даже газет. Однажды все же они на моей кровати увидели книжку. Это были замечательные, но мало известные стихи Сен-Леже-Леже. Селеста прочитала несколько страниц и сказала мне: «Да вполне ль вы уверены, что это стихи, уж не загадки ли это скорее?» Несомненно, для человека, выучившего в детстве всего только одно стихотворение: «В этом мире сирень отцветает», — переход был слишком резкий. Думаю, что их упрямое нежелание чему бы то ни было учиться зависело в некоторой мере от нездорового климата их родного края. А между тем они отличались не меньшей одаренностью, чем какой-нибудь поэт, но большей скромностью, чем это обычно свойственно поэтам. Когда Селесте случалось сказать что-либо замечательное, а я, не помня больше ее слов, просил ее повторить их мне, она уверяла, что забыла. Они никогда не прочтут, но также и сами никогда не напишут ни одной книги.

Франсуаза немало поразилась, узнав, что братья этих женщин, столь простых, женились — один на племяннице архиепископа Турского, другой — на родственнице епископа Родесского. Директору это ничего бы не сказало. Селеста иногда упрекала своего мужа в том, что он ее не понимает, а я удивлялся, как он может ее выносить. По временам она, дрожащая от ярости, готовая все разломать, была отвратительна. Говорят, будто соленая жидкость, которую представляет собой наша кровь, есть не что иное, как внутренний пережиток

изначальной морской стии. Точно так же я думаю, что Селеста не только в своей ярости, но и в часы подавленности сохраняла в себе ритм ручьев родного своего края. Когда силы ее иссякали, сходство с ними оставалось: она действительно высыхала. Тогда ничто не могло ее оживить. Потом совершенно внезапно кровообращение начиналось снова в ее большом теле, пышном и легком. Вода вновь струилась под прозрачным опаловым покровом ее голубоватой кожи. Она улыбалась солнцу и становилась какой-то еще более голубой. В эти минуты она и вправду была небесной.

Хотя семейство Блока не подозревало истинной причины, по которой дядя никогда не завтракал дома, и с самого начала относилось к этому как к причуде старого холостяка, — все, касавшееся г-на Ниссима Бернара, было «табу» для директора бальбекской гостиницы. Вот почему, даже не сообщив дяде о случившемся, он не осмелился, в конце концов, признать неправоту племянницы, хотя и посоветовал ей быть более осмотрительной. А молодая девица и ее приятельница, которые в течение нескольких дней считали себя изгнанными из казино и из Гранд-отеля, видя, что все улаживается, были рады показать тем отцам семейств, которые заставляли их держаться поодаль, что они могут безнаказанно все себе позволить. Конечно, они не доходили до того, чтобы повторить на глазах у публики сцену, которая возмутила всех. Но мало-помалу к ним вернулись прежние повадки. И как-то вечером, когда я вместе с Альбертиной и Блоком, которого мы встретили, выходил из казино, где огни наполовину уже были потушены, мы увидели, что они идут в нашу сторону, обнявшись и все время целуясь, а поравнявшись с нами, они как бы закудахтали, мы услышали их смех и непристойные крики. Блок опустил глаза, чтобы не показать вида, будто он узнал свою сестру, а я терзался при мысли, что этот своеобразный и страшный язык рассчитан, может быть, на Альбертину.

Другой случай в еще большей мере повлиял на мои опасения, направив их в сторону Гоморры. На пляже я увидел молодую красивую женщину, стройную и бледную, из глаз которой исходили лучи света, геометрически столь правильные, что взгляды ее наводили на мысль о некоем созвездии. Я подумал о том, насколько эта девушка красивее Альбертины, и что много разумнее было бы отказаться от последней. На лице этой красивой молодой женщины оставил свои следы незримый резец жизни, полной большой низости, жизни, где никогда не брезгали пошлыми средствами, так что глазам, все-таки более благородным, чем самое лицо, суждено было отражать только вожделения и чувственные желания. Но вот на другой день в казино, где эта молодая женщина находилась на большом расстоянии от нас, я заметил, что она все время направляет на Альбертину перемежающиеся и перемещающиеся лучи своих взглядов. Можно было бы сказать, что она подает ей знаки, подобные огням, зажигающимся на маяке. Меня мучило, что моя приятельница может увидеть, какое на нее обращают внимание, я опасался, как бы эти все вновь и вновь загорающиеся взгляды не оказались условным знаком, сообщающим ей о любовном свидании, которое состоится завтра. Кто знает? Это свидание, может быть, не первое. Ведь не исключено, что молодая женщина с лучистыми глазами уже и раньше бывала в Бальбеке. Быть может, она потому осмеливается подавать ей эти сверкающие сигналы, что Альбертина уже уступила ее желаниям или желаниям какой-нибудь ее подруги. Если так, они не только требовали чего-то в настоящем, они в то же время ссылались на счастливые часы, принадлежащие прошлому.

В таком случае это свидание не должно было, наверно, быть первым, а являлось продолжением других таких же встреч, происходивших в другие годы. И действительно взгляды эти не спрашивали: «Хочешь ли?» Молодая женщина, едва только заметила Альбертину, повернулась к ней лицом и направила на нее свои сверкающие взгляды, отягощенные бременем памяти, — так, словно она боялась и с изумлением ждала, что моя приятельница не вспомнит. Альбертина, прекрасно видевшая ее, сохранила флегматическую неподвижность, так что дама, проявив такую же сдержанность, к какой бывает вынужден мужчина, когда видит свою бывшую возлюбленную в обществе нового любовника, перестала на нее глядеть и в дальнейшем уже не занималась ею, словно ее никогда и не существовало.

Но несколько дней спустя подтвердилась моя догадка о вкусах этой молодой женщины, а также мое предположение о том, что прежде она, вероятно, была знакома с Альбертиной. Однажды я увидел незнакомку, которую Альбертина якобы не узнала, как раз в такой момент, когда мимо нее проходила кузина Блока. Глаза молодой женщины заблестели, но было видно, что она не знакома с молодой еврейкой. Она видела ее в первый раз, чувствовала алчание и, несомненно, не ощущала той уверенности, что была у нее в отношении Альбертины, в которой она ожидала встретить товарища и на которую так твердо рассчитывала, что холодность ее вызвала в ней то удивление, какое испытывает приезжий, часто бывающий в Париже, когда, вновь вернувшись в этот город, чтобы прожить несколько недель, он, на месте маленького театрала, где он привык приятно проводить вечера, вдруг видит только что выстроенное здание банка.

Кузина Блока прошла и села у одного из столов, где стала рассматривать какой-то журнал. Вскоре молодая женщина с рассеянным видом уселась подле нее. Но вскоре, заглянув под стол, можно было бы увидеть, как слились воедино их руки и ноги, не дававшие ДРУГ другу покоя. Последовали и слова, завязался разговор, и наивный муж молодой женщины, повсюду разыскивавший ее, удивился, когда оказалось, что на сегодняшний вечер она строит планы с какой-то девушкой, ему незнакомой. Кузину Блока жена представила ему как подругу детства, назвав какое-то имя, которое нельзя было разобрать, — ведь она забыла спросить ее, как ее зовут. Но присутствие мужа заставило их сделать еще один шаг на пути сближения, они стали говорить друг другу «ты», так как знали друг друга еще в монастыре, — обстоятельство, над которым они немало смеялись впоследствии, так же как и над обманутым мужем, давая волю своей веселости, становившейся поводом для новых ласк.

Насчет Альбертины я не могу сказать, чтобы где-нибудь в казино или на пляже она проявляла чрезмерную вольность в обращении с молодыми девушками. Я даже находил какую-то преувеличенную холодность и пренебрежительность, казавшуюся не столько результатом хорошего воспитания, сколько хитростью, имевшей целью направить подозрения по ложному следу. У нее была особая манера — отвечать быстро и очень громко, тоном ледяным и благовоспитанным, на обращенный к ней вопрос какой-нибудь девушки: «Да, я в пять часов пойду играть в теннис. На купанье я завтра иду в восемь часов» — и тотчас же удаляться от той, которой она это говорила и у которой вид был такой, словно ей страшно хочется прибегнуть к обману и назначить свидание или же, вернее, уговорившись о нем вполголоса, вслух повторить эту, на самом деле ничего не значащую фразу, чтобы «не обратить на себя внимания». А когда порой я видел, что Альбертина садится на велосипед и как можно скорее уносится на нем, я не мог уже прогнать мысль, что она спешит соединиться с девушкой, которой почти ничего не успела сказать.

Когда какая-нибудь красивая молодая женщина у входа на пляж покидала автомобиль, Альбертина, по крайней мере, не могла удержаться, чтобы не обернуться. И сразу же давала разъяснение: «Я посмотрела на новый флаг, который они повесили над купальнями. Они могли бы быть и пощеднее. Старый флаг был довольно жалкий. Но право, кажется, этот еще того хуже».

Как-то раз Альбертина не удовольствовалась простой холодностью, и это меня еще больше огорчило. Мне, как она знала, было неприятно, что она может иногда встречаться с одной приятельницей своей тетки, приехавшей иногда на два-три дня к г-же Бонтан и отличавшейся «сомнительным поведением». Альбертина милым тоном сказала мне, что больше не будет с ней здороваться. И когда эта женщина приезжала в Энкарвилль, Альбертина говорила: «Кстати — вы знаете, что она здесь. Вам говорили?» — как бы стараясь показать мне, что она не видится с ней тайком. Однажды, говоря мне это, она прибавила: «Да, я встретила ее на пляже и нарочно, из грубости, почти что задела ее мимоходом, толкнула ее». Когда Альбертина сказала мне это, мне пришла на память одна фраза г-жи Бонтан, сказанная в моем присутствии у г-жи Сван и никогда не вспоминавшаяся мне, — фраза о том, какая дерзкая ее племянница Альбертина, — словно эта особенность есть достоинство, — и как она жене какого-то чиновника сказала, что ее отец был поваренком. Но слово той, которую мы любим, недолго сохраняется в своей чистоте; оно портится, оно подгнивает. Один или два вечера спустя я вновь подумал о фразе Альбертины, и эта фраза стала уже означать для меня не дурное воспитание, которым гордилась Альбертина и которое могло только вызвать мою улыбку, а нечто иное — то, что Альбертина, которая, может быть даже без определенной цели, желая привести в возбуждение чувства этой дамы или зло напомнить ей о давних предложениях, когда-то, может быть, и не отвергнутых, задела ее мимоходом, — думала теперь, что я об этом узнал, так как дело происходило на людях, и заранее решила предупредить неблагоприятное для нее истолкование.

Впрочем, ревности, которую вызывали во мне женщины, любимые, может быть, Альбертиной, суждено было внезапно оборваться.

Мы с Альбертиной находились на станции «Бальбек» маленькой железной дороги местного сообщения. Из-за дурной погоды мы приехали сюда в омнибусе, обслуживавшем гостиницу. Неподалеку от нас стоял г-н Ниссим Бернар, у которого был подбитый глаз. С недавних пор он изменял юному левиту из «Аталии» с деревенским парнем, который работал по соседству на ферме «Под вишнями», привлекавшей довольно много посетителей. У этого краснощекого парня с грубыми чертами лица вид был совершенно такой, словно голову ему заменял помидор. Точно такой же помидор служил вместо головы его брату-близнецу. Для беспристрастного созерцания этого совершенного сходства двух близнецов достаточно привлекательно было то, что природа, как будто внезапно перестроившись на промышленный лад, начала производить совершенно тождественные изделия. К несчастью, точка зрения г-на Ниссима Бернара являлась иной, и это сходство было не только внешним. Помидор № 2 самозабвенно удовлетворял вкусы дам, услаждая их собой, помидор № 1 не гнушался снисходить и к вкусам известного рода мужчин. И вот всякий раз, когда, словно неким рефлексом, подстегиваемый воспоминанием о приятных минутах, проведенных с помидором № 1, г-н Бернар являлся «Под вишнями», он, будучи близорук (впрочем, не нужно было быть близоруким, чтобы смешивать их) и бессознательно разыгрывая роль Амфитриона, обращался к другому близнецу и говорил: «Хочешь встретиться со мной сегодня вечером?» Он тотчас же получал основательную отповедь. Иногда она возобновлялась в течение одной трапезы, во время которой он продолжал со вторым разговоры, начатые с первым. Под конец это, по ассоциации идей, внушило ему такое отвращение к помидорам, даже к съедобным, что всякий раз, когда ему случалось слышать, как в Гранд-отеле какой-нибудь турист, сидящий рядом с ним, заказывает их, он шептал ему: «Извините меня, сударь, что обращаюсь к вам, не зная вас. Но я слышал, что вы заказали помидоры. Они сегодня гнилые. Говорю вам это в ваших интересах, потому что мне это все равно, я никогда их не ем». Турист горячо благодарил этого филантропического и бескорыстного соседа, вновь подзывал официанта и, притворяясь, будто он передумал, говорил: «Нет, помидоров все-таки не нужно». Эме, которому была знакома эта сцена, смеялся про себя и думал: «Он старый плут, господин Бернар, опять он сумел заставить переменить заказ». Г-н Бернар, в ожидании опаздывавшего трамвая, не стремился здороваться с Альбертиной и со мной — по причине своего подбитого глаза. А мы еще менее стремились заговаривать с ним. Однако это было бы почти неизбежно, если бы в этот момент к нам не подлетел мчавшийся с огромной скоростью велосипедист, в котором, когда он, запыхавшись, соскочил со своей машины, мы узнали лифтера. Немного времени спустя после моего отъезда телефонировала г-жа Вердюрен, звавшая меня послезавтра на обед, вскоре мы увидим — почему. Затем, сообщив мне подробности телефонного разговора, лифтер простился с нами и, — подобно тем демократическим служащим, которые держатся независимо по отношению к буржуа, а в своей среде восстанавливают авторитеты, — имея в виду, что швейцар и хозяин могли бы быть недовольны, если он запоздает, прибавил: «Лечу назад — из-за моих начальников».

Приятельницы Альбертины на некоторое время разъехались. Мне хотелось ее развлечь. Что касается мысли о том, что она могла бы быть счастлива лишь проводя свое время в Бальбеке со мной, то я знал, что счастье никогда не дается нам вполне и что Альбертина, находящаяся еще в том возрасте (из которого иные никогда и не выходят), когда еще не сделано открытие, что это несовершенство зависит от того, кто испытывает счастье, а не от того, кто его дает, — могла бы поддаться искушению и признать меня виновником своего разочарования. Я предпочитал, чтобы она приписывала его обстоятельствам, которые, будучи направляемы мной, не давали бы нам возможности беспрепятственно оставаться наедине, но вместе с тем не позволяли бы ей оставаться в казино или на моле без меня. Вот почему я попросил ее в тот день поехать вместе со мной в Донсьер, где я собирался повидать Сен-Лу. С той же самой целью — чем-нибудь ее занять — я советовал ей взяться за живопись, которой она когда-то училась. Работая, она не стала бы задавать себе вопрос, счастлива она или несчастна. Я также с удовольствием время от времени возил бы ее с собой обедать к Вердюренам или Камбремерам, которые, разумеется, рады были бы принимать мою приятельницу, представленную им мной, но сперва мне надо было удостовериться, что г-жи Пютбю еще нет в Ла-Распельере. Это я мог выяснить только на месте, а так как мне заранее было известно, что Альбертина послезавтра должна будет ехать со своей теткой куда-то в окрестности Бальбека, то я воспользовался этим и послал телеграмму г-же Вердюрен, спрашивая, не сможет ли она принять меня в среду. Если бы г-жа Пютбю оказалась там, я попытался бы повидать ее горничную, выяснить, есть ли опасность, что она попадет в Бальбек, а если так, узнать, когда именно, чтобы в эти дни я мог подальше уводить Альбертину. Местная железная дорога делала крюк, которого не было, когда я приехал сюда с бабушкой, и проходила теперь через Донсьер-ле-Гуниль, большую станцию, откуда отправлялись поезда дальнего следования и в частности экспресс, которым я приехал из Парижа для встречи с Сен-Лу и которым уезжал обратно. А из-за дурной погоды мы с Альбертиной воспользовались омнибусом Гранд-отеля, который и доставил нас на станцию «Бальбек-пляж».

Поезда еще не было, но был виден медленный и вялый дымовой султан, который он оставил по пути и который теперь, превратившись в обыкновенное облако, мало подвижное, медленно поднимался над зелеными прибрежными склонами Крикто. Наконец маленький поезд, предшествуемый этим дымом, который опередил его, чтобы затем пойти в вертикальном направлении, появился в свою очередь, столь же неторопливо. Пассажиры, собиравшиеся сесть в него, посторонились, чтобы дать ему место, но нисколько не спеша и зная, что имеют дело с добродушным, почти человекоподобным пешеходом, который, словно велосипедист-новичок, руководствуясь

предметными сигналами начал станции и находясь под могучей опекой машиниста, никого не мог бы свалить с ног и готов был остановиться там, где захотела бы публика.

Телефонный звонок г-жи Вердюрен объяснялся моей телеграммой, которая тем удачнее попала к ней, что по средам (а послезавтра должна была быть именно среда) у г-жи Вердюрен, в Ла-Распельер, так же как и в Париже, бывали большие обеды, чего я не знал. Г-жа Вердюрен «обедов» не давала, зато у нее были «среды». Среды были произведения искусства. Хотя г-жа Вердюрен и знала, что нигде на свете нет ничего подобного им, все же она устанавливала известные оттенки различия между ними. «Последняя среда не могла сравниться с предыдущей, — говорила она. — Но, кажется, следующая будет одной из самых удачных, какие вообще бывали у меня». Порою она даже доходила до таких признаний: «Эта среда не была достойна остальных. Зато я к следующей среде готовлю вам большой сюрприз». В последние недели парижского сезона, перед отъездом на дачу, хозяйка объявляла о закрытии сред. Это было поводом, чтобы оживить пыл «верных»: «Остается всего три среды, осталось всего две, — говорила она таким тоном, как если бы мир был близок к своей гибели. — Ведь вы же не пропустите следующую среду, закрытие сезона». Но это закрытие было мнимое, ибо она предупреждала: «Официально теперь сред больше нет: это была последняя. Но все-таки я по средам буду дома. Мы будем устраивать среды для себя; кто знает, может быть эти интимные маленькие среды еще окажутся самыми приятными». В Ла-Распельер среды поневоле ограничивались более узким кругом, а так как, встречая какого-нибудь знакомого, находившегося здесь проездом, его приглашали провести вечер, то почти каждый день была среда. «Я хорошенько не помню фамилий приглашенных, но знаю, что там будет госпожа маркиза де Камамбер», — сказал мне лифтер; воспоминанию о наших разговорах, относившихся к Камбремерам, не удалось окончательно заменить собой воспоминание об издавна известном слове, слоги которого, привычные и полные смысла, приходили на помощь молодому служащему отеля, когда его смущало это трудное имя, и он тотчас же отдавал им предпочтение и восстанавливал их — не из лени или любви к старому неискоренимому обычаю, а из потребности в логичности и ясности, которую они удовлетворяли.

Мы поторопились занять места в каком-нибудь пустом вагоне, где я в течение всего пути мог бы целоваться с Альбертиной. Но, ничего не найдя, мы сели в купе, где находилась уже дама с огромным лицом, уродливая и старая, мужеподобная по чертам, очень разряженная и читавшая «Revue des Deux Mondes». Несмотря на ее вульгарность, чувствовалась претенциозность вкусов, и меня забавлял вопрос, к какой социальной категории она могла бы принадлежать; я сразу же решил, что это, должно быть, содержательница какого-нибудь большого публичного дома, путешествующая сводня. Об этом кричали ее лицо, все ее манеры. Я только не знал до сих пор, что подобные дамы читают «Revue des Deux Mondes». Альбертина, указывая мне на нее, подмигнула мне и улыбнулась. У дамы вид чрезвычайно важный, а так как ей со своей стороны носил в себе сознание того, что послезавтра я приглашен к знаменитой г-же Вердюрен, живущей за конечной станцией этой маленькой местной железной дороги, что на одной из промежуточных станций меня ждет Сен-Лу, а проехав несколько далее, я доставил бы огромное удовольствие г-же де Камбремер, если бы решил погостить в Фетерне, то глаза мои искрились иронией, созерцая эту напыщенную даму, которая как будто считала, что благодаря своей изысканной манере одеваться, перьям на шляпе, своей «Revue des Deux Mondes», она является лицом более значительным, чем я. Я надеялся, что дама недолго останется в вагоне, не дольше, чем г-н Ниссим Бернар, и что выйдет она, по крайней мере, в Тутенвиле, но этого не случилось. Поезд остановился в Эвревиле, она продолжала сидеть. То же самое — в Монмартен-сюр-мер, в Парвиль-ла-Бенгар, в Энкарвиле, так что наконец, когда поезд миновал Сен-Фришу, последнюю станцию перед Донсьером, я, отчаявшись, начал уже обнимать Альбертину, не обращая внимания на старую даму. В Донсьере меня встретил Сен-Лу, которому, как он говорил, лишь с величайшим трудом удалось попасть на вокзал, потому что, живя у своей тетки, он только сейчас получил мою телеграмму, вследствие чего мог посвятить мне всего один час, не имея возможности заранее распределить свое время. Этот час показался мне — увы! — очень длинным, потому что, едва только выйдя из вагона, Альбертина все свое внимание обратила на Сен-Лу. Она не разговаривала со мной, еле-еле отвечала мне, когда я обращался к ней, оттолкнула меня, когда я к ней подошел. Зато, разговаривая с Робером, она смеялась своим искусительным смехом, была многоречива с ним, играла с его собакой и, дразня животное, нарочно задевала его хозяина. Я вспоминал, что в тот день, когда Альбертина впервые дала мне себя поцеловать, я посвятил улыбку благодарности тому неведомому соблазнителю, который вызвал в ней столь глубокую перемену и настолько облегчил мне задачу. Теперь я с ужасом думал о нем. Робер, должно быть, понял, что к Альбертине я неравнодушен, так как он не отвечал на ее заигрывания, а это рассердило ее и настроило против меня; потом он заговорил со мной так, словно я был здесь один, благодаря чему, когда Альбертина это заметила, я снова поднялся в ее мнении. Робер спросил меня, не хочу ли я попробовать разыскать его друзей, вместе с которыми я в свое время каждый вечер обедал у него в Донсьере и из которых иные еще оставались здесь. А так как он и сам впадал в ту раздражающую претенциозность, которую осуждал, то он прибавил: «И к чему тебе было с таким постоянством зачаровывать их, если теперь ты не хочешь повидаться с ними». Я отклонил его предложение, потому что не хотел рискнуть уйти от Альбертины, а также потому, что теперь я оторвался от них. От них, то есть от самого себя. Мы страстно желаем, чтоб была иная жизнь, в которой мы были бы подобны тому, чем являемся здесь, на земле. Но мы не думаем о том, что, даже не дожидаясь той, другой жизни, мы и в этом мире по прошествии нескольких лет изменяем тому, чем мы были, чем мы хотели бы остаться навсегда. Даже не прибегая к предположению, что смерть изменит нас в большей степени, чем превращения, которые происходят с нами в жизни, — если бы в той, другой жизни мы встретились с тем я, которым мы были, мы бы отвернулись от него, как от людей, с которыми были дружны, но уж давно не виделись, — вроде, например, приятелей Сен-Лу, тех самых, кого мне так приятно было встречать каждый вечер в «Золотом фазане», и в беседе с которыми мы бы испытывали только скуку и неловкость. В этом смысле, а также и потому, что я не хотел искать здесь то, что когда-то мне нравилось, прогулка по Донсьеру могла бы показаться мне предвосхищенным прибытием в рай. Мы часто мечтаем о рае или, вернее, о многочисленных раях, которые сменяют друг друга, но каждый раз, и притом еще задолго до нашей смерти, это оказывается потерянный рай, где и мы чувствовали бы себя потерянными. Он расстался с нами на вокзале. «Но может быть тебе придется ждать около часа, — сказал он мне. — Если ты проведешь его здесь, то, наверно, увидишь моего дядю Шарлюса, который уезжает в Париж, за десять минут до твоего поезда. Я простился с ним, так как должен быть у себя на месте до момента его отъезда. Я не мог сказать ему, что ты будешь здесь, так как не успел еще тогда получить твою телеграмму». На упреки, которые я высказал Альбертине, когда Сен-Лу ушел, она ответила мне, что своей холодностью со мной она на всякий случай хотела сгладить то впечатление, которое могло бы возникнуть у него, если в момент остановки поезда он видел, как я наклонялся к ней и обнимал ее за талию. Он действительно обратил внимание на эту позу (я не сразу заметил его, иначе я держался бы более чинно по отношению к Альбертине) и успел шепнуть мне на ухо: «Так это одна из тех чопорных девиц, о которых ты мне рассказывал и которые не желали бывать у мадмуазель де Стермариа, потому что считали ее недостаточно приличной?» Действительно, когда я приезжал из Парижа в Донсьер, чтобы повидаться с Робером, речь зашла о Бальбеке, я говорил ему, и притом вполне искренно, что с Альбертиной ничего не выходит, что она — воплощенная добродетель. А теперь, когда мне по собственному опыту уже давно было известно, что это неправда, мне еще более хотелось, чтобы Робер думал, будто это правда. Мне стоило лишь

сказать Роберу, что я люблю Альбертину. Он был из числа тех существ, которые умеют отказать себе в удовольствии, лишь бы избавить друга от страданий, которые он ощущал бы как свои. «Да, в ней очень много детского. Но ты ничего о ней не знаешь?» — прибавил я с беспокойством. — «Ничего, если не считать, что вы сидели как влюбленная пара».

— Ваше поведение ничего не сглаживало, — сказал я Альбертине, когда Сен-Лу ушел. — «Да, правда, — сказала она мне, — это было неудачно, я вас огорчила, мне это еще больше, чем вам. Вы увидите, что я больше никогда не буду такая; простите меня», — сказала она, с печальным видом протягивая мне руку. В эту минуту из глубины зала ожидания, где мы сидели, появился, медленно выступая, в сопровождении носильщика, который следовал за ним с вещами на некотором расстоянии, г-н де Шарлюс.

В Париже, где я встречал его только на вечерах, всегда неподвижного, в черном фраке, плотно облегающем его тело, всегда вертикально-прямого, ибо того требовали его гордая выправка, его желание нравиться, блеск его разговора, я не отдавал себе отчета, до какой степени он состарился. Теперь же, когда он в светлом дорожном костюме, в котором казался более толстым, шел вразвалку, раскачивая толстенький живот и виляя почти символическим задом, — беспощадный дневной свет, падая на его подкрашенные губы, на подбородок, присыпанный пудрой, которая держалась с помощью кольдкрема, на кончик носа, на его усы, густо-черный цвет которых контрастировал с седеющими волосами, — разлагал все то, что при свете огней способствовало бы впечатлению свежести и молодости.

Во время разговора с ним, — правда, кратко, ввиду близкого его отъезда, — я смотрел на вагон, где была Альбертина, знаком давая ей понять, что сейчас иду. Когда я снова повернулся лицом к г-ну де Шарлюсу, он попросил меня пойти позвать одного военного, его родственника, который находился по другую сторону рельсов, — так, как будто тоже собирался сесть в наш поезд, но только если бы он следовал в направлении, противоположном Бальбеку. «Он служит в полковом оркестре, — сказал мне г-н де Шарлюс. — Так как, на ваше счастье, вы еще достаточно молоды, а я, к несчастью, уже довольно стар, вы можете избавить меня от этого труда и дойти до той платформы». Я счел долгом отправиться к военному, которого он мне указал, и по лирам, вышитым на его воротнике, действительно, убедился, что он музыкант. Но в тот самый миг, когда мне предстояло исполнить данное мне поручение, — как я был удивлен и, могу сказать, обрадован, узнав в нем Мореля, сына лакея моего дяди, вызывавшего во мне столько воспоминаний. Я даже забыл о поручении г-на де Шарлюса. «Как! Вы в Донсьере?» — «Да, и меня зачислили в оркестр артиллерийского полка». Но сказано мне это было тоном сухим и высокопарным. Он стал большим позером, и, очевидно, мое присутствие, напоминавшее ему о профессии его отца, было ему неприятно. Вдруг я заметил, что к нам устремляется г-н де Шарлюс. Видимо, его рассердило то, что я задерживаюсь. «Мне сегодня вечером хотелось послушать музыку, — сказал он Морелю, без всякого вступления, — за вечер я плачу пятьсот франков, может быть, это представило бы некоторый интерес для кого-нибудь из ваших друзей, если они у вас есть среди оркестрантов». Хоть мне и была знакома заносчивость г-на де Шарлюса, все же я был поражен, что он даже не поздоровался со своим молодым другом. Впрочем, барон не дал мне времени для размышлений. С нежным видом, протянув мне руку, он сказал: «До свидания, дорогой мой», — давая уразуметь, что мне остается лишь одно — уходить. Впрочем, я уже слишком долго оставлял одну мою дорогую Альбертину. «Знаете, — сказала ей, вернувшись в вагон, — жизнь на морских купаньях и путешествия убеждают меня в том, что сцена света располагает меньшим числом декораций, чем актеров, и меньшим числом актеров, чем театральных «положений». — «По какому поводу вы мне это говорите?» — «Потому, что господин де Шарлюс попросил меня сейчас направить к нему одного из его друзей, в котором я вот здесь, на перроне этого вокзала, узнал одного из моих приятелей». Но, рассказывая об этом, я старался отгадать, каким образом барону могло быть известно все общественное несоответствие между ними, — обстоятельство, о котором я не подумал. Сперва мне пришло в голову, что он узнал о нем через Жюльена, дочь которого, как мы помним, как будто была влюблена в скрипача. Все-таки меня поразило, что перед самым отъездом в Париж, за каких-нибудь пять минут, барон выражал желание слушать музыку. Но, вызывая в своей памяти образ дочери Жюльена, я начинал склоняться к мысли, что в «узнаваниях» могла бы выражаться весьма существенная сторона жизни, если бы мы умели доходить до истинно-романтического, как вдруг меня осенило, и я понял, что был весьма наивен. Г-н де Шарлюс совершенно не знал Мореля, так же как Морель — г-на де Шарлюса, ослепленного, но вместе с тем приведенного в замешательство при виде этого военного, которого, правда, украшали всего только лиры, и в своем волнении попросившего меня привести к нему человека, о знакомстве которого со мной он и не подозревал. Во всяком случае 500 франков, предложенные им, должны были компенсировать для Мореля отсутствие каких-либо отношений в прошлом, так как я увидел, что они продолжают разговаривать, не думая, что они стоят рядом с нашим вагончиком. И, вспоминая в том, как г-н де Шарлюс подошел к Морелю и ко мне, я уяснил себе его сходство с иными из его родственников, которые на улицах увлекали за собой женщин. Но только здесь намеченный объект был иного пола. Начиная с известного возраста, и даже в том случае, если в нас совершаются всякого рода перемены, чем больше мы становимся самими собой, тем резче выступают семейные черты. Ибо природа, гармонически совершенствуя рисунок своей ткани, все же нарушает монотонность композиции разнообразием узоров, не доводимых ею до конца. Впрочем, высокомерие, с которым г-н де Шарлюс оглядел скрипача, зависело и от точки зрения, с которой его стали бы рассматривать. Его оценили бы три четверти светского общества, люди, привыкшие раскланиваться, но отнюдь не префект полиции, который несколько лет спустя установил за ним надзор.

— Парижский поезд готов к отправлению, сударь, — сказал носильщик, державший чемоданы. — «Да я вовсе не собираюсь ехать, оставьте все это на хранение, чорт возьми!» — сказал г-н де Шарлюс, давая двадцать франков носильщику, которого столь внезапная перемена в намерениях поразила, а подачка привела в восторг. Эта щедрость тотчас же привлекла продавщицу цветов. «Купите эти гвоздики, возьмите эту розу, милый господин, она вам принесет счастье». Г-н де Шарлюс, выведенный из терпения, подал ей сорок су, взамен которых женщина стала наделять его благословениями и опять-таки цветами. «Ах, боже, если бы она могла оставить нас в покое, — сказал г-н де Шарлюс, ироническим и жалобным тоном раздраженного человека обращаясь к Морелю, в котором ему отчасти приятно было искать поддержку. — То, о чем нам предстоит говорить, само по себе уже достаточно сложно». Может быть носильщик не успел еще отойти достаточно далеко, а г-н де Шарлюс не желал иметь многочисленных слушателей, может быть эти незначительные фразы позволяли его высокомерной застенчивости сделать менее резким переход к просьбе о свидании. Музыкант обернулся к продавщице цветов с видом властным и решительным и поднял руку ладонью наружу, как бы отталкивая эту женщину и давая ей знать, что цветы ее не нужны и что ей как можно скорее надо убираться. Г-н де Шарлюс с восхищением увидел этот повелительный и мужественный жест изящной руки, для которой он должен был бы быть еще слишком тяжеловесным, слишком громоздким и грубым, — жест, говоривший о твердости и гибкости, которые рано сказались в этом еще безбородом юноше, придавая ему сходство с юным Давидом, способным выступить в бой против Голиафа. К восхищению барона невольно примешивалась та улыбка, от которой мы не в силах удержаться, когда на лице ребенка видим выражение, чрезмерно серьезное для его возраста. «Вот приятно было бы, если бы этот человек сопровождал меня в моих путешествиях и помогал мне в моих делах. Как бы он упростил мою жизнь», — подумал г-н де Шарлюс.

Парижский поезд (в который барон так и не сел) ушел. Потом и мы с Альбертиной сели в наш поезд, и я не узнал, что же случилось с г-ном де Шарлюсом и Морелем. «Больше никогда не будем ссориться, я еще раз прошу у вас прощения, — снова сказала мне Альбертина, намекая на инцидент, связанный с Сен-Лу. — Постараемся всегда быть милыми друг с другом, — нежно сказала она мне. — Что касается вашего друга Сен-Лу, то если вы думаете, будто он сколько-нибудь меня интересует, вы очень ошибаетесь. Мне нравится в нем только то, что он, по-видимому, так любит вас». — «Он прекрасный малый, — сказал я, остерегаясь приписывать Роберу воображаемые достоинства, как я не преминул бы сделать из дружбы к нему, если бы находился не с Альбертиной, а с кем-нибудь другим. — Это чудный человек, прямой, самоотверженный, честный, на него всегда можно положиться». Говоря это, я, сдерживаемый моей ревностью, довольствовался одной только правдой насчет Сен-Лу, но ведь то, что я говорю, и была настоящая правда. А выливалась она как раз в те самые выражения, которыми, говоря о нем, пользовалась г-жа де Вильпаризи в ту пору, когда я его еще не знал, воображал его совершенно иным, высокомерным, и говорил себе: «Его хвалят потому, что он аристократ». Точно так же, когда она мне сказала: «Он будет так счастлив!», — я, увидев его потом перед зданием отеля с жожами в руках, думал, что слова его тетки были чистой светской банальностью, имевшей целью мне польстить. А впоследствии я отдал себе отчет, что она сказала это вполне искренно, имея в виду мои интересы, мои чтения и зная, что именно это и любит Сен-Лу, как однажды потом мне случилось столь же искренно сказать одному человеку, писавшему биографию его предка де-Ларошфуко, автора «Максим», и желавшему посоветоваться с Робером: «Он будет так счастлив». Ведь потом я его узнал. Но, видя его в первый раз, я не мог поверить, что ум, родственник моему, может скрываться под столь изысканной внешней оболочкой, какой являлись его одежда и манеры. Судя по наружности, я отнес его к какой-то особой породе. Теперь Альбертина, отчасти может быть потому, что Сен-Лу, из доброты ко мне, отнесся к ней с такой холодностью, — сказала мне то, что раньше я думал и сам: «Ну, неужели уж он такой самоотверженный? Я замечаю, что, когда человек принадлежит к Сен-Жерменскому предместью, ему всегда приписывают все добродетели». А ведь о том, что Сен-Лу принадлежит к Сен-Жерменскому предместью, я больше ни разу не думал за все те годы, в течение которых он, утрачивая в моих глазах свое превосходство, проявлял передо мной свои прекрасные качества. Таковы изменения перспективы, в которой нам представляются люди, — изменения, уже более разительные, когда дело идет о дружбе, а не о простых общественных отношениях, но еще более резкие, когда дело коснется любви, когда желание, обладающее столь обширной шкалой, увеличивает малейшие проявления холодности до таких огромных пределов, что для меня достаточно было холодности гораздо меньшей, чем та, которую вначале выказал Сен-Лу, чтобы вообразить, будто Альбертина пренебрегает мной, чтобы увидеть в ее подругах какие-то волшебные-бесчеловечные существа и чтобы приписать только снисхождению, которое оказывается красоте и известного рода изысканности, слова Эльстира, сказавшего мне о маленькой ватаге с такой же искренностью, с какой о Сен-Лу говорила г-жа де Вильпаризи: «Они хорошие девушки». И разве это были не те слова, в которых мне теперь хотелось бы выразить мое мнение об Альбертине, когда она говорила мне: «Самоотверженный он или нет, но во всяком случае я надеюсь никогда больше не встречаться с ним, раз он стал причиной нашей ссоры. Не надо нам больше сердиться друг на друга. Это нехорошо». Теперь, после того как Альбертина словно почувствовала влечение к Сен-Лу, я на время почти исцелился от мысли, что она любит женщин, ибо то и другое представлялось мне несовместимым. Я глядел на дождевой плащ Альбертины, в котором она казалась совсем иным человеком, неутомимой путницей дождливых дней, и который сейчас, плотно облекая ее, податливый и серый, казалось, не столько должен был защищать ее платье от воды, сколько сам был пропитан ею и прижимался к ее телу словно для того, чтобы сохранить на себе, как бы по желанию скульптора, отпечаток его форм, и я сорвал с нее этот плащ, ревниво скрывавший желанную грудь, и, притянув к себе Альбертину, со словами: «Мечтательная странница, ты хочешь, челом прикинув к моему плечу, предаться грезам!», обеими руками обнял ее голову и показал ей на широкие поляны, безмолвные и залитые водой, тянувшиеся в наступающих сумерках до самого горизонта, который замыкался параллельными рядами далеких, синеватых холмов.

Два дня спустя, в пресловутую среду, сидя все в том же самом поезде, которым я и на этот раз уехал из Бальбека, чтобы попасть к обеду в Ла-Распельер, я был весьма озабочен, как бы мне не пропустить Котара в Гренкур-ле-Васт, где, как сообщила, снова позвонив мне, г-жа Вердюрен, мне предстояло с ним встретиться. Он должен был сесть в тот же поезд и указать мне, где сойти, чтобы найти экипажи, которые из Ла-Распельер присылались на станцию. Вот почему, зная, что поезд лишь на минуту останавливается в Гренкуре, следующей станции после Донсьера, я уже заранее стал у окна, — так сильно опасался, что не замечу Котара или что он не заметит меня. Напрасные опасения! Я не отдавал себе отчета в том, что членов маленького клана, наложившего на них всех общий отпечаток, всех этих «завсегдатаев», ждавших сейчас на перроне и к тому же щеголявших по случаю обеда в самых парадных костюмах, столь легко было узнать по своеобразному выражению уверенности, изысканности и непринужденности, по взглядам, которые, минуя плотно сомкнутые ряды обыкновенных пассажиров, словно это было пустое пространство, следили, не покажется ли в окне вагона кто-нибудь из «завсегдатаев», севший в поезд на одной из предыдущих станций, и уже искрились в предвкушении близкой беседы. Печать, которую на членов маленького кружка, как на неких избранных, наложила привычка постоянно обедать вместе, отличала их не только тогда, когда они толпились вместе, подавляя своей численностью, выделяясь более ярким пятном среди стада пассажиров, — тех, которых Бришо обозначал словом «ресус», — чьи тусклые лица не отражали ни одной мысли, связанной с Вердюренами, не отражали надежды — пообедать когда-либо в Ла-Распельер. Впрочем, эти обыкновенные пассажиры ощутили бы интерес гораздо меньший, чем ощущал я, если бы при них произнесли, — несмотря на всю известность, приобретенную некоторыми из них, — имена этих «верных», которые продолжали обедать и на стороне, что вызывало во мне удивление, хотя по рассказам, слышанным мною, они это делали еще и до моего рождения, в эпоху слишком отдаленную и слишком неясную, чтобы у меня мог возникнуть соблазн преувеличить расстояние, отделявшее ее от меня. Контраст между неизменностью не только их бытия, но и всей полноты их сил, и исчезновением стольких друзей, то здесь, то там на наших глазах уже погружавшихся в небытие, порождает во мне такое же чувство, какое мы испытываем, когда в конце газеты читаем ту самую новость, которой меньше всего ожидали, например известие о чьей-нибудь преждевременной смерти, неожиданной для нас только потому, что причины, следствием которых она явилась, остались неизвестными нам. Это чувство говорит нам, что смерть неодинаковым образом настигает того или иного человека, но что некая волна, отделившись от других в своем трагическом стремлении вперед, уносит жизнь, расположенную на том же уровне, что и другие жизни, которые еще будут пощажены другими, несущимися ей вслед волнами. В дальнейшем мы, впрочем, увидим, что многообразие смертей, незримо окружающих нас, и есть причина той особой неожиданности, носителем которой в газетах являются некрологи. Потом мне стало ясно не только то, что с течением времени проявляется и достигает всеобщего признания подлинная одаренность, которая может совмещаться с величайшей пошлостью в разговоре, но также и то, что незначительные личности достигают тех высоких мест, которые наше детское воображение связывало лишь с какими-нибудь славными старцами, не учитывая того, что через известный промежуток времени в этих старцев превратятся их ученики, уже ставшие учителями и внушающие другим то уважение и тот страх, который они когда-то испытывали сами. Но если имена «верных» не были известны «ресус'у», то все же их наружность давала возможность их отличить. Даже когда (в силу случайностей, направлявших ход всего того, что им приходилось делать за день) они все вместе оказывались в поезде и на следующей станции

оставалось захватить лишь какого-нибудь одного одинокого спутника, — самый вагон, в котором они находились и который можно было узнать по локтю скульптора Ски, по номеру «Temps», служившему чтением Котару и украшавшему их купе, словно флаг, уже издали казался каким-то роскошным экипажем и на положенной станции давал приют их запоздавшему товарищу. Единственным, от кого, по причине его полуслепоты, могли ускользнуть все эти чудесные приметы, был Бришо. Но зато кто-нибудь из завсегдатаев добровольно брал на себя, по отношению к слепому, обязанности наблюдателя, и как только замечали его соломенную шляпу, зеленый зонтик и синие очки, его ласково и быстро направляли знаками к купе избранных. Таким образом, не бывало случая, чтобы кто-нибудь из «верных», если только он не осмеливался подать повод к самым серьезным подозрениям в легкомыслии или даже приехать не «по железной дороге», не встретился с остальными в пути. Иногда происходило обратное: кому-либо из «верных» в течение дня случалось уехать куда-нибудь довольно далеко, а значит часть пути он должен был оставаться один, пока к нему не присоединились остальные; но даже находясь в одиночестве, являясь единственным в своем роде, он и тогда чаще всего производил известное впечатление. То будущее, к которому он направлялся, накладывало на него особую печать в глазах сидевшего напротив пассажира, который решал про себя: «Это не кто-нибудь», замечал некий смутный ореол вокруг мягкой шляпы Котара или Ски и не особенно удивлялся, когда на следующей станции элегантно толпа встречала «верного» у двери вагона, если это был конечный пункт, и направлялась вместе с ним к одному из ожидавших экипажей, приветствуемая низкими поклонами довильского железнодорожного чиновника, или же, если дело происходило на станции промезуточной, заполняла собой купе. Последнее и было проделано, — притом с большой поспешностью, ибо некоторые прибыли с запозданием, как раз в тот момент, когда поезд, стоявший у платформы, должен был отправляться дальше, — компанией, которую быстрым шагом вел за собой Котар, увидевший меня в окне вагона, откуда я подавал ему знаки. Рвение Бришо, находившегося в числе «верных», еще возросло за эти годы, в течение которых, наоборот, рвение других охладело. Бришо, зрение которого постепенно все слабело, вынужден был, даже в Париже, все меньше и меньше заниматься по вечерам. К тому же он мало симпатизировал новой Сорбонне, где принципы научной точности, в немецком духе, начинали брать верх над идеями гуманизма. Он довольствовался теперь только чтением своего курса и участием в экзаменационных комиссиях; вот почему он гораздо больше времени мог уделять светской жизни. То есть — вечерам Вердюренов или вечерам, на которые порой приглашал Вердюренов кто-нибудь из «верных», трепеща от волнения. Правда, что два раза любовь чуть было не сделала то, чего не могли сделать ученые занятия, — чуть не оторвала Бришо от маленького клана. Но г-жа Вердюрен, которая всегда «была начеку» и в конце концов уже в силу привычки, усвоенной ради пользы ее салона, стала находить бескорыстное удовольствие в подобного рода драмах и расправах, бесповоротно поссорила его с опасной особой, умея, как она говорила, «всюду навести порядок» и «каленным железом прижечь рану». Это было для нее тем легче, что в одном из случаев опасной особой являлась не кто иная, как прачка профессора, и г-жа Вердюрен, которой открыт был доступ на пятый этаж, где жил Бришо, вспыхивавший от гордости, когда она удостоивала его посещения и поднималась к нему, попросту выставила за дверь эту негодную женщину. «Как, — сказала Бришо Хозяйка, — такая женщина, как я, оказывает вам честь и приходит к вам, а вы принимаете подобную тварь!» Бришо вечно помнил об услуге, которую ему оказала г-жа Вердюрен, не давая ему завязнуть в грязи на склоне лет, и все более и более привязывался к ней, меж тем как, в противоречии с его возраставшей симпатией, а может быть вследствие нее, хозяйке начинал надоедать этот слишком уж послушный адепт, на чью покорность она заранее могла рассчитывать. Но для Бришо его дружба с Вердюренами была источником блеска, выделявшего его среди всех его коллег по Сорбонне. Их приводили в изумление его рассказы об обедах, на которые никто из них никогда не будет приглашен, статья о нем где-нибудь в журнале или его портрет на выставке, работа того или иного известного писателя или художника, чей талант ценили и представители других кафедр словесного факультета, не имея, однако, никаких шансов привлечь к себе его внимание, наконец и самая элегантно этого светского философа, — элегантность, которую они сперва принимали за небрежность, пока их коллега благосклонно не разъяснил им, что цилиндр во время визита Рекомендуется ставить на пол и что его не полагается надевать, когда собираешься на какой-нибудь обед за городом, хотя бы и самый изысканный, в этом случае его должно заменять мягкой шляпой, прекрасно подходящей к смокингу. В течение первых секунд, пока маленькая кучка внедрялась в вагон, я даже не мог заговорить с Котаром, который задыхался и был вне себя — не столько оттого, что ему пришлось нестись бегом, лишь бы не упустить поезд, сколько от восхищения, что он так вовремя к нему поспел. Он испытывал не только радость удачи, он почти готов был смеяться, словно после веселого фарса. «Ах! Вот забавно-то! — сказал он, когда оправился. — Еще немного — и опоздали бы! Чорт возьми, вот что называется попасть в обрез!» — прибавил он, подмигивая, — не для того, чтобы спросить, правильно ли употреблено выражение, ибо уверенность была в нем теперь через край, а оттого, что он чувствовал себя удовлетворенным. Наконец он смог представить меня прочим членам маленького клана. Я был неприятно удивлен, увидев, что почти все они — в смокингах, как называют в Париже этот костюм. Я забыл, что Вердюрены предприняли попытку сближения с большим светом, робкую попытку, течение которой замедлило дело Дрейфуса, но ускоряла «новая» музыка, и которую сами они, впрочем, отрицали и продолжали бы отрицать до тех пор, пока она не удалась бы им, уподобляясь какому-нибудь генералу, который лишь тогда называет тот или иной объект военных действий, когда уже завладевает им, чтобы не давать повода к разговорам о неудаче — на случай, если он его не достигнет. Впрочем, большой свет был, со своей стороны, тоже вполне подготовлен к тому, чтобы пойти им навстречу. Он еще смотрел на них как на людей, у которых люди из высшего общества не бывают, но которые об этом несколько не жалеют. Салон Вердюренов считался храмом музыки. Говорили, что именно там находил вдохновение и поддержку Вентейль. А если соната Вентейля оставалась еще совершенно не понятой и почти неизвестной, то его имя, которое произносили как имя величайшего современного композитора, пользовалось необычайным авторитетом. Наконец, когда несколько молодых людей из Сен-Жерменского предместья решило, что в смысле образованности им не следовало бы уступать буржуа, среди них оказалось трое, которые учились музыке и для которых соната Вентейля значила чрезвычайно много. Возвращаясь домой, каждый из них рассказывал о ней умной матери, которой был обязан своим тяготением к культуре. И, заинтересованные занятиями своих сыновей, матери на концертах с некоторым почтением разглядывали г-жу Вердюрен, сидевшую в передней ложе и следившую за исполнением по партитуре. Пока что скрытое стремление Вердюренов к свету выразилось только в двух фактах. Во-первых, г-жа Вердюрен говорила о принцессе де Капрарола: «Ах! Она умна, это приятная женщина. Чего я не выношу — так это дураков, людей, которые мне надоедают, я от этого с ума схожу». Человеку, сколько-нибудь пронизательному, это могло бы дать повод думать, что принцесса де Капрарола, дама, принадлежавшая к самому высшему свету, была с визитом у г-жи Вердюрен. Принцесса даже произнесла это имя у г-жи Сван, к которой приезжала после смерти ее мужа выразить соболезнование и которую во время этого визита спросила, знает ли она Вердюренов. «Как вы сказали?» — переспросила Одетта, и вид ее вдруг выразил печаль. — «Вердюрены». — «Ах! В таком случае могу вам ответить, — продолжала она скорбным тоном, — я их не знаю, вернее — я знаю их, не будучи с ними знакома, я их встречала у одних друзей, давно уже, они люди приятные». Когда принцесса де Капрарола уехала, Одетта пожалела, что просто не сказала правду. Но явная ложь была не следствием ее расчетов, а проявлением ее опасений, ее желаний. Она отрицала не то, что уместно было бы отрицать, а то, что ей хотелось бы сделать небывшим, хотя бы собеседнику через час предстояло узнать, что на самом деле это было. Вскоре к ней вернулась прежняя уверенность, и, предвосхищая возможные вопросы, она, чтобы не подумали, будто она их боится, стала говорить: «Госпожа Вердюрен —

ну, как же! Я прекрасно знала ее» — с подчеркнутым смирением, словно аристократическая дама, рассказывающая о том, как она ехала в трамвае. «С некоторых пор много говорят о Вердюренах», — говорила г-жа де Сувре. Одетта, с презрительной улыбкой герцогини, отвечала: «Да, действительно, мне кажется, что о них много говорят. Время от времени бывает, что в обществе вдруг появляются новые люди», не думая о том, что сама она — в числе наиболее новых. «Принцесса де Капрарола у них обедала», — продолжала г-жа Сувре. — «А! А! — отвечала Одетта с нарочитой улыбкой. — Это меня не удивляет. Такие вещи начинаются с принцессы де Капрарола, а потом приходит еще кто-нибудь, например графиня Моле». У Одетты, когда она это говорила, вид был такой, словно она глубоко презирает обеих аристократических дам, имеющих обыкновение первыми являться в новооткрытые салоны. Смысл ее слов — как это чувствовалось по тону — был тот, что ни ее, Одетту, ни г-жу де Сувре не удастся затащить в столь ужасные места.

После признания г-жи Вердюрен, относившегося к уму принцессы де Капрарола, — вторым показателем того, что в сознании Вердюренов уже вырисовывается их будущее, было теперь их страстное желание, разумеется не выражавшееся ни в каких просьбах, чтобы гости являлись обедать в смокингах; племянник г-на Вердюрена, тот, что однажды «проигрался в пух и прах», мог бы теперь, не стыдясь, поклониться ему.

В числе тех, кто в Гренкуре сел в наш вагон, находился и Саньет, некогда выгнанный от Вердюренов своим двоюродным братом Форшвилем, но потом возвратившийся к ним. С точки зрения светской жизни он в прежние времена, несмотря на многие прекрасные свойства, своими недостатками — застенчивостью, желанием нравиться, бесплодными усилиями в этом направлении — немного напоминал Котара. Но если жизнь, заставив Котара, — правда, не в доме Вердюренов, где в силу того особого влияния, которое оказывает на нас прошлое, когда мы попадаем в привычный для нас круг, — он оставался почти тем же самым, а в среде пациентов, у себя на службе, в больнице, в Медицинской академии, — надевать на себя личину холодности, презрительности, важности, приобретавшую еще более отчетливый характер, когда он преподносил свои каламбуры снисходительным ученикам, — если жизнь вырыла целую пропасть между Котаром прежним и теперешним, то, напротив, у Саньета те же самые недостатки усиливались по мере того, как он старался избавиться от них. Часто испытывая скуку, чувствуя, что его не слушают, он, вместо того чтобы замедлить свою речь, как сделал бы Котар, завладеть вниманием с помощью апломба, не только старался шутивным тоном снискать прощение чрезмерно серьезному характеру своей беседы, но убыстрял свою речь, очищал ее от всего лишнего, прибегал к сокращениям, чтобы казаться менее многоречивым, более близким к тем вещам, о которых он говорит, и достигал лишь того, что, делая их непонятными, производил впечатление бесконечной тягучести. Его уверенность была совсем иная, чем уверенность Котара, повергавшего в ужас своих пациентов, которые людям, восхвалявшим его любезность в светском обществе, отвечали: «Это уже не тот человек, когда он принимает вас у себя в кабинете, сажает вас лицом к свету, а сам садится спиной к окну и сверлит вас своими глазами». Эта уверенность не импонировала, чувствовалось, что под ней скрывается слишком много застенчивости, что достаточно какого-нибудь пустяка — и она обратится в бегство. Саньет, которому его друзья всегда говорили, что он слишком мало доверяет себе, и который действительно видел, как люди, стоявшие значительно ниже его в его собственном и вполне справедливом мнении о них, с легкостью добиваются успехов, для него недостижимых, уже больше ни одного рассказа не начинал без улыбки, относившейся к его забавности, — из страха, как бы серьезный вид не помешал ему в выгодном свете выставить свой товар. Иногда, проявляя доверие к тому комизму, который сам он, по-видимому, находил в том, что собирался рассказать, ему оказывали милость и награждали всеобщим молчанием. Но рассказ совершенно проваливался. Лишь порою какой-нибудь гость, имевший доброе сердце, незаметно, почти что втайне старался ободрить Саньета улыбкой одобрения, которую украдкой обращал к нему, — так, чтобы никто не обратил внимания, подобно тому, как в руку вам всовывают записку. Но никто не брал на себя большую ответственность, не отваживаясь выразить свое сочувствие и рассмеяться во всеуслышание. После того как рассказ был окончен и погублен, огорченный Саньет еще долго не переставал улыбаться, словно смакуя про себя, как нечто самодовлеющее, то удовольствие, которое рассказ якобы доставил ему и которого другие не ощутили. Что касается скульптора Ски, называемого так из-за трудности, которую представляла для произнесения его польская фамилия, а также и потому, что сам он с тех пор, как жил в известного рода обществе, предпочитал, чтобы его не смешивали с весьма солидными, но несколько скучными и очень многочисленными родственниками, то он, в сорок пять лет и несмотря на крайне уродливую наружность, отличался своеобразной ребячливостью, мечтательной прихотливостью, с которой не расстался до сих пор только потому, что до десяти лет был очаровательнейшим вундеркиндом, баловнем всех дам. Г-жа Вердюрен утверждала, что он в большей степени художник, чем Эльстир. С последним, впрочем, его сближали только чисто внешние черты сходства. Их было достаточно для того, чтобы Эльстир, один лишь раз встретив Ски, почувствовал к нему то глубокое отвращение, которое нам, — в еще большей степени, чем существа совершенно непохожие на нас, — внушают те, кто похож на нас своими отрицательными особенностями, те, в ком сказывается все худшее, что есть в нас, недостатки, преодоленные нами, те, кто заставляет нас с досадой вспоминать о том, чем мы могли казаться иным людям, пока еще не успели стать тем, чем являемся сейчас. Но г-жа Вердюрен считала, что у Ски больше темперамента, чем у Эльстира, по той причине, что не было ни одного искусства, к которому он не имел бы способностей, и она была уверена, что эти способности он мог бы развить в талант, если бы был менее ленив. Самая его лень представлялась хозяйке особым дарованием, так как являлась противоположностью труду, который она считала делом существ неограниченных. Ски рисовал все, что угодно, рисовал на записках и на дверях. Он пел так, как поют композиторы, играл по памяти, извлекая из рояля оркестровую звучность, — правда, не столько благодаря своей виртуозности, сколько с помощью фальшивых басовых нот, означавших бессилие пальцев указать на то, что в таком-то месте слышится корнет-а-пистон, звук которого он, впрочем, воспроизводил ртом. Когда он о чем-нибудь рассказывал, он делал вид, будто подыскивает слова, чтобы уверить слушателя в ценности своих впечатлений, подобно тому, как он медлил брать аккорд, говоря «Бам», чтобы дать почувствовать звучание меди, и считался замечательно умным, хотя весь его ум сводился всего к двум-трем крайне куцым мыслям. Недовольный своей репутацией мечтателя, он упорно желал доказать, что он человек практический, положительный, почему и проявлял неуклонное демонстративное пристрастие к ложной точности, к ложному здравому смыслу, осложнявшееся у него полным отсутствием памяти и всегда неверными сведениями. Движения его головы, шеи, ног были бы грациозны, если бы ему и сейчас было только девять лет и если бы у него были светлые кудри, широкий кружевной воротник и красные кожаные сапожки. Заблаговременно придя вместе с Бришо на станцию в Гренкуре, он и Котар оставили Бришо в зале ожидания и решили немного пройтись. Когда Котар предложил возвратиться на станцию, Ски ответил: «Да ведь торопиться незачем. Сегодня ведь поезд не местный, а сквозной». В восторге от того эффекта, который этот оттенок точности произвел на Котара, он прибавил, говоря о себе самом: «Да, оттого, что Ски любит искусства, оттого, что он лепит из глины, все думают, будто он непрактичен. Никто лучше меня не знает эту железнодорожную линию». Они тем не менее все же вернулись на станцию, как вдруг, увидев дым маленького поезда, подходившего к платформе, Котар, испустив вопль, закричал: «Нам надо бежать, что есть мочи». Они, действительно, вернулись как раз вовремя, ибо разница между поездом местным и сквозным существовала только в уме Ски. «Но нягиня разве не едет тем же поездом?» — дрожащим голосом спросил Бришо, чьи

огромные очки, сверкающие, словно то зеркало, которое ларинголог надевает себе на лоб, чтобы осветить горло пациента, жили как будто той же жизнью, что и глаза профессора, уступившие им все, и, быть может, вследствие тех усилий, которые он делал, стараясь приспособить свое зрение к этим очкам, даже в самые незначительные моменты, казалось, глядели с настойчивым вниманием и необыкновенной пристальностью. Впрочем, болезнь, постепенно отнимая зрение у Бришо, открыла ему всю прелесть этого чувства, подобно тому, как иногда решение расстаться с той или иной вещью, например подарить ее, впервые заставляет нас обратить на нее внимание, пожалеть о ней, восхититься ею. «Нет, нет, княгиня поехала в Менвиль проводить гостей госпожи Вердюрен, которые должны были сесть там в парижский поезд. Не исключено даже, что госпожа Вердюрен, которой надо было быть в Сен-Марсе, находится вместе с ней. Таким образом, она присоединилась бы к нам, и мы бы вместе с ней проделали весь путь, это было бы прелестно. В Менвиле надо будет глядеть во все глаза и как следует! Да, как бы там ни было, можно сказать, что мы чуть было не опоздали. Когда я увидел поезд, я обомлел. Вот что называется — попасть в самый момент. Представьте себе, мы бы опоздали на поезд, и вдруг госпожа Вердюрен видит, как экипажи возвращаются без нас — картина! — прибавил доктор, еще не оправившийся от пережитого волнения. — Эта авантюра не совсем обыкновенная. Послушайте-ка, Бришо, что вы скажете о нашем приключеньце?» — с некоторой гордостью спросил доктор. — «Честное слово, — ответил Бришо, — если бы мы в самом деле не попали на поезд, это, как говорил покойник Вильмен, был бы прискорбный и прескверный случай». Но я, хотя мое внимание уже сразу отвлекли эти знакомые мне люди, я вдруг вспомнил то, что Котар говорил мне в танцевальном зале маленького казино, и как если бы невидимые звенья могли соединять тот или иной орган с образами памяти, образ Альбертины, прижимающейся к Андре, вызвал в моем сердце страшную боль. Боль эта быстро прошла: мысль о существовании отношений между Альбертиной и женщинами казалась мне уже невозможной с тех пор, как третьего дня заигрывание Альбертины с Сен-Лу возбудило во мне новую ревность, которая заставила меня забыть о прежних подозрениях. Я был наивен, как те люди, которые думают, что одна склонность неизбежно исключает другую. Так как поезд был переполнен, то в Аранбонвиле какой-то фермер в синей блузе, у которого был только билет третьего класса, сел в наше купе. Считая, что княгине нельзя будет ехать вместе с ним, доктор позвал железнодорожного служащего, предъявив карточку, удостоверявшую, что он — врач большой железнодорожной компании, и заставил начальника станции удалить фермера. Эта сцена до такой степени поразила и встревожила робость Саньета, что, едва только она началась, он, опасаясь ввиду множества крестьян, находившихся на перроне, как бы она не приняла пропорций Жакемии, притворился, будто у него заболел живот, и, во избежание обвинения, что он тоже в известной мере ответственен за жестокость доктора, отправился по коридору, якобы в поисках того, что Котар называл «water». Ничего не найдя, он стал смотреть на пейзажи, открывавшиеся по другую сторону «ползуна». «Если вы, мосье, впервые появляетесь у госпожи Вердюрен, — сказал мне Бришо, любивший показывать свои таланты «новичкам», — вы увидите, что нет другого дома, где бы лучше можно было чувствовать «сладости жизни», как говорил один из изобретателей дилетантизма и еще многих слов на изм, которые теперь в ходу у наших модниц, — я имею в виду господина принца де Талейрана». Ведь Бришо, когда говорил об этих аристократах прошлого, считал остроумным и «колоритным» предпосылать их титулам слово «господин» и говорил: «господин герцог Ларошфуко, господин кардинал Ретцский», которого время от времени он также называл: «этот struggle for life Гонди», этот «буланжист» Марсильяк. И он никогда не упускал случая, когда говорил о Монтескье, сказать с улыбкой: «Господин президент Секондо де Монтескье». Умного светского человека должен был бы раздражать этот педантизм, отзывающийся школой. Но в безукоризненной манере светского человека, когда он говорит о государях, тоже есть педантизм, выдающий принадлежность к особой касте, где имени «Вильгельм» предпосылают слово «император» и где в третьем лице обращаются к высочеству. «Ах! Что касается до него, — продолжал Бришо, говоря о «господине принце де Талейране» и где — то он заслуживает низкого поклона. Это подлинный родоначальник». — «Это очаровательный дом, — сказал мне Котар, — там вы найдете всего понемногу, потому что госпожа Вердюрен не признает никаких ограничений, там бывают знаменитые ученые, как Бришо, высшая аристократия, например княгиня Щербатова, знатная русская дама, подруга великой княгини Евдокии, у которой она бывает даже в такие часы, когда никого не принимают». Действительно, Великая княгиня Евдокия, не стремившаяся к тому, чтобы княгиня Щербатова, которую уже давно нигде не принимали, являлась к ней в такое время, когда у нее могли быть гости, звала ее приезжать лишь в очень ранние часы, когда у ее высочества не могло бы оказаться никого из тех друзей, которым столь же неприятно было бы встретиться с княгиней, насколько неудобно это было бы для последней. Так как уже в течение трех лет г-жа Щербатова, уходя, словно маникюрша, от великой княгини, тотчас же отправлялась к г-же Вердюрен, только что пробудившейся от сна, и больше не расставалась с нею, то можно было сказать, что верность княгини бесконечно превосходила даже верность Бришо, столь усердного посетителя сред, где он имел удовольствие чувствовать себя в Париже своего рода Шатобрианом в Аббэи-о-Буа, а на даче — неким подобием того, чем мог быть у г-жи де Шатле человек, которого он всегда называл (с лукавым видом и удовлетворением ученого): «Господин де Вольтер».

Отсутствие знакомств дало княгине возможность проявить по отношению к Вердюренам такую верность, которая делала из нее нечто большее, чем обыкновенную «правоверную», превращая ее в тип верности, в идеал, который г-жа Вердюрен долгое время считала недостижимым и воплощение которого на склоне лет увидела в этом новом члене своего кружка. Какой бы ревностью ни терзалась Хозяйка, все-таки не было случая, чтобы даже самые ревностные из числа «верных» не пропустили хоть одного раза. Величайшие домоседы соблазнялись возможностью путешествия; у самых целомудренных бывали романы; самые здоровые могли схватить грипп; самые праздные могли оказаться занятыми; самые бесчувственные могли уехать, чтобы закрыть глаза своей умирающей матери. И вотще г-жа Вердюрен говорила им тогда, подобно римской императрице, что она — единственный полководец, которому должен повиноваться ее легион, или подобно Христу или кайзеру — что тот, кто своего отца или мать свою любит так же, как ее, и не готов покинуть их, дабы идти за нею, недостоин ее, и что вместо того, чтобы терять силы, лежа в постели, или давать себя дурачить какой-нибудь девице, лучше пребывать подле нее, этого единственного источника исцеления и наслаждения. Но судьба, которая иногда не прочь бывает скрасить конец чьей-нибудь очень долгой жизни, позволила г-же Вердюрен встретить княгиню Щербатову. Будучи в ссоре со своей семьей, живя как бы в изгнании и поддерживая теперь знакомство только с баронессой Пютбю и великой княгиней Евдокией, к которым, поскольку ей не хотелось встречаться с приятельницами первой из них и поскольку вторая сама не желала, чтобы ее приятельницы сталкивались с княгиней, она ездила только в утренние часы, когда г-жа Вердюрен еще спала; не помня случая, чтобы ей хоть раз пришлось сидеть дома с тех пор, как в двенадцать лет у нее была корь, — она однажды, 31 декабря, когда г-жа Вердюрен, опасаясь оказаться в одиночестве, спросила ее, не сможет ли княгиня, несмотря на канун нового года, остаться ночевать у них, ответила: «Да и что могло бы мне помешать остаться у вас — все равно в какой день. Впрочем, в этот день принято оставаться в кругу своей семьи, а ведь вы моя семья». Скитаясь по пансионам и меняя их, когда Вердюрены переезжали в другой дом, она следовала за ними на дачу и с такой полнотой осуществила для г-жи Вердюрен содержание стиха Виньи:

Ты для меня — все то, к чему мы век стремимся, —

что председательница маленького кружка, стремясь обеспечить себе ее верность даже за пределами гроба, уговорила с ней, что та из

них обейх, которая умрет позднее, велит похоронить себя рядом с другой. По отношению к посторонним, — в числе которых всегда находится и тот, перед кем мы больше всего лжем, ибо его презрение нам было бы всего мучительнее, а это — мы сами, — княгиня Щербатова всячески старалась изобразить три свои дружбы — с великой княгиней, с Вердюренами, с баронессой Пютбю — как единственные, которые не по милости катаклизмов, независимых от ее воли, сохранились среди гибели всего остального, а явились плодом свободного выбора, заставившего ее предпочесть их всем другим, и которыми она и довольствовалась благодаря своеобразной любви к уединению и простоте. «Я больше ни с кем не вижусь», — говорила она, подчеркивая свою непоколебимость, скорее говорившую о добровольно принятом решении, чем о необходимости, которой приходится подчиняться. Она прибавляла: «Я посещаю только три дома» — подобно тому, как драматург, опасаясь, что его пьеса не увидит четвертого представления, объясняет, что она будет идти всего три раза. Верили ли г-н и г-жа Вердюрены в этот вымысел или не верили, — во всяком случае они помогли княгине укоренить его в умах всех «верных». И последние были убеждены в том, что княгиня среди тысячи знакомств, которые были в ее распоряжении, выбрала одних только Вердюренов, и вместе с тем, что Вердюрены, знакомства с которыми добывается вся высшая аристократия, согласились сделать одно только исключение — в пользу княгини. В их глазах княгиня, слишком возвышавшаяся над своим кругом, чтобы не скучать в нем, среди стольких людей, с которыми она могла бы поддерживать связи, находила приятными только Вердюренов, и в свою очередь последние, оставаясь глухими к предложениям всей аристократии, напрашивавшейся к ним, согласились сделать только одно исключение ради аристократической дамы более умной, чем другие ей подобные, — княгини Щербатовой.

Княгиня Щербатова была весьма богата, на всякую премьеру она брала большую ложу в бенуаре, куда, с одобрения г-жи Вердюрен, она приглашала «верных» и никогда никого постороннего. Все указывали друг другу на эту загадочную и бледную даму, которая постарела, не посевев, и стала даже более румяной, как некоторые растущие на шпалерах плоды, сморщенные и долго не портящиеся. Вызывали удивление ее могущество и ее скромность, ибо, являясь всегда в обществе академика Бришо, знаменитого ученого — Котара, известнейшего пианиста своего времени, позднее — г-на де Шарлюса, она все же нарочно старалась достать ложу, которая менее была бы на виду, сама оставалась в глубине ее, не обращала внимания на зрительный зал, жила только для маленькой кучки, которая еще до конца спектакля удалялась вслед этой странной властительнице, не лишённой своеобразной красоты — робкой, обаятельной и бледной. Но если г-жа Щербатова не глядела на публику, оставалась в тени, то только потому, что она старалась забыть, что существует живой мир, который она страстно хотела, но не могла узнать. Кружок, собиравшийся вокруг нее в ложе бенуара, был для нее тем, чем для некоторых животных является перед лицом опасности неподвижность, напоминающая смерть. Тем не менее страсть к новизне и ко всему необычному, терзающая светских людей, имела своим следствием то, что этой таинственной незнакомке они стали уделять больше внимания, чем знаменитостям, которые сидели в передних ложах и к которым все приходили в гости. Они воображали, что она — совсем иная, чем женщины, знакомые им, что необыкновенный ум в сочетании с пронизательностью и добротой удерживают подле нее этот маленький круг выдающихся людей. Княгиня, когда с ней о ком-нибудь заговаривали или кого-нибудь ей представляли, бывала вынуждена притворяться и проявлять величайшую холодность, чтобы сохранить в силе выдумку, будто свет внушает ей отвращение. Однако при поддержке Котара или г-жи Вердюрен некоторым все же удавалось познакомиться с ней, и ее упоение от этих новых знакомств достигало таких пределов, что она забывала сказку о добровольно избранном отшельничестве и безоглядно расточала себя ради нового пришельца. Если он был слишком незначителен, все удивлялись. «Как странно, что княгиня, которая ни с кем не хочет знакомиться, делает исключение для этого человека, столь незначительного». Но такие знакомства, оказывавшиеся небесплодными, были редки, и княгиня продолжала жить, замкнувшись в узком кругу «верных».

Котар говорил гораздо чаще: «Я увижу его в среду у Вердюренов», чем: «Я увижу его во вторник в Академии». Недаром он о средах говорил как о занятии столь же важным и столь же неизбежным. Впрочем, Котар был один из тех людей, знакомства с которыми не особенно добиваются и которые считают таким же неременным долгом откликнуться на какое-либо приглашение, как если бы оно представляло собой приказ, наподобие повестки в воинское присутствие или в суд. Чтобы он «пропустил» среду у Вердюренов, требовалось приглашение к пациенту очень серьезному, причем серьезность случая зависела скорее от общественного положении больного, чем от опасности болезни. Ибо Котар, хотя и добродушный человек, отказывался от прелестей среды не ради рабочего, разбитого ударом, а ради насморка министра. Да еще и в этом случае он говорил жене: «Хорошенько извинись за меня перед госпожой Вердюрен. Предупреди, что я приеду с опозданием. Это превосходительство могло бы выбрать другой день, чтоб простудиться». Однажды в среду, когда их старая кухарка порезала себе вену на руке, Котар, уже надевший смокинг, чтобы ехать к Вердюренам, пожал плечами на робкий вопрос своей жены — не сможет ли он перевязать раненую: «Да не могу же я, Леонтина, — жалобно воскликнул он, — ведь ты же видишь, что я в белом жилете». Чтобы не раздражать мужа, г-жа Котар поскорее послала за старшим врачом клиники. Последний, чтобы скорее к ним попасть, нанял экипаж, а так как он подоспел как раз в тот момент, когда карета Котара, направлявшегося к Вердюренам, выезжала из ворот, в которые должен был въехать экипаж врача, то целых пять минут ушло на всякие передвижения вперед и назад. Г-же Котар было неловко, что старший врач клиники увидит своего учителя в полном параде. Котар бранился по поводу этой задержки, впрочем, может быть, и под влиянием укоров совести, и уехал в отвратительном расположении духа, которое смогли рассеять только наслаждения, ожидавшие его на среде у Вердюренов.

Когда пациент Котара спрашивал его: «Встречаетесь ли вы иногда с Германтами?», — профессор, с полной верой в свои слова, отвечал: «Может быть, не с Германтами именно, не знаю. Но я вижу всех этих людей у одних моих приятелей. Вы, конечно, слышали о Вердюренах. И они уж знают решительно всех. Во всяком случае они не какие-нибудь снобы. Можно поручиться. Состояние госпожи Вердюрен обычно оценивают в тридцать пять миллионов. Что ж, тридцать пять миллионов — это цифра. Зато она и не скупится. Вы мне только что говорили о герцогине Германтской. Я вам скажу, в чем разница между ними: госпожа Вердюрен — это настоящая аристократка, а герцогиня Германтская, — вероятно, побируха. Вы улавливаете, в чем дело, не правда ли? Во всяком случае, ездят ли Германты к госпоже Вердюрен или не ездят, — она принимает, а это гораздо выше, — Щербатовых, Форшвилей и tutti quanti, людей самого высшего полета, всю знать Франции и Наварры, с которой, как вы могли бы видеть, я разговариваю совершенно запросто. Впрочем, этого рода личности охотно ищут знакомства с князьями науки», — прибавлял он с блаженной улыбкой честолюбца, появлявшейся на его губах от горделивого чувства удовлетворенности, однако не столько потому, что выражение, относившееся прежде к Печеню или к Шарко, применялось теперь к нему, сколько потому, что теперь он наконец как следует научился пользоваться всеми речениями, освященными обычаем, и, долгое время покоряв, он основательно овладел ими. Итак, назвав мне княгиню Щербатову в числе лиц, принимаемых г-жой Вердюрен, Котар добавлял, подмигивая: «Вот видите, что это за дом, понимаете, что я хочу сказать». Он хотел сказать, что не может быть ничего более великолепного. А между тем принимать у себя русскую даму, знакомую только с великой княгиней Евдокией, — это было немного. Но княгиня Щербатова могла бы и вовсе не быть с нею знакома, — от этого ничуть не

— мнение Котара о чрезвычайной изысканности салона Вердюренов и не пострадала бы его радость по поводу того, что его там принимают. Великолепие, которым, как нам кажется, окружены люди, с которыми мы знакомы, присуще им не в большей степени, чем театральным персонажам — та роскошь, ради которой директору не стоит тратить тысячи франков на покупку истинно-исторических костюмов и неподдельных драгоценностей, не производящих никакого эффекта, поскольку подлинный художник-декоратор дает в тысячу раз более грандиозное впечатление роскоши, направив луч искусственного света на камзол из грубого полотна, усеянный стекляшками, и на плащ, сделанный из бумаги. Бывает, что человек всю жизнь проводит среди великих мира, которые для него только скучные родственники или надоедливые знакомые, ибо привычка, усвоенная еще с колыбели, лишила их в его глазах всякого престижа. Но стоит каким-нибудь самым незначительным особам случайно приобрести этот престиж, и уже бесчисленных Котаров ослепляют титулованные дамы, чьи салоны в их воображении становятся средоточием аристократического изящества и которые даже не являются тем, чем были г-жа де Вильпаризи и ее приятельницы (пришедшие в упадок родовитые дамы, с которыми аристократы, росшие вместе с ними, уже не поддерживали связи); нет, если бы все те люди, так гордившиеся дружбой с этими женщинами, издали свои мемуары и назвали там их имена, а также имена тех, кого они у себя принимали, — никто, и г-жа де Камбремер не в большей мере, чем г-жа де Германт, не могла бы узнать в них определенных личностей. Но не все ли равно! Благодаря этому у Котара есть своя маркиза, заменяющая для него баронессу, подобную баронессе у Мариво, имя которой ни разу не называется и относительно которой даже в голову не приходит, что у нее когда-нибудь было имя. Котару она кажется тем более бесспорной представительницей аристократии, которая даже и не знает этой дамы, что гербы, чем более они сомнительные, тем большее место занимают на посуде, на столовом серебре, на почтовой бумаге, на сумках. Многочисленные Котары, думавшие, что они всю жизнь провели в самом центре Сен-Жерменского предместья, пожалуй, больше были во власти феодальных грез, зачаровывавших их фантазии, чем те, которые на самом деле жили среди принцев, подобно тому, как мелкий торговец, посещающий иногда по воскресеньям «старинные здания», порою сильнее всего ощущает Средневековье в тех из них, где, каждый камень принадлежит нашему времени, а своды окрашены в синий цвет и усеяны золотыми звездами, трудами учеников Вьолле-ле-Дюка. «Княгиня сядет в Менвиле. Она поедет вместе с нами. Но я не буду сразу же вас представлять. Пусть лучше это сделает госпожа Вердюрен. Разве что найдется удобный повод. Тогда будьте уверены, я им воспользуюсь». — «О чем это вы говорили?» — спросил Саньет, притворявшийся, будто он выходил подышать свежим воздухом. — «Я цитировал в разговоре с мосье, — сказал Бришо, — наверно известные вам слова того, кого я считаю одним из первых представителей «конца века» (восемнадцатого, разумеется), вышеназванного Шарля Мориса, аббата де Перигор. Вначале он подавал надежды, что станет хорошим журналистом. Но он дурно кончил, я имею в виду то, что он стал министром. В жизни бывают такие невзгоды. Политик он был, впрочем, малоцепетильный и, несмотря на аристократическую презрительность, не стеснялся порой работать на короля прусского, об этом уместно будет сказать, а умер сторонником левого центра».

В Сен-Пьер-дез-Иф в наше купе села ослепительная молодая девушка, — к несчастью, не принадлежавшая к маленькой кучке «верных». Я глаз не мог отвести от ее кожи, напоминавшей лепестки магнолии, от ее черных глаз, от ее замечательно сложенного тела, от ее высокого стана. Через какую-нибудь секунду она пожелала открыть окно, так как в купе было несколько душно, а так как один только я был без пальто, то, не желая спрашивать позволения у всех, она голосом быстрым, свежим и веселым сказала мне: «Мосье, это вам не будет неприятно — воздух?» Мне хотелось бы ответить ей: «Поезжайте с нами к Вердюренам», или «Скажите мне ваше имя и ваш адрес». Я ответил: «Нет, мадмуазель, воздух мне не мешает». А потом, не двигаясь с места, она опять спросила: «Дым не будет беспокоить ваших друзей?» — и зажгла папиросу. На третьей станции она быстро соскочила. На другой день я спросил Альбертину, кто бы это мог быть. Ибо я, считая подобно глупцу, что можно любить что-нибудь одно, и ревнуя Альбертину к Роберу, успокоился теперь насчет женщин. «Мне бы так хотелось встретиться с ней!» — воскликнул я. — «Успокойтесь, — ответила Альбертина, — встретиться всегда удается». В данном случае она ошиблась, я больше никогда не встречал эту красивую девушку с папиросой и не узнал, кто она. Впрочем, мы увидим, почему мне надолго пришлось отказаться от поисков. Но я ее не забыл. Часто, когда я вспоминаю о ней, мной овладевает страстное желание. Но этот возврат желания заставляет нас думать о том, что если мы хотим испытать прежнее удовольствие от встречи с этой девушкой, то надо было бы вернуться к году, отделенному от нас промежутком в десять лет, в течение которых девушка уже поблекла. Можно иногда вновь встретиться с человеком, но нельзя уничтожить время. Все это — вплоть до того дня, непредвиденного и печального, словно зимняя ночь, когда мы уже не ищем встречи ни с этой девушкой, ни с какой бы то ни было другой, когда встреча даже испугала бы нас. Ибо мы уже не чувствуем себя ни достаточно привлекательными, чтобы нравиться, ни достаточно сильными, чтобы любить. Это, разумеется, не значит, что мы становимся бессильны, в собственном смысле этого слова. А что до любви, то мы любили бы теперь так, как никогда. Но мы чувствуем, что это начинание слишком рискованное по тем малым силам, которые у нас еще сохранились. Вечный покой уже дает о себе знать, внося в нашу жизнь такие моменты, когда мы не в силах ни выйти из дому, ни начать разговор. Не ошибиться ступенью — это такая же удача, как успешный исход сальто-мортале. И показываться в этом виде девушке, которую любишь, хотя бы даже лицо и осталось таким же молодым, а волосы были все так же белокуры, как в пору юности! Мы уже не можем идти в ногу с молодостью и не рискуем так сильно утомляться. Тем хуже, если плотские вождения усиливаются, а не ослабевают. В угоду им мы зовем женщину, которой не будем стараться нравиться, которая лишь на один вечер разделит наше ложе и которую мы больше никогда не увидим.

— По-видимому, о скрипаче все еще нет никаких известий, — сказал Котар. Действительно, злободневным событием в маленьком клане являлось исчезновение любимого скрипача г-жи Вердюрен. Скрипач, отбывавший воинскую повинность вблизи Донсьера, три раза в неделю приезжал обедать в Ла-Распельер, так как получал отпуск на вечер. Но третьего дня «верные» в первый раз никак не могли найти его в поезде. Пришлось предположить, что он на него опоздал. Но напрасно г-жа Вердюрен посылала лошадей и к следующему, наконец — к последнему поезду, — экипаж вернулся пустой. «Его, наверно, посадили под арест, нельзя иначе объяснить его отсутствие. Ну, конечно, ведь вы же знаете, в военном деле для этого достаточно какого-нибудь сердитого фельдфебеля». — «Для госпожи Вердюрен, — сказал Бришо, — если он пропустит и сегодняшний вечер, это будет тем более убийственно, что у нашей любезной хозяйки именно сегодня в первый раз обедают соседи, которые сдают им Ла-Распельер, — маркиза и маркиз де Камбремер». — «Сегодня вечером, маркиза и маркиз де Камбремер! — воскликнул Котар. — Да я решительно ничего не знал об этом. Конечно, я так же, как все вы, знал, что они должны приехать, но я не знал, что так скоро. Чорт возьми, — сказал он, оборачиваясь ко мне, — что я вам говорил: княгиня Щербатова, маркиз и маркиза де Камбремер. — И, повторив эти имена, мелодией которых он упивался, прибавил: — Видите, у нас недурно получается. Во всяком случае вы для начала попадаете в самую гущу. Компания будет исключительно блестящая. — И, повернувшись к Бришо, он прибавил: — Хозяйка должна быть в ярости. Как раз кстати, что мы приедем ей на подмогу». С тех пор как г-жа

Вердюрена жила в Ла-Распельер, она притворилась перед своими «верными», что ее в самом деле приводит в отчаяние необходимость один раз пригласить к себе владельцев имения. Благодаря этому, — так она говорила, — удастся добиться более выгодных условий на будущий год, и делает она это только из корыстных побуждений. Но, по ее словам, обед с людьми, которые не принадлежат к их маленькой кучке, внушал ей такой ужас, представлялся ей чем-то столь чудовищным, что она все время его откладывала. Впрочем, он немного пугал ее именно по тем причинам, о которых она громогласно возвещала, — правда, преувеличивая их, — хотя с другой стороны он приводил ее в восторг по мотивам снобизма, которые она предпочитала скрывать. Таким образом, наполовину она была искренней, считая маленький клан одним из тех человеческих объединений, на создание которых нужны многие века, и чем-то столь исключительным, что дрожала при мысли о возможности появления в нем этих провинциалов, которые, будучи незнакомы с тетралогией и «Мейстерзингерами», не сумели бы исполнить свою партию в концерте общего разговора и, приехав к Вердюренам, были бы в состоянии погубить одну из этих чудесных сред, несравненных и хрупких шедевров, подобных произведениям из венецианского стекла, которые могут разбиться от одной фальшивой ноты. «К тому же они должно быть как нельзя более антидрейфусары и поклонники военщины», — сказал г-н Вердюрэн. — «Ну, что касается этого, то мне все равно, уж слишком долго все говорят об этой истории», — ответила г-жа Вердюрэн, которая, будучи истинной дрейфусаркой, все-таки желала бы блеском своего дрейфусарского салона заслужить признание света. А дрейфусарство одерживало победы в мире политическом, но не светском. Лабори, Рейнак, Пикар, Золя оставались для людей светских своего рода изменниками, которые могли только отдалить их от маленького кружка. Недаром после этого вторжения в область политики г-жа Вердюрэн стремилась вернуться к искусству. К тому же разве д'Энди, Дебюсси не играли «плохую» роль в «деле»? «Что касается дела, нам стоит только посадить их вместе с Бришо, — сказала она (так как профессор был среди «верных» единственным, кто стал на сторону генерального штаба, вследствие чего он сильно опустил ся во мнении г-жи Вердюрэн). — Не обязаны же мы вечно говорить о деле Дрейфуса. Нет, главное — это то, что Камбремеры для меня невыносимы». Что касается «верных», в такой же мере подстрекаемых тайным желанием познакомиться с Камбремерами, в какой они были введены в обман притворством г-жи Вердюрэн, уверявшей, что ей так неприятно будет их принимать, они в разговоре с ней каждый день возвращались к тем низким аргументам, которые она сама приводила в пользу этого приглашения, старались сделать их неотразимыми. «Решитесь раз навсегда, — повторял Котар, — и вы добьетесь льготных условий, они будут оплачивать садовника, а вы будете наслаждаться лужайками. Ради всего этого стоит поскучать один вечер. Я говорю только в ваших интересах», — прибавлял он, хотя сердце и забилося у него, когда однажды экипаж г-жи Вердюрэн, где он сидел вместе с ней, повстречался с экипажем старой г-жи де Камбремер, и хотя он чувствовал себя униженным в глазах железнодорожных служащих, когда на станции оказывался рядом с маркизом. В свою очередь Камбремеры, живя слишком далеко от течений светской жизни и даже не подозревая, что некоторые изысканные дамы с известным уважением отзываются о г-же Вердюрэн, воображали, что это — особа, которая может быть знакома с одной только богемой, пожалуй, даже не состоит в законном браке, а из людей «породистых» за всю жизнь увидит только их. Они лишь по необходимости решили отобедать у нее, чтобы остаться в хороших отношениях с жилицей, которая еще в течение многих сезонов будет возвращаться, как они надеялись, — особенно с тех пор, как в прошлом месяце узнали, что ей в наследство досталось столько миллионов. Молчаливо и без шуток дурного тона готовились они к роковому дню. «Верные» уже больше не надеялись, что он когда-нибудь настанет, столько уже раз г-жа Вердюрэн назначала дату этого обеда, вечно менявшуюся. Целью этих обманчивых решений было не только выставить напоказ ту досаду, которую ей причиняла мысль об этом обеде, но также держать в напряжении членов маленького кружка, живших по соседству и порою склонных к тому, чтобы «сбежать». Не то, чтобы хозяйка догадывалась, что «торжественный день» будет им так же приятен, как и ей самой, но, убедив их в том, что для нее этот обед — самое страшное время, она могла взывать к их преданности. «Вы же не оставите меня одну с этими китайскими болванами. Наоборот, мы должны быть в сборе, чтобы вынести скуку. Конечно, мы совсем не сможем говорить о том, что нас интересует. Это будет неудачная среда, что тут поделаешь».

— Действительно, — ответил Бришо, обращаясь ко мне, — мне кажется, что госпожа Вердюрэн, которая очень умна и вкладывает огромное изящество в устройство своих сред, отнюдь не стремилась принимать этих дворянчиков, высокородных, но не умных. Она не могла решиться пригласить старую маркизу де Камбремер, но согласилась принять ее сына и невестку. — «А! так мы увидим маркизу де Камбремер?» — сказал Котар с улыбкой, которой он счел нужным придать оттенок цинизма и жеманства, хоть он и не знал, красива ли г-жа де Камбремер или некрасива. Но титул маркизы вызывал в его уме образы обаятельные и легкомысленные. «Ах, я ее знаю», — сказал Ски, который встретил ее один раз, гуляя с г-жой Вердюрэн. — «Вы не знаете ее в библейском смысле слова», — бросая сквозь стекла пенсне двусмысленный взгляд, сказал доктор, который больше всего любил эту шутку. — «Она умна, — сказал мне Ски. — Разумеется, — прибавил он, видя, что я ничего не отвечаю, и с улыбкой подчеркивая каждое свое слово, — она умна, но вместе с тем и не умна, ей недостает образования, она легкомысленна, но у нее чутье к красивым вещам. Она будет молчать, но никогда не скажет глупости. И потом у нее красивый цвет кожи. Интересно было бы написать ее портрет», — заметил он в заключение, полузакрыв глаза, как если бы она позировала ему, а он на нее смотрел. Думая совершенно противоположное тому, что многочисленными нюансами выражал Ски, я только сказал, что она — сестра весьма выдающегося инженера, г-на Леграндена. «Ну что ж, вот видите, вас представляет хорошей женщиной, — сказал мне Бришо, — и никогда не известно, что из этого может получиться. Клеопатра даже не была важной дамой, это была просто маленькая женщина, неразумная и страшная маленькая женщина, какую ее сделал наш Мельяк, а посмотрите, какие последствия не только для этого простака Антония, но и для всего древнего мира». — «Я уже представлен госпоже де Камбремер», — ответил я. — «А-а! Но в таком случае вы окажетесь среди знакомых». — «Я тем более буду рад увидеть ее, — ответил я, — что она обещала дать мне работу старого священника из Комбре о названиях тамошних местностей, и я смогу напомнить ей об этом обещании. Меня интересует этот священник, а также толкование слов». — «Не слишком доверяйтесь тем, которые он дает, — ответил мне Бришо, — работа, которая находится в Ла-Распельер и которую я забавы ради перелистывал, по-моему не заслуживает внимания; она полна ошибок. Приведу вам один пример. Слово «Brîsq» входит в состав целого ряда местных названий, встречающихся здесь в окрестностях. Почтенному священнослужителю пришла в голову довольно несуразная мысль, что оно происходит от слова «brîga» — высота, укрепленное место. Он усматривает его уже в названиях кельтских племен — латобригов, неметобригов и так далее и прослеживает его даже в таких именах, как Бриан, Брион и так далее. Если вернуться к местности, по которой мы с вами имеем сейчас удовольствие ехать, слово Брикбоз должно было бы означать «лес на высоте», Бриквиль — «селение на высоте», Брикбек, где мы через какую-нибудь минуту остановимся, — ведь мы еще не доехали до Менвиля, — «высота вблизи ручья». А это совсем другое, — по той причине, что «brîsq» есть старое скандинавское слово, просто означающее мост. Точно так же «fleur», которое протеже госпожи де Камбремер с такими невероятными усилиями возводит то к скандинавским словам «floir», «flo», то к ирландскому слову «ae» и «aeg», без всякого сомнения представляет собой датское «flord» и означает порт. Точно так же этот милейший священник думает, что название станции Сен-Мартен-ле-Ветю (Saint-Martin-le-Vetu), находящейся по соседству с Ла-Распельер, означает Сен-Мартен-ле-Вье (Saint-Martin-le-Vieux) — vetus. Несомненно, слово «vieux» играло большую роль в топонимике этой области. «Vieux» обычно возводится к

«vadium» и означает брод, как в местности, носящей название «les Vieux». Это то, что англичане называют «ford» (Oxford, Hereford). Но в данном случае «vieux» происходит не от «vetus», а от «vastatus», голого и опустошенного места. Здесь поблизости вы найдете Commebacva, — «vast» Сетольда, «Брильваст» — «vast» Берольда. Я тем более уверен в ошибке кюре, что «Saint-Martin-le-Vieux» назывался раньше «Saint-Martin du Gast» и даже «Saint-Martin de Terregate». А «v» и «g» в этих словах — одна и та же буква. Говорят: «devaster», но также и «gacher». «Jacferes» и «gätines» (от верхненемецкого «wastinna») имеют тот же смысл: «Terregate» — это, следовательно, «terra vasta». Что касается Сен-Марса, называвшегося прежде (не думайте ничего дурного) «Saint-Merd», то это — «Saint-Medardus»; которого называют то «Saint-Medard», то «Saint-Mard», то «Saint-Marc», то «Cinq-Murs» и, наконец, даже «Dammas». Не следует, впрочем, забывать, что здесь совсем близко есть места, носящие то же название «Марс» и тем самым попросту свидетельствующие о языческом начале (бог Марс), которое привилось в этих краях, но которое святой человек отказывается признать. Возвышенности, посвященные богам, здесь, в частности, многочисленны, — например гора Юпитера (Jeumont). Ничего этого ваш священник не желает видеть, но зато всюду, где христианство оставило следы, они от него ускользают. В своих странствиях он дошел до Loctudy, варварского слова, как он утверждает, меж тем как это — Locus Sancti Tudenii, и в имени «Sammarcoles» он также не угадал Sanctus Martialis. Ваш священник, — продолжал Бришо, видя, что заинтересовал меня, — производит слова на «hon», «home», «holm» от слова «holl» (hullus) — холм, меж тем как оно происходит от скандинавского «holm» — «остров», которое вам знакомо по Стокгольму и которое здесь всюду так распространено в составе местных названий — la Houleme, Engohomme, Tahoune, Robehomme, Nehomme, Quettehon и так далее». Эти названия заставили меня вспомнить тот день, когда Альбертина захотела поехать в Амфревиль-ла-Бигот (место, названное так по имени двух своих владельцев, из которых один наследовал другому, как пояснил мне Бришо), где она потом предложила мне пообедать вместе в Робэоме. Что до Мон-Мартена, то нам через какую-нибудь минуту предстояло проехать это место. «Ведь от Нэома, — спросил я, — кажется, недалеко до Каркетюи и Клитурпса?» — «Совершенно верно, Нэом (Nehomme) — это «holm», остров или полуостров знаменитого виконта Нигеля, чье имя сохранилось также в названии «Невиль». Каркетюи и Клитурпс, которые вы упомянули, служат для протезы госпожи де Камбремер поводом к новым ошибкам. Конечно, он обнаруживает, что «сарке» — это церковь, немецкое «Kirche». Вам знакомо название «Керквиль» (Quequeville), не говоря уже о Дюнкирхене (Dunkerque). Но если так, то нам лучше было бы остановиться на этом пресловутом слове «Dun», которое у кельтов означало возвышенность. И это вы встретите по всей Франции. Ваш аббат был загипнотизирован названием Дюнвиль, которое связалось для него с департаментом Эры и Луары; Шатоден и Ден-ле-Руа он открыл бы в Шере, Дюно — в Сарте, Ден — в Арьеже, Дюн-ле-Плас — в Ньевре и так далее и так далее. Это «Ден» (Dun) заставило его сделать любопытную ошибку, касающуюся Дувилья, где мы выйдем из поезда и где нас ждут удобные экипажи госпожи Вердюрен. Дувилья, — говорит он, — это латинское «donvilla». В самом деле, Дувилья находится у подножья высоких холмов. Ваш всеведущий аббат чувствует все-таки, что он допустил оплошность. Действительно, в какой-то древней монастырской росписи он прочел слово «Domvilla». Тут он поправляется: Дувилья, по его словам, — это ленное владение аббата, Domino Abbati, монастыря Святого Михаила. Это его радует, что довольно курьезно, если подумать о той позорной жизни, которую со времен «Капитулярия», изданного в Сен-Клере на Эпте, вели в этом монастыре, и что не должно было бы казаться более необычайным, чем мысль, будто король датский был сюзереном всего этого побережья, где культ Одина он насаждал более ревностно, чем христианство. С другой же стороны, предположение, что «n» перешло в «m», не смущает меня и в качестве предположения требует меньших звуковых искажений, чем благополучнейшее название «Лион» (Lyon), которое также происходит от «Dun» (Lugdunum). Но аббат, как бы то ни было, ошибается. Дувилья никогда не был Донвилем, а был Довилем, Eudonis Villa, селением Эда. Дувилья раньше назывался Эскалеклиф, лестницей в овале. В 1233 году Эд-Кравпий, сеньер Эскалеклифа, отправился в Палестину; перед своим отъездом он передал церковь аббатству Бланшеланд. В память о нем деревня приняла его имя, откуда название Дувилья. Но прибавлю, что топонимия, в которой я, впрочем, весьма несведущ, не есть точная наука; если бы у нас не было этого исторического свидетельства, Дувилья прекрасно мог бы происходить от д'Увиля (d'Ouilles), то есть от слова «Воды» — «Eaux». Формы на «ai» (Aigues-Mortes), происшедшие из aqua, очень часто изменяются в «eu», в «ou». А совсем близко от Дувилья был знаменитый источник, Каркебют. Вы представляете себе, как священник должен быть рад, что открыл здесь какие-то следы христианства, хотя как будто в этих краях трудно было проповедывать Евангелие, поскольку здесь сменились, один за другим, святой Урсал, святой Гофруа, святой Барсанор, святой Лаврентий Бредедентский, которого наконец сменили монахи Бобека. Но что касается «tuit», то наш автор ошибается, он видит в этом слове одну из форм слова «toft» — «лачуга», встречающуюся в «Cricquetot», «Ectot», «Ivetot», меж тем как это «tveit» — пашня, распаханное поле, слово, входящее в состав «Brasquetuit», «Thuit», «Regnetuit» и так далее. Точно так же, если в имени «Clitourps» он признает нормандское «thorp», означающее деревню, то первую часть слова он желает вывести из «clivus», что означает «склон», тогда как оно происходит от слова «cliff» — «скала». Но самые крупные его промахи зависят не столько от его невежества, сколько от предрассудков. Каким бы он ни был патриотом, разве можно отрицать очевидное и принимать святого Лаврентия-ан-Брэ за римского священника, столь знаменитого в ту пору, тогда как дело идет о святом Лоуренсе О'Туль, архиепископе Дублинском. Но причиной грубых ошибок вашего друга еще в большей мере, чем патриотическое чувство, является его религиозная предвзятость. Так, недалеко от хозяев, ждущих нас в Ла-Распельере, есть два Монмартена: Монмартен-сюр-Мер и Монмартен-ан-Грень. Что касается до Грень, то милый кюре ошибки не сделал, он понял, что «Graignes», латинское «Grania», греческое «Crene», означает пруды, болота; сколько можно было бы привести в пример всяких «Cresmays», «Croen», «Gremeville», «Lengronne»? Но в отношении «Монмартена» ваш мнимый лингвист непременно желает, чтобы дело тут шло о церковных приходах, посвященных святому Мартину. Он слышится на то, что этот святой — их покровитель, но не отдает себе отчета в том, что он стал им лишь впоследствии; вернее, он ослеплен своей ненавистью к язычеству, он не хочет понять, что если бы дело шло о святом Мартине, то говорили бы «Мон-Сен-Мартен», подобно тому как об аббатстве святого Михаила говорят «Мон-Сен-Мишель», а между тем название «Монмартен» на гораздо более языческий лад связывается с храмами, посвященными богу Марсу, — храмами, от которых, правда, не осталось никаких следов, но существование которых, поскольку в окрестностях есть бесспорные следы римских укреплений, является более чем вероятным, даже если бы не было названия «Монмартен», которое уничтожает всякие сомнения. Вы видите, что книжечка, которую вы найдете в Ла-Распельере, не из самых лучших». Я возразил, что в Комбре священник часто давал нам интересные толкования слов. «Там у него, очевидно, была более твердая почва, переезд в Нормандию сбил его, верно, с толку». — «И не вылечил его, — прибавил я, — ведь приехал он с неврастенией, а уехал с ревматизмом». — «О! Виновата тут неврастения. От неврастения он бросился к филологии, как сказал бы мой милый учитель Поклен. Скажите-ка, Котар, не считаете ли вы, что неврастения может иметь вредное влияние на филологию, филология может оказать успокаивающее действие на неврастению, а исцеление от неврастения — привести к ревматизму?» — «Это вполне возможно, ревматизм и неврастения — две разновидности невроартритизма. От одной из них можно перейти к другой путем метастаза». — «Знаменитый профессор, — сказал Бришо, — выражается на французском языке с такими примесями латыни и греческого, на которые, да простит мне Бог, был бы способен сам господин Пюргон, достопамятный мольеровский герой. Спасите, дядюшка, то есть я хотел сказать — наш отечественный Сарсе...» Но он не смог закончить фразу. Профессор вдруг подскочил на месте и испустил вопль: «Чорт возьми, — воскликнул он, переходя наконец к

нераздельной речи, — мы проехали Менвилль (ox! ox!) и даже Ренвилль». Он увидел, что поезд останавливается в Сен-Марс-ле-Вье, где сходят почти все пассажиры. «Однако они же не могли проскочить остановку. Мы, верно, не обратили внимания, заговорившись о Камбремерах». — «Послушайте-ка, Ски, погодите, я скажу вам одну хорошую вещь, — сказал Котар, пристрастившийся к этому выражению, которое было принято кое-где в медицинских кругах. — Княгиня должна быть в поезде, она, верно, не заметила нас и села в другое купе. Идемте ее искать. Только бы из-за этого не вышло какого-нибудь недоразумения!» И он повел нас всех за собой — разыскивать княгиню Щербатову. Она, оказалось, сидела в пустом купе, в углу, занятая чтением «Revue des Deux Mondes». Из страха натолкнуться на грубость она уже давно усвоила обыкновение — сидеть на своем месте, оставаться в углу, как в жизни, так и в поезде, и, прежде чем подать руку, ждать, чтобы с ней поздоровались. Она продолжала читать, когда «верные» вошли к ней в вагон. Я тотчас же узнал ее; эта женщина, которая могла утратить свое положение, но не могла стать менее родовитой, и во всяком случае являлась жемчужиной такого салона, как салон Вердюрен, — это была дама, которую третьего дня, в том же самом поезде, я принял за содержательницу публичного дома. Я сразу же уяснил себе ее социальный облик, столь неопределенный, едва только я узнал ее имя, подобно тому, как, помучившись над загадкой, мы наконец узнаем решение ее, которое делает ясным все то, что оставалось неизвестным, и роль которого для людей играет имя. Узнать через два дня, кто была особа, рядом с которой мы ехали в поезде, не в силах будучи определить ее социальную принадлежность, — неожиданностью гораздо более занимательной, чем та, которую мы испытываем, читая в новом номере журнала решение загадки, предложенной в номере предыдущем. Большие рестораны, казино, дачные поезда-«ползуны» служат музеями этих социальных загадок. «Княгиня, мы пропустили вас в Менвилле! Вы разрешите нам сесть в ваше купе?» — «Ну конечно, — сказала княгиня, которая, услышав обращенные к ней слова Котара, только тогда оторвалась от журнала и подняла глаза, прекрасно видевшие, точно так же как и глаза г-на де Шарлюся, хотя в них и была большая мягкость, тех людей, присутствия которых она словно не замечала. Котар, подумав о том, что самый факт приглашения вместе с Камбремерами служит для меня достаточной рекомендацией, решил, минутой спустя, представить меня княгине, которая весьма вежливо наклонила голову, но видом своим показывала, что впервые слышит мое имя. «Проклятие! — воскликнул доктор. — Моя жена забыла переменить пуговицы на моем белом жилете. Ах, женщины! Ни о чем они не думают. Знаете, никогда не женитесь», — сказал он мне. А так как это входило в число тех шуток, которые он считал уместными, когда нечего было сказать, он с лукавым видом искоса оглядел княгиню и всех «верных», которые, так как он был профессор и академик, улыбнулись в восхищении от его веселости и отсутствия в нем всякой важности. Княгиня сказала нам, что молодой скрипач нашелся. Вчерашний день ему из-за мигрени пришлось пролежать, но сегодня вечером он будет и привезет с собой старого друга своего отца, которого он встретил в Донсьере. Она узнала это от г-жи Вердюрен, с которой завтракала сегодня утром, о чем она и сообщила со свойственной ей быстротой речи, в которой раскаты «р», звучащего на русский лад, нежно замирали в глубине горла, как если бы это были не «р», а «л». «А! Вы сегодня завтракали с ней, — сказал Котар, обращаясь к княгине, но глядя на меня, ибо слова эти преследовали цель — показать мне, насколько княгиня близка с хозяйкой. — Уж вы-то — верная!» — «Да, я люблю этот маленький клужок, приятный, не злой, такой плоской, где нет снобов и все такие остлупные». — «Чорт возьми, я потерял мой билет, я его не нахожу», — воскликнул Котар, обеспокоившись без всяких оснований. Он знал, что в Дувиле, где нас должны были ждать два ландо, контролер пропустит его без всякого билета и только еще ниже поклонится ему, стараясь этим поклоном объяснить свою снисходительность, то есть дать понять, что в Котаре он узнал одного из постоянных гостей Вердюренов. «Не отведут же меня из-за этого в полицию», — сказал в заключение доктор. — «Вы говорили, мосье, — спросил я Бришо, — что здесь поблизости были знаменитые источники; откуда это известно?» — «Название следующей станции свидетельствует об этом в числе многих других доказательств. Она называется Ферваш (Fervaches)». — «Не понимаю, что он хочет сказать», — проворчала княгиня таким тоном, которым из любезности могла бы мне сказать: «Наедает он нам, правда?» — «Но, княгиня, Fervaches означает горячие воды, Fervidae aquae». — «Но кстати, — продолжал Бришо, — по поводу молодого скрипача — я забыл сообщить вам важную новость, Котар, знаете ли вы, что наш бедный друг Дешамбр, когда-то любимый пианист госпожи Вердюрен, только что умер? Это ужасно». — «Он был еще молод, — ответил Котар, — но у него что-то должно было быть с печенью, должна была быть какая-то гадость, скверный у него был вид последнее время». — «Но он был не так молод, — сказал Бришо. — В те времена, когда Эльстир и Сван бывали у госпожи Вердюрен, Дешамбр уже был парижской знаменитостью и, — странное дело, — не получив крещения успехом за границей. О! Он-то не был последователем Евангелия в духе святого Барнума». — «Вы путаете, он в то время не мог бывать у госпожи Вердюрен, он еще не успел выйти из пеленок». — «Однако, если мне не изменяет моя дряхлая память, мне кажется, Дешамбр играл сонату Вентейля для Свана, когда этот клубмен, бегавший от аристократии, еще и не подозревал, что он когда-нибудь станет обуржуазившимся принцем-консортом нашей отечественной Одетты». — «Это не может быть, сонату Вентейля у Вердюренов играли много времени спустя, когда Сван не бывал там больше», — сказал доктор, который, как все люди, много работающие и воображающие, будто они запоминают множество вещей, полезных, как им кажется, забывал множество других, что позволяет такого рода людям восторгаться памятью тех, кто ничего не делает. «Вы неправы, ведь вы же еще не впали в детство», — сказал, улыбаясь, доктор. Бришо признал свою ошибку. Поезд остановился. Это была Ла-Сонь. Название меня заинтересовало. «Как мне хотелось бы знать, что означают все эти названия», — сказала я Котару. — «Да спросите господина Бришо, может быть он знает». — «Так ведь Ла Сонь — это цапля, «la Cigogne», «Siconia», — ответил Бришо, которого мне не терпелось спросить еще о многих других названиях.

Забыв, что она дорожит своим местом в углу, г-жа Щербатова любезно предложила мне поменяться с нею местами, чтобы мне удобнее было разговаривать с Бришо, которого мне хотелось спросить и о других интересовавших меня этимологиях, и стала уверять, что ей безразлично, как ехать — сидя лицом вперед или назад, стоя и т. п. Она оставалась в оборонительном положении, пока не знала о намерениях новоприбывшего, но, раз увидев, что эти намерения благовидны, она всячески старалась каждому сделать приятное. Наконец поезд остановился на станции Довиль-Фетерн, которая, будучи расположена примерно на одинаковом расстоянии от деревни Фетерн и от деревни Довиль, ввиду этой своей особенности носила двойное название. «Что за чертовщина, — воскликнул доктор Котар, когда мы подошли к выходу, где отбирали билеты, и сделал вид, что только сейчас это заметил, — не могу найти мой билет, я, верно, его потерял». Но контролер, сняв фуражку, стал уверять, что это не беда, и почтительно улыбнулся. Княгиня (давая кучеру указания и как бы являясь своего рода фрейлиной г-жи Вердюрен, которая из-за Камбремеров не смогла приехать на станцию, что, впрочем, она делала редко) усадила меня, так же как и Бришо, вместе с собой в один экипаж. В другой сели доктор, Саньет и Ски.

Кучер, хотя еще совсем молодой, был старшим кучером Вердюренов, единственным, по праву носившим звание кучера; днем он возил их на все прогулки, так как знал все дороги, а вечером ездил встречать «верных», потом отвозил их. Его сопровождал помощник (которого он выбирал себе в случае надобности). Это был отличный малый, трезвый и ловкий, но с меланхолическим выражением лица и тем слишком пристальным взглядом, который обозначает, что человек из-за пустяков портит себе кровь, даже впадает в мрачность. Но сейчас он был очень доволен, так как ему удалось устроить своего брата, тоже добрейшее существо, на службу к Вердюренам. Сперва

мы проехали Довиль. Поросшие травой холмы спускались к морю, образуя широкие груды, между которыми насыщенная солью и влагой придавала необычайную живость, густоту и мягкость красок. Островки, примыкавшие в Ривбеле гораздо ближе, чем в Бальбеке, к неровному изрезанному берегу, придавали морю новый для меня вид какой-то выпуклой поверхности. Мы проехали мимо маленьких шале, почти сплошь сданных внаем художникам; мы свернули на дорогу, где коровы, бродившие на свободе и испугавшиеся не меньше, чем наши лошади, на целых десять минут загородили нам путь, после чего мы выехали на дорогу, идущую вдоль берега. «Но что же, бессмертные боги, — спросил вдруг Бришо, — вернемся к этому бедняге Дешамбру. Как вы думаете, знает ли госпожа Вердюрен, сказали ли ей?» Г-жа Вердюрен, как почти все светские люди, именно потому, что она нуждалась в обществе других, уже ни одного дня о них не думала, когда они умирали и не могли больше приезжать ни на среды, ни на субботы или приходиться обедать запросто. И нельзя было сказать о маленьком клане, подобном в этом смысле всем салонам, что покойников в нем было больше, чем живых, ибо, едва только человек умирал, выходило так, словно его никогда и не было. Но во избежание неприятной необходимости — говорить о скончавшихся или, ввиду траура, даже прекращать обеды, что было невозможно для Хозяйки, г-н Вердюрен поддерживал ту версию, будто смерть «верного» до такой степени огорчает его жену, что ради ее здоровья об этом не следует говорить. Впрочем, и может быть именно потому, что чужая смерть представлялась ему столь бесповоротным и столь заурядным несчастным случаем, мысль о собственной смерти внушала ему ужас, и он удалял от себя всякие размышления, связанные с ней. Что же касается Бришо, то, будучи добрым малым и веря совершенно слепо тому, что г-н Вердюрен говорил о своей жене, он опасался тех волнений, которые это горе сулило его приятельнице. «Да, с сегодняшнего утра она все знает, — сказала княгиня, — нельзя было от нее скрыть». — «О! Зевсовы громы! — воскликнул Бришо. — Это был, наверно, ужасный удар, двадцатипятилетняя дружба. Вот уж это был наш». — «Безусловно, безусловно, что поделаешь, — сказал Котар. — Это всегда тяжело; но госпожа Вердюрен — женщина с сильной волей, эмоциональное в ней все-таки подчиняется разуму». — «Я не вполне согласна с мнением доктора, — сказала княгиня, которая действительно казалась как будто недовольной и вместе с тем производила впечатление задора, что зависело от быстроты ее речи и неясности произношения. — Госпожа Вердюрен под холодной внешностью таит сокровища чувствительности. Господин Вердюрен рассказывал мне, что ему большого труда стоило уговорить ее не ехать в Париж на похороны; ему пришлось сказать ей, что все будет происходить в деревне». — «Ах, каково, она хотела ехать в Париж. Я же знаю, что она женщина душевная, может быть даже слишком душевная. Бедный Дешамбр! Как говорила госпожа Вердюрен каких-нибудь два месяца тому назад: «Рядом с ним ни Планте, ни Падеревский, ни даже Рислер — никто не выдерживает сравнения». Он с большим основанием, чем этот Нерон, который даже немецкую науку сумел надуть, мог сказать: «Qualis artifex pereo!» Но он-то, по крайней мере, Дешамбр, умер, наверно, во время священнодействия, овеянный духом бетховенской благодати, и мужественно, в этом я не сомневаюсь; по всей справедливости этот священнослужитель немецкой музыки заслуживал того, чтобы умереть, исполняя мессу в тоне ре. Но, впрочем, это был такой человек, что мог запустить и трель, встречая смерть, ведь этот гениальный музыкант, уроженец Шампани, сроднившийся с Парижем, черпал порой у своих предков удаль и легкость времен французской гвардии».

С той высоты, на которую мы уже поднялись, море представлялось не таким, как в Бальбеке, где оно уподоблялось волнообразным цепям движущихся гор, а напротив, таким, каким с вершины или с дороги, огибающей гору, рисуется голубоватый глетчер или ослепительная долина, расположенная ниже. Неровности моря, охваченного волнением, казались неподвижными и как будто навсегда застыли концентрическими кругами; даже самая эмаль моря, незаметно менявшего свой цвет, в глубине бухты, где часть берега покрывалась водой в часы прилива, являла млечно-голубоватую белизну, на фоне которой маленькие черные суденышки, не двигавшиеся с места, напоминали мух, запутавшихся в паутине. Мне казалось, что уже нельзя представить себе картину более обширную. Но при каждом повороте к ней прибавлялась какая-нибудь новая часть, а когда мы доехали до довьильской таможенной будки, скалистая гряда, до сих пор скрывавшая от нас часть бухты, исчезла, и я вдруг увидел налево бухту столь же глубокую, как та, которую до сих пор видел перед собой, но которая теперь меняла свои пропорции и становилась вдвое прекраснее. Воздух на этой высоте был так живителен и чист, что опьянял меня. К Вердюренам я чувствовал любовь; то, что они прислали за нами экипаж, казалось мне умильной добротой. Мне хотелось обнять княгиню. Я сказал, что никогда не видел ничего столь прекрасного. Она ответила, что тоже любит эти места больше всего на свете. Но я понимал, что для нее, так же как и для Вердюренов, главное было — не созерцать их с точки зрения туристов, а вкусно есть, принимать здесь общество, которое им нравилось, писать здесь письма, читать, словом — жить, пассивно погружаясь в их красоту, вместо того чтобы делать ее предметом своих дум.

Когда экипаж остановился у таможенной будки, расположенной так высоко над морем, что вид голубоватой пучины почти вызывал у вас головокружение, словно вы глядели на нее с вершины горы, я открыл окно; внятно различимый всплеск каждой волны, разбиравшейся о берег, в своей мягкости и в своей четкости таил что-то величественное. Не являлся ли он как бы особой единицей меры, которая, разрушая наши привычные представления, показывает нам, что расстояния по вертикали могут быть уподоблены расстояниям по горизонтали, вопреки представлению, которое обычно складывается в нашем уме, и что таким образом, приближая к нам небо, они не велики, что они даже становятся меньше по отношению к звуку, который, подобно всплеску этих маленьких волн, преодолевает их, ибо чище самая среда, через которую он проходит. И в самом деле, если бы всего на каких-нибудь два метра отойти назад от таможенной будки, уже нельзя было бы услышать этого всплеска волн, который, поднимаясь вдоль скал на двести метров высоты, нисколько не утрачивал своей нежной, кропотливой и мягкой четкости. Я думал о том, что моей бабушке он внушил бы тот восторг, который вызывали в ней творения природы или искусства, в простоте которых чувствуется величие. Мое восхищение достигло предела и возвышалось в моих глазах все окружающее. Меня умиляло то, что Вердюрены прислали за нами экипажи на станцию. Я сказал об этом княгине, которая нашла, что я сильно преувеличиваю значение столь обыкновенной вежливости. Она, как я знаю, потом призналась Котару, что я показался ей весьма восторженным; он ответил ей, что я слишком легко возбуждима и что мне следовало бы принимать успокоительные лекарства и заниматься вязаньем. Я обращал внимание княгини на каждое дерево, на каждый маленький домик, утопающий в розовых кустах, заставлял ее всем любоваться, я готов был бы ее самое прижать к моей груди. Она сказала, что у меня, как она видит, должны быть способности к живописи, что мне следовало бы рисовать, что ее удивляет, если мне этого не говорили. И она призналась, что эти края действительно живописны. Мы проехали маленькую деревню Англесквиль, приютившуюся на высоком склоне («Engleberty Villa», — пояснил нам Бришо). «Но вполне ли вы уверены, княгиня, что, несмотря на смерть Дешамбра, обед сегодня все же состоится?» — прибавил он, не думая о том, что присылка на станцию экипажей, в которых мы сидели, являлась уже ответом на этот вопрос. — «Да, — сказала княгиня. — Господин Вердюрен не пожелал переносить его на другой день — именно потому, что он хочет отвлечь свою жену от «мыслей». И к тому же, после стольких лет, в течение которых она принимала каждую среду, это нарушение ее привычек могло бы тягостно подействовать на нее. Она очень нервная все это время. Господин Вердюрен был особенно рад тому, что вы сегодня приедете обедать, он знает, что жене это очень поможет отвлечься, — прибавила она, забыв о том, что незадолго перед тем делала вид, будто

никогда не слышала обо мне. — Мне кажется, всего лучше будет, если вы ни о чем не будете говорить при госпоже Вердюрен», — прибавила княгиня. — «Ах, это хорошо, что вы мне сказали, — наивно ответил Бришо. — Я передам этот совет и Котару». Экипаж на минуту остановился. Он снова тронулся, но стук колес, раздававшийся, пока мы проезжали деревню, прекратился. Мы уже ехали по аллее, которая вела к Ла-Распельер и в конце которой, стоя у подъезда, нас ждал г-н Вердюрен. «Это хорошо, что я надел смокинг, — сказал он, с удовольствием удостоверившись в том, что все «верные» тоже в смокингах, — раз у меня такие шикарные гости». А когда я извинялся, что приехал в пиджаке, он сказал: «Да нет, прекрасно. У нас на обедах — все по-товарищески. Я, правда, предложил бы вам один из моих смокингов, но он вам не подойдет». Рукопожатие, которым Бришо, войдя в вестибюль Ла-Распельер, выразил Хозяину свое волнение и соболезнование по поводу смерти пианиста, не вызвало со стороны г-на Вердюрена никаких комментариев. Я сказал ему, в какое восхищение приводят меня эти места. «Ах, тем лучше, да вы еще ничего не видели, мы вам их покажем. Отчего бы вам не приехать сюда на несколько недель, воздух здесь чудесный». Бришо опасался, что смысл его рукопожатия остался непонятным. «Ну, как? Ах, этот бедный Дешамбр!» — сказал он вполголоса, опасаясь, что г-жа Вердюрен может быть поблизости. — «Ужасно», — весело ответил г-н Вердюрен. — «Такой молодой», — не унимался Бришо. Раздраженный тем, что его задерживают такими бесполезными вещами, г-н Вердюрен торопливо и пронзительно-плачевным тоном, выразившим не печаль, а сердитое нетерпение, ответил: «Ну да, но чего же вы хотите, мы тут ничего не можем сделать, от наших слов он не воскреснет, — не правда ли?» Но вместе с веселостью к нему вернулась и мягкость: «Ну, милый Бришо, снимайте-ка скорее пальто. У нас рыбная похлебка, которая не хочет ждать. Но главное, не заговаривайте о Дешамбре с госпожой Вердюрен. Вы ведь знаете, она скрывает то, что чувствует, но у нее чувствительность — это прямо болезнь. Нет, но я вам клянусь, когда она узнала, что Дешамбр умер, она чуть было не заплакала», — сказал г-н Вердюрен тоном глубоко-ироническим. Слушая его, можно было подумать, что только сумасшедший в состоянии пожалеть о Друге, с которым он тридцать лет был знаком, а с другой стороны, Удавалось угадать, что, несмотря на вечное общение г-на Вердюрена с его женой, он все-таки всегда судил о ней иронически и она часто его раздражала. «Если вы об этом заговорите, она опять заболевает. Это было бы прискорбно, всего через три недели после ее бронхита. В таких случаях я заменяю сиделку. Вы понимаете, что я и сам едва не болею. Сокрушайтесь сколько угодно о судьбе Дешамбра, но только про себя. Думайте о нем, но не говорите. Я очень любил Дешамбра, но вы же не станете упрекать меня, если я еще больше люблю мою жену. Да вот Котар, вы сможете у него спросить». И в самом деле он знал, что домашний врач умеет оказывать множество всяких маленьких услуг, давая, например, указание, что не надо огорчаться.

Послушный Котар говорил Хозяйке: «Вот вы поволнуетесь этак, а завтра сделаете мне температуру в тридцать девять градусов», как он мог бы сказать своей кухарке: «Завтра вы мне сделаете говядину с рисом». Медицина, не в силах излечивать, занимается тем, что меняет значение глаголов и местоимений.

Г-н Вердюрен был рад констатировать, что Саньет, несмотря на грубости, которые ему пришлось снести третьего дня, не покинул их маленький кружок. Действительно, у г-жи Вердюрен и ее мужа, живших в праздности, появились жестокие инстинкты, для удовлетворения которых уже недостаточно было случаев чрезвычайных, слишком редких. Правда, удалось поспорить Одетту с Сваном, Бришо с его любовницей. С другими это еще можно будет повторить, само собой разумеется. Но случай представлялся не каждый день. Между тем Саньет благодаря своей трепетной чувствительности, своей боязливой застенчивости, быстро переходившей в растерянность, повседневно служил для них жертвой. Вот почему, из страха, как бы он не сбежал, его не забывали пригласить в выражениях любезных и убедительных, к каким в школах прибегают второгодники, а в полках — «старики», когда хотят задобрить новичка или новобранца, чтобы захватить его в свои руки, с единственной целью — подвергнуть его щекотке и цуканью, когда он уже не сможет от них спастись. «Главное, — напомнил Бришо Котару, не слышавшему слов г-на Вердюрена, — при госпоже Вердюрен ни слова». — «Не беспокойтесь, о Котар, вы имеете дело с мужем разумным, как говорит Феоцит. Впрочем, господин Вердюрен прав, к чему наши сожаления, — прибавил он, ибо, обладая способностью усваивать формы словесного выражения и мысли, которые они вызывали в нем, но не отличаясь пронизательностью, он в словах г-на Вердюрена увидел самый мужественный стоицизм, которым и восхищался. — Но как бы то ни было, погиб большой талант». — «Как, вы все еще говорите о Дешамбре, — сказал г-н Вердюрен, который пошел вперед и, увидев, что мы не следуем за ним, снова вернулся. — Послушайте, — обратился он к Бришо, — никогда не следует преувеличивать. Если он умер, это еще не основание для того, чтобы делать из него гения, которым он не был. Играл он прекрасно, это бесспорно, главное же — здесь для него было прекрасное обрамление; пересаженный на другую почву, он перестал существовать. Моя жена пристрастилась к нему и создала ему репутацию. Вы знаете, какая она. Скажу больше, даже с точки зрения его репутации, он умер вовремя, попал в самый раз, как, надеюсь, и наши рыбки из Кана, поджаренные по несравненному способу Пампиля (если только вы с вашими причитаниями навсегда не застрянете здесь на проходе, открытом всем ветрам). Ведь не хотите же вы все-таки всех нас уморить только потому, что умер Дешамбр, хотя уже целый год ему, прежде чем давать концерт, приходилось играть гаммы, чтобы иметь возможность, хоть на время, да, лишь на время, вновь обрести былую беглость. Впрочем, вы сегодня вечером услышите у нас или, по крайней мере, встретите, потому что после обеда этот молодчик очень часто изменяет искусству ради карт, артиста совсем иного, чем Дешамбр, одного мальчика, которого открыла моя жена (как она открыла Дешамбра и Падеревского и всех прочих) — Мореля. Он еще не приехал, этот чудак. Я должен буду послать экипаж к последнему поезду. Он приедет с одним старым другом своей семьи, с которым встретился и который ему осточертел, но ради которого, во избежание жалоб со стороны отца, ему иначе пришлось бы остаться в Донсьере, чтобы занимать его: это барон де Шарлюс». «Верные» вошли. Г-н Вердюрен, задержавшийся со мной, пока я раздевался, шуточно взял меня под руку, как в момент обеда — хозяин дома, который не может предоставить вам даму, чтобы вести к столу. «Хорошо ли вам было ехать?» — «Да, господин Бришо сообщил мне вещи, очень заинтересовавшие меня», — сказал я, имея в виду этимологию, а также то, что Вердюрены, как я слышал, очень восхищались Бришо. — «Меня бы удивило, если бы он вам ничего не сообщил, — сказал мне г-н Вердюрен, — он такой скромный человек, так мало говорит о вещах, которые знает». Эта похвала мне показалась не вполне правильной. «Он производит очаровательное впечатление», — сказал я. — «Чудесное, превосходное, педантизма ни капли, живой, игривый, моя жена его обожает, я также!» — ответил г-н Вердюрен в тоне преувеличения и словно затвердив урок. Тут только я понял, что о Бришо он говорил иронически. И я задал себе вопрос, не удалось ли г-ну Вердюрену за годы, истекшие с той давней поры, о которой я слышал, освободиться из-под опеки своей жены.

Скульптор очень удивился, узнав, что Вердюрены соглашаются принимать г-на де Шарлюса. Меж тем как в Сен-Жерменском предместье, где г-н де Шарлюс был так знаменит, никогда не говорили о его нравах (которые большинству были неизвестны, возбуждали сомнение в иных, склонявшихся скорее к мысли о восторженных, но платонических дружбах, о неосторожностях, и наконец были тщательно скрываемы теми единственно осведомленными людьми, что пожимали плечами, когда какая-нибудь недоброжелательная Галардон решалась сделать намек), — эти нравы, едва известные немногим близким друзьям, являлись предметом вечных пересудов вдали от того круга, где он жил, подобно пушечным выстрелам, которые становятся слышны лишь после интерферирующего воздействия

зоны тишины. Впрочем, в этих буржуазных и артистических кругах, где он слыл олицетворением извращенности, его блестящая роль в свете, его высокое происхождение были совершенно неизвестны — благодаря своеобразному феномену, подобному тому, в силу которого имя Ронсара известно в румынском народе как имя знатного аристократа, меж тем как о его поэзии там не знают. Более того, в Румынии самое мнение о знатности Ронсара основано на ошибке. Точно так же, если в мире художников и актеров г-н де Шарлюс пользовался столь дурной репутацией, то это объяснялось тем, что его смешивали с неким графом Леблуа де Шарлюсом, который не состоял с ним ни в каком родстве или был связан с ним родством очень далеким и которого однажды, может быть по недоразумению, полиция арестовала во время обхода, оставшегося памятным. В общем, все истории, рассказывавшиеся насчет г-на де Шарлюса, относились к другому лицу. Многие профессионалы клялись, что имели отношения с г-ном де Шарлюсом и верили в это, думая, что фальшивый Шарлюс был настоящий, меж тем как фальшивый Шарлюс, отчасти желая похвастаться аристократизмом, отчасти же маскируя свой порок, поддерживал это недоразумение, которое для Шарлюса подлинного (для барона, знакомого нам) долгое время было предосудительным, а потом, когда он всецело отдался своим наклонностям, стало удобным, позволяя и ему тоже говорить: «Это не я». Сейчас, действительно, речь шла не о нем. Наконец, ошибочность комментариев к факту истинному (вкусам барона) усугублялась еще тем, что он был в близкой и совершенно чистой дружбе с одним писателем, который в театральном мире, неизвестно почему, пользовался такой же репутацией, им вовсе не заслуженной. Когда их видели вместе на какой-нибудь премьере, то говорили: «Вы знаете», — точно так же, как считалось, что у герцогини Германтской безнравственная связь с принцессой Пармской, — легенда непреодолима, ибо она могла бы рассеяться лишь в такой близости к этим двум аристократкам, которой люди, повторявшие ее, никогда не достигли бы, лорнируя их в театре или клеветая на них соседу по креслу. Исходя из нравов г-на де Шарлюса, скульптор заключал, что положение барона в свете — столь же неважное, и тем меньше колебался при этом, что о семье, к которой принадлежал г-н де Шарлюс, о его титуле, о его имени он не располагал никакими сведениями. Подобно тому, как Котар думал, будто всему свету известно, что степень доктора медицины ничего не значит, а звание ординатора уже значит кое-что, — ошибаются и светские люди, воображая, будто все имеют такое же представление об общественной весомости их имени, как сами они и люди их круга.

Принц Агригентский казался «растакуэром» какому-нибудь груму в клубе, которому должен был двадцать пять лудиров, и вновь приобретал свою значительность только в Сен-Жерменском предместье, где у него были три сестры-герцогини, — ибо не на скромных людей, в чьих глазах он мало значит, а на людей блестящих, осведомленных о том, кто он такой, производит некоторое впечатление важный аристократ. Впрочем, г-н де Шарлюс уже сегодня должен был дать себе отчет в том, что насчет знаменитейших герцогских родов у хозяина дома познания были недостаточно глубоки. Убеденный в том, что Вердюрены делают оплошность, позволяя опороченной личности проникнуть в их столь избранный салон, скульптор счел нужным отвести Хозяюку в сторону. «Вы совершенно ошибаетесь, Впрочем, я никогда не верю таким вещам, и даже если бы это была правда, должна вам сказать, что меня это не очень может скомпрометировать!» — ответила ему в ярости г-жа Вердюрен, ибо она, поскольку Морель был главным элементом сред, прежде всего старалась не вызвать в нем недовольства. Что до Котара, то он не смог высказать своего мнения, так как незадолго до этого попросил разрешения зайти «ради одного маленького дельца» в «buen retiro», а потом — написать в комнату г-на Вердюрена очень спешное письмо одному больному.

Видный парижский издатель, приехавший с визитом и думавший, что его попросят остаться, внезапно и поспешно собрался уезжать, поняв, что он недостаточно элегантен для маленького клана. Это был человек высокий и полный, жгучий брюнет, видимо усидчивый, с признаками какой-то резкости. Он напоминал эбеновый разрезной нож.

Г-жа Вердюрен, которая, чтобы встретить нас в своей огромной гостиной, где колосья, маки, полевые цветы, собранные в тот же день, чередовались с их одноцветными живописными изображениями, созданными двести лет тому назад художником с безупречным вкусом, поднялась на миг, оторвавшись от карт, в которые она играла со старинным приятелем, и попросила у нас разрешения в две минуты закончить партию, продолжая с нами разговор. Впрочем, то, что я сказал ей о моих впечатлениях, было для нее не вполне приятно. Во-первых, я был шокирован, узнав, что она и ее муж каждый день возвращаются домой задолго до часа этих закатов, которые с береговых утесов представляли столь прекрасное зрелище и зрелище еще более прекрасное — с террасы Ла-Распельер, ради которых я готов был проехать многие мили. «Да, это ни с чем несравнимо, — небрежно сказала г-жа Вердюрен, бросив взгляд на огромные окна, представлявшие собой каждое стеклянную дверь. — Хоть мы все время видим это, нам никогда не надоедает», — и снова обратила свои взгляды на карты. Однако самый мой восторг усиливал мою требовательность. Я жаловался, что не вижу из гостиной Дарнетальских скал, которые, по словам Эльстира, бывали восхитительны в этот момент, когда они преломляли столько красочных лучей. «О, вы не можете увидеть их отсюда, для этого надо было бы пройти в конец парка, до «вида на залив». Я сведу вас туда, если вы хотите», — прибавила она томно. — «Да полно, что ты, мало тебе тех болей, которые ты вынесла на днях, ты хочешь снова их испытать. Он еще приедет к нам, в другой раз полюбуется видом на залив». Я не настаивал, я понял, что Вердюренам достаточно знать, что этот солнечный закат является принадлежностью их гостиной или их столовой, подобно какой-нибудь великолепной картиной, подобно драгоценной японской эмали, которая оправдывала бы высокую цену, назначаемую им за Ла-Распельер со всей обстановкой, но к которой они редко поднимали взгляды; главное для них было в том, чтобы приятно жить здесь, гулять, вкусно есть, беседовать, принимать приятных знакомых, которых они занимали игрой на бильярде, угощали тонкими обедами, весело поили чаем. Однако впоследствии я увидел, как умно они изучили эти места, совершая со своими гостями прогулки столь же «неопубликованные», как и музыка, которую они слушали с ними. Роль, которую в жизни г-на Вердюрена играли цветы Ла-Распельер, дороги вдоль берега моря, старые дома, неизвестные церкви, была так велика, что те, кто видел его только в Париже и заменял городской роскошью жизнь на берегу океана и среди природы, с трудом могли понять, как он рисует себе свою собственную жизнь и какую значительность придают ему ее радости в его же собственных глазах. Эта значительность еще возрастала в силу того, что Вердюрены были убеждены, что Ла-Распельер, которую они собирались купить, единственное в своем роде имение. То превосходство, которое их самолюбие заставляло их приписывать Ла-Распельер, послужило в их глазах оправданием моему энтузиазму, который, если бы не это, немного раздражил бы их ввиду тех разочарований, которые он влек за собой (подобных тому, что я когда-то испытал, слушая Берму) и в которых я им чистосердечно признался.

— Я слышу, что ландо возвращается, — вдруг прошептала Хозяюка. Вкратце отметим, что г-жа Вердюрен, даже независимо от неизбежных изменений, связанных с возрастом, уже не напоминала ту, которой она была в далекую пору, когда Сван и Одетта слушали у нее маленькую фразу. Когда играли эту фразу, ей даже и не приходилось прибегать к тому изнеможенно-восторженному выражению, которое прежде принимало ее лицо, ибо теперь это выражение стало ее лицом. Под воздействием бесчисленных невралгий, повод к которым давала музыка Баха, Вагнера, Вентейля, Дебюсси, лоб г-жи Вердюрен принял огромные пропорции, словно часть тела,

родованная долгим ревматизмом. Ее виски, подобные двум прекрасным сферам, пылающим, наболевшим, молочно-белым, где вечно звучит гармония, осенялись по бокам серебристыми прядями и провозглашали от имени Хозяйки, которая теперь даже не имела надобности говорить это сама: «Я знаю, что меня ожидает сегодня вечером». Ее черты уже не старались выразить в последовательном порядке чрезмерно сильные эстетические впечатления, ибо сами они как бы превратились в их постоянное выражение, застывшее на этом лице, изможденном и надменном. Это проявлявшееся во всем смирение перед муками, которые всегда в близком будущем готовит Прекрасное, и мужество, которое нужно для того, чтобы надеть платье, когда еле оправляешься от последней сонаты, имели следствием, что лицо г-жи Вердюрен, даже когда она слушала самую жестокую музыку, хранило презрительно-бесстрастное выражение и что она даже отворачивалась, глотая свои две щепотки аспирина.

— А! Да вот они, — с облегчением воскликнул г-н Вердюрен, видя, как перед Морелем, за которым следовал г-н де Шарлюс, отворяется дверь.

Г-н де Шарлюс, для которого обедать у Вердюренов значило ехать отнюдь не в свет, а в предосудительное место, был смущен, как школьник, впервые входящий в публичный дом и бесконечно почтительный к его хозяйке. Вот почему всегдашнее желание г-на де Шарлюса казаться мужественным и холодным было побеждено (когда он появился в открытой двери) теми представлениями о традиционной вежливости, которые пробуждаются в нас, как только робость разрушает искусственную позу и обращается с призывом к области подсознательного. Когда подобное чувство инстинктивной и атактичной вежливости по отношению к незнакомым сказывается в человеке типа Шарлюса, независимо от того, аристократ он или буржуа, — направлять его первые шаги в новом для него салоне берется всегда душа какой-нибудь родственницы, подающая ему помощь, точно богиня, или воплощающаяся в него, как в своего двойника, придавая ему и соответствующую позу, пока он добирается до хозяйки дома. Так, молодой художник, воспитанный благочестивой кузиной-протестанткой, войдет с опущенной и трясущейся головой, возведя глаза к небу, вцепившись руками в незримую муфту, воспоминание о которой, так же как ее реальное и спасительное присутствие, помогает смущенному артисту миновать без агорафобии полное бездн пространство, отделяющее переднюю от маленькой гостиной. Вот так же, много лет тому назад, эта благочестивая родственница, память о которой руководит им сейчас, входила в комнату с видом столь плачевным, что все задавали себе вопрос, о каком несчастье она пришла возвестить, но с первых же ее слов становилось понятно, так же как теперь с художником, что она после званого обеда приехала сделать визит. В силу того же самого закона, который требует, чтобы жизнь, в интересах еще не совершившегося акта, заставляла служить себе, обращала в свою пользу, извращала, их унижая, наиболее достойные уважения, порою — самые священные и только иногда — наиболее невинные дары прошлого, — хотя, правда, в последнем случае он выливается в особые формы, — племянник г-жи Котар, огорчавший свое семейство своими женственными манерами и кругом своих знакомств, входил всегда с радостным видом, как будто он явился, чтобы сделать вам сюрприз или возвестить вам о получении наследства, озаренный счастьем, о причине которого, связанной с неосознанными наследственными свойствами и несоответствующим ему полом, бесполезно было бы его спрашивать. Он ходил, приподнимаясь на носки, сам удивлялся, что не держит в руках бумажника с визитными карточками, протягивая руку, открывал рот сердечком, как это делала его тетка, и единственный его беспокойный взгляд устремлялся к зеркалу, в котором он, хотя у него ничего не было на голове, словно хотел проверить, не криво ли надета шляпа, — вопрос, который однажды г-жа Котар задала Свану. Что касается г-на де Шарлюса, которому общество, где он жил, являло разнообразные примеры, особого рода арабески учтивости, и наконец внушало ту максимуму, что в известных случаях надо уметь ради маленьких простых буржуа проявлять и пускать в ход свои самые редкостные и обычно приберегаемые про запас чары, то он как-то суетливо, жеманно и с той округлостью в движениях, которая, словно на него надели юбку, делала более размашистой его походку и вместе с тем стесняла ее, направился к г-же Вердюрен, с виду такой довольный и польщенный, что можно было подумать, будто ему оказали чрезвычайную милость, представив ей. Его слегка наклоненное вперед лицо, на котором выражение удовлетворенности спорило с благопристойной манерностью, покрылось маленькими благодущными морщинками. Можно было подумать, что это идет г-жа де Марсант, настолько в эту минуту в нем сказывалась женщина, которую природа по ошибке воплотила в тело г-на де Шарлюса. Правда, барон потратил немало мучительных усилий, чтобы замаскировать эту ошибку и придать мужественность своему облику. Но едва только он добивался этого, в то же время, однако, сохраняя свои вкусы, как эта привычка чувствовать по-женски снова придавала ему женственный облик, теперь порождаемый уже не наследственностью, а личной жизнью. А так как мало-помалу он дошел до того, что даже о фактах общественных начал думать на женский лад, и притом не отдавая себе в этом отчета, — ибо если мы перестаем замечать, что лжем, то это не только результат лжи, расточаемой перед другими, но и лжи перед самими собой, — то, хотя он и заставил свое тело (в тот миг, когда входил к Вердюренам) выразить всю учтивость важного аристократа, это тело, уразумевшее то, чего г-н де Шарлюс уже не понимал, пустило в ход, — и еще в такой мере, что барон заслужил бы эпитет «*ladylike*», — все обольстительные средства важной аристократки. Впрочем, есть ли возможность, говоря об облике г-на де Шарлюса, совершенно отвлечься от того факта, что сыновья, не всегда похожие на отцов, даже если они не страдают извращениями и не равнодушны к женщинам, своим лицом оскверняют память матери. Но оставим в стороне то, что заслуживало бы особой главы, — оскверненную память о матерях.

Хотя и другие основания определяли собой эту перемену в г-не де Шарлюсе и хотя ферменты чисто физического порядка вызывали в его плоти процесс «брожения» и заставляли его тело постепенно принимать черты сходства с телом женщины, все же изменение, которое мы отмечаем здесь, было вызвано причинами духовными. Считая себя больным, в конце концов заболеваешь, начинаешь худеть, теряешь силу встать с постели, на нервной почве появляется энтерит. Нежно думая о мужчинах, сам в конце концов становишься женщиной, и воображаемое платье сковывает походку. Навязчивая идея может в этих случаях видоизменить пол (как в других — повлиять на здоровье). Морель, шедший вслед за ним, подошел ко мне поздороваться. Уже в этот момент, ввиду двоякой перемены, происшедшей в нем, он произвел на меня (увы! я тогда не обратил на это внимания) дурное впечатление. Вот почему. Я говорил, что Морелю, избегнувшему той зависимости, в которой находился его отец, нравилось быть презрительно-фамильярным. В тот день, когда он принес мне фотографии, он в разговоре со мной, глядя на меня сверху вниз, ни разу не назвал меня «мосье». Как же я удивился, когда у г-жи Вердюрен увидел, что он весьма низко кланяется мне, и только мне одному, и услышал, прежде даже чем он успел сказать что-либо другое, слова «уважение», «глубокое почтение», — слова, которые, как мне казалось, его невозможно было заставить написать или произнести и с которыми он обращался ко мне. У меня сразу же создалось впечатление, что он о чем-то собирается меня просить. Отведя меня в сторону через какую-нибудь минуту, он сказал мне, дойдя на этот раз до того, что обратился ко мне в третьем лице: «Мосье оказал бы мне большую услугу, если бы совершенно скрыл от г-жи Вердюрен и ее гостей, какого рода обязанности мой отец исполнял у его дяди. Лучше было бы сказать, что он управлял именьями вашего семейства, и притом столь обширными, что это ставило его почти на равной ноге с вашими родителями». Просьба Мореля была мне бесконечно неприятна, не потому, что она заставляла меня возвышать положение его отца, — это мне было совершенно безразлично, — а потому, что я ради него должен был преувеличить

отказал моего отца, хотя бы и как-то, — казалась мне смешным. Но вид у него был такой несчастный, такой умоляющий, что я не отказал ему. «Нет, еще до обеда, — просил он меня, — у мосье может быть множество поводов поговорить с госпожой Вердюрен». Это я и сделал, изо всех сил стараясь придать как можно больше блеска отцу Мореля, вместе с тем не слишком приукрашивая жизненный уклад моих родителей и не преувеличивая их недвижимость. Это прошло совершенно гладко, несмотря на удивление г-жи Вердюрен, смутно знавшей моего деда. А так как она не имела такта и ненавидела семьи (которые разлагающе действовали на маленькое «ядро»), то, сказав, что мой прадед по-иному представлялся ей, и отозвавшись о нем как о человеке почти идиотическом, который ничего не понял бы в их кружке и, по ее выражению, «был от него далек», она заметила: «Впрочем, семьи — это так скучно, только и стремишься — как бы вырваться из них», — и сразу же сообщила мне из жизни моего прадеда любопытную черту, которая была мне неизвестна, хотя я подозревал в нем (я его не знал, но дома о нем очень много говорили) необычайную скупость (составлявшую противоположность несколько расточительной щедрости моего двоюродного деда, приятеля дамы в розовом и хозяина Мореля-отца), и рассказала мне следующее: «Раз у ваших дедушки и бабушки был такой шикарный управляющий, это доказывает, что в семье могут быть люди всяких мастей. Отец вашего деда был так скуп, что под старость, когда он почти впал в детство, — между нами говоря, он никогда не был особенно умен, все их недостатки искупаете вы, — он не соглашался тратить три су на омнибус. Таким образом, пришлось посылать с ним провожатого, отдельно платить за него и вносить старому скряге, что его приятель господин де Персиньи, министр, добился для него права бесплатного проезда в омнибусах. Впрочем, я очень рада, что отец нашего Мореля занимал такое приличное положение. Я поняла, что он был учителем в гимназии, но это пустяки, я просто плохо поняла. Однако это не существенно, потому что, скажу я вам, здесь мы ценим только личные достоинства, — то, что каждый вносит сам, то, что я называю сопричастностью. Лишь бы человек любил искусство, лишь бы он был того же толка, остальное не имеет значения». Принадлежность Мореля к этому толку, — насколько я мог заметить, — выражалась в том, что он любил и женщин и мужчин, — это мы увидим в дальнейшем. Здесь же важно отметить, что едва только я дал Морелю слово поговорить о нем с г-жой Вердюрен и, главное, сдержал это слово без всякой возможности отступления, «почтительность» Мореля по моему адресу улетучилась словно по волшебству, почтительные выражения исчезли, и некоторое время он даже избегал меня, стараясь делать вид, будто пренебрегает мной, так что, когда г-же Вердюрен хотелось, чтобы я ему сказал какую-нибудь вещь, чтобы я попросил его сыграть какую-нибудь пьесу, он продолжал свой разговор с тем или иным из «верных», потом переходил к другому, уходил, если я направлялся к нему. Другие бывали вынуждены по три или по четыре раза обращать его внимание на то, что я к нему адресуюсь, после чего он отрывисто, с недовольным видом отвечал мне, — за исключением тех случаев, когда мы бывали одни. В этих случаях он оказывался экспансивным, дружелюбным, ибо и у него были очаровательные черты характера. Тем не менее я в этот же первый вечер заключил, что натура у него, должно быть, подлая, что он, когда нужно, не отступает ни перед какой низостью, что благодарность ему неизвестна. В этом смысле он был подобен большинству людей. Но так как я кое-что унаследовал от моей бабушки и меня занимало многообразие человеческих личностей, от которых я ничего не ждал и на которых нисколько не сердился, то я отвлекался от его низости, находил удовольствие в его веселости, когда она имела случай проявляться, даже в том, что, как мне кажется, вылилось в искреннюю приязнь с его стороны, когда, исчерпав круг своих ложных познаний в области человеческой природы, он заметил (совершенно внезапно, ибо с ним случались странные рецидивы его исконной слепой дикости), что моя мягкость в отношении к нему была бескорыстной, что моя снисходительность была вызвана не отсутствием проницательности, а тем, что он называл добротой, главное же — меня пленяло его искусство, которое было не чем иным, как изумительной виртуозностью, но давало мне возможность (хотя он и не был настоящим музыкантом в более глубоком смысле слова) услышать вновь или узнать столько прекрасных музыкальных произведений. К тому же у него был руководитель — г-н де Шарлюс (в ком я не предполагал этих талантов, хотя г-жа де Германт, знавшая его в молодости совсем иным, утверждала, что он для нее сочинил сонату, разрисовал веер и т. п.), скромный, когда дело шло о подлинных его достоинствах, талантах, притом первоклассных, сумел заставить эту виртуозность служить разностороннему артистическому чутью, которое еще больше развило ее. Представим себе какого-нибудь артиста русского балета, с данными исключительно техническими, во всех смыслах вышколенного Дягилевым, обязанного ему своими знаниями, своим развитием.

Исполнив просьбу Мореля и сообщив г-же Вердюрен то, что он просил меня сказать ей, я заговорил с г-ном де Шарлюсом о Сен-Лу, как вдруг в гостиную вошел Котар и возвестил, как возвещают о пожаре, что приехали Камбремеры. Г-жа Вердюрен, не желая в присутствии людей новых, как г-н де Шарлюс (которого доктор не заметил) и я, показывать вида, что придает такое значение приезду Камбремеров, не шевельнулась, никак не откликнулась на эту весть и ограничилась тем, что, изящно обмахиваясь веером, ответила доктору деланным тоном, как какая-нибудь маркиза на сцене Французского театра: «Барон только что рассказывал нам...» Для Котара это уж было слишком. Не с такой живостью, как в былое время, ибо в результате научных занятий и высокого положения доктора речь его стала более медленной, но все же с той взволнованностью, которая у Вердюренов возвращалась к нему вновь, он воскликнул: «Барон! Да где же это — барон? Где это — барон?», ища его глазами, полный удивления, граничащего с недоверием. Г-жа Вердюрен, с притворным равнодушием хозяйки дома, лакей которой в присутствии гостей разбил дорогой стакан, с искусственной, чрезмерно повышенной интонацией, словно лауреатка Консерватории, играющая в пьесе Дюма-сына, ответила, веером указывая на покровителя Мореля: «Да вот барон Шарлюс, которому я вас представляю, господин профессор Котар». Впрочем, г-же Вердюрен не был неприятен этот повод разыгрывать аристократическую даму. Г-н де Шарлюс протянул два пальца, которые профессор пожал с благосклонной улыбкой «князя науки». Но он так и застыл на месте, увидев входящих Камбремеров, а г-н де Шарлюс, желая сказать мне два слова, отвел меня тем временем в сторону, не удержавшись от того, чтобы пощупать при этом мои мускулы — немецкое обыкновение. Г-н де Камбремер не был похож на старую маркизу. Он, как она с нежностью говорила это, «весь пошел в папу». Тот, кто о нем только слышал или знал его по письмам, написанным живым и приличным слогом, удивлялся его наружности. Конечно, к ней можно было привыкнуть. Но его нос, поместившийся совершенно криво над самым ртом, избрал, среди столько других, пожалуй единственную косую линию, которую можно было бы провести по его лицу и которая означала самую заурядную глупость, усугубляющуюся еще соседством красных, как яблоки, щек, характерных для нормандца. Быть может, в глазах г-на де Камбремера, скрытых веками, и отражался клочок котантенского неба, столь нежного в ясные солнечные дни, когда прохожий развлекается, считая целыми сотнями тени тополей, остановившиеся у края дороги, но эти веки, тяжелые, воспаленные, плохо смыкающиеся, даже и лучу ума не дали бы прорваться мимо них. Недаром, смущаясь тем, что этот синий взгляд — такой узкий, вы переносили ваше внимание на большой кривой нос. В силу некоего перемещения органов чувств, г-н де Камбремер глядел на вас своим носом. Нос г-на де Камбремера не был уродлив, скорее он был слишком красив, слишком толст, слишком горд своим значением. Украшенный горбинкой, лоснящийся, блестящий, с иголочки новый, он был совершенно готов к тому, чтобы уравновесить собой духовную неполноценность взгляда; к несчастью, если глаза являются иногда органом, благодаря которому сказывается ум, то нос (какова бы ни была внутренняя связь между чертами облика и их неподозреваемое нами взаимодействие) обычно является тем органом, в котором легче всего выражается глупость.

Хотя уместность темных костюмов которые всегда, даже по утрам, носил г-н де Камбремер, успокаивала тех, кого ослеплял и раздражал наглый блеск купальных костюмов незнакомых им людей, все же было непонятно, каким образом жена председателя суда пронизательным и авторитетным тоном человека, лучше вас знающего высшее общество Алансона, может заявлять, что, видя г-на де Камбремера, сразу же, даже прежде чем узнаешь, кто это, чувствуешь в нем человека высоких качеств, безукоризненно воспитанного, меняющего самый дух Бальбека, словом — существо, вблизи которого можно свободно вздохнуть. Для нее, задыхавшейся в Бальбеке среди толпы туристов, которые незнакомы были с ее кругом, он был словно флакон с нюхательной солью. Мне, напротив, он показался одним из тех людей, которых бабушка сразу же признавала «весьма неприличными», а так как снобизм был ей непонятен, то, наверно, она была бы изумлена, что ему удалось жениться на мадмуазель Легогранден, которая должна была бы быть разборчивой в отношении высоких качеств и брат которой был «такой приличный». О грубой уродливости г-на де Камбремера самое большее можно было сказать, что она отчасти хранит местный отпечаток, что в ней есть некоторые весьма старинные местные черты: при взгляде на неудавшиеся черты его лица, которые хотелось бы выправить, приходили в голову те названия маленьких нормандских городов, в этимологии которых мой юре ошибался потому, что крестьяне, плохо их произнося или неверно понимая смысл нормандского или латинского слова, обозначающего их, в конце концов закрепляли в варваризме, который встречается уже в картуляриях, и бессмыслицу и дефект произношения, как сказал бы Бришо. Впрочем, жизнь в этих маленьких городках может протекать весьма приятно, и у г-на де Камбремера должны были быть положительные качества, ибо если естественно, что старая маркиза, как мать, отдавала ему предпочтение перед своей невесткой, то все же она, имевшая нескольких детей, из которых по крайней мере двое были не лишены достоинств, часто заявляла, что на ее взгляд маркиз — лучший из всей семьи. В течение того недолгого времени, которое он провел в армии, его товарищи, находя фамилию Камбремер слишком длинной, дали ему прозвище «Канкан», нисколько, впрочем, не заслуженное им. Своим присутствием он умел украсить обед, на который его приглашали, и говорил, когда подавали рыбу (хотя бы рыба была протухшая) или когда входил в столовую: «Позвольте-ка, это, кажется, замечательная штука!» А его жена, которая, войдя в его семью, усвоила все то, что в ее представлении должно было относиться к жизни этого круга, становилась вровень с приятелями своего мужа и, быть может, стараясь понравиться ему как любовница, словно когда-то она была причастна к его холостой жизни, бросала развязным тоном, если ей приходилось говорить о нем с офицерами: «Вы увидите Канкана! Он поехал в Бальбек, но вечером вернется». Она была в ярости, что нынче вечером ей приходится ронять свое достоинство у Вердюренов, и делала это лишь по просьбе своей свекрови и своего мужа в интересах контракта. Но, будучи хуже воспитана, чем они, она не скрывала этого мотива и целые две недели издевалась со своими приятельницами над предстоявшим обедом. «Вы знаете, мы будем обедать у наших жильцов. Это стоит того, чтобы они повысили плату. В сущности, мне довольно любопытно посмотреть, что они могли сделать с нашей бедной старой Распельер (как будто она там родилась и с этим местом для нее были связаны семейные воспоминания). Наш старый сторож вчера еще говорил мне, что ничего уже нельзя узнать. Боюсь и подумать обо всем том, что там делается. Кажется, мы правильно сделаем, если устроим там полную дезинфекцию, прежде чем снова въедем туда». Она вошла, надменная и угрюмая, с видом знатной дамы, замок которой в военное время оказался занят неприятелем, но которая все-таки чувствует себя дома и стремится показать победителям, что они — чужие. Г-жа де Камбремер не могла сразу меня увидеть, так как я стоял у одного из боковых окон с г-ном де Шарлюсом, который, узнав от Мореля, что отец последнего служил «управляющим» в моей семье, и сообщая мне об этом, говорил мне, что он, Шарлюс, вполне рассчитывает на мой ум и мое великодушие (выражение, свойственное ему так же, как и Свану) и что я, как он уверен, не стану доставлять себе то низкое и мещанское удовольствие, в котором на моем месте не могли бы отказать себе какие-нибудь жалкие идиоты (предупреждение мне было сделано), разглашая нашим хозяевам разные подробности, которые им могут показаться унижительными. «Уже одно то обстоятельство, что я интересуюсь им и оказываю ему покровительство, важнее всего остального и уничтожает прошлое», — сказал в заключение барон. Слушая его и обещая ему, что буду хранить молчание, которое я хранил бы и так, даже не надеясь прослыть за то умным и великодушным, я смотрел на г-жу де Камбремер. А то сочное, тающее вещество, которое на днях, в час дневного чаепития, на бальбекской террасе, я чувствовал столь близко от себя, я с трудом узнавал теперь в нормандской галете, твердой, как галька, которую «верные» напрасно старались бы надкусить. Заранее раздраженная тем добродушием, которое муж ее унаследовал от своей матери и которое, наверно, должно было заставить его принять польщенный вид, когда ему будут представлять «верных», но все-таки желая исполнять свои обязанности светской дамы, она, едва только ей представили Бришо, захотела представить ему своего мужа, ибо так делали более изысканные ее приятельницы, но ярость или гордость взяли верх над желанием похвастать, и она сказала не так, как следовало бы сказать: «Позвольте представить вам моего мужа», а: «Я представляю вас моему мужу», высоко поднимая таким образом знамя Камбремеров, наперекор даже им самим, ибо маркиз поклонился Бришо так низко, как она и предвидела. Но досада г-жи де Камбремер тотчас прошла, как только она заметила г-на де Шарлюса, которого знала лишь по виду. Ей никогда не удавалось познакомиться с ним, даже во время ее связи со Сваном. Ибо г-н де Шарлюс, всегда становившийся на сторону женщины, на сторону своей кухни — против любовниц г-на де Германта, на сторону Одетты, в ту пору еще не вышедшей замуж, но давно уже связанной со Сваном, — против новых его увлечений, строгий защитник нравственности и верный покровитель семейных очагов, дал Одетте — и сдержал — обещание, что не позволит представить себя г-же де Камбремер. Последняя, конечно, и не подозревала, что именно у Вердюренов она познакомится с этим неприступным человеком. Г-н де Камбремер знал, что это для нее такая большая радость, что сам был растроган и смотрел на свою жену с таким видом, словно хотел сказать: «Вы довольны, что согласились приехать, — не правда ли?» Вообще же говорил он очень мало, зная, что вступил в брак с женщиной, стоящей гораздо выше его. «Я недостойный», — говорил он каждую минуту и любил цитировать две басни — одну Лафонтена, а другую — Флориана, которые, как ему казалось, могли относиться к его невежеству, а с другой стороны, позволяли ему в лестно-пренебрежительной форме показать ученым людям, не состоящим в Жокей-Клубе, что можно охотиться и все-таки читать басни. Беда была в том, что он знал их только две. Вот почему они часто повторялись. Г-жа де Камбремер была не глупа, но имела некоторые весьма раздражающие привычки. Искажение имен не имело у нее ничего общего с аристократической пренебрежительностью. Другая, подобно герцогине Германтской (которую ее происхождение должно было бы в большей степени, чем г-жу де Камбремер, уберечь от этой комической черты), сказала бы, дабы не показать вида, будто она знает фамилию, мало элегантно в ту пору (меж тем как сейчас ее носит одна из тех женщин, к кому труднее всего найти доступ), Жюльена де Моншато: «маленькая госпожа Пик де ла Мирандоль». Нет, если г-жа де Камбремер ошибалась в фамилиях, то делала она это из благожелательности, чтобы не показать вида, будто ей что-то известно, — и даже в тех случаях, когда от искренности она все же признавалась, думая это скрыть путем искажения. Если, например, она защищала какую-нибудь женщину, она, хоть и не желая солгать тому, кто умолял ее сказать правду, старалась утаить, что госпожа такая-то — сейчас любовница г-на Сильвена Леви, и говорила: «Нет... я решительно ничего не знаю о ней, мне кажется, ее упрекали в том, что она внушала страсть одному господину, фамилии которого я не знаю, что-то вроде Кана, Кона, Куна, — впрочем, кажется, что этот господин умер уже весьма давно и что между ними ничего и не было». Это прием, подобный — и вместе с тем противоположный — приемам лжецов, которые, в искаженном виде представляя свои поступки, когда рассказывают о них любовнице или просто другу, думают, будто собеседница или собеседник не увидит

ротас нее, что оказанная ими фраза (точно так же, как «Кан, Кон, Кун») интерполирована, что она — иного рода, чем весь состав разговора, что она — с двойным дном.

Г-жа Вердюрен на ухо спросила своего мужа: «К столу меня должен вести барон де Шарлюс? Так как по правую руку от тебя будет госпожа де Камбремер, можно было бы им всем сделать любезности». — «Нет, — сказал г-н Вердюрен, — раз уж тот выше чином (он имел в виду, что г-н де Камбремер — маркиз), то господин де Шарлюс, в общем, его подчиненный». — «Ну, так я посажу его с княгиней». И г-жа Вердюрен представила г-ну де Шарлюсу г-жу Щербатову; они молча поклонились друг другу, видом своим показывая, что достаточно друг о друге знают и обещают каждый со своей стороны хранить тайну. Г-н Вердюрен представил меня г-ну де Камбремеру. Прежде даже чем он обратился ко мне, слегка заикаясь, своим густым голосом, его высокая фигура и румяное лицо уже выражали колебания и воинственную нерешительность начальника, который старается ободрить вас и говорит вам: «Мне уже говорили, мы это устроим; разыскание с вас снимут; мы ведь не какие-нибудь кровопийцы; все уладится». Потом пожал мне руку и сказал: «Мне кажется, вы знакомы с моей матерью». Впрочем, глагол «каяться», по мнению его, был наиболее уместен при первом знакомстве, так как оттенял сдержанность, но отнюдь не выражал сомнения, ибо маркиз прибавил: «Впрочем, у меня к вам письмо от нее». Г-н де Камбремер был исполнен наивной радости, что видит вновь места, где он так долго жил. «Я все узнаю», — сказал он г-же Вердюрен, бросая взгляды, полные восхищения, так как он видел вновь живописные панно с цветами над дверями и мраморные бюсты на высоких постаментах. А между тем все это могло бы показаться ему и чужим, так как г-жа Вердюрен привезла с собой множество прекрасных старинных вещей, находившихся в ее владении. В этом смысле г-жа Вердюрен, хотя с точки зрения Камбремеров она все перевернула вверх дном, действовала не революционно, а с разумной консервативностью, непонятной им. Они несправедливо упрекали ее в том, что она ненавидит их старый замок и унижает его, заменяя простым холстом их пышный плющ, подобно тому, как невежественный священник упрекает епархиального архитектора, водворившего на прежнее место старинные скульптуры из дерева, которые были убраны потому, что священнослужитель счел нужным заменить их украшениями, купленными на площади Сен-Сюльпис. Наконец, сад, похожий на садик какого-нибудь юре, начинал заменять собой клумбы перед зданием замка, составлявшие гордость не только Камбремеров, но и их садовника. Последний смотрел на Камбремеров как на единственных своих хозяев и изнемогал под ярмом Вердюренов, как будто поместье на время досталось завоевателю, было захвачено его войсками, тайно ходил сокрушаться к низвергнутой владелице, возмущаясь тем пренебрежением, в котором теперь находились его араукарии, его бегонии, его очитки, его георгины, и тем, что в столь пышном месте теперь осмеливаются сажать столь обыкновенные растения, как пупавки и женский волос. Г-жа Вердюрен чувствовала это глухое сопротивление и была намерена, в случае долгосрочного контракта или даже приобретения Ла-Распельер, поставить условием увольнение садовника, которым старая владелица, напротив, крайне дорожила. Он безвозмездно служил ей в трудные для нее времена, обожал ее; в результате причудливой пестроты, господствующей во взглядах простонародья, где глубочайшее нравственное презрение совмещается с самым страстным почитанием, которое в свою очередь уживается с незабываемыми старыми обидами, он часто говорил о г-же де Камбремер, которая в 1870 году, находясь в своем имении на востоке Франции, была застигнута врасплох нашествием и в течение месяца должна была терпеть общество немцев: «Госпоже маркизе ставили в вину, что во время войны она стала на сторону пруссаков и даже поселила их у себя. В другое время — я бы еще понял; но во время войны ей бы не надо это делать. Нехорошо это». Таким образом, он готов был хранить ей верность до гроба, чтил ее за доброту и верил тому, что она виновна в измене. Г-жу Вердюрен обидело, что г-н де Камбремер, по его словам, так хорошо все узнает в Ла-Распельер. «Вы должны были бы, однако, заметить некоторые изменения, — ответила она. — Во-первых, тут были барбедьенские бронзовые детины да еще этикие плюшевые креслица, которые я поскорее отправила на чердак, хотя и он еще слишком хорош для них». После этой колкой отповеди, обращенной к г-ну де Камбремеру, она подала ему руку, чтобы он вел ее к столу. Он колебался один миг, думая: «Ведь не могу же я все-таки идти впереди господина де Шарлюса». Но, решив, что барон, должно быть, старый друг дома, поскольку почетное место принадлежит не ему, он решил взять протянутую ему руку и сказал г-же Вердюрен, как он гордится тем, что и его допустили в синклит (этим словом он назвал маленькое ядро, причем сам усмехнулся от удовлетворения, что такое слово ему знакомо). Котар, сидевший рядом с г-ном де Шарлюсом, желая ближе познакомиться, смотрел на него поверх пенсне и, чтобы сделать первый шаг, прибег к подмигиваньям, гораздо более настойчивым, чем в прежние времена, и уже не прерывавшимся от застенчивости. И эти взгляды, любезные, улыбающиеся, не встречали преграды в виде стекол пенсне и лились, минуя их, во всех направлениях. «Вы много охотитесь, мосье?» — с презрением спросила г-на де Камбремера г-жа Вердюрен. — «Рассказывал вам Ски, что у нас было приключение?» — спросил Хозяйку Котар. — «Я охочусь больше всего в лесу Шантпи», — ответил г-н де Камбремер. — «Нет, я ничего не говорил», — сказал Ски. — «Заслуживает он свое название?» — спросил г-на де Камбремера Бришо, украдкой взглянув на меня, так как он обещал мне разговоривать об этимологиях, но просил меня утаить от Камбремеров то презрение, которое внушали ему этимологические толкования священника из Комбре. «Наверно, это оттого, что я не в состоянии понять, но я не улавливаю смысла вашего вопроса», — сказал г-н де Камбремер. — «Я хочу сказать: много ли там поет сорок?»[5] — ответил Бришо. Котар между тем терзался, что г-н Вердюрен не знает о том, как они чуть было не опоздали на поезд. «Ну, так что же, — сказала своему мужу г-жа Котар, чтобы ободрить его, — расскажи-ка свою одиссею». — «Она в самом деле выходит за пределы обычного, — сказал доктор, снова приступивший к своему повествованию. — Когда я увидел, что поезд уже у платформы, я прямо остолбел. Все это по вине Ски. У вас, дорогой мой, сведения бывают скорее фантастические. А Бришо ждал нас на вокзале!» — «Я думал, — сказал профессор Сорбонны, бросая вокруг себя взгляд, от которого уже так мало оставалось, и улыбаясь тонкими губами, — что если вы задержались в Гренкуре, то, значит, вы встретили какую-нибудь перипатетическую даму». — «Да замолчите вы, что, если моя жена вас услышит, — сказал Котар. — Мой жена, он такой ревнивый». — «Ах, этот Бришо! — воскликнул Ски, в котором резвая шутка Бришо пробудила его шаблонную веселость. — Он все такой же, — хотя, по правде говоря, он не мог бы сказать, был ли Бришо когда-нибудь шалуном. И, дополняя свои трафаретные слова соответствующим жестом, он сделал вид, будто не в силах удержаться от желания ущипнуть его за ногу. — Он совсем не меняется, этот молодчик, — и, не думая о том, какой печальный и вместе комический смысл придает его словам почти полная слепота Бришо, он прибавил: — Всегда одним глазком смотрит на женщин». — «Вот видите, — сказал г-н де Камбремер, — что значит встретиться с ученым. Уже пятнадцать лет как я охочусь в лесу Шантпи, а никогда еще не думал о том, что означает его название». Г-жа де Камбремер бросила строгий взгляд на своего мужа; ей не хотелось, чтобы он так унижал себя перед Бришо. Еще более сердило ее то, что при каждом «готовом» выражении, которое употреблял Канкан, Котар, знавший все сильные и слабые стороны такого рода выражений, ибо он прилежно изучил их, доказывал маркизу, признававшему свою глупость, что они ничего не означают: «Почему — глуп, как пробка? Разве вы думаете, что пробка глупее, чем что-нибудь другое? Вы говорите: повторять одно и то же по тридцать раз? Почему именно тридцать раз? Почему — спит, как колода? Почему — звонить во все колокола?» Но тогда на защиту г-на де Камбремера выступал Бришо, объяснявший происхождение каждого из этих речений. А г-жа де Камбремер была занята главным образом тем, что всматривалась в изменения, которые Вердюрены осуществили в Ла-Распельер, дабы иметь возможность некоторые из них раскритиковать, а другие или, может

«Я задаю себе вопрос, что это за люстра, которая висит совсем криво. Я с трудом узнаю свою старую Распельер», — прибавила она тоном непринужденно-аристократическим, — так, как если бы говорила о старом слуге, не столько имея в виду определить его возраст, сколько собираясь дать понять, что он присутствовал при ее рождении. А так как речь ее была несколько книжной, то она еще вполголоса прибавила: «Мне все-таки кажется, что если бы я жила в чужом месте, я посоветилась бы производить такие перемены». — «Это жаль, что вы приехали не вместе с ними, — сказала г-жа Вердюрен г-ну де Шарлюсу, надеясь, что он еще будет «появляться» у них и подчинится правилу, требующему, чтобы все приезжали одним и тем же поездом. — Вы уверены, Шошот, что Шантпи означает поющую сороку?» — прибавила она, желая показать, что, как настоящая хозяйка дома, принимает участие во всех разговорах зараз. «Расскажите-ка мне про этого скрипача, — сказала мне г-жа де Камбремер, — он меня интересует; я обожаю музыку, и мне кажется, что я где-то слышала о нем, просветите меня». Она узнала, что Морель приехал вместе с г-ном де Шарлюсом, и хотела, пригласив одного, постараться сблизиться и с другим. Однако, чтобы я не мог догадаться об этой причине, она прибавила: «Господин Бришо тоже интересует меня». Ибо, если г-жа де Камбремер и была весьма образована, то все же, подобно тому, как некоторые особы, склонные к полноте, почти ничего не едят и целый день ходят пешком, а все-таки полнеют прямо на глазах, она, хотя и погружалась, особенно живя в Фетерне, в философию все более и более эзотерическую, в музыку все более и более ученую, но эти занятия она покидала только для того, чтобы затевать интриги, которые позволили бы ей «обрывать» те или иные буржуазные дружеские связи молодости и завязывать знакомства, которые, как она сперва считала, должны были составлять принадлежность общества, где вращалось семейство ее мужа, и которые, как она потом заметила, были чересчур высоки и находились в слишком большом отдалении. Философ, для нее недостаточно современный, Лейбниц, сказал, что от ума до сердца — долгий путь. Г-жа де Камбремер, так же, как и ее брат, была не в силах одолеть его. По мере того как она все меньше верила в реальность внешнего мира, бросая чтение Стюарта Милля только ради чтения Лашелье, она со все большим упорством старалась, прежде чем умереть, создать себе в этом мире хорошее положение. Ей, влюбленной в реалистическое искусство, ни одна вещь не казалась слишком скромной, чтобы служить оригиналом художнику или писателю. Светский роман или картина из светской жизни вызвали бы в ней тошноту; толстовский мужик, крестьянин Милле были крайним социальным пределом, который она не позволяла художнику переступить. Но выйти за пределы, которыми ограничивались ее собственные связи, возвыситься до знакомства с герцогинями — это была цель всех ее усилий, — настолько тот духовный режим, которому она следовала, изучая мастерские произведения искусства, оказывался недействительным по отношению к врожденному и болезненному снобизму, все более развивавшемуся в ней. Этот снобизм, подобно тем своеобразным и непроходящим патологическим состояниям, которые всякому, кто им подвержен, дают иммунитет от других болезней, исцелил ее от известных задатков скупости и поползновений нарушать супружескую верность, — склонностей, которых в молодости она была не чужда. Впрочем, слушая ее, я не мог не воздать должное утонченности ее выражений, хоть они и не доставляли мне никакого удовольствия. Это были выражения, которые в определенную эпоху употребляют все лица, стоящие на одном интеллектуальном уровне, так что утонченное выражение, точно отрезок окружности, сразу же дает возможность описать весь круг и установить его пределы. Недаром они — причина того, что женщины, пользующиеся ими, сразу же наводят на меня скуку, как нечто, мне уже знакомое, но вместе с тем слывят незаурядными, так что нередко, когда мне случается сидеть с ними за столом, мне их рекомендуют как очаровательных и неоценимых соседей. «Вам неизвестно, сударыня, что названия многих лесных местностей связаны с животными, населяющими их. Рядом с лесом Шантпи находится лес Шантрэн (Chantereigne)?» — «Я не знаю, о какой королеве идет речь, но вы негалантно с ней обращаетесь?» — сказал г-н де Камбремер. — «Вот вам, Шошот, — сказала г-жа Вердюрен. — А вообще доехали вы благополучно?» — «Нам встречались только неизвестные человеческие особы, наполнявшие поезд. Но я отвечу на вопрос г-на де Камбремера; «reigne» здесь не жена короля, а лягушка. Этим словом она долго называлась в этих краях, как о том свидетельствует название станции Реннвилль (Renneville), которое следовало бы писать «Reineville». — «Это, кажется, замечательная шутка», — сказал г-же Вердюрен г-н де Камбремер, показывая на рыбу. Это был один из тех комплиментов, с помощью которых он, как ему казалось, словно платил дань за обед и исполнял долг вежливости. «Приглашать их не стоит, — часто говорил он своей жене, когда речь шла о тех или иных знакомых. — Они были в восторге, что мы у них в гостях. Они меня же и благодарили». — «Впрочем, должен вам сказать, что я уже много лет почти каждый день бываю в Реннвиле, а видел там лягушек не больше, чем где-нибудь в другом месте. Госпожа де Камбремер выписывала сюда священника из прихода, где у нее обширные владения, — у него, по-видимому, такое же направление ума, как и у вас. Он написал труд». — «Как же! Я прочел его с огромным интересом», — лицемерно сказал Бришо. Полный удовлетворения, которое этот ответ косвенным образом давал его честолюбию, г-н де Камбремер отозвался на него долгим смехом. «Ну, так вот, автор этой, как бы сказать, географии, этого толковника долго рассуждает о названии одной маленькой местности, которой мы когда-то, можно сказать, владели и которая зовется Понт-а-Кулевр (Pont-a-Couleuvre).[6] Хотя я, очевидно, грубый невежда рядом с этим кладезем премудрости, но если он был хоть один раз в Понт-а-Кулевре, то я был там тысячу раз, и провалиться мне, если я видел там хоть одну из этих противных змей, — говорю: противных, несмотря на похвалу, которую воздает им добрый Лафонтен» («Человек и уж» — это была одна из двух знакомых ему басен). — «Вы их не видели, и вы не ошиблись, — ответил Бришо. — Разумеется, автор, о котором вы говорите, досконально знает свой предмет, он написал замечательную книгу». — «Еще бы! — воскликнула г-жа де Камбремер. — Эта книга, — здесь уместно будет отметить, — настоящий труд монаха-бенедиктинца». — «Наверно, он обращался к разным росписям (подразумеваю списки бенефиций и приходов каждого епископства), что позволило ему установить имена светских покровителей и тех, кто раздавал духовные места. Но есть и другие источники. Один из моих самых ученых друзей черпал в них. Он нашел, что то же самое место названо в них Понт-а-Килевр (Pont-a-Quileuvre). Это причудливое название побудило его обратиться к источникам еще более далеким, к латинскому тексту, где мост, который, как предполагает ваш приятель, должен был быть наводным ужом, обозначен как «Pons cui aregi». Закрытый мост, через который пропускали только за приличную мзду». — «Вы говорите о лягушках. А я, очутившись среди таких ученых людей, сам себе кажусь лягушкой перед ареопагом» (это была вторая (басня), — сказал Канкан, часто, с долгим смехом пускавший в ход эту шутку, с помощью которой он, как ему казалось, смиренно и очень кстати заявлял о своем невежестве и вместе с тем выставлял напоказ свои познания. Что касается Котара, подвергавшегося блокаде со стороны безмолвного г-на де Шарлюса, то, стараясь найти себе выход в другую сторону, он обратился ко мне и задал мне один из тех вопросов, которые поражали его пациентов, если догадка была правильна, показывая им, что он, так сказать, проникает прямо в их тело, а если он, напротив, ошибался, позволяли ему внести поправки в известные теории, расширить прежний кругозор. «Когда вы попадаете в такие сравнительно высоко расположенные местности, как та, где мы находимся сейчас, замечаете ли вы, что от этого усиливается ваше предрасположение к удушьям?» — спросил он меня, уверенный, что или заставит окружающих восхищаться своими познаниями или пополнит эти познания. Г-н де Камбремер услышал вопрос и улыбнулся. «Не могу вам выразить, как я рад узнать, что у вас бывают удушья», — бросил он мне через стол. Он не хотел сказать, что это его забавляет, хотя это была правда. Ибо, слыша о чужом несчастье, этот превосходный человек всегда испытывал приятное чувство и судорожное желание рассмеяться, на смену которому в его добром сердце быстро приходила жалость. Но фраза его имела другой смысл, который уточнили его последующие слова: «Я этому рад, — сказал он мне, — потому что они бывают и у моей сестры». В общем это занимало его

примерно так же, как если бы я в числе моих друзей назвал человека, часто бывавшего в его доме. «Как мал этот свет» — такова была мысль, которую он сформулировал про себя и которую я прочел на его улыбающемся лице, когда Котар заговорил со мной о моих приступах удушья. И, начиная с этого обеда, они как бы стали играть роль общего знакомого, о котором г-н де Камбремер не пропускал ни одного случая спросить меня, хотя бы только для того, чтобы осведомить о нем свою сестру. Отвечая на вопросы его жены, касавшиеся Мореля, я думал о разговоре с мамой, который был у меня нынче во второй половине дня. Не отговаривая меня, правда, ехать к Вердюренам, если только это может меня развлечь, но все же напоминая мне, что их общество не понравилось бы моему деду и заставило бы его восклицать: «Осторожно», — моя мать прибавила: «Слушай, председатель Турейль и его жена говорили мне, что они завтракали с госпожой Бонтан. Меня ни о чем не спрашивали. Но я как будто поняла, что твоя женитьба на Альбертине — это мечта ее тетки. Мне кажется, это радует ее, главным образом потому, что ты им всем очень симпатичен. Но все-таки роскошь, которой, как они себе представляют, ты сможешь ее окружить, связи, которые, как им известно, более или менее есть у нас, — все это, мне кажется, здесь тоже не лишено значения, хотя и второстепенного. Я бы не стала разговаривать с тобой об этом, потому что мне это не важно, но так как я думаю, что с тобой будут говорить, я предпочитаю тебя предупредить». — «Но ты-то, как ты находишь ее?» — спросил я мою мать. — «Да ведь не я на ней буду жениться. Ты, конечно, мог бы найти невесту во сто раз лучше. Но я думаю, твоей бабушке не понравилось бы, что на твой выбор стараются повлиять. Сейчас я не могу тебе сказать, как я нахожу Альбертину, — я еще никак ее не нахожу. Я бы сказала тебе, как госпожа де Севинье: «у нее есть добрые свойства, — по крайней мере, мне так кажется. Но для начала я могу хвалить ее только отрицаниями. Она — не то и не это, говорю у нее — не реннский. Со временем я, может быть, скажу: она — такая-то. И я всегда одобряю ее, если она сделает тебя счастливым». Но именно эти слова, которыми мама предоставляла мне самому решать судьбу моего счастья, повергли меня в состояние сомнения, которое я испытал уже однажды, когда отец позволил мне пойти на «Федру», а в еще большей мере — когда он разрешил мне сделаться литератором, и я вдруг почувствовал на себе слишком большую ответственность, страх огорчить его и ту меланхолию, что внушает нам, когда мы перестаем подчиняться предписаниям, изо дня в день скрывающим от нас будущее, сознание того, что наконец-то мы начали жить по-настоящему, на взрослый лад, — жить той единственной жизнью, которой может располагать каждый из нас.

Может быть, лучше всего было бы немного подождать, для начала постараться взглянуть на Альбертину как бы глазами прошлого, чтобы узнать, действительно ли я ее люблю. Я мог бы привезти ее к Вердюренам, чтобы развлечь ее, а мысль об этом напомнила мне, что сам я приехал к ним сегодня вечером только ради намерения узнать, живет ли у них, собирается ли к ним приехать г-жа Пютбю. Во всяком случае за столом ее не было. «Кстати, по поводу вашего друга Сен-Лу, — сказала мне г-жа де Камбремер, пользуясь, таким образом, выражением, которое указывало на большую последовательность в ее мыслях, чем можно было думать, судя по ее фразам, ибо, если она заговаривала со мной о музыке, это означало, что она думает о Германтах, — вы знаете, что все говорят о его браке с племянницей принцессы Германтской. Что касается меня, то должна вам сказать, что все эти светские сплетни не занимают меня нисколько». Мной овладело опасение, что я в присутствии Робера без симпатии отзывался об этой фальшиво-оригинальной девушке, ум которой был настолько же ничтожен, насколько резок ее характер. Не бывает почти ни одной новости, которая, когда мы узнаем ее, не заставила бы нас пожалеть о том или ином нашем суждении. Я ответил г-же де Камбремер, — это, впрочем, была правда, — что я об этом ничего не знаю и что невеста к тому же, по-моему, очень молода. «Потому-то, может быть, это еще и не официально, во всяком случае об этом много говорят». — «Предпочитаю заранее предупредить вас, — сухо сказала г-жа Вердюрен г-же де Камбремер, которая услышала, что маркиза разговаривает со мной о Мореле, а когда та понизила голос, рассказывая о предстоящей женитьбе Сен-Лу, подумала, что она все еще продолжает говорить о нем. — Мы здесь занимаемся не какой-нибудь легкой музыкой. Знаете, эти верные посетители моих сред, мои детки, как я их называю, просто страшно, какие они передовые в искусстве, — прибавила она, горделиво ужасаясь. — Я говорю им иногда: «Милые мои, вы двигаетесь вперед быстрее, чем ваша хозяйка, которую, однако, никогда как будто не пугали никакие новшества». Каждый год мы заходим все дальше, я уже предвижу тот день, когда они остынут к Вагнеру и к д'Энди». — «Но быть передовым — это же прекрасно, тут никогда нельзя остановиться», — сказала г-жа де Камбремер, осматривая между тем все уголки столовой, стараясь определить, какие вещи оставлены здесь ее свекровью, какие привезены г-жой Вердюрен, и поймать ее с полчиным, уличить в отсутствии вкуса. Все же она старалась продолжать со мной разговор на тему, более всего интересовавшую ее — о г-не де Шарлюсе. Она находила трогательным, что он покровительствует скрипачу. «Вид у него умный». — «И даже, — заметил я, — исключительно живой для человека все-таки пожилого». — «Пожилого! Но на вид он совсем не пожилой, посмотрите, волос еще как у молодого. (Ибо года три или четыре тому назад один из тех незнакомец, что устанавливают литературные моды, употребил это слово в единственном числе, и все особы, находившиеся на уровне г-жи де Камбремер, говорили «волос», причем нарочито улыбались. В настоящий момент еще говорят «волос», но от злоупотребления единственным числом возродится множественное). Господин де Шарлюс, — прибавила она, — интересует меня больше всего потому, что в нем чувствуется одаренность. Должна вам сказать, что знания я дешево ценю. То, чему можно научиться, меня не интересует». Слова эти не противоречили индивидуальным качествам г-жи де Камбремер, которые были восприняты именно путем подражания, благоприобретенны. Но как раз одна из этих вещей, которые в данный момент надо было знать, заключалась в том, что знание — ничто и ничего не стоит по сравнению с оригинальностью. В числе прочих истин г-жа де Камбремер заучила, что ничему не нужно учиться. «Вот почему, — оказала она мне, — Бришо, который по-своему интересен, — ведь я не брезгаю такой своеобразной сочной эрудицией, — занимает меня все-таки гораздо меньше». А Бришо в эту минуту всецело был озабочен одной только мыслью: слыша, что разговор идет о музыке, он дрожал, как бы эта тема не напомнила г-же Вердюрен о смерти Дешамбра. Он хотел что-нибудь сказать, чтобы отогнать это зловещее воспоминание. Г-н де Камбремер дал ему для этого повод, спросив: «Так, значит, лесные местности всегда носят названия животных?» — «Не то чтобы всегда, — ответил Бришо, довольный, что ему удастся выставить свои знания напоказ стольким новичкам, среди которых, по крайней мере, одного слова его, как я его уверил, безусловно должны были интересовать. — Достаточно убедиться в том, насколько даже в человеческих именах сохраняются названия деревьев, подобно тому, как в каменном угле — остатки папоротника. Одного из наших сенаторов зовут господин Сое де Фресине (Saulces de Freycinet), что означает, если не ошибаюсь, место, посаженное ивами и ясенями, salix et fraxinetum; его племянник, господин де Сельв (Selves), соединяет в своем имени еще больше деревьев, раз его зовут «de Selves» — «sylva».[7] Саньет с радостью видел, что разговор принимает столь оживленный характер. Он мог, поскольку все время говорил Бришо, хранить молчание, избавлявшее его от насмешек г-на и г-жи Вердюрен. А так как эта радость освобождения еще повысила его чувствительность, он умилится, услышав, как г-н Вердюрен, несмотря на торжественность такого обеда, приказывает дворецкому поставить графин с водой перед г-ном Саньетом, который ничего другого не пил. (Генералы, посылающие на смерть больше всего солдат, требуют, чтобы их войско хорошо кормили.) Наконец, г-жа Вердюрен один раз даже улыбнулась Саньету. Да, это безусловно хорошие люди. Его больше не будут мучить. В этот момент течение обеда было нарушено одним из сотрапезников, которого я забыл назвать, знаменитым норвежским философом, говорившим по-французски хорошо, но очень медленно, по той двойной причине, что, во-первых, изучив язык недавно и не

желая делать ошибок (некоторые он все-таки делал), он за каждым словом обращался к своему рода внутреннему словарю, а во-вторых, будучи метафизиком, он, когда говорил, еще обдумывал то, что хотел сказать, — особенность, замедляющая даже речь француза. Впрочем, это был очаровательный человек, хотя по виду ничем не отличавшийся от весьма многих, — за исключением одной черты. Этот человек, говоривший столь медленно (после каждого его слова наступала пауза), всегда с головокружительной быстротой устремлялся к выходу, едва только успев распрощаться. В первый раз его стремительность наводила вас на мысль, что у него колерики или что он чувствует потребность еще более настоятельную. — Дорогой мой — коллега, — сказал он Бришо, сперва взвесив в своем уме, подходит ли здесь выражение «коллега», — у меня известное желание узнать, входят ли названия других деревьев в — номенклатуру вашего прекрасного — французского — латинского — норманнского — языка. Мадам (он подразумевал «мадам Вердюрен», хотя не решался на нее взглянуть) говорила мне, что вы все знаете. Не время ли для этого сейчас?» — «Нет, сейчас время для еды», — прервала его г-жа Вердюрен, видевшая, что обед затягивается. — «Ах, да, хорошо! — сказал скандинавец, опуская голову над своей тарелкой, с улыбкой печального смирения. — Но я должен заметить мадам, что если я позволил себе этот вопрос, — простите, вопрошение, — так это потому, что завтра я уже должен ехать в Париж обедать в Тур-д'Аржан или в Отель-Мерис. Там мой французский — собрат, — господин Бугру должен будет рассказать о спиритических сеансах, — простите, о спиритуальных заклинаниях, которые он проверял». — «В Тур-д'Аржан не так уж хорошо, как принято считать, — сказала рассерженная г-жа Вердюрен. — Помню, что и нас самих там кормили прекверными обедами!» — «Но ведь я не ошибаюсь, пища, которую едят в доме у мадам, — это ведь самая тонкая французская кухня?» — «Боже мой, конечно, бывает и хуже, — ответила, смягчившись, г-жа Вердюрен. — А если вы приедете в следующую среду, то будет и нечто лучшее». — «Но в понедельник я уезжаю в Алжир, а оттуда — на мыс Доброй Надежды. А когда я буду на мысе Доброй Надежды, я уже не смогу встретиться с моим знаменитым коллегой, — простите — не смогу встретиться с моим собратом». А после этих ретроспективных извинений он из покорности с головокружительной быстротой вновь принялся за еду. Но Бришо был слишком счастлив, что может привести и другие растительные этимологии, и ответил, настолько заинтересовав норвежца, что тот опять перестал есть, впрочем знаком указав, что можно убрать его еще полную тарелку и перейти к следующему блюду: «Один из сорока носит фамилию Уссэ (Houssaye), что значит место, поросшее остролистом (houx); в фамилии одного тонкого дипломата, д'Ормессона (d'Ormesson), вы встретите вяз (orme), любезный Вергилию и давший имя городу Ульм; в фамилиях его коллег, господина де ла Буле (de la Boulaye) — березу (bouleau), господина д'Оне (d'Aunay) — ольху (aigle), господина де ла Бюсьера (de la Bussieres) — букс (buis), господина Альбаре — заболонь (aubier) (я решил Рассказать это Селесте), господина де Шоле — капусту (choux) и яблоко (pommier) — в фамилии господина де ла Поммере (de la Pommeraye), который, — помните, Саньет, — докладывал в ту пору, когда доброго Пореля услали на край света в качестве проконсула в Одеонию». — «Вы сказали, что фамилия Шоле происходит от капусты, — сказал я Бришо. — А что, название станции, которая находится перед Донсьером, Сен-Фришу (Saint-Frichoux), тоже происходит от слова «choux»?» — «Нет, Сен-Фришу — это Sanctus Frustus, подобно тому, как Sanctus Ferreolus дал Сен-Фаржо (Saint Fargeau), но это слово вовсе не норманнское». — «Он слишком образованный, он нам надоедает», — тихо прокудахтала княгиня. — «Меня интересует еще множество других названий, но я не могу спросить вас обо всех зараз». И, обернувшись к Котару, я спросил его: «А будет ли госпожа Пютбю?» При имени Саньета, которое произнес Бришо, г-н Вердюрен бросил своей жене и Котару взгляд, приведший в замешательство робкого гостя. «Нет, слава богу, — ответила г-жа Вердюрен, слышавшая мой вопрос. — Я постаралась направить ее для отдыха в сторону Венеции, на этот год мы от нее избавлены». — «Я и сам, — сказал г-н де Шарлюс, — буду иметь право на целых два дерева, ведь я почти что снял маленький домик между Сен-Мартен-дю-Шен и Сен-Пьер-дез-Иф». — «Так это же отсюда очень близко, я надеюсь, что вы часто будете приезжать в обществе Чарли Мореля. Вам только надо будет сговориться о поездках с нашим кружком, ведь вы в двух шагах от Донсьера», — сказала г-жа Вердюрен, которая терпеть не могла, когда гости приезжали разными поездками и не в те часы, когда она посылала экипаж. Она знала, насколько труден подъем к Ла-Распельер, даже в том случае, если ехать извилистым обходным путем мимо Фетерна, требовавшим лишних полчаса, она опасалась, что те, которые приедут сами по себе, не найдут экипажей в Дувиль-Фетерне или же, на самом деле оставшись дома, воспользуются этим обстоятельством как отговоркой, чтобы сказать, будто им не на чем было ехать, а подняться на такую высоту пешком они чувствовали себя не в силах. Г-н де Шарлюс в ответ на это приглашение ограничился безмолвным поклоном. «В быту с ним, верно, не легко, у него какой-то натянутый вид, — шопотом сказал, обращаясь к Ски, доктор, который, оставшись человеком очень простым, несмотря на легкий налет гордости, не пытался скрыть, что Шарлюс для него — чересчур сноб. — Он, наверно, не знает, что на всех курортах и даже в Париже, в больницах, все врачи, для которых я, разумеется, «главное начальство», за честь считают знакомить меня со всеми аристократами, которые там имеются и держатся очень смирно. Для меня это даже делает весьма приятной жизнь на морских купаньях, — прибавил он непринужденным тоном. — Даже в Донсьере полковой врач, у которого лечится полковник, пригласил меня завтракать вместе с ним и сказал мне, что я мог бы обедать с самим генералом. А этот генерал — господин с каким-то «де». Не знаю, чьи дворянские грамоты древнее — его или барона». — «Да вы не волнуйтесь, это аристократ весьма захудалый», — вполголоса ответил Ски и прибавил что-то невнятное, так что я смог различить лишь слоги: «arder», составлявшие окончание какого-то глагола, ибо сам я прислушивался к тому, что Бришо говорил г-ну де Шарлюсу. «Нет, я, к сожалению, должен вам сказать, что, вероятно, у вас только одно дерево, ибо, если Сен-Мартен-дю-Шен (Saint-Martin-du-Chene) есть явно Sanctus Martinus juxta quercum, то слово «if» просто может представлять собой корень «ave», «eve», который означает «сырой», например в «Avegrop», «Lodeve», «Yvette», и который еще продолжает жить в нашем кухонном слове «evier». [8] Это «lau», которому в бретонском языке соответствует «ster», — например «Stermaria», «Sterlaer», «Sterbouest», «Ster-en-Dreuchen». Конца я не расслышал, потому что, какое бы удовольствие ни доставила мне возможность вновь услышать имя Стермариа, я, помимо своей воли, слушал Котара, с которым сидел рядом и который шопотом говорил Ски: «Ах, да, я не знал. Значит, это господин, который по-всякому умеет себя вести. Так вот, значит, какого он толка! А между тем глаза у него еще не заплыли жиром. Надо мне поостеречься, как бы он не стал щипать мне ноги под столом. Впрочем, все это меня мало удивляет. Некоторых аристократов я вижу, когда они берут душ, в костюме Адама, — все это более или менее дегенераты. Я с ними не разговариваю, потому что я собственно лицо должностное, и это могло бы мне повредить. Но они прекрасно знают, кто я такой». Саньет, которого испугали обращенные к нему слова Бришо, начинал уже дышать свободнее, словно человек, боящийся грозы и замечающий, что за молнией не последовало удара грома, как вдруг он услышал, что г-н Вердюрен задает ему вопрос, остановив на нем взгляд, который он уже и не отводил от несчастного, чтобы сразу же его смутить и не дать ему собраться с мыслями. «Но вы все время скрывали от нас, Саньет, что посещаете утренние спектакли в Одеоне». Дрожа, словно новобранец перед мучителем-сержантом, Саньет ответил, стараясь как только мог укоротить свою фразу, чтобы у нее оказалось больше шансов избежать ударов: «Один раз на «Искательнице». — «Что это он говорит?» — заорал г-н Вердюрен таким тоном, словно он чувствовал отвращение и ярость, нахмутив брови, как будто напрягая все свое внимание, чтобы разобраться в чем-то непонятном. — «Во-первых, нельзя понять, что вы говорите, — что это такое у вас во рту?» — спросил г-н Вердюрен, становясь все более резким и намекая на речевой недостаток Саньета. — «Бедный Саньет, я не хочу, чтобы вы его огорчали», — сказала тоном притворной жалости г-жа Вердюрен, желая, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет оскорбительного умысла ее мужа. «Я был на Ис... Ис...» — «Ис, ис,

Старайтесь говорить более внятно, — сказал г-н Вердюрен, — я даже не разбираю ваших слов». Почти никто из числа «верных» не удерживался от хохота, и напоминали они толпу людоедов, в которых вид раны, нанесенной белому, пробудил жажду крови. Ибо инстинкт подражания и отсутствие храбрости управляют обществами, так же как и целыми толпами. И все смеются над человеком, в котором видят мишень для насмешек, рискуя, что потом, лет через десять, им придется воздавать ему дань уважения где-нибудь в кругу его почитателей. Точно так же и народ прогоняет или приветствует королей. «Полно, это ж не его вина», — сказала г-жа Вердюрен. — «Но также и не моя, нельзя же обедать в гостях, если ты научился говорить». — «Я был на «Искательнице ума» Фавара». — «Что? Так это вы «Искательницу ума» называете «Искательницей»? Ну, это замечательно, я бы сто лет мог не догадаться», — воскликнул г-н Вердюрен, который, однако, сразу же мог бы решить, что такой-то — человек необразованный, неартистический, «непосвященный», если бы тот полностью назвал при нем заглавия некоторых произведений. Например, надо было говорить: «Большой» и «Мещанин», а те, кто прибавили бы: «мнимый», или «во дворянстве», доказали бы этим, что они «не свой», подобно тому, как где-нибудь в гостинице человек доказывает, что он не принадлежит к светскому обществу, говоря: «Господин де Монтескью-Фезансак», вместо: «Господин де Монтескью». — «Но это не так уж странно», — сказал Саньет, задыхаясь от волнения, но с улыбкой, хотя улыбаться ему не хотелось. Г-жа Вердюрен разразилась. «Ну нет! — воскликнула она со смехом. — Будьте уверены, никто на свете не мог бы догадаться, что речь идет об «Искательнице ума». Г-н Вердюрен продолжал тоном более мягким и обращаясь одновременно и к Саньету и к Бришо: «Это, впрочем, хорошенкая пьеса — «Искательница ума». Произнесенная вполне серьезным тоном, эта фраза, в которой уже не было и следа злости, подействовала на Саньета так благотворно и вызвала в нем такую благодарность, словно ему заказали любезность. Он не мог выговорить ни одного слова и хранил счастливое молчание. Бришо был более речист. «Это верно, — ответил он г-ну Вердюрену, — и если бы ее выдать за произведение какого-нибудь сармата или скандинава, «Искательница ума» могла бы претендовать на то, чтоб занять вакантное сейчас место шедевра. Но да не оскорбится душа любезного Фавара, темперамент у него был не ибсеновский. (Он тотчас же покраснел до ушей, вспомнив о философе-норвежце, который сидел сейчас с несчастным видом, ибо безуспешно старался установить, что за растение может обозначать слово «buis», недавно сказанное Бришо по поводу Бюсьера.) Впрочем, поскольку сатрапия Поре-ля досталась теперь некоему толстовствующему лицу строгих правил, то может случиться, что мы под сводами Одеона увидим «Анну Каренину» или «Воскресение». — «Я знаю портрет Фавара, который вы имеете в виду, — сказал г-н де Шарлюс. — Прекрасный гравюрный оттиск я видел у графини Моле». Имя графини Моле произвело на г-жу Вердюрен сильное впечатление. «Ах, вот как! Вы бываете у госпожи де Моле?» — воскликнула она. Она думала, это «графиня Моле», «госпожа Моле» говорят просто ради краткости, подобно тому, как при ней говорили: «Роаны», или же из пренебрежения, подобно тому как сама она говорила: «госпожа ла Тремой». Она ничуть не сомневалась, что графиня Моле, знакомая с королевой греческой и с принцессой де Капрарола, больше чем кто бы то ни было имеет право на приставку «де», и уже решилась наделить ею особу столь блистательную, проявившую к ней большую любезность. Вот почему, желая показать, что она сознательно так сказала и не скупится для графини на это «де», она добавила: «А я совсем не знала, что вы знакомы с госпожой де Моле!», как будто вдвойне странно было то, что г-н де Шарлюс знаком был с этой дамой и что г-жа Вердюрен не знает об этом знакомстве. Однако свет, или по крайней мере то, что называл этим словом г-н де Шарлюс, представлял собой целое относительно однородное и замкнутое. Но если, принимая во внимание необъятность и неоднородность буржуазии, вполне естественно, что какой-нибудь адвокат говорит лицу, знающему одного из его школьных товарищей: «Да как же, чорт возьми, вы с ним знакомы!», то, с другой стороны, изумляться по поводу того, что француз знает смысл слова «temple» или «foret», было не более странно, чем удивляться случайностям, которые соединили г-на Шарлюса и графиню Моле. К тому же, даже если бы это знакомство не вытекало вполне естественно из законов света, если бы оно было случайным, что могло быть странного в том, что г-же Вердюрен о нем неизвестно, раз г-на де Шарлюса она видела впервые, а его отношения с г-жой Моле были далеко не единственной вещью, которой она не знала о нем, об этом человеке, про которого она, по правде говоря, ничего не знала. «Кто же играл эту «Искательницу ума», милый мой Саньет?» — спросил г-н Вердюрен. Хотя и чувствуя, что гроза миновала, бывший архивариус не решался отвечать. «Но ты же смущаешь его, — сказала г-жа Вердюрен, — ты смеешься над всяким его словом и еще хочешь, чтобы он отвечал. Ну, скажите, кто играл ее, вам за это дадут в дорогу студня», — прибавила г-жа Вердюрен, делая злой намек на разорение, в которое Саньет сам себя поверг, желая спасти от него семью своих друзей. «Я помню только, что Зербину играла госпожа Самари», — сказал Саньет. — «Зербину? Это что такое?» — закричал г-н Вердюрен так, словно начался пожар. — «Это роль старинного репертуара, взять к примеру Капитана Фракасса, это как если бы кто сказал — Транш-Монтань или Педант». — «Ах, это вы педант! Зербина! Да он рехнулся», — воскликнул г-н Вердюрен. Г-жа Вердюрен поглядела на своих гостей и засмеялась, как бы пытаясь извинить Саньета. «Зербина! Он воображает, что все сразу же поймут, что это означает. Вы — словно господин де Лонжепьер, самый глупый человек, которого я знаю и который на днях как ни в чем не бывало сказал у нас: Банат. Никто не понял, о чем он говорит. Под конец выяснилось, что это одна из провинций в Сербии». Чтобы положить конец мукам Саньета, терзавшим меня еще больше, чем его, я спросил Бришо, не знает ли он, что означает слово «Бальбек». «Бальбек — это, вероятно, испорченное Дальбек, — сказал он мне. — Нужно было бы справиться в грамотах английских королей, сюзеренов Нормандии, так как Бальбек относился к владениям баронов Дуврских, вследствие чего часто говорили: Бальбек, что за морем, Бальбек, что на материке. Но сама дуврская барония зависела от епископства Байе, и, несмотря на права, которые одно время, после Луи д'Аркура, патриарха Иерусалимского и епископа Байе, тамплиеры имели на это аббатство, все-таки духовные места в Бальбеке раздавали епископы этой епархии. Это мне объяснил довильский настоятель, человек лысый, красноречивый, мечтательный и любитель поест, пребывающий в послушании Брилья-Саварену; он изложил мне в выражениях несколько сибиллических смутных педагогические домыслы, угостив меня при этом замечательной жареной картошкой». В то время как Бришо улыбался, дабы подчеркнуть, сколько остроумия в соединении вещей столь разных и в употреблении слов иронически-возвышенных ради вещей самых обыкновенных, Саньет старался вставить какое-нибудь остроумное замечание, которое помогло бы ему подняться после провала, только что случившегося с ним. Остроумным замечанием было то, что называли «приблизительностью» речи, но что изменяло свои формы, ибо каламбуры переживают эволюцию, так же как и литературные жанры, как эпидемии, которые проходят, сменяясь другими, и т. д... Некогда формой этой «приблизительности» было слово «верх». Но оно устарело, никто не употреблял его больше, один лишь Котар говорил иногда во время партии в пикет: «Знаете ли вы, что такое верх рассеянности: это — когда Нантский эдикт принимают за англичанку». «Верхи» сменились прозвищами. В сущности, это была все та же «приблизительность», но так как прозвища были теперь в моде, то сходства не замечали. К несчастью для Саньета, когда эти выражения «приблизительности» принадлежали не ему и, как это обычно случалось, бывали неизвестны членам кружка, он преподносил их так застенчиво, что, несмотря на смех, которым он их сопровождал, стараясь отметить их юмористический характер, никто их не понимал. А если, напротив, словечко бывало придумано им, то, поскольку обычно оно приходило ему в голову во время разговора с кем-нибудь из «верных», а последний, повторяя, присваивал его себе, оно становилось известным, но не как словечко Саньета. Вот почему, когда он вставлял в разговор одно из таких словечек, его замечали, но так как не он считался его автором, его обвиняли в плагиате. «Так вот, — продолжал Бришо, — слово «вес» — по-нормандски — ручей; есть Бекское аббатство, а «Мобес» — болотный ручей («Мог», или «Мег»,

начало «болото» — «marais» — в таких словах, как «Morville» или «Bricquemar», «Alvimare», «Cambremer»). «Bricquebec» — ручей на холме, слово, происходящее от «briga» — «укрепленное место», которое встречается в таких названиях, как «Bricqueville», «Bricquebosc», «le Brie», «Briand», или от слова «brie» — «мост», которое совпадает с немецким «bruck» («Innsbruck») и с английским «bridge», заканчивающим столько названий местностей («Cambridge» и так далее). В Нормандии вы найдете еще целый ряд слов на «bec»: Caudebec, Bolbec, Robec, le Bec-Hellouin, Becquerel. Это нормандская форма немецкого «Bach» — Offenbach, Anspach. «Varaguebec» — от старого слова «varaigne», равнозначного слову «gareppe», — заповедник, заповедные леса, пруды. Что касается «Dal», — продолжал Бришо, — то это одна из форм слова «thal» — долина: «Darnetal», «Rosental» и даже — совсем близко от Лувье — «Becdal». Впрочем, река, давшая свое имя Дальбеку, очаровательна. Если смотреть на нее с береговых утесов (по-немецки «Fels»; недалеко отсюда, на возвышенном месте, есть даже прелесть городок Фалез — «Falaise»), она приходится рядом с церковью, в действительности расположенной на большом расстоянии от нее, и как будто отражает ее шпиль». — «Ну как же, — сказал я, — ведь это эффект, который очень любит Эльстир. Я видел у него много таких эскизов». — «Эльстир! Вы знакомы с Тишем, — воскликнула г-жа Вердюрен. — Да вы знаете, что мы с ним были чрезвычайно близки. Слава богу, я с ним больше не вожусь. Нет, да вы спросите у Котара, у Бришо, для него у меня всегда ставился прибор, он бывал каждый день. Вот человек, про которого можно сказать, что уход из нашего кружка не принес ему удачи. Я покажу вам сейчас цветы, которые он писал для меня; вы увидите, какая разница с тем, что он делает теперь и что мне не нравится, ну, совсем не нравится. Да как же: я ведь заказала ему портрет Котара, не считая всего того, что он писал с меня». — «И он сделал профессору лиловые волосы, — сказала г-жа Котар, забывая, что в ту пору ее муж даже еще не начинал преподавать. — Не знаю, мосье, находите ли вы, что у моего мужа лиловые волосы?» — «Это не важно, — сказала г-жа Вердюрен, подымая подбородок в знак презрения к г-же Котар и восхищения по адресу того, о ком она говорила, — это было достойно великолепного колориста, прекрасного художника. А вот, — прибавила она, снова обращаясь ко мне, — не знаю, назовете ли вы живописью всю эту чертовщину, все эти композиции, все эти огромные штуки, которые он выставляет с тех пор, как не бывает у меня. Я называю это пачкотней, это так шаблонно, и потом тут нет ничего яркого, ничего индивидуального. Тут есть все, что угодно». — «Он воскрешает изящество восемнадцатого века, но в современном виде, — стремительно сказал Саньет, которого укрепляла моя любезность, возвращавшая ему равновесие. — Но я предпочитаю Эллё». — «Ничего общего с Эллё», — сказала г-жа Вердюрен. — «Нет, это восемнадцатый век, но в лихорадке. Он — как бы Ватто в век пара», — и Саньет засмеялся. — «О, известно, архиизвестно, это мне уже преподносят много лет», — сказал г-н Вердюрен, которому Ски действительно передавал это выражение, но присваивая его себе. — «Вам не везет, — когда вам наконец удастся сказать членораздельно что-нибудь действительно остроумное, оказывается, что это не ваши слова. Это меня огорчает, — продолжала г-жа Вердюрен, — потому что это был человек одаренный; он загубил настоящий живописный темперамент. Ах! Если бы он остался здесь. Ведь из него вышел бы лучший пейзажист нашего времени. И это он из-за женщины пал так низко. Меня это, впрочем, не удивляет, потому что человек он был приятный, но пошлый. В сущности, он личность незначительная. Должна вам сказать, что я сразу же это почувствовала. Собственно, он никогда не интересовал меня. Он мне нравился, вот и все. Во-первых, он такой грязнуля. Нравится вам это — люди, которые никогда не моются?» — «Что это такое мы едим, — спросил Ски, — кушанье такого красивого цвета?» — «Это называется земляничный мусс», — сказала г-жа Вердюрен. — «Но это же оча-ро-ва-тельно. Надо бы откупорить Шато-Марго, Шато-Лафит, портвейн». — «Не могу вам сказать, как он меня смешит, пьет он только воду», — сказала г-жа Вердюрен, стараясь под видом удовольствия, которое ей как будто доставляла эта прихоть, скрыть ужас, внушаемый ей подобной расточительностью. — «Но это не для того, чтобы пить, — продолжал Ски, — наполните всем этим наши стаканы, потом принесут чудесные персики, огромные груши и поставят здесь, в лучах заката; это будет роскошно, как одна из лучших картин Веронеза». — «Это будет стоить почти столько же», — пробормотал г-н Вердюрен. — «Но уберите этот сыр, такого противного цвета», — сказал Ски, стараясь ухватить тарелку Хозяина, который всеми силами защищал свой грюйер. — «Вы понимаете, что я не жалею об Эльстире, — говорила мне г-жа Вердюрен, — вот этот одарен совсем по-иному. Эльстир — это труд, это человек, который не умеет бросить свою живопись, даже когда ему захочется этого. Он прилежный ученик, раб конкурсов. Вот Ски — тот повинется только своей прихоти. Вот вы увидите, он среди обеда вдруг закурит папироску». — «Право, не знаю, почему вы не пожелали принимать его жену, — сказал Котар, — он тогда по-прежнему бывал бы здесь». — «Послушайте, да будете вы вести себя прилично, господин профессор, я же не принимаю непристойных женщин», — сказала г-жа Вердюрен, делавшая, напротив, в свое время все, что она могла, лишь бы заставить Эльстира вернуться, даже и с женой. Но до того как они поженились, она пыталась поссорить их, она говорила Эльстиру, что женщина, которую он любит, глупа, нечистоплотна, легкомысленна, что она воровала. На этот раз ей не удалось создать разлад. С салоном Вердюренов Эльстир порвал сам, и он радовался этому, словно человек, обратившийся к вере и благословляющий болезнь или превратность судьбы, которая заставила его уединиться и направила на путь спасения. «Он бесподобен, этот профессор, — сказала она. — Скажите прямо, что моя гостиная — дом свиданий. Но можно подумать, что вы не знаете, что такое госпожа Эльстир. Я предпочла бы принимать последнюю из девок. О, нет, такое лакомство не для меня. Впрочем, должна вам сказать, примириться с женой было бы тем более глупо, что муж ее меня не интересует, это же устарело, это даже не рисунок». — «Это удивительно для человека такого ума», — сказал Котар. — «О, нет, — ответила г-жа Вердюрен, — даже в то время, когда у него был талант, — а талант у этого плута был, хватило бы и на другого, — в нем раздражало то, что он совершенно не был умен». Чтобы вынести об Эльстире это суждение, г-же Вердюрен не пришлось дожидаться разрыва с ним и той поры, когда она разлюбила его живопись. Дело в том, что даже в то время, когда он еще входил в их кружок, Эльстиру случалось проводить целые дни с той или иной женщиной, которую г-жа Вердюрен справедливо или несправедливо считала «дурой», а это на ее взгляд не годилось для умного человека. «Нет, — сказала она беспристрастным тоном, — я считаю, что он и его жена прекрасны подходят друг к другу. Могут поклесться, что не знаю на всей земле более скучного существа и что я пришла бы в ярость, если бы мне два часа надо было провести вместе с ней. Но говорят, он считает ее умной. Ведь надо же признаться, наш Тиш был всегда прежде всего чрезвычайно глуп. Я помню, как он бывал без ума от особ, которых вы себе не можете и представить, от откровенных идиотов, которых никто не захотел бы в нашем маленьком клане. И что же? Он им писал, он с ними спорил, — он, Эльстир. Это не мешает тому, что у него были прелестные свойства, о, прелестные, прелестные и, разумеется, очаровательно-нелепые». Ибо г-жа Вердюрен была убеждена, что люди действительно замечательные совершают множество безрассудств. Мысль неверная, но заключающая в себе некоторую долю истины. Конечно, людские «безрассудства» невыносимы. Но неуравновешенность, которую мы обнаруживаем лишь через долгий срок, есть следствие проникновения в человеческий мозг тончайших элементов, для которых он обычно бывает непригоден. Таким образом, странности очаровательных людей раздражают, во вместе с тем не бывает очаровательных людей, которые при случае не проявляли бы своих странностей. «Вот давайте, я сейчас могу вам показать его цветы», — сказала она мне, видя, как муж ее делает ей знак, что можно вставать из-за стола. И она снова подала руку г-ну де Камбремеру. Г-н Вердюрен пожелал извиниться по этому поводу перед г-ном де Шарлюсом, как только отошел от г-на де Камбремера, и представить ему свои объяснения, главным образом ради удовольствия поговорить об этих светских тонкостях с титулованным лицом, оказавшимся в данный момент ниже тех, кто отводил ему место, на которое, как они считали, он имел право. Но прежде всего он счел долгом показать г-ну де

Шарлюсу, что в умственном отношении он ставит его слишком высоко, чтобы предполагать, будто он может обратить внимание на такие пустяки. «Простите, — начал он, — что я заговариваю с вами об этих безделицах, представляю себе, как мало значения вы им придаете. Мещанские умы обращают на них внимание, но все другие, — художники, люди особого толка, — на них плюют. А я с первых же слов, которыми мы обменялись, понял, что вы того же толка». Г-н де Шарлюс, придавший этому обороту смысл весьма отличный, отстранился порывистым движением. После подмигиваний доктора, эта наглая откровенность Хозяина возмутила его. «Не возражайте, дорогой гость, вы того же толка, это ясно, как день, — продолжал г-н Вердюрен. — Заметьте, что я не знаю, занимаетесь ли вы каким-нибудь видом искусства, но это не необходимо. Этого не всегда достаточно. Дедамбр, который сейчас умер, играл в совершенстве, исправно, как машина, но был другого толка, сразу чувствовалось, что он другого толка. Бришо тоже другого толка. А Морель — нашего толка, моя жена — тоже, чувствую, что и вы нашего толка...» — «Что вы собирались мне сказать?» — прервал г-н де Шарлюс, который начинал успокаиваться насчет того, что хотел выразить г-н Вердюрен, но предпочитал, чтобы он менее громко выкрикивал эти двусмысленные слова. «Мы посадили вас всего-навсего налево». Г-н де Шарлюс, с улыбкой проницательной, добродушной и наглой, ответил: «Да полно! Это же не имеет никакого значения — здесь-то!» И к этим словам присоединился маленький смешок, свойственный только ему, — смешок, унаследованный им, вероятно, от какой-нибудь баварской или лотарингской бабушки, которой он в свою очередь достался от кого-нибудь из предков, так что он звенел, не меняясь, уже несколько столетий при маленьких старых европейских дворах, и это драгоценное звучание воспринималось как звучание некоторых старинных инструментов, ставших величайшей редкостью. Бывают моменты, когда для полноты обрисовки требовалось бы, чтобы к описанию присоединялось фонетическое воспроизведение речи, а характеристика такого персонажа, каким был г-н де Шарлюс, рискует остаться неполной за невозможностью передать этот смешок, столь тонкий, столь легкий, подобно тому, как некоторые произведения Баха никогда не исполняются адекватно, ибо в оркестрах отсутствуют те «маленькие трубы» с таким особенным звучанием, которым автор отводил то или иное место в партитуре. «Но, — отвечал задетый г-н Вердюрен, — это было сознательно. Я не придаю никакого значения аристократическим титулам, — прибавил он с той презрительной улыбкой, что появлялась на лицах стольких наших знакомых, которые, в противоположность моей бабушке и моей матери, отзывались ею на все то, чего они не имели, в присутствии счастливых обладателей, чтобы с помощью этой улыбки не дать им почувствовать их превосходство. — Но в конце концов, раз уж тут сказался господин де Камбремер и раз он маркиз, а вы только барон...» — «Позвольте, — высокомерным тоном ответил г-н де Шарлюс удивленному г-ну Вердюрену, — я также герцог Брабантский, владетель Монтаржи, принц д'Олерон, де Каранси, де Виазеджио и Дюн. Впрочем, это решительно ничего не значит. Вы не терзайтесь, — прибавил он с прежней лукавой улыбкой, которая расцвела при последних его словах. — Я сразу же увидел, что вы к этому непривычны».

Г-жа Вердюрен подошла ко мне, чтобы показать цветы Эльстира. Если поездка в гости на званый обед, это событие, давно уже ставшее для меня столь безразличным, теперь, благодаря тому, что оно облеклось в совершенно обновившую его форму путешествия вдоль берега с подъемом на высоту в двести метров над уровнем моря, дало мне, напротив, своеобразное опьянение, то это опьянение не рассеялось и в Ла-Распельер. «Ну вот, взгляните-ка на это, — сказала Хозяйка, показывая мне писанные Эльстиром огромные пышные розы, которые, однако, своим красным мягким цветом и пенистой белизной, может быть, слишком маслянисто выделялись на фоне жардиньерки, где были поставлены. — Как вы думаете, у него сейчас хватило бы силы нарисовать вот такое? Ведь здорово! И потом это прекрасно как вещь и забавно было бы потрогать. Не могу вам и сказать, до чего занятно было смотреть, как он их рисует. Чувствовалось, что его интересуют поиски этого эффекта». И взгляд Хозяйки мечтательно остановился на подарке художника, являвшемся выражением не только его большого таланта, но и долгой их дружбы, которая продолжала теперь жить только в этих воспоминаниях, оставленных им. За цветами, когда-то сорванными им для нее же самой, она еще словно видела красивую руку, рисовавшую их однажды утром, во всей их свежести, когда и те и другие, одни — на столе, другие — прислоненные к одному из кресел в столовой, могли украсить своим присутствием завтрак Хозяйки — еще неувявшие розы и их полупохожий портрет. Да, лишь полупохожие, ибо Эльстир не в силах был иначе смотреть на цветок, как пересадив его сперва в тот духовный сад, из которого мы никогда не можем уйти. В этой акварели он изобразил видение этих роз, которые сам узрел и которых иначе никто бы и не узнал, так что можно было сказать, что это — новая разновидность, которой художник, словно изобретательный садовод, обогатил семейство роз. «С того дня, как он покинул наш кружок, это был конченный человек. Оказывается, обеда у меня заставляли его терять время, я, оказывается, мешала развитию его гения, — ироническим тоном сказала она. — Как будто общение с такой женщиной, как я, могло не быть благотворным для художника», — воскликнула она в порыве гордости. Совсем близко от нас г-н де Камбремер, успевший усесться, увидев, что г-н де Шарлюс стоит, сделал такое движение, словно хотел встать и уступить ему свой стул. В сознании маркиза это предложение соответствовало, может быть, лишь какому-то смутно-учтивому намерению. Г-н де Шарлюс предпочел придать ему смысл некоего долга, который обыкновенному дворянину, как тот знает и сам, надлежит воздавать по отношению к принцу, и решил, что лучше всего утвердит это свое право превосходства, если отклонит любезность маркиза. И он воскликнул: «Да полно вам! Прошу вас! Вот еще!» Коварно-взволнованный тон этого восклицания уже заключал в себе нечто весьма «Германтское», еще более четко сказавшееся в повелительном, излишнем и непринужденном жесте г-на де Шарлюса, как бы желая заставить г-на де Камбремера вновь усесться, положил обе руки ему на плечи, хотя тот вовсе и не вставал с места: «Ах, полно, дорогой мой, — настаивал барон, — только этого и недоставало! Никаких же оснований! В наше время это делают только ради принцев крови!» Энтузиазм, вызванный во мне домом Камбремеров, не трогал ни их, ни Вердюренов. Ибо я оставался холоден к красотам, на которые они мне указывали, и приходил в возбуждение от каких-то смутных воспоминаний; несколько раз я даже признавался в своем разочаровании, не находя чего-либо соответствующего тому, что в моем воображении вызывало самое имя. Я возмутил г-жу де Камбремер, сказав ей, что думал, будто увижу здесь нечто более похожее на деревню. Зато я в восхищении остановился, вдыхая запах ветра, проникавшего в неплотно затворенную дверь. «Видно, что вы любите сквозняки», — сказала она мне. Похвала, с которой я отозвался о куске зеленого люстрина, закрывавшем окно с разбитым стеклом, имела не большой успех: «Ну, какая гадость!» — воскликнула маркиза. А в довершение всего я сказал: «Самое большее удовольствие я получил, когда приехал. Когда я услышал, как мои шаги отдаются в галерее, словно в какой-то, не помню уж какой, деревенской мэрии, где висела карта округа, я понял, что вошел». После этого г-жа де Камбремер уже окончательно отвернулась от меня. «Как, по-вашему, не очень плохо все это у них устроено? — спросил маркизу ее муж с такой жалобной озабоченностью, словно хотел узнать, как его жена перенесла некий печальный обряд. — Есть красивые вещи». Но так как недоброжелательство, когда твердые правила бесспорного вкуса не ставят ему непреложных границ, все подвергает критике в людях, занявших ваше место, придираясь и к личности их и к обстановке их дома, она сказала: «Да, но они не на своем месте. Да и так ли уж они хороши?» — «Вы заметили, — сказал г-н де Камбремер с печалью, которую умеряла известная твердость, — тут есть ситцы Жуи, которые совершенно обветшали, в этой гостиной есть вещи совсем истрепанные!» — «А этот кусок материи с крупными розами, совсем точно крестьянское одеяло», — сказала г-жа де Камбремер, чья культура, вполне искусственная, распространялась исключительно на идеалистическую философию, импрессионистическую живопись и музыку Дебюсси. Но, желая в своем обличении вызвать не только к

хорошо, но и к хорошему вкусу, она прибавила: «И они еще повеселили занавесочки! Какое отсутствие стиля! Чего вы хотите от этих людей, они ничего не знают, да и где бы им научиться? Это, должно быть, какие-нибудь богатые торговцы, удалившиеся от дел. Для них и это уже не плохо». — «Подсвечники мне показались красивыми», — сказал маркиз, причем осталось неизвестным, почему он делает исключение для подсвечников, подобно тому, как всякий раз, когда речь заходила о какой-нибудь церкви, — будь то Шартрский, или Реймский, или Амьенский собор, или Бальбекская церковь, он неизбежно спешил признать замечательными органной корпус, кафедру и отделку сидений. — «Что касается сада, то о нем не будем и говорить», — сказала г-жа де Камбремер. — Это просто разгром. Эти аллеи, которые все съезжают вбок». Я воспользовался тем, что г-жа Вердюрен велела подавать кофе, и вышел, чтобы пробежать глазами письмо, которое передала мне г-жа де Камбремер и в котором ее мать приглашала меня обедать. С помощью капельки чернил почерк отображал индивидуальность, которую отныне я узнал бы и среди целой толпы, причем не было бы уже надобности прибегать к гипотезе о каких-то особых перьях, подобно тому, как редкие и таинственным способом приготовляемые краски вовсе не необходимы художнику для того, чтобы он мог выразить своеобразие своего взгляда на мир. Даже паралитик, после удара страдающий аграфией и вынужденный смотреть на буквы только как на рисунок, но не умеющий их прочесть, понял бы, что г-жа де Камбремер принадлежала к старинному роду, где восторженная преданность литературе и искусству немного поступилась в пользу аристократических традиций. Он даже угадал бы, в какие годы маркиза одновременно научилась играть Шопена и писать. То была эпоха, когда благовоспитанные люди соблюдали правила любезности и так называемое правило трех прилагательных. Г-жа де Камбремер сочетала оба эти правила. Одного похвального эпитета ей было мало, вслед ему (после маленького тире) она ставила другой, потом (после второго тире) — третий. Но ее особенностью было то, что, вопреки общественной и литературной цели, которые она себе ставила, последовательность трех прилагательных в письмах г-жи Камбремер приобретала характер не нарастания, а диминуэндо.[9] Г-жа де Камбремер в этом первом письме сообщала мне, что она виделась с Сен-Лу и еще более, чем когда бы то ни было, оценила его достоинства, «исключительные, редкие, немалые», и что он должен снова к ним приехать с одним из своих друзей (именно тем, который влюблен был в невестку), и что если я пожелаю приехать вместе с ними или без них отобедать в Фетерне, она будет «счастлива — рада — довольна». Быть может потому, что желание быть любезной не подкреплялось у нее богатством воображения и разнообразием словаря, эта дама и стремилась ставить три восклицательных знака, будучи в силах дать во втором и в третьем эпитете только приглушенное эхо первого. Стоило бы появиться четвертому прилагательному, — и от первоначальной любезности не осталось бы и следа. Наконец, в результате своего рода утонченной простоты, наверно, производившей немалое впечатление в кругу семьи и даже среди знакомых, г-жа де Камбремер усвоила привычку заменять слово «искренний», которое в конце концов могло бы показаться лживым, словом «чистосердечный», и чтобы лучше показать, что речь действительно идет о чем-то искреннем, она нарушала обычную связь, при которой слово «чистосердечный» стояло бы перед существительным, и водружала его за ним. Письма ее кончались так: «Примите уверения в моей дружбе, вполне чистосердечной. — Примите уверения в моей симпатии, вполне чистосердечной». К несчастью, это до такой степени превратилось в формулу, что аффектированная прямота маркизы в еще большей мере производила впечатление обманчивой вежливости, чем старинные формулы, о смысле которых мы больше и не думаем. Читать мне, впрочем, мешал смутный гул голосов, заглушаемый более высоким голосом г-на де Шарлюса, который не оставил свою тему и говорил г-ну де Камбремеру: «Желая уступить мне место, вы заставили меня вспомнить о том господине, что прислал мне сегодня утром письмо, которое адресовал «Его высочеству барону де Шарлюсу» и которое начиналось словом: Monseigneur». — «В самом деле ваш корреспондент немаложко преувеличил», — ответил г-н де Камбремер, отдавая скромную дань смеху. Г-н де Шарлюс вызвал этот смех, — он его не разделял. «Но в сущности, дорогой мой, — сказал он, — вы заметьте, что в геральдическом смысле он прав, я не придаю этому личного характера, как вы можете себе представить. Я говорю об этом так, как если бы речь шла о другом человеке. Но что поделаешь, история есть история, мы тут бессильны, и не в нашей власти менять ее. Не буду приводить в пример императора Вильгельма, который в Киле не переставал величать меня: «Monseigneur». Как мне приходилось слышать, он называет так всех французских герцогов, что неправильно и что, быть может, просто является знаком чуткого внимания, которое, через наши головы, относится к Франции». — «Чуткого или более или менее искреннего», — сказал г-н де Камбремер. — «О, я не разделяю вашего мнения. Заметьте, что монарх, стоящий столь низко, как этот Гогенцоллерн, к тому же протестант, да еще лишивший моего кузена, короля ганноверского, его владений, не может мне нравиться как личность, — прибавил г-н де Шарлюс, которому Ганновер как будто был ближе к сердцу, чем Эльзас-Лотарингия. — Но побуждения, которые заставляют императора склоняться в нашу сторону, я считаю глубоко искренними. Дураки вам скажут, что это театральные император. А он, напротив, удивительно умен. В живописи он не знаток и вынудил господина Чуди изъять Эльстеров из национальных музеев. Но ведь Людовик Четырнадцатый не любил голландских мастеров, тоже имел пристрастие к помпе, а в общем был великим королем. А Вильгельм Второй, кроме того, так укрепил свою страну в отношении военном и морском, как Людовику Четырнадцатому это не удалось бы сделать, и я надеюсь, его власть никогда не столкнется с теми превратностями судьбы, что под конец омрачили жизнь того, кого обыкновенно называют «Король-Солнце». Республика совершает, по-моему, большую ошибку, отвергая любезности Гогенцоллерна или по капелькам рассчитываясь с ним. Он сам прекрасно отдает себе в этом отчет и говорит с присущей ему меткостью: «То, чего я хочу, — это рукопожатие, а не расшаркивание». Как человек — он подл; своих лучших друзей он бросил, предал, отрекся от них при обстоятельствах, в которых его молчание было настолько же презренно, насколько благородно было молчание этих людей, — продолжал г-н де Шарлюс, который, как всегда, поддаваясь своей слабости, уже заводил речь о деле Эйленбурга и вспоминал слова, сказанные ему кем-то из обвиняемых — одним из самых высокопоставленных: «Не потому ли, что император верил в нашу порядочность, он и осмелился допустить подобный процесс? Но, впрочем, он не ошибся, рассчитывая на нашу сдержанность. Мы и на шафоте продолжали бы молчать». — Однако все это не имеет ничего общего с тем, что я хотел сказать, а именно, что в Германии нас, медиатизированных принцев, называют «Durchlaucht», а во Франции наше положение как высочеств было признано публично. Сен-Симон утверждает, что мы не по праву заняли это положение, в чем он абсолютно ошибается. Основание, которое он приводит, а именно, что Людовик Четырнадцатый запретил нам называть его христианнейшим королем и велел именовать его просто королем, доказывает только, что мы ему подчинялись, но отнюдь не то, что мы не имели права на титул принца. Иначе в нем пришлось бы отказать и герцогу Лотарингскому и еще стольким другим. Впрочем, некоторые из наших титулов связаны с Лотарингским домом благодаря Терезе д'Эпинау, моей прабабке, которая была дочерью владетеля Коммерси». Заметив, что Морель слушает его, г-н де Шарлюс подробнее развил мотивы своих притязаний. «Я указывал моему брату, что сведения о нашем роде должны были бы помещаться не в третьей части Готского альманаха, а во второй, если уж не в первой, — сказал он, не отдавая себе отчета в том, что Морель и не знает, что такое Готский альманах. — Но это его и касается, он мой глава, и раз он считает, что все в порядке, и допускает такую вещь, мне остается только закрывать глаза». — «Господин Бришо очень меня заинтересовал», — сказал я направлявшейся ко мне г-же Вердюрен, кладя в карман письмо г-жи де Камбремер. — «Это образованный и славный человек, — холодно ответила она мне. — Ему явно недостает оригинальности и вкуса, у него жуткая память. О «предках» наших сегодняшних гостей, об эмигрантах, говорилось, что они ничего не забыли. Но у них хоть было то извинение, — сказала она, приписывая себе словцо Свана, — что они ничему и не научились. А Бришо все

и в течение обеда забрасывает нас целыми грудами словарей. Я думаю, если речь пойдет о том, что означает название такого-то города, такой-то деревни, для вас тут уже не будет ничего неизвестного». Пока г-жа Вердюрен говорила, я думал о том, что собирался ее о чем-то спросить, но не мог вспомнить, что это было. «Я уверен, что вы говорите о Бришо. А! Каково. И Шантпи и Фресине — он ни от чего вас не избавил. Я на вас смотрел, милая хозяйка. Я видел вас и чуть было не прыснул». Я не мог бы теперь сказать, как в тот вечер была одета г-жа Вердюрен. Может быть, я и в тот момент знал это не лучше, потому что я не наблюдателен. Но, чувствуя, что одета она не без претензий, я сказал ей что-то любезное и даже выразил восхищение. Она была такая же, как почти все женщины, которые воображают, что сделанный им комплимент есть точное выражение истины и что это беспристрастное суждение не могло бы не быть высказано, как если бы дело шло о произведении искусства, не связанном с определенным лицом. Вот почему она с серьезностью, которая заставила меня устыдиться моего лицемерия, задала мне горделивый и наивный вопрос, обычный в подобных случаях: «Так это вам нравится?» — «Вы говорите о Шантпи, я в этом уверен», — сказал г-н Вердюрен, подошедший к нам. Один только я, думая о куске зеленого люстрина да о запахе дерева, не заметил, что Бришо, излагая свои толкования слов, оказался в роли посмешища. А так как впечатления, придававшие в моих глазах ценность отдельным вещам, были из числа тех, которых другие люди не испытывают или которые они, не задумываясь, отвергают как нечто несостоящее, и так как, следовательно, если бы я даже мог поделиться ими, они остались бы непонятыми или же вызвали бы презрение, то для меня они не представляли никакой пользы и, помимо всего, имели еще то неудобство, что выставляли меня в глупом свете в глазах г-жи Вердюрен, которая видела, что я «влюбил» Бришо, подобно тому, как в глазах г-жи Германт я уже оказался глупцом потому, что мне нравилось бывать у г-жи д'Арпажон. Однако, что касается Бришо, то была и другая причина. Я не принадлежал к кружку. А в любом кружке, все равно — светском, политическом, литературном, — приобретается извращенная привычка — всюду, в разговоре ли, в публичной ли речи, в новелле, в сонете, подмечать то, чего простой читатель никогда бы и не заметил. Сколько раз уже случалось, что я, не без волнения читая рассказ, умело написанный каким-нибудь речистым и староватым академиком, готов был сказать Блоку или г-же де Германт: «Как мило!», как вдруг, прежде чем я успевал раскрыть рот, они уже восклицали, каждый на своем особом языке: «Если вы хотите провести несколько веселых минут, прочитайте рассказ такого-то. Человеческая глупость никогда не заходила так далеко». Презрение Блока вызывалось главным образом тем, что известные эффекты стиля, сами по себе вообще приятные, уже несколько поблекли; презрение г-жи де Германт — тем, что рассказ как будто доказывал совсем противоположное тому, что имел в виду автор и о чем она остроумно заключала по признакам, на которые я никогда и не подумал бы обратить внимание. Ирония, которую скрывала видимая любезность Вердюренов по отношению к Бришо, так же удивила меня, как через несколько дней после того — слова Камбремеров, сказанные в ответ на ту восторженную похвалу, с которой я отзывался о Ла-Распельер: «Не может быть, чтобы вы искренно это говорили — после того, что они понаделали там». Правда, они признали, что посуда была хороша. Ее, так же как и неприличных занавесок, я не заметил. «Словом, теперь, когда вы вернетесь в Бальбек, вы будете знать, что Бальбек означает», — иронически сказал г-н Вердюрен. А именно те вещи, которые я узнавал от Бришо, меня и интересовали. Что же касается его «направления ума», то оно было в точности то самое, которое прежде так ценили в маленьком клане. Он говорил все с той же раздражающей легкостью, но слова его больше не достигали цели, им приходилось бороться с враждебным молчанием или с неприятными отголосками; если что изменилось, то не содержание его речей, а акустика салона и расположение публики. «Осторожно», — проговорила вполголоса г-жа Вердюрен, указывая на Бришо. А так как слух оставался у него более острым, чем зрение, то на Хозяйку он бросил свой близорукий взгляд философа, тут же и отвратив его. Если глаза его были и не так зорки, то глаза духовные смотрели на мир взглядом более широким. Он видел, сколь немногого можно ждать от человеческих привязанностей, и он смирился. Правда, он от этого страдал. Бывает, что человек, который в обществе, где он привык нравиться всем, угадал, что его нашли чересчур легкомысленным, или слишком педантичным, или слишком неуклюжим, или слишком развязным и т. д., и, вернувшись домой, чувствует себя несчастным. Часто все дело в убеждениях, в системе взглядов, из-за которых другие нашли его нелепым или старомодным. Часто ему бывает известно как нельзя лучше, что эти другие его не стоят. Он с легкостью мог бы разбить софизмы, посредством которых его предали безмолвному осуждению, он хочет поехать в гости, написать письмо; будучи более разумным, он ничего не делает, ждет приглашения на будущей неделе. Иногда эти опалы, вместо того чтобы кончиться в один вечер, длятся месяцами. Вызванные неустойчивостью светских суждений, они еще усиливают ее. Ибо тот, кто знает, что г-жа Х презирает его, но чувствует, что у г-жи Y его уважают, заявляет о ее превосходстве и перекочевывает в ее салон. Впрочем, здесь не место описывать этих людей, возвышающихся над уровнем светской жизни, но не сумевших проявить себя вне ее, счастливых, когда их принимают, озлобленных, когда их не признают, каждый год открывающих недостатки в хозяйке дома, которой они воскуряли фимиам, и таланты в той, которую они не оценили по ее достоинствам, подвергающихся риску вернуться к предмету первой своей любви, когда им придется пострадать от неудобств, которые представляет вторая любовь, и когда неудобства первой будут немного забыты. По этим коротким опалам можно уже судить об огорчении, причиняемом Бришо той немилостью, которая, как он знал, была бесповоротна. Ему было неизвестно, что г-жа Вердюрен порою открыто смеется над ним, даже над его недугами, и, зная, сколь малого можно ждать от человеческих привязанностей, покорившись, все-таки не переставал смотреть на Хозяйку как на лучшего своего друга. Но по румянцу, которым покрылось лицо профессора, г-жа Вердюрен поняла, что он слышал сказанное ею, и дала себе слово быть любезной с ним в течение всего вечера. Я не мог удержаться и сказал, что она очень нелюбезна с Саньетом. «Как, я с ним не мила! Но он нас обожает, вы и не знаете, что мы значим для него. Иногда моего мужа несколько раздражает его глупость, и надо признать, что тут есть на что сердиться, но почему же он в такие моменты не оказывает сопротивления, а превращается в какую-то забитую собаку? Это нечестно. Я этого не люблю. Тем не менее я всегда стараюсь успокоить моего мужа, потому что, если бы он зашел слишком далеко, Саньет мог бы больше и не вернуться; а этого я не хотела бы, так как, должна вам сказать, у него нет ни гроша, он нуждается в наших обедах. А в конце концов, если он и обидится, если он больше не вернется, это меня не касается; когда другие тебе нужны, надо стараться не быть таким идиотом». — «Герцогство Омальское долгое время принадлежало нашему роду, прежде чем перешло к французским королям, — объяснял г-н де Шарлюс г-ну де Камбремеру в присутствии изумленного Мореля, на которого вся эта диссертация была рассчитана, если и не обращена к нему. — Мы имели преимущества перед всеми иностранными принцами; я мог бы привести вам сотни примеров. Когда принцесса де Круа на похоронах королевского брата пожелала стать на колени позади моей прапрабабушки, та резко заметила ей, что она не имеет права на это место, при помощи дежурного офицера заставила ее удалиться и обратилась с жалобой к королю, который приказал г-же де Круа поехать на дом к г-же де Германт просить извинения. Когда герцог Бургундский явился к нам с судебными приставами, с поднятым жезлом, мы добились от короля того, что этот жезл опустили. Я знаю, что не подобает говорить о достоинствах своей родни. Но ведь известно, что члены нашего дома всегда были впереди в час опасности. Когда мы избрали себе другой боевой клич, нежели у герцогов Брабантских, им стало слово «Passavant» («Вперед»). Таким образом, в сущности вполне законно, что это право — быть повсюду первыми, которое мы в течение веков завоевывали в боях, — было нам впоследствии дано и при дворе. И ведь оно всегда признавалось там за нами. В доказательство сошлюсь еще на случай с принцессой Баденской. Когда она забылась до такой степени, что пожелала занять место той самой герцогини Германтской, о которой я вам сейчас рассказывал, и собралась первой войти к

королю, воспользовавшись минутой нерешительности, которой, может быть, поддалась моя родственница (хотя нечего было ей поддаваться), король громко воскликнул: «Входите, входите, кухня, госпоже Баденской известно, как ей подобает вести себя с вами». А на это положение она имела право как герцогиня Германтская, хотя сама по себе она уже была достаточно знатного рода, потому что по матери приходилась племянницей королеве польской, королеве венгерской, курфюрсту Пфальцскому, принцу Савойскому-Кариньянскому и принцу Ганноверскому, впоследствии королю английскому». «Maecenas atavis edite regibus!» — сказал Бришо, обращаясь к г-ну де Шарлюсу, который в ответ на эту любезность слегка наклонил голову. — «О чем это вы говорите?» — спросила Бришо г-жа Вердюрен, которой хотелось загладить слова, сказанные ею только что. — «Я, да простит меня Бог, говорил о некоем денди, принадлежавшем к сливкам изящного общества (г-жа Вердюрен нахмурила брови) примерно во времена Августа (г-жа Вердюрен, которую умиротворила отдаленность во времени этих сливок общества, приняла вид более спокойный), — о друге Вергилия и Горация, которые в своей угодливости доходили до того, что прямо в лицо льстили ему, напоминая о его более чем аристократическом, царственном происхождении, — словом, я говорил о Меценате, книжном черве, который был другом Горация, Вергилия, Августа. Я уверен, что господин де Шарлюс прекрасно со всех точек зрения знает, кто такой был Меценат». Бросая искоса любезные взгляды на г-жу Вердюрен, ибо он слышал, как она с Морелем уславливалась о встрече на послезавтра, и опасался, что сам не будет приглашен, г-н де Шарлюс сказал: «Мне кажется, что Меценат был чем-то вроде Вердюрена древности». Г-же Вердюрен лишь наполовину удалось подавить улыбку удовлетворения. Она направилась к Морелю. «Он приятен, этот друг ваших родителей, — сказала она ему. — Видно, что он человек образованный, хорошо воспитанный. Для нашего кружка он подойдет. Где он живет в Париже?» Морель не нарушил надменного молчания и только выразил желание сыграть в карты. Г-жа Вердюрен потребовала, чтобы сперва он немного поиграл на скрипке.

Ко всеобщему удивлению, г-н де Шарлюс, никогда не говоривший о больших талантах, которыми был одарен, проаккомпанировал с величайшей чистотой игры последнюю часть (тревожную, полную смятения, шумановскую, но как-никак все же более старую, чем соната Франка) сонаты для фортепиано и скрипки Форе. Я почувствовал, что Морелю, замечательно одаренному в смысле звука и виртуозности, он даст именно то, чего ему недостает — культуру и стиль. Но я с любопытством думал о том, что заставляет сочетаться в одном и том же человеке физический порок и духовный дар. Г-н де Шарлюс не очень отличался от своего брата, герцога Германтского. Сейчас он даже (а это бывало с ним редко) заговорил таким же неправильным языком, как тот. Когда на его упрек (наверно имевший целью побудить меня — в выражениях как можно более теплых отозваться о Мореле при г-же Вердюрен), что я никогда его не навещаю, я в оправдание сослался на боязнь быть навязчивым, он мне ответил: «Но если я вас об этом прошу, то только я и был бы вправе на претензию». Г-н де Шарлюс был в сущности только Германтом. Но стоило лишь природе в достаточной мере нарушить в нем равновесие нервной системы, чтобы, в отличие от брата своего, герцога, он вместо женщины отдал предпочтение вергилиевскому пастуху или адепту Платона, и вот сразу же свойства, чуждые герцогу Германтскому и часто сочетающиеся с подобной неуравновешенностью, сделали из г-на де Шарлюса прекрасного пианиста, художника-дилетанта, не лишённого вкуса, красноречивый собеседник. Кто бы мог заметить, что та стремительная, тревожная, чарующая манера, с которой г-н де Шарлюс играл, шумановский отрывок из сонаты Форе, что этот стиль находил соответствие — не решаемся сказать: имел причину — в чисто физических свойствах, в нервных недостатках г-на де Шарлюса. В дальнейшем мы объясним это выражение: «нервные недостатки», а также то, в силу каких причин грек времен Сократа или римлянин времен Августа могли быть тем, чем они были, оставаясь все же нормальными мужчинами. В силу тех же причин, под влиянием подлинно-артистических наклонностей, не нашедших себе должного выражения, г-н де Шарлюс гораздо больше, чем герцог, любил свою мать, любил свою жену, и даже многие годы спустя, если с ним заговаривали о ней, у него все еще появлялись слезы, шедшие однако не из глубины, так же как испарина чрезмерно толстого человека, чей лоб от какого-нибудь пустяка уже покрывается потом. Разница лишь та, что толстяку говорят: «Как вам жарко», меж тем как принято делать вид, что чужих слез не замечаешь. Принято — то есть принято в светском обществе, ибо в народе вид слез вызывает беспокойство, как будто плач опаснее кровоизлияния. Печаль, которую после смерти своей жены переживал г-н де Шарлюс, не исключала для него, привыкшего лгать, образа жизни, отнюдь не соответствовавшего этой скорби.

Когда отрывок из сонаты был сыгран, я позволил себе попросить сыграть что-нибудь из Франка, но г-же де Камбремер это, казалось, причиняло такие страдания, что я больше и не настаивал. «Вы это не можете любить», — сказала она мне. Вместо того она стала требовать «Празднества» Дебюсси, первая же нота которых вызвала восклицания: «Ах, дивно!» Но Морель заметил, что он знает только первые такты, и просто из мальчишества, без всякого намерения мистифицировать, начал марш из Мейербера. К несчастью, так как сделал он это почти без всякого перехода и об этом не объявил, то все решили, что он еще играет Дебюсси, и продолжали кричать: «Дивно!» Сообщив, что автором является творец не «Пелеаса», а «Роберта Дьявола», Морель создал некоторую неловкость. Что касается г-жи де Камбремер, то она не успела ее ощутить, ибо только что обнаружила тетрадку Скарлатти и набросилась на нее с истерической стремительностью. «О, сыграйте это, возьмите, это божественно!» — кричала она. А между тем то, что в своем лихорадочном нетерпении она выбрала из произведений этого композитора, долгое время находившегося в пренебрежении, с недавних пор достигшего величайших почестей, было одной из тех проклятых пьес, которые столь часто не давали вам спать и которые безжалостная ученица без конца начинает играть в соседнем с вашим этаже. Но Морелю надоела музыка, а так как ему хотелось играть в карты, то г-н де Шарлюс, чтобы тоже принять участие, попросил составить вист. «Он сейчас говорил Хозяину, что он принц, — сказал г-же Вердюрен Ски, — но это неправда, он из простых буржуа, из семьи каких-то плохеньких архитекторов». — «Я хочу знать, что вы говорили о Меценате. Меня это занимает, вот!» — повторила г-жа Вердюрен, обращаясь к Бришо, из любезности, которая привела его в упоение. Зато, чтобы блеснуть в глазах Хозяйки, а может быть также и в моих, он сказал: «Но, по правде говоря, мадам, Меценат интересует меня главным образом потому, что он — первый выдающийся апостол того китайского бота, который насчитывает сейчас во Франции больше приверженцев, чем Брама, больше, чем сам Христос, — апостол всемогущего бога Навсенаплевательства». Г-жа Вердюрен не довольствовалась в подобных случаях тем, что опускала голову на руки. Неожиданно, точно насекомые, называемые подёнками, она впивалась в княгиню Щербатову; если последняя находилась поблизости, то Хозяйка повисала на ней, вцеплялась в нее ногтями и на несколько мгновений прятала голову у нее под мышкой, точно ребенок, играющий в прятки. Скрытая этой спасительной ширмой, она давала повод предполагать, будто смеется до слез, и могла решительно ни о чем не думать, как те люди, которые, пока они читают про себя несколько затягивающуюся молитву, прибегают к премудрой мере осторожности, закрывая лицо руками. Г-жа Вердюрен подражала им, когда слушала квартеты Бетховена, желая показать, что она смотрит на них как на молитву, и вместе с тем не дать заметить, что она спит. «Я говорю вполне серьезно, мадам, — сказал Бришо. — На мой взгляд слишком велико сейчас число тех, чье времяпровождение состоит в том, что они созерцают свой пуп как некое средоточие вселенной. По существу вопроса я ничего не могу возразить против какой-то нирваны, которая стремится растворить нас в великом Космосе (который, подобно Мюнхену и Оксфорду,

находится гораздо ближе к Парижу, чем Аньер и Буа-Коломб), но недостойно ни настоящего французского француза, ни настоящего европейца, что в то самое время, когда японцы, быть может, стоят уже под стенами нашей Византии, социалистические антимилицаристы важно спорят об основных достоинствах свободного стиха». Г-жа Вердюрен сочла возможным оставить в покое многострадальное плечо княгини и снова показала свое лицо, притворяясь, что вытирает себе глаза, и несколько раз переводя дыхание. Но Бришо желал, чтобы и я получил свою долю, и, считая, что для молодежи всего более лестно, когда ее пробирают, приписывают ей особый вес, заставляя ее считать своего противника реакционером, — мнение, создавшееся у него на защитах диссертаций, во время которых он, как никто, умел играть роль председателя, — он сказал, украдкой бросая на меня такой же взгляд, какой оратор незаметно уделяет лицу, присутствующему среди его слушателей и чье имя он назвал: «Я не хотел бы хулить богов молодежи. Я не хотел бы подвергаться осуждению, как еретик или изменник, в церкви маллармеистов, где наш новый друг, как все его ровесники, оправлял, наверно, эзотерические мессы, хотя бы в качестве певчего, и казаться выродком или розенкрейцером. Но, право, мы уж слишком нагляделись на этих интеллигентов, которые влюблены в искусство с большой буквы, а когда Золя уже не удовлетворяет их как средство опьянения, делают себе впрыскивания Верлена. Превратившись в Эфироманов из благоговения перед Бодлером, они были бы неспособны к мужественному усилию, которого в тот или иной день могла бы потребовать от них родина, ибо под влиянием великого литературного невроза чувства их анестезированы в этой теплой, раздражающей, тяжелой атмосфере вредных испарений, символизма курильщиков опиума». Не в силах будучи изобразить хоть тень восторга по поводу нелепой и пестрой тирады Бришо, я обернулся к Ски и попытался уверить его, что он совершенно ошибается относительно семейства, к которому принадлежит г-н де Шарлюс; он ответил мне, что он твердо уверен в сказанных им словах, и прибавил, что я же сам ему говорил, что настоящая фамилия Шарлюса — Ганден, ле Ганден. «Я говорил вам, — ответил я ему, — что госпожа де Камбремер — сестра одного инженера, господина Летрандена. О господине де Шарлюсе я с вами никогда не разговаривал. Между ним и госпожой де Камбремер столько же общего в смысле происхождения, сколько между великим Конде и Расином». — «Ах, а я думал!» — небрежно сказал Ски, не извиняясь в своей ошибке, так же как и несколько часов тому назад, когда из-за него наши спутники чуть было не опоздали на поезд. — «Долго ли вы думаете пробыть здесь на побережье?» — спросила г-жа Вердюрен г-на де Шарлюса, в котором она уже чувствовала «верного», дрожа при мысли, что он слишком рано уедет в Париж. «Да никогда, боже мой, не знаешь в точности, — тоном тягучим и гнусавым ответил г-н де Шарлюс. — Мне хотелось бы остаться до конца сентября». — «Вы правильно делаете, — сказала г-жа Вердюрен. — Это как раз время красивых бурь». — «По правде говоря, не это повлияло бы на мое решение. Последнее время я не оказывал внимания святому архангелу Михаилу — моему покровителю, и хотел бы заглазить свою вину, оставшись до его праздника в горном аббатстве, до двадцать девятого сентября». — «Это вас очень занимает — всякие такие вещи?» — спросила г-жа Вердюрен, которой, может быть, удалось бы заглушить в себе голос оскорбленного антиклерикализма, если бы она не опасалась, что долгая экскурсия заставит «манкировать» в течение целых двух суток и скрипача и барона. — «Вы, может быть, страдаете перемежающейся глухотой, — дерзко ответил господин де Шарлюс. — Я вам сказал, что святой Михаил — один из моих славных покровителей». Потом, улыбаясь с благосклонно-экстатическим выражением, устремив глаза вдаль, он проговорил голосом, которому придавало силу возбуждение, показавшееся мне даже не столько эстетическим, сколько религиозным: «Это так прекрасно, когда в момент дароприношения Михаил стоит у алтаря, в белых одеждах, и размахивает золотой кадильницей, окруженный столькими благовониями, что запах их возносится до Господа Бога». — «Можно было бы отправить туда всей компанией», — подала мысль г-жа Вердюрен, несмотря на свое отвращение к попам. — «В этот момент, после начала проскомидии, — продолжал г-н де Шарлюс, который по другим причинам, чем хорошие парламентские ораторы, но совершенно так же, как они, никогда не отвечал на реплики, притворяясь, будто не слышит их, — было бы очаровательно увидеть нашего молодого друга, играющего Палестрину или даже исполняющего какую-нибудь арию Баха. Вне себя от радости был бы и добрый аббат, и это — самая большая почесть, — по крайней мере, самая большая почесть, которую я публично мог бы воздать моему святому покровителю. Какой поучительный пример для верующих! Мы сейчас поговорим об этом с молодым музыкальным Анджелико, тоже воином — как и святой Михаил».

Саньет, которого позвали принять участие в игре в качестве «болвана», заявил, что не умеет играть в вист. А Котар, видя, что уже немного времени остается до поезда, тотчас же начал с Морелем партию в экарте. Взбешенный г-н Вердюрен с грозным видом наступал на Саньета: «Так вы ни во что не умеете играть», — кричал он в ярости, что потерял возможность составить партию в вист, и в восторге, что нашел случай нанести оскорбление бывшему архивариусу. А тот, терроризированный, прибежал к остроумию: «Нет, я умею играть на рояле». Котар и Морель уселись друг против друга. «Вам сдавать», — сказал Котар. — «Не подойти ли нам поближе к ломберному столу?» — сказал г-ну де Камбремеру г-н де Шарлюс, который беспокоился, видя скрипача в обществе Катара. — Это столь же интересно, как вопросы этикета, которые в наше время уже немного значат. Единственные короли, какие теперь остались, по крайней мере, во Франции, — это карточные короли, и мне кажется, что они в изобилии идут в руки к молодому виртуозу», — прибавил он сейчас же, восхищаясь Морелем и даже его манерой играть в карты, желая также ему польстить и, наконец, стараясь дать объяснение своей позе, ибо он наклонился над плечом скрипача. «Крою коззырем», — сказал, словно передразнивая какого-нибудь растакуэра, Котар, дети которого расхохотались, совершенно так же, как это бывало с его учениками и со старшим врачом клиники, когда профессор, даже у постели тяжело больного, придавая своему лицу эпилептически-безучастное выражение, отпускал одну из своих привычных острот. «Я толком и не знаю, как мне играть», — сказал Морель, обращаясь за советом к г-ну де Камбремеру. — «Как хотите, вы все равно будете биты, как бы вы ни играли». — «Играли... Ингалли? — спросил доктор, бросая в сторону г-на де Камбремера вкрадчивый и благосклонный взгляд. — Она была то, что мы называем настоящей дивой, это была мечта, Кармен, какой мы больше не увидим. Она была создана для этой роли». Маркиз поднялся с презрительной грубостью, отличающей людей хорошего происхождения, которые не понимают, что они оскорбляют хозяев дома, делая вид, будто они не уверены, можно ли водить знакомство с их гостями, и которые, чтобы употребить презрительный оборот, в оправдание ссылаются на английское обыкновение: «Кто этот господин, который играет в карты, чем он занимается в жизни, что он продает? Я люблю знать, с кем я встречаюсь, чтобы не познакомиться бог весть с кем. А я не расслышал его фамилии, когда вы сделали мне честь и представили меня ему». Если бы г-н Вердюрен, основываясь на этих последних словах, в самом деле представил своим гостям г-на де Камбремера, последний весьма осудил бы его. Но зная, что в действительности происходило обратное, он считал более любезным держаться добродушно и скромно, что уже было безопасно. Гордость, которую г-ну Вердюрену внушала его близость с Котаром, только усиливалась с той поры, как доктор стал знаменитым профессором. Но выражалась она уже не в прежней наивной форме. Прежде, когда Котар был едва известен, г-н Вердюрен, если с ним заговаривали о невралгиях его жены, отвечал с наивной гордостью, свойственной людям, которые думают, что всё, известное им, знаменито и что весь свет знает фамилию преподавателя пения в их семье: «Ничего не поделаешь с этим. Если бы ее пользовал какой-нибудь второсортный врач, можно было бы обратиться к другому способу лечения, но когда этого врача зовут Котар (имя, которое он произносил так, как будто речь шла о Бушаре или Шарко), остается пасовать». Прибегая к противоположному приему, зная, что г-н де Камбремер, наверно, слышал о знаменитом профессоре Котаре, г-н Вердюрен прикинулся протестом. «Это наш домашний врач, добрый малый, который нас обожает и

ради нас дал бы разрезать себя на куски; это не врач, это друг, я не думаю, чтобы вы его знали или что его имя вам что-нибудь скажет, во всяком случае для нас это имя очень славного человека, нашего дорогого друга — Котар». Это имя, которое г-н Вердюрен скромно пробормотал, ввело в заблуждение г-на де Камбремера, подумавшего, что дело идет о ком-то другом. «Котар? Вы говорите не о профессоре Котаре?» В эту минуту как раз слышался голос вышеупомянутого профессора, которого ход партнера привел в затруднение и который говорил, держа карты в руках: «Тут-то спартанцы и споткнулись». — «Ну да, именно, он профессор», — сказал г-н Вердюрен. — «Как, профессор Котар! Вы не ошибаетесь? Вы вполне уверены, что это тот самый, который живет на улице Бак?» — «Да, он живет на улице Бак, дом 43. Вы его знаете?» — «Да ведь все знают профессора Котара. Это же знаменитость! Это то же самое, как если бы меня спросили, знаю ли я Буф де Сен Блеза или Куртуа-Сюфи. Слушая его, я ведь понял, что он человек не такой, как все, вот почему я и позволил себе спросить вас». — «Ну, чем же теперь ходить, — козырем?» — спросил Котар. Потом внезапно, с грубостью, которая произвела бы раздражающее впечатление даже и при героических обстоятельствах, если бы, например, солдат захотел в привычной форме выразить свое презрение к смерти, но которая становилась сугубо-нелепой при игре в карты, столь безопасном времяпровождении, Котар решил ходить с козыря, принял мрачный вид, уподобляясь какой-нибудь «отчаянной голове», и, словно сопоставляя себя с тем, кто готов рисковать собой, как бы поставив на карту свою жизнь, воскликнул: «Наплевать мне в конце концов!» Сыграл он не так, как надо было ходить, но нашел чем себя утешить. Посреди гостиной, в широком кресле, г-жа Котар, уступая неотразимому для нее действию послеобеденного часа, после тщетных попыток сопротивления отдалась пространным и легкому сну, овладевшему ею. Напрасно она выпрямлялась по временам, чтобы улыбнуться, — из иронии ли к себе самой или от страха оставить без ответа какую-нибудь любезность, обращенную к ней, — она помимо своей воли снова откидывалась назад, во власти неумолимого и сладостного недуга. То, что заставляло ее так пробуждаться на какой-нибудь миг, был не столько шум, сколько взгляд (который она, полная нежности, видела даже закрытыми глазами и который предугадывала, ибо одна и та же сцена повторялась каждый вечер и тревожила ее сон, подобно мысли о часе, когда придется вставать), — взгляд, которым профессор обращал внимание присутствующих на сон своей супруги. Для начала он довольствовался тем, что только глядел на нее и улыбался, так как, если в качестве врача он и порицал этот послеобеденный сон (по крайней мере, он приводил этот научный довод, когда под конец ему случалось рассердиться, но с уверенностью нельзя признать данный довод решающим, столь переменчивы были его взгляды на этот счет), то как муж, всемогущий и любящий дразнить, он с восторгом издевался над своей женой, будил ее сперва только наполовину, чтобы дать ей опять уснуть и снова иметь удовольствие ее разбудить.

Теперь г-жа Котар совсем заснула. «Да ну же, Леонтина, ты клюешь носом», — крикнул ей профессор. — «Я, друг мой, слушаю то, что говорит госпожа Сван», — слабым голосом ответила г-жа Котар, снова впавшая в летаргию. — «Это же нелепо, — воскликнул Котар, — сейчас она нас будет уверять, что не спала. Это — как те пациенты, которые приходят на прием и утверждают, что никогда не спят». — «Они, быть может, это воображают», — со смехом заметил г-н де Камбремер. Но доктор так же любил возражать, как и дразнить, и, главное, не допускал, чтобы профан осмеливался разговаривать с ним о медицине. «Нельзя воображать, что не спишь», — возвестил он догматическим тоном. — «Ах, вот как!» — ответил с почтительным поклоном маркиз, как в прежнюю пору сделал бы и сам Котар. — «Видно, — продолжал Котар, — что вам не приходилось, подобно мне, прописывать целых два грамма трионала, которые все-таки не вызывали сна». — «Действительно, — с самоуверенным смехом ответил маркиз, — я никогда не принимал ни трионала, ни всех этих снадобий, которые скоро перестают действовать, но расстраивают вам желудок. Когда целую ночь проохотишься, как я, в лесу Шантли, уверяю вас, не требуется трионала, чтобы заснуть». — «Это утверждают люди невежественные, — ответил профессор. — Иногда трионал замечательно поднимает нервный тонус. Вот вы говорите о трионале, а знаете ли вы хотя бы, что это такое?» — «Да я... слышал, что это лекарство, от которого спят». — «Вы не отвечаете на мой вопрос, — наставительно продолжал профессор, который три раза в неделю бывал на факультетских экзаменах. — Я вас не спрашиваю, спят ли от него или не спят, а что это такое. Можете вы мне сказать, сколько в нем процентов крахмала и этила?» — «Нет, — ответил смущенный г-н де Камбремер. — Я предпочитаю рюмку доброго коньяку или даже портвейна, номер 345». — «Которые в десять раз ядовитее», — прервал его профессор. — «Что касается трионала, — попробовал заметить г-н де Камбремер, — то моя жена абонирована на всякие такие вещи, вы бы лучше поговорили об этом с моей женой». — «Которая, должно быть, знает об этом примерно столько же, сколько и вы. Как бы то ни было, если ваша жена принимает трионал, чтобы спать, то, как вы видите, моя в нем не нуждается. Ну, Леонтина, пошевелись-ка, ты же одеревенеешь, я-то разве сплю после обеда? Что ты будешь делать в шестьдесят лет, если ты и сейчас уже спишь, как старуха? Ты располнеешь, ты нарушаешь свое кровообращение. Она меня даже и не слышит». — «Так дремать после обеда — это ведь вредно для здоровья, — не правда ли, доктор? — сказал г-н де Камбремер, чтобы реабилитироваться в глазах Котара. — Когда хорошо поешь, нужен моцион». — «Вздор! — ответил доктор. — Одинаковое количество пищи было взято из желудка собаки, остававшейся в покое, и из желудка собаки, которая бегала, и оказалось, что у первой пищеварение совершалось быстрее». — «Так, значит, это сон препятствует пищеварению?» — «Это зависит от того, о каком органе идет речь — о пищеводе ли, о желудке ли или о кишках; излишне давать вам объяснения, которых вы не поймете, раз вы не изучали медицины. Ну, Леонтина, марш вперед, пора уезжать». Это была неправда, ибо доктор собирался лишь продолжать игру в карты, но он надеялся, что таким путем ему удастся более резко оборвать сон этой немой, к которой, больше не получая ответа, он обращался с самыми учеными увещеваниями. Оттого ли, что даже в сонном состоянии г-жа Котар еще сохраняла в себе некоторую силу сопротивления сну, оттого ли, что кресло не давало опоры ее голове, но только последняя механически стала раскачиваться слева направо и снизу вверх, словно предмет, движущийся по инерции в пустом пространстве, и г-жа Котар, у которой болталась голова, то как будто слушала музыку, то словно находилась в последней фазе агонии. То, что не удавалось увещеваниям ее мужа, все более и более резким, было достигнуто благодаря ее сознанию собственной глупости: «Температура в моей ванне хорошая, — пробормотала она, — но эти перья из словаря... — воскликнула она, выпрямляясь. — Ах, боже мой! Какая я глупая! Что это я говорю, я думала о моей шляпе, я, наверно, сказала глупость, еще немного — и я бы задремала, всё — этот проклятый огонь». Все рассмеялись, потому что никакого огня не было.

— Вы шутите надо мной, — сказала, сама смеясь, г-жа Котар, которая с легкостью магнетизера и ловкостью женщины, поправляющей свою прическу, стерла рукой на своем лбу последние следы, оставленные ее дремотой, — смиренно приношу дорогой госпоже Вердюрен мои извинения и хочу узнать от нее правду. — Но ее улыбка скоро стала печальной, так как профессор, знавший, что жена старается нравиться ему и страшно боится потерпеть неудачу, только что крикнул ей: «Посмотришь в зеркало, ты вся красная, словно у тебя высыпали утри, вид у тебя как у старой крестьянки». — «Знаете, он очарователен, — сказала г-жа Вердюрен, — в нем есть милая добродушная насмешливость. И потом ведь он вернул моего мужа из преддверья могилы, когда весь факультет уже успел приговорить его к смерти. Он три ночи провел у его постели, не ложась спать. Зато Котар для меня, знаете, — прибавила она тоном торжественным и почти угрожающим, поднимая руку к своим выпуклым музыкальным вискам, осененным седыми прядями, — таким тоном, как будто мы

хотели обидеть доктора, — это нечто священное. Он мог бы просить у меня всего, чего захочет. Впрочем, я называю его не доктор Котар, а доктор бог! И все-таки, называя его так, я еще клевету на него, потому что этот бог в пределах возможного устраняет часть тех бед, за которые ответствен тот, другой». — «Ходите с козыря», — довольным тоном сказал Морелю г-н де Шарлюс. — «Попробуем с козыря», — сказал скрипач. — «Сперва надо было пустить в ход вашего короля, — сказал г-н де Шарлюс, — вы рассеянны, но как вы хорошо играете». — «Вот мой король», — сказал Морель. — «Он красавец-мужчина», — ответил профессор. — «Что это за штука — все эти столбики?» — спросила г-жа Вердюрен, показывая г-ну де Камбремеру на великолепный лепной герб над камином. — «Это ваш герб?» — прибавила она с пренебрежительной иронией. — «Нет, не наш, — ответил г-н де Камбремер. — У нас на золотом поле три полосы с красными зубцами, по пяти зубцов на каждой, а над ними — золотые трилистники. Нет, это — герб д'Аррашпелей, которые не принадлежали к нашему роду, но от которых мы унаследовали этот дом, и никогда никто в нашем роду ничего не желал здесь менять. А в гербе у д'Аррашпелей (в былые времена они, говорят, назывались Пельвилен) на золотом поле было пять колец с красными верхушками. Когда они вступили с нами в родство, их щит изменился, но все же в нем посреди двадцати крестиков с поперечниками остался маленький золотой колок, заостренный книзу, а направо от него — горностаевое крыло». — «Ну вот», — совсем тихо произнесла г-жа де Камбремер. — «Моя прабабушка была урожденная д'Аррашпель или де Ращпель, как вам будет угодно, потому что оба эти имени встречаются в древних грамотах, — продолжал г-н де Камбремер, сильно покрасневший, так как ему лишь теперь пришла в голову мысль, которой хотела поделиться с ним жена, удостоившая его этой чести, и опасавшийся, как бы г-жа Вердюрен не приняла на свой счет эти слова, отнюдь не относившиеся к ней. — История утверждает, что в одиннадцатом веке первый из Аррашпелей, Маса, называвшийся Пельвиленом, во время осад необычайно искусно вырывал колья из земли. Отсюда — прозвище д'Аррашпель, с которым он и получил дворянство, и те колья, которые, как вы видите, столетиями сохраняются в их гербе. Дело идет о кольях, которые, чтобы сделать крепость более неприступной, втыкали, вгоняли в землю перед ней и соединяли вместе. Это те самые колья, которые вы так хорошо называли столбиками и которые ничего общего не имеют с прутиками доброго Лафонтена. Ибо считалось, что благодаря им крепость становится непобедимой. Конечно, если подумать о современной артиллерии, это вызывает улыбку. Но нужно вспомнить, что речь идет об одиннадцатом веке». — «Это мало современно, — сказала г-жа Вердюрен, — зато колоколенка своеобразна». — «Вам, — сказал Котар, — такая удача, что... тра-та-та-та, — словечко, которое он любил повторять, избегая того, которое сказано у Мольера. — Знаете ли вы, почему бубновый король забракован?» — «Я хотел бы быть на его месте», — сказал Морель, тяготившийся своей военной службой. — «Ах! Какой плохой патриот!» — воскликнул г-н де Шарлюс, который не смог удержаться и ущипнул скрипача за ухо. — «Нет, вы не знаете, почему бубновый король забракован, — продолжал Котар, дороживший своими шутками, — потому, что у него только один глаз». — «У вас сильный противник, доктор», — сказал г-н де Камбремер, желая показать Котару, что знает, кто он. — «Этот молодой человек просто удивителен, — наивно прервал его г-н де Шарлюс, показывая на Мореля. — Он играет как бог...» Это замечание не очень понравилось доктору, который ответил: «Поживем, увидим. Найдет коса на камень». — «Дама, туз», — торжествуя, объявил Морель, которому судьба благоприятствовала. Доктор склонил голову, как бы не в силах отрицать эту удачу, и признался, словно заипнотизированный: «Красиво». — «Мы были очень рады, что нам пришлось обедать вместе с господином де Шарлюсом», — сказала г-же Вердюрен г-жа де Камбремер. — «Вы не были с ним знакомы? Он довольно приятный, он своеобразный, в нем чувствуется эпоха» (она была бы в затруднении, если бы ей пришлось сказать, какая именно), — ответила г-жа Вердюрен с улыбкой удовлетворения, подобающего любительнице искусства, судье и хозяйке дома. Г-жа де Камбремер спросила меня, приеду ли я в Фетерн вместе с Сен-Лу. Я не в силах был удержать крик восторга, когда увидел луну, повисшую, точно оранжевый фонарь, над дубовой аллеей, начинавшейся у камен. «Тут еще ничего особенного; немного погода, когда луна поднимется выше и долина вся будет освещена, это будет в тысячу раз красивее. Вот чего нет у вас в Фетерне!» — сказала она презрительным тоном г-же де Камбремер, которая не знала, что ответить, не желая умалять достоинства имения, особенно в глазах своих жильцов. — «Вы еще некоторое время останетесь в этих краях, сударыня?» — спросил г-жу Котар г-н де Камбремер, в вопросе которого можно было усмотреть неопределенное намерение пригласить ее на ближайшее время, избавлявшее от необходимости точнее улаживать о встречах. — «О, разумеется, мосье, я очень дорожу этими ежегодными выездами ради детей. Что ни говори — им нужен вольный воздух. Весь факультет посылал меня в Виши, но там слишком уж многолюдно, а своим желудком я займусь, когда эти мальчишки еще немного вырастут. И потом ведь профессору, с этими экзаменами, в которых он участвует, вечно приходится тратить огромные усилия, и жара его очень утомляет. Я нахожу, что нужна основательная передышка, когда трудишься, как он, целый год. Во всяком случае мы пробудем здесь еще целый месяц». — «А-а! В таком случае мы, значит, еще увидимся». — «К тому же я тем более должна оставаться здесь, что мой муж собирается совершить поездку в Савойю и только через две недели вернется сюда на постоянное житье». — «Вид на долину мне еще больше нравится, чем вид в сторону моря, — продолжала г-жа Вердюрен. — Когда вы поедете домой, погода будет великолепная». — «Собственно говоря, — сказал г-н Вердюрен, — надо было бы пойти взглянуть, запряжены ли лошади; это на тот случай, если вы непременно захотите сегодня же вернуться в Бальбек, потому что я-то не вижу в этом необходимости. Завтра утром вас отвезли бы в экипаже. Погода, наверно, будет хороша. Дороги превосходные». Я сказал, что это невозможно. «Но во всяком случае еще не пора, — возразила Хозяйка. — Оставьте их в покое, время у них есть. Большой будет толк, если они за целый час приедут на вокзал. Здесь им лучше. А вы, мой маленький Моцарт, — сказала она Морелю, не решаясь прямо обратиться к г-ну де Шарлюсу, — вы не хотите остаться? У нас есть прекрасные комнаты с видом на море». — «Да он не может, — ответил г-н де Шарлюс за усердного игрока, который не расслышал. — У него отпуск только до двенадцати. Он должен вернуться спать, как хороший, послушный ребенок», — прибавил он тоном любезным, жеманным, настойчивым, как будто испытывал некое садическое блаженство, употребляя это целомудренное сравнение и вскользь подчеркивая голосом то, что затрагивало Мореля, прикасаясь к нему, если не рукой, то словами, которыми он как будто ошупывал его.

Из нравов, с которым ко мне обратился Бришо, г-н де Камбремер заключил, что я дрейфусар. Так как сам он был крайним антидрейфусаром, то, из вежливости к противнику, он стал мне восхвалять какого-то полковника-еврея, который всегда был очень справедлив к одному из кузенов Шевриньи и добился для него повышения, которого тот заслуживал. «А мой кузен был совершенно противоположного образа мыслей, — прибавил г-н де Камбремер, не останавливаясь на том, чем являлся этот образ мыслей, который, однако, — я это почувствовал, — представлял собой нечто столь же старое и дурно скроенное, как и его лицо, — образ мыслей, которого уже весьма давно должны были придерживаться иные семьи в маленьких городах. — Ну так вот! По-моему, знаете, это очень красиво!» — сказал в заключение г-н де Камбремер. Правда, слово «красивый» он употреблял не в эстетическом смысле, который для его матери и для его жены оно имело бы применительно к произведениям искусства, хотя бы и различным. Этим определением г-н де Камбремер пользовался скорее в тех случаях, когда, например, приветствовал какую-нибудь изящную особу, немного пополневшую. «Как, вы за два месяца прибавили три килограмма! Знаете? Это очень красиво». Прохладительные напитки были поставлены на стол. Г-жа Вердюрен предложила мужчинам самим пойти выбрать те напитки, которые им были по душе. Г-н де Шарлюс отправился выпить рюмку, быстро вернулся к ломберному столу и, усевшись, больше уже не двигался с места. Г-жа Вердюрен спросила его: «Вы попробовали мой

хрустальными нотками, которые редко появлялись у него в голосе: «Нет, я отдал предпочтение его соседке, это кажется земляничная, — восхитительно». Г-на де Шарлюса не беспокоило то, что г-жа Вердюрен разговаривает с ним стоя, и он продолжал сидеть в кресле, чтобы оставаться ближе к Морелю. «Как вам кажется, — сказала барону г-жа Вердюрен, — не преступление ли, что это существо, которое могло бы очаровывать нас своею скрипкой, сидит себе за карточным столом? Когда человек играет на скрипке так, как он!» — «Он хорошо играет и в карты, он все хорошо делает, он такой умный», — сказал г-н де Шарлюс, следя за игрой, чтобы давать советы Морелю. Это, впрочем, была не единственная причина, по которой он не вставал с кресла перед г-жой Вердюрен. При той своеобразной амальгаме, в которую слились его социальные представления — представления аристократа и вместе с тем любителя искусств, он, вместо того чтобы быть таким же вежливым, как любой человек его круга, создавал для себя своего рода живые картины в духе Сен-Симона, а в эту минуту забавлялся тем, что изображал маршала д'Юксель, который интересовал его и другими своими особенностями и чья гордость, как рассказывают, простиралась до того, что он, принимая томные позы, не поднимался с места даже ради самого цвета придворной знати. «Скажите-ка, Шарлюс, — спросила г-жа Вердюрен, начинавшая уже привыкать к нему, — не найдется ли у вас в предместье какого-нибудь разорившегося старика-аристократа, который мог бы поступить ко мне в швейцары?» — «Как же, как же... — ответил г-н де Шарлюс, добродушно улыбаясь. — Только я вам не советую». — «Почему?» — «Я опасался бы за вас, что более изысканные среди ваших гостей не будут идти дальше швейцарской». Это была первая стычка между ними. К сожалению, в Париже предстали еще и новые стычки. Г-н де Шарлюс по-прежнему не покидал своего сидения. Впрочем, он не мог удержаться от еле уловимой улыбки, видя, насколько его излюбленные мысли о престиже аристократии и низости буржуазии подтверждаются повиновением г-жи Вердюрен, завоеванным с такою легкостью. Хозяйка отнюдь не казалась удивленной позой барона, и если она отошла от него, то потому лишь, что обеспокоилась, увидев, что г-н де Камбремер оставил меня. Но прежде она пожелала выяснить вопрос об отношениях г-на де Шарлюса с графиней Моле. «Вы говорили мне, что знакомы с госпожой де Моле. Вы к ней ездите?» — спросила г-жа Вердюрен, вкладывая в слова «ездить к ней» такой смысл, как будто они должны были означать разрешение навещать ее, право быть принятым ею. Г-н де Шарлюс с оттенком презрения, с подчеркнутой точностью, нараспев ответил: «Иногда». Это «иногда» возбудило сомнения в г-же Вердюрен, которая спросила: «Встречали вы там герцога Германтского?» — «Ах, не помню!» — «Вот как? — сказала г-жа Вердюрен. — Вы не знаете герцога Германтского?» — «Да как же мне его не знать», — ответил г-н де Шарлюс, на губах которого зазмеилась улыбка. Это была улыбка ироническая; но так как барон боялся показать золотой зуб, он пресек ее, сжав губы, так что изгиб, который они теперь приняли, должен был соответствовать улыбке благожелательной. — «Почему вы говорите: как же мне его не знать?» — «Да ведь он же мой брат», — небрежно бросил г-н де Шарлюс, погрузив г-жу Вердюрен в изумление и в неуверенность, — не издевается ли над ней ее гость, или же, может быть, он незаконный сын или сын от другого брака. Мысль, что брат герцога Германтского может называться бароном де Шарлюс, не пришла ей в голову. Она направилась ко мне: «Я только что слышала, как г-н де Камбремер приглашал вас обедать. Мне, как вы понимаете, все равно. Но в ваших интересах я надеюсь, что вы не поедете. Во-первых, там все сплошь скучные люди. О, если вам нравится обедать с провинциальными графами и маркизами, которых никто не знает, вы будете как нельзя более удовлетворены». — «Кажется, я должен буду съездить к ним раз или два. Я, впрочем, не очень свободен, так как со мной здесь молоденькая кузина, которую я не могу оставлять одну (я полагал, что это мнимое родство упростит дело, давая мне возможность выезжать вместе с Альбертиной). Но что касается Камбремеров, поскольку я им уже ее представил...» — «Вы постыдитесь так, как захотите. Одно могу вам сказать: место чрезвычайно нездоровое; когда вы схватите воспаление легких или какой-нибудь хорошенький наследственный ревматизм, большой вам будет толк?» — «Но ведь, кажется, место очень красивое?» — «М-м-м-нну... Если хотите. Но прямо признаюсь, что в тысячу раз предпочитаю вид, который отсюда открывается на долину. Во-первых, если бы нам даже за это заплатили, я бы не поселилась в том доме, потому что для господина Вердюрена морской воздух губителен. Если только ваша кузина нервная... Да, впрочем, кажется, вы сами нервный... У вас бывают приступы удушья. Ну, так вы увидите. Съездите один раз, потом целую неделю не будете спать, но это уж не наша вина. — И, не думая о том, насколько ее следующая фраза будет противоречить предшествующим, она прибавила: — Если вам забавно посмотреть на дом, который неплох, — сказать, что он красив, было бы слишком, — но во всяком случае занятен, так же как и старый ров, старый подъемный мост, и раз уж мне придется принести себя в жертву и отобедать там один раз, — так вот, приезжайте в этот день, я постараюсь привести с собой весь мой кружок, тогда это будет мило. Послезавтра мы поедем на лошадях в Арамбувиль. Дорога великолепная, там чудесный сидр. Так поезжайте с нами. Вы, Бришо, тоже поедете. И вы, Ски, также. Это будет пикник, который, впрочем, муж мой подготавливал заранее. Не знаю хорошенько, кого он пригласил. Господин де Шарлюс, вы ведь тоже?» Барон, не слышавший всей фразы и не знавший, что речь идет о поездке в Арамбувиль, подскочил на месте. «Странный вопрос», — пробормотал он насмешливым тоном, который уколол г-жу Вердюрен. — «Впрочем, — сказала она мне, — отчего бы вам в ожидании обеда у Камбремеров не привезти ее сюда, вашу кузину? Любит ли она разговаривать? Любит ли умных людей? Она приятная? Ну, так отлично! Приезжайте с ней. Не одни же Камбремеры на свете. Я понимаю, что они будут счастливы пригласить ее, им никого не удастся залучить к себе. Здесь она всегда сможет дышать свежим воздухом, всегда найдет общество умных людей. Во всяком случае, я рассчитываю, что в будущую среду вы мне не измените. Я слышала, что вы собираетесь в ривбельский ресторан с вашей кузиной, с господином де Шарлюсом, уж не знаю — с кем еще. Вы должны были бы постараться перенести все это сюда, это было бы мило — приехать целой компанией. Сообщение как нельзя более удобное, дороги восхитительные; если нужно, я пришлю за вами экипаж. Не знаю, впрочем, что вас может привлекать в Ривбеле, там столько комаров. Вы, может быть, верите в репутацию галет? Мой повар делает их куда лучше. Уж я вас угощу нормандскими галетами, настоящими, и песочным печеньем, могу вас уверить. Ну! Если вам нравится свинство, которое преподносят в Ривбеле, то от этого я отказываюсь, — я не убиваю моих гостей, мосье, и даже если бы я захотела, мой повар не пожелал бы готовить эти вещи, которым нет названия, и переменил бы место. Тамошние галеты — просто не знаешь, из чего они сделаны. Я знала одну бедную девушку, которая заболела от них перитонитом и через три дня умерла. Ей было всего семнадцать лет. Грустно за ее бедную мать, — меланхолическим тоном прибавила г-жа Вердюрен под бременем опыта и страданий, о которых говорили ее выпуклые виски. — Но в конце концов поезжайте в ривбельский ресторан, если вам хочется оцарапать себе рот и если вам забавно выбрасывать деньги за окно. Но только, прошу вас, — это я возлагаю на вас ответственное поручение, — как только пробьет шесть часов, привозите ко мне сюда всех ваших гостей, не давайте людям возвращаться по своим домам врассыпную. Вы можете привезти кого хотите. Это я не всякому скажу. Но я уверена, что ваши друзья — милые, я сразу вижу, что мы друг друга понимаем. Не говоря о нашем кружке, как раз в среду должны быть очень приятные люди. Вы не знакомы с маленькой госпожой де Лонпон? Она очаровательная и такая остроумная, в ней вовсе нет снобизма, вот увидите, она вам понравится. И она тоже должна привести целую кучу друзей, — прибавила г-жа Вердюрен, желая показать мне, что это хороший тон, и ободрить меня примером. — Посмотрим, кто окажется более влиятельным и кто приведет с собой больше народу, — Барб де Лонпон или вы. И потом, кажется, должны будут привести также и Бергота, — прибавила она неопределенным тоном, ибо присутствие этой знаменитости становилось слишком неправдоподобным после заметки, появившейся в газетах сегодня утром и сообщавшей, что здоровье великого писателя

внушает самые серьезные опасения. — Словом, вы увидите, что это будет одна из самых удачных моих сред, я не хочу, чтобы тут были какие-нибудь несносные женщины. Впрочем, не судите по сегодняшнему вечеру, он совершенно сорвался. Не возражайте, вам не могло быть скучнее, чем мне, даже и по-моему это было убийственно. Знаете, не всякий раз будет так, как сегодня. Впрочем, я говорю не о Камбремерах, которые невозможны, но я знала светских людей, которых находили приятными, — ну так вот! — по сравнению с моим кружком они просто переставали существовать. Я слышала, как вы говорили, что считали Свана умным. Во-первых, по-моему, это большое преувеличение, но я даже не говорю о самом характере этого человека, которого я всегда находила глубоко антипатичным, угрюмым, скрытным, — он ведь часто обедал у меня по средам. Ну так вот, вы можете спросить у других, даже рядом с Бришо, хотя он далеко не орел, а только хороший учитель для старших классов, которого я ввела в Академию, Сван был все-таки ничто. Он был совершенно бесцветен». А когда я высказал противоположное суждение, она ответила: «Нет, это так. Я ничего дурного не хочу о нем сказать, раз он был ваш друг, и к тому же он очень вас любил, он очаровательно отзывался мне о вас, но спросите-ка у них, говорил ли он хоть раз что-нибудь интересное на наших обедах. Это ведь все-таки пробный камень. Ну так вот! Не знаю, почему, но Сван у меня не прививался, ничего не выходило. Да и то немного, что в нем было хорошего, он взял здесь». Я стал уверять, что он был очень умен. «Нет, вы это думаете только потому, что знали его меньше, чем я. В сущности, он уже очень скоро надоедал. На меня он наводил тоску. (Это значило: «Он бывал у Германтов и ла Тремуй и знал, что я там не бываю».) А я все могу вынести, кроме скуки. Но уж это — нет». Страх скуки являлся теперь для г-жи Вердюрен мотивом, которым должен был объясняться состав ее узкого круга. Она еще не принимала у себя герцогиню, потому что не в силах была скучать, подобно тому, как из-за морской болезни не в силах была совершить путешествие по морю. Я думал о том, что слова г-жи Вердюрен — не абсолютная ложь, и меж тем как Германты объявили бы Бришо самым глупым человеком, которого они когда-либо встречали, я был не уверен, не стоит ли он, собственно говоря, если не выше Свана, то, по крайней мере, выше тех людей, которые одарены духом Германтов и у которых хватало бы вкуса избежать его педантических шуток и стыда покраснеть от них, — я задавал себе этот вопрос так, как если бы сущность ума хоть в известной мере могла объяснить тот ответ, который мне предстояло дать самому себе, и с такой серьезностью, как какой-нибудь христианин, подпавший под влияние Пор-Рояля и старающийся разрешить для себя проблему благодати. «Вы увидите, — продолжала г-жа Вердюрен, — когда люди светские оказываются в обществе людей действительно умных, людей нашего круга, тут-то на них и надо смотреть, — светский человек, самый остроумный в мире слепых, становится здесь одноглазым. А тем, другим, уже делается не по себе. Положение таково, что я спрашиваю себя: не следует ли мне вместо общих сборищ, которые все портят, устроить серию вечеров для одних только скучных людей, чтобы я как следует могла наслаждаться нашим маленьким кружком? Итак: вы приедете с вашей кузиной. Решено. Прекрасно. Здесь, по крайней мере, вас обоих накормят. В Фетерне же — муки голода и жажды. О! Если вы любите крыс, поезжайте туда, вы тотчас же получите полное удовольствие. И вы сможете оставаться там сколько захотите. Между прочим, вы там умрете с голоду. Впрочем, когда я туда отправлюсь, я перед отъездом пообедаю. А чтобы веселее было, вам следовало бы заехать за мной. Мы бы как следует закусили, а вернувшись, поужинали бы. Вы любите яблочный пирог? Да? Ну так вот! Мой повар делает его как никто на свете. Вы видите, я была права, когда говорила, что вы созданы для того, чтобы жить здесь. Так приезжайте, чтобы пожить. Вы знаете, что места у меня гораздо больше, чем кажется. Я не говорю всем об этом, чтобы не привлекать к себе скучных людей. Вы могли бы привезти сюда пожить вашу кузину. Здесь она будет дышать не таким воздухом, как в Бальбеке. Я утверждаю, что благодаря этому воздуху я излечивала неисцелимых. Честное слово, я их излечивала, и не раз. Ведь мне уже приходилось жить совсем близко отсюда, это было место, которое я сама и открыла, где я платила какие-то пустяки и где было больше своеобразие, чем в этой их Ла-Распельер. Я вам покажу, если мы отправимся гулять. Но я признаю, что даже и здесь воздух в самом деле живителен. Однако я не хочу слишком распространяться на этот счет, — парижане, того и гляди, пристрастятся к моему уголку. На это мне всегда везло. Словом, скажите вашей кузине. Вам отведут две хорошенькие комнаты с окнами на долину, вы по утрам будете видеть солнце в тумане. А кто такой этот Робер де Сен-Лу, о котором вы говорили? — спросила она тревожным тоном, так как слышала, что я собираюсь навестить его в Донсьере, и опасалась, что я задержусь там из-за него. — Вы могли бы уж скорее привезти его сюда, если он не из числа скучных. Я слышала, что о нем говорил Морель; мне кажется, он большой его ДРУГ, — сказала г-жа Вердюрен, безусловно солгав, ибо Сен-Лу и Морель не знали даже о существовании друг друга. Но услышав, что Сен-Лу знаком с г-ном де Шарлюсом, она подумала, что познакомил их скрипач, и желала делать вид, будто она в курсе дела. — Он случайно не занимается медициной или литературой? Знаете, если вам нужна рекомендация на случай экзаменов, Котар все может, и я делаю с ним все, что хочу. Что же касается Академии, если это нужно будет впоследствии, — сейчас, я думаю, он еще не годится по возрасту, — то я располагаю многими голосами. Ваш друг оказался бы здесь среди знакомых, и, может быть, ему было бы интересно осмотреть самый дом. Донсьер — это не забавно. Словом, вы сделаете так, как захотите, как вам будет удобнее, — сказала она в заключение, не настаивая больше, чтобы не могло показаться, будто она ищет аристократических знакомств, а также потому, что образ правления, который она создала для «верных» и который являлся тиранией, должен был, как она того требовала, называться свободой. — Ну, что это с тобой, — сказала она, увидев, что г-н Вердюрен, с жестами нетерпения, словно человек, задыхающийся от гнева и чувствующий потребность подышать чистым воздухом, направляется к дощатой террасе, которая, возвышаясь над долиной, примыкала к этой комнате. — Опять Саньет рассердил тебя? Но раз тебе известно, что он идиот, примиришься с этим, не волнуешься так. — Мне это неприятно, — сказала она мне, — потому что для него это вредно, это вызывает у него приливы крови. Но все-таки я должна это сказать, иногда нужно ангельское терпение, чтобы выносить Саньета, а главное помнить, что принимаешь его из милосердия. Я, со своей стороны, признаюсь, что великолепие его глупости скорее забавляет меня. Я думаю, вы слышали после обеда его изречение: «Я не умею играть в вист, но умею играть на рояле». Ну, не восхитительно ли? Это необъятно как вселенная — и к тому же ложь, так как он ни того, ни другого не умеет. Но мой муж, несмотря на свою кажущуюся жестокость, очень чувствительный, очень добрый, и этот эгоизм Саньета, всегда думающего о том впечатлении, которое он произведет, выводит его из себя. Ну полно, милый, успокойся, ты же знаешь, Котар говорил тебе, что это вредно для твоей печени. И все это обрушится потом на меня, — сказала г-жа Вердюрен. — Завтра у Саньета, когда он явится сюда, будет нервный припадок и приступ плача. Бедный! Он очень болен. Но в конце концов это не причина, чтобы морить других. И притом даже в те минуты, когда он безумно мучится, когда его хочется пожалеть, его глупость сразу же останавливает всякую жалость. Он уж слишком глуп. Тебе стоит лишь сказать ему самым любезным образом, что от таких сцен вы оба заболеваете и что пусть он больше не является, ведь этого он боится больше всего, это успокаивающе действует на его нервы», — внушала своему мужу г-жа Вердюрен.

В окна, приходившиеся с правой стороны, море уже почти не было видно. Но в окна противоположные видна была равнина, на которую теперь лунный свет набросил снежную пелену. Время от времени раздавались голоса Мореля и Котара. «У вас есть козыри?» — «Yes». — «А! У нас хорошие, не какой-нибудь сор», — сказал Морелю, в ответ на его вопрос, г-н де Камбремер, так как он видел, что в картах доктора сплошь одни козыри. — «Вот бубновая госпожа, — сказал доктор. — Это козырь, знаете. Я снимаю, я беру. А Сорбонны больше не существует, есть только парижский университет». Г-н де Камбремер признался, что не понимает, почему доктор делает ему это

зачем. «Мне показалось, что вы говорите о Сорбонне, — снова начал доктор. — Я как будто слышал слова: «сор» и «бонна», — прибавил он, подмигивая в знак того, что это — остроумие. — Погодите, — проговорил он, показывая на своего противника, — я готовлю на него нападение не хуже, чем при Трафальгаре». И ход, действительно, должен был быть выгоден для доктора, ибо в своей радости он, смеясь и наслаждаясь, стал двигать плечами, что в семействе, в «роду» Котаров было почти зоологическим признаком удовлетворенности. В предыдущем поколении этот жест сопровождался еще и другим: человек потирал себе руки, словно намыливая их. Сам Котар пользовался в свое время обоими этими жестами, но в один прекрасный день потирание рук исчезло, причем осталось неизвестным, чем это вызвано — супружеским или, может быть, чьим-то ведомственным вмешательством. Даже при игре в домино доктор, «задавая работу» своему партнеру и заставляя его пускать в ход двойную шестерку, что было для него величайшим удовольствием, ограничивался движением плеч. А когда он на несколько дней уезжал к себе на родину, что он старался делать как можно реже, и встречался там с каким-нибудь двоюродным братом, который еще только потирал себе руки, он по возвращении рассказывал г-же Котар: «Этот бедный Рене показался мне очень вульгарным». — «Есть ли у вас эта маленькая штучка? — сказал он, обернувшись к Морелю. — Нет? Тогда хожу этим старым Давидом». — «Да ведь тогда у вас пять, вы выиграли!» — «Вот блестящая победа, доктор», — сказал маркиз. — «Пиррова победа, — сказал Котар, оборачиваясь к маркизу и глядя на него поверх своего пенсне, желая судить о впечатлении, которое произвело его словцо. — Если у нас есть еще время, — сказал он Морелю, — вы можете отыграться. Мне тасовать. Ах, нет! Вот уже экипажи, придется оставить на пятницу, и я покажу вам фокус, который не так-то легко узнать». Г-н и г-жа Вердюрэн пошли провожать нас. Хозяйка была особенно ласкова с Саньетом, чтобы быть уверенной, что завтра он явится снова. «Но вы, мой мальчик, по-моему, без пальто, — сказал мне г-н Вердюрэн, которому его преклонный возраст давал право на столь отеческое обращение. — Погода как будто изменилась». Слова эти наполнили меня Радостью, как будто сокровенная жизнь, возникновение в природе различных сочетаний должно было возвестить и другие перемены, уже касавшиеся моей жизни, и создать в ней новые возможности.

Когда, готовясь к отъезду, вы открывали дверь в парк, уже чувствовалось, что на сцену недавно появилась другая «погода»; свежие дуновения, услада лета, поднимались в ельнике (где в былое время г-жа де Камбремер грезилась о Шопене) и, еле ощутимые, ласково извиваясь, носясь прихотливыми потоками, начинали свои легкие ноктюрны. Я отказался от пледа, который в следующие вечера, когда мне предстояло бывать здесь вместе с Альбертиной, я соглашался брать, скорее для того, чтобы охранять тайну нашего блаженства, чем для защиты от холода. Безуспешно стали искать норвежского философа. Сделались ли у него колики? Побоялся ли он опоздать на поезд? Прилетел ли за ним аэроплан? Вознесся ли он чудом на небо? Во всяком случае он исчез так, что никто и заметить не успел, — словно некое божество. «Это вы напрасно, — сказал мне г-н де Камбремер, — сейчас собачий холод». — «Почему собачий?» — спросил доктор. — «Берегитесь удушья, — продолжал г-н де Камбремер. — Моя сестра никогда не выходит по вечерам. Сейчас ей, впрочем, довольно худо. Как бы то ни было, не оставайтесь так, без шляпы, скорее надевайте ее». — «Эти удушья не от холода», — наставительно сказал Котар. — «Ах, вот как! Вот как! — сказал доктор с улыбкой, из-за которой он опять поверх пенсне взглянул на собеседника. Г-н де Камбремер засмеялся, но, убежденный в своей правоте, продолжал настаивать. «Однако же, — сказал он, — всякий раз как моя сестра выходит вечером, у нее бывает приступ». — «Не к чему препираться, — ответил доктор, не отдавая себе отчета в своей невежливости. — Впрочем, на берегу моря я медициной не занимаюсь, разве что пригласят к больному. Здесь у меня каникулы». Это, впрочем, пожалуй, в еще большей мере, чем ему бы хотелось, была правда. Когда г-н де Камбремер, садясь с ним вместе в экипаж, сказал: «Нам так повезло, поблизости от нас (не на вашей стороне бухты, а на противоположной, но бухта в этом месте такая узкая) поселилась еще и другая медицинская знаменитость, — доктор дю Бульбон», — Котар, который из этических соображений всегда избегал критиковать своих собратьев, не в силах был удержаться и воскликнул, как это уже было с ним при мне в тот роковой для меня день, когда мы зашли в маленькое казино: «Но это же не врач! Он занимается литературной медициной, это же фантастическая терапия, шарлатанство. Впрочем, мы в хороших отношениях. Если бы я не должен был уехать, я сел бы на пароход, чтобы разок навестить его». Но по виду, который принял Котар, разговаривая с г-ном де Камбремером о дю Бульбоне, я почувствовал, что пароход, на котором он рад был бы отправиться навестить своего коллегу, весьма напоминал бы тот корабль, который, стараясь погубить целебные воды, открытые другим литературным врачом, Вергилием (тоже лишившим их всех пациентов), снарядили салернские доктора, но который с ними вместе потонул во время перехода. «Прощайте, мой маленький Саньет, не забудьте приехать завтра, вы ведь знаете, что мой муж очень любит вас. Он любит ваше остроумие, ваш ум; ну да, вы же это знаете, ему нравится быть грубым, но он без вас не может обойтись. Он всегда первым делом спрашивает меня: «Будет ли Саньет? Я так люблю, когда он бывает». — «Я никогда этого не говорил, — сказал Саньету г-н Вердюрэн с наигранной прямоотой, которая как будто прекрасно примиряла слова Хозяйки и его обращение с Саньетом. Затем, взглянув на часы, должно быть для того, чтобы положить конец прощаниям в вечерней сырости, он наказал кучерам ехать не слишком медленно, но быть осторожными при спусках, и уверил нас, что мы заблаговременно попадем на вокзал. Каждого из «верных» поезд должен был доставить до его станции, — кончая мною, так как больше никто не ехал до Бальбека, и начиная Камбремерами. Последние, не желая, чтобы их лошади преодолевали ночью подъем к Ла-Распельер, вместе с нами сели в поезд в Дувиль-Фетерне. Всего ближе до них было на самом деле не от этой станции, которая, находясь несколько поодаль от деревни, расположена еще дальше от замка, а от станции Ла-Сонь. Доехав до вокзала Дувиль-Фетерн, г-н де Камбремер пожелал дать «монету», как выражалась Франсуаза, кучеру Вердюренов (это как раз был симпатичный кучер с меланхолическими настроениями), ибо г-н де Камбремер был щедр и с этой точки зрения был скорее похож «на маму». Но оттого ли, что тут в нем возобладало «отцовское», он, подавая, почувствовал сомнение, словно совершается ошибка, в которой виноват то ли он, давший, например, в темноте вместо франка всего только су, то ли получатель, не обративший внимания на значительность врученного ему дара. Вот почему он подчеркнул это, заметив: «Это ведь франк я вам даю, не правда ли, — сказал он кучеру, держа в руке поблескивавшую монету, чтобы «верные» могли рассказать об этом Вердюренам. — Не правда ли: это всего двадцать су, — поездка ведь была короткая». Он и г-жа де Камбремер расстались с нами в Ла-Сонь. «Я скажу моей сестре, — повторил он мне, — что вы страдаете удушьями, я уверен, что это ей будет интересно». Я понял, что он хотел сказать: это доставит ей удовольствие. Что до его жены, то она, прощаясь со мной, употребила два сокращенных выражения, которые даже в письме шокировали меня тогда, хотя впоследствии мы к ним и привыкли, но которые в устной речи, даже и теперь, как мне кажется, в своей нарочитой небрежности, в своей искусственной фамильярности заключают нечто нестерпимо-педантическое: «Рада, что провела с вами вечер, — сказала она мне. — Привет Сен-Лу, если увидите». Произнося эту фразу, г-жа де Камбремер сказала «Сен-Луп». Мне не удалось узнать, кто бы мог так произнести это имя в ее присутствии или что могло внушить ей мысль, будто его так нужно произносить. Как бы то ни было, в течение нескольких недель она произносила Сен-Луп, а один человек, бывший от нее в восхищении и живший одной с нею жизнью, подражал ей в этом. Когда другие говорили: «Сен-Лу», она и он настаивали, с ударением произносили: «Сен-Луп», — для того, чтобы косвенным образом дать им урок, или для того, чтобы иметь

возможности чем-то отличаться от них. Но, наверно, женщины более блестящие, чем г-жа де Камбремер, сказали ей или намеками дали ей понять, что так не следует произносить, а то, что она считает оригинальностью, есть заблуждение, из-за которого она может показаться мало осведомленной в светских тонкостях, ибо немного времени спустя г-жа де Камбремер опять стала говорить «Сен-Лу», и ее поклонник тоже отказался от всякого сопротивления, — то ли она сделала ему выговор, то ли он сам заметил, что конечная согласная больше не звучит в ее устах, и он сказал себе, что если женщина таких достоинств, такой энергии и такого честолюбия решилась уступить, то она это сделала вполне сознательно. Самым ярким из ее поклонников был ее муж. Г-жа де Камбремер любила дразнить других, притом иногда весьма дерзко. Как только она таким образом принималась за меня или за кого-нибудь другого, г-н де Камбремер со смехом начинал глядеть на жертву. Так как глаза у маркиза косили, — а это даже веселости глупцов придает всегда характер намеренного остроумия, — результатом его смеха было то, что на фоне белка, который иначе только и был бы виден от всего глаза, появлялся одним краешком зрачок. Так появляется просинь в небе, закутанном облаками. Впрочем, этот сложный процесс совершался под прикрытием моногля, подобно тому стеклу, что охраняет драгоценную картину. Что же касается самого намерения, выражаемого этим смехом, то нельзя с точностью определить, было ли оно любезным: «Ах, плутишка, вы можете сказать, что достойны зависти. К вам благоволит здорово умная женщина», или циничным: «Ну что ж, сударь, надеюсь, вам это по вкусу, сколько обид вам приходится проглотить», или предупредительным: «Вы знаете, я возле вас, я принимаю все это со смехом, потому что это чистойшая шутка, но скверно обращаться с вами я не позволил бы», или это была жестокость сообщника: «К такому остроумию мне нечего прибавить, но вы видите, я покатываюсь от всех этих оскорблений, которые она вам расточает. Я потешаюсь, как какой-нибудь горбун, значит одобряю это, — я-то муж. Зато, если б вам пришла охота дать отпор, вам, сударь мой, пришлось бы поговорить со мной. Во-первых, я влепил бы вам две пощечины, и здорovenные, а потом мы бы отправились в лес Шантпи — скрестить шпаги».

Какое бы различное толкование ни давать веселости мужа, шутки жены скоро прекращались. Тогда и г-н де Камбремер переставал смеяться, появившийся на время зрачок исчезал, а так как в течение нескольких минут вы отвыкали от абсолютной белизны его глазного яблока, то она придавала теперь этому румяному нормандцу какой-то обескровленный и вместе с тем экстатический вид, как будто маркиза только что оперировали или как будто он, зажав в глазу моногль, молит небо даровать ему мученический венец.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Огорчения г-на де Шарлюса. — Его мнимая дуэль. — Остановки «Трансатлантика». — Устав от Альбертины, я хочу порвать с ней

Мне сильно хотелось спать. В мой этаж меня поднял на лифте не лифтер, а косоглазый посыльный, вступивший со мной в разговор с намерением рассказать мне, что его сестра продолжает жить с богатым баринном, а когда однажды ей вздумалось вернуться домой, вместо того чтобы наконец остепениться, ее барин отправился к матери косоглазого посыльного и других менее незадачливых детей, которая поспешила привести эту сумасшедшую обратно к ее любовнику. «Знаете, мосье, моя сестра — важная барыня. Она играет на рояле, говорит по-испански. И вам не придет в голову, что сестра скромного служащего, который поднимает вас на лифте, ни в чем не отказывает себе, у мадам собственная горничная, я нимало не удивлюсь, если в один прекрасный день у нее будет и собственный экипаж. Видели бы вы, какая она красивая, — правда, она гордячка, но ведь это так понятно, еще бы! Она такая забавная. Она никогда не уедет из гостиницы, не облегчившись в ящик шкафа или комода, чтобы оставить маленький подарок горничной, которой придется убирать за ней. А иногда она проделывает это и в экипаже, и когда заплатит за проезд, притаится где-нибудь в углу и смеется, подсматривая, как ругается кучер, которому приходится мыть экипаж наново. Моему отцу тоже здорово посчастливилось, когда он напал для моего младшего брата на этого индийского принца, которого он когда-то знавал. Конечно, это совсем в другом роде. Но это блестящее положение. Если бы не путешествия — это была бы настоящая мечта. Дело только за мной, — один я до сих пор никак не устроился. Впрочем, ничего нельзя знать наперед. Моей семье везет; кто знает, не стану ли я когда-нибудь президентом республики. Однако я застаиваю вас болтать. (Я же не вымолвил и слова и начал засыпать под его болтовню.) Добрый вечер, мосье. Ах, благодарствуйте, мосье. Если бы у всех было такое доброе сердце, как у вас, на свете не было бы несчастных людей. А, как говорит моя сестра, они все-таки нужны, чтобы теперь, когда я разбогатела, я могла бы их обложить. Простите меня это выражение. Спокойной ночи, мосье».

По вечерам, отходя ко сну, мы, пожалуй, обрекаем себя на страдания, почитая их однако небывшими и недействительными, ибо они должны возникнуть в течение сна, который мы относим за пределы сферы сознания. Меня одолевал сон в те вечера, когда я поздно возвращался из Ла-Распельер. Но с наступлением холодов мне не удавалось сразу заснуть из-за яркого пламени в камине, похожего на зажженную лампу. Но это было лишь короткой вспышкой, и, подобно лампе, подобно дневному свету при наступлении вечера, это слишком яркое освещение быстро гасло, и я вступал в сон, который является как бы нашим вторым домом, куда мы уходим на покой, покидая наше дневное жилище. Там свои особые звонки, и там иногда нас неожиданно будит звон колокольчика, ясно воспринятый нашими ушами, в то время как никто не звонил. Там свои слуги, свои особые посетители, которые, сперва зайдя за нами, уходят таким образом, что мы, приготовившись встать, бываем вынуждены констатировать, при нашем почти мгновенном перемещении в наше дневное жилище, что в комнате пусто, что никто не приходил. Племя, обитающее там, состоит из двуполых людей, подобно первым смертным. Мужчина через мгновение появляется там в образе женщины. Предметы обладают способностью превращаться в людей, люди — во врагов и друзей. Время, протекающее в этих снах для спящего, вполне отлично от времени, в котором совершается жизнь бодрствующего человека. Иногда его течение гораздо стремительнее, четверть часа кажется иногда длиннее целого дня, — думаешь, что слегка вздремнул, а спал весь день. Тогда, на колеснице сна, спускаешься в глубины, куда не достигает память и за пределами которых сознание принуждено возвращаться вспять. Запряжка сна, подобная запряжке солнца, движается таким размеренным шагом в атмосфере, где ей нет ни малейшего сопротивления, что только посторонний нам осколок аэролита (брошенный из лазури каким-то Неизвестным) может всколыхнуть этот ровный сон (который иначе был бы лишен основания прерваться и мог бы длиться в подобном поступательном движении во веки веков) и заставить его резким поворотом обратиться вновь к действительности, не останавливаясь перед тем, как пересечь граничащие с жизнью области, где вскоре спящий услышит принадлежащие ей — и сперва совсем неясные, но мало-помалу, несмотря на их искажение, все более различимые шумы — и внезапно причалит к пробуждению. И вот от этих глубоких снов мы просыпаемся на утренней заре, не зная, что мы представляем собой, потеряв свою личность, свежие, готовые ко всему, с мозгом, очищенным от прошлого, которое до сих пор составляло нашу жизнь. И должно быть еще прекраснее, когда к пробуждению мы причаливаем самым грубым образом, и наши мысли сна, вырвавшись через щель забвения, не успевают вернуться одна вслед другой, прежде чем окончится сон. Тогда из этой черной розовой тучи, которую мы как будто пересекли (мы почти не осмеливаемся сказать мы), мы появляемся недвижимые, лишённые мыслей, с я, лишенным внутреннего содержания. Какой удар молота оглушает наше существо или

оставляющее ему тело, чтобы повергнуть его в полное неведение и крайнюю растерянность, вплоть до момента, когда примчавшаяся память вернет ему сознание или личность? Но и для этих двух видов пробуждения нельзя было засыпать даже глубоким сном, под знаком привычки. Ибо привычка следит за всем тем, что она оплетает своими сетями, — необходимо освободиться от нее, захватить сон в тот миг, когда нам кажется, что мы и не думаем спать, одним словом — поймать сон, который не состоял бы под опекой предусмотрительности в сообществе размышления, хотя бы даже и скрытом. По крайней мере, в этих пробуждениях, которые я только что описал и которые бывали у меня по большей части после того, как я накануне обедал в Ла-Распельер, все происходило именно так, и я могу свидетельствовать об этом, — я, странное человеческое существо, которое, в ожидании, что смерть освободит его, живет за закрытыми ставнями, ничего не знает о мире, остается неподвижным как сова и, подобно ей, лишь во мраке начинает кое-что различать. Все происходит точно таким образом, и едва ли не какая-то завеса помешала спать слышать внутренний диалог воспоминаний и непрерывную болтовню сна. Ибо (впрочем, этому найдется надлежащее объяснение в первой более обширной, более мистической, более астральной системе) в тот миг, когда совершается пробуждение, спящий слышит внутренний голос, говорящий ему: «Не придете ли вы сегодня обедать, дорогой друг, как бы это было приятно?» — и думает: «Да, как это будет приятно, я пойду»; затем, когда наступило окончательное пробуждение, он вдруг вспоминает: «Моей бабушке осталось жить всего несколько недель, как уверяет доктор». Он звонит, он плачет при мысли, что больше ему не отзовется, как бывало, его бабушка, его умирающая бабушка, но что вместо нее придет равнодушный слуга. Кроме того, пока сон водил его за собой, вдали от мира, где обитает воспоминание и мысль, по эфиру, где он был одинок и даже более чем одинок, потеряв спутника, в котором мы находим обычно отражение своей личности, он оказался вне времени и его измерений. И вот входит слуга, а он не осмеливается спросить у него, который час, ибо не знает, спал ли он, какое количество часов проспал (он спрашивает себя, не будет ли это скорее количество дней, поскольку возвращается он такой разбитый телом, но вместе с тем бодрый духом, полный томления, будто из очень дальнего и все же непродолжительного путешествия). Конечно, можно прийти к заключению о единстве времени — на том ничтожном основании, что, когда мы смотрим на часы, мы убеждаемся, что прошло всего четверть часа, тогда как нам показалось, будто истек день. Но ведь в момент, когда мы констатируем это, мы находимся как раз в состоянии бодрствующего человека, окунаясь в поток времени бодрствующих людей, иное время покинуто нами. И, быть может, не только время, но и другая жизнь. Наслаждения, испытываемые во сне, не стоят в одном ряду с наслаждениями, пережитыми в действительности. Можно сослаться на одно из них, наиболее простого чувственного порядка: кто из нас, пробуждаясь, не испытывал известной досады оттого, что во сне мы ощутили наслаждение, которое, проснувшись, мы уже не можем повторять до бесконечности в продолжение целого дня, боясь переутомиться. Это словно потерянное добро. Наслаждение мы получили в другой жизни, которая не принадлежит нам. Страдания и наслаждения сна (обычно быстро исчезающие при пробуждении), хоть мы и заносим их в наш бюджет, все же не всходят в бюджет нашей действительной жизни.

Я сказал: два времени; может быть, существует только одно-единственное. Не потому, что время бодрствующего человека приемлемо также и для спящего, а потому, что другая жизнь, — та, в которой спишь, — в своей наиболее глубокой области не подчинена категории времени. Все это представлялось мне, когда я спал столь глубоким сном на другой день после обеда в Ла-Распельер. И вот почему. Я был близок к отчаянию, когда при пробуждении заметил, что хоть я и звонил десять раз, слуга и не думал появиться. На одиннадцатый раз он вошел. Это и оказался первый раз. Остальные десять раз были попытками моего желания позвонить во сне, который все еще продолжался. Мои онемевшие руки даже не шевельнулись. И вот в такие утра (и это вынуждает меня сказать, что, может быть, сон не признает закона времени) мои попытки проснуться состояли главным образом в усилии, направленном на вдвигание расплывчатой темной глыбы сна, только что пережитого мной, в рамки времени. Это была нелегкая задача: сон, которому неизвестно, спали ли мы два часа или два дня, не может дать нам никакой точки опоры. И если мы ее не находим вовне, нам не удастся вступить в пределы времени, мы снова засыпаем — на пять минут, которые нам кажутся тремя часами.

Я всегда говорил, — и проверил это на опыте, — что самым действительным снотворным средством является сон. После того как мы спим глубоким сном в продолжение двух часов, сражаемся со множеством великанов и на веки вечные завязываем многочисленные дружеские связи, бывает гораздо труднее проснуться, чем после приема нескольких граммов веронала. Так, рассуждая о том и о другом, я был очень удивлен, когда узнал у норвежского философа, который заимствовал это у г-на Бутру, «своего знаменитого коллеги — простите, своего собрата» — то, что г-н Бергсон думал по поводу своеобразных нарушений памяти, вызванных снотворными средствами. «Само собой очевидно, — сказал будто бы г-н Бергсон г-ну Бутру, если верить норвежскому философу, — что если время от времени, умеренными дозами, принимать снотворные лекарства, то они перестают действовать на эту крепкую память нашей повседневной жизни, столь прочно гнездящуюся в нас. Но есть другие виды памяти, более возвышенные, однако менее стойкие. Один из моих коллег читает курс древней истории. Он рассказывает мне, что если накануне он принимает порошок от бессонницы, то с трудом вспоминает во время лекций необходимые ему греческие цитаты. Доктор, прописавший эти порошки, уверял его, что они не должны были влиять на память. «Это, может быть, потому, что вам не приходится прибегать к греческим цитатам», — ответил ему историк не без насмешливой гордости».

Не знаю, насколько точен этот разговор между г-ном Бергсоном и г-ном Бутру. Норвежский философ, будучи сам столь проникновенным и точным, столь жадно-внимательным, мог неправильно понять. Лично мне мой опыт дал противоположные результаты. Мгновения утраты памяти, наступающие на другой день после приема некоторых наркотических средств, имеют только частичное, однако волнующее сходство с тем забвением, которое царит в продолжение целой ночи естественного и глубокого сна. Однако и в том и в другом случае я забываю не один из стихов Бодлера, который скорее утомляет меня, «как гусли», или одно из понятий любого из процитированных философов, а самую реальность существования обыденных вещей, окружающих меня — в то время как я сплю — и невосприятие которых приводит меня в состояние безумия; и если я бодрствую и только что проснулся после искусственного сна, я забываю не систему Порфирия или Плотина, о чем я могу рассуждать так же хорошо, как и в любой другой день, а ответ, который я обещал дать на приглашение и на месте воспоминания о котором образуется пустота. Возвышенная идея осталась на своем месте; а снотворное лекарство уничтожило возможность ориентироваться среди обыденных мелочей, во всем том, что требует деятельной способности, спохватиться вовремя, поймать на лету то или другое воспоминание из повседневной жизни. Что бы ни говорили о продолжении жизни после разрушения мозга, я замечаю, что каждому изменению состояния мозга соответствует частичная смерть. Мы сохраняем все наши воспоминания, если не самую способность вызывать их в памяти, — говорит по Бергсону великий норвежский философ, язык которого я не заимствую, чтобы не замешкаться еще более. Итак — если не самую способность вызывать их в памяти. Но тогда — что же это за воспоминание, если нельзя вызвать его в памяти? Или пойдем еще дальше. Мы не можем оживить в памяти свои воспоминания за последние тридцать лет, но они омывают нас вокруг; тогда зачем останавливаться на тридцати годах, почему не продолжить эту предыдущую жизнь еще далеко за пределы нашего рождения? Поскольку мне уже незнаком ряд воспоминаний,

оставшихся позади меня, поскольку они скрыты от меня и я не обладаю способностью призвать их к себе, кто может мне сказать, что в этой «массе», неведомой для меня, не будет и таких воспоминаний, которые выходят далеко за пределы моей человеческой жизни? Если внутри меня и вокруг меня может быть столько воспоминаний, о которых я не помню, то эта забывчивость (по крайней мере, забвение фактов, потому что я не обладаю способностью что-либо различить) может относиться к жизни, которую я прожил в теле другого человека, даже на другой планете. Одинаковое забвение стирает все. Но что значит тогда это бессмертие души, реальность которого утверждал норвежский философ? То существо, которым я буду после смерти, не имеет более причин помнить о том человеке, в образе которого я существую со дня моего рождения, так же как этот последний не помнит, чем я был до него.

Слуга вошел. Я не сказал ему, что звонил много раз, ибо я отдавал себе отчет в том, что мне приснилось, будто я звонил. Тем не менее я ощущал страх при мысли, что у этого сна была отчетливая ясность сознания. Не была ли присуща и сознанию в свою очередь вся нереальность сна?

Зато я спросил его, кто звонил столько раз этой ночью. Он сказал мне на это: никто, и мог настаивать на этом, так как иначе доска с электрическими звонками отметила бы это. Но ведь я же слышал звонки, повторявшиеся почти с бешеной силой, которые продолжали звучать еще у меня в ушах и должны были остаться для меня ощутимыми в течение нескольких дней. Впрочем, редко бывает, чтобы сон перебрасывал в нашу сознательную жизнь воспоминания, обычно угасающие одновременно с ним. Можно пересчитать эти аэролиты. Если это какая-либо мысль, созданная во сне, она распадается очень быстро на мелкие, едва уловимые частицы. Но в данном случае сон произвел звуки. Более материальные и простые, они и продолжались дольше. Я был поражен тем относительно ранним часом, что назвал мне слуга. Тем не менее я чувствовал себя отдохнувшим. Только легкая дремота отличается большой продолжительностью, так как, являясь посредствующим звеном между бодрствованием и сном, сохраняя о первом слегка неясное, но непрерывное представление, она требует гораздо больше времени, чтобы восстановить нас, чем глубокий сон, который может быть кратким. Я чувствовал себя хорошо по другой причине. Если достаточно бывает вспомнить о том, что устал, чтобы тяжело ощутить эту усталость, то сказать себе: «Я отдохнул» — достаточно, чтобы создать чувство отдохновения. А снилось мне, что г-ну де Шарлюсу было сто десять лет и будто он дал две пощечины собственной матери. О г-же Вердюрен — что она купила букетик фиалок за пять миллиардов; я был поэтому уверен, что проспал глубоким сном, ибо мне приснились в искаженном виде мои впечатления от предыдущего дня и все возможные комбинации действительной жизни; этого было достаточно, чтобы я почувствовал себя вполне отдохнувшим.

Я бы очень удивил свою мать, которая не могла понять, отчего г-н де Шарлюс зачастил к Вердюренам, если бы я рассказал ей (это было как раз в тот день, когда был заказан ток для Альбертины, без ее ведома, с намерением поразить ее), с кем г-н де Шарлюс обедал в одном из салонов Гранд-отеля в Бальбеке. Приглашенным был не кто иной, как выездной лакей одной из кузин де Камбремер. Этот выездной лакей был весьма элегантно одет; и когда он проходил по холлу вместе с бароном, то он «представлял собой светского человека» в глазах туристов, как сказал бы Сен-Лу. Даже юные посыльные, «левиты», толпой спускавшиеся по ступеням храма в этот миг, ибо наступил час смены, не обратили внимания на двух вновь пришедших, из которых один, а именно г-н де Шарлюс, опустив глаза, старался показать им, что он очень мало интересуется ими. Казалось, что он лишь пробирается среди них. «Так процветай же, надежда благословенного народа», — молвил он, вспомнив стихи Расина, что приводятся совсем в другом смысле. «Что угодно?» — спросил выездной лакей, мало знакомый с классиками. Г-н де Шарлюс не ответил ему, испытывая некоторую гордость, что может пренебречь вопросами, и продолжал шагать вперед, будто не существовало других клиентов в отеле и будто он один существовал на свете, — он, барон де Шарлюс. Но, продолжая произносить слова Иосаветы: «Придите, придите, дочери мои», — он внезапно ощутил отвращение и не присовокупил, как она, что необходимо позвать их, ибо это юное поколение еще не достигло возраста, когда окончательно определяется тот пол, который нравился г-ну де Шарлюсу. К тому же, написав выездному лакею г-жи де Шевреньи, не сомневаясь в его покорности, он питал надежду, что он окажется более мужественным. Рассматривая его теперь, он нашел его более женственным, чем он желал. Он сказал ему, что предполагал иметь дело с кем-то другим, так как он знал с виду другого выездного лакея г-жи де Шевреньи, которого он действительно приметил на экипаже. Это был мужиковатый парень, полная противоположность этому лакею, который, наоборот, расценивал свою жеманную грацию как известное преимущество и, ничуть не сомневаясь в том, что именно его качества светского человека пленили г-на де Шарлюса, сперва не понял, о ком говорил барон. «Но у меня нет никакого приятеля, кроме одного, на которого вы не могли позариться, — он отвратителен, это грубый крестьянский парень». И одна мысль, что может быть барон видел этого деревенского олуха, задела его самолюбие. Барон догадался об этом и сказал, продолжая допрос: «Но я не давал зарок знакомиться только с прислугой госпожи де Шевреньи. Не могли бы вы здесь или в Париже, раз вы скоро уезжаете, познакомить меня с вашими товарищами из того или другого дома?» — «О, нет! — ответил выездной лакей. — Я не вожусь ни с кем из моего сословия. Я обращаюсь к ним только по делу. Но у меня есть один человек, очень подходящий, с которым я мог бы вас познакомить». — «Кто же это?» — спросил барон. — «Принц Германтский». Г-н де Шарлюс ощутил досаду, когда ему предложили мужчину лишь этого возраста, да он и не нуждался в рекомендации выездного лакея для него. Поэтому он отклонил его предложение сухим тоном и, не обращая внимания на светские претензии лакея, вновь принялся объяснять ему, что именно он хочет, в каком роде, какого типа, будь то жокей и т. п. Опасаясь, как бы их не подслушал нотариус, проходивший мимо них, он счел гораздо более дальновидным заговорить совсем о другом, чем то, что можно было предположить, и произнес с ударением, в публику, будто продолжая начатый разговор: «Да, несмотря на мои годы, у меня осталась еще страсть к коллекционированию безделушек, вкус к красивым безделушкам, я делаю глупости из-за старинной бронзы, старинной люстры. Я поклоняюсь Красоте». Но, стараясь дать понять выездному лакею об изменении темы, произведенном с такой быстротой, г-н де Шарлюс так напирал на каждое слово, а желая быть расслышанным нотариусом, так громко выкрикивал их, что всей этой инсценировки оказалось бы вполне достаточно в смысле разоблачения его секретов для ушей, более искушенных, чем уши министерского чиновника. Последнему же это было неведомое, так же как и всем прочим клиентам отеля, принявшим хорошо одетого выездного лакея за элегантно иностранца. Зато если светские люди ошиблись при этом и приняли его за весьма молодого американца, то едва предстал он перед слугами, как те сразу признали его, как каторжник узнает каторжника; они почуяли его на расстоянии скорее, чем некоторые животные чуют подобного себе. Старшие официанты подняли глаза. Эме бросил подозрительный взгляд. Смотритель винного погреба, пожав плечами, промолвил, прикрывшись рукой и полагая, что так будет вежливее, нелестную фразу, которую все расслышали. И даже старая Франсуаза, зрение которой ухудшалось, проходившая в этот момент под лестницей, направляясь обедать «к курьерам», подняла голову, узнала слугу в том, в ком завсегда и отеля нисколько не усомнились, — как старая кормилица Эрикля узнает Улисса гораздо раньше, нежели пирующие женихи, — и, заметив, что рядом с ним запросто шагает г-н де Шарлюс, приняла удрученный вид, как будто внезапно все те злые сплетни, что она слышала, но не принимала на веру, приобрели в ее

глазах горькое правдоподобие. Она никогда не сказала ни мне, ни кому-либо другому об этом инциденте, но он заставил ее мозг проделать значительную работу, ибо уже много позже, каждый раз, когда ей случалось видеть в Париже «Жюльена», которого она очень любила, она продолжала быть с ним очень вежливой, но эта вежливость стала гораздо холоднее и была всегда разбавлена значительной долей сдержанности. Этот же самый инцидент заставил, наоборот, другого человека сделать мне признание; то был Эме. Когда я столкнулся с г-ном де Шарлюсом, последний, не думавший встретить меня, прокричал мне «добрый вечер», подняв руку с равнодушием, по крайней мере, внешним, вельможи, который полагает, что ему все дозволено, и считает гораздо более выгодным для себя не прятаться. И вот Эме, наблюдая за ним в этот миг настороженным взглядом и увидя, что я раскланялся с его спутником, в котором он безошибочно распознал слугу, в тот же вечер спросил меня, кто это был. Ибо с некоторых пор Эме любил болтать, или скорее, как он говорил, должно быть желая подчеркнуть философский, по его мнению, характер этих разговоров, любил «рассуждать» со мной. И так как я часто говорил ему, что меня стесняет, если он стоит возле меня в то время, как я обедаю, а не сядет и не разделит со мной трапезу, то он заявлял, что до сих пор ему не удавалось встретить клиента, обладавшего способностью «так правильно рассуждать». В настоящий момент он был занят разговором с двумя слугами. Они поклонились мне, я же недоумевал, почему я не узнавал их лица, тогда как в отголоске их разговора было что-то знакомое для меня. Эме пробирал их обоих за их помолвки, которых он не одобрял. Он призвал меня в свидетели, я же сказал, что у меня не может быть суждения, поскольку я их не знал. Они назвали мне свои имена, напомнили, что они часто прислуживали мне в Ривбеле. Но один из них оттрастил себе усы, а другой сбрил их и остригся наголо; и вследствие этого, хотя их прежние головы сидели на их плечах (а не другие, как в реставрациях Нотр-Дам, полных искажений), они оставались вне поля моего зрения, как те мелкие вещи, которые могут уцелеть при самом тщательном обыске и продолжать валяться на камине на глазах у всех, не замечаемые никем. Но едва лишь их имена стали мне известны, как я тотчас же вполне узнал смутную музыку их голосов, потому что снова увидел их прежние лица, определявшие ее. «Они собираются жениться, и при этом они даже не научились говорить по-английски», — сказал мне Эме, не помышляя о том, что я был мало в курсе профессиональных тайн персонала гостиницы и плохо представлял себе, что, не владея иностранными языками, нельзя рассчитывать на хорошее место. А я, предполагив, что он с легкостью узнает, что новый обедающий был г-н де Шарлюс, и вообразив, что он должен был его вспомнить, раз он подавал ему за столом, когда барон приезжал с визитом к г-же де Вильпаризи во время моей первой поездки в Бальбек, — назвал ему это имя. Однако Эме не только не помнил барона де Шарлюса, но это имя как будто произвело на него глубокое впечатление. Он сказал мне, что завтра поищет в своих вещах одно письмо, которое, быть может, я сумею ему растолковать. Меня это удивило, тем более, что г-н де Шарлюс, когда в Бальбеке, в первый год, ему захотелось передать мне одну из книг Бергота, нарочно вызвал Эме, которого он затем снова встретил в этом парижском ресторане, где я завтракал с Сен-Лу и его любовницей и где очутился г-н де Шарлюс, выслеживая нас. Правда, Эме не мог выполнить эти поручения лично, ибо в первом случае он уже лег спать, а во втором — он прислуживал за столом. Тем не менее я был не уверен в его искренности, когда он заявлял, что не знает г-на де Шарлюса. В известном смысле он должен был подойти барону. Подобно всем главным лакеям в отеле Бальбека, подобно некоторым камердинерам принца Германтского, Эме принадлежал к более древней расе, чем принц, а следовательно и к более благородной. Когда вы приходили заказывать салон, сперва казалось, что вы находитесь в единственном числе. Но через некоторое время можно было различить в буфетной монументального метрдотеля из породы рыжеволосых этрусков, типичным представителем которых и был Эме, являясь несколько более пожилым по виду, благодаря излишнему потреблению шампанского, и приближаясь к необходимости пользоваться водами Контрексвиля. Все клиенты требовали, чтобы он подавал им. Посыльные, которые были молоды, щепетильны, всегда торопливы, так как в городе их ожидала любовница, улетучивались, за что Эме упрекал их в недостатке степенности. Он имел на это право. Сам он был степенным. У него были жена и дети, он был честолюбив ради них. Поэтому те авансы, что делали ему иностранка или иностранец, никогда не отвергались им, хотя бы ему пришлось из-за этого остаться на ночь. Работа была для него на первом плане. Он был настолько в жанре, излюбленном г-ном де Шарлюсом, что я заподозрил его во лжи, когда он сказал, что не знаком с ним. Я ошибался. Грум с полным основанием сказал барону, что Эме (который намылил ему шею за это на другой день) уже лег спать (или ушел), а в другой раз — что он подает к столу. Но воображение всегда делает предположения за пределами действительности. И замешательство грума, несмотря на искренность его извинений, вызвало, вероятно, у г-на де Шарлюса сомнение, затронувшее чувства, о которых Эме и не подозревал. Мы уже видели, как Сен-Лу помешал Эме опуститься к экипажу, где г-н де Шарлюс, раздобывший, — я не знаю, каким образом, — новый адрес метрдотеля, опять пережил новое разочарование. Эме, который не заметил этого, был поражен, что легко себе представить, получив вечером того дня, когда я завтракал с Сен-Лу и его любовницей, письмо, запечатанное печатью с гербом Германтов, откуда я процитирую здесь несколько отрывков — как пример одностороннего помешательства умного человека, обращающегося к здравомыслящему дураку. «Сударь, мне не удалось, несмотря на мои усилия, что повергли бы в изумление многих людей, тщетно добивающихся моего приема и моих приветствий, чтобы вы выслушали некоторые объяснения, которых вы не ждете от меня, но принести которые казалось мне достойным и вас и меня. Я пишу о том, что мне удобнее было бы сказать изустно. Не скрою от вас, что когда я вас увидел впервые в Бальбеке, ваше лицо показалось мне антипатичным». За этим следовали рассуждения о сходстве, — что было обнаружено лишь на другой день, — с одним покойным другом, к которому г-н де Шарлюс питал большую привязанность. «У меня тогда же возникла мысль, что вы могли бы, ни в чем не унижая своей профессии, прийти ко мне сыграть несколько партий в карты, посредством которых его веселому настроению всегда удавалось рассеять мою грусть, создать мне иллюзию, будто он еще жив. Какова бы ни была природа более или менее нелепых предположений, что вы, вероятно, делали, более доступных пониманию слуги (который не заслуживает, впрочем, даже этого имени, поскольку он не захотел оказать услуги), чем проникновение в столь возвышенное чувство; вы надеялись, вероятно, придать себе важности, не зная, ни кто я такой, ни кем я был раньше, когда велели передать мне, в ответ на мою просьбу отнести книгу, что вы уже улеглись спать; однако неправильно было бы думать, что дурной поступок может придать вам больше изящества, которого вы к тому же и вовсе лишены. Я бы оборвал на этом, если бы на утро следующего дня случайно не заговорил с вами. Ваше сходство с моим бедным другом настолько усилилось, сделав незаметной даже несносную форму вашего выступающего подбородка, что мне стало понятно — в это мгновение покойник внушил вам присущее ему выражение доброты, дабы позволить вам снова привлечь меня к себе и не дать пропустить исключительную удачу, выпадавшую на вашу долю. На самом деле, хотя я и не желаю, поскольку это уже не имеет цели и вряд ли будет случай встретиться с вами в этой жизни, примешивать ко всему этому низменные материальные интересы, однако я был бы слишком счастлив исполнить просьбу покойного (ибо я верю в общение со святыми и в их стремление принимать участие в судьбе живущих) обращаться с вами как с ним, у которого был собственный экипаж, свои слуги и уделять которому большую часть моих доходов для меня казалось вполне естественным, поскольку я любил его как сына. Вы решили это иначе. На мою просьбу принести мне книгу вы велели сказать, что вам необходимо уйти. А сегодня утром, когда я попросил вас спуститься к моему экипажу, вы отреклись от меня, если я смею сказать это не кощунствуя, в третий раз. Простите меня, что я не вкладываю в этот конверт те крупные чаевые, что я рассчитывал дать вам в Бальбеке и которыми мне очень тяжело ограничиться в отношении того, с кем на одно мгновение я думал разделить все. Вы могли бы единственно оградить меня от необходимости сделать в отношении вас в вашем ресторане четвертую излишнюю попытку, что

Еще ли выдержит мое терпение. (Здесь г-н де Шарлюс давал свой адрес, назначал часы, когда можно было застать его, и т. п.) Прощайте, сударь. Так как мне кажется, что при таком сходстве с тем другом, которого я потерял, вы не можете быть полным идиотом, иначе физиогномика оказалась бы ложной наукой, я убежден, что если когда-нибудь вы вспомните об этом эпизоде, то это будет не без сожаления и раскаяния с вашей стороны. Что касается меня, верьте мне чистосердечно, у меня не осталось никакой горечи. Я предпочел бы, чтобы мы расстались с менее неприятным воспоминанием, чем эта третья бесполезная попытка. Но она скоро забудется. Мы похожи на корабли, что, должно быть, вы видели иногда в Бальбеке, когда они встречались на мгновение; несомненное преимущество было бы для каждого из них, если бы они застопорили; один из них решает это иначе; скоро они не различат больше друг друга даже на горизонте, и встреча забыта; но до этой окончательной разлуки каждый из них еще приветствует другого, как и поступает здесь, сударь, желая вам успеха, барон де Шарлюс».

Эме даже не дочитал этого письма, ничего не поняв в нем и испугавшись какой-нибудь мистификации. Когда я объяснил ему, кто такой был барон, он слегка задумался и ощутил то сожаление, что предсказал ему г-н де Шарлюс. Я не поручусь за то, что он не написал тогда же, принося свои извинения человеку, дарившему экипажи своим друзьям. Но за этот промежуток времени г-н де Шарлюс познакомился с Морелем. Самое большее, что могло быть при отношениях с этим последним, возможно вполне платонических, это что г-н де Шарлюс стремился иногда провести вечер в том обществе, в котором я встретил его только что в холле. Но он не мог уже отнять у Мореля того страстного чувства, которое несколько лет тому назад, будучи свободным, не требовало ничего иного, как только сосредоточиться на Эме, и продиктовало письмо, показанное мне метрдотелем и внушавшее мне чувство неловкости за г-на де Шарлюса. Оно являлось, вследствие антисоциальной любви г-на де Шарлюса, разительным примером слепой и могущественной силы, свойственной этим приливам страсти, когда влюбленный, подобно пловцу, неожиданно унесенному в море, мгновенно теряет землю из вида. Нет сомнения, что и любовь нормального мужчины, когда влюбленный, в последовательном ходе воображения, строит из своих желаний, сожалений, разочарований, намерений целый роман с незнакомой женщиной, может также раздвинуть на значительное расстояние обе стрелки компаса. Но здесь такое расхождение особенно увеличилось как из-за характера той страсти, что не может быть разделена, так и из-за различия в социальном положении г-на де Шарлюса и Эме. Каждый день я отправлялся на прогулку с Альбертиной. Она снова решила заняться живописью и сперва выбрала для своей работы церковь Сен-Жан-де-ла-Эз, совсем заброшенную и очень мало кому известную, куда попадать без провожатого, только путем расспросов, было почти невозможно, а добираться — очень долго в этой глуши, находящуюся на расстоянии более получаса от станции Эпревиль, далеко пройдя последние дома деревни Кеттольм. Что касается названия Эпревиль, то у меня не совпадали сведения Бришо с указаниями книги кюре. Один из них полагал, что Эпревиль прежде назывался Спревилья; другой указывал на его этимологическое происхождение от Апривилья. Первый раз мы поехали туда по небольшой железнодорожной ветке, в направлении обратном Фетерну, то есть к Гратвасту. Однако стояла знойная пора, и самое ужасное заключалось уже в том, что мы отправлялись сразу после завтрака. Я бы вообще предпочел не выходить так рано; ослепительный и раскаленный воздух порождал мечты о лени и прохладе. Он вливался в обе наши комнаты, мамину и мою, неодинаково расположенные, с различной температурой, как в ванные комнаты. Мамина туалетная, испещренная солнцем, ослепительной белизны, в мавританском вкусе, была точно опущена на дно колодца, из-за тех четырех штукатурных стен, куда она выходила, тогда как на самом верху, в открытом квадрате, небо, где перекачивались одна за другой мягкие волны, казалось (вследствие возникавшего при этом желая), если стоять на террасе (или смотреть на его отражение в опрокинутом виде в зеркале, прибитом у окна), бассейном, наполненным голубой водой, приготовленной для омовений. Несмотря на этот раскаленный зной, мы поехали с часовым поездом. Но Альбертине было очень жарко в вагоне, еще жарче во время длинного перехода пешком, и я боялся, как бы она не простудилась потом, сидя неподвижно в этой сырой ложбине, куда не проникало солнце. С другой стороны, убедившись со времени наших первых посещений Эльстира, что она умела ценить не только роскошь, но даже известный комфорт, будучи лишена его из-за недостатка средств, я сговорился с одним каретником в Бальбеке, чтобы нам ежедневно подавали экипаж. Укрываясь от жары, мы ехали через лес Шантпи. Незримое присутствие бесчисленных пернатых, из которых часть была полуморскими птицами, перекликавшихся в деревьях вокруг нас, давало то же ощущение покоя, что бывает, когда закроешь глаза. Рядом с Альбертиной, заключенный в ее объятия в глубине экипажа, я слушал этих Океанид. И когда невзначай я обнаруживал одного из этих музыкантов, перелетающих с ветки на ветку, оставалось так мало видимой связи между ним и его песнями, что мне не верилось, будто передо мной был источник этих звуков в маленьком порхающем тельце, ничтожном, вспугнутом и лишенном выразительности. Экипаж не мог довести нас до церкви. Я останавливал его при выезде из Кеттольма и прощался с Альбертиной. Ибо она испугала меня, говоря об этой церкви, как о других памятниках искусства, о некоторых картинах, — «как бы мне было приятно посмотреть все это с вами». Этого удовольствия я был не в силах доставить ей. Я переживал его от созерцания прекрасного только в полном одиночестве, или уединяясь и безмолвствуя. Однако поскольку ей казалось, что через меня она получила то или другое художественное впечатление, хотя они не передаются таким образом, то я полагал более удобным сказать ей, что оставляю ее, но заеду за ней в конце дня, а до этого мне надо успеть съездить с визитом к г-же де Вердюрен или к Камбремерам, или даже провести часок в Бальбеке с мамой, но не далее этого. Так я поступал, по крайней мере, в первое время. Но после того как однажды Альбертина, надувшись, сказала мне: «Как досадно, что природа так неудачно создала все это, расположив Сен-Жан-де-ла-Эз по одну сторону, а Ла-Распельер — по другую, и поэтому оказываешься запертой на целый день в том месте, которое выберешь сначала», то лишь только мне принесли ток и вуаль, я тотчас заказал, на свое несчастье, автомобиль в Сен-Фаржо (Sanctus Ferreolus — по книге кюре). Альбертина, которую я держал в полном неведении, зайдя за мной, сперва пришла в изумление, услышав гудение мотора перед гостиницей, а затем в полный восторг, узнав, что этот автомобиль — для нас. Я заставил ее подняться на минуту в мою комнату. Она прыгала от радости. «Мы поедем в гости к Вердюренам». — «Да, но вам следует приодеться, раз вы едете на автомобиле. Посмотрите, вот это будет вам к лицу». И я вытащил спрятанный мной ток и вуаль. «Это мне? О, какой вы милый!» — вскричала она, бросаясь мне на шею. Эме, встретив нас на лестнице и ощутив некоторую гордость при виде элегантности Альбертины и нашего способа передвижения, ибо машины были достаточной редкостью в Бальбеке, доставил себе удовольствие опуститься по лестнице вслед за нами. Альбертина, желая показаться в своем новом наряде, попросила меня опустить верх, который мы могли затем снова поднять, дабы остаться наедине. «Ну, что же, — сказал Эме механику, которого он даже не знал и который не двинулся при этом, — ты разве не слышишь, что тебе приказывают опустить верх?» Ведь Эме, ставший развязным в гостинице, где добился выдающегося положения, не был таким робким, как кучер фиакра, для которого Франсуаза была «барыней»; несмотря на отсутствие предварительного знакомства с людьми из простонародья, с которыми ему не доводилось встречаться раньше, он разговаривал с ними на «ты», причем непонятно — было ли это с его стороны аристократическим пренебрежением или свойским обращением. «Я не свободен, — ответил шофер, еще не знавший меня. — Меня заказали для мадмуазель Симоне. Я не могу везти мосье». Эме расхохотался: «Позволь-ка, болван ты этакий, — ответил он механику, моментально убедив его, — ведь это же мадмуазель Симоне, а мосье, который велел тебе опустить верх, — твой заказчик». И хотя Эме не питал лично к Альбертине особой симпатии и гордился ее туалетом из-за меня, он шепнул шоферу: «Если бы

тебе удавалось, ты бы возил каждый день таких принцесс, а?» В этот первый раз я уже не мог поехать в Ла-Распельер один, как я проделывал обычно, когда Альбертина занималась живописью; ей захотелось отправиться вместе со мной. Хотя она и предполагала, что можно будет останавливаться там и сям по дороге, но ей казалось невозможным вначале съездить в Сен-Жан-де-ла-Эз, то есть в обратном направлении, и совершить прогулку, которая должна была занять весь следующий день. И вот она узнает от механика, что нет ничего легче, как съездить в Сен-Жан, куда он доставит нас через двадцать минут, и что мы можем пробыть там, если пожелаем, несколько часов или проехать еще дальше, так как путь из Кеттольма в Ла-Распельер займет у него не более тридцати пяти минут. Мы постигли это, когда машина рванулась и одним взмахом покрыла расстояние, равное двадцати шагам отличнейшей лошади. Расстояние является лишь соотношением пространства со временем и изменяется в зависимости от него. Мы говорим о трудности передвижения, выражая ее в системе из лье или километров, что тотчас же становится ошибочным, как только уменьшается эта трудность. Искусство также претерпевает изменения потому, что та деревня, которая находится якобы совсем в другом мире по сравнению с любой другой, вдруг оказывается по соседству с ней, среди ландшафта, пропорции которого соответственно переменялись. Во всяком случае узнать, что существует мир, где дважды два составляет пять и где прямая не есть кратчайшее расстояние между двумя точками, гораздо менее поразило бы Альбертину, чем слова механика, что в один и тот же день можно съездить в Сен-Жан и Ла-Распельер, в Дувиль и Кеттольм в Сен-Мар-ле-Вье и Сен-Мар-ле-Ветю, в Гурвиль и Бальбек-ле-Вье, в Турвиль и в Фетерн, тогда как до сих пор это были пленники, наглухо запертые в отдельные клетки дней, как раньше Мезеглиз и Германт, на которых не могли покоиться одни и те же глаза в одно и то же послеобеденное время и которые были теперь освобождены этим великаном в семимильных сапогах и окружили час нашего полдника своими колокольнями и башнями, старыми садами, торопливо открывавшимися нам за прилегающим лесом.

Подъехав к началу дороги в Корниш, автомобиль одним взмахом поднялся вверх, со сдержанным стуком, будто точили нож, а перед нами широко раскинулось море, оставленное внизу. Старинные деревенские дома Монсюрвана бежали нам навстречу, прижимая к себе виноградники или розовые кусты; ели Ла-Распельер, взметнувшись сильнее, чем когда поднимается ночной ветер, побежали во все стороны, избегая встречи с нами, и новый слуга, которого я еще никогда не видел, открыл нам парадную дверь, в то время как сын садовника, обнаруживая свою преждевременную склонность, пожирал глазами кожух мотора. Ввиду того, что это не был понедельник, мы не знали, увидим ли мы г-жу Вердюрен, ибо за исключением этого дня, когда она принимала, было весьма неосторожным пытаться застать ее врасплох. Вне всякого сомнения, она сидела дома «из принципа», но это выражение, — употребляемое г-жой Сван в те времена, когда она тоже старалась создать свой маленький клан и привлечь гостей, не сходя с места, без всяких затрат, и нелепо выражала это словами «из принципа», — означало только «по общему правилу», то есть с многочисленными исключениями. Ведь г-жа Вердюрен не только любила выезжать, но ее обязанности хозяйки простирались так далеко, что для приглашенных к завтраку, тотчас после кофе, ликеров и сигарет (невзирая на легкий дурман от жары и начала пищеварения, когда приятнее было бы смотреть сквозь густую листву балкона на пароход из Джерсей, идущий по лазурному морю) в программе стоял ряд прогулок, и гости, насильно усаженные в коляски, перевозились от одного вида к другому, которыми изобиловали окрестности Дувилля. Впрочем, эта вторая часть праздника (раз только усилие, необходимо, чтобы подняться из-за стола и сесть в экипаж, было произведено) не была наименее приятной для гостей, уже подготовленных сочными яствами, тонкими винами или пенистым сидром к мгновенному опьянению от свежего ветерка и великолепия ландшафтов. Г-жа Вердюрен возила приезжих смотреть эти виды, как если бы они являлись придатками (более или менее отдаленными) ее владений и будто нельзя было не посмотреть их, завтракая у нее, и, наоборот, будто нельзя было ознакомиться с ними, если не было доступа на прием к хозяйке. Эта претензия присвоить себе исключительное право на эти прогулки, как на игру Мореля, а еще раньше Дешамбра, и сделать ландшафты частью своего маленького клана, не была такой нелепостью, как казалось на первый взгляд. Г-жа Вердюрен издевалась над отсутствием вкуса, которое, по ее мнению, Камбремеры проявили в Ла-Распельер в выборе мебели и в планировке сада, но еще более над недостатком инициативы у них в тех прогулках, которые они предпринимали или заставляли предпринимать по окрестностям. Подобно тому, как, по ее мнению, Ла-Распельер стал тем, чем он должен был быть, лишь с тех пор, как он стал приютом маленького клана, так утверждала она, что Камбремеры, бесконечно повторяя в своем экипаже, вдоль железной дороги, по берегу моря, один и тот же отвратительный путь, самый худший из всех, имеющихся в окрестности, — хотя и жили в этой местности искони, но вовсе не знали ее. Была доля правды в этом утверждении. Вследствие рутинности, недостатка воображения, отсутствия любознательности в отношении местности, которая, находясь так близко от них, казалось, была исхожена вдоль и поперек, Камбремеры выезжали из дома, направляясь всегда в одни и те же места, по одним и тем же дорогам. Само собой разумеется, что они сильно смеялись над претензией Вердюренов, желавших познакомить их с их родиной. Но если бы их припереть к стенке, их обоих и даже их кучера, то они не сумели бы повести нас к тем великолепным местам, несколько потаенным, куда водил нас г-н Вердюрен, то перелезая через забор в каком-нибудь частном, хотя и заброшенном имении, куда остальные едва ли отважились бы войти, то выходя из экипажа, чтобы пройти по дороге, непригодной для езды, — все это с верным залогом успеха впереди в виде изумительного ландшафта. Вдобавок и сам парк в Ла-Распельер был до известной степени как бы сколком со всех прогулок, что можно было предпринять на много километров вокруг. Прежде всего потому, что он был расположен на возвышенности и был обращен одной стороной к долине, а другой — к морю, а затем потому, что даже на одной стороне, обращенной к морю, в нем были сделаны просеки между деревьями с таким расчетом, что с одного места открывался один горизонт, а с другого — совсем иной. На каждом месте, откуда открывался вид, была поставлена скамья; приходили и садились поочередно на скамью, откуда были видны и Бальбек, и Парвиль, и Довиль. В тех случаях, когда вид открывался в каком-нибудь одном направлении, также ставились скамьи, то на крутой скале, то более или менее отступая вглубь. С этих скамей были на первом плане видны деревья и раскрывался горизонт, казавшийся необозримым, но он расширялся до бесконечности по мере того, как шли по тропинке до следующей скалы, откуда можно было охватить взглядом всю кривую морской поверхности. Здесь ясно слышался еще шум волн, не доходивший, наоборот, в наиболее отдаленные уголки сада, туда, где море было еще видно, но уже не слышно. Эти места отдыха носили в Ла-Распельер, у хозяев дома, название «видов». И действительно, они собрали вокруг своего замка самые красивые «виды» местностей, пограничных с пляжами или лесами, сильно уменьшенные здесь по степени их отдаленности, подобно тому как Адриан собрал в своей вилле миниатюрные копии самых знаменитых памятников разных стран. Часто название, следовавшее за словом «вид», вовсе не было названием окрестной местности на этом берегу, зачастую она была расположена на противоположном берегу, и тем не менее можно было различить ее смутные очертания, несмотря на всю обширность панорамы. Так же, как брали книжку в библиотеке г-на Вердюрена и отправлялись почитать часок к «виду на Бальбек», точно таким же образом, если погода была ясная, отправлялись пить ликер к «виду на Ривбель», но при условии отсутствия ветра, ибо там всегда бывало свежо, несмотря на защиту, которую представляли деревья, росшие со всех сторон. — Но вернемся к прогулкам, устраиваемым г-жой Вердюрен после обеда: если хозяйке случалось находить по возвращении домой визитные карточки какого-нибудь светского человека, «проездом в этих краях», она выказывала притворный восторг, на самом же деле испытывала досаду, пропустив этот визит, и (хотя приезжали, главным образом, чтобы осмотреть «дом» и завязать знакомство на один день с женщиной, чей художественный салон

известность и тем не менее пренебрегался в Париже) успешно посылая г-на Вердюрена пригласить его к обеду в следующую среду. Но зачастую турист собирался уже уезжать к тому времени или боялся возвращаться поздним вечером, поэтому г-жа Вердюрен согласилась принимать и по субботам во время завтрака. Эти завтраки не были особенно многолюдны, и в Париже мне приходилось бывать на более блестящих у принцессы Германтской, у г-жи де Галифе и г-жи д'Арпажон. Но лишь здесь чувствовалось, что мы уже за пределами Парижа, и очарование окружающей природы усиливало для меня не только удовольствие от этих собраний, но и самые достоинства посетителей. Встреча со светским человеком, не доставлявшая мне в Париже никакого удовольствия, в Ла-Распельере, куда он являлся издали, через Фетерн или через лес Шанпи, приобретала иной характер, иное значение, превращалась в приятный эпизод. Иногда это был мой хороший знакомый, ради которого я бы не сделал лишнего шага, чтобы застать его у Сванов. Но его имя совсем иначе звучало здесь, на берегу моря, как звучит иногда имя актера, которое часто слышишь в театре, если оно напечатано на афише другого цвета, возвевающей о каком-нибудь экстраординарном или торжественном спектакле, где его известность неожиданно возрастает вследствие непредвиденного контекста. Поскольку на даче держатся свободнее, этот светский человек осмеливался привести друзей, у которых он останавливался, шопотом давая понять г-же Вердюрен, в качестве извинения, что, живя у них, он не мог оставить их; зато он предлагал своим хозяйкам — как некую любезность со своей стороны — воспользоваться этим развлечением в их монотонной жизни на берегу моря; посетить культурный центр, осмотреть роскошное поместье и отменно позавтракать. Тотчас же создавалось многолюдное общество второстепенного значения; ведь если крошечный клочок сада с двумя-тремя деревьями, совсем мизерный за городом, приобретает необыкновенное очарование на авеню Гариэль или на улице Монсо, где это могут позволить себе лишь обладатели многих миллионов, то и дворяне, занимавшие задний план на вечерних приемах в Париже, вдруг обретали все свое значение в понедельник днем, в Ла-Распельере. Едва усаживались они за столом, накрытым скатертью, расшитой красным, под резными трюмо, как им подносили галеты, нормандские слоенки, торты в виде лодок, наполненных вишнями, как кораллами, «дипломаты», — и эти гости мгновенно подвергались глубочайшему превращению, сообщавшему им особую ценность, от приближения огромной лазурной чаши, куда открывались окна и которую вместе с гостями созерцали и все остальные. Мало того, еще до встречи с ними, когда по понедельникам у г-жи Вердюрен собирались люди, взгляды которых в Париже привычно скользили по элегантным экипажам, дожидавшимся у роскошных особняков, они ощущали биение сердца при виде двух или трех плохоньких колымаг, останавливавшихся в Ла-Распельере под большими елями. Должно быть, это происходило потому, что деревенская обстановка была совсем иной и светские впечатления благодаря этому перемещению обретали вновь прежнюю свежесть. Это было еще и потому, что скверный экипаж, нанятый для поездки к г-же Вердюрен, вызывал представление о чудной прогулке и о дорогостоящем «подряде», заключенном с кучером, который запрашивал «столько-то» в день. Это слегка взволнованное любопытство в отношении вновь прибывающих, разглядеть которых еще невозможно, возникало и потому, что каждый задавал себе вопрос: «Кто же это приехал?»; вопрос, на который трудно было ответить, не зная, кто мог приехать гостить на неделю к Камбремерам или к кому-нибудь другому, и который приятно задавать себе в деревенской глуши, где встреча с давно не появлявшимся человеком или новое знакомство перестает быть той скучной обязанностью, как бывает в парижской жизни, и сладостно разбивает пустое пространство отшельнической жизни, где даже прибытие почты может доставить удовольствие. И вот, в тот день, когда мы приехали на автомобиле в Ла-Распельере, — а это не был понедельник, — г-н и г-жа Вердюрен должны были ощущать ту потребность быть на людях, что одинаково тревожит мужчин и женщин и внушает желание выброситься в окно больному, запертому вдали от родных для лечения одиночеством. Новый слуга, более быстроногий и уже освоившийся с этими выражениями, ответил нам, что «если мадам дома, то она должна находиться у «вида на Довиль», и что «он сбегавет узнать», тотчас же вернулся обратно и сообщил, что нас могут принять. Мы застали ее со слегка растрепавшейся прической, потому что она пришла из сада, птичника и огорода, где кормила павлинов и кур, подбирала яйца, собирала фрукты и цветы, чтобы «устроить дорожку на столе», напоминавшую в миниатюре дорогу в парке; но на столе дорожка отличалась тем, что ее составляли лишь съедобные и полезные вещи; вокруг тех даров сада, что являли собой груши, взбитые яйца, возвышались на высоких стеблях синявки, гвоздики, розы и согеорпис, среди которых, как между цветущими дорожными вежами, передвигались корабли, видимые сквозь стекла окон в открытом море. По тому удивлению, которое г-н и г-жа Вердюрен, бросившая расставлять цветы, когда ей доложили о гостях, обнаружили, увидев, что этими гостями были всего-навсего Альбертина и я, мне стало ясно, что новый слуга, полный рвения, но не знавший еще моей фамилии, переврал ее, и г-жа Вердюрен, когда ей назвали незнакомых посетителей, разрешила ввести нас, подчиняясь потребности видеть кого бы то ни стало. А новый слуга наблюдал эту картину из дверей, стараясь понять роль, которую мы играли в этом доме. Потом он бросился бежать со всех ног, так как он поступил сюда всего лишь накануне. После того как Альбертина дала вдоволь насмотреться на свой ток и на свою вуаль Вердюренам, она бросила на меня взгляд, напоминая мне, что у нас не так много времени впереди для того, что нам осталось еще сделать. Г-жа Вердюрен настаивала, чтобы мы дождались завтрака, но едва мы отказались, как тут неожиданно раскрылось одно намерение, способное уничтожить дотла все те радости, которые я ожидал от моей прогулки с Альбертиной. Хозяйка, не в силах расстаться с нами или прозевать новое развлечение, собиралась ехать обратно вместе с нами. Давно привыкнув, что ее предложения этого рода обычно не доставляли удовольствия, и, по-видимому, не будучи уверенной, что оно вызовет что-либо иное и у нас, она старалась скрыть в излишней развязности робость, охватившую ее, когда она обратилась с этим к нам, и, притворяясь, что у нее не было сомнений в нашем ответе, она ни о чем не спрашивала нас, а заявила своему мужу, говоря об Альбертине и обо мне, как будто оказывала нам милость: «Я отвезу их обратно сама». В то же время на ее губах появилась улыбка, далеко не свойственная ей; улыбка, которую мне уже приходилось видеть у некоторых людей, когда они с хитрым видом говорили Берготу: «Я купил вашу книгу, не извольте сомневаться», одна из тех собирательных общераспространенных улыбок, которую при надобности, — наподобие того, как пользуются железной дорогой или фургоном для перевозки мебели, — заимствуют люди за немногим исключением более утонченных личностей, как например Сван или г-н де Шарлюс, на губах которого мне никогда не довелось видеть подобной улыбки. С этого момента наш визит был отравлен. Я сделал вид, будто не понял. Еще через минуту выяснилось, что и г-н Вердюрен примет участие в этом празднестве. «Но эта прогулка покажется господину Вердюрену слишком длинной», — сказал я. — «Да нет, — ответила мне г-жа Вердюрен, со снисходительным и оживленным видом, — он находит, что ему будет очень весело проехать в компании молодежи по этой дороге, когда-то давно им изъезженной; если понадобится, он может сесть рядом с шофером, это нисколько не пугает его, и мы вернемся поездом вдвоем скромненько, как примерные супруги. Взгляните, какой у него довольный вид». Она говорила о нем, как о знаменитом старике-художнике, полном добродушия, который, намного моложе иных молодых людей, забавляется, малюя картинки на потеху ребятишкам. Мое огорчение росло оттого, что Альбертина не разделяла его и находила забавным разъезжать с Вердюренами. Что касается меня, то жажда удовольствия, ожидаемого мной от прогулки с ней, была настолько властной во мне, что я не мог позволить Хозяйке испортить его; я изощрялся во лжи, вполне простительной, поскольку она вызывала нелепые угрозы со стороны г-жи Вердюрен, но которую, увы, опровергала Альбертина. «Нам еще нужно сделать один визит». — «Какой визит?» — спрашивала Альбертина. — «Я объясню вам потом, это необходимо». — «Ну что ж, мы подождем вас», — говорила г-жа Вердюрен, соглашаясь на все. Страх, что у меня могут отнять эту давно желанную радость, внушил мне в последнюю минуту мужество быть

я неживым. Я категорически отказал, шепнув на ухо г-же Вердюрен, что у Альбертины было горе, относительно которого ей хотелось посоветоваться со мной, поэтому мне необходимо было остаться с ней наедине. Хозяйка приняла оскорбленный вид: «Хорошо, мы не поедим», — сказала она дрожащим от гнева голосом. Я увидел ее такой рассерженной, что, желая сделать видимость уступки, сказал: «Но, может быть, мы могли бы...» — «Нет, — продолжала она, разозлившись еще больше, — если я уже сказала «нет», то значит нет». Я решил, что мы расстаемся в ссоре, но у порога двери она окликнула нас, напоминая нам не «упустить» завтрашней среды и не приезжать на этой шлуке, которая небезопасна ночью, а ехать на поезде вместе со всем маленьким кружком, затем снова остановила автомобиль, уже съезжавший вниз по парку, потому что слуга забыл положить в машину кусок торта и песочное печенье, приготовленные для нас в пакете. Мы ехали, опять сопровождаемые в течение двух-трех мгновений маленькими домиками, примчавшимися сюда со своими цветами. Лик этой местности показался нам сильно изменившимся, ибо в топографическом представлении, составляемом нами о любой из них, понятие пространства далеко не играет наибольшей роли. Мы уже сказали, что понятие времени разграничивает их гораздо больше. И оно не является единственным. Некоторые места, которые мы всегда видим отдельно от других, перестают иметь для нас общее мерило со всеми остальными, находятся как бы за пределами нашего мира, подобно тем людям, которых мы знавали в периоды, особо стоящие в нашей жизни, как время пребывания в полку, наше детство, и которые мы ни с чем не можем связать. В первый год моего пребывания в Бальбеке была одна возвышенность, куда любила возить нас г-жа Вильпаризи, потому что оттуда были видны лишь одни леса и воды, и называлась она Бомон. Так как дорога, которую она выбирала туда, находя самой красивой из-за ее столетних деревьев, шла все время в гору, коляска могла двигаться только шагом и тратила на это очень много времени. Едва приезжали мы на гору, как сходили с экипажа, немного прогуливались, влезали обратно и возвращались той же дорогой, не встретив по пути ни деревни, ни замка. Мне было известно, что Бомон было нечто очень любопытное, очень высоко и далеко расположенное, у меня не было ни малейшего представления, в каком направлении он находился, потому что мы никогда не проезжали через Бомон куда бы то ни было; кроме того, приходилось очень долго ехать в коляске, прежде чем добраться до него. Он находился очевидно в том же самом округе (или в той же самой провинции), что и Бальбек, но был для меня расположен в каком-то другом плане, пользовался особой привилегией экстерриториальности. Однако автомобиль не уважает никаких тайн; миновав Энкарвиль, дома которого оставались еще перед моими глазами, мы начали спускаться по поперечному косоугору, упирающемся в Парвиль (Paterni villa); завидев море с той земляной насыпи, где мы находились, я спросил, как называется это место, и прежде, чем мне ответил шофер, я узнал Бомон, мимо которого я проезжал таким образом, сам того не зная, всякий раз, как я садился в поезд местного сообщения, ибо он оказался в двух минутах пути от Парвиля. Подобно тому, как офицер моего полка казался мне особым существом, слишком добродушным и простым, чтобы принадлежать к хорошему роду, слишком уж далеким и таинственным, чтобы просто принадлежать к хорошему роду, а я бы вдруг узнал, что он приходится деверем, двоюродным братом таким-то, куда меня постоянно звали к обеду, подобно этому и Бомон, оказавшись неожиданно связанным с местами, мною отграниченными от него, потерял свою таинственность и водворился на свое место в окружающей области, заставляя меня с ужасом подумать, что г-жа Бовари и Сансеверина, быть может, тоже показались бы мне существами, похожими на всех остальных, если бы я столкнулся с ними где-нибудь в другом месте, а не в замкнутой атмосфере романа. Может казаться, что моя любовь к феерическим путешествиям по железной дороге должна была мне мешать разделять восторги Альбертины перед автомобилем, который везет, даже больного, туда, куда он пожелает, и мешать — как было это до сих пор — рассматривать самое местонахождение как некий индивидуальный признак, неизменную сущность неповторяемых красот. Конечно, автомобиль не делал из самого местонахождения, как, бывало, железная дорога, когда я приехал из Парижа в Бальбек, какую-то самоцель, лишнюю точку соприкосновения с обыденной жизнью; раньше оно было почти призрачным при отъезде и таким же при въезде в необитаемое и только украшенное именем города громадное помещение вокзала, и наконец оно словно обещало стать доступным, как бы материализуясь. Нет, автомобиль не подвозил нас таким волшебным образом к городу, который мы видим сначала в том целом, что включает в себе его имя, со всеми иллюзиями зрителя в театральном зале. Дальше он вез нас по кулисам улиц, останавливаясь за нужным указанием перед местными жителями. Но зато — как награда за столь обыкновенное продвижение вперед — у нас оставались самые колебания шофера, не уверенного в своей дороге и поворачивающего назад, пляшущая перспектива, заставляющая играть вперебежку замок с горой, с церковью и с морем, в то время как мы подъезжали к нему, а он тщетно пытался притаиться за своей вековой листвой; эти круги, все более и более замкнутые, описываемые автомобилем вокруг очарованного города, который разбегается во все стороны, лишь бы не поймали его, и на который под конец набрасывается автомобиль прямо с вышины, вглубь долины, где город лежит, распростершись на земле; все это таким образом, что это местонахождение, — единственная неповторимая точка, — с которой автомобиль сперва срывает покров тайны скорых поездов, в конце концов оставляет в нас впечатление, что мы сами открыли его, определив собственноручно, будто компасом, и дает ощутить нам с любовным чувством разведчика, с предельной точностью подлинную геометрию, прекрасную меру земли.

К сожалению, я не знал тогда и узнал лишь два года спустя, что одним из клиентов шофера был г-н де Шарлюс и что Морель, который должен был платить ему и оставлял себе часть из этих денег (заставляя шофера утраивать и удесятерять количество километров), очень подружился с ним (скрывая при этом перед окружающими это свое знакомство) и пользовался его машиной для дальних поездок. Если бы мне было известно тогда об этом и о том, что доверие, которое вскоре возымели Вердюрены к этому шоферу, шло отсюда, без их ведома, возможно, что многие огорчения моей парижской жизни на следующий год, многие несчастья, коснувшиеся Альбертины, были бы устранены, но я никак не подозревал этого. Поездки г-на де Шарлюса в автомобиле с Морелем сами по себе не представляли для меня непосредственного интереса. К тому же они сводились чаще всего к завтраку или обеду в каком-либо местном ресторане, где г-н де Шарлюс ходил за старого разорившегося слугу, а Морель, на обязанности которого было платить по счетам, — за тароватого дворянина. Я расскажу об одном из таких обедов, чтобы дать представление обо всех остальных. Это происходило в продолговатой зале ресторана в Сен-Мар-ле-Ветю. «Нельзя ли убрать это?» — спросил г-н де Шарлюс Мореля в качестве посредника, не желая обращаться непосредственно к официантам. Под «это» он подразумевал три завядших розы, которыми ревностный метрдотель счел своим долгом украсить стол. «Конечно можно, — сказал озадаченный Морель. — Ведь вы не любите роз». — «Наоборот, возбуждая этот вопрос, я мог бы привести доказательства, что именно я люблю их, поскольку здесь не бывает роз (Морель удивился), — но по существу я не очень люблю их. Я очень чувствителен к именам; а чуть роза сколько-нибудь хороша, узнаешь, что она носит имя баронессы Ротшильд или маршальши Ниэль, это расхолаживает. Любите ли вы имена? Подобрали ли вы красивые названия для ваших концертных номеров?» — «У меня есть одна пьеса под названием «Поэма грусти». — «Но это же отвратительно, — ответил г-н де Шарлюс пронзительным и резким, как пощечина, голосом. — Кажется, я заказал шампанское», — обратился он к метрдотелю, полагавшему, что он подал его, поставив рядом со своими клиентами два бокала, наполненных пенистым вином. — «Но, мосье...» — «Уберите эту гадость, не имеющую ничего общего с самым плохим шампанским. Это рвотное под названием «сир», где обычно плавают три гнилых ягоды земляники в смеси из уксуса и зельтерской. Да, — продолжал он, обернувшись к Морелю, — как видно, вы не знаете, что такое заглавие.

И даже при интерпретации тех вещей, что вы исполняете лучше всего, вы словно не замечаете медиумической стороны вещей». — «Вы сказали?» — переспросил Морель, который, ровно ничего не разобрав в словах барона, боялся пропустить какое-нибудь полезное сообщение, как например приглашение на завтрак. Г-н де Шарлюс не удостоил принять это «Вы сказали?» за вопрос, вследствие чего Морель, не получив ответа, счел необходимым переменить разговор, стараясь придать ему сладострастный оборот: «Взгляните на маленькую блондинку, которая продает там ваши любимые цветы; вот еще одна, у которой, без сомнения, есть подружка. Тоже и старуха, которая обедает за столом в углу». — «А откуда ты все это знаешь?» — спросил г-н де Шарлюс, восхищенный даром ясновидения у Мореля. — «О, я их узнаю в одну секунду. Если б нам вдвоем потолкаться в толпе, вы бы увидели, что я не ошибаюсь два раза подряд». И если бы кто видел Мореля в эту минуту с этим бабьим лицом при всей его мужественной красоте, легко было бы объяснить подсознательное чувство проникновения, заставлявшее некоторых женщин обращать на него внимание, так же как и его — на них. Ему хотелось занять место Жюльена, он испытывал смутное желание присоединить к своему «твердому бюджету» те доходы, которые, как он полагал, жилетник получал от барона. «А в парнишках я разбираюсь еще лучше, со мной у вас не было бы недоразумений. Скоро в Бальбеке будет ярмарка, мы бы там подыскали кое-что. Ну, а в Париже то-то вам было бы весело». Тут наследственная осторожность холопа заставила его придать другой смысл фразе, уже начатой им. И таким образом г-н де Шарлюс продолжал думать, что речь идет все еще о девушках. «Видите ли, — сказал Морель, с намерением разжечь чувственность барона другим, менее компрометирующим его самого способом (хотя в действительности это было гораздо более безнравственным), — я давно мечтаю встретить чистую девушку, заставить ее полюбить меня и лишит ее невинности». Г-н де Шарлюс не удержался и нежно ущипнул Мореля за ухо, наивно присовокупив при этом: «Зачем это тебе нужно? Если ты украдешь у нее невинность, то тебе придется жениться на ней». — «Жениться, — вскричал Морель, почувствовав, что барон слегка опьянел, или вовсе не думая о человеке, к которому он обращался, гораздо более щепетильном в сущности, чем он полагал. — Жениться? Дудки! Я пообещаю это, но как только эта маленькая операция будет произведена, я в тот же вечер брошу ее». У г-на де Шарлюса было обыкновение соглашаться с той выдумкой, которая давала ему на миг чувственное удовольствие, с тем, чтобы через несколько минут совершенно отказаться от нее, вслед за тем, как иссякнет это удовольствие. «В самом деле, ты бы поступил так?» — сказал он Морелю, смеясь и теснее прижимаясь к нему. — «И еще как!» — сказал Морель, заметив, что барон слушал не без удовольствия, как он откровенно разъяснял ему то, что и на самом деле было одним из его желаний. — «Это опасно», — сказал г-н де Шарлюс. — «Я уложу свои чемоданы заранее и смоюсь, не оставив своего адреса». — «А как же я?» — спросил г-н де Шарлюс. — «Я увезу вас с собой, само собой разумеется», — поспешил сказать Морель, который и не думал о том, что станется с бароном, занимавшим последнее место в его заботах. — «Знаете, одна девочка очень подошла бы мне для этого, это та портнишка, у которой лавочка в отеле господина герцога». — «Дочь Жюльена, — вскричал барон в то время, как вошел бочар. — О, нет, никогда, — прибавил он, быть может расхоложенный присутствием третьего лица, а может быть еще потому, что на эти шабаши, где он позволял себе осквернять самое священное, он все же не мог решиться привлечь людей, к которым он относился с приязнью. — Жюльен — хороший человек, а малютка так мила, не надо доставлять им неприятности». Морель почувствовал, что он зашел слишком далеко, и умолк, но его бесцельно устремленный взгляд продолжал еще покоиться на девушке, которую он пожелал, заказав у нее жилет в тот день, когда я назвал его дорогим, великим артистом. Прилежная девушка не взяла даже отпуска, и я узнал впоследствии, что, пока скрипач Морель находился в окрестностях Бальбека, она непрестанно вспоминала красивые черты его лица, облагороженные еще тем, что, увидев Мореля со мной, она приняла его за «барина».

— Я никогда не слышал, как играет Шопен, — сказал барон, — а это было доступно для меня, ведь я брал уроки у Стамати, но он запретил мне поехать слушать мастера Ноктюрнов к моей тетке Шиме. — «Какую он сделал глупость», — вскричал Морель. — «Наоборот, — живо возразил пронзительным голосом г-н де Шарлюс. — Он доказал этим свой ум. Он понял, что я был «особой натурой» и что я мог подпасть под влияние Шопена. Хотя в общем это не сыграло бы роли, потому что я бросил музыку совсем молодым, как и все остальное, впрочем. А потом ведь можно это вообразить, — добавил он гнусавым, размеренным протяжным голосом, — всегда найдутся люди, которые слышали его и могут дать вам представление о нем. Но в конце концов Шопен был только предлогом, чтобы вернуться опять к той же медиумической стороне вещей, которой вы пренебрегаете».

Мы можем отметить, что непосредственно после внедрения вульгарного языка речь г-на де Шарлюса снова делается жеманной и высокомерной, по его обыкновению. Это происходит потому, что представление о Мореле, без всяких угрызений совести «оставляющем на месте» изнасилованную девушку, заставило его внезапно вкусить полное наслаждение. Вслед за этим его чувства несколько поостыли, и садист (подлинно медиумический), на несколько мгновений заменивший г-на де Шарлюса, исчез и передал слово настоящему г-ну де Шарлюсу, отличающемуся художественной утонченностью, чувствительностью, добротой. «Вы как-то играли XV квартет, переложенный для фортепиано, это уже в достаточной мере абсурдно само по себе, ибо нет ничего менее фортепианного. Это сделано для людей, у которых болят уши от слишком туго натянутых струн великого Глухого. Между тем как именно эта мистика, почти кричащая, божественна в нем. Во всяком случае вы его очень плохо сыграли, нарушив весь ход развития темы. Нужно играть его так, как если бы вы сами творили его: юный Морель, пораженный внезапной глухотой и несуществующей гениальностью, на мгновение застывает в неподвижности. Потом, охваченный священным безумием, он начинает играть, творит первые такты. Вслед за этим, придя в полное изнеможение от подобного усилия при вступлении, он замирает, откидывая на лоб красивую прядь волос, чтобы пленить госпожу Вердюрен, и вместе с тем давая себе передышку, дабы восстановилось значительное количество серого вещества, затраченное им при провидческой объективации. Набравшись сил, охваченный новым высочайшим вдохновением, он устремляется к великой неиссякаемой мелодии, которую берлинский виртуоз (мы полагаем, что так называл г-н де Шарлюс Мендельсона) неустанно перепевал впоследствии. Только подобным, единственно трансцендентным и воодушевительным образом я заставляю играть вас в Париже». Когда г-н де Шарлюс давал ему подобные советы, Морель ощущал гораздо больше страха, чем когда метрдотель уносил обратно отвергнутые розы и сир, с беспокойством спрашивая себя, какое это впечатление могло произвести в «классе». Но он не мог мешкать в этих размышлениях, так как г-н де Шарлюс властным тоном говорил ему: «Спросите метрдотеля, нет ли у них доброго христианина». — «Доброго христианина, — я не понимаю». — «Вы же видите, что мы уже за десертом, а это название груши. Будьте уверены, что они имеются у госпожи де Камбремер, потому что они были у графини д'Эскарбаньяс, каковой она и является. Господин Тибодье прислал их ей, а она сказала при этом: «Вот добрый христианин, который очень хорош собой». — «Нет, я не знал этого». — «Я вообще вижу, что вы ничего не знаете. Раз вы даже не читали Мольера... Ну, ладно, если вы так же не умеете приказывать, как и все прочее, попросите просто подать те груши, которые разводят здесь вблизи, это «Луиза Бонн д'Аврани». — «Это?» — «Погодите, раз вы так неловки, то я сам закажу другие, которые мне больше нравятся. Метрдотель, есть ли у вас груши Доянне де Колис? Чарли, вы должны были бы прочитать чудесные страницы, написанные по поводу этой груши герцогиней Эмилией де Клермон-Тоннер». — «Нет, мосье, у нас нет таких». — «А есть ли у вас груши Победа Жодуаня?» — «Нет, мосье». — «А Виржини Далле? Де ла Пасс-Кольмар? Нет? Ну, ладно, если у вас ничего нет, нам надо уходить. Герцогиня Ангулемская

еще не поспела, пойдемте прочь, Чарли». К несчастью для г-на де Шарлюса не достало ли здравого смысла, а может быть из-за целомудренности его отношений с Морелем, он всячески изоцирялся в этот период, засыпая скрипача причудливыми милостями, которых последний не мог понять и на которые, по своей неблагодарной и мелочной натуре, тоже со странностями, он не мог отвечать иначе, как сухостью или грубостями, все возраставшими и повергавшими г-на де Шарлюса — бывало такого гордого, а теперь оробевшего — в приступы настоящего отчаяния. Дальше мы увидим, каким образом Морель, считавший себя в тысячу раз значительнее г-на де Шарлюса, понимал вкривь и вкось, вплоть до мелочей, горделивые поучения барона по вопросу об аристократии, принимая их в буквальном смысле.

Сейчас скажем попросту, пока Альбертина дожидается меня в Сен-Жан-де-ла-Эз, что Морель ставил превыше знатности (и это в принципе было достаточно благородно, особенно для человека, главное удовольствие которого заключалось в погоне за девчонками — «шито-крыто» — при ближайшем участии шофера) лишь свою артистическую славу и общественное мнение класса скрипки. По всей вероятности, он вел себя так безобразно, ибо чувствовал, что г-н де Шарлюс целиком принадлежит ему, пробовал даже прогнать его, издевался над ним точно таким же образом, как после моего обещания сохранить в тайне профессию его отца в доме моего дедушки он стал относиться ко мне свысока. А с другой стороны, его имя художника, окончившего с дипломом, имя Мореля, казалось ему выше просто «имени». И когда г-н де Шарлюс в мечтах платонической нежности хотел присвоить ему какой-нибудь родовой титул, Морель энергично протестовал.

Если Альбертина находила более благоразумным оставаться для занятий живописью в Сен-Жан-де-ла-Эз, я садился в автомобиль и успевал съездить не только в Гурвиль или Фетерн, но также и в Сен-Мар-ле-Вье и даже в Крикетто, прежде чем вернуться за ней. Притворяясь, что у меня были еще и другие дела, кроме нее, и что мне приходилось покидать ее в погоне за другими удовольствиями, я не переставал думать о ней. Зачастую я отправлялся не далее огромной равнины, расположенной над Гурвилем, и, так как она немного напоминала долину, поднимавшуюся от Комбре по направлению к Мезеглизу, то и на большом расстоянии от Альбертины мне было отрадно думать, что если мои взоры не достигали до нее, то могучий и легкий морской ветер, распространяясь дальше них, пролетая мимо меня, должен был домчаться, ничем не преграждаемый, до самого Кеттольма, прошелестеть в ветвях деревьев, покрывающих своей листвой Сен-Жан-де-ла-Эз, овеивая лицо моей подруги, и таким образом установить двойную связь между мной и ею в этом уединенном уголке, бесконечно расширенном, безо всякого риска, как в тех играх, где двое детей заходят порой так далеко, что перестают слышать и видеть друг друга, и все-таки, несмотря на свою разобщенность, продолжают быть вместе. Я возвращался по тропинкам, откуда видно было море и где, бывало, прежде чем оно открывалось мне между ветвей, я спешил закрыть глаза, дабы хорошенько представить себе, что я должен был увидеть все ту же стонушую прародительницу земли, пребывавшую, как в те времена, когда не было еще живых существ, в безумном и незапамятном волнении. Теперь тропинки были для меня лишь способом добраться до Альбертины, поскольку я видел их единообразие, знал, до какого места они идут прямо, где свернут, вспоминал, что проходил по ним, думая о мадмуазель де Стермарья, и что такое же нетерпеливое желание очутиться возле Альбертины бывало у меня и в Париже, когда я шел вниз по улицам, где проезжала г-жа де Германт; они являли в моих глазах сугубую однородность, моральное значение какой-то линии, по которой развивался мой характер. Это было естественным и не могло быть безразличным; они напоминали мне, что моей судьбой было стремиться в погоню за призраками, за существами, добрая доля которых существовала лишь в моем воображении; в самом деле, бывают люди, и это с юных лет было моим делом, у которых все, что имеет твердую ценность, осязательную для всех остальных, — богатство, успех, высокое положение, — не принимается в расчет: им нужны призраки. Они жертвуют для них всем остальным, приводят в действие все, заставляя все служить их стремлению к встрече с этим призраком. Но последний вскоре исчезает; тогда они начинают гоняться за другими, чтобы снова вернуться к первому. Не раз возвращался я к Альбертине, к той девушке, которую в первый год я встретил у моря. Другие женщины, правда, вклинились между мной и той Альбертиной, которую я полюбил впервые, и той, с которой я не мог расстаться теперь; другие женщины, и в частности герцогиня Германтская. Однако, скажут мне, зачем было создавать столько беспокойств в отношении Жильберты, так мучиться из-за г-жи де Германт, — ведь я становился их другом с единственной лишь целью думать не о них, а только об Альбертине. Сван, перед своей смертью, мог бы ответить на это, будучи любителем призраков. Тропинки в Бальбеке были полны этими преследуемыми, забытыми призраками, иногда обретенными вновь на единственную встречу, чтобы коснуться призрачной жизни, тотчас улетающей. Думая, что их деревья, груши, яблони, тамариски переживут меня, я воображал, что слышу их совет наконец-то приниматься за дело, пока не пробил еще час вечного покоя.

Я выходил из экипажа в Кеттольме, сбегал вниз по крутой ложбине, переходил по доске через ручей и находил Альбертину, которая писала, сидя против церкви, колючей и красной, цветущей как розовый куст, состоявшей из одних колоколенок. Только тимпан оставался гладким; к нарядной поверхности камня прикасались ангелы, продолжая, перед нашей четой двадцатого века, совершать со свечами в руках обряды XIII века. Вот их-то и старалась изобразить Альбертина на своем подготовленном холсте, и, подражая Эльстиру, она писала крупными мазками, пытаясь передать благородный ритм, отличавший, как сказал ей великий учитель, этих ангелов от всех тех, которых он знал. Затем она складывала свои вещи. Поддерживая друг друга, мы поднимались по ложбине, оставляя маленькую церковку в том же покое, будто она и не видела нас, продолжая прислушиваться к немолчному шуму ручья. Вскоре автомобиль мчался обратно, выбирая для нашего возвращения иную дорогу, чем та, по которой мы приехали сюда. Мы проезжали мимо Маркувиля Горделивого. На его церкви, наполовину новой, наполовину реставрированной, играл зеленовато-серый отблеск заходящего солнца, прекрасный как вековой налет. Покрытые им большие барельефы сквозили из-под текучего слоя, полужидкого, полувоздушного; Св. Дева, св. Елизавета и св. Иоахим еще плавали в неосязаемых волнах, почти на поверхности над водой или над солнечной пеленой. Всплывая в горячей пыли, многочисленные современные статуи возвышались на колоннах, доходя до половины золотистой пелены заката. Огромный кипарис перед церковью стоял словно за священной оградой. Мы на минуту вылезали, чтобы осмотреть его, и делали несколько шагов вокруг. Так же непосредственно, как свое существо, Альбертина ощущала свой ток из итальянской соломки и шелковый шарф (что являлось для нее источником не менее приятных ощущений), но извлекала из этого, обходя вокруг церкви, несколько иной импульс, выражавшийся у нее в бессознательном довольстве, в чем я находил известную прелесть; этот шарф и ток составляли совсем недавнюю случайную частицу моей подруги, но уже стали дорогими для меня, и я провожал их глазами в их скольжении вокруг кипариса, в вечернем воздухе. Сама она не могла видеть этого, но предполагала, что эти нарядные вещи шли ей, ибо улыбалась мне, стараясь держать свою голову в соответствии с причудой, дополнявшей ее убор. «Не нравится мне эта реставрация», — сказала мне Альбертина, показывая на церковку и припоминая, что говорил ей Эльстир по поводу исключительной, неподражаемой красоты старинных плит. Альбертина моментально узнавала реставрацию. Оставалось только удивляться ее верному вкусу в архитектуре, по сравнению с плачевным вкусом в области музыки. Эта церковку нравилась мне не более, чем Эльстиру; без всякого удовольствия увидел я перед своими глазами ее залитый солнцем фасад и вылез осматривать ее, желая лишь угодить Альбертине. И все же я считаю, что великий импрессионист

находился в противоречии с самим собой; к чему этот фетишизм, связанный с объективной архитектурной ценностью, разве нельзя учесть преобразования церкви в лучах заката. «Нет, определенно, — сказала мне Альбертина, — она не нравится мне; мне только нравится ее имя — горделивая. Но вот о чем надо будет справиться у Бришо — почему Сен-Марс называют Одетым (le Vetu). Следующий раз мы поедем туда, хорошо?» — говорила она мне, поглядывая на меня черными глазами из-под надвинутого тока, как, бывало, из-под шапочки поло. Вуаль ее развеивалась. Я снова садился с нею в автомобиль, счастливый от сознания, что завтра мы вместе отправимся в Сен-Марс, который в эту знойную пору, когда мечталось только о купанье, был похож двумя старинными колокольнями розово-желтого цвета, с ромбообразными черепицами, чуть загнутыми и словно трепещущими, на древних продолговатых рыб с замшелой и кирпично-рыжей чешуей, недвижно высившихся в прозрачной голубой воде. Чтобы сократить путь, выехав из Маркувиля, мы сворачивали на перекресток, где была ферма. Иногда Альбертина останавливала здесь машину и, желая утолить жажду не выходя из автомобиля, просила меня сходить за кальвадосом или сидром, который, как уверяли нас, совсем не пенится и тем не менее обливал нас с ног до головы. Мы теснее прижимались друг к другу. Люди с фермы едва могли рассмотреть Альбертину в глубине закрытого автомобиля, я отдавал им обратно бутылки; мы уезжали, словно продолжая нашу жизнь вдвоем, жизнь любовников, которую они воображали у нас, в которой эта остановка, чтобы утолить жажду, была едва приметным мгновением; предположение, казавшееся еще менее неправдоподобным, если бы нас увидели после того, как Альбертина выпивала целую бутылку сидра; тогда и в самом деле она будто не могла долее переносить никакого промежутка между нами, что обычно нисколько не мешало ей; ее ноги в полотняной юбке прижимались к моим ногам, она подставляла к моим щекам свои разом бледневшие, пылавшие щеки, с красными пятнами на скулах, с каким-то страстным и поблекшим видом, как у девушки из предместья. В эти минуты, почти так же быстро, как менялось ее лицо, она меняла свой обычный голос, разговаривая уже иным, хриплым, наглым, почти распутным голосом. Наступал вечер. Как приятно было ощущать ее вблизи себя, с этим шарфом и током, вспоминая, что именно так, бок о бок, обычно встречаются влюбленные. Быть может, я и ощущал любовь к Альбертине, но не смел обнаружить этого перед ней, хотя любовь существовала во мне как некая истина, не имеющая настоящей ценности, не будучи еще проверена на опыте; и она казалась мне недостижимой, стоящей вне плоскости моей жизни. Зато ревность вынуждала меня состоять неотлучно при Альбертине, хотя я знал, что исцелиться от нее я могу, лишь навсегда расставшись с Альбертиной. Мне приходилось иногда испытывать ревность в ее присутствии, но тогда я старался устранить раз навсегда то обстоятельство, что вызывало ее во мне. Так и было, когда как-то в прекрасную погоду мы поехали завтракать в Ривбель. Широкие стеклянные двери столовой в этом холле в виде коридора, предназначенного для чаепития, были распахнуты и находились на одном уровне с залитыми солнцем лужайками, часть которых, казалось, составлял обширный и светлый ресторан. Лакей, с румяным лицом, с черной шевелюрой, извивавшейся как пламя, летал по этой обширной площади не так быстро, как бывало, ибо он уже не был рассыльным, а стал официантом; тем не менее, благодаря своей природной живости, он мелькал то вдали, в столовой, то вблизи, на открытом воздухе, подавая клиентам, пожелавшим завтракать в саду, появляясь то там, то здесь, как ряд последовательных скульптурных изображений юного бегущего бога, из которых одни оказывались внутри помещения, очень ярко освещенного, переходившего в зеленые газоны, другие же — среди листвы, под ослепительными лучами на открытом воздухе. На мгновение он оказался подле нас. Альбертина стала рассеянно отвечать на мои слова. Она смотрела на него расширенными глазами. В течение нескольких минут я чувствовал, что можно находиться подле любимой и не быть с ней. Как будто они очутились наедине таинственным образом, храня молчание из-за моего присутствия, и это могло быть продолжением или прежних встреч, неизвестных мне, или единственного взгляда, брошенного им на нее, — я же был здесь третьим лицом, лишним, от которого прячутся. Даже после того, как его резко окликнул хозяин и он удалился, Альбертина, продолжая завтракать, все еще воспринимала ресторан и сад лишь как ярко освещенную тропу, где там и сям, среди различных декораций, появлялся бегущий черноволосый бог. Был момент, когда я задал себе вопрос, не бросит ли она меня одного за столом, чтобы последовать за ним. Но со следующего дня я начал совсем забывать это тяжелое впечатление, потому что решил никогда больше не ездить в Ривбель и заставил пообещать Альбертину, уверявшую меня, что она попала туда впервые, больше никогда туда не ездить. И я отрицал перед ней, что проворный лакей не спускал с нее глаз, дабы она не подумала, будто из-за моего общества лишилась развлечения. Мне случалось еще бывать в Ривбеле, но всегда в одиночестве, пить очень много, что я и раньше проделывал там. Допивая последний бокал, я разглядывал раскрашенную розетку на белой стене, переносил на нее все то удовольствие, что я испытывал тогда. Она единственная продолжала для меня существовать, — то я устремлялся к ней, то касался ее, то она ускользала от моего блуждающего взгляда, и я думал о будущем с полным безразличием, довольствуясь моей розеткой, как бабочка, кружащая подле сидящего на месте мотылька, с которым угаснет ее жизнь в миг последнего сладострастия. Для разлуки с женщиной, не успевшей причинить мне острого страдания, момент был выбран исключительно удачно, ибо я не ждал от нее исцеления, которое обычно бывает во власти виновников этих мук. Самые наши прогулки несли мне успокоение, однако сейчас я рассматривал их как канун будущего, и хотя стремился к нему, но тем не менее полагал, что оно вряд ли будет отличаться от прошедшего; прелесть прогулок заключалась для меня в том, что я отрывал их от тех мест, где до сих пор Альбертина проводила время без меня, со своей теткой или с подругами. Подлинная радость не была источником этой прелести, она исходила лишь от устранения беспокойства и все же была достаточно сильна. Несколько дней спустя, едва лишь я представил себе снова ту ферму, где мы пили сидр, или просто те несколько шагов, что мы прошли по Сен-Марс-ле-Ветю, едва лишь я вспомнил, как рядом со мной шла Альбертина в своем токе, — как ощущение ее присутствия внезапно придало такое значение безразличному воспоминанию о новой церкви, что миг, когда залитый солнцем фасад самопроизвольно всплыл в моей памяти, был подобен большому успокоительному компрессу, окутавшему мое сердце. Я завозил Альбертину в Парвиль, но вечером заезжал за ней, и мы отправлялись полежать в темноте на берегу моря. Разумеется, я не ежедневно виделся с нею, но я мог бы сказать себе: «Если бы ей пришлось рассказывать о своем времяпровождении, о своей жизни, то я бы занял там самое большое место»; мы проводили вместе долгие часы подряд, наполнявшие мои дни таким сладостным упоением, что даже, когда в Парвиле она спрыгивала с машины, которую я снова присылал за ней через час, я уже не чувствовал себя одиноким в автомобиле, словно, уходя, она оставляла там цветы. Я мог обойтись без нее и не видеться с нею каждый день; я расставался с ней счастливый, чувствовал, что успокаивающее действие этого счастья могло продлиться на много дней подряд. Но тут я слышал, как Альбертина, прощаясь со мной, говорила тетке или подруге: «Значит, завтра, в восемь с половиной. Не надо запаздывать, они будут готовы в четверть девятого». Разговор любимой женщины подобен почве, скрывающей под собой подземные и опасные воды; ежеминутно чувствуется за ее словами присутствие, леденящий холод незримых вод; коварно просачиваясь там и сям, они таятся в глубине. Как только я слышал эту фразу Альбертины, мое спокойствие разбивалось вдребезги. Мне хотелось просить у нее свидания назавтра утром, чтобы помешать ей пойти на эту таинственную встречу, назначенную в восемь с половиной, о чем они говорили при мне только намеками. Вначале она, вероятно, повиновалась бы мне, с некоторым сожалением отказываясь от своих планов; затем догадалась бы о моей перманентной потребности разрушать их; от меня начали бы все скрывать. К тому же вполне вероятно, что эти празднества, в которых я не участвовал, представляли сами по себе очень мало интереса, и, быть может, из опасения, что та или другая гостья покажется мне вульгарной или скучной, меня и не приглашали. К несчастью, этот образ жизни, так тесно переплетенный с жизнью

Альбертины, оказывал действие не только на меня; мне это давало успокоение, а матери моей причиняло беспокойство, признавшись в которых, она разрушила мой покой. Когда я вернулся домой довольный, решившись не сегодня-завтра покончить с этим существованием, положить предел которому, как я полагал, зависело исключительно от моей воли, моя мать сказала мне, услышав, как я даю распоряжение шоферу съездить за Альбертиной: «Как ты тратишь деньги!» (Франсуаза на своем простом образном языке говорила гораздо более внушительно: «Деньги текут».) «Постарайся же, — продолжала мама, — не уподобляться Шарлю де Севинье, о котором его мать говорила: «Его ладонь — это горнило, где плавится серебро». И, кроме того, мне кажется, что ты уже слишком много выезжаешь с Альбертиной. Уверяю тебя, что это уже лишнее, для нее это даже неудобно. Я была в восторге, что это тебя развлекает, я не прошу тебя перестать видеться с ней, но нельзя же, чтобы вас постоянно встречали вместе». Моя жизнь с Альбертиной, лишенная острых наслаждений — по крайней мере, воспринятых таковыми до сих пор, — жизнь, которую я собирался изменить со дня на день, выбрав для этого час умиротворения, — в одно мгновение сделалась для меня необходимой еще на некоторое время, едва лишь оказалась под угрозой при этих словах мамы. Я сказал маме, что ее слова отдалиги, пожалуй, на два месяца то решение, которого они требовали и которое было бы принято без них в конце этой недели. Мама рассмеялась (чтобы не огорчать меня) при виде действия, мгновенно произведенного ее советами, и пообещала больше не упоминать мне об этом, дабы не помешать новому возникновению моего доброго намерения. Но со дня смерти моей бабушки, каждый раз, когда мама начинала смеяться, этот смех внезапно обрывался и переходил в какое-то страдальческое выражение чувства, почти рыдание, — то ли это было раскаянием оттого, что можно было забыться на мгновение, то ли внезапным обострением горя, наступавшим вслед за мимолетным отвлечением. Я почувствовал, что к страданию, причиняемому моей матерью воспоминанием о бабушке, засевшим в ней как навязчивая идея, теперь прибавилось еще новое огорчение, имеющее отношение ко мне, к тому, что мама боялась последствий моей близости с Альбертиной; близости, которой она не смела воспрепятствовать вследствие того, что я сказал ей. Но, видимо, я не убедил ее в том, что я не обманывался. Она еще помнила, сколько лет подряд и бабушка и она не говорили со мной о работе, об ином, более гигиеническом образе жизни, который я не мог, по собственному утверждению, начать только из-за волнения, вызываемого их увещаниями, и к которому я так и не приступил, несмотря на их молчаливую покорность. После обеда автомобиль привозил Альбертину; еще было светло; было уже не так жарко, но после знойного дня мы оба продолжали мечтать о какой-то неизведанной прохладе; и вот перед нашими воспаленными глазами предстал узкий месяц (такой же, как в тот вечер, когда я был у принцессы Германтской, куда Альбертина позвонила мне по телефону), — сначала как тонкая и прозрачная полоска кожур, затем как сочная четверть какого-то плода, который стал разрезать в небе невидимый нож. Иногда я сам заезжал за моей подругой, тогда она должна была ожидать меня уже немного позднее под сводами рынка в Менвиле. В первые мгновенья я не различал ее; я уже приходил в беспокойство оттого, что она не пришла, не так поняла меня. И тут я видел, как она, в белой блузе с синим горошком, вскакивала рядом со мной в машину легким прыжком, более похожим на движение молодого зверька, чем девушки. И как щенок, она тотчас принималась без конца ласкаться ко мне. Когда наступала полная ночь и, как говорил мне управляющий отеля, небо было изборождено звездами, если мы не шли гулять в лес с бутылкой шампанского, то, не обращая внимания на гуляющих, еще расхаживающих по слабо освещенному молу, но едва ли в состоянии что-либо различить в двух шагах от себя на темном песке, мы ложились у подножья дюн; я прижимал к себе под одеялом то самое тело, в гибких движениях которого таилась женская грация, приобретенная на море и в спорте, — грация молодых девушек, которых я впервые увидел проходившими на фоне морских волн, близ самого моря, недвижимого, разрезанного надвое трепетным лучом; и мы слушали без устали и с одинаковым удовольствием, как оно то останавливало свое дыхание, надолго прерывая его, так что прилив казался оконченным, то снова разливало у самых наших ног ожидаемый и запоздалый рокот. Кончалось тем, что я отвезил Альбертину в Парвиль. Подъезжая к ее дому, мы должны были прерывать наши объятия, из страха, чтобы нас не увидели; не испытывая еще желания лечь спать, она возвращалась со мной в Бальбек, откуда я в последний раз отвезил ее в Парвиль; шоферы тех первых времен автомобиля были людьми, ложившимися спать как угодно поздно. И действительно, я возвращался в Бальбек с первой утренней росой, на этот раз в одиночестве, но еще весь во власти присутствия моей возлюбленной, насыщенный таким запасом поцелуев, что еще долго продолжал черпать из него. У себя на столе я находил телеграмму или открытку. Это была снова Альбертина! Она написала их в Кеттольме, пока я один уезжал в автомобиле, желая сказать мне, что она помнит обо мне. Я ложились в постель, перечитывая их. Тут я различал над шторами полосу дневного света и говорил себе, что мы в самом деле любим друг друга, раз мы целовались всю ночь напролет. На другое утро, встречаясь с Альбертиной на молу, я так боялся, что она окажется занятой в этот день и не сможет дать мне согласия на мою просьбу отправиться вместе гулять, что медлил с этой просьбой, как только мог. Я испытывал особенное беспокойство, потому что вид у нее был холодный и озабоченный; мимо проходили ее знакомые; должно быть она уже составила планы на этот день, откуда я был исключен. Я смотрел на нее, смотрел на красивое тело, розовое лицо Альбертины, возносившее передо мной тайну своих намерений, неведомое решение, долженствующее составить счастье или несчастье моего дня. Это было особое душевное состояние, грядущее моей жизни, принимавшее передо мной аллегорический и роковой образ молодой девушки. И когда наконец я решался и с наиболее безразличным видом, который только мне удавался, спрашивал ее: «Поедем ли мы с вами кататься и сейчас и вечером?» — а она отвечала мне: «С большой охотой», — тогда внезапное превращение моего длительного беспокойства в сладостное успокоение на этом розовом лице делало для меня еще более драгоценными эти черты, которым я непрерывно был обязан чувством довольства, покоя, наступающим лишь после разразившейся грозы. Я повторял про себя: «Как она мила, какое очаровательное существо!» — с чувством экзальтации, менее плодотворным, чем то, которое возникает при опьянении, немного более глубоко, чем от дружбы, но гораздо выше того, что дает светская жизнь. Мы не брали автомобиля только по тем дням, когда Вердюрены давали обед или когда Альбертина бывала занята и не могла ехать со мной, а я пользовался этим, чтобы предупредить желающих посетить меня, что я остаюсь в Бальбеке. Я давал разрешение Сен-Лу приезжать ко мне по этим дням, но только по этим дням. Однажды, когда он приехал без предупреждения, я предпочел отказаться от свидания с Альбертиной, чем рисковать на их встречу, дабы не нарушать того состояния счастливого покоя, в котором я пребывал с некоторых пор, и не возобновлять своей ревности. И я успокоился лишь после того, как Сен-Лу уехал. Поэтому он добросовестно воздерживался, хотя и с сожалением, от приезда в Бальбек без моего приглашения. Бывало, думая с такой завистью о тех часах, что г-жа де Германт с ним проводила, я так ценил мои встречи с ним! Люди непрестанно меняют свое место в отношении нас. В неощутимом, но извечном ходе вселенной нам кажется, что они остаются неподвижными в миг своего появления перед нами, слишком кратковременного, чтобы стало заметным влекущее их за собой движение. Но стоит нам только порыться в своей памяти, чтобы выбрать два их изображения, относящихся к разным моментам, но достаточно близких между собой, чтобы не успело произойти перемены в них самих, по крайней мере значительной, и различие между обоями изображениями будет мерилем того сдвига, который произошел у них в отношении нас. Сен-Лу безумно расстроил меня, заговорив о Вердюренах, я испугался, что он попросит меня представить его, этого было бы достаточно, чтобы отравить все мое удовольствие, когда я бывал там с Альбертиной, вследствие ревности, которую я не мог бы подавить в себе. По счастью Робер, наоборот, признался мне, что больше всего ему не хотелось знакомства с ними. «Да, — сказал он, — я нахожу, что подобная клерикальная среда ужасно раздражает». Сперва я не понял эпитета «клерикальный», отнесенного к

Вердюренам, но окончание фразы Сен-Лу пояснило мне его мысль, его уступки модному языку, нередко поражающие нас, когда его усваивают умные люди. «Ведь это среда, — сказал он мне, — куда призывают нас составлять особую касту, свой монастырь со своим уставом. Ты не можешь отрицать, что это особого рода секта; необычайная угодливость перед людьми, которые принадлежат к ним, и неимоверное презрение к тем, кто к ним не принадлежит. Здесь вопрос Гамлета не в том, чтобы быть или не быть, но быть с ними или не быть с ними. Ты с ними, мой дядя Шарлюс тоже с ними. Что же делать, я никогда не любил этого, это не моя вина».

Само собой разумеется, что правила, поставленного мной перед Сен-Лу, являться ко мне лишь по моему зову, я придерживался так же строго в отношении всех остальных, с которыми мало-помалу завел дружбу в Ла-Распельере, в Фетерне, в Монсьюрване и в других местах; и когда я наблюдал из отеля дым от трехчасового поезда, оставлявший в расщелинах береговых скал Парвиля густые клубы, долго цеплявшиеся по склону зеленых откосов, у меня не было никаких сомнений насчет гостя, спешившего ко мне на чай, и которого пока, как некоего бога, скрывало от меня это облако. Я должен сознаться, что этим гостем, являвшимся ко мне с моего предварительного разрешения, никогда не был Саньет, и впоследствии я часто упрекал себя в этом. Но благодаря тому, что Саньет сознавал, что он нагоняет скуку (еще более своим визитом, чем своими рассказами), получалось так, что хотя он и был более образованным, более умным и более добрым, чем многие другие, казалось невозможным, не говоря уже об удовольствии, испытывать с ним что-либо иное, кроме невыносимой скуки, портившей вам целый день. Весьма вероятно, если бы Саньет откровенно признался, что он опасается нагнать скуку, перестали бы бояться его визитов. Скука — это еще одно из наименьших зол, что нам приходится переносить, его скука существовала, быть может, лишь в воображении других или была присвоена ему путем какого-то внушения с их стороны, одолевшего его приятную скромность. Но он так тщательно скрывал, что его никуда не приглашали, что он не осмеливался навязаться сам. Конечно, он был вправе не уподобляться людям, которые с явным удовольствием раскланиваются направо и налево в общественных местах и, давно не встречаясь с вами и обнаружив вас в ложе в блестящем обществе, незнакомом им, бросают вам приветствие вскользь, но при этом очень громко, извиняясь перед вами за то удовольствие, то волнение, что охватывает их при виде вас, удостоверившись, что вы снова окунулись в светскую жизнь, что у вас хороший вид и т. д. В противоположность им, Саньет был излишне робок. У г-жи Вердюрен или в местном трамвайчике он мог бы сказать мне, что ему доставило бы огромное удовольствие навестить меня в Бальбеке, если бы он не боялся мне помешать. Такое предложение ничуть не испугало бы меня. Наоборот, он ничего не предлагал, а с искаженным лицом и с взглядом, непроницаемым, словно из эмали, в состав которого, однако, входила вместе с трепетным желанием видеть вас, — если не представлялось никого более интересного для него, — и его воля не обнаружить этого желания, он говорил мне с развязным видом: «Вы не знаете, будете ли вы свободны эти дни, потому что я, наверно, буду в Бальбеке. Но это ничего не значит, я ведь спросил это случайно». Этот вид никого не обманывал, и знаки обратного значения, при помощи которых мы выражаем свои чувства их противоположностью, так легко читаются, что удивляешься, как это еще до сих пор люди говорят, например: «У меня такая масса приглашений, что и не знаю, куда мне удариться», желая скрыть, что они не получили приглашения. Более того, этот развязный вид, вероятно из-за разнородных элементов, составлявших его, производил на вас действие, вряд ли могущее быть вызванным боязливой скуки или откровенным признанием в желании видеть вас, то есть нечто вроде неловкости, отвращения, что в плоскости социальных отношений обычной вежливости является эквивалентом скрытого предложения свидания, с которым обращается к даме нелюбимый поклонник, доказывая тут же, что он нимало не настаивает на этом, или даже не самое это предложение, а просто его нарочитая холодность. Тотчас исходило от Саньета нечто такое, что вынуждало ответить ему самым нежным образом: «Нет, к несчастью, на этой неделе, я должен сказать вам...» И вместо него я допускал к себе людей, гораздо менее достойных, чем он, но у которых не было ни этого взгляда, омраченного грустью, ни этих губ, искривленных горечью от всех тех посещений, о которых он мечтал, умалчивая о них перед теми и другими. На мое несчастье, Саньет редко не встречался мне в вагоне узкоколейной железной дороги с направлявшимся ко мне визитером, разве только, что последний успевал мне сказать еще у Вердюренов: «Не забудьте, что я буду у вас в четверг», то есть именно в тот день, когда я сказал Саньету, что я занят. Таким образом, он дошел до того, что жизнь казалась ему наполненной развлечениями, организованными не только без его ведома, но даже направленными против него. С другой стороны, ведь человек почти никогда не бывает цельным, и этот скромник был болезненно нескромным. В тот единственный раз, когда он случайно попал ко мне, у меня на столе валялось какое-то письмо. Через минуту я заметил, что он слушает меня рассеянно. Письмо, совершенно неизвестного для него происхождения, околдовало его, и мне казалось ежеминутно, что его эмалевые зрачки готовы выскочить из своих орбит навстречу этому случайному письму, которое притягивало к себе, как магнитом, его собственное любопытство. Казалось, что видишь перед собой птицу, которая роковым образом готова броситься на змею. В конце концов он не выдержал, сначала переложил его на другое место, как бы водворяя порядок в моей комнате. Но так как этого оказалось недостаточным, то он взял его, повернул и как бы машинально перевернул его. Другая форма его нескромности заключалась в том, что он не мог решиться уйти, раз прикованный к вам. Так как в тот день мне нездоровилось, я попросил его уехать со следующим поездом и уйти через полчаса. Он не сомневался нисколько в моих страданиях, но ответил мне: «Я останусь еще на час с четвертью, и тогда я уеду». Впоследствии я мучился, зачем я не приглашал его тогда каждый раз, когда это было возможно. Кто знает? Быть может, этим мне удалось бы произвести заклинание над его несчастной судьбой, его стали бы приглашать и остальные, ради которых он немедленно бросил бы меня, и таким образом мои приглашения возымели бы двойное преимущество — вернуть ему его веселое настроение и освободить меня от него.

В дни, следовавшие за моими приемными днями, естественно, я не ожидал никаких визитов, и автомобиль снова приезжал за нами, за Альбертиной и мной. И когда мы возвращались домой, Эме, стоя на первой ступеньке подъезда, не мог удержаться, чтобы страстным, любопытным и жадным взглядом не смотреть, сколько я давал на чай шоферу. Как бы я ни старался зажать в руке монету или кредитку, взоры Эме раздвигали мои пальцы. Он отворачивался через секунду, ведь он был скромен, хорошо вышколен и обычно сам довольствовался сравнительно небольшими чаевыми. Но деньги, предназначенные кому-нибудь другому, вызывали в нем непреодолимое любопытство и слюнки во рту. В эти короткие мгновения у него был внимательный и лихорадочный вид ребенка, занятого чтением романа Жюль Верна, или человека, обедающего в ресторане, неподалеку от вас, который, наблюдая, как для вас начали разрезывать фазана, между тем как он не может или не хочет позволить себе это, на время отвлекается от серьезных размышлений, чтобы окинуть дичь улыбающимся, любовным и завистливым взглядом.

Одна за другой сменялись наши ежедневные прогулки на автомобиле. И однажды, когда я поднимался в кабине лифта, лифтер сказал мне: «Заходил этот мосье, он оставил мне поручение для вас». Лифтер проговорил это совершенно охрипшим голосом, кашляя и брызгая мне в лицо. «Какую я подхватил простуду, — добавил он, как будто я и сам не мог заметить этого. — Доктор говорит, что это коклюш», — и он снова принялся кашлять и плевать на меня. «Не утомляйте себя разговорами», — сказал я ему с притворно-заботливым видом. Я боялся заразиться коклюшем, который, с моей предрасположенностью к удушьям, оказался бы для меня очень мучительным. Но он почитал себе за честь, подобно больному виртуозу, не позволяющему вынести себя на руках с эстрады, продолжать говорить и плевать

«Нет, это ничего, — сказал он (для вас, может быть, подумал я, но не для меня). — Кроме того, я собираюсь уехать в Париж (тем лучше, лишь бы только он не успел меня заразить). Говорят, — снова начал он, — что Париж — это нечто великолепное. Это должно быть еще великолепнее, чем здесь и в Монтекарло, хотя посыльные, и даже клиенты, и самые метрдотели, бывавшие в Монтекарло в летнем сезоне, не раз говорили мне, что Париж не так великолепен, как Монтекарло. Они, может быть, завирались, хотя, чтобы сделаться метрдотелем, нельзя быть дураком; чтобы принимать все заказы, распределять столики, нужно иметь голову на плечах. Мне говорили, что это еще ужаснее, чем писать пьесы или книги». Мы почти доехали до моего этажа, когда лифтер снова опустил меня вниз, потому что ему показалось, что кнопка работала плохо, и в одно мгновение он исправил ее. Я сказал ему, что предпочитаю подняться по лестнице. Это означало и вместе с тем скрывало, что я предпочитал не заразиться коклюшем. Но, разразившись заразительным глубоким кашлем, лифтер втолкнул меня обратно в кабинку. «Теперь мы больше ничем не рискуем, я исправил кнопку». Видя, что он говорит не переставая, предпочитая лучше узнать имя посетителя и поручение, оставленное мне, нежели параллель между красотами Бальбека, Парижа и Монтекарло, я сказал ему (как говорят тенору, надоедающему с Вениамином Годаром: спойте лучше что-нибудь из Дебюсси): «Но кто же приходил ко мне?» — «Это тот мосье, с которым вы ездили вчера. Я принесу сейчас его карточку, она осталась у моего консьержа». Накануне я отвезил Сен-Лу на станцию Донсьер, перед тем как заехать за Альбертиной, поэтому я подумал, что лифтер имел в виду Сен-Лу, но это оказался шофер. И выражая это в таких словах: «Тот мосье, с которым вы ездили», он пользовался случаем, чтобы научить меня, что рабочий — такой же господин, как и светский человек. Для меня это был урок лишь на словах. Ибо на деле я никогда не делал различия между рабочими классами. И если я удивился, что шофера называли мосье, то это было то самое удивление, как у графа Икс, который получил графский титул всего неделю назад и который, когда я ему сказал: «У графини усталый вид», обернулся назад, чтобы узнать, о ком это я говорю; это происходило просто из-за отсутствия привычки к подобному словоупотреблению; я никогда не допускал различия между рабочими, буржуа и знатными дворянами, и я бы мог выбрать себе друга одинаково среди тех или других. С некоторым предпочтением к рабочим, а затем уже к вельможам, не по склонности к ним, а зная, что от них можно скорее требовать вежливости в отношении рабочих, чем со стороны буржуа, оттого ли, что вельможи не презирают рабочих, как это делают буржуа, или потому, что они охотно обращаются вежливо с кем попало, как хорошенькие женщины, всегда готовые одарить своей улыбкой, зная, что ее примут с огромной радостью. Но я не могу умолчать, что моя манера ставить простой народ на равную ногу со светскими людьми, хотя последние принимали это хорошо, далеко не всегда удовлетворяла мою мать. Вовсе не потому, что по-человечески мама делала какое-нибудь различие между людьми; если Франсуазе случалось переживать горе или заболеть, ее всегда утешала мама и ухаживала за ней так же дружески, так же самоотверженно, как за своей лучшей подругой. Но мама, как истая дочь моего деда, не могла отвергать социального различия каст. Обитатели Комбре могли отличаться добротой, чувствительностью, изучать прекраснейшие теории о человеческом равенстве, но если камердинер пробовал эмансипироваться, однажды сказав «вы» и незаметно стараясь уже больше не обращаться ко мне в третьем лице, у моей матери возникало при этом узурпировании такое же недовольство, каким раздражается в своих мемуарах Сен-Симон всякий раз, когда вельможа, не имеющий должных прав, пользуется предложением, чтобы присвоить себе титул «высочество» на подлинном акте или не воздать герцогам того, что им приличествует и от чего он мало-помалу вовсе устраняется. Существовал «дух Комбре» настолько непокорный, что понадобились бы века доброты (мама была бесконечно добра), теорий равенства, чтобы вытравить его. Я не могу отрицать, что и у мамы некоторые частицы этого духа остались в целостности. Ей так же трудно было подать руку камердинеру, как легко она давала ему десять франков (впрочем, доставлявшие ему гораздо больше удовольствия). Для нее, сознательно или бессознательно, господа оставались господами, а слугами были люди, обедавшие на кухне. Когда она видела, что в столовой вместе со мной обедает шофер автомобиля, она бывала не очень довольна и говорила мне: «Мне кажется, что ты мог бы иметь друга получше, чем какой-то механик», точно так же как она сказала бы, если бы дело касалось моей женьитьбы: «Ты бы мог сделать партию лучше». Шофер (к счастью, мне никогда не приходило в голову пригласить его) зашел известить меня, что Автомобильное общество, пославшее его на сезон в Бальбек, требовало его немедленного возвращения в Париж. Эта причина показалась нам правдоподобной, тем более что шофер был очень милый и выражался таким простым, почти евангельским языком. Причина оказалась таковой лишь наполовину. Действительно в Бальбеке ему было больше нечего делать. И во всяком случае общество, не питая полного доверия к правдивости юного евангелиста, пригвожденного к священному колесу, желало, чтобы он немедленно возвращался в Париж. В самом деле, если юный апостол совершал чудеса, умножая километры, когда он насчитывал их г-ну де Шарлюсу, то зато, как только требовалось дать отчет его обществу, он делил свою выручку на шесть частей. В итоге чего общество полагало, что либо никто не катается в Бальбеке, что казалось возможным с наступлением конца сезона, либо что его обкрадывают; при той и при другой гипотезе самое лучшее было вызвать шофера в Париж, где дела шли также не особенно блестяще. Желанием шофера было избежать во что бы то ни стало сезонного затишья. Я уже говорил — я не знал тогда, и если бы я это узнал, оно помогло бы мне избежать многих огорчений, — что он очень подружился (хотя они и не подавали вида при других) с Морелем. Начиная с того дня, как его вызвали, не зная еще, что у него оставалась возможность не уезжать, мы были вынуждены довольствоваться для наших прогулок экипажем, а стараясь иногда развлечь Альбертину, которая любила верховую езду, я брал верховых лошадей. Экипажи были плохие. «Что за рыдван», — говорила Альбертина. Зато мне часто хотелось остаться в нем одному. Еще не желая ставить себе срока, я жаждал окончания этого времяпровождения, заставлявшего меня отказываться не столько от занятий, сколько от развлечений. Всегда бывало, что едва лишь уничтожались привычки, сдерживавшие меня, как обычно мое прежнее я, охваченное желанием приволья, на мгновение заступало мое настоящее я. Я и ощутил именно это желание вырваться на волю, когда как-то, оставив Альбертину у ее тетки, поехал верхом к Вердюренам, выбрав для этого дикую лесную тропинку, красоту которой они столько расхваливали мне. Следуя по извилинам берега, она то поднималась вверх, то, стиснутая густыми рошцами, спускалась в дикие ущелья. Обнаженные скалы, окружавшие меня, море, видимое сквозь их расщелины, всплывали на мгновение перед моими глазами, как осколки иного мира: я узнавал гористый и морской пейзаж, составлявший фон на двух замечательных акварелях Эльстира: «Встреча поэта с музой» и «Встреча юноши с кентавром», виденных мною у герцогини Германтской. Это воспоминание до такой степени выносило те места, где я находился, за предел настоящего мира, что я ничуть не удивился бы, если бы вдруг подобно доисторическому юноше, изображенному Эльстиром, столкнулся в своей прогулке с каким-нибудь мифологическим существом. Вдруг моя лошадь поднялась на дыбы; она услышала странный шум, я с трудом укротил ее и чуть не был сброшен на землю, затем поднял глаза, налившиеся слезами, к тому месту, откуда исходил этот шум, и увидел в пятидесяти метрах над собой, в лучах солнца, два огромных блестящих стальных крыла, уносящих какое-то существо, лицо которого едва можно было различить и которое показалось мне человеческим. Я был так же потрясен, как грек, впервые увидевший полубога. Я тоже плакал, я готов уже был разразиться слезами, как только я определил, что шум слышался над моей головой, — аэропланы были еще редкостью в этот период, — при мысли, что я впервые увидел аэроплан. И вот, как при чтении газеты ожидаешь начала волнующей статьи, я ожидал только появления аэроплана, чтобы расплакаться. Мне показалось, что авиатор сбился с пути; я чувствовал, как открывались перед ним — передо мной, если бы я не был скован привычкой, — все пути пространства и жизни; он чуть пролетел вперед, реял несколько мгновений над морем, затем, внезапно решившись, поддаваясь какому-то притяжению, обратному силе

Земного тяготения, словно возвращаясь в свою родину, легким взмахом своих золотых крыльев взметнулся прямо в небо.

Но возвратимся снова к механику, который потребовал у Мореля, чтобы Вердюрены сменили не только свой брэк на автомобиль (что, если вспомнить щедрость Вердюренов в отношении своих «верных», оказалось сравнительно нетрудно), но, что было гораздо более сложным, своего главного кучера, сентиментального молодого человека, повергнутого им в мрачное состояние, на шофера. Это было выполнено в течение нескольких дней следующим образом. Морель начал с того, что постепенно таскал у кучера все необходимое ему для упряжи. Один день он не доискивался удил, на другой — уздечки. Вдруг исчезла подушка с козел, потом кнут, фартук, плетка, губка, замша. Но он обходился кое-как с помощью соседей; только он подавал с опозданием, что вооружало против него г-на Вердюрена, а его погружало в грусть и тоску. Шофер, торопившийся поступить на место, объявил Морелю, что он возвращается в Париж. Надо было действовать не мешкая. Морель убедил слуг г-на Вердюрена в том, что молодой кучер заявил, что он их всех загонит в ловушку, и хвастался тем, что он одолеет их, всех шестерых, и при этом он внушил им, что они не должны были спускаться этого. Что касается его, то он не должен был вмешиваться в это, но хотел предупредить их, чтобы они начали действовать первые. Было условлено, что в то время, как г-н и г-жа Вердюрен со своими гостями уйдут на прогулку, они набросятся в конюшню на молодого человека. Я сообщу здесь, хотя это и не явилось причиной того, что случилось, а лишь потому, что эти люди интересовали меня впоследствии, что в этот день у Вердюренов гостил на даче один знакомый, с которым они хотели совершить пешую прогулку перед его отъездом, назначенным в тот же вечер.

Меня очень удивило при наших сборах на прогулку, что в этот день Морель, участвовавший с нами в этой пешей прогулке, где ему предстояло играть на скрипке в лесу, сказал мне: «Послушайте, у меня болит рука, я не хочу говорить об этом госпоже Вердюрен, но попросите ее взять с собой кого-нибудь из лакеев, например, Гаслера, он понесет мою скрипку». — «Думаю, что можно было выбрать удачнее, — ответил я. — Он понадобится за обедом». Гневное выражение мелькнуло на лице Мореля. «Да нет, я не могу доверить мою скрипку кому попало». Впоследствии я понял причину этого предпочтения. Гаслер был любимый брат молодого кучера и, оставшись дома, мог бы прийти к нему на помощь. Во время прогулки Морель сказал достаточно тихо, чтобы Гаслер-старший не мог слышать: «Вот славный малый. Да и брат его тоже. Если бы у него не было этой пагубной привычки к пьянству». — «Как, к пьянству?» — проговорила г-жа Вердюрен, бледнея при мысли, что у нее был пьяница-кучер. — «Просто вы не замечаете этого. Я всегда называю чудом, что у него еще не случилось несчастья, когда он возил вас». — «Но ведь он возит также и других?» — «И вы можете увидеть, сколько раз он опрокидывал, у него теперь все лицо в кровоподтеках. Я не знаю, как он не разбился насмерть, он поломал все оглобли». — «Сегодня я не видела его, — сказала г-жа Вердюрен, дрожа от одной мысли о том, что могло случиться с ней, — вы приводите меня в отчаяние». Она тотчас вознамерилась сократить прогулку, чтобы вернуться домой. Морель выбрал мелодию Баха с бесконечными вариациями, чтобы затянуть ее подольше. Тотчас по возвращении она направилась к сараю, увидела новые оглобли и Гаслера в крови. Она собиралась сказать ему, не делая никакого выговора, что ей больше не нужно кучера, и расплатиться с ним, но он сам, не желая обвинять своих товарищей, враждебности которых он приписывал задним числом ежедневные покражи седел и прочего, и увидев, что его терпение вело лишь к тому, что они уложили бы его на месте, попросил у нее расчета, что оказалось на руку всем. Шофер поступил к ним на следующий день, и впоследствии г-жа Вердюрен (которой пришлось нанять другого) была так довольна им, что горячо рекомендовала его мне как человека неограниченного доверия. Я же, не зная ничего, нанял его посуточно в Париже; однако я слишком забегаю вперед, все это найдет свое место в истории Альбертины. В настоящий момент мы находимся в Ла-Распельере, где обедаем в первый раз — я с моей приятельницей, а г-н де Шарлюс с Морелем, мнимым сыном «управляющего», который зарабатывал твердых тридцать тысяч франков, имел собственный экипаж и значительное число дворецких, подчиненных, садовников, управляющих и фермеров в своем распоряжении. Но раз я так забежал вперед, я не хочу, чтобы у читателя осталось впечатление об исключительно скверном характере Мореля. Скорее он был полон противоречий, порой оказываясь по-настоящему мил.

Естественно, я был очень удивлен, услышав, что кучера выгнали, и еще более — узнав в его заместителе шофера, возившего меня с Альбертиной. Но он начал плести мне какую-то запутанную историю — как его вызывали якобы в Париж, откуда выписали для Вердюренов, и у меня ни на секунду не возникло сомнений. Увольнение кучера было причиной того, что Морель заговорил со мной, выражая мне свое огорчение по поводу ухода этого славного малого.

Впрочем, даже за исключением тех минут, когда он заставлял меня одного и буквально набрасывался на меня с изъявлением своей радости, Морель, заметив, что все ухаживают за мной в Ла-Распельере, и чувствуя, что он сознательно лишает себя близости человека, не представляющего для него никакой опасности, раз он перед тем отрезал мне все пути к отступлению и отнял у меня всякую возможность держаться с ним покровительственно, хотя я ничуть и не намеревался это делать, вдруг перестал сторониться меня. Я приписывал этот поворот влиянию г-на де Шарлюса, которое в действительности в некоторых отношениях делало его менее ограниченным, более тонким, но зато в других случаях, когда он усваивал в буквальном смысле красноречивые, обманчивые и ко всему этому скоропреходящие принципы своего наставника, он глупел еще более. Я только и мог предположить, что это внушил ему г-н де Шарлюс. Как мог бы я догадаться о том, что мне передали только впоследствии (в чем я никогда не был вполне уверен, ведь утверждения Андре в отношении всего, что касалось Альбертины, особенно позднее, всегда казались мне сомнительными, потому что, как мы уже видели, она не была искренно расположена к моей приятельнице и ревновала) и что во всяком случае, если это и было правдой, они оба изумительно скрывали от меня: о близком знакомстве Альбертины с Морелем. Перемена в отношении Мореля ко мне, происшедшая с момента увольнения кучера, позволила мне переменить свое мнение на его счет. У меня оставалось еще отвратительное впечатление от его характера, от той угодливости, которую сперва проявил ко мне этот молодой человек, когда он нуждался во мне, и от того пренебрежения, которое последовало затем по оказании ему услуги, доходя до такой степени, что он переставал замечать меня. К этому надо прибавить очевидное корыстолюбие в его отношениях с г-ном де Шарлюсом и те беспорядочные животные инстинкты, неудовлетворение которых (когда это случалось) так же, как и те осложнения, что они влекли за собой, повергало его в мрачное настроение; но все же этот характер не был столь безнадёжно мерзким и полным одних противоречий. Он напоминал собою старинный, средневековый фолиант, полный ошибок, нелепых верований, непростой основой, он был необычайно разнороден. Сперва я подумал, что искусство, в котором действительно он достиг совершенства, снабдило его какими-то высшими качествами, далеко превосходящими самую виртуозность исполнителя. Однажды, когда я высказал ему свое желание приняться за работу, он мне сказал: «Трудитесь, будьте знаменитым». — «Чье это?» — спросил я его. — «Это Фонтан сказал Шатобриану». Кроме того он знал любовную переписку Наполеона. Ладно, подумал я, он начитан. Но эта фраза, не знаю откуда вычитанная им, была, наверно, единственной известной ему из всей старой и новой литературы, ибо он твердил ее мне каждый вечер. Другая фраза, которую он твердил мне еще чаще, дабы воспрепятствовать мне что-либо рассказывать о нем, была следующая, по его мнению литературного происхождения, на самом деле даже не настоящая французская или, по крайней мере, почти бессмысленная, понятная только для

ного лака: «Не доверяйте недоверчивым». По существу от этой дурацкой поговорки до фразы Фонтана, обращенной к Шатобриану, простиралась целая область, разнообразная, но менее противоречивая, чем это могло бы показаться в отношении характера Мореля. Этот человек, ради денег готовый на что угодно, без малейшего угрызения совести, — быть может, лишь не без странного раздражения, доходившего у него до повышенного нервного возбуждения, которое угрызением совести никак не назвать, — готовый, если в этом заключалась для него выгода, причинить горе, даже облечь в траур целые семьи, ставивший деньги выше всего и, не говоря уже о доброте, выше всех чувств простой гуманности, наиболее свойственных людям, этот самый человек выше денег ставил свой консерваторский диплом первой степени и свою репутацию в классе флейты или контрапункта, которая не позволяла бы злословить на его счет. И самые сильные припадки гнева, самые мрачные и неоправданные приступы раздражения бывали у него вызваны тем, что он называл (обобщая, вероятно, отдельные частные случаи, где он наталкивался на недоброжелателя) всеобщим мошенничеством. Он тешил себя мыслью, что не поддается ему, никогда ни о ком не говоря, не раскрывая свои карты, не доверяя никому. (На мое несчастье, если вспомнить, что явилось результатом этого по моем возвращении в Париж, его недоверие не было «пущено в ход» в отношении шофера из Бальбека, в котором, должно быть, он узнал подобного себе, то есть, в противоречие с его собственной поговоркой, недоверчивого человека в положительном для него смысле слова, того, кто упорно молчит перед порядочными людьми и сейчас же оказывается заодно с мерзавцем.) Ему казалось, — и это не было абсолютно ложным, — что это недоверие всегда поможет ему выходить сухим из воды, не попадаясь даже в самых опасных похождениях и не позволит не только изобличить его, но даже обвинить в стенах учреждения на улице Бержер. Он будет работать, сделается, быть может, когда-нибудь знаменитостью с незапятнанной репутацией, станет председателем жюри по скрипке на конкурсах этой пресловутой консерватории.

Но, быть может, для мозга Мореля слишком много логики будет в том, чтобы одно противоречие проистекало у него из другого. В действительности же его натура была похожа на бумагу, так сильно измятую, что в ней невозможно разобраться. Он обладал также довольно возвышенными принципами и великолепнейшим почерком, обезображенным грубейшими орфографическими ошибками, часами писал то брату — как он плохо поступил со своими сестрами, являясь самым старшим в семье, их поддержкой, то сестрам — как они неподобающе вели себя по отношению к нему.

Вскоре затем, на исходе лета, когда мы выходили в Дувиль из вагона, солнце, смягченное туманом, уже стояло в однообразном сиреневом небе красной глыбой. К глубокой тишине, падавшей по вечерам на эти цветинистые и солончаковые поля и возбуждавшей у многих парижан, в большинстве случаев у художников, желание приехать на дачу в Дувиль, прибавлялась сырость, рано загонявшая их в их маленькие шале. В большинстве из них уже горели лампы. Лишь две-три коровы, мыча, продолжали смотреть на море, а остальные, больше интересуюсь людьми, перенесли свое внимание на наши экипажи. Лишь какой-нибудь художник, водрузив свой мольберт на пригорке, еще работал, стараясь запечатлеть этот глубокий покой и мягкое освещение. И может быть, в то время как люди сидели по домам, одиноко бродившие коровы бездумно и добровольно служили ему моделями, своим созерцательным видом по-своему способствуя глубокому впечатлению покоя, наступающего в вечерний час. Картина оставалась не менее приятной для глаза и несколько недель спустя, когда с приближением осени дни стали еще короче и путешествие пришлось совершать в полной темноте. Если я бродил еще где-нибудь после обеда, мне приходилось возвращаться, чтобы переодеться не позднее пяти часов, — время, к которому красный и круглый шар солнца закатывался в кривом зеркале, столь ненавистном мне когда-то, и, подобно греческому огню, поджигал море на всех стеклах моих книжных шкафов. Вызывая в себе каким-нибудь закликательным движением, в то время как я надевал смокинг, то прежнее я, легкомысленное и стремительное, которым я был, когда ездил обедать в Ривбель с Сен-Лу, или в тот вечер, когда я надеялся повезти мадмуазель де Стермария обедать на лесной остров, я напевал бессознательно тот самый мотив, что и тогда, и только по песенке я и признавал этого немолчного певца, не знавшего, по-видимому, ничего другого. Впервые я напевал ее, когда я только что влюбился в Альбертину и мне казалось, что мы никогда не познакомимся с нею. Потом я напевал ее в Париже, когда разлюбил Альбертину, и спустя несколько дней после того, когда она в первый раз стала моей. Теперь я напевал ее, снова полюбив Альбертину и собираясь ехать с ней на обед, к великому сожалению управляющего, думавшего, что в конце концов я переселюсь в Ла-Распельер и брошу его отель, и уверявшего меня, что, по слухам, там свирепствуют лихорадки, вызванные болотами вокруг Бака и их «сточными» водами. Я радовался тому многообразию, которое наступило в моей жизни, развернувшейся в трех плоскостях; ведь когда на мгновение возвращаешься к своему прежнему естеству, то есть отличному от того, что давно уже является настоящим, восприимчивость, не притупленная привычкой, получает от малейшего прикосновения извне настолько сильные ощущения, что они заставляют бледнеть все, что предшествовало им, и мы привязываемся к ним, из-за их остроты, с мимолетной горячностью пьяницы. Бывало совсем темно, когда мы садились в омнибус или в экипаж, отвозивший нас на вокзал, к железнодорожной ветке местного сообщения. В холле нас встречал председатель: «Как, вы едете в Ла-Распельер! Чорт возьми, ну и наглость у госпожи Вердюрен, чтобы заставлять вас ехать час в поезде в темноте, только ради обеда. А потом снова пускаться в путь в десять часов вечера при дьявольском ветре. Видно сразу, что вам нечего больше делать», — добавлял он, потирая руки. Вероятно, он говорил так, раздраженный тем, что его не пригласили, а также испытывая при этом ту удовлетворенность людей, занятых хотя бы и самым нелепым делом, у которых «нет времени» заниматься тем, чем занимаетесь вы.

Разумеется, вполне законно, чтобы человек, составляющий отчеты, подытоживающий цифры, отвечающий на деловые письма, следящий за биржевым курсом, испытывал, когда он говорит вам с насмешкой: «Это хорошо вам, потому что вам нечего делать», приятное чувство собственного превосходства. Но оно приняло бы у него столь же, даже еще более пренебрежительный оттенок (бывает порой, что и занятой человек обедает в гостях), если бы вашим развлечением было писать «Гамлета» или хотя бы читать его. При этом занятые люди оказываются недалёковидны. Они должны были бы поразмыслить, что ведь эти занятия, не имеющие практической цели, смешное времяпровождение праздного человека в их глазах, если они застигают его в тот момент, когда он погружен в них, являются тем, что в их же собственной профессии выдвигает затем людей, едва ли справляющихся лучше их со своей административной или судебной должностью, но перед стремительной карьерой которых они склоняют голову, повторяя: «Говорят, что это очень образованный, исключительно выдающийся человек». А особенно председатель вовсе не отдавал себе отчета, что мне нравилось на этих обедах в Ла-Распельер то, что, как он правильно говорил, хотя и подходя к этому критически, они «являлись настоящим путешествием», прелесть которого была тем более ощутительна для меня, что оно не было самоцелью, в нем самом не было заложено удовольствия, — которое было связано с предстоявшим нам собранием и не могло не видоизмениться под влиянием окружающей обстановки. Теперь было уже совсем темно, когда я менял теплый отель, ставший моим домом, на вагон, куда мы влезали с Альбертиной, где отблеск фонаря на оконном стекле означал при некоторых остановках маленького поезда, страдающего одышкой, что мы подъезжаем к вокзалу. Я распахивал дверцу, не слыша, как выкликают станцию, и не желая подвергаться риску пропустить Котара, но вместо «верных» в вагон врывались ветер, дождь и холод. Я различал во мраке поля, слышал море, мы стояли в открытом поле. Альбертина, прежде чем мы присоединились к ядру кружка, смотрелась в зеркальце, вынимая его из золотого несесера, который она носила с собой. В первый же

раз, когда г-жа Вердюрен провела ее с собой наверх в свою туалетную, чтобы она могла оправиться перед обедом, я ощутил, среди того состояния глубокого покоя, в котором я находился все последнее время, как во мне шевельнулись тревога и ревность оттого, что я должен был расстаться с Альбертиной на лестнице, и меня охватило такое беспокойство, пока я ждал ее один в салоне среди маленького клана и недоумевал, чем занималась наверху моя приятельница, что на следующий же день я заказал у Картье по телеграфу, предварительно справившись у г-на Шарлюса относительно того, что считалось самым элегантным, несессер, доставлявший теперь и мне и Альбертине большое удовольствие. Для меня это было залогом спокойствия, а также заботливого отношения со стороны моей приятельницы. Она, конечно, догадалась, что мне не нравилось, если она задерживалась у г-жи Вердюрен без меня, и старалась сделать в вагоне весь предварительный туалет перед обедом.

В числе завсегдатаев г-жи Вердюрен и самым верным среди них в течение последних месяцев считался теперь г-н де Шарлюс. Регулярно, три раза в неделю, пассажиры, толпившиеся в зале ожидания или на западной платформе Донсьера, наблюдали, как проходил плотный мужчина, седой, с черными усами, с подкрашенным ртом, причем эта помада была менее заметна в конце сезона, чем летом, когда при ярком освещении она выделялась больше и от жары таяла на губах. Направляясь к маленькому поезду, он не мог удержаться (и лишь по привычке знатока, оставаясь теперь целомудренным вследствие овладевшего им чувства, или чаще всего, по крайней мере, соблюдая верность), чтобы не окинуть чернорабочего, военного или молодого человека в теннисном костюме беглым взглядом, одновременно инквизиторским и боязливым, после чего тотчас же опускал веки, почти закрывая глаза с елейным видом монаха, перебирающего четки, со всей сдержанностью супруги, преданной своей единственной любви, или отлично воспитанной девицы. «Верные» оставались при убеждении, что он не замечает их, тем более, что он не входил в их купе (бывало, так делала иногда и княгиня Щербатова) — как человек неуверенный, будут ли они довольны, если их увидят вместе с ним, и предоставляющий вам возможность присоединиться к нему, если бы такое желание возникло у вас. Вначале доктор вовсе не испытывал этого желания, требуя и от нас оставлять его в одиночестве в своем купе. Сохраняя твердую осанку при своем нерешительном характере, с тех пор как он занял крупное положение в медицинском мире, улыбаясь, откидываясь назад, поглядывая на Ски в лорнет, он шептал с каким-то лукавством или с намерением вызвать окольным путем мнение своих приятелей: «Вы сами понимаете, что если бы я был один, холостой, но ведь со мной жена, я сомневаюсь, можем ли мы ему позволить ехать с нами, после того, что я узнал от вас». — «Что ты сказал?» — спрашивала г-жа Котар. — «Ничего, это тебя не касается, это не для женщин», — отвечал доктор, подмигивая глазом, с величественным самодовольством, представлявшим нечто среднее между тем непроницаемым видом, что он напускал на себя перед своими учениками и больными, и тем беспокойным выражением на своем умном лице, которое бывало у него раньше, у Вердюренов, и продолжал шептаться. Г-жа Котар могла разобрать только слова: «братство» и «болтун», и так как на языке доктора первое обозначало евреев, а второе — бойких на язык людей, то г-жа Котар вывела заключение, что де Шарлюс принадлежал к числу словоохотливых иудеев. Ей стало непонятно, как из-за этого можно было сторониться барона, она сочла своим долгом старшей в клане потребовать не оставлять его в одиночестве, и мы все медленно двинулись к купе г-на де Шарлюса во главе с Котаром, все так же недоумевающим. Из угла, где он читал томик Бальзака, г-н де Шарлюс ощутил наше колебание, тем не менее он не поднял глаз. Подобно тому, как догадывается глухонемой, по неумовному для других дуновению в воздухе, что к нему подходят сзади, он обладал в отношении проявляемой к нему холодности настоящим обострением внешних чувств. Последнее, обычно вызывая подобные явления во всех областях, породило у г-на де Шарлюса мнимые болезни. Как нервнобольные, которые, ощутив едва заметную струю воздуха, предполагают, что в верхнем этаже открыто окно, впадают в неистовство и начинают чихать, г-н де Шарлюс заключал, едва лишь кто-либо из присутствующих принимал озабоченный вид, что это лицо настроили против него. Впрочем, не нужно было даже принимать рассеянный, мрачный или веселый вид, — он сам воображал себе все это. Зато сердечным обращением легко было скрыть от него те толки, о существовании которых он и не подозревал. Отгадав первоначальное колебание Котара, хотя при этом, к величайшему удивлению «верных», убежденных, что читающий с опущенными глазами еще не замечает их, он протянул им руку, как только они оказались на должном расстоянии, он ограничился в отношении Котара лишь одним наклоном туловища, тотчас выпрямившись и не коснувшись рукой в перчатке из шведской кожи протянутой ему руки доктора. «Мы решили во что бы то ни стало разделить с вами путь, мосье, и не оставлять вас в одиночестве в вашем углу. Это доставит нам большое удовольствие», — мягко сказала барону г-жа Котар. — «Вы оказываете мне большую честь», — процедил барон, холодно отвесив поклон. — «Я обрадовалась, когда узнала, что вы окончательно избрали наши края, куда вы перенесли вашу скин...» Она хотела сказать: «скинию», но это слово показалось ей иудейским и обидным для еврея, который мог принять его за намек. Она тотчас спохватилась, стараясь подобрать какое-нибудь другое, столь же привычное для нее, то есть торжественное выражение: «чтобы перенести сюда, я хотела сказать, ваши пенаты. (Правда, что и эти божества тоже не принадлежат к христианской религии, но зато к той, что отмерла так давно, что у нее не сохранилось последователей, обидеть которых представлялось бы опасным.) Мы же, к несчастью, с началом учебного года, со службой доктора в больнице, — мы никогда не можем надолго избрать себе местожительство в определенном месте. — Она указала ему на картонку. — Насколько мы, женщины, несчастнее сильного пола, — даже на такое близкое расстояние, как к нашим друзьям Вердюренам, мы вынуждены таскать за собой целую амуницию». В это время я разглядывал томик Бальзака в руках барона. Это был переплетенный экземпляр, он не был куплен по случаю, как том Бергота, что он давал мне в первый год. Это была книга из его библиотеки, и поэтому на ней стоял девиз: «Я принадлежу барону де Шарлюсу», иногда его заменял другой, имевший цель выразить дух прилежания Германтов: «In proeliis non semper» или еще: «Non sine labore». Но мы увидим далее, как вскоре их заменили еще другие — ради того, чтобы угодить Морелю. Немного погодя г-жа Котар избрала тему, которую она считала более близкой барону. «Не знаю, согласитесь ли вы со мной, мосье, — сказала она ему через мгновение, — я смотрю очень широко на вещи, и по-моему, если исповедывать искренно, то все религии хороши. Я не из тех людей, которых при одном виде протестанта охватывает водобоязнь». — «Меня учили всегда, что моя религия — настоящая», — ответил г-н де Шарлюс. — «Он фанатик, — подумала г-жа Котар. — У Свана, за исключением его последних дней, было больше терпимости, — правда, он был крещеный». Между тем, наоборот, барон, как известно, был не только христианского вероисповедания, но к тому же набожен, как люди Средневековья. Для него, как для скульпторов XIII века, церковь христианская была в животрепещущем смысле слова наполнена бесчисленными существами, представленными вполне реально, пророками, апостолами, ангелами, самыми разнообразными священными персонажами, окружавшими Слово во плоти, его Мать с супругом и Отца-Вседержителя, всеми мучениками и мудрецами, которые, так же как их подлинный народ, толпились у входа в храм или заполняли внутренность собора. Из них всех г-н де Шарлюс избрал своими святыми заступниками архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, с которыми он вел частые беседы, дабы они вознесли его молитвы Отцу-Вседержителю, предстоя перед его престолом. Поэтому заблуждение г-жи Котар показалось мне очень забавным.

Но, оставляя религиозные материи, скажем еще, что доктор, приехав в Париж с тощим запасом напутствий матери-крестьянки, затем углубившись в изучение чисто материалистических наук, которым предаются на долгие годы желающие сделать карьеру в медицинском

никогда не занимался своим общим развитием и приобрел больше авторитета, нежели опыта, и поэтому, принимая в буквальном смысле слова «оказывать честь», был в одно и то же время польщен ими, будучи тщеславным, и огорчен, оставаясь все же добрым малым. «Бедняга де Шарлюс, — сказал он вечером жене, — он огорчил меня, сказав, что мы оказали ему честь, когда ехали вместе. Чувствуется, что он несчастный, лишен общества, что он унижает себя».

Вскоре, не чувствуя уже необходимости в опеке милосердной г-жи Котар, «верные» превозмогли неловкость, которую они все более или менее ощутили при начале, очутившись в обществе г-на де Шарлюса. Само собой разумеется, в его присутствии у них не выходило из головы воспоминание о разоблачениях Ски и представление о сексуальных особенностях, заложенных в их спутнике. Но самая эта особенность действовала на них притягательно. Она придавала их беседе с бароном, и в самом деле примечательной, но в тех пунктах, которые они едва ли были способны оценить, ту прелесть, наряду с которой разговор наиболее интересных людей, даже самого Бришо, казался пресноватым. Уже в самом начале все поспешили согласиться, что он умен. «Гений может оказаться близким к безумию», — провозгласил доктор, и когда княгиня, жаждавшая наставлений, остановилась на этом, он не пожелал распространяться, ибо эта аксиома представляла собой все, что он знал о гении, и не казалась ему столь наглядной, как все, что относилось к тифу или подагре. Сделавшись теперь высокомерным, но сохранив при этом свою невоспитанность, он сказал: «Не надо вопросов, княгиня, не спрашивайте меня, я приехал на берег моря ради отдыха. Кроме того, вряд ли вам будет это понятно, вы не знакомы с медициной». И княгиня умолкла, извиняясь, находя Котара очаровательным и вполне понимая, что знаменитости не всегда бывают доступны. В этот начальный период все пришли к заключению, что г-н де Шарлюс умен, невзирая на свой порок (или то, что обычно называют так). Теперь, сами не отдавая себе в этом отчета, они нашли, что он умнее остальных — именно благодаря этому пороку. Простейшие афоризмы, изрекаемые г-ном де Шарлюсом, ловко спровоцированным на это профессором или скульптором, на тему о любви, ревности, красоте, в силу своеобразного опыта, тайного, изысканного и противоестественного, где он почерпнул их, облекались для «верных» той прелестью отчуждения, которой в русской или японской пьесе, разыгранной туземными актерами, неожиданно проникается психология, аналогичная той, что во все времена преподносится нам в нашей драматургии. Иногда пробовали пускать злую шутку, когда он не слышал этого: «Ах! — шептал скульптор при виде молодого кондуктора с длинными ресницами баядерки, которого разглядывал барон, не в силах удержаться. — Если барон начнет делать глазки контролеру, мы не так скоро приедем, поезд пойдет вспять. Смотрите только, как он рассматривает его, мы уже едем не в поезде местного сообщения, а в фуникулере». Но в сущности, если г-н де Шарлюс не приходил, они испытывали разочарование, оттого что ехали с обыкновенными людьми и возле них не было этого пузатого человека, размалеванного и таинственного, подобно штатке экзотического и неизвестного происхождения, откуда распространяется диковинный запах плодов, вызывающий тошноту при одной мысли вкусить их. С этой точки зрения «верные» мужского пола получали еще более полное удовлетворение на коротком перегоне от Сен-Мартен-дю-Шен, где садился г-н де Шарлюс, до Донсьера, станции, где к ним присоединялся Морель. Пока с ними не было скрипача (если дамы и Альбертина сидели поодаль, отдельной компанией, чтобы не мешать их разговору), г-н де Шарлюс отнюдь не боялся, показывая этим, что он не избегает известных тем, рассуждать по поводу того, что «принято называть дурными нравами». Альбертина не стесняла его, потому что она всегда держалась с дамами из скромности молодой девушки, которая не желает ограничивать свободы беседы своим присутствием. И я спокойно переносил ее отсутствие, лишь бы она оставалась в том же вагоне. Ибо, не испытывая уже к ней ни ревности, ни любви, я не размышлял о том, чем она занимается в те дни, когда я не вижу с ней; зато, если мы были вместе, любая перегородка, что в крайнем случае могла бы скрыть от меня ее измену, была непереносима для меня, и когда она уходила с дамами в другое купе, я, не в силах ни минуты долее оставаться на месте и рискуя обидеть собеседника, будь то Бришо, Котар или Шарлюс, кому я не мог объяснить причины своего бегства, вставал, бросал их здесь и, стремясь убедиться, что там не происходит ничего ненормального, переходил в соседнее купе. Г-н де Шарлюс, не опасаясь шокировать, рассуждал до самого Донсьера, порой весьма откровенно, об этих нравах, заявляя, что с своей стороны он не признавал их ни дурными, ни хорошими. Он поступал так из хитрости, доказывая этим широту своих воззрений, будучи уверен, что его собственные нравы не вызывают никаких подозрений в уме «верных». Он предполагал, наверно, что были на свете люди, которые, по его выражению, впоследствии ставшему для него привычным, «не сомневались на его счет». Но он представлял себе, что это было всего три-четыре человека и что ни одного из них не было на нормандском побережье. Это была поразительная иллюзия со стороны такого чуткого, такого беспокойного человека. Даже в отношении более или менее осведомленных, по его мнению, людей, он тешил себя мыслью, что они знали об этом лишь в самых общих чертах, и рассчитывал, смотря по тому, что он им скажет, вывести любое лицо из подозрений собеседника, на самом деле соглашавшегося лишь из вежливости с его показаниями. Сомневаясь даже насчет того, что я мог знать или предполагать о нем, тем не менее он воображал, что это мнение, — гораздо более давнее по его предположениям, чем в действительности, — носит самый общий характер, и что достаточно ему отрицать ту или иную деталь, чтобы ему поверили, между тем как, наоборот, если познание всей целокупности обычно предшествует знакомству с деталями, оно бесконечно облегчает изучение последних и, уничтожив всемогущество незримого, не позволяет скрывающему свои мысли утаить то, что он пожелает. Конечно, когда г-н де Шарлюс, приглашенный на обед кем-либо из «верных» или их друзьями, выбирал самые извилистые пути, стараясь упомянуть в числе десятка названных им людей имя Мореля, — он ни капли не подозревал, что к тем различным доводам, которыми он мотивировал для себя удовольствие или удобство от совместного приглашения с Морелем на этот раз, его хозяева, для вида соглашаясь с ним, всегда подводили одну и ту же причину, по его мнению неизвестную им, — а именно его любовь к Морелю. Точно таким же образом г-жа Вердюрен как будто вполне допускала те мотивы полухудожественного, полутуманного характера, которыми г-н де Шарлюс объяснял свою склонность к Морелю, и, с чувством, не переставала благодарить барона за его трогательное доброе отношение, как она говорила, к скрипачу. Как бы это поразило г-на де Шарлюса, если бы он слышал, что в тот день, когда они оба с Морелем опоздали и не приехали по железной дороге, Хозяйка сказала: «Мы ждем только этих девиц». Барон еще более удивился бы этому, ибо, почти не выходя из Ла-Распельера, он играл там роль капеллана или аббата-наставника и иногда (когда Мореля отпускали на двое суток) ночевал там две ночи кряду. Г-жа Вердюрен отводила им тогда две смежные комнаты и, желая, чтобы они чувствовали себя свободно, говорила: «Если вам захочется заняться музыкой, не стесняйтесь, — стены здесь толще крепостных, в вашем этаже больше нет никого, а мой муж спит мертвым сном». В эти дни г-н де Шарлюс заменял княгиню, отправляясь на вокзал встречать вновь прибывающих, извинялся перед ними за г-жу Вердюрен, которая не могла приехать из-за состояния своего здоровья, описывая это так ярко, что гости входили с подобающими лицами и испускали удивленные возгласы, заставляя Хозяйку вполне бодрой и на ногах, в вечернем туалете.

Ибо г-н де Шарлюс сразу же стал для г-жи Вердюрен самым верным из верных, второй княгиней Щербатовой. В его светском положении она была гораздо менее уверена, чем в положении княгини, воображая, что если та вращается только в обществе «маленького ядра», то это происходит лишь из-за презрения к остальным и предпочтения к последнему. И так как именно это лицемерие было характерным для Вердюренов, называвших несносными людьми всех тех, кого они не могли посещать, было совершенно непостижимо, как Хозяйка могла

полагать, что княгиня обладает железным характером и презирает светский шик. Но она не сдавала своих позиций и была убеждена, что и для высокородной дамы все обстояло точно таким же образом, что, вполне искренно предпочитая интеллектуальную среду, она не бывала у несносных людей. Впрочем, число последних все уменьшалось для Вердюрен. Жизнь морского курорта лишала знакомства тех последствий для будущего, которых надлежало опасаться в Париже. Блестящие мужчины, приезжавшие в Бальбек без жен, что было значительным облегчением для Ла-Распельер, сами делали авансы и из несносных превращались в замечательных. Так случилось с принцем Германтским, которого все же отсутствие принцессы вряд ли заставило бы решиться съездить на «холостую ногу», если бы магнит дрейфусарства не оказался столь могущественным, что побудил его одним духом подняться по откосам, ведущим в Ла-Распельер, однако, к несчастью, в тот день, когда Хозяйки не оказалось дома. Г-жа Вердюрен к тому же не была уверена, что он и г-н де Шарлюс были из одного общества. Барон не раз говорил, что герцог Германтский был его брат, но это могла быть ложь авантюриста. Как бы он ни был элегантен, любезен, «верен» Вердюренам, Хозяйка все еще не решалась пригласить его вместе с принцем Германтским. Она посоветовалась со Ски и с Бришо: «Барон и принц Германтский — подходит ли это?» — «Боже мой, мадам, за одного из них я могу поручиться». — «За одного из них — это мало что говорит мне, — с раздражением продолжала г-жа Вердюрен. — Я спрашиваю вас, подходят ли они друг к другу?» — «О, мадам, это очень трудно сказать». Г-жа Вердюрен говорила это без всякого умысла. Она знала о нравах барона, но когда она выражалась таким образом, она вовсе не думала об этом и хотела лишь знать — можно ли пригласить принца вместе с г-ном де Шарлюсом, будет ли это соответствовать. Она не вкладывала ничего злонамеренного в упоминание этих ходячих выражений, облюбованных «маленьким кланом» с художественным уклоном. Желая показаться вместе с принцем Германтским, она хотела повезти его после завтрака, во вторую половину дня, на благотворительный праздник, где моряки побережья собирались инсценировать отплытие в море. Но, не имея достаточного времени на все это, она препоручила свои обязанности наиболее верному из верных, то есть барону. «Понимаете, они не должны стоять истуканами, надо, чтобы они ходили взад и вперед, чтобы была видна суета, я не знаю, как это все называется. Но вы-то, вы ведь так часто ездите на бальбекский пляж, вы бы могли с ними прорепетировать, без особого труда для себя. Вы-то лучше меня умеете, господин де Шарлюс, обращаться с морячками. Однако мы уже слишком носимся с господином де Германтом. Может быть, это дурак из Жокейского Клуба. Боже мой, я ругаю Жокейский Клуб, а мне припоминается, что вы тоже принадлежите к нему. Барон, однако, вы не отвечаете мне, принадлежите ли вы к нему. Смотрите, вот книга, которую я только что получила, я думаю, что она заинтересует вас. Это Ружон. Заглавие красивое: «Среди мужчин».

Что касается меня, я был особенно доволен тем, что г-н де Шарлюс часто замещал княгиню Щербатову, ибо я был с ней сильно не в ладах по причине в одно и то же время незначительной и серьезной. Однажды, когда я ехал в маленьком поезде, окружая, как обычно, своим вниманием княгиню Щербатову, я увидел г-жу де Вильпаризи, входившую в вагон. Как оказалось, она приехала погостить на несколько недель к принцессе Люксембургской, но я, скованный каждодневной потребностью встречаться с Альбертиной, не отвечал на неоднократные приглашения маркизы и ее хозяйки царственного рода. Я почувствовал угрызение совести, увидев приятельницу моей бабушки, и, из чувства чистого долга (не отходя от княгини Щербатовой), довольно долго беседовал с ней. Я нисколько, впрочем, не дагодовался, что г-жа де Вильпаризи, прекрасно зная, кто была моя соседка, не желала признать ее. На следующей станции г-жа де Вильпаризи вышла из вагона, и я даже упрекнул себя в том, что не помог ей сойти; я вернулся на свое место возле княгини. Но можно сказать, — нередкий случай полного переворота у людей с неустойчивым положением, опасаящихся злословия на свой счет, презрительного отношения, — что прямо на глазах совершилась разительная перемена. Погрузившись в книжку «Revue des Deux Mondes», княгиня Щербатова едва отвечала на мои расспросы и в конце концов объявила, что от меня у нее разболелась голова. Я не понимал, в чем я провинился. Когда я прощался с княгиней, привычная улыбка не оживила ее лица, ее подбородок опустился в сухом поклоне, она даже не протянула мне руки и с тех пор никогда не говорила со мной. Но, должно быть, она говорила, — я только не знаю, что она могла сказать, — с Вердюренами; ибо едва лишь я спрашивал у них, не могу ли я оказать какую-либо любезность княгине Щербатовой, как они хором восклицали: «Нет, нет! Ни в коем случае! Она не выносит любезностей!» Они делали это не с целью поссорить меня с нею, но ей удалось внушить им, что она была равнодушна к светским любезностям, что ее душа оставалась недостижимой для мирской суеты. Надо было видеть политического деятеля, прославившего самым цельным характером, самым непримиримым и недоступным с тех пор, как он достиг власти, — надо было видеть его, когда он впал в немилость, как он робко вымаливал с сияющей улыбкой влюбленного высокомерный кивок какого-нибудь журналиста; надо было видеть гордую осанку Котара (которого его новые пациенты считали прямолинейным, как стальная полоса) и знать, какие любовные неудачи и крахи снобизма создали наружное высокомерие и всеми признанный антиснобизм княгини Щербатовой, чтобы постичь тот закон человечества, естественно допускающий отступления, что стойкие люди — это малодушные, которые были отвергнуты, и что только сильные люди, нимало не заботясь, принимают их или отвергают, обладают единственно той кротостью, которую обыватель почитает за слабость.

Впрочем, я не могу осуждать княгиню Щербатову. Ее случай слишком распространен. Однажды, на похоронах одного из Германтов, знаменитость, стоявшая рядом со мной, указала мне на стройного господина с красивым лицом. «Из всех Германтов, — сказал мне мой сосед, — вот этот — самый непонятный, самый странный. Это брат герцога». Я опрометчиво ответил ему, что он ошибается, что этот господин, не состоящий ни в каком родстве с Германтами, носит фамилию Журнье-Сарловез. Знаменитость повернулась ко мне спиной и с тех пор перестала кланяться мне.

Крупный музыкант, член Института, высокое должностное лицо и знакомый Ски, проезжал через Арамбувиль, где жила его племянница, и посетил одну из сред Вердюрен. Г-н де Шарлюс был исключительно любезен с ним (по просьбе Мореля) и особенно из расчета, что по возвращении в Париж академик допустит его на различные закрытые собрания, репетиции и т. п., где выступает скрипач. Польщенный академик, очаровательный к тому же человек, обещал и сдержал свое обещание. Барон был чрезвычайно тронут всеми любезностями, оказанными ему этим лицом (которое, впрочем, что касалось его, любило исключительно и глубоко только женщин), всеми возможностями, доставленными ему через него, чтобы видеть Мореля в официальных местах, куда не имеют доступа профаны, всеми возможностями, предоставленными знаменитым артистом молодому виртуозу для выступлений, для завоевания известности, причем он рекомендовал его предпочтительно перед другими, не менее талантливыми, для концертов, долженствующих затем получить широкую огласку. И г-н де Шарлюс не подозревал, что он тем более был обязан мэтру, что последний, вдвойне заслуживая это, или, если хотите, вдвойне виноватый, был вполне в курсе отношений скрипача и его знатного покровителя. Он шел им навстречу, разумеется нисколько не сочувствуя этому, раз он не признавал иной любви, кроме любви к женщине, вдохновлявшей всю его музыку, — по своей моральной безучастности, из профессионального попустительства и услужливости, светской любезности, снобизма. Что же касается сомнений насчет характера их отношений, у него их было так мало, что за первым же обедом в Ла-Распельер он спросил у Ски, сказав о г-не де Шарлюсе и о Мореле, как будто речь шла о каком-нибудь мужчине и его любовнице: «Они давно живут вместе?» Но, будучи достаточно светским человеком, чтобы не обнаружить этого перед заинтересованными лицами, готовый, в случае, если бы среди приятелей Мореля возникли

сплетни, подавить их и успокоить Мореля, по-отечески сказав ему: «Теперь это говорят обо всех», — он не переставал осыпать барона знаками внимания, которые последний находил очаровательными, но вполне естественными, не представляя себе возможность подобной порочности или добродетельности у знаменитого артиста. Ибо ни у кого не хватало подлости передавать г-ну де Шарлюсу сказанное на его счет в его отсутствие или «словечки», отпущенные насчет Мореля. И вот, эта простейшая ситуация может показать, как это обстоятельство, повсеместно осуждаемое, которое вряд ли найдет где-либо себе защитника, — самая «сплетня», касается ли она нас самих и потому особенно неприятна нам, вскрывает ли она что-либо доселе неизвестное о третьем лице, — имеет свое психологическое значение. Она мешает нашему уму застыть над не соответствующим действительности изображением, подменяющим самое существо и составляющим лишь его видимость. Она переворачивает его с магическим проворством философа-идеалиста и быстро открывает дотоле неизвестный нам край подоплеки. Разве мог представить себе г-н де Шарлюс следующие слова, произнесенные одной из его любящих родственниц: «Как ты можешь предполагать, что Меме влюблен в меня, ты забываешь, что я женщина!» А ведь у нее была настоящая, глубокая привязанность к г-ну де Шарлюсу. Зачем же удивляться после этого по поводу Вердюренов, на расположение и доброе отношение которых у него не было никаких оснований рассчитывать; толки, которые они вели в его отсутствие (и это были, как будет видно потом, не одни толки), были так неизмеримо далеки от того, что он воображал себе, то есть от слабых отголосков, доносившихся до него в его присутствии. Только последние украшали нежными надписями призрачный павильон, куда г-н де Шарлюс порой устремлялся помечтать наедине, сближая на миг свое воображение с тем представлением, которое должны были составить себе о нем Вердюрены. Там царил такая теплая, такая сердечная атмосфера, отдых был таким живительным, что, когда г-н де Шарлюс, прежде чем заснуть, входил туда на миг, чтобы отрешиться от забот, он всегда возвращался оттуда с улыбкой. Но ведь для каждого из нас такой павильон двойной: напротив того, что мы полагаем единственным, стоит другой, обычно незримый для нас, настоящий, расположенный симметрично тому, который мы знаем, но совершенно отличный от него, — и его орнаментика, где мы не отыщем ничего схожего с тем, что ожидаем увидеть, приведет нас в ужас, представляя собой одни безобразные знаки неведомой нам доселе враждебности. Каково было бы оцепенение г-на де Шарлюса, если бы он проник в этот противоположный павильон путем какой-нибудь сплетни, как по черному ходу лестниц, где входные двери исчерканы углем в непристойных граффити, оставленных недовольными поставщиками или уволенной прислугой. Но совершенно так же, как нам не хватает того чувства ориентировки, которым обладают некоторые птицы, мы лишены чувства видимости, как мы лишены и чувства пространства, воображая вплотную от себя заинтересованное внимание людей, наоборот, никогда не думающих о нас, и не подозревая, что в это же самое время мы составляем единственную заботу для других. Так жил г-н де Шарлюс, обманываясь как рыба, представляющая себе, что вода, где она плавает, простирается далеко за пределы стеклянных стенок аквариума, отражающих ее, и не замечая рядом с собой, в темноте, прохожего, забавляющегося ее резвыми движениями, или всемогущего рыбовода, который в неожиданный и роковой миг, на время отсроченный для барона (для которого этим рыбоводом в Париже явится г-жа Вердюрен), безжалостно вытащит его из той среды, где ему было привольно жить, и перебросит его в другое место. Впрочем, целые народы, поскольку они составляют лишь собрание индивидуумов, могут явить собой еще более крупные примеры этой глубокой, упорной и озадачивающей слепоты, тождественные между собой в любой области. Если до сих пор эта слепота являлась причиной того, что г-н де Шарлюс занимался перед маленьким кланом излишне смелыми или бесполезно хитрыми рассуждениями, заставлявшими их посмеиваться исподтишка, то все же в Бальбеке она не имела и не должна была иметь для него тяжелых последствий. Небольшие количества белка, сахара, легкая сердечная аритмия не мешают нормальному течению жизни у того, кто даже и не замечает этого, и только один врач видит в этом предзнаменование катастрофы. Пока же склонность — платоническая или нет — г-на де Шарлюса к Морелю толкала барона лишь на то, что в отсутствии Мореля он охотно распростиранлся насчет его красоты, полагая, что это воспринимается с полной простотой, и действуя таким способом, как ловкий человек, который не побоится в своих показаниях перед судом удариться в невыгодные для себя подробности, уже по одному этому признаку более натуральные и менее пошлые, чем полные условностей свидетельства театрального обвиняемого. С одинаковой свободой, постоянно на том же перегоне от западного Донсьера до Сен-Мартен-дю-Шен — или, наоборот, на обратном пути — г-н де Шарлюс охотно рассуждал о людях, по слухам обладавших такими странными нравами, и даже добавлял: «Впрочем, я говорю «странные», сам не зная почему, потому что в этом нет ничего странного», стараясь доказать себе самому, как привольно чувствовал он себя перед своей аудиторией. И на самом деле так и было при условии, что инициатива действия находилась в его руках и он знал, что публика сидит безмолвная, улыбающаяся, обезоруженная доверчивостью или хорошим воспитанием.

Когда г-н де Шарлюс не выражал своего восхищения перед красотой Мореля, словно оно не было вызвано его склонностью, называемой пороком, — он рассуждал об этом пороке, как если бы сам нисколько не был причастен к нему. Порой он не боялся даже назвать его своим именем. Когда, посмотрев на роскошный переплет его Бальзака, я задал ему вопрос, что он предпочитал в «Человеческой комедии», он ответил мне, мысленно устремляясь все к той же навязчивой идее: «И то, и другое, и маленькие миниатюры, как «Кюре из Тура» и «Покинутая женщина», и громадные фрески, как серия «Утраченных иллюзий». Как! Вы не читали «Утраченные иллюзии»? Это изумительно прекрасно. В тот момент, когда Карлос Эррера проезжает мимо замка в экипаже и спрашивает, как он называется, оказывается, что это Растиньяк, поместье молодого человека, которого он когда-то любил. И аббат впадает при этом в задумчивость, что Сван называл, и это не было лишено остроумия, «Печалью Олимпио» в педерастии. А смерть Люсьена! Я уже не помню, что это из людей, отличающихся большим вкусом, ответил так на вопрос о том, какое событие огорчило его сильнее всего в жизни: «Смерть Люсьена де Рюампре в «Великолепии и нищете». — «Я знаю, что Бальзак в такой же моде в этом году, как пессимизм был в прошлом, — вмешался Бришо. — Но, рискуя омрачить души, страдающие манией бальзаковщины, ничуть не претендуя, боже меня избави, на роль полицейского охранителя в литературе или на составление протоколов по поводу грамматических ошибок, я должен сознаться, что многословный импровизатор, ошеломляющие измышления которого вы, на мой взгляд, так исключительно расхваливаете, всегда казался мне лишь недостаточно аккуратным писакой. Я читал эти «Утраченные иллюзии», о которых вы нам говорите, барон, терзая себя, чтобы пробудить в себе пылкие чувства посвященных, и я признаюсь со всей душевной простотой, что эти романы — фельетоны, изложенные с пафосом, в виде галиматши в двойном и тройном размере («Счастливая Эсфирь», «Куда приводят опасные пути», «Во что обходится любовь старикам»), всегда производили на меня впечатление тайн Рокамболя, превознесенных необъяснимой благосклонностью читателей до шаткого положения шедевра». — «Вы говорите так потому, что вы мало знаете жизнь», — сказал барон, вдвойне раздосадованный, чувствуя, что Бришо не поймет ни его художественных, ни прочих оснований. — «Я прекрасно понимаю, — ответил Бришо, — что, выражаясь языком мэтра Франсуа Рабле, вы хотите сказать, что я застыл в форме Сорбонной, сорбоничной и сорбонобразной. Однако, так же как и мои товарищи, я люблю, чтобы книга оставляла впечатление чего-то искреннего и близкого к жизни, я не из числа тех ученых мужей...» — «Четверть часа, посвященные Рабле...» — прервал его доктор Котар, однако теперь с видом тонкой самоуверенности, а не сомнения. — «...которые дают литературный обет, следуя принципам аббатства О-Буа, в послушании у господина виконта де Шатобриана, великого мастера разжевывать, согласно строгому правилу гуманистов. Господин

виконт де Шатобриан...» — «Шатобриан с яблоками?» — прервал доктор Котар. — «Он возглавляет братство», — продолжал Бришо, не подхватив шутки доктора, который зато взглянул с беспокойством на г-на де Шарлюса, перепуганный фразой профессора. Бришо показался бестактным Котару, каламбур которого вызвал тонкую улыбку на губах княгини Щербатовой. «Бичующая ирония настоящего скептика еще не утратила своих прав у профессора», — сказала она из любезности, показывая этим, что острота доктора не прошла незамеченной для нее. — «Мудрец — поневоле скептик, — ответил доктор. — Что я знаю? ?????? ???????, говорил Сократ. Это сущая истина, во всех областях излишество является пороком. Но я багровою, когда подумаю, что это оказалось достаточным, чтобы имя Сократа дожило до наших дней. Что в этой философии по существу? — Пустяки. Подумать, что Шарко и другие оставили труды в тысячу раз замечательнее, которые, по крайней мере, на что-то опираются, как, например, ослабление зрачкового рефлекса как симптом общего паралича, и они почти забыты. По существу, Сократ — это ничего особенного. Это люди, которым было нечего делать, которые проводили целые дни, прогуливаясь и разглагольствуя. Это вроде Иисуса Христа: «Любите друг друга» — что очень красиво». — «Друг мой!» — взмолилась г-жа Котар. — «Конечно, жена протестует, все они страдают неврозом». — «Но, милый мой доктор, я вовсе не страдаю неврозом», — возмутилась г-жа Котар. — «Как у нее нет невроза, — когда сын заболевает, она проявляет все признаки бессонницы. Но в конце концов я признаю, что Сократ и прочие необходимы для высшей культуры, чтобы у нас были показные таланты. Я всегда цитирую ?????? ??????? моим ученикам на первом курсе. Отец Бушар, узнав об этом, поздравил меня». — «Я не принадлежу к сторонникам самодовлеющей формы, и я не стремлюсь накапливать в стихах миллионные рифмы, — продолжал Бришо. — Но все-таки «Человеческая комедия» — очень мало человеческая — слишком уж противоречит произведениям, где форма скрывает содержание, как говорит циник Овидий. И да будет дозволено мне предпочесть остановиться на полпути, у дороги, что ведет к церковному приходу в Медоне или в Фернейский приют, отстоящий на равном расстоянии как от Волчьей долины, где Рене великолепно исполнял обязанности понтификата без всякого смирения, так и от Жарди, где Оноре де Бальзак, у которого стояли над душой понятия, марал не отрываясь бумагу для своей польки, как ревностный апостол тарабарщины».

— Шатобриан все еще живет, что бы вы ни говорили, а Бальзак все-таки великий писатель, — ответил г-н де Шарлюс, слишком еще пропитанный художественными воззрениями Свана, чтобы не почувствовать раздражения от Бришо, — и Бальзак познал даже те страсти, которые для всех остальных остаются неведомыми и изучаются обыкновенно с целью заклеить их. Не говоря опять о бессмертных «Утраченных иллюзиях», — «Сарацинка», «Золотоглазая девушка», «Страсть в пустыне», даже довольно загадочная «Желтокожая любовница» — все подтверждают мое мнение. Когда я беседовал об этих «противоестественных» чертах Бальзака со Сваном, он говорил мне: «Вы того же мнения, что и Тэн». Я не имею чести быть знакомым с господином Тэном, — добавил г-н де Шарлюс, следуя несносной привычке ненужного употребления слова «господин», свойственной светским людям, полагающим, вероятно, что, наделяя этим «господином» великого писателя, они оказывают ему честь, а может быть соблюдают дистанции и показывают, что они не знакомы с ним. — Я не был знаком с господином Тэном, но был очень польщен оказаться того же мнения, что и он. — Впрочем, несмотря на эти нелепые светские привычки, г-н де Шарлюс отличался большим умом, и вполне вероятно, что если бы какой-нибудь давнишний брак установил родственные связи между его родом и семейством Бальзака, то он почувствовал бы (впрочем, не менее Бальзака) удовлетворение, которым он все-таки продолжал бы кичиться как знаком своего исключительного снисхождения.

Порой на станции, следующей после Сен-Мартен-дю-Шен, в поезд садились молодые люди. Г-н де Шарлюс не мог удержаться и не посмотреть на них, но так как при этом он сокращал и скрывал обращенное на них внимание, то казалось, что в этом таится нечто более странное, чем то, что было на самом деле: можно было подумать, что он знаком с ними и невольно обнаруживал это, идя на эту жертву, прежде чем снова повернуться к нам, как это проделывают дети, которым, из-за того, что их родные перессорились, не позволяют здороваться с товарищами, но которые, встречаясь с ними, не могут удержаться и не поднять головы, прежде чем на нее обрушится линейка надзирателя.

При греческом слове, что упомянул г-н де Шарлюс, рассуждая о Бальзаке, ссылаясь на «Печаль Олимпио» в «Великолепии и нищете», Ски, Бришо и Котар переглянулись с улыбкой, не столь иронической, сколько проникнутой тем удовлетворением, которое могло бы возникнуть у гостей за обедом, если бы им удалось заставить Дрейфуса рассказать о его собственном процессе или императрице о ее царствовании. Они рассчитывали на продолжение этой темы, но мы уже подъезжали к Донсьеру, где к нам присоединялся Морель. При нем г-н де Шарлюс тщательно следил за своим разговором, и когда Ски хотел вернуть его к любви Карлоса Эррера к Люсьену де Рюампре, барон принял сердитый многозначительный вид, а под конец (заметив, что его не слушают) даже суровый и полный осуждения, подобно отцу, когда говорят непристойности в присутствии его дочери. При выраженном Ски упорстве продлить этот разговор, г-н де Шарлюс сказал, вытаращив глаза, возвысив голос, многозначительным тоном, указывая на Альбертину, однако вряд ли слышавшую нас, занятую беседой с г-жой Котар и княгиней Щербатовой, тем тоном двойственного значения, которым желают проучить невоспитанных людей: «Я думаю, что пора перейти к тому, что могло бы интересовать молодую девушку». Я очень хорошо понял, что для него молодой девушкой была не Альбертина, а Морель; впрочем, впоследствии он подтвердил мне справедливость моего толкования, когда воспользовался следующими выражениями, обращаясь с просьбой не вести подобных разговоров при Мореле. «Вы знаете, — сказал он мне, заговорив о скрипаче, — он совсем не то, что вы думаете; это порядочный юноша, до сих пор благонравный и очень степенный». И в этих словах чувствовалось, что г-н де Шарлюс считал половую извращенность такой же грозной опасностью для молодых людей, как проституцию для женщин, и когда он применил к Морелю эпитет «степенный», то это было в том же смысле, как в приложении к какой-нибудь простой девушке. Тогда Бришо, меняя тему, спросил меня, долго ли я еще рассчитываю пробыть в Энкарвиле. Много раз я указывал ему, что я живу не в Энкарвиле, а в Бальбеке, он снова впадал в свою ошибку, так как под названием Энкарвиль или Бальбек-Энкарвиль он обозначал приморскую область. Часто люди говорят с нами об одних и тех же вещах, называя их другим именем. Одна дама из Сен-Жерменского предместья постоянно спрашивала меня, желая узнать о герцогине Германтской, давно ли я видел Зинаиду или Зинаиду-Ориану, что в первый момент заставляло меня недоумевать. Вероятно, было время, когда г-жу де Германт называли во избежание недоразумений Орианой-Зинаидой, так как у нее была родственница по имени Ориана. Может быть, раньше и вокзал был только в Энкарвиле, и отсюда на лошадях ездили в Бальбек. «О чем это вы говорили?» — сказала Альбертина, удивившись этому торжественному тону главы семейства, только что узурпированному г-ном де Шарлюсом. — «О Бальзаке, — поспешил ответить барон, — у вас как раз сегодня туалет принцессы де Кадиньян, не тот первый, что был у нее на обеде, а следующий». Это совпадение жидилось на том, что, выходящая наряды для Альбертины, я старался проникнуться вкусом, образовавшимся у нее под влиянием Эльстира, высоко ценившего строгость, которую можно было бы назвать британской, если бы к ней не примешивалась известная мягкая французская тональность. Чаще всего он предпочитал платья, являвшие глазу гармоническое сочетание серых тонов, как у Дианы де Кадиньян. Только один г-н де Шарлюс умел по-настоящему оценить подлинную красоту туалетов Альбертины; тотчас открывалось его взорам то, что было в них ценного, редкостного; он никогда бы не перепутал названий материй и всегда узнавал портного. Только он

подчитал — для женщин — немного больше ярких цветов и красочности, чем допускал Эльстир. Потому-то в этот вечер она бросила на меня не то улыбающийся, не то беспокойный взгляд и опустила свой розовый кошачий носик. Казалось, будто Альбертина была в сером, в жакете из серого шевиота, наглухо застегнутом поверх юбки из серого креп-де-шина. Сделав мне знак помочь ей снять и снова надеть жакет, потому что ее сборчатые рукава необходимо было не то расправить, не то взбить, она совсем сняла его, и так как эти рукава были из клетчатой светлой ткани, розовой, бледно-голубой, зеленоватой, сизой, то на мгновение показалось, будто в небе блеснула радуга. И она заколебалась — одобрит ли это г-н де Шарлюс. «Однако, — с восхищением воскликнул последний, — да это словно луч, словно цветная призма. Поздравляю вас». — «Эта честь принадлежит мосье», — мило ответила Альбертина, указывая на меня, ибо она любила демонстрировать мои подарки. — «Только женщины, не умеющие одеваться, боятся ярких цветов, — продолжал г-н де Шарлюс. — Можно носить яркое — и не быть вульгарной, и носить светлое — и не быть приторной. Впрочем, у вас нет тех оснований, которые были у госпожи де Кадиньян, чтобы казаться разочарованной в жизни, ибо ведь это и была идея, которую она внушала д'Артезу своим серым туалетом». Альбертина, заинтересованная красноречивым языком одежды, начала расспрашивать г-на де Шарлюса по поводу «Принцессы де Кадиньян». «О, это восхитительная новелла, — сказал барон мечтательным тоном. — Я знаю этот маленький садик, где Диана де Кадиньян гуляла с господином д'Эпаром. Он принадлежит одной из моих кузин». — «Все, что относится к саду его кузин, — проворчал Бришо Котару, — может, так же как и его генеалогия, иметь значение для нашего милейшего барона. Но какой это представляет интерес для нас, не пользующихся привилегией гулять в этом саду, не знакомых с этой дамой и не имеющих титулов?» Ибо Бришо не подозревал, что можно было заинтересоваться платьем или садом как художественным произведением, и что, как у Бальзака, г-н де Шарлюс вновь увидел перед собой крошечные аллеи г-жи де Кадиньян. Барон продолжал: «Вы должны знать ее, — сказал он мне, говоря об этой кузине и обращаясь ко мне лично, с намерением польстить мне, как к кому-то стоящему в стороне от маленького клана и принадлежащему к кругу г-на де Шарлюса или, по крайней мере, бывающему в этом кругу. — Во всяком случае вы должны были видеть ее у госпожи де Вильпаризи». — «У маркизы де Вильпаризи, которой принадлежит замок в Бокрё?» — насторожившись, спросил Бришо. — «Да, вы знакомы с ней?» — сухо спросил г-н де Шарлюс. — «Ничуть, — ответил Бришо, — но наш коллега Норпуа проводит ежегодно часть своего летнего отпуска в Бокрё. Мне случалось ему писать туда». Я сказал Морелю, думая заинтересовать его, что г-н де Норпуа был другом моего отца. Но ни одним мускулом своего лица он не показал, что расслышал меня, ибо считал моих родителей незначительными людьми, неизмеримо далеко отстоявшими от моего деда, у которого его отец был камердинером и который, в противоположность всему остальному семейству, хотя и любил «устраивать переполох», но оставил яркое воспоминание у своих слуг. «Говорят, что госпожа де Вильпаризи — исключительная женщина, однако у меня никогда не было возможности судить самому об этом, так же как и у моих коллег. Ибо Норпуа, невзирая на всю свою светскую любезность и внимательность в Институте, не представил маркизе ни одного из нас. Я знаю, что она принимала только нашего друга Тюрю-Данжена, у которого были с ней давние родственные связи, и затем Гастона Буассье, с которым она пожелала познакомиться по поводу его работы, вызвавшей у нее особый интерес. Он обедал у нее один раз и вернулся оттуда очарованный ею. Хотя госпожа Буассье все же не была приглашена туда». При этих именах Морель нежно улыбнулся. «Ах, Тюрю-Данжен, — сказал он мне с таким же напускным интересом, как только что перед тем у него было напускное равнодушие при упоминании о маркизе де Норпуа и о моем отце. — Тюрю-Данжен и ваш дядюшка были такими друзьями. Когда какая-нибудь дама желала получить место в центре на торжественное заседание при вступлении в Академию, ваш дядя говорил: «Я напишу Тюрю-Данжену». И, разумеется, место было тотчас же предоставлено, ведь вы прекрасно понимаете, что господин Тюрю-Данжен не рисковал бы отказать в чем-либо вашему дядюшке, который мог отомстить ему при случае. Мне забавно также слышать имя Буассье, потому что у него ваш дед делал все покупки для дам в день нового года. Мне известно это, потому что я знаю и лицо, которому это поручалось». Еще бы он не знал его, ведь это был его отец. Многие из этих чувствительных упоминаний Мореля о моем покойном дяде относились к тому, что мы не рассчитывали постоянно жить в доме Германтов, куда мы переселились из-за моей бабушки. Порой мы говорили о возможном переезде. Дабы понять советы, что мне давал по этому поводу Шарль Морель, надо знать, что раньше мой дед жил на бульваре Малерб в № 40-бис. Результатом этого явилось, что, так как мы очень часто бывали у дяди Адольфа до того рокового дня, когда я поссорил его с моими родными, рассказав им историю дамы в розовом, то говорили вместо «у вашего дяди» просто «в № 40-бис». Мамины кузины говорили ей самым естественным образом: «Ах, да! Ведь в воскресенье вы заняты, вы обедаете в № 40-бис». Если я шел навестить какую-нибудь родственницу, то мне советовали сначала зайти «в № 40-бис», чтобы дядя не счел себя обиженным, что я начинал не с него. Он был владельцем дома и был, по правде говоря, очень требовательным в выборе своих жильцов, которые все были его друзьями или становились ими. Полковник барон де Ватри ежедневно заходил к нему выкурить с ним сигару и тем самым скорее добиться ремонта. Ворота были всегда на замке. Если на каком-нибудь из окон мой дядя замечал развешенное белье или ковер, он приходил в ярость и заставлял их убрать быстрее, чем это удастся сделать блюстителям порядка. Но все-таки он продолжал сдавать часть дома, оставив себе лишь два этажа и конюшни. Невзирая на это, зная, что ему доставляет удовольствие похвала образцовому порядку дома, обычно превозносили комфорт «маленького отеля», как будто дядя являлся его единственным обитателем, и он разрешал говорить это, не противопоставляя с своей стороны должного формального опровержения. «Маленький отель», конечно, был комфортабельным (мой дядя вводил в нем все усовершенствования того времени). Но он не отличался ничем особенным. Только мой дядя, повторяя с притворной скромностью «моя маленькая берлога», был убежден, или во всяком случае сумел внушить своему камердинеру, его жене, кучеру и кухарке представление, что в Париже не существовало ничего более комфортабельного, роскошного и удобного, что можно было сравнить с маленьким отелем. Шарль Морель вырос в этом убеждении. Он и остался при нем. Даже в те дни, когда он не принимал участия в беседе со мной, если в поезде я говорил кому-нибудь другу о возможности переезда, он тотчас же начинал улыбаться мне и, подмигивая глазом, с видом взаимного понимания, говорил: «О, вам подошло бы что-нибудь в духе № 40-бис. Вот уже где вам было бы хорошо! Надо сказать, что ваш дядя понимал в этом толк. Я уверен, что во всем Париже нет ничего достойного № 40-бис».

По тому грустному виду, с которым г-н де Шарлюс говорил о «Принцессе де Кадиньян», я ясно почувствовал, что эта новелла заставляла его думать не только о маленьком садике достаточно безразличной ему кузины. Он погрузился в глубокое раздумье и, как бы повторяя про себя, воскликнул: «Тайны принцессы де Кадиньян! Какой это шедевр! Как глубоко описана, как мучительна дурная слава Дианы, которая так боится, что молва дойдет до ушей любимого человека. Какая это вечная истина, гораздо более общего значения, чем оно кажется, как далеко она простирается!» Г-н де Шарлюс произнес эти слова с печалью, однако чувствовалось, что для него она не была лишена очарования. Понятно, что г-н де Шарлюс, не представляя себе в точности, в какой мере были известны или неизвестны его нравы, сильно боялся с некоторых пор, что по возвращении в Париж его будут встречать постоянно вместе с Морелем, семья последнего воспрепятствует этому, и таким образом счастье его будет нарушено. Этот вероятный случай до сих пор представлял ему как нечто чрезвычайно неприятное и тяжелое. Но барон был артистической натурой. И сейчас, когда на мгновение он слил собственное положение с тем, что описано у Бальзака, он как бы стал искать спасения в новелле, и перед грозившим ему несчастьем или перед

опасность такого он еще утешался, отыскивая в своей собственной тревоге то, что Сван и Сен-Лу называли бы «очень бальзаковским». Это отождествление с принцессой де Кадиньян облегчалось для г-на де Шарлюса благодаря способности мысленного перенесения, сделавшейся для него мало-помалу привычной, примеры чего он являл неоднократно. Было вполне достаточно одной замены женщины, как любимого объекта, молодым человеком, чтобы вокруг него тотчас же пришел в действие весь механизм социальных осложнений, развивающихся вокруг обычной любовной связи. Когда, на основании любой причины, раз навсегда введут какое-либо изменение в календарь или расписание, или передвинут начало года на несколько недель позже, а часы переставят на четверть часа раньше, притом, что сутки все равно будут иметь двадцать четыре часа, а месяцы тридцать дней, — все, что проистекает из меры времени, останется неизменным. Все может быть изменено при этом безо всякой путаницы, поскольку соотношения чисел останутся те же. Это касается жизни тех, которые приняли «час Центральной Европы» или восточный календарь. Было похоже даже, что в этой связи определенную роль сыграло тщеславие, возникающее обычно, когда имеешь на содержании актрису. С самого же первого дня, когда г-н де Шарлюс разузнавал, кто был Морель, разумеется, он узнал и о его низком происхождении; но ведь полусветская женщина, которую мы полюбили, не теряет своего обаяния для нас из-за того, что она дочь бедных родителей. Зато известные музыканты, которым он просил написать, — вовсе не из тех корыстных побуждений, как друзья, знакомившие Свана с Одеттой и представлявшие ее гораздо более капризной и более изысканной, чем она была на самом деле, — с обычной банальностью людей с положением, расхваливающих дебютанта, писали в ответ барону: «О! Это крупный талант, большое будущее, принимая во внимание его молодость, в большом почете у знатоков, пробьет себе путь». И с пристрастием людей, не подозревающих об извращенности, кроющейся в похвалах мужской красоте, продолжали: «И он так красив, когда играет; он выглядит лучше всех на концертах; у него прекрасные волосы, изящные движения; у него очаровательное лицо, он хорош, как скрипач, сошедший с полотна». Поэтому г-н де Шарлюс, которого Морель держал в крайнем возбуждении, не оставляя его в неведении относительно всех тех предложений, объектом которых он являлся, был немало польщен тем, что он мог увозить его с собой, устроить для него уголок, куда тот часто навещался. В остальное же время он предоставлял ему свободу, необходимую тому для его карьеры, которую по желанию г-на де Шарлюса, бравшего на себя все расходы, должен был продолжать Морель, либо ради идеи, весьма свойственной Германтам, что мужчина должен заниматься каким-нибудь делом, что только личная одаренность придает значение человеку, а знатность и деньги не более, как нули, увеличивающие уже существующую ценность, либо из страха, что в праздном состоянии и всегда лишь в его обществе скрипач начнет скучать. Наконец, он не хотел лишать себя удовольствия думать при окончании некоторых больших концертов: «Тот, кому так аплодируют сейчас, будет у меня сегодня ночью». Люди общества, влюбившись тем или иным образом, ставят себе тщеславной задачей уничтожить те прежние преимущества, где их тщеславие раньше находило себе удовлетворение.

Морель, чувствуя, что я не был настроен против него и питал искреннюю привязанность к г-ну де Шарлюсу, а с другой стороны, что у меня не было никакого физического влечения ни к тому, ни к другому, начал под конец проявлять ко мне чувства живой симпатии, как кокетка, убедившаяся, что на нее не посягают и что ее любовник имеет в вашем лице искреннего друга, не помышляющего посорить их между собой. Он не только разговаривал со мной в точности, как когда-то Рахиль, любовница Сен-Лу, но кроме того, как мне передавал г-н де Шарлюс, говорил ему в моем отсутствии то же самое, что Рахиль говорила обо мне Роберу. И, наконец, сам г-н де Шарлюс точно так же говорил мне: «Он очень любит вас», как Робер: «Она так любит тебя». И как племянник от лица своей любовницы, так его дядюшка от лица Мореля часто приглашал меня обедать с ними. И между ними бывало не меньше скандалов, чем между Робером и Рахилью. Разумеется, когда Чарли (Морель) уезжал, г-н де Шарлюс не иссякал в похвалах на его счет, повторяя всегда, — и считая это особенно лестным для себя, — что скрипач очень хорошо относится к нему. Однако было вполне очевидным, что часто Чарли даже в присутствии «верных» бывал сильно раздражен, а не казался счастливым и покорным, как того желал барон. Впоследствии это раздражение доходило, из-за слабых характеристик г-на де Шарлюса, побуждавшей его прощать Морелю неприличные выходки, до степени, когда скрипач уже не старался скрывать свое настроение или даже напускал его на себя. Я видел не раз, что когда г-н де Шарлюс входил в вагон, где Чарли сидел с военными из числа его друзей, музыкант встречал его, пожимая плечами и подмигивая своим приятелям. Либо он притворялся спящим, как проделывает тот, кому это появление угрожает отчаянной скукой. Либо он принимался кашлять, а остальные смеялись, передразнивая слащавую манеру говорить, свойственную похожим на г-на де Шарлюса мужчинам; отводили в угол Чарли, кончавшего тем, что он возвращался как бы поневоле к г-ну де Шарлюсу, сердце которого пронзали эти насмешки. Непостижимо было, как он переносил их; и эти всякий раз различные мучения заново выдвигали проблему счастья перед г-ном де Шарлюсом, вынуждая его не только проявлять большую требовательность, но и желать совсем иного, основываясь на предыдущей комбинации, отягченной для него ужасным воспоминанием. Но как бы ни стали тяжелы потом эти сцены, следует признать, что вначале простонародный французский дух заставлял Мореля облекаться в форму очаровательной простоты, наружной искренности, даже независимой гордости, будто внушенной бескорыстием. Это была фальшь, однако эта манера была тем более благоприятна для Мореля, что в то время, как тот, кто любит, вынужден непрерывно возобновлять свои попытки, повышать себе цену, — тому, кто не любит, легко придерживаться одной прямой, никуда не отклоняющейся, изящной линии. Она отражалась, как естественный дар расы, на открытом лице этого Мореля с такой замкнутой душой, на этом лице, облагороженном новогреческим изяществом, украшающим соборы в Шампани. Зачастую, невзирая на свою напускную гордость, застигнутый врасплох г-ном де Шарлюсом, он испытывал неловкость перед маленьким кланом, опускал глаза, краснел, к восторгу барона, вкладывавшего в это настоящую романтику. А это было попросту выражением раздражения и стыда. Первое иногда проявлялось; ибо как бы спокойно и строго ни была выдержана обычная манера Мореля, он часто сбивался с нее. Порой какая-нибудь фраза, сказанная бароном, заставляла Мореля разразиться дерзкой репликой, в резком тоне, шокирующем всех окружающих. Г-н де Шарлюс с грустным видом поникал головой, ничего не отвечал, и подобно тому, как отец, боготворящий своих детей, полагает, что никто не замечает их холодности и черствости, он продолжал восхвалять скрипача. Г-н де Шарлюс не всегда оказывался таким кротким, но его возмущения в общем не достигали своей цели, потому что, находясь в постоянном общении со светскими людьми, в расчете на определенную реакцию, что он мог вызвать у них, он опирался прежде всего на трусость, если не врожденную, то приобретенную воспитанием. Взамен этого он встречал у Мореля плебейские попытки какого-то мгновенного безразличия.

К своему несчастью, г-н де Шарлюс не понимал, что для Мореля все ступеньвалось перед вопросами, где была замешана консерватория (и его хорошая репутация в консерватории), но это обстоятельство, немаловажное впоследствии, еще не возникло к данному моменту. Так, например, представители буржуазного класса легко меняют свою фамилию из тщеславия, а знатные дворяне — из-за привилегий. Для молодого скрипача, в противоположность им, фамилия Мореля была неразрывно связана с дипломом первой степени по скрипке, следовательно он не должен был менять ее. Г-ну де Шарлюсу хотелось, чтобы Морель был всем обязан ему, даже своей фамилией. Узнав, что Мореля звали Шарль, что походило на Шарлюс, и что имя, где они встречались, называлось Шарм, он

пытался убедить Мореля, что красивая фамилия, удобная для произношения, была уже половиной артистической славы, и потому виртуозу необходимо было без дальнейших колебаний принять фамилию Шармель, скрытый намек на место их свиданий. Морель пожал плечами. В качестве последнего аргумента г-ну де Шарлюсу пришла на ум несчастливая идея добавить, что у него был камердинер с такой же фамилией. Он вызвал только яростное возмущение молодого человека. «Было время, когда мои предки почитали за честь носить звание камердинера, метрдотеля при короле». — «Было и другое время, — гордо ответил Морель, — когда мои предки отрубали головы вашим». Г-н де Шарлюс был бы крайне поражен, невзначай предположив, что если бы он, даже за неимением «Шарме-ля», согласился на усыновление Мореля и обеспечение его одним из титулов рода Германтов, бывших в его распоряжении, хотя, как окажется в дальнейшем, обстоятельства не дали ему возможности предложить его скрипачу, последний отказался бы из-за одной мысли об артистической славе, связанной с его фамилией Мореля, и из-за тех толков, что пошли бы тогда в «классе». Настолько тот ставил улицу Бержер выше Сен-Жерменского предместья. В данный момент г-ну де Шарлюсу оставалось искать удовлетворения, заказывая для Мореля символические перстни с инкрустациями, гласящими древнюю надпись: «Plus ultra carol's!» Само собой разумеется, что г-н де Шарлюс должен был придерживаться иной тактики перед противником этого рода, неизвестного для него. Но кто бы оказался способен на это! Впрочем, если у г-на де Шарлюса были промахи, они бывали и у Мореля. Еще более, чем самое обстоятельство, приведшее их к разрыву, его, по крайней мере временно (хотя это временное сделалось потом окончательным), в глазах г-на Шарлюса губило малодушие, заставлявшее его теряться перед резкостью и отвечать дерзостью на ласку. Наряду с этим врожденным малодушием, он отличался невравственностию, соединенной с невоспитанностью, которая, вспыхивая при каждом случае, когда он был виноват или становился в тягость, была причиной того, что, когда от него требовался максимум любезности, кротости, веселого настроения, чтобы обезоружить барона, он впадал в мрачность, делался сварливым, пытался завести спор, в котором его вряд ли стали бы поддерживать, упорствовал на своей враждебной точке зрения с ничтожными доводами и с резкой грубостью, еще более усугублявшими это ничтожество. Ибо, весьма быстро истощив свои аргументы, он продолжал выдумывать их, развертывая в них во всю ширину свое невежество и свою глупость. Они едва сквозили, когда он бывал любезен и старался только угождать. Наоборот, они заслоняли все остальное при его приступах мрачности, когда они из безобидных превращались в отвратительные. Тогда г-н де Шарлюс чувствовал себя совершенно убитым, сохраняя еще некоторую надежду лишь на лучшее будущее, между тем как Морель, забывая, что барон предоставлял ему возможность роскошной жизни, позволял себе ироническую улыбку, полную снисходительной жалости, и говорил: «Я никогда ничего не принимал от кого бы то ни было. Таким образом, нет человека, которому я должен хотя бы простое спасибо».

Но пока, будто все еще имея дело со светским человеком, г-н де Шарлюс стремился воздействовать своими гневными припадками, либо подлинными, либо притворными, хотя теперь они стали бесполезными. Правда, не всегда бывало так. И однажды (вскоре за этим первоначальным периодом), когда барон возвращался с Чарли и со мной с завтрака у Вердюренов, мечтая провести конец дня и весь вечер со скрипачом в Донсьере, последний, вылезая из вагона, ответил ему на прощание: «Нет, я занят», что причинило г-ну де Шарлюсу столь глубокое разочарование, хотя он и старался не подать вида, что я увидел, как слезы смочили его накрашенные ресницы, в то время как он застыл в остолбенении перед вагоном. Эта скорбь была так сильна, что хотя мы рассчитывали, и она и я, закончить наш день в Донсьере, я сказал Альбертине на ухо, что мне хотелось бы не оставлять в одиночестве г-на де Шарлюса, который, как мне показалось, был чем-то огорчен. Милая девушка согласилась ото всего сердца. Тогда я спросил г-на де Шарлюса, не позволит ли он мне проводить его немного. Он тоже согласился, но не пожелал затруднять мою кухню. Мне показалось приятным (должно быть, напоследок, ибо я принял решение расстаться с нею), что я мог нежно приказать ей, как будто она была моей женой: «Ступай домой, я найду к тебе вечером», — и услышать, что она, как супруга, разрешает мне поступить согласно моему желанию, одобряя мое намерение предоставить себя в распоряжение г-на де Шарлюса, если он, которого она очень любила, нуждался во мне. Мы направились с бароном, он впереди, раскачивая свое грузное туловище, с опущенными по-иезуитски глазами, а я следом за ним, к кафе, где нам подали пиво. Я чувствовал, что глаза г-на де Шарлюса с беспокойством прикованы к какому-то замыслу. Вдруг он попросил бумаги и чернил и принялся писать с удивительной быстротой. Пока он исписывал страницу за страницей, его глаза искрились в гневном раздумье. Когда он исписал восемь страниц, он сказал мне: «Могу я просить вас об одной огромной услуге? Простите, что я запечатываю записку. Но так надо. Вы наймете экипаж или, если возможно, автомобиль, чтобы поторопиться. Наверно, вы еще застанете Мореля в его комнате, где он переодевается. Бедный малый, он храбрился еще, расставаясь с нами, но будьте уверены, что ему еще тяжелее, чем мне. Вы передадите ему эту записку, и если он спросит вас, где вы меня видели, вы скажете ему, что останавливались в Донсьере (что было на самом деле), чтобы повидаться с Робером (чего по-видимому не было), но что вы встретили меня с каким-то неизвестным, что у меня был сильно разгневанный вид, что до вас донеслись слова относительно отправки секундантов (я и в самом деле дерусь завтра). Главное, не говорите ему, что я вызываю его, не старайтесь привезти его, но если он захочет приехать с вами, не мешайте ему. Поезжайте, дитя мое, это для его блага, вы можете предотвратить большую драму. Пока вы едете, я напишу моим секундантам. Я помешал вашей прогулке с вашей кухней. Я надеюсь, что она не рассердится на меня, и уверен даже в этом. У нее благородное сердце, и я знаю, что она из тех, которые не спасуют перед великими событиями. Вы должны поблагодарить ее от меня. Я обязан ей лично, и мне приятно это». Я чувствовал огромную жалость к г-ну де Шарлюсу; мне казалось, что Чарли мог бы помешать этой дуэли, причиной которой, быть может, являлся он сам, и я был возмущен, если это так, что он уехал с таким равнодушием, вместо того чтобы остаться со своим покровителем. Мое негодование усилилось еще, когда, подъезжая к дому, где жил Морель, я узнал голос скрипача, который, испытывая потребность излить свое веселое настроение, пел от всего сердца: «В субботу вечером, после рр-работы». Если бы бедный г-н де Шарлюс мог слышать его, он, желавший, чтобы ему поверили, и веривший, разумеется, и сам, что в этот миг Морелю было очень тяжело! Чарли при виде меня стал приплясывать от удовольствия: «А, милейший, простите, что я вас так называю (в этой проклятой солдатской жизни приобретаешь мерзкие привычки), какая удача, что вы пришли! Я не знаю, как убить сегодняшний вечер! Умоляю вас, проведем его вместе. Можно остаться здесь, если вам угодно, можно поехать на лодке, если вам больше нравится, можно заняться музыкой, у меня нет никаких предпочтений». Я сказал ему, что я обедаю в Бальбеке; у него было сильное желание, чтобы я пригласил его, но я не захотел этого. «Но если вы так спешите, зачем же вы пришли?» — «Я принес вам записку от господина де Шарлюса». В миг испарилась вся его веселость, лицо его исказилось. «Как! Он преследует меня и здесь! Значит, я только его раб. Милый мой, будьте же так любезны. Я не распечатаю письма. Вы скажете ему, что не застали меня». — «Не лучше ли было бы распечатать его, мне сдается, что случилось что-то серьезное». — «Тысячу раз нет, вы не знаете выдумки, дьявольские хитрости этого старого плута. Это фокус, чтобы я приехал к нему. Ну и вот! Я не поеду, сегодня я хочу покоя». — «Но разве дуэль не состоится завтра?» — спросил я Мореля, который, как я предполагал, был также в курсе дела. «Дуэль? — произнес он с остолбенелым видом. — Я ни слова не знаю об этом. В конце концов мне наплевать, пусть этот отвратительный старикашка ужокошит себя, если ему угодно. Однако вы заинтриговали меня, я все-таки вскрыю письмо. Вы скажете ему, что оставили письмо наугад, на тот случай, если бы я вернулся». Пока Морель разговаривал со мной, я с изумлением рассматривал замечательные книги, подаренные ему г-ном де Шарлюсом, загромождавшие комнату. Когда скрипач

отказался от тех книг, где стояло: «Я принадлежу барону» и т. д., — девиз, показавшийся ему оскорбительным для него, как некое выражение собственности, барон, с сентиментальной изобретательностью, в которой его несчастная любовь искала для себя удовлетворения, стал выбирать другие девизы, восходившие к предкам, заказывая их переплетчику в соответствии с перипетиями меланхолической дружбы. Иногда они были краткими и доверчивыми, как «Spes mea» или «Expectata non eludet». Иногда только смиренными, как: «Я буду ждать». Некоторые из них были любовными: «Mesmes plaisirs du mestre» или проповедовали целомудрие, как девиз, заимствованный у Симианы, испещренный лазурными башнями и лилиями, но с перевернутым смыслом: «Sustendant lilia turres». Наконец, попадались девизы, полные отчаяния, назначавшие свидание в небесах тому, кто отвергал его на земле: «Manet ultima coelo»; или же, считая незрелым виноград, до которого он не мог дотянуться, и притворяясь, что он и не стремился к тому, чего не мог получить, г-н де Шарлюс говорил в одном из них: «Non mortale quod opto». Но я не успел разглядеть их полностью.

Если г-н де Шарлюс, набрасывая на листках это письмо, показался мне во власти вдохновения, заставившего летать его перо, то едва лишь Морель сломал печать: «Atavis et armis», украшенную леопардом с двумя алыми розами по бокам, как он принялся читать его с тем же лихорадочным жаром, с которым писал его г-н де Шарлюс, и его взгляды носились не менее быстро, чем перо барона, по этим страницам, исписанным вкривь и вкось. «О боже мой, — вскричал он, — только этого не доставало! Но где теперь найти его? Бог знает, где он теперь?» Я заметил вскользь, что если поторопиться, то, быть может, можно еще застать его в пивной, где он заказал себе пива, чтобы несколько прийти в себя. «Я не знаю, когда я вернусь, — сказал Морель своей прислуге, и он добавил in petto: — Все будет зависеть от того оборота, который примут обстоятельства». Через несколько минут мы подъехали к кафе. Я обратил внимание на лицо г-на де Шарлюса, когда он заметил меня. Увидя, что я приехал обратно не один, он почувствовал, как ему возвратили жизнь и дыхание, я понял это. Будучи в этот вечер в том настроении, когда он не мог обойтись без Мореля, он выдумал, будто ему донесли, что два полковых офицера злословили на его счет, упомянув о скрипаче, и намеревался послать к ним секундантов. Морель представил себе скандал, невозможность для себя дальнейшего пребывания в полку, и примчался. Он не совсем ошибся при этом. Ибо, стараясь сделать свою ложь более правдоподобной, г-н де Шарлюс уже успел написать двум своим друзьям (из которых один был Котар) с просьбой быть его секундантами. И если бы скрипач не приехал, наверно г-н де Шарлюс в своем безумии (чтобы претворить свою печаль в бешенство) послал бы их наугад к любому офицеру, стремясь к облегчению в этой дуэли. Между тем г-н де Шарлюс, вспомнив, что он принадлежал к более чистой расе, чем короли Франции, повторял себе, что не стоило себе портить столько крови из-за сына метрдотеля, хозяина которого он вряд ли удостоил бы своим посещением. И, с другой стороны, если ему и нравилось якшаться со всяким сбродом, то исконная привычка последнего не отвечать на письма, не приходиться на свидание без предупреждения, не извиняться потом — доставляла ему, сколь часто это касалось любовных историй, столько волнений, а в остальное время вызывала столько неприятностей, стеснений и ярости, что иногда он был готов жалеть о множестве незначительных писем, о строгой щепетильности послов или принцев, которые, оставаясь, к несчастью, безразличными для него, все же приносили ему этим известное успокоение. Привыкнув к манерам Мореля и зная, какая ничтожная власть над ним была у него и как трудно было ему войти в жизнь, где пошлые приятельские отношения, узаконенные привычкой, отнимали слишком много времени и места, чтобы уделить еще хоть час знатному вельможе, отстраняемому, гордому и тщетно добивающемуся, г-н де Шарлюс был настолько уверен, что музыкант не приедет, так испугался, что навеки поссорился с ним, зайдя слишком далеко, что едва мог подавить в себе восклицание, увидев его. Но, чувствуя себя победителем, он решил продиктовать условия мира и извлечь самому преимущества, возможные для него при этом. «Зачем вы явились сюда? — сказал он ему. — А вы? — добавил он, посмотрев на меня. — Я наказывал вам не приводить его с собой ни в коем случае». — «Он и не хотел брать меня с собой, — сказал Морель, с наивным кокетством обращая на г-на де Шарлюса взоры, полные условной печали и старомодной тоски, считая себя, вероятно, неотразимым и как бы выражая желание обнять барона и разразиться рыданиями. — Я пришел сам, против его желания. Я здесь во имя нашей дружбы, на коленях умоляю вас не делать этого безумия». Г-н де Шарлюс был вне себя от радости. Эта реакция была слишком сильной для его нервов; тем не менее он не потерял самообладания. «Дружба, которую вы призываете так некстати, — ответил он сухим тоном, — должна была бы, наоборот, заставить вас оказать мне поддержку в тот момент, когда я не считаю себя вправе позволить дерзкие выходки какому-то глупцу. Впрочем, если бы я даже и хотел внять мольбам привязанности, когда-то более чуткой, насколько я помню, то я уже не властен в этом, мои письма к секундантам отправлены, и я не сомневаюсь в их согласии. Вы всегда вели себя со мной как дурачок, и вместо того, чтобы возгордиться с полным правом тем предпочтением, что я вам оказывал, вместо того, чтобы втолковать всей этой своре солдат и лакеев, среди которых вас вынуждает жить военный закон, каким поводом несравнимой гордости была для вас такая дружба, как моя, вы стараетесь оправдаться передо мной, ставя себе в какую-то нелепую заслугу то, что вы недостаточно признательны ко мне. Я знаю, что в этом, — добавил он, не желая показать, как оскорбляли его некоторые сцены, — вы виноваты только тем, что подпали под влияние окружающих, завидующих вам. Но как вы можете, в вашем возрасте, быть таким ребенком (и при этом невоспитанным ребенком) и не догадаться сразу, что мой выбор, павший на вас, и все те преимущества, что вытекают из этого для вас, должны были вызвать сильную зависть, что все ваши приятели, стараясь поссорить вас со мной, орудовали, стремясь занять ваше место. Я не считал нужным оповещать вас о письмах, что я получал по этому поводу от людей, которым вы доверяли больше всего. Я так же презираю заискивания этих холопов, как и их мало действительные насмешки. Единственное лицо, о ком я заботился, были вы, потому что я очень любил вас, но и привязанность имеет свои границы, вы должны были знать это». Как ни жестоко было слово «холопы» для ушей Мореля, отец которого был лакеем, но именно потому, что отец его был лакеем, объяснение всех социальных неурядиц «завистью», объяснение чрезмерно упрощенное и нелепое, но еще действенное и продолжающее «клевать» в определенном классе общества так же безошибочно, как старые трюки среди театральной публики или угроза клерикальной опасности в Учредительном собрании, встречало в нем такое же полное доверие, как у Франсуазы или прислуги г-жи де Германт, для которой это и было единственной причиной всех человеческих несчастий. Он ни минуты не сомневался, что его товарищи пытались украсть у него место, и чувствовал себя вдвойне несчастным от предстоящей гибельной дуэли, впрочем вымышленной. «Ах! Какое несчастье! — вскричал Чарли. — Я не переживу этого. Но разве они не повидаются с вами прежде, чем отправиться к этому офицеру?» — «Не знаю, думаю, что это возможно. Одному из них я просил передать, что я останусь здесь на весь вечер, и должен дать ему необходимые инструкции». — «Я надеюсь, что один его приход заставит вас образумиться; позвольте мне только остаться с вами», — нежно просил Морель. Это было все, чего желал г-н де Шарлюс. Но он не сдавался. «Вы бы ошиблись, если вздумали применить здесь пословицу — кто сильно любит, тот сильно бьет, — ибо сильно любил я вас, но намереваюсь наказать, даже и после нашей ссоры, тех, кто подло пытались причинить вам вред. До сих пор на их недоумевающие инсинуации, когда они осмеливались спросить меня, как мог такой человек, как я, водиться с каким-то парнишкой, каким-то выходцем, я отвечал лишь девизом моих двоюродных братьев Ларошфуко: «Это моя отрада». Я много раз указывал вам, что эта отрада может превратиться в высшую радость для меня и что при этом ваше произвольное возвышение не должно было повлечь за собой моего унижения». В порыве почти безумной гордыни он воскликнул, вздевая руки: «Tantus ab uno splendor! Снизойти еще не значит спуститься», — добавил он, несколько

успокоившись после этого испуганного гордости и радости. — Я надеюсь, что оба мои противника, несмотря на то, что они различного ранга, принадлежат к той крови, что мне будет не стыдно пролить. Я уже собрал кое-какие негласные сведения, успокоившие меня. Если бы у вас еще оставалось ко мне немного признательности, то вы бы гордились, что из-за вас во мне оживает воинственный дух моих предков, и я повторяю, как они, в случае рокового исхода, теперь, когда я понял, какой вы чудак: «Смерть для меня есть жизнь». И г-н де Шарлюс говорил это вполне искренно, не только из любви к Морелю, но и оттого, что воинственность, которую он наивно предполагал в себе унаследованной от своих предков, заставляла его так сильно ликовать при мысли о предстоящем поединке, что он отказался бы с сожалением от дуэли, сперва выдуманной им, чтобы заставить приехать Мореля. У него не было поединка, чтобы он тотчас же не почувствовал себя доблестным и, как две капли воды, схожим с знаменитым конетаблем де Германт, между тем в отношении других тот же самый акт дуэли казался ему лишенным всякого значения. «Я полагаю, что это будет прекрасно, — искренно сказал он нам, гнусава при каждом слове. — Что такое видеть Сару Бернар в «Орленке» — это дрянь. Муне-Сюлли в «Эдипе» — тоже. Разве только в «Аренах Нима» у него появляется какой-то отблеск преображения. Но что все это наряду с этим неслыханным делом — видеть, как дерется подлинный потомок коннетабля». И при одной этой мысли г-н де Шарлюс, потеряв голову от восторга, начал выделять такие контрудары, напоминая Мольера, что мы опасливо придвинули к себе наши пивные кружки и начали бояться, что при первом же скреживании оружия будут ранены разом противники, врач и секунданты. «Какое это может быть соблазнительное зрелище для художника. Вы знакомы с мосье Эльстиром, — сказал он мне, — вам следовало бы пригласить его». Я ответил, что его не было на побережье. Г-н де Шарлюс заметил на это вскользь, что можно ему протелеграфировать. «О, я говорю это для него, — добавил он, заметив мое молчание. — Для мастера всегда представляет интерес, — а он является таковым на мой взгляд, — запечатлеть пример подобного этнического возрождения. Ведь это случается раз в сто лет».

Но если г-н де Шарлюс приходил в восторг при мысли о поединке, сперва казавшемся ему вымышленным, то Морель думал с ужасом о сплетнях, которые могли разнести из полкового оркестра, вызванные шумом вокруг этой дуэли, и достигнуть храма на улице Бержер. Уже представляя себе воочию, как обо всем этом узнает «класс», он увивался вокруг г-на де Шарлюса, продолжавшего жестикулировать перед упительной картиной дуэли. Он умолял барона разрешить ему остаться с ним до послезавтра, предполагаемого дня дуэли, чтобы не терять его из вида и попытаться образумить его. Такое нежное предложение одержало верх над последними колебаниями г-на де Шарлюса. Он сказал, что попробует найти какую-нибудь уловку, отложит на послезавтра окончательное решение. Таким способом, не решая дела одним махом, г-н де Шарлюс мог задержать Чарли, по крайней мере, на два дня и воспользоваться этим, чтобы добиться от него обещаний на будущее взамен на свой отказ от дуэли, — дела, которое, по его словам, само по себе приводило его в восторг и отказаться от которого ему было бы жаль. Впрочем, это было вполне искренно, ибо он всегда любил участвовать в поединках, где предстояло скрестить шпаги или обменяться пулями с противником. Наконец приехал Котар, хотя и с большим опозданием, так как, придя в полный восторг от своего секунданства и в еще большее волнение, он был вынужден останавливаться у каждой фермы или каждого кафе по дороге, с просьбой указать ему «№ 100» или «укромный уголок». Как только он явился, барон увел его с собой в отдельную комнату, ибо он считал более соответствующим регламенту, чтобы Чарли и я не присутствовали при свидании, и был мастер придать любой комнате временное значение тронного зала или зала совещаний. Оставшись наедине с Котаром, он горячо поблагодарил его, но заявил, что переданная ему сплетня вполне вероятно и не была произнесена в действительности, и ввиду этих обстоятельств он просит доктора предупредить второго секунданта, что, за исключением возможных осложнений, инцидент считается исчерпанным. При виде исчезающей опасности Котар ощутил разочарование. Был момент, когда ему захотелось выразить свое негодование, но он вспомнил, что один из его учителей, сделавший в свое время самую блестящую медицинскую карьеру, провалившись в первый раз в Академию всего лишь из-за двух голосов, решил не падать духом и подошел позвать руку избранному конкуренту. Поэтому доктор воздержался от проявления досады, вряд ли способной изменить что-либо, и, проворчав что-то, хотя и был самым трусливым человеком, относительно вещей, которые нельзя спускать, добавил, что все к лучшему, что это решение радовало его. Г-н де Шарлюс, желая выразить свою благодарность доктору точно таким же способом, как его брат, герцог, поправил бы воротник на пальто моего отца или, скорее, как герцогиня обняла бы за талию простолюдинку, подвинул свой стул вплотную к стулу доктора, несмотря на отвращение, которое внушал ему последний. И не только без всякого физического удовольствия, но превозмогая физическое отвращение, как Германт, а не как извращенный человек, прощаясь с доктором, он взял его руку и слегка погладил ее, как ласковый хозяин, похлопывающий морду своей лошади, угощая ее сахаром. Но Котар, никогда не обнаруживая перед бароном, доходили ли до него смутные дурные слухи о его нравах, и тем не менее считая его в глубине души представителем категории «анормальных» людей (ведь он говорил со своим обычным неряшеством в выражениях, и самым серьезным тоном, о камердинере г-на Вердюрена: «Разве он не любовница барона?»), людей очень мало изученных им, вообразил себе, что это поглаживание руки являлось непосредственным началом изнасилования, для осуществления чего барон заманил его в ловушку, дуэль же служила только предлогом, и увел в эту отдельную комнату, где его могли взять силой. Не смея встать со стула, куда его пригвоздил страх, он в ужасе таращил глаза, будто попал в руки дикаря и сомневался, не питается ли тот человечиною. Наконец г-н де Шарлюс выпустил его руку и, желая быть любезным до конца, сказал: «Вы не откажетесь, как принято говорить, выпить с нами то, что когда-то называли мазагран или gloria, — это напиток, встречающийся как некая археологическая редкость только в пьесах Лабиша или в кафе Донсьера. Gloria будет подходить и к месту и к обстоятельствам, — не правда ли, что вы скажете по этому поводу?» — «Я являюсь президентом антиалкогольной лиги, — ответил Котар. — Достаточно пройти мимо любому провинциальному лекаришке, чтобы стали говорить, будто я не подаю должного примера. *Os homini sublime dedit coelumque tueri*», — добавил он, без всякой видимой связи и только потому, что его запас латинских цитат был весьма беден, хотя и вполне достаточен для ошеломляющего действия на его учеников. Г-н де Шарлюс пожал плечами и привел Котара к нам, предварительно попросив его сохранить все это в тайне, что было особенно важно для него, поскольку повод сорвавшейся дуэли был чистым вымыслом. Он не должен был дойти до ушей офицера, оказавшегося произвольной причиной. Пока мы пили вчетвером, вошла г-жа Котар, которая ожидала мужа на улице у входа и которую г-н Шарлюс прекрасно видел, но и не подумал пригласить, и поздоровалась с бароном, протянув ей руку, как горничной, не вставая со стула, не то как король, принимающий почести, не то как сноб, не желающий, чтобы за его столик села малозелантная женщина, не то как эгоист, стремящийся остаться наедине со своими друзьями, опасаясь скуки. Таким образом, г-жа Котар продолжала стоя разговаривать с г-ном де Шарлюсом и своим мужем. Но, потому ли, что вежливость и надлежащий образ действий не является исключительной привилегией Германтов и может внезапно осенить и направить самые нерешительные умы, или потому, что, часто изменяя своей жене и как бы в расплату за это, Котар порою испытывал потребность стать на ее защиту перед теми, кто не выказывал ей должной почтительности, — доктор вдруг нахмурил брови, чего я никогда не видел у него, и, не спросив у г-на де Шарлюса, приказал ей: «Однако, Леонтина, что же ты стоишь? Сядь!» — «А я не помешаю вам?» — робко спросила г-жа Котар г-на де Шарлюса, который ничего не ответил, удивившись тону доктора. И еще раз, не давая ему опомниться, Котар повторил властным тоном: «Я сказал тебе — сядь».

Еще через несколько минут все разошлось, и тогда г-н де Шарлюс сказал Морелю: «Из всей этой истории, закончившейся лучше, чем вы заслуживали, я заключаю, что вы не умеете себя вести, и по окончании вашей военной службы я отвезу вас лично к вашему отцу, как поступил архангел Рафаил, посланный Богом к юному Товию». И барон улыбнулся с величественным видом, испытывая радость, отнюдь не разделяемую Морелем, вряд ли довольным перспективой такого водворения домой. В полном восторге от сравнения себя с архангелом, а Мореля — с сыном Товия, г-н де Шарлюс забыл, что его фраза имела целью выяснить, согласится ли Морель уехать с ним в Париж, как он мечтал. Опьяненный любовью или самолюбием, барон не заметил, или притворился, что не заметил, гримасы скрипача при этом и, покидая его в кафе, сказал мне с горделивой улыбкой: «Заметили ли вы, в какой бурный восторг пришел он, когда я сравнил его с сыном Товия? Ибо он очень умен и тотчас же понял, что отец, возле которого ему надлежит жить, не его родной отец, вероятно отвратительный усатый камердинер, а его духовный отец, то есть я. Как он гордится этим! Как он надменно закинул назад свою голову! Какая радость охватила его, когда он понял это! Я уверен, что он ежедневно будет твердить: «Господи, ты даровал благословенного архангела Рафаила ангелом-хранителем твоему рабу Товию на его долгом пути, ниспосли и нам, твоим рабам, пребывать под его покровительством и пользоваться его помощью». Мне не нужно было объяснять ему, — добавил барон, глубоко убежденный, что наступит день, когда он предстанет перед Господним престолом, — что это я — небесный посланник, он понял это сам и онемел от счастья». И г-н де Шарлюс, которого, наоборот, счастье не лишило дара слова, не обращая никакого внимания на редких прохожих, оборачивавшихся на него и думавших, что они видят перед собой сумасшедшего, оставшись один, воскликнул изо всех сил, вздевая руки: «Аллилуйя!»

Это примирение лишь ненадолго положило конец мучениям г-на де Шарлюса. Морель, уехавший на маневры настолько далеко, что г-н де Шарлюс не мог навещать его или сообщаться с ним через меня, часто писал барону отчаянные и нежные письма, где он уверял, что ему оставалось только покончить с собой, ибо ему необходимо было получить ради одной ужасной вещи двадцать пять тысяч франков. Он не упоминал, что это за ужасная вещь, а если бы и упомянул о ней, ему пришлось бы выдумать ее. Но дело было не в деньгах, г-н де Шарлюс охотно выслал бы их, если бы не чувствовал, что это давало Чарли полную возможность обойтись без него и оказать свое благоволение кому-то другому. Поэтому он отказывал, и его телеграммы были сухи и резки, наподобие его голоса. Когда он не сомневался в их действии, то желал навеки рассориться с Морелем, ибо, оставаясь при убеждении, что осуществится как раз обратное, он вполне отдавал себе отчет в тех неприятностях, какие могли возникнуть снова при этой неизбежной связи. Но если Морель не отвечал вовсе, он переставал спать, терял всякое спокойствие; столь многочисленны явления, которые мы переживаем, не зная их, так же как и глубоко заложенные реальности внутреннего мира, остающиеся скрытыми от нас. При этом он строил всевозможные предположения насчет ужасной вещи, потребовавшей от Мореля двадцати пяти тысяч франков, придавал ей всевозможные формы; поочередно наделял ее разными собственными именами. Я думаю, что в эти минуты г-н де Шарлюс (хотя в этот период у него ослабевал снобизм, и его почти превосходил или оказывался равным ему непрерывно возраставший интерес барона к народу) должен был вспоминать с некоторой тоской изящные пестрые вихри светских празднеств, где самые очаровательные женщины и мужчины искали его общества исключительно ради того бескорыстного удовольствия, что он доставлял им, где никому бы в голову не пришло «подстроить ему штуку», придумать «ужасную вещь», из-за которой оставалось только покончить с собой ввиду невозможности получить немедленно двадцать пять тысяч франков. И я думаю, особенно потому, что он оставался более подлинным уроженцем Комбре, чем я, и привил себе феодальную гордость к немецкому высокомерию, он должен был понять тогда, что нельзя безнаказанно для себя пытаться овладеть душой лакея, что простой народ совсем не то, что светское общество, и что в общем он ничуть не «питает того доверия» к народу, какое всегда было у меня.

Следующая остановка маленького поезда, Менвиль, как раз напоминает мне случай, имеющий отношение к Морелю и г-ну де Шарлюсу. Прежде чем рассказать его, я должен сказать, что остановка в Менвиле (когда отвозили в Бальбек приезжего светского гостя, который, не желая никого стеснять, предпочитал не останавливаться в Ла-Распельере) была поводом для менее тяжелых сцен, чем та, что я опишу немного погодя. Приезжий, забирая с собой в вагон свои ручные вещи, обычно находил, что Гранд-отель расположен слишком далеко, но так как до Бальбека попадались лишь небольшие пляжи с малокомфортабельными дачами, он уже мирился с этим длинным переездом, сохраняя свою склонность к роскоши и удобствам, когда вдруг, при остановке поезда в Менвиле, перед ним неожиданно выросла «Палас», о котором он и не предполагал, что это мог быть дом терпимости. «Ну, не стоит и ехать дальше, — неизбежно говорил он г-же Котар, женщине, прославившейся своим практическим умом и полезными советами. — Вот как раз то, что мне подходит. Зачем еще ехать в Бальбек, где вряд ли будет лучше. По одному наружному виду я уже сужу о полном комфорте внутри; вполне удобно будет пригласить сюда госпожу Вердюрен, — ведь я рассчитываю, в обмен на ее любезность, устроить в ее честь несколько вечеринок. Ей будет ближе сюда, чем если я поселюсь в Бальбеке. Мне кажется, что это достаточно прилично и для нее и для вашей жены, дорогой профессор. Там, вероятно, должны быть салоны, куда можно будет пригласить этих дам. Между нами говоря, я не понимаю, почему госпожа Вердюрен не поселилась здесь, вместо того чтобы арендовать Ла-Распельер. Здесь гораздо здоровее, чем в таких старых домах, как Ла-Распельер, непременно сырых, запущенных, к тому же у них нет горячей воды; нельзя помыться как следует. Менвиль представляется мне гораздо более приятным местом. Госпожа Вердюрен могла бы великолепно играть здесь свою роль хозяйки. Во всяком случае у каждого свой вкус, и что касается меня, то я остановлюсь здесь. Госпожа Котар, не сообразовали ли вы выйти здесь со мной, не теряя времени, так как поезд сейчас тронется дальше. Покажите мне этот дом, который вскоре станет вашим и где, вероятно, вы уже часто бывали. Это обстановка, как будто созданная для вас». С величайшими усилиями удавалось заставить его замолчать, а главное — не дать вылезти несчастному приезжему, который, с упорством, обычно сопровождающим промахи, продолжал настаивать, хватал чемоданы и не хотел ничего слушать до тех пор, пока его не уверяли, что никогда не приедут к нему сюда ни г-жа Вердюрен, ни г-жа Котар. «Во всяком случае я хочу здесь поселиться. Госпожа Вердюрен может написать мне сюда».

Воспоминание, касающееся Мореля, относится к случаю иного, более своеобразного порядка. Бывали и другие случаи, но я хочу ограничиться здесь, по мере того как поезд узкоколейной железной дороги останавливается, а кондуктор выкрикивает Донсьер, Гратваст, Менвиль и т. п., лишь записью того, что вызывает в моей памяти маленький пляж или местный гарнизон. Я уже упоминал о Менвиле (*media villa*) и о его значении, возраставшем благодаря этому роскошному публичному дому, недавно выстроенному здесь, несмотря на бесполезные протесты со стороны матерей семейств. Но, прежде чем сказать, почему Менвиль связан в моих воспоминаниях с Морелем и г-ном де Шарлюсом, я должен отметить несоответствие (впоследствии необходимо будет развить это подробнее) между тем значением, которое Морель придавал возможности располагать собой в известные часы, и теми ничтожными занятиями, которым он якобы предавался в это время; то же самое несоответствие снова всплывало в объяснениях другого порядка, что он давал г-ну де Шарлюсу. Разыгрывая перед бароном бескорыстие (делая это без всякого риска для себя вследствие щедрости

своего покровителя), когда ему угодно было провести вечер на стороне, якобы давая урок и т. п., он, однако, никогда не забывал добавлять к этому предлогу следующие слова, произнося их с жадной улыбкой: «Кроме того, я заработаю сорок франков. Это кое-что. Разрешите мне уйти, вы видите, что это в моих выгодах. Ну, конечно, ведь у меня нет ренты, как у вас, я должен добиваться положения, наступает время заколачивать деньги». Морель был не совсем неискренен в своем желании давать уроки. С одной стороны, неверно положение, что все деньги одинаково блестят. Новый способ заработка придает особый блеск стертым от употребления монетам. Когда он действительно отправлялся на урок, вполне допустимо, что те два лудора, которые при прощании протягивала ему ученица, производили на него иное впечатление, чем два лудора, перепадавшие ему от г-на де Шарлюса. А потом ведь самый богатый человек готов отмахать за двумя лудорами километры, которые превращаются в настоящие лье, если это оказывается сын камердинера. Но нередко у г-на де Шарлюса возникали сомнения насчет существования этих уроков скрипки, — сомнения, тем более сильные, что иногда музыкант выдумывал предлоги иного порядка, вполне бескорыстные с материальной точки зрения и к тому же вовсе нелепые. Морель не мог удержаться и не представить картины своей жизни, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, настолько скрытой во мраке неизвестности, что в ней можно было с трудом различить отдельные моменты. В течение целого месяца он предоставлял себя в распоряжение г-на де Шарлюса, лишь при условии сохранять полную свободу по вечерам, ибо он желал систематически слушать курс алгебры. Приезжать после этого к г-ну де Шарлюсу? Совершенно невозможно, иногда лекции затягиваются очень поздно. «Даже после двух часов ночи?» — спрашивал барон. — «Бывает». — «Но алгебру можно изучать по книгам». — «Даже легче, потому что я мало что понимаю на лекциях». — «Но как же тогда? Ведь алгебра тебе не нужна?» — «Зато мне нравится это. Она разгоняет мою тоску». — «Не может быть, чтобы из-за алгебры ему надо было отлучаться на ночь, — говорил себе г-н де Шарлюс. — Может быть, он связан с полицией?» Во всяком случае Морель, что бы там ни говорили, порой оставлял в своем распоряжении поздние часы, якобы ради алгебры или ради скрипки. И однажды это произошло ни ради того, ни ради другого, а ради принца Германтского, который, приехав на побережье на несколько дней погостить у герцогини Люксембургской, встретил музыканта, не зная, кто он, не будучи известен ему с своей стороны, и предложил ему пятьдесят франков за то, чтобы провести совместно одну ночь в доме терпимости в Менвиле; двойное удовольствие для Мореля — сорвать барыш с г-на де Германта и понежиться среди женщин, без стеснения обнаживших смуглые груди. Я не знаю, каким образом г-ну де Шарлюсу удалось догадаться как о происшедшем, так и о месте, но только не о соблазнителе. Обезумев от ревности и стремясь узнать, кто это был, он телеграфировал Жюльену, который приехал через два дня, и когда, в начале следующей недели, Морель объявил, что ему надо отлучиться, барон попросил Жюльена подговорить хозяйку заведения и устроить так, чтобы их спрятали там вместе с Жюльеном, дабы присутствовать при этой сцене. «Будет сделано. Я займусь этим, моя мордашка», — ответил Жюльен барону. Трудно представить себе, до какой степени эта тревога взбудоражила и тем самым обогатила духовный облик г-на де Шарлюса. Любовь является иногда причиной настоящих возмущений геологического порядка в области мышления. В уме г-на де Шарлюса, еще несколько дней тому назад похожем на столь однообразную равнину, что он не различал на ней ни одной мысли так далеко, как простирался взгляд, внезапно вырос твердый, как гранит, горный массив, однако состоявший из одних скульптурных изображений, будто ваятель, не сходя с места, высекал их здесь из мрамора и в них судорожно оживали в гигантских и титанических группах Ярость, Ревность, Любопытство, Зависть, Ненависть, Страдание, Гордость, Ужас и Любовь. Но вот настал вечер, когда Морель должен был отлучиться. Миссия Жюльена удалась. Он с бароном должны были прийти к одиннадцати часам вечера, и их обещали спрятать. За три улицы до этого роскошного дома терпимости (куда съезжались со всех модных окрестных курортов) г-н де Шарлюс начал идти на цыпочках, менять свой голос, умоляя Жюльена говорить тише, из страха, чтобы их не услышал из дома Морель. Прокравшись в вестибюль, г-н де Шарлюс, не привыкший к местам подобного рода, к своему ужасу и изумлению оказался в более шумной среде, чем на бирже или на аукционе. Тщетно убеждал он говорить потише горничных, столпившихся вокруг него, впрочем их голоса заглушались выкриками и громкими возгласами «помощницы хозяйки» в подозрительно черном парике, с важностью нотариуса или испанского священника на морщинистом лице, ежеминутно отдававшей громовые приказания закрыть или открыть двери, подобно тому, как управляют уличным движением экипажей. «Проводите мосье в двадцать восьмой, в испанскую комнату». — «Сейчас нельзя пройти». — «Откройте дверь, эти господа просят мадмуазель Ноэми. Она примет их в персидском салоне». Г-н де Шарлюс был перепуган как провинциал, пересекающий бульвары; а если взять сравнение, бесконечно менее кощунственное, чем изображения на капителях у входа в старинную церковь Корлевиля, голоса горничных неустанно и негромко повторяли распоряжения помощницы хозяйки, как ученики нараспев твердят тексты катехизиса в гулкой тишине деревенской церкви. Несмотря на испуг, г-н де Шарлюс, который на улице дрожал от страха, что его услышит Морель, подстерегавший их у окна, по его глубокому убеждению, несколько успокоился здесь, среди гула этих бесконечных лестниц, откуда вряд ли что-либо доносилось в комнаты. Наконец, в завершение своих мучений, он добился м-ль Ноэми, которая обещала спрятать их с Жюльеном, а для начала заперла их в весьма роскошном персидском салоне, откуда он ничего не мог наблюдать. Она сказала ему, что Морель хотел выпить оранжада, и как только ему подадут, обоих путешественников проведут в салон с прозрачными стенками. А пока, так как ее уже ждали, она пообещала им, как в сказке, что с ними займется одна «умная дамочка», которую она им пришлет. Потому что ее уже вызвали. Маленькая дамочка была в персидском халате, который она порывалась снять. Г-н де Шарлюс попросил ее не беспокоиться, и она распорядилась подать наверх шампанского, ценой в сорок франков за бутылку. В действительности же Морель в это время был уже с принцем Германтским, для проформы он сделал вид, что ошибся комнатой, и вошел туда, где были две женщины, поспешившие оставить наедине обоих мужчин. Г-н де Шарлюс не подозревал всего этого; однако отчаянно ругался, хотел раскрыть настежь все двери, снова послал за м-ль Ноэми, и та, услышав, что умная дамочка рассказывает г-ну де Шарлюсу подробности о Мореле, не совпадавшие с теми, что она сама успела сообщить Жюльену, справадила ее и вскоре прислала взамен умной дамочки «очень милую дамочку», которая не могла показать им ничего больше, но зато расписала, какой это солидный дом, и тоже заказала шампанского. Барон с пеной у рта потребовал вновь м-ль Ноэми, которая сказала им: «Да, это все затягивается, дамы позируют, а он будто ничего не собирается делать». Наконец, перед обещаниями и угрозами барона, м-ль Ноэми удалась с рассерженным видом, уверяя, что им остается ждать всего пять минут. Эти пять минут длились целый час, после чего Ноэми неслышными шагами подвела г-на де Шарлюса вне себя от бешенства, а Жюльена охваченного отчаянием, к полурастворенной двери, сказав им: «Здесь вам будет очень хорошо видно. Впрочем, сейчас это не слишком интересно, он с тремя дамами, рассказывает им о своей полковой жизни». Наконец-то барон смог разглядеть кое-что через отверстие двери и в зеркалах. И в смертельном ужасе он вынужден был прислониться к стене. В действительности, прямо перед ним сидел Морель, но, словно существовали еще языческие чары и таинства, это скорее была тень Мореля, мумия Мореля, не воскресший подобно Лазарю Морель, а какое-то подобие Мореля, призрак Мореля, Морель-привидение или Морель, вызванный, наподобие духа, в эту комнату (где повсюду на стенах и на диванах повторялись эмблемы колдовства), — таков был Морель в нескольких метрах от него, в профиль к нему. Морель был лишен, как после смерти, всякой окраски; среди этих женщин, с которыми он должен был веселиться, он застыл в какой-то неестественной неподвижности, бледный как полотно; он медленно протягивал бессильную руку, чтобы выпить бокал шампанского, стоявшего перед ним, и она падала назад. Создавалось впечатление той двусмысленности, когда религия говорит о бессмертии, а подразумевает при этом нечто, не исключающее

понятия небытия. Женщины наперебой задавали ему вопросы. «Видите, — процептала Мэри барону, — они разговаривают с ним о его полковой жизни, это забавно, не правда ли, — она засмеялась, — вы довольны? Он вполне спокоен», — добавила она, как бы подразумеваемая покойника. Вопросы женщин становились все настойчивее, но безжизненный Морель не имел силы отвечать им. Никак не могло совершиться чудо возвращения дара речи. У г-на де Шарлюса не было больше сомнений, он понял всю правду, что оплошность ли это Жюльена при его переговорах, неудержимая ли сила распространения доверенных тайн, которая неминуемо приводит к их разглашению, болтливый ли характер этих женщин или страх перед полицией, но Мореля успели предупредить, что два господина заплатили очень дорого, чтобы увидеть его; а тем временем успели вывести оттуда принца Германтского, превратившегося в трех женщин, и посадить несчастного Мореля, дрожащего, почти в столбняке, таким образом, что если г-н де Шарлюс плохо различал его, то, не смея взяться за стакан из страха уронить его, безгласный, скованный ужасом, он сидел прямо против барона.

Эта история кончилась немногим лучше и для принца Германтского. Когда его вывели, дабы его не увидел г-н де Шарлюс, то, придя в ярость от своей неудачи, нимало не подозревая, кто был ее причиной, он умолял Мореля, все еще не желая назвать себя, назначить ему свидание на следующую ночь в той крошечной вилле, которую он снял и где, несмотря на свое кратковременное пребывание, следуя той же привычке маниака, что мы уже видели раньше у г-жи де Вильпаризи, расставил всюду различные безделушки, связанные с семейными воспоминаниями, чтобы уютнее чувствовать себя. И вот, на следующий день, Морель, ежесекундно оборачиваясь, дрожа от страха, что г-н де Шарлюс подсматривает за ним и подстерегает его, вошел в виллу, не обнаружив ни одного подозрительного прохожего. Лакей провел его наверх в салон, сказав, что он пойдет доложить мосье (его хозяин запретил ему упоминать имя принца, опасаясь натолкнуть на подозрения). Но когда Морель остался один и собирался проверить в зеркале, хорошо ли лежала его прядь, ему вдруг показалось, что он галлюцинирует. Стоявшие на камине, хорошо знакомые скрипачу фотографии принцессы Германтской, г-жи де Вильпаризи, герцогини Люксембургской, не раз виденные им у г-на де Шарлюса, парализовали его ужасом. И в этот же миг, немного поодаль, он разглядел фотографию г-на де Шарлюса. Барон пристально смотрел на Мореля неподвижным и странным взглядом. Обезумев от страха, очнувшись от первоначального столбняка, ни минуты не сомневаясь, что все это ловушка, куда г-н де Шарлюс заманил его, испытывая его верность, Морель скатился на четвереньках по небольшой лестнице виллы, бросился бежать со всех ног по дороге, и когда принц Германтский (заставив прождать своего случайного знакомого положенное время и при этом неоднократно спрашивая себя, достаточно ли все это осторожно и не опасен ли этот субъект) вошел в салон, он уже никого не застал. Напрасно они вместе с лакеем, опасаясь налета, с револьвером в руке, осмотрели весь небольшой дом, все закоулки сада, погреб, — гость, в присутствии которого он был уверен, исчез. В продолжение следующей недели он неоднократно встречал его. Но каждый раз это был Морель, опасный субъект, который удирал, как будто принц был для него еще опаснее. Упорствуя в своих подозрениях, Морель никогда не мог рассеять их окончательно, и даже в Париже один вид принца Германтского повергал его в бегство. Вот как был спасен г-н де Шарлюс от измены, приводившей его в отчаяние, и как он был отмщен, никогда не предполагая этого, а главное, не зная, каким образом.

Но вот воспоминания, рассказанные мне по этому поводу, уступают место другим, ибо поезд, двигаясь вперед как «ползун», продолжает выгружать и забирать других пассажиров на следующих станциях.

Г-н Пьер де Вержю, граф де Креси (которого величали только графом де Креси), обедневший дворянин, человек редких достоинств, входил в Гратвасте, где жила его сестра, у которой он проводил иногда вторую половину дня; я познакомился с ним у Камбремеров, впрочем с ними он был мало дружен. Я чувствовал, как он, вынужденный вести крайне скромный, почти нищенский образ жизни, с таким удовольствием принимал сигару или рюмку, что у меня вошло в привычку, по тем дням, когда я не мог видеться с Альбертиной, приглашать его в Бальбек. Весьма остроумный, с изысканной речью, совсем седой, с очаровательными голубыми глазами, он распространялся, будто с некоторым принуждением, крайне деликатно, об удобствах роскошной жизни, очевидно когда-то хорошо изведанной им, а также о генеалогиях. Когда я спросил его, что выгравировано на его перстне, он ответил мне со скромной улыбкой: «Это ветка дикого винограда». И добавил со смакованием знатока вин: «Наш герб — ветка дикого винограда — с символическим значением, поскольку я ношу фамилию Вержюс.[10] — со стеблем и с листьями из яшмы». Однако мне сдается, что для него было бы острым разочарованием, если бы в Бальбеке я вздумал угощать его только кислым виноградным вином. Он любил самые дорогие вина, вероятно вследствие постоянных лишений, отчужденного представления о том, чего он лишен, из-за своих вкусов и, быть может, преувеличенной склонности к вину. Поэтому, когда я приглашал его обедать в Бальбек, он выбирал меню с тонким знанием дела, но ел пожалуй чрезмерно много, а главное пил, приказывая внести в комнату те вина, которые требовали этого, и заморозить на льду другие, если им это подобало. Перед обедом и после него он указывал дату или номер портвейна или коньяка точно так же, как он сделал бы для установления достоинства маркизета, мало кому известного, но в чем он был не менее хорошо осведомлен.

Так как я был любимым клиентом Эме, он был восхищен, когда я устраивал эти изысканные обеды, и кричал официантам: «Скорее, накрывайте двадцать пятый стол», и у него выходило при этом не «накрывайте», а «накройте мне», будто это предназначалось лично для него. А так как манера выражаться метрдотеля не вполне совпадает с манерой старших официантов, официантов, посыльных и т. д., то в момент, когда я просил подать счет, он говорил подававшему нам официанту, не переставая ласково помахать рукой, будто желая успокоить лошадь, готовую закусить удила: «Не надо подходить слишком грубо (с суммой), надо поосторожнее, помягче». Затем, когда официант отправлялся, вооружившись этой запиской, Эмме, опасаясь, что его советы будут исполнены со слишком большой точностью, окликал его: «Подождите-ка, я сам подсчитаю». А на мое заявление, что это меня ничуть не стесняет, он говорил мне: «В моих принципах, выражаясь по-обыкательски, не надувать клиентов». Что же касается управляющего, то из-за скромного костюма моего гостя, почти всегда одного и того же и даже достаточно поношенного (хотя никто более него не мог бы показать свое умение роскошно одеваться, подобно щеголям Бальзака, если бы у него хватало средств), он ограничивался тем, что, имея в виду меня, лишь издали наблюдал, все ли в порядке, и приказывал взглядом подложить клинышек под ножку стола, если тот слегка покачивался. Вовсе не потому, что он не сумел бы взяться за это дело, как другие, хотя он и скрывал, что начал карьеру судомойщиком. Лишь исключительные обстоятельства могли заставить его однажды самолично разрезать индейку. Я не был дома, но, как я узнал потом, он производил это с величием жреца, окруженный, на почтительном расстоянии от стойки, кольцом официантов, чаявших не научиться, а оказаться у него на виду, и стоявших вокруг с блаженным видом восхищения. Хоть они и рассчитывали быть замеченными управляющим (который медленным жестом вонзал нож в бока своих жертв и не отрывал от них взора, столь проникнутого этим священнодействием, словно ему предстояло прочесть в них какое-либо предзнаменование), но им не удалось это. Жрец не заметил даже моего отсутствия. Когда он узнал об этом, он пришел в отчаяние. «Как, вы не видели, как я сам разрезал индейку?» Я ответил ему, что, поскольку я до сих пор еще не был в Риме, Венеции, Съене, Прадо, Дрезденском музее, Индии, не видел Сару в «Федре», то я должен был научиться смирению, и готов прибавить его разрезывание индейки к моему списку. Сравнение с драматическим искусством (Сара в «Федре») было единственным,

которое он как будто понял, ибо он слышал от меня, что в дни торжественных спектаклей Коклен-старший всегда соглашался на роли дебютанта, на роль безмолвного или почти безмолвного статиста. «Все равно, я очень огорчен за вас, придется ли мне еще разрезать самолично. Для этого нужно ждать событий, хотя бы войны». (Действительно, для этого пришлось ждать перемирия.) С этого дня изменился весь календарь, счет велся следующим образом: «Это было на другой день после того, как я самолично разрезал индейку». — «Это как раз через неделю после того, как управляющий самолично разрезал индейку». Таким образом, это анатомическое вскрытие послужило, подобно рождению Христа или Геджре, отправной точкой для календаря, отличного от всех других, но не получившего их распространения и не сравнявшегося с ними в своей длительности.

Огорчение всей жизни г-на де Креси заключалось в том, что он не мог больше иметь лошадей и вкусного стола и должен был бывать лишь у людей, которые могли думать, что Камбремеры и Германты — одно и то же. Когда он увидел, что мне известно, что Легранден, заставлявший теперь величать себя Легран де Мезеглиз, не имел на это ни малейшего права, он, возбужденный к тому же и выпитым вином, пришел в какой-то исступленный восторг. Его сестра говорила мне со сведущим видом: «Мой брат так счастлив, когда ему удается беседовать с вами». Он почувствовал действительно, что он живет с тех пор, как ему удалось найти человека, понимавшего ничтожество Камбремеров и величие Германтов, — человека, для которого существовал мир социальных отношений. Так, после сожжения всех библиотек на земном шаре и возвеличения абсолютно невежественной расы, старый латинист вновь ощутил бы под ногами почву и доверие к жизни, услышав, как перед ним цитируют стих Горация. Поэтому, когда он выходил из вагона, говоря при этом: «А когда же состоится наша скромная встреча?» — то это проистекало как вследствие его жадности паразита, смакования эрудита, так и вследствие того, что в то же время он рассматривал трапезы в Бальбеке как повод к беседе на близкие ему темы, о чем он не мог говорить ни с кем другим, и эти пиршества уподоблялись тем обедам, за которыми собирается по определенным числам за исключительно обильным столом в Союзном клубе Общество библиофилов. Очень скромный, едва лишь затрагивали его собственную фамилию, — г-н де Креси утаил от меня, что род его очень обширен и является подлинной ветвью английского рода, носящего титул де Креси, обосновавшейся во Франции. Узнав, что он настоящий Креси, я рассказал ему, что племянница г-жи де Германт вышла замуж за американца по имени Шарль Креси, и тут же заметил ему, что полагаю, что он не мог иметь к нему никакого отношения. «Никакого, — ответил он. — Не более, — хотя, впрочем, мой род не столь знаменит, — чем бесчисленные американцы по фамилии Монгомери, Берри, Шодо или Капель, не имеющие ни малейшего отношения к роду Пемброка, Букингема, д'Эссекса или герцога Беррийского». Мне иногда хотелось потешить его рассказом о знакомстве с г-жой Сван, которая когда-то была известна, как кокотка, под именем Одетты де Креси; и хотя герцог Алансонский ничуть не был оскорблен, когда с ним заводили разговор об Эмилиенне д'Алансон, я еще не чувствовал себя достаточно близким с г-ном де Креси, чтобы довести шутку до этих пределов. «Он принадлежит к очень крупному роду, — однажды сказал мне г-н де Монсieurван. — Его родовое имя Сейлор». И он добавил, что на его старом замке над Энкарвилем, ныне пришедшем в полный упадок, ибо г-н де Креси, будучи сам из богатейшего рода, пришел теперь к полному разорению и не мог восстановить его, все еще можно было разобрать старинный родовой девиз. Я нашел этот девиз прекрасным, будь то в применении к нетерпеливой хищнической расе, свившей себе там гнездо и некогда вылетавшей оттуда за добычей, или к нынешнему дню, к созерцанию ее упадка, к ожиданию грядущей смерти в этих пределах гордого и дикого уединения. В этом двойном смысле и перекликается имя Сейлор с девизом, гласящим: «Мне неведом час».

В Эрменонвиле иногда входил г-н де Шевреньи, фамилия которого, как сказал нам Бришо, обозначала, так же как фамилия монсieurа де Кабриер, место, куда собираются козы. Он приходился родственником Камбремерам, и на основании этого, допуская ложную оценку подлинно-аристократического, они часто приглашали его в Фетерн, но лишь в те дни, когда они не ждали у себя особенно блестящего общества. Проживая круглый год в Босолейль, г-н де Шевреньи был большим провинциалом, нежели они. Как только он приезжал на несколько недель в Париж, он старался не потерять ни одного дня, чтобы все «посмотреть»; это достигало такой степени, что порой, одурманенный множеством насмешек проглоченных спектаклей, он не в состоянии был ответить, видел ли он ту или другую пьесу. Но эта путаница случалась редко, ибо он знал все парижское с теми деталями, которые обычно свойственны людям, редко наезжающим туда. Он указывал мне на те «новости», которые следовало посмотреть («Это стоит того»), расценивая их лишь с точки зрения хорошо проведенного вечера и достаточно невежественный в эстетическом отношении, чтобы подозревать, что порой они, действительно, могли оказаться «новостью» в истории искусства. Вот таким образом, смешивая все в одном плане, он говорил нам: «Мы были раз в Комической опере, но спектакль не блестящий. Он называется «Пелеас и Мелисанда». Это неинтересно. Перье хорош, как всегда, но лучше смотреть его в чем-нибудь другом. Зато в театре Жимназ дают «Владелицу замка». Мы были там два раза; непременно пойдите туда, это стоит посмотреть; и потом играют восхитительно; тут и Фреваль, Мари Манье, Барон-сын», — и он перечислял мне имена актеров, абсолютно неизвестные мне, не предположив при этом «господин», «госпожа» или «мадмуазель», как сделал бы герцог Германтский, который говорил одним и тем же церемонно-пренебрежительным тоном о «песенках мадмуазель Иветты Жильбер» и об «опытах господина Шарко». У г-на де Шевреньи было другое обыкновение: он говорил — Корналь и Дегели, как сказал бы — Вольтер и Монтескье. Ибо у него в отношении к актерам, как, впрочем, ко всему парижскому, желание казаться пренебрежительным в качестве аристократа было подавлено стремлением провинциала показать всю привычность этого для него.

После первого же обеда в Ла-Распельер, где я присутствовал вместе с так называемой в Фетерне «молодой четой», хотя ни г-н, ни г-жа де Камбремер далеко не отличались первой молодостью, старая маркиза написала мне одно из тех писем, почерк которого узнаешь из тысячи других. Она писала мне: «Привезите с собой вашу кухню восхитительную — очаровательную — милую. Это будет великолепно — приятно», с такой непреложностью подменяя обычное нарастание, ожидаемое тем, кто получал это письмо, что в конце концов я изменил свое мнение относительно этих *diminuendo*, считая их преднамеренными и находя в них тот же испорченный вкус, — переделанный на светский лад, — заставлявший Сент-Бёва нарушать каждое словосочетание, исказить каждое мало-мальски привычное выражение. Два направления, восходящие, по всей вероятности, к двум различным мастерам слога, сталкивались в этом эпистолярном стиле, причем второе из них побуждало г-жу де Камбремер искупать банальность своих многочисленных эпитетов, располагая их по нисходящей гамме, избегая концовки полного соответствия. Зато я был склонен видеть в этих градациях обратного порядка не изысканность вкуса, как в случае, когда они принадлежали перу вдовствующей маркизы, а неумелую попытку, каждый раз, когда они употреблялись ее сыном маркизом или ее кухнями. У них в роду до самой отдаленной ступени, вследствие поклонения и подражания тете Зелии, правило трех эпитетов оставалось в большой мере, так же как и определенная восторженная манера останавливаться и набирать дыхание в шеренге фразы. Подражание, вошедшее, впрочем, в плоть и кровь; и когда в этом семействе маленькая девочка с раннего возраста запинаясь в разговоре, проглатывая слюну, то говорили: «Это у нее от тети Зелии»; было ясно, что впоследствии ее губки должны будут опуститься усиками, и тогда давали себе обещание непременно содействовать развитию ее будущих музыкальных способностей. Отношения Камбремеров с г-жой Вердюрен вскоре не замедлили стать менее хорошими, чем со мной, на основании различных причин. Они собирались пригласить ее. «Молодая» маркиза говорила мне с пренебрежением: «Я не вижу, почему бы нам не пригласить эту

женщину, на даче можно видеть кем угодно, это не может иметь последствий для дальнейшего». Но, по существу, довольно заинтересованные ею, они не переставали советоваться со мной, каким образом им осуществить свое стремление проявить необходимую вежливость. Я подумал, что так как к обеду они пригласили нас, Альбертину и меня, с друзьями Сен-Лу, местными аристократами, владельцами Гурвильского замка, представлявшими собой нечто более крупное, чем нормандские Поскребыши, до которых г-жа Вердюрен, сохраняя безучастный вид, была, однако, большая охотница, то я посоветовал Камбремерам пригласить с ними и Хозяйку. Но владельцы замка в Фетерне, то ли из страха (они были очень робки) не угодить своим аристократическим знакомым, то ли опасаясь (они были очень наивны), что г-н и г-жа Вердюрен соскучатся с людьми, не принадлежавшими к интеллектуальной среде, то ли еще не решаясь (настолько они были проникнуты духом рутины, который не был оплодотворен опытом) смешать разные жанры, поступить «неподобающе», заявили, что это плохо вяжется вместе, не «попадает в цель», и лучше приберечь г-жу Вердюрен (которую можно пригласить со всей ее маленькой группой) до другого обеда. А для ближайшего — великосветского, с друзьями Сен-Лу — они пригласили из маленького ядра только Мореля, косвенно желая осведомить г-на де Шарлюса, какое блестящее общество они принимают, и считая, что присутствие музыканта будет известным развлечением для гостей, ибо они собирались попросить его принести скрипку. К нему присовокупили Котара, поскольку г-н де Камбремер назвал его душой общества и заявил, что он «очень хорошо выглядит» на обеде, кроме того, может оказаться очень удобным иметь хорошие отношения с доктором — на случай, если кто заболевает. Но его пригласили одного, не желая «связываться с женщиной». Г-жа Вердюрен была оскорблена, узнав, что ее обошли, а двое из числа маленькой группы были приглашены на обед в Фетерне, «в тесном кругу». Она продиктовала доктору, первым движением которого было принять приглашение, надменный ответ, гласивший: «Мы обедаем сегодня у госпожи Вердюрен», — с множественным числом, должествующим проучить Камбремеров и показать им, что Котар был неотделим от своей супруги. Что же касается Мореля, то, непосредственно избрав для себя линию невежливого поведения, он тем самым избавил г-жу Вердюрен от необходимости ее предначертания, и вот как это случилось. Если в вопросе личных удовольствий он придерживался в отношении г-на де Шарлюса известной независимости, огорчавшей барона, то мы видели, что влияние последнего сказывалось гораздо сильнее в других областях, так например он расширил его музыкальные понятия и придал большую строгость его виртуозному стилю. Но в этом пункте нашего рассказа это еще не более, чем влияние. Зато существовала область, в которой Морель слепо принимал на веру и тотчас исполнял, что бы ни сказал г-н де Шарлюс. Слепо и крайне опрометчиво, ибо наставления г-на де Шарлюса не только были неверны, но даже, если они были хоть сколько-нибудь приемлемы для знатного дворянина, то, когда Морель следовал им в буквальном смысле, они становились просто смехотворны. Область, где Морель становился таким доверчивым и покорным своему наставнику, была не что иное, как великосветское общество. До знакомства с г-ном де Шарлюсом скрипач не имел ни малейшего понятия о светском обществе и принял в буквальном смысле высокомерный и суммарный набросок, начертанный для него бароном. «Существует ограниченное число старинных родовых фамилий, — сказал ему г-н де Шарлюс, — прежде всего Германты, насчитывающие до четырнадцати браков с королевским домом Франции, что является особенно лестным для королевского дома, ибо Альдонсу де Германт, а не Людовику Толстому, его единокровному младшему брату, должен был по праву отойти французский престол. Во времена Людовика XIV мы облеклись в траур по старшему брату короля, поскольку его мать была и нашей бабушкой; гораздо ниже Германтов можно указать род Ла-Тремуй, потомков королей Неаполитанских и графов де Пуатье; д'Юзесы, — не очень древний род, но из них были самые первые пары, Люины — недавний род, но с блестящими брачными партиями; Шуазели, Аркуры, Ларошфуко. Прибавьте еще Ноайлей, минуя графа Тулузского, Монтескую, Каstellанов, и, если память мне не изменяет, это и все. Что же касается всех этих господчиков, носящих фамилию маркиза де Камбремера или Чорт-тебя-подери, нет никакой разницы между ними и последним солдатом вашего полка. Будете ли вы удовлетворять свои неотложные нужды у графини Кака или у баронессы Пипи — это одно и то же, вы только скомпрометируете себя и ошибетесь, приняв замаранную тряпку за клозетную бумагу. Это нечистоплотно». Морель благоговейно выслушал этот урок истории, быть может слишком уж схематичный; теперь он мог судить об этих явлениях, как настоящий Германт, и жаждал случая встретиться с мнимыми Ла Тур д'Овернь, стремясь дать им понять в пренебрежительном пожатии руки, что он далеко не принимает их всерьез. А в отношении Камбремеров наступил момент, когда он мог наконец показать им, что они ведь не более как «последний солдат его полка». Он не ответил на их приглашение и лишь в назначенный день извинился телеграммой, за час до обеда, в восторге, что он поступает как чистокровный принц. Надо, впрочем, добавить, что трудно вообразить, насколько в общем г-н де Шарлюс мог быть несносным, мелочным и даже просто глупым, со всем его остроумием, во всех тех случаях, когда были затронуты дурные стороны его характера. Действительно, можно сказать, что они являлись как бы неизлечимой болезнью его духа. Кто не замечал того факта, как на женщинах, так и на мужчинах, выдающихся своим умом, но страдающих излишней нервозностью, что если они счастливы, спокойны и удовлетворены окружающей их обстановкой, то приводят в восхищение своими редкостными качествами, и поистине их устами глаголет мудрость. И вот какая-нибудь мигрень, небольшой укол в самолюбие могут все изменить. Этот светлый ум, сделавшись внезапно резким, судорожным и ограниченным, реагирует только раздраженной, подозрительной и кокетливой речью, будто намеренно стараясь произвести самое отталкивающее впечатление. Камбремеры очень сильно рассердились, и за этот промежуток времени другие инциденты вызвали определенную натянутость в их отношениях с маленьким кланом. Как-то мы возвращались вместе, — оба Котара, Шарлюс, Бришо, Морель и я, с обеда в Ла-Распельер, а Камбремеры, которые были приглашены к завтраку своими друзьями в Арамбувиле, оказались нашими попугайчиками, когда мы ехали на обед. «Вот вы такой любитель Бальзака и умеете распознать его героев в современном обществе, — сказал я г-ну де Шарлюсу, — не находите ли вы, что эти Камбремеры точно вырвались из романа «Сцены из провинциальной жизни»?» Но г-н де Шарлюс, точно он бесспорно принадлежал к числу их друзей, а я задел его своим замечанием, внезапно обрезал меня: «Вы говорите так, потому что жена далеко превосходит мужа», — сказал он мне сухим тоном. — «Да я вовсе не хотел сказать, что она провинциальная Муза или госпожа де Бержетон, хотя...» Г-н де Шарлюс снова перебил меня: «Скажите, скорее госпожа де Морсоф». Поезд остановился, и Бришо сошел. «Мы напрасно старались делать вам знаки, вы просто ужасны». — «То есть как?» — «Ну да, разве вы не замечали до сих пор, что Бришо без памяти влюблен в госпожу де Камбремер?» Я ясно увидел по лицу Котаров и Чарли, что на этот счет в маленьком ядре не оставалось ни тени сомнения. Сперва я подумал, не являлось ли это лишь кознями с их стороны. «Ну да, разве вы не заметили, как он смутился, когда вы заговорили о ней», — продолжал г-н де Шарлюс, желая проявить свою опытность в отношении женщин и распространяясь о том чувстве, которое они внушают, с самым естественным видом, словно оно было наиболее свойственным ему. Но ведь один его тон какой-то двусмысленной отцовской нежности со всеми молодыми людьми, — несмотря на исключительную любовь к Морелю, — сам противоречил себе, когда он притворялся мужчиной, любящим женщин. «Ох, уж эти дети, — произнес он высоким, слащавым и размеренным голосом, — надо им все втолковать, они невинны как новорожденный младенец, они не могут определить, когда мужчина влюблен в женщину. В вашем возрасте я был более продувной», — прибавил он, ибо он любил употреблять уличные выражения, — отчасти потому, что они нравились ему, отчасти, чтобы не показать, воздерживаясь от них, что ему приходится яхтаться с людьми, обычно пользующимися этим словарем. Несколько дней спустя я должен был сдать перед очевидностью и признать, что Бришо влюблен в маркизу. На свое несчастье, он неоднократно посещал ее завтраки. Г-жа Вердюрен сочла необходимым и своевременным

пожить этому предел. Помимо пользы, что она предвидела в таком вмешательстве для общей политики ядра, она начинала питать к подобным объяснениям и вызываемым ими драмам все большую склонность, что нередко безделье порождает как в аристократических, так и в буржуазных кругах. Был день великих треволнений в Ла-Распельер, когда заметили, что г-жа Вердюрен пропадала целый час с Бришо, которому, как мы узнали впоследствии, она заявила, что г-жа де Камбремер просто смеется над ним, что он — притча во языцех в ее салоне, что он позорит свой преклонный возраст, компрометирует свое положение в педагогическом мире. Она дошла до того, что заговорила в трогательных выражениях о прачке, с которой он жил в Париже, и об их маленькой дочери. Она одержала победу, Бришо перестал ездить в Фетерн, но горе его было так глубоко, что в течение двух дней опасались, как бы он окончательно не потерял зрения, во всяком случае болезнь его сделала такой скачок вперед, что она уже не покидала его. Между тем Камбремеры, сильно негодуя на Мореля, пригласили один раз с нарочитой целью г-на де Шарлюса без него. Не получая ответа от барона, они испугались, не сделали ли промаха, и, считая злопамятность дурным советчиком, написали запоздалое приглашение Морелю, — глупость, заставившая усмехнуться г-на де Шарлюса, как лишнее подтверждение его авторитета. «Вы ответите от нас обоим, что я принимаю приглашение», — сказал барон Морелю. Когда наступил день обеда, все собрались в ожидании в большом салоне в Фетерне. Камбремеры, в действительности, давали обед самому шикарному цвету аристократии в лице г-на и г-жи Фере. Но они так боялись при этом не угодить г-ну де Шарлюсу, что хотя познакомились с четой Фере через г-на де Шевреньи, г-жу де Камбремер бросило в жар, когда в день обеда последний приехал в Фетерн с визитом. Начали придумывать всяческие предлоги, стремясь отослать его как можно скорее в Босолейль, и все же не успели, ибо он столкнулся во дворе с Фере, которые были столько же шокированы при виде его изгнания, сколь велико было его смущение. Но Камбремеры стремились любой ценой помешать встрече г-на де Шарлюса с г-ном де Шевреньи, считая последнего провинциалом, на основании тех оттенков, которыми пренебрегают в семейном кругу, но учитывают в присутствии посторонних, хотя последние как раз оказываются единственными людьми, не замечающими их. Ведь неприятно показывать своих родственников — доньне таких, какими мы уже перестали быть. В отношении г-на и г-жи Фере нужно отметить, что они были в высшей степени теми людьми, которых обычно называют «люди с хорошим положением». В глазах общества, определявшего их таким образом, конечно, и Германты, и Роганы, и еще многие другие были также людьми с «хорошим положением», но ведь одно их имя уже не нуждалось в этом прибавлении. Тогда как далеко не все знали знаменитое происхождение матери г-на Фере и необыкновенно замкнутый круг, в котором вращались она и ее супруг, поэтому, когда их представляли, то в качестве пояснения всегда добавляли, что это люди «с самым лучшим положением». Не самая ли неизвестность их имени приводила их к этому высокомерному отчуждению? Во всяком случае остается фактом, что чета Фере не бывала даже у людей, с которыми могли бы поддерживать отношения Ла-Тремуй. Надо было обладать тем положением королевы побережья, что присвоила себе старая маркиза де Камбремер в Ламанше, чтобы чета Фере ежегодно соизволила бывать на ее утренниках. Камбремеры пригласили их к обеду и очень рассчитывали на впечатление, которое должен был произвести на них г-н де Шарлюс. Осторожно осведомили их, что он в числе приглашенных. Случайно г-жа Фере не была знакома с ним. Г-жа де Камбремер ощутила при этом живейшее удовлетворение, и улыбка химика, впервые пробующего сделать соединение из двух чрезвычайно важных элементов, мелькнула на ее лице. Дверь открылась, и г-жа де Камбремер чуть не упала в обморок при виде одного Мореля. Подобно государственному секретарю, которому поручено принести извинения министра, или морганатической супруге, которая должна выразить сожаление от лица внезапно занемогшего принца (как обычно поступала г-жа де Кленшан в отношении герцога д'Омаль), Морель произнес самым небрежным тоном: «Барон не приедет. Он как будто нездоров, по крайней мере я думаю, что это является причиной, я не виделся с ним на этой неделе», — добавил он, повергая в полное отчаяние г-жу де Камбремер своими последними словами, ибо она только что уверяла г-на и г-жу Фере, что Морель неотступно состоит при г-не де Шарлюсе. Камбремеры притворились, что отсутствие барона доставило лишь удовольствие их собранию, и потихоньку от Мореля говорили своим гостям: «Мы обойдемся без него, не правда ли, нам будет еще веселее». Но они были в ярости, подозревали новые происки г-жи Вердюрен, и так, переходя от недоразумения к недоразумению, когда последняя опять пригласила их в Ла-Распельер, г-н де Камбремер, не будучи в состоянии отказать себе в удовольствии снова увидеть свой дом и очутиться в маленьком кружке, приехал однако без жены, упомянув, что маркиза в отчаянии, так как доктор не разрешает ей выходить из комнаты. Этим полуприсутствием Камбремеры полагали в одно и то же время проучить г-на де Шарлюса и показать Вердюренам, что в отношении их они придерживаются самой строгой вежливости, как когда-то чистокровные принцессы провожали герцогиню, но лишь до середины соседней комнаты. По прошествии нескольких недель ссора была в самом разгаре. Г-н де Камбремер пробовал давать мне объяснения: «Я должен вам сказать, что нам очень трудно с господином де Шарлюсом. Он крайний дрейфусар». — «Да нет же!» — «Нет, да... Во всяком случае его кузен, принц Германтский, принадлежит к их числу, их достаточно обвиняют в этом. Ведь мои родственники очень следят за этим. Я не могу бывать у таких людей, я поссорюсь со всей своей родней». — «Но если принц Германтский — дрейфусар, то все складывается как нельзя лучше, — сказала г-жа де Камбремер, — ведь Сен-Лу, который, как говорят, женится на его племяннице, тоже принадлежит к их числу. Может быть, это даже повод для брака». — «Но, дорогая моя, не говорите, что Сен-Лу, которого мы так любим, тоже дрейфусар. Нельзя же так легкомысленно распространять подобные слухи, — сказал г-н де Камбремер. — Вы его скомпрометируете в военных кругах». — «Он был когда-то дрейфусаром, а теперь нет, — сказал я г-же де Камбремер. — А вот, что касается его женитьбы на мадмуазель де Германт-Брассак, — правда ли это?» — «Об этом только и говорят, но ведь вам лучше знать». — «Я повторяю вам, что он сам сказал мне, что он дрейфусар, — сказала г-жа де Камбремер. — В конце концов это простительно, Германты наполовину немцы». — «Вы вполне можете сказать это относительно Германтов с улицы Варенн, — сказал Канкан. — Но Сен-Лу — это другой коленок; мало ли что у него вся родня из немцев, его отец отстаивал свои права на титул французского вельможи, прежде всего вернулся на военную службу в 1871 году и был убит на войне самым благородным образом. Хотя я очень настаиваю на этом, однако не следует преувеличивать ни в ту ни в другую сторону. In medio... virtus, — ах, вот я уже не могу вспомнить. Это одна из фраз, которые произносит доктор Котар. Вот у кого всегда есть что сказать. Вам надо было бы держать здесь маленького Ларусса». Желая умолчать относительно латинской цитаты и отклонить разговор о Сен-Лу, где, по мнению ее супруга, она только что допустила бестактность, г-жа де Камбремер снова накинулась на Хозяйку, ссора с которой нуждалась в еще больших пояснениях. «Мы охотно сдали Ла-Распельер госпоже Вердюрен, — сказала маркиза. — Только она почему-то решила, что вместе с домом и всем тем, что она считает возможным присвоить себе, как эксплуатация лугов, старинные обивки, всякие вещи, отнюдь не входящие в аренду, — у нее будет больше прав на дружбу с нами. Это же абсолютно разные вещи. Наша ошибка была в том, что мы попросту не действовали через управляющего или через контору. В Фетерне это не может иметь значения, но я уже заранее вижу лицо моей тетки де Шнувиль, если в мой приемный день приплелась бы мамаша Вердюрен в растрепанных космах. А если говорить о господине де Шарлюсе, естественно, что он знаком с очень приличными людьми, но у него есть и сомнительные знакомства. Я выясняла». Когда ее закидали вопросами, г-жа де Камбремер сказала: «Говорят, что он содержал какого-то господина Моро, Мориль, Морю, — я не знаю точно. Это не имеет никакого отношения к Морелю-скрипачу, само собой разумеется, — добавила она, покраснев. — Когда я уяснила себе, что госпожа Вердюрен вообразила, будто она в праве рассчитывать на визиты в Париже, снимая у нас поместье в Ламанше, то я увидела, что пора разрубить узел».

Несмотря на ссору с Хозяйкой, Камбремеры поддерживали хорошие отношения с «верными» и охотно садились в наш вагон, когда ехали по железной дороге. Подъезжая к Дувиллю, Альбертина в последний раз брала зеркальце, иногда находила нужным сменить перчатки или на секунду снять шляпку и, вынимая из волос подаренный мною черепаховый гребень, приглаживала коки, взбивала их, а если требовалось, повыше закалывала шиньон над завитыми прядями прически, шедшими правильными волнами к затылку. Усаживаясь в ожидавшие нас экипажи, мы уже больше не могли определить, где мы находились; улицы не были освещены; по более сильному шуму колес мы догадывались, что едем по деревне, думали, что подъезжаем, и оказывались в открытом поле, слышался отдаленный колокольный звон, мы забывали о наших смокингах и начинали дремать, как вдруг, в конце длительного пребывания во мраке, которое, вследствие инцидентов, характерных для любой поездки по железной дороге, и дальности расстояния, словно переносило нас далеко за полночь и почти к полпути нашего возвращения в Париж, между тем как экипаж скользил по мелкому гравию, указывая, что мы въезжаем в парк, перед нами, как бы вновь включая нас в светскую жизнь, внезапно вспыхивало яркое освещение салона, затем столовой, где мы невольно отступали назад, слыша, как бьет восемь часов, давно истекшие по нашему ощущению, в то время как перед мужчинами во фраках и дамами в вечерних туалетах сменялись бесчисленные кушанья и тонкие вина за обедом, залитым сверкающими огнями, подобно настоящему столичному обеду, единственным отличием которого была опоясывавшая его двойная лента из мрака и таинственности, сотканная ночными часами, лишенными своей первоначальной торжественности благодаря этим светским развлечениям и проведенными в поле и на море, в течение нашей поездки туда и нашего возвращения оттуда. Последнее и в самом деле заставляло нас покидать мгновенно улетающее, лучезарное великолепие ярко освещенного салона, меняя его на экипажи, куда я обычно стремился попасть вместе с Альбертиной, не желая оставлять мою приятельницу наедине с другими гостями, зачастую же и по другой причине, заключающейся в том, что вдвоем, в темноте экипажа, мы могли многое позволить себе, а толчки при спусках могли служить оправданием, в случае если б на нас неожиданно брызнул луч света, почему мы так тесно прижимались друг к другу. Когда г-н де Камбремер не был еще в ссоре с Вердюренами, он иногда спрашивал меня: «Не полагаете ли вы, что с этим туманом у вас опять начнется удушье? У моей сестры были ужасные приступы сегодня утром. Ах, и у вас тоже, — добавлял он с удовлетворением. — Я передам ей это сегодня вечером. Я знаю, что, когда вернусь домой, она тотчас же спросит, давно ли они были у вас». Ведь он заговаривал со мной о моих удушьях только с целью перейти затем к болезни сестры и заставлял меня описывать все особенности первых, с намерением отметить различия, существовавшие между обоими видами удушья. Однако, несмотря на эти различия, поскольку приступы удушья у его сестры пользовались большим авторитетом в его глазах, он не мог допустить, чтобы средства, «имевшие успех» в ее случае, не прописывались и мне, и сердился на мой отказ испробовать их, — ведь известно, что гораздо труднее самому подчиняться какому-нибудь режиму, нежели удержаться и не потребовать его от другого. «Однако что я говорю, ведь я профан, в то время как вы находитесь здесь перед ареопагом, у самого первоисточника. Что думает по этому поводу профессор Котар?» Впрочем, мне пришлось увидеться как-то и с его женой по поводу ее слов относительно дурного пошиба моей кухни, когда мне захотелось знать, что именно она подразумевала под этим. Сперва она отрицала свои слова, однако потом вынуждена была признаться, что имела в виду одну особу, которую встречала, как ей показалось, вместе с моей кухней. Ее имени она не знала и наконец заявила, что если не ошибается, то это была жена одного банкира, которую звали не то Лина, не то Линета, Лизета, Лия или что-то в этом духе. Мне пришло в голову, что «жена банкира» было сказано для пущего затемнения. Я решил спросить у Альбертины, правда ли это. Но при этом предпочитал скорее внушить ей, что я в курсе дела, нежели расспрашивать ее. Ведь Альбертина вряд ли ответила бы мне или произнесла бы такое «нет», где «н» было бы слишком нерешительным, а «ет» чересчур громким. Альбертина никогда не упоминала о неблагоприятных для нее фактах, а ссылалась на совсем иные, находившие однако свое объяснение лишь в первых, поскольку истина — скорее всего улавливаемый нами незримый ток, непосредственно исходящий от того, о чем нам говорят, а не от того, что излагают перед нами. Таким образом, когда я стал уверять, что женщина, с которой она познакомилась в Виши, отличается дурным тоном, она поклялась мне, что эта женщина далеко не то, что я предполагаю, и никогда не внушала ей ничего дурного. В следующий раз, когда я упомянул, что меня интересовали такие особы, она добавила, что у дамы из Виши тоже была подруга, но Альбертина не знала ее, а эта дама «обещала их познакомиться». Так, значит, Альбертина желала этого, если дама обещала или думала доставить ей удовольствие, предлагая это. Однако, если бы я попробовал высказать это, мне пришлось бы показать, что все разоблачения исходят от самой Альбертины, и этим я тотчас же приостановил бы их, ничего не узнал бы более, меня перестали бы бояться. Впрочем, ведь мы находились в Бальбеке, а дама из Виши и ее подруга жили в Ментоне; дальность расстояния, отсутствие опасности вскоре рассеяли мои подозрения. Зачастую, когда г-н де Камбремер окликал меня с вокзала, мне случалось только что воспользоваться ночным мраком с Альбертиной, затратив на это тем большие усилия, что она слегка отбивалась, опасаясь неполной темноты. «Знаете, я уверена, что Котар видел нас, а, впрочем, если не видел, то слышал, как мы шептались, это было как раз, когда мы говорили об особенностях ваших приступов удушья», — говорила мне Альбертина, приезжая на вокзал в Дувиль, где мы снова садились в поезд узкоколейной железной дороги для обратного пути. И это возвращение, как и поездка туда, с одной стороны, настраивая меня на поэтический лад, будило во мне желание путешествий, какой-то новой жизни, возможности окончательно откинуть проект брака с Альбертиной и даже покончить с нашими отношениями, а с другой стороны — облегчало для меня самый разрыв, благодаря внутреннему противоречию, скрывавшемуся в них. Ибо при возвращении, так же как и при поездке туда, на каждой станции наши знакомые подсаживались к нам или приветствовали нас с платформы; и непрерывное удовольствие, вызываемое общением с людьми, его успокаивающее и усыпляющее действие подавляло тайные утехи воображения. Значительно раньше станций померкли их названия (когда-то погружавшие меня в мечты, с того первого вечера, как я услышал их, еще в мой приезд с бабушкой) и утратили свое своеобразие с того вечера, как Бришо, по просьбе Альбертины, с возможной полнотой пояснил нам их этимологию. Я находил очаровательным окончание на «флёр» (цветок), встречающееся во многих названиях, как «Фикфлёр», «Онфлёр», «Флёр», «Барфлёр», «Арфлёр» и т. д., и забавным слово «бёф» (бык) на конце «Брикбёф». Но цветок исчез, а с ним и бык, когда Бришо (и он сообщил мне это в первый же день в поезде) пояснил нам, что «флёр» означает порт (как и «фьорд»), а «бёф», нормандское «buidh», означает хижину. Он приводил многочисленные примеры, и то, что раньше казалось мне своеобразным, теперь обобщалось, Брикбёф присоединялся к Эльбёфу, и даже название, на первый взгляд такое же индивидуальное, как самое место, как «Пендепиль», в котором с незапамятных времен сливались причудливые элементы, никак не поддающиеся рассудку, в одно обратительное слово, вкусное и жесткое, как один из сортов нормандского сыра, повергло меня в смущение, едва я обнаружил в нем галльское «пен», обозначающее гору, встречающееся и в «Пенмарке» и в «Апенинах». Зная, что на каждой остановке нам предстоит обмениваться рукопожатиями с друзьями или принимать их визиты, я говорил Альбертине: «Поторопитесь-ка спросить у Бришо об интересующих вас названиях. Вы упоминали мне Маркувиль Горделивый». — «Да, мне очень понравилась эта горделивость, это гордое селение», — говорила Альбертина. — «Вы нашли бы его, — отвечал Бришо, — еще более гордым, если бы вместо французского или нижнелатинского корня, числящегося по картулярию епископа из Байи «Marcouvilla superba», вы взяли более древнюю форму, приближающуюся к нормандской, Merculphinvilla superba, то есть селение, поместье Меркульфа. Почти во всех названиях, оканчивающихся на «виль», мог бы встать перед вами призрак жестоких завоевателей норманнов на этом побережье. В Арамбувиле

Видеть нами у дверей вагона стоял только наш милейший доктор, вполне очевидно не имеющий ничего общего с норманнским вождем. Но, закрыв глаза, вы могли бы увидеть знаменитого Эримунда (Herimundivilla). И хотя я не знаю, почему ездят по этим дорогам, пролегающим между Луаньи и Бальбек-пляжем, а не по тем, чрезвычайно живописным, ведущим от Луаньи к старому Бальбеку, — быть может, все-таки госпожа Вердюрэн катала вас в своем экипаже в этом направлении. Тогда вы должны были видеть Энкарвиль или селения Вискар и Турвиль, а совсем близко от дома госпожи Вердюрэн — селение Турольд. Впрочем, здесь были не только норманны. Кажется, и германцы доходили до этих мест (Оменанкур, Alemanicurtès), — но умолчим об этом перед молодым офицером, которого я вижу здесь; он окажется способным перестать ездить к своим кузенам. Были также и саксонцы, о чем свидетельствует источник Сисон (один из любимых пунктов в прогулках госпожи Вердюрэн, что вполне справедливо), так же как в Англии Миддлсекс, Эссекс. Непостижимая вещь, но кажется, что готы, гёзы, как называли их, приходили сюда, и даже мавры, ибо Мортань происходит от Мавритания. След остался в Гурвиле (Gothorunvilla). Впрочем, существуют еще кое-какие указания на латинян — Ланьи (Latiniacum)». — «А я хотел бы знать объяснение названия Торпе-ом, — сказал г-н де Шарлюс. — Я понимаю слово «ом» (мужчина), — добавил он, между тем как скульптор и Котар значительно переглянулись, — но Тори?» — «Ом» (мужчина) вовсе не обозначает того, что вы должны естественно предполагать, барон, — ответил Бришо, лукаво взглянув на скульптора и Котара. — «Ом» здесь не имеет ничего общего с тем полом, к которому я не могу отнести свою мать. «Ом» — это Ольм, что значит — островок и т. д. Зато Торп, то есть селение, встретится в сотне слов, которыми я уже порядком наскучил нашему юному другу. Таким образом, имя норманнского вождя не входит в название Торпе-ом, состоящее из слов нормандского языка. Видите, как германизирована вся эта область». — «Мне кажется, что он преувеличивает, — заявил г-н де Шарлюс. — Вчера я был в Оржвиле...» — «На этот раз я должен вернуть вам мужчину, которого я отнял у вас в Торпе-ом, барон. Будь сказано без всякого педантизма, хартия Роберта Первого дает нам вместо Оржвиля — Otgervilla, то есть поместье Отгера. Все это имена прежних феодальных властителей. Октевиль ла Венель — вместо л'Авенель. Род Авенелей был известен во времена Средневековья. Бургноль, куда возила нас однажды госпожа Вердюрэн, писали — Бург-де-Моль, потому что это селение принадлежало в одиннадцатом веке Бодуэну де Моль, также как ла Шез-Бодуэн, но вот мы уже и в Донсьере». — «Боже мой, неужели все эти лейтенанты начнут ломиться сюда, — сказал г-н де Шарлюс с деланным испугом. — Я это говорю для вас, меня это несколько не пугает, ведь я выхожу». — «Вы слышите, доктор, — сказал Бришо, — барон опасается, что офицеры растопчут его. А тем не менее, столпившись здесь, они вполне на своем месте, ибо Донсьер — это в буквальном смысле слова Сен-Сир, Dominus Cyriacus. Существует немало названий городов, где Sanctus и Sancta заменяются словами dominus и domina. Впрочем, этот тихий и военный город порой принимает обманчивую внешность Сен-Сира, Версаля и даже Фонтенебло».

Во время этих возвращений (так же как и поездок туда) я просил Альбертину одеться потеплее, прекрасно зная, что в Амнанкуре, в Донсьере, Эпревиле и в Сен-Васте нам придется принимать гостей. В Эрменонвиле (владениях Эримунда) мне доставлял удовольствие визит г-на де Шёвреньи, который пользовался случаем, что вышел встречать гостей, и заодно приглашал меня на следующий день к завтраку в Монсюрван, а в Донсьере — шумное вторжение одного из очаровательных товарищей Сен-Лу, которого он посылал (в те дни, когда бывал занят), чтобы передать мне приглашение капитана де Бородино на пирушку, либо офицеров в «Смелом петухе», либо унтер-офицеров — в «Золотом фазане». Зачастую, когда приходил сам Сен-Лу, во все время его присутствия, незаметно для других, я старался держать Альбертину под властью своего взгляда, хотя это была излишняя осторожность. Впрочем, однажды мне пришлось все-таки нарушить свою охрану. Во время длительной остановки Блок, едва поздоровавшись с нами, умчался вдогонку за своим отцом, который, недавно получив наследство от какого-то дядюшки, снял в аренду замок под названием Ла Командери и считал признаком хорошего тона разъезжать в почтовой карете, с фореяторами в ливреях. Блок предложил мне проводить его до коляски. «Но поспеши, ибо эти четвероногие весьма нетерпеливы, ступай же, любимец богов, ты доставишь удовольствие моему отцу». Но мне было слишком мучительно оставить Альбертину в поезде с Сен-Лу, где во время моего отсутствия они могли переговорить между собой, перейти в другой вагон, расточать улыбки, касаясь друг друга, и взгляд мой, прикованный к Альбертине, не мог оторваться от нее, пока Сен-Лу все еще был здесь. Но я прекрасно видел, что Блок, как об услуге просивший меня подойти и поздороваться с его отцом, сперва нашел нелюбезным мой отказ, ничем не оправданный, ибо кондуктора предупредили нас, что поезд задержится на вокзале по крайней мере на четверть часа и что почти все пассажиры, без которых он не мог тронуться дальше, вышли на платформу, а затем он перестал сомневаться, — мое поведение в этом случае являлось для него решающим ответом, — что я поступаю так из снобизма. Ибо ему были неизвестны имена людей, в обществе которых я находился. А на самом деле незадолго перед этим г-н де Шарлюс сказал мне, забыв или упустив из виду, что это делалось раньше с намерением приблизиться к нему: «Представьте же мне вашего друга, иначе вы обнаружите недостаточное уважение ко мне», — и, вступив в разговор с Блоком, который чрезвычайно понравился ему, он удостоил его изъявлением «надежды встречаться». «Итак, бесповоротно, ты не хочешь пройти сто метров, чтобы поздороваться с моим отцом, которому ты доставил бы этим большое удовольствие», — сказал мне Блок. Я был огорчен и своим поступком, казавшимся недостаточно дружеским, и еще более причиной, приписываемой мне Блоком, чувствуя, что в его глазах мое обращение с друзьями буржуазного происхождения принимало другой оттенок в присутствии моих знакомых «дворянского круга». С этого дня он перестал изъявлять мне прежнюю дружбу и питать большее уважение к моему характеру, что было для меня еще тяжелее. Однако разубедить его в причине, удержавшей меня в вагоне, можно было, только объяснив ему одну вещь, а именно — мою ревность к Альбертине, что было еще мучительнее для меня, чем оставить ему уверенность в моем нелепом светском тщеславии. Вот как бывает, что теоретически мы считаем необходимым объяснить начистоту, избегать недоразумений. А в жизни очень часто они нагромождаются таким образом, что в редких случаях, когда оказывается возможным рассеять их, мы должны обнаружить, — это не подходит к упомянутому случаю, — либо нечто, способное еще больше разобидеть нашего друга, нежели наша воображаемая вина, либо разоблачить тайну, — это и был мой случай, — что кажется нам ужаснее самого недоразумения. Хотя, впрочем, даже не объясняя Блоку причины моего отказа, раз я не мог сделать этого, если бы я принялся убеждать его не обижаться, я удвоил бы эту обиду, обнаружив, что я догадываюсь о ней. Оставалось только склониться перед судьбой, повелевшей, чтобы присутствие Альбертины помешало мне проводить его, и позволившей ему вообразить, что все происходит вследствие блестящего светского окружения, которое, будь и во сто крат более блестящим, могло породить во мне лишь обратный эффект исключительного внимания к Блоку в обращении всей моей любезности на него. Таким образом, достаточно случайного возникновения нелепого инцидента (в этом случае столкновения Альбертины с Сен-Лу) между двумя человеческими судьбами, линии которых почти сливались, и они разъединяются, все более удаляясь друг от друга и не сближаясь веками. Бывает, что дружба, более прекрасная, чем дружба Блока ко мне, разбита, ибо невольный виновник размолвки не в состоянии пояснить обиженному те обстоятельства, что, без сомнения, могли бы исцелить его самолюбие и вернуть симпатию, готовую испариться.

Я не преувеличиваю, когда говорю — более прекрасная дружба, чем дружба Блока ко мне. Он отличался всеми теми недостатками, к

которым я испытывал наибольшее отвращение. А любовь к Альбертине случайю сделала их вовсе нестерпимыми. Так, именно в ту минуту, когда я разговаривал с ним, наблюдая взором за Робером, Блок сообщил, что он недавно был на завтраке у г-жи Бонтан и там говорили обо мне в самых лестных выражениях до «полного ущерба Гелиоса». Прекрасно, — подумал я, — госпожа Бонтан считает Блока гением, и его восторженные выступления, посвященные мне, имеют гораздо больше значения, чем все, что говорят остальные, ибо это дойдет до Альбертины. Следует со дня на день ожидать, что ей станет это известным, я удивляюсь, как до сих пор тетка еще не твердит ей, какой я «исключительный человек». — «Да, — добавил Блок, — все восхваляли тебя. Только я продолжал хранить такое глубокое молчание, будто вместо завтрака, предложенного нам и, впрочем, весьма посредственного, я наглотался мака, столь любимого благословенным братом Танатоса и Леты, божественным Гипносом, сковывающим сладкими узами наши члены и наш язык. Это не потому, что я восхищаюсь тобой менее этой своры жадных собак, в числе которых я был приглашен. Но я восторгаюсь тобой, ибо я постиг тебя, а они восхищаются тобой, не постигая тебя. Вполне точно выражаясь, я слишком восторгаюсь тобой, чтобы говорить об этом публично, для меня было бы профанацией восхвалять во всеуслышание то, что я ношу в самой глубине души. И меня напрасно расспрашивали о тебе, священная Стыдливость, дочь Крониона, сделала меня безмолвным». У меня хватило такта не обнаружить своего неудовольствия, но эта Стыдливость показала мне родственной — гораздо более, чем Крониону, — тому стыду, что препятствует критике, преклоняющемуся перед вами, говорить о вас, иначе тайный храм, где царите вы, заполнит толпа невежественных читателей и журналистов; — стыду государственного деятеля, не жалующего вас орденом, дабы вас не смешивали с недостойными вас людьми; — стыду академика, не подающего голос за вас, желая избавить вас от унижения числиться коллегой абсолютно бездарного икса, и, наконец, более почтенному, но и более преступному в то же время стыду сыновей, умоляющих нас не писать об их усопшем отце, вполне достойном этого, стремясь обеспечить ему полное забвение и покой, уничтожить память и славу вокруг бедного покойника, который между тем предпочел бы, чтобы его имя произносили вслух те люди, которые с благоговением возлагают венки на его могилу.

Если Блок огорчил меня непониманием причины, помешавшей мне выйти засвидетельствовать почтение его отцу, и привел меня в негодование, сознавшись, как он подорвал ко мне уважение у г-жи Бонтан (я понял теперь, почему Альбертина никогда не упоминала об этом завтраке передо мной и умолкала, как только я касался привязанности Блока ко мне), то на г-на де Шарлюса молодой еврей произвел впечатление, едва ли похожее на раздражение.

Блок несомненно думал теперь, что я стараюсь вставлять ему палки в колеса и помешать его сближению с великосветскими кругами, не будучи в состоянии хотя бы на секунду оторваться от них и завидуя авансам, оказываемым Блоку в этом обществе, как например г-ном де Шарлюсом; со своей стороны барон сожалел, что ему удалось так мало пробыть в обществе моего приятеля. По своему обыкновению, он не преминул скрыть это. Он начал задавать мне, будто случайно, кое-какие вопросы, касающиеся Блока, но таким небрежным тоном, с таким напускным интересом, что, казалось, он и не ждал ответа. Он говорил с крайне равнодушным видом, речитативом, выражавшим даже не безразличие, а настоящую рассеянность, словно из простой вежливости ко мне. «Он производит впечатление очень умного человека, он упомянул, что пишет, есть ли у него талант?» Я сказал г-ну де Шарлюсу, что с его стороны было весьма любезным выразить надежду встретиться с ним. Ни одним мускулом лица не показал барон, что расслышал мою фразу, и я начал под конец сомневаться, повторив ее четыре раза и не получив никакого ответа, — не стал ли я жертвой слухового обмана, предполагая, что она была сказана г-ном де Шарлюсом.

Наконец нас предупредили, что поезд трогается, и Сен-Лу простился с нами. Это был единственный случай, когда, войдя в наш вагон, он, невольно для себя, заставил меня страдать при мысли о необходимости оставить его наедине с Альбертиной и сопровождать Блока. В других случаях его присутствие несколько не тревожило меня. По собственному почину стремясь избавить меня от мучительного беспокойства и пользуясь для этого любыми предлогами, Альбертина выбирала себе такое место, где она не могла коснуться Робера даже невзначай или дотянуться, чтобы пожать ему руку, и, едва лишь он появлялся, она, отвернув от него свой взгляд, начинала болтать с заметной аффектацией с любым из пассажиров, продолжая этот маневр до тех пор, пока не уходил Сен-Лу. Поэтому его визиты в Донсьере, не возбуждая более во мне мучительной тревоги или чувства неловкости, стояли в одном ряду со всеми другими посещениями, доставлявшими мне только удовольствие почтительной данью гостеприимства от этих земель. Уже начиная с конца лета, когда мы подъезжали к Сен-Пьер-дез-Ифу, одной из станций нашего маршрута Бальбек — Дувиль, где по вечерам в розовом пламени заката внезапно вспыхивали гребни прибрежных скал, подобно вечным снегам на вершине гор, эта станция уже не возбуждала во мне не только грусти, охватившей меня в первый вечер при виде ее неожиданной и причудливой гористости, которая вызвала во мне непреодолимое желание тотчас же пересечь в поезд, идущий в направлении Парижа, вместо того чтобы продолжать путь в Бальбек, но и не напоминала мне утренней зари в этой местности, где перед восходом солнца на скалах преломляются все цвета радуги и где Эльстир, упоминавший мне об этом зрелище, по утрам будил мальчугана, позировавшего ему тогда в обнаженном виде среди этих песков. Отныне название Сен-Пьер-дез-Иф говорило мне только, что сей-] час здесь появится странный, накрашенный мужчина пятидесяти лет, полный остроумия, с которым я буду беседовать о Шатобриане или Бальзаке. И теперь, в вечерних туманах, позади скал Энкарвиля, так часто заставлявших меня мечтать в прежние дни, я видел лишь красивый дом дядюшки г-на де Камбремера, словно древний песчаник стал прозрачным, и я не сомневался, что могу найти там радушный приют, не будь у меня желания обедать в Ла-Распельере или возвращаться в Бальбек. Таким образом, не только названия, но и самые местности утратили для меня свою первоначальную таинственность. Еще на одну ступень ниже спустились названия, уже наполовину лишенные таинственности, которую этимология слова подменила рассуждением. При возвращении через Эрменонвиль, Сен-Васт, Арамбувиль, на каждой остановке поезда мы различали сперва только тени, не узнавая их, между тем как почти ослепший Бришо был готов ночью принять их за призраки Эрмунда, Вискара или Эримбальда. Тени приближались к вагону. И это оказывался г-н де Камбремер, окончательно рассорившийся к этому времени с Вердюренами, который провожал своих гостей и от лица своей матери и своей супруги просил разрешения «похитить» меня и на несколько дней водворить в Фетерн, где прекрасная музыкантша, готовая пропеть мне всего Глюка, должна была сменить известного шахматиста, предоставленного к моим услугам, чтобы сыграть со мной несколько великолепных партий, причем ничто не должно было мешать ни рыбной ловле, ни катанию на яхтах по заливу и даже обедам у Вердюренов, ибо маркиз чеством клялся мне «отпускать» меня туда, обещая лично отвозить и привозить меня, дабы чувствовать себя уверенным и избежать лишних затруднений. «Я не думаю, чтобы вам было полезно забираться туда наверх. Я знаю, что моя сестра едва переносит это. Она вернется бы в ужасном состоянии. Сейчас она неважно чувствует себя. Ах, вот как, и у вас был сильный приступ. Значит, завтра вы едва будете держаться на ногах!» При этом он корчился от смеха, вовсе не потому, что отличался бессердечием, а по той же причине, по которой на улице не мог видеть без смеха падающего хромого или слышать разговор с глухим. «Ну, а раньше? Как, у вас ничего не было в продолжение двух недель! Но знает ли — это чудесно! Вам надо было бы съездить в Фетерн и переговорить с моей сестрой о вашем удущье». В Энкарвиле появлялся маркиз де Монпейру, которому не удалось попасть в Фетерн из-за охоты; он выходил «к поезду» в охотничьих сапогах, в шляпе с фазаньим пером,

желая обменяться рукопожатием с проезжавшими туда, а заодно и со мной, кстати сообщая, что его сын приедет ко мне на этой неделе, в любой день, наиболее удобный для меня, заранее выражая мне при этом благодарность за прием сына и покорнейшую просьбу как-нибудь приохотить его к чтению; или то был г-н де Креси, который, по его словам, приходил сюда переваривать свой обед и выкурить трубку, однако с удовольствием принимая одну или даже несколько сигар и при этом говоря мне: «Ну, так как же? Вы мне не назначаете день нашего лукулловского обеда? Разве нам нечего сказать друг другу? Разрешите мне напомнить вам, что мы застряли на середине, выясняя тот и другой род Монгомери. Необходимо закончить это. Я рассчитываю на вас». Между тем остальные приходили сюда только за покупкой газет. Из них многие болтали с нами, и я частенько подозревал, что они оказались на платформе или на станции, наиболее близкой к их крошечному замку, ибо не имели других занятий, кроме этой минутной встречи со знакомыми. Ведь по существу эти остановки маленького поезда были такой же светской обстановкой, как любая другая. И сам поезд словно осознавал выпавшую ему роль, он усвоил какую-то почти человеческую мягкость; смиренно, терпеливо, он бесконечно поджидал запоздавших и, отойдя от станции, снова останавливался, подбирая махавших ему людей; люди бежали за ним, запыхавшись, в чем было их сходство с ним, между тем как их отличие заключалось в том, что они спешили изо всех сил, тогда как он двигался с разумной медлительностью. И вот теперь ни Эрменонвиль, ни Арамбувиль, ни Энкарвиль не вызывали более передо мной даже сурового величия норманнских завоеваний, вряд ли сами радуясь тому, что теперь с них сорван покров необъяснимой грусти, некогда в вечернем тумане обволакивавший их. Донсьер! Ведь для меня долго сохранялось в этом названии представление об освещенных витринах, сочной дичи и улицах, полных ледяной прохлады, даже после того, как я вполне ознакомился с ним и разбил свою мечту. Донсьер! Теперь это было только станцией, где в поезд садился Морель, Эглевиль (Aquilaevilla) — станцией, где нас обычно дожидалась княгиня Щербатова, Менвиль — станцией, где обычно выходила Альбертина, если вечер был хорош и она желала на несколько мгновений продлить свое пребывание со мной, еще не чувствуя себя усталой, ибо отсюда ей оставалось пройти только одну лишнюю тропинку по сравнению с Парвилем (Paterni villa), чтобы добраться домой. Я не только не испытывал больше мучительного страха одиночества, охватившего меня здесь в первый вечер, но даже перестал опасаться его возникновения или тоски по родине на этой земле, которая могла взрастить не только каштаны или тамариски, но и длинную цепь дружеских привязанностей на всем протяжении нашего маршрута, иногда разрывая ее, как цепь голубоватых холмов, порою пряча их за выступом утеса или придорожными липами, однако на каждой станции неизменно высылая навстречу мне любезного дворянина, который прерывал мой путь сердечным рукопожатием, не давая мне соскучиться и выражая готовность сопутствовать мне в случае необходимости. На следующем вокзале меня ожидал новый друг, таким образом свисток маленького трамвайчика заставлял нас покидать одного друга, чтобы вскоре встретиться с другим. Между наиболее удаленными друг от друга замками и железной дорогой, огибавшей их, по которой двигался поезд с быстротой скорого человеческого шага, расстояние было так невелико, что в тот момент, когда перед залой ожидания, с платформы, нас окликали их владельцы, мы легко могли представить себе, что они делают это с порога собственного дома, из окна своей комнаты; в этом округе железнодорожный путь был просто провинциальной улочкой, а уединенное дворянское гнездо — городским особняком; и даже на тех редких станциях, где никто не встречал меня пожеланием «доброго вечера», тишина отличалась особой успокоительной и насыщающей полнотой, ибо я знал, что она соткана из сна моих друзей, давно уснувших в ближайшем замке, где с радостью встретят мой приезд, если мне вздумается разбудить их и просить у них гостеприимства. По обыкновению привычка так заполняет наше время, что у нас не остается ни одной свободной минуты несколько месяцев спустя по приезде в город, где сперва мы получили в наше полное распоряжение все двенадцать часов дня, и если бы теперь у меня случайно выпал свободный час, я не подумал бы употребить его на осмотр какой-нибудь церкви, или обойти кругом местность, изображенную Эльстиром, сравнивая ее с ранее виденным у него эскизом, а просто отправился бы к г-ну Фере сыграть еще одну партию в шахматы. Действительно, возвращающее влияние и прелесть бальбекского края заключались теперь в том, что он превратился для меня в настоящую страну знакомств; если его территориальное распределение, различная жатва его посевов, распространившихся вдоль всего побережья, неминуемо придавали моим поездкам к столь разнохарактерным друзьям форму настоящего путешествия, то они же сводили и все значение этого путешествия к светским удовольствиям в качестве непрерывной цепи визитов. Когда-то, перелистывая обыкновенный «Ежегодник дворцов» на главе округа Ламанша, я испытывал такое же волнение, как при обращении к железнодорожному путеводителю, между тем как те же самые названия, когда-то столь волнующие для меня, сделались теперь настолько привычными, что я раскрывал путеводитель на странице Бальбек — Дувиль через Донсьер с тем же невозмутимым спокойствием, как любую адресную книгу. В этой долине, столь очеловечившейся для меня, склоны которой в моих глазах были усеяны многочисленными друзьями, я не различал крика совы или квакания лягушки в вечерних шумах, полных поэзии, — их заменило приветствие г-на де Крикетто или возглас Бришо. В этой атмосфере гасли все тревоги, и этим воздухом, насыщенным лишь человеческими эманациями, было легко и чересчур покойно дышать. Теперь из всего этого, по крайней мере, я извлекал несомненное преимущество расценивать все явления исключительно с практической точки зрения. Женитьба на Альбертине представлялась мне просто безумием.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Резкий поворот в сторону Альбертины. — Отчаяние на утренней заре. — Я тотчас же уезжаю с Альбертиной в Париж

Я только ждал случая для окончательного разрыва. И однажды вечером, — так как мама на другой день собиралась уехать в Комбре, где ей предстояло ухаживать за умирающей сестрой своей матери, оставляя меня в Бальбеке, чтобы я мог еще, в согласии с бабушкиными желаниями, подышать морским воздухом, — я объявил ей, что бесповоротно решил не жениться на Альбертине и в ближайшее же время перестану видеться с ней. Я был рад, что мог этими словами доставить моей матери удовлетворение накануне ее отъезда. Она и не скрыла от меня, что удовлетворение было для нее большое. Мне надо было объяснить и с Альбертиной. Возвращаясь вместе с ней из Ла-Распельер и чувствуя себя как-то по-особому счастливым и далеким от нее, я, когда «верные» вышли из вагона, кто — в Сен-Маре-ле-Ветю, кто — в Сен-Пьер-дез-Ифе, кто — в Донсьере, и теперь в вагоне остались только мы двое, решил наконец приступить к этому разговору. Истина, впрочем, заключалась в том, что та из бальбекских девушек, в которую я теперь был влюблен, хотя сейчас она отсутствовала, так же как и ее приятельницы, но должна была вернуться (мне было приятно с ними всеми, ибо в каждой из них для меня, как и в первый день, заключалась частица общей для них всех сущности, и каждая из них как бы принадлежала к особому племени), — была Андре. Раз она снова через несколько дней должна будет приехать в Бальбек, она конечно сразу же навестит меня, и тогда, чтобы сохранить свою свободу, чтобы не жениться на ней, если я этого не захочу, чтобы иметь возможность поехать в Венецию, но пока что всецело располагать ею, — средство, которое я изберу, будет состоять в том, что я не буду показывать, будто сам стремлюсь к ней, и когда она придет и мы начнем беседовать, я ей скажу: «Как жаль, что не удалось встретиться несколько недель тому назад. Я влюбился бы в вас; а теперь мое сердце несвободно. Но это ничего не значит, мы часто будем видеться, так как та моя любовь приносит мне огорчения, и вы поможете мне утешиться». Я мысленно улыбался, представляя себе этот разговор, ибо таким путем я мог бы внушить Андре, что я действительно не люблю ее; она не устанет от меня, и я радостно и тихо буду наслаждаться ее нежностью. Но

это лишь усугубляло необходимость серьезно наконец поговорить с Альбертиной, чтобы не допустить себя до грубых поступков, а поскольку я принял решение посвятить себя ее подруге, надо же было ей, Альбертине, знать, что я ее не люблю. Надо было сказать ей это немедленно, так как Андре могла приехать со дня на день. Но когда мы подъезжали к Парвилю, я почувствовал, что нынче вечером у нас не хватит времени и что лучше отложить до завтра то, что было решено уже бесповоротно. Итак, я ограничился тем, что заговорил с ней об обеде, на котором мы были у Вердюрен. Надевая пальто, в тот момент, когда поезд отошел от Энкарвиля, последней станции перед Парвилем, она мне сказала: «Значит, до завтра, до Вердюрен, — вы не забудете, что должны заехать за мной». Я не смог удержаться и ответил довольно сухо: «Да, если только я не «пропущу», потому что эта жизнь начинает мне казаться действительно нелепой. Во всяком случае, если мы к ним и поедем, надо мне будет, — чтобы мои посещения Ла-Распельер не остались совершенно напрасной тратой времени, — не забыть попросить госпожу Вердюрен об одной вещи, которая может меня сильно заинтересовать, стать предметом исследования и доставить мне удовольствие, так как в этом году я, право же, очень мало удовольствия получаю в Бальбеке». — «Это не любезно по отношению ко мне, но я на вас не сержусь, так как чувствую, что вы в нервном состоянии. А что это за удовольствие?» — «Чтобы госпожа Вердюрен позволила мне услышать вещи одного композитора, произведения которого она прекрасно знает. Я тоже знаю одно из них, но, говорят, есть еще и другие, и мне нужно узнать, изданы ли они, отличаются ли они от той вещи». — «Что за композитор?» — «Милая моя, если я тебе скажу, что его зовут Вентейль, — много это будет значить для тебя?» Мы можем перебирать всевозможные мысли, истина никогда не оказывается в них, и когда мы всего меньше этого ожидаем, она извне укалывает нас своим ужасным жалом и навеки ранит нас. «Вы и не знаете, как это забавно, — ответила мне Альбертина, вставая, так как поезд уже останавливался. — Это не только говорит мне больше, чем вы думаете, но я даже без помощи госпожи Вердюрен смогу дать вам все сведения, какие вы захотите получить. Вы помните, я рассказывала вам об одной приятельнице, старше меня, которая заменила мне мать и сестру, с которой я провела в Триесте лучшие мои годы и с которой я, впрочем, через несколько недель снова должна встретиться в Шербурге, откуда мы вместе отправимся в путешествие (это немножко дико, но вы знаете, как я люблю море), ну так вот! Эта приятельница (о! совсем не такая женщина, как вы могли бы подумать!), смотрите, как это удивительно, она как раз лучшая подруга дочери этого Вентейля, и я почти так же близко знаю дочь Вентейля. Я всегда называю их: мои старшие сестры. Мне приятно показать вам, что ваша маленькая Альбертина может быть вам полезна в этих музыкальных делах, в которых, как вы говорите, впрочем, вполне правильно, я ничего не смыслю». При этих словах, которые произносились, когда мы подъезжали к станции Парвиль, так далеко от Комбре и от Монжувена, через столько времени после смерти Вентейля, мое сердце наполнял тревогой некий образ, — образ, столько лет сохранявшийся в нем, что если бы даже в свое время, воспринимая его в себя, я мог догадаться, что он может оказать пагубное влияние, я все же решил бы, что в конце концов он совершенно утратит его; продолжавший жить в моем сердце, — подобно Оресту, чью смерть боги предотвратили для того, чтобы в predeterminedенный день он вернулся в свою страну покарать убийство Агамемнона, — ради моей пытки, мне в наказание, — кто знает? — может быть за то, что я дал умереть моей бабушке? Внезапно поднявшийся из ночных глубин, где, казалось, он был навеки погребен, и наносивший свой удар, точно мститель, дабы ознаменовать для меня начало страшной жизни, заслуженной и новой, а может быть также и для того, чтобы ярким светом озарить в моих глазах роковые последствия, которые дурные поступки порождают бесконечно, — не только для тех, кто их совершил, но и для тех, кто думает, будто созерцал всего-навсего любопытное и занимательное зрелище, как это — увы! — было и со мной в тот далекий вечер в Монжувене, когда, спрятавшись за кустом (так же, как когда я с готовностью выслушивал рассказ о любви Свана), я неосторожно дал Познанию проникнуть в меня, открывая ему роковой и все более широкий путь, которому суждено было стать источником муки. И в то же самое время эта величайшая мука вызвала во мне гордое, радостное чувство человека, которого полученный удар заставил бы сделать такой прыжок, что он сразу достиг бы точки, куда иначе не мог бы добраться ценой величайших усилий. Альбертина, подруга мадмуазель Вентейль и ее приятельницы, по-настоящему приверженная к сапфизму, — это, по сравнению с тем, что я воображал в минуты величайших сомнений, было то же самое, чем являются рядом с маленьким акустическим устройством выставки 1889 года, — которое, как едва решались надеяться, могло соединить разве что два противоположные конца одного дома, — телефонные линии, парящие над улицами, городами, полями, морями, соединяющие страны. То была страшная «terra incognita», к которой я только что причалил, новая фаза неподозреваемых страданий, открывавшаяся передо мной. И все же этот водоворот действительности, в котором мы тонем, — если он и чудовищен по сравнению с нашими робкими и жалкими предположениями, — он уже предчувствовался в них. Наверно, это было нечто вроде того, что я сейчас узнал, нечто вроде дружбы Альбертины с мадмуазель Вентейль, нечто такое, чего не мог бы изобрести мой ум, но чего я смутно опасался, когда с беспокойством глядел на Альбертину, находившуюся подле Андре. И часто лишь отсутствие творческой мысли не позволяет нам слишком далеко зайти в страдании. А самая страшная действительность вместе с страданием дает нам радость замечательного открытия, ибо она лишь придает новую и ясную форму тому, что мы, сами того не подозревая, пережевывали уже с давних пор. Поезд остановился в Парвиле, а так как мы были в нем единственными пассажирами, то кондуктор голосом, который обессиливали и сознание ненужности его задачи и та самая привычка, что заставляла его все же выполнять эту задачу и одновременно внушала ему точность и вялость, а еще более — желание спать, прокричал: «Парвиль!» Альбертина, стоявшая против меня и увидевшая теперь, что она прибыла к месту назначения, сделала несколько шагов из глубины купе и открыла дверь. Но это движение, которое она сделала для того, чтобы выйти из вагона, нестерпимой мукой терзало мне сердце, как будто, вопреки независимому от моего тела положению, которое в двух шагах от меня занимало тело Альбертины, этот пространственный промежуток, который правдивому живописцу пришлось бы отметить между нами, был только видимостью, так что тому, кто пожелал бы, в согласии с подлинной реальностью, восстановить положение вещей, следовало бы изобразить Альбертину не на расстоянии от меня, а внутри меня. Уходя, она причиняла мне такую боль, что я, бросившись за ней, в отчаянии потянул ее за руку. «Была бы у вас, — спросил я ее, — физическая возможность остаться на эту ночь в Бальбеке?» — «Физическая — да. Но я засыпаю от усталости». — «Вы оказали бы мне огромную услугу...» — «Тогда — хорошо, хотя я не понимаю, почему вы мне раньше не сказали? Словом, я останусь». Моя мать уже спала, когда, распорядившись, чтобы Альбертине отвели комнату в другом этаже, я вернулся к себе. Я сел у окна, сдерживая свои рыдания, чтобы моя мать, отделенная от меня только тонкой стеной, не услышала их. Я даже не подумал закрыть ставни и в какой-то момент, подняв глаза, увидел на небе прямо перед собой то слабое блекло-красное мерцание, что можно было видеть в ривбельском ресторане, на этюде Эльстира, изображавшем закат солнца. Я вспоминал возбуждение, которое вызвал во мне, когда я увидел его из поезда, в первый день моего пребывания в Бальбеке, — этот образ вечера, предшествующего не ночи, а новому дню. Но отныне уже никакой день не будет для меня нов, не пробудит во мне желания неведомого счастья и только будет служить продолжением моих мук до тех пор, пока я не утрачу силы их выносить. В истинности того, что сказал мне Котар в казино в Парвиле, для меня уже не было ни малейшего сомнения. То, чего я страшился, то, что я с давних пор смутно подозревал в Альбертине, инстинктивно чуял во всем ее существе и что мои рассуждения, направляемые моим желанием, мало-помалу заставили меня опровергнуть, было правдой. За Альбертиной я видел уже не голубые морские валы, а комнату в Монжувене, где она падала в объятия мадмуазель Вентейль с тем самым смехом, в котором как бы звучало наслаждение, испытываемое ею. Ибо как предположить, что мадмуазель Вентейль, при тех

наклонностями, которыми она отличалась, не просила Альбертину, такую красивую, удовлетворить их? А доказательством, что Альбертина не была этим оскорблена и согласилась, было то, что они не поссорились, и их близость все время только усиливалась. А грациозный жест Альбертины, клавшей подбородок на плечо Розамонды, с улыбкой смотревшей на нее и целовавшей ее в шею, — этот жест, который напомнил мне мадмуазель Вентейль и для истолкования которого я все же не решился допустить мысль, что черта, проведенная одинаковым жестом, должна быть неизбежным следствием одной и той же наклонности, — как знать, может быть, этот жест был Альбертиной просто усвоен от мадмуазель Вентейль? Бледное небо понемногу загоралось. Я, который до сих пор, пробуждаясь от сна, всегда встречал улыбкой всякую, даже самую скромную вещь, — чашку кофе с молоком, шум дождя, громовые раскаты ветра, — я почувствовал, что день, который встанет через какой-нибудь миг, и все те дни, которые наступят вслед за ним, будут приносить мне уже не надежду на неведомое счастье, а только продолжение моей муки. Я еще дорожил жизнью; я знал, что ничего, кроме жестокости, мне от нее уже не приходится ждать. Я побежал к лифту, чтобы, несмотря на неурочный час, вызвать звонком лифтера, исполнявшего обязанность ночного дежурного, и попросил его дойти до комнаты Альбертины, передать ей, что я должен сообщить ей нечто очень важное, если она сможет меня принять. «Мадмуазель предпочитает прийти сама, — принес он мне ответ. — Она будет здесь через минуту». И действительно Альбертина вскоре пришла, накинув капот. «Альбертина, — сказал я ей очень тихо и прося ее не возвышать голос, чтобы не разбудить мою мать, отделенную от нас лишь той самой перегородкой, тонкость которой, ставшая неудобством и заставлявшая прибегать к шопоту, отличалась в былую пору, когда, благодаря ей, так ясно выражались намерения моей бабушки, своеобразной музыкальной прозрачностью, — мне стыдно, что я потревожил вас. Вот в чем дело. Чтобы вы поняли, я должен вам сказать одну вещь, которой вы не знаете. Уезжая в Бальбек, я оставил женщину, на которой должен был жениться, которая готова была все бросить ради меня. Она должна сегодня утром уехать в путешествие, и вот уже целую неделю я каждый день спрашиваю себя, хватит ли у меня мужества не протелеграфировать ей, что я возвращаюсь. Мужества у меня хватило, но я был так несчастен, что мне казалось, что я покончу с собой. Потому я и спросил вас вчера вечером, не сможете ли вы приехать переночевать в Бальбек. Если бы мне пришлось умереть, мне приятно было бы с вами попрощаться». И я дал волю слезам, которые благодаря этому обману становились правдоподобными. «Бедненький мой, если бы я знала, я бы всю ночь провела вместе с вами! — воскликнула Альбертина, мысль которой даже не остановилась на том, что я, может быть, вступлю в брак с этой женщиной и что для нее исчезает возможность сделать «хорошую партию», настолько искренно она была взволнована моей печалью, причину которой я мог от нее скрыть, будучи, однако, не в силах утратить ни существование ее, ни ее силу. — Впрочем, — сказала она мне, — вчера всю дорогу от Ла-Распельер я чувствовала, что вы в нервном состоянии и печальны, я чего-то опасалась». На самом деле моя печаль началась только в Парвиле, а нервность, которая была весьма отлична от нее, но которую Альбертина, к счастью, смешивала с ней, имела источником досаду, что мне еще несколько дней надо провести с Альбертиной. Она прибавила: «Я вас больше не оставлю, я все время буду здесь». Она именно предлагала мне, — и только она одна могла мне дать его, — единственное лекарство против яда, сжигавшего меня, с которым оно, впрочем, было однородно, причем и жестокий яд и сладостное лекарство одинаково были связаны с Альбертиной. В этот миг, когда Альбертина — мое страдание — переставала причинять мне боль, другая Альбертина — целительница — повергала меня в умиление, словно выздоравливающего. Но я думал о том, что вскоре она из Бальбека уедет в Шербург, а оттуда — в Триест. Ее прежние привычки появятся вновь. Помешать Альбертине сестре на пароход, постараться увезти ее в Париж — вот чего я хотел прежде всего. Конечно, если б она захотела, она из Парижа, еще легче чем из Бальбека, могла бы уехать в Триест, но в Париже мы бы уж посмотрели; быть может, мне удалось бы попросить г-жу де Германт косвенным образом воздействовать на подругу мадмуазель Вентейль, чтобы она не оставалась в Триесте, чтобы она согласилась избрать какое-нибудь другое местопребывание, — может быть, у принца де..., которого я встречал у г-жи де Вильпаризи и даже у самой г-жи де Германт? А последний, если бы Альбертина, находясь у него, даже и пожелала навещать свою подругу, мог бы помешать их встречам, будучи предупрежден г-жой де Германт. Разумеется, я мог бы сказать себе, что Альбертина, если таковы ее вкусы, найдет в Париже множество других женщин, с которыми ей удастся их удовлетворить. Но всякий порыв ревности есть нечто особое и носит печать того существа — в данном случае подруги мадмуазель Вентейль, — которое породило его. Подруга мадмуазель Вентейль оставалась для меня главным предметом забот. Таинственное пристрастие, с которым я прежде думал об Австрии, потому что это была страна, откуда привезли Альбертину (ее дядя был там советником посольства), потому что ее географические особенности, характер ее обитателей, ее архитектурные памятники, ее пейзажи я мог созерцать, — словно в атласе, словно в альбоме видов, — в улыбке, в манерах Альбертины, — это таинственное пристрастие я все еще продолжал чувствовать, но в силу некоей перестановки элементов — теперь уже в сфере ужасного. Да, Альбертину привезли оттуда. Это там она в каждом доме с уверенностью могла встретить или подругу мадмуазель Вентейль или подобных ей женщин. Привычки детства могут возвратиться, подруги через три месяца соберутся вместе на Рождество, потом — первого января, — даты, возбуждавшие во мне грусть сами по себе, в силу неосознанного воспоминания о печали, которую я в эти дни чувствовал в былую пору, когда они на все время новогодних каникул разлучали меня с Жильбертой. После долгих обедов, поздних ужинов, когда все будут веселы и возбуждены, Альбертина со своими тамошними приятельницами примет те самые позы, в которых я видел ее с Андре, хотя дружба их была невинна, — кто знает, быть может, те позы, которые потом заставили мадмуазель Вентейль броситься в мою сторону, когда в Монжувене за ней гналась ее подруга? Мадмуазель Вентейль, которую щекотала ее приятельница, прежде чем накинуться на нее, представлялась мне теперь с воспаленным лицом Альбертины, — той Альбертины, которая бросилась бежать, а потом — решив сдаться, рассмеялась, — я это слышал, — странным приглушенным смехом. По сравнению с этой мукой, испытываемой мной, что была та ревность, которую я мог почувствовать в тот день, когда Сен-Лу встретился с Альбертиной и со мной в Доньере и когда она стала заигрывать с ним, или ревность, которую я чувствовал, вспоминая о незнакомце, кому я был обязан первыми поцелуями, полученными от нее в Париже, в день, когда я ждал письма от мадмуазель де Стермарья. Та, иная ревность, вызванная Сен-Лу или каким-нибудь другим молодым человеком, была ничто. В этом случае я самое большее мог бы опасаться соперника, над которым мог бы попытаться одержать верх. Но здесь соперник не был подобен мне, его оружие было иное, я не мог вступить с ним в борьбу, дать Альбертине те же наслаждения, и даже не мог в точности представить их себе. Во многих обстоятельствах нашей жизни мы бываем готовы променять нашу будущность на нечто само по себе вовсе незначительное. В былую пору я отказался бы от всех даров жизни, лишь бы познакомиться с г-жой Блатен, потому что она была приятельница г-жи Сван. Теперь же, чтобы Альбертина не уехала в Триест, я перенес бы всевозможные страдания, а если бы этого было мало, сам причинил бы их ей, я бы спрятал ее, заточил ее, я отнял бы у нее те небольшие деньги, которые были у нее, чтобы бедность помешала ей отправиться в путешествие. Подобно тому, как прежде, когда мне хотелось поехать в Бальбек, в путь меня толкало желание увидеть персидскую церковь, бурю на рассвете, так теперь, когда мое сердце раздиралось при мысли, что Альбертина поедет в Триест, меня мучило сознание, что рождественскую ночь она проведет там с подругой мадмуазель Вентейль: ведь воображение, даже когда оно меняет свой характер и превращается в чувство, не увеличивает от этого числа образов, которыми оно одновременно располагает. Если бы мне сказали, что ее сейчас нет в Шербурге или в Триесте, что она не сможет увидеть Альбертину, — как бы я заплакал слезами радости и облегчения! Как изменились бы моя жизнь и ее будущее! И ведь все же я знал, что так приурочивать

мою ревность было произвольно, что Альбертина, если таковы ее вкусы, может у других женщин найти им удовлетворение. Впрочем, может быть, даже те же самые девушки, если бы она видалась с ними в другом месте, не так терзали бы мое воображение. Именно из Триеста, из этого неведомого мира, в котором, как я чувствовал, Альбертине нравилось жить, с которым были связаны воспоминания ее детства, дружбы и любовные увлечения детских лет, доносились ко мне эти ненавистные, непостижимые испарения, подобные тем, которые когда-то в Комбре подымались в мою комнату из столовой, откуда ко мне, среди звона вилок, доносился голос мамы, разговаривавшей и смеявшейся с посторонними людьми, — мамы, которая не пришла бы проститься со мной на ночь; подобные тем, что наполняли для Свана дома, куда Одетта ездила вечерами искать непостижимых наслаждений. О Триесте я уже думал не как о прелестном крае, где обитатели задумчивы, закаты золотисты, колокольный звон печален, а как о проклятом городе, который я немедленно желал бы предать огню и устранить из мира действительности. Этот город вонзился в мое сердце, как неистребимое острие. Дать ей уехать в Шербург и Триест и даже остаться в Бальбеке — казалось мне ужасным. Ибо теперь, когда разоблаченная мной близость между моей приятельницей и мадмуазель Вентейль становилась для меня почти несомненной, мне казалось, что все то время, которое Альбертина проводит не со мной (а бывали целые дни, когда я не мог ее видеть из-за ее тетки), она предоставляет себя кузинам Блока, быть может — еще каким-нибудь другим особам. От мысли, что сегодня вечером она сможет увидеть кузин Блока, я сходил с ума. Вот почему, когда она мне сказала, что несколько дней не будет расставаться со мной, я ей ответил: «Но дело в том, что я хотел бы уехать в Париж. Не поедете ли вы со мной? И не хотели бы вы некоторое время пожить у нас в Париже?» Надо было во что бы то ни стало помешать ей оставаться одной, по крайней мере в течение нескольких дней, держать ее при себе — ради уверенности, что она не сможет увидеться с подругой мадмуазель Вентейль. В действительности это значило бы для нее жить у меня, ибо моя мать, пользуясь поездкой по служебным делам, в которую должен был отправиться мой отец, решила исполнить, как некий долг, волю бабушки, желавшей, чтобы она иногда проводила несколько дней в Комбре у одной из ее сестер. Мама не любила свою тетку, потому что для бабушки, столь нежно относившейся к ней, она не была той сестрой, какой должна была бы быть. Так, став взрослыми, дети со злобой вспоминают тех, кто дурно обращался с ними. Но мама, заняв для меня место бабушки, была неспособна к злопамятству; жизнь ее матери — это было для нее как бы чистое и невинное детство, источник воспоминаний, прелесть или горечь которых определяла ее поступки. Моя тетка могла бы сообщить маме кое-какие неоченимые подробности, но теперь их трудно было бы узнать, так как тетка была тяжело больна (говорили, что раком), и она упрекала себя, что не поехала к ней раньше, не желая оставлять отца одного, наводила в этом лишний повод сделать то, что сделала бы ее мать, и, так же как она, собиралась в день рождения бабушкина отца, который был таким дурным отцом, снести на его могилу цветы, которыми бабушка привыкла ее украшать. Так самую близость могилы, которая вот-вот должна была раскрыться, мать моя желала скрасить нежными беседами, которыми тетка не захотела порадовать бабушку. Во время своего пребывания в Комбре моя мать собиралась осуществить кое-какие работы, исполнения которых бабушка хотела, однако лишь при том условии, что они будут производиться под наблюдением ее дочери. Вот почему они еще и не были начаты. Мама не хотела уехать из Парижа раньше отца, чтобы не дать ему слишком сильно ощутить бремя траура, который он готов был разделить, но который не мог печалить его так, как ее. «О! Сейчас это было бы невозможно, — ответила мне Альбертина. — Впрочем, зачем вам так скоро возвращаться в Париж, если эта дама уехала?» — «Потому что я буду спокойнее там, где я знал ее, чем в Бальбеке, которого она не видела и к которому я теперь чувствую отвращение». Поняла ли впоследствии Альбертина, что эта другая женщина не существует и что если в эту ночь я действительно желал смерти, то потому лишь, что она легкомысленно призналась мне в своей близости с подругой мадмуазель Вентейль? Возможно. Бывают моменты, когда мне это кажется вероятным. Во всяком случае тогда утром она поверила в существование этой женщины. «Но вы, мой мальчик, должны были бы жениться на этой даме, — сказала она мне, — вы были бы счастливы, и она, наверно, тоже была бы счастлива». Я ответил ей, что мысль о возможности дать счастье этой женщине, действительно, чуть было не заставила меня решиться; недавно, когда я получил большое наследство, которое позволило бы мне наполнить жизнь моей жены роскошью и удовольствиями, я готов был принять жертву, приносимую мне той, кого я любил. Опьяненный благодарностью, которую внушала мне ласковость Альбертины, на грани той жестокой муки, которую она мне причинила, я, подобно тому, как мы рады были бы обещать целое состояние лакею в кафе, наливающему нам шестую рюмку водки, сказал ей, что моя жена имела бы автомобиль, яхту, что с этой точки зрения, поскольку Альбертина так любила кататься на автомобиле и на яхте, жаль, что она — не та, кого я люблю, что для нее я был бы идеальным мужем, но что мы посмотрим, что, может быть, еще удастся увидеться к взаимному удовольствию. Подобно тому, как в состоянии опьянения мы все же остерегаемся окликать прохожих, боясь побоев, я, несмотря ни на что, не совершил той неосторожности (если это была неосторожность), какую я совершил бы во времена Жильберты, и не сказал ей, что люблю ее, Альбертину. «Видите, я чуть было не женился на ней. Но все же я не решился это сделать, мне бы не хотелось заставить молодую женщину проводить жизнь с таким больным и таким скучным человеком». — «Да вы с ума сошли, все хотели бы проводить с вами свою жизнь, посмотрите, как за вами бегают. У Вердюренов только о вас и говорят, и в самом высшем свете — тоже, мне рассказывали. Так, значит, она была с вами недостаточно мила, эта дама, раз она вам внушила эти сомнения. Я вижу, что это такое, она нехорошая, я ее терпеть не могу, — ах! — если б я была на ее месте!» — «Да нет, она очень милая, слишком милая. Что касается Вердюренов и прочего, то мне совершенно все равно. Если не считать той, кого я люблю и от которой я, впрочем, отказался, я дорожу только моей маленькой Альбертиной, только она, если она меня часто будет навещать, — по крайней мере первые дни, — прибавил я, чтобы ее не испугать и иметь возможность о многом просить ее в эти дни, — сможет немного меня утешить». Я ограничился лишь неопределенным намеком на возможность брака, хотя и сказал, что это неосуществимо, так как наши характеры друг к другу не подходят. Независимо от своей воли я, в моей ревности вечно преследуемый воспоминанием о связи между Сен-Лу и «Рахилью, когда Господь», о связи между Сваном и Одеттой, был слишком склонен думать, что если я сам люблю, то не могу быть любим, и что только выгода может привязывать ко мне женщину. Конечно, безумием было судить об Альбертине по примеру Одетты и Рахили. Но дело было не в них, дело было во мне; дело было в чувствах, которые я мог внушить и которые моя ревность заставляла меня слишком недооценивать. И множество несчастий, которым предстояло обрушиться на нас, возникли, наверно, из этого суждения, быть может ошибочного. «Значит, вы отказываетесь от моего приглашения — ехать в Париж?» — «Моя тетка не захотела бы, чтобы я уехала сейчас. Впрочем, если потом я и смогу, разве не будет казаться странным, что я вот так остановлюсь у вас? Ведь в Париже будут знать, что я вам не кузина». — «Ну, так мы скажем, что у нас нечто вроде помолвки. Какая от этого беда, раз вы знаете, что это неправда». Шея Альбертины, которую ее рубашка оставляла целиком открытой, была мускулистая, с золотистым загаром, покрытая крупными веснушками. Я поцеловал ее с таким же чистым чувством, как если бы целовал мою мать, стараясь успокоить детское горе, вырвать которое из моего сердца мне в те времена казалось невозможным. Альбертина рассталась со мной, чтобы пойти одеться. Впрочем, ее самоотверженность уже ослабевала; ведь только что она мне говорила, что ни на миг не расстанется со мной. (И я чувствовал, что ее решимости хватит не надолго, раз опасался, что, если мы останемся в Бальбеке, она нынче же вечером без меня встретится с кузинами Блока.) А вот теперь она пришла мне сказать, что хочет проехать в Менвиль и что она вернется проведать меня во второй половине дня. Вчера вечером она не вернулась домой, для нее там могут быть письма, к тому же тетка, может быть, беспокоится. Я ответил: «Если дело только в этом,

можно послать лифтера сказать вашей тетке, что вы здесь, и велеть ему взять письма». И, желая показать мне, какая она хорошая, но недовольная тем, что ей нужно покоряться, она нахмурила лоб, но тотчас же очень милым тоном сказала: «Это можно» — и послала лифтера. Альбертина ни на минуту не уходила от меня, как вдруг в дверь тихонько постучал лифтер. Для меня было неожиданностью, что за то время, пока я разговаривал с Альбертиной, он успел съездить в Менвиль и вернуться. Он пришел мне сказать, что Альбертина послала своей тетке записку и что она может, если я хочу, сегодня же ехать в Париж. Впрочем, давая ему это поручение в устной форме, она поступила опрометчиво, ибо уже, несмотря на ранний час, директор был в курсе дела и в замешательстве явился ко мне спросить, не остался ли я чем-нибудь недоволен, в самом ли деле я уезжаю, не могу ли я подождать хоть несколько дней, так как ветер сегодня довольно «опасливый» (опасный) для здоровья. Я не желал объяснять ему, что во что бы то ни стало хочу, чтобы в тот час, когда кузины Блока совершают свою прогулку, Альбертины уже не было в Бальбеке, поскольку Андре, единственной, которая могла бы защитить ее от них, здесь не было теперь, и что Бальбек как бы стал для меня одним из тех мест, где больной, который там задыхается, не в силах остаться еще на одну ночь, решая уехать, хотя бы ему пришлось умереть в дороге. Впрочем, мне еще предстояло давать отпор такого рода просьбам — сперва в отеле, где Мари Жинест и Селеста Альбаре пришли ко мне с красными глазами. (Мари к тому же не сдерживала рыданий, звучавших как стремительный ропот потока. Селеста, более мягкая, советовала ей успокоиться; но когда Мари пролепетала единственные знакомые ей стихи: «В этом мире сирень отцветает», Селеста тоже не могла удержаться, и целая пелена слез покрыла ее лицо цвета сирени; думаю, впрочем, что забыли они обо мне в тот же вечер.) Потом — в маленьком поезде местного сообщения, несмотря на все меры предосторожности, принятые мной, чтобы не быть замеченным, я повстречался с г-ном де Камбремером, который, при виде моих чемоданов, побледнел, ибо он послезавтра рассчитывал на меня; он вывел меня из себя, желая меня убедить, что мои приступы удушья вызваны переменной погоды и что октябрь прекрасно подействует на них, и спросил, не смогу ли я во всяком случае «хоть отложить мой отъезд через неделю», — словосочетание, нелепость которого не привела меня в ярость, может быть, только потому, что мне было больно от его слов. А пока он разговаривал со мной в вагоне, я на каждой станции опасался, что вот появится, внушая мне больший ужас, чем Герибальд или Гискар, г-н де Креси, умоляющий, чтобы я его пригласил, или — еще более страшная г-жа Вердюрен, желающая пригласить меня. Но это должно было случиться лишь спустя несколько часов. До этого еще не дошло. Пока что мне приходилось иметь дело лишь с отчаянными сетованиями директора. Я выпроводил его, опасаясь, как бы он, несмотря на свой шопот, не разбудил маму. Я остался один в комнате, той самой комнате с чересчур высоким потолком, где я чувствовал себя таким несчастным в первый мой приезд, где я с такой нежностью думал о мадмуазель де Стермария, выжидал появления Альбертины и ее приятельниц, которые, точно перелетные птицы, прерывали на пляже свой путь, где я с таким равнодушием овладел Альбертиной в тот раз, когда посылал за ней лифтера, где мне открылась доброта моей бабушки и где потом я узнал, что она умерла; эти ставни, внизу которых ложились полосы утреннего света, — я открыл их в первый раз для того, чтобы увидеть первые отроги моря (ставни, которые Альбертина заставляла меня закрывать, чтобы нельзя было увидеть, как мы целуемся). Я осознавал перемены, происшедшие со мной, сопоставляя их с неизменностью вещей. Мы все же привыкаем к ним словно к людям, и когда нам внезапно вспоминается иное значение, которое они имели, когда потом они утрачивают всякое значение, события, происходившие среди них, весьма отличные от событий нынешних, все многообразие происшествий, разыгрывавшихся под тем же потолком, среди тех же застекленных шкафов, перемены, совершавшиеся в сердце и в жизни и предполагаемые этим многообразием, — как будто еще подчеркиваются благодаря неподвижной неизменности декорации, находят подкрепление в единстве места.

Два или три раза в какую-нибудь минуту мне в голову приходила мысль, что мир, где находятся эта комната и эти застекленные шкафы и где Альбертина так мало значит, есть, может быть, мир духовный, являющийся единственной реальностью, а моя печаль — что-то вроде той печали, которую нам навеивает чтение романа и которую только сумасшедший может превратить в горе длительное и неизменное и остающееся в его жизни; что, быть может, достаточно маленького усилия моей воли, — и я возвращусь в этот реальный мир, достигну его, переступив через мою боль, подобно тому, как мы разрываем бумажный обруч, и о том, что сделала Альбертина, стану беспокоиться не больше, чем мы беспокоимся о поступках воображаемой героини романа, когда кончили его читать. Впрочем, те мои любовницы, которыми я больше всего дорожил, никогда не отождествлялись с моей любовью к ним. Это была настоящая любовь, потому что я всё подчинял желанию их видеть, быть с ними совершенно наедине, потому что я рыдал, если вечером мне случалось слышать их голос. Но они скорее обладали свойством пробуждать эту любовь, доводить ее до крайнего предела, чем являлись ее воплощением. Когда я видел их, когда я их слышал, я не находил в них ничего, напоминающего мою любовь, которой они не могли послужить объяснением. И все же для меня единственной радостью было видеть их, единственной тревогой — ждать их. Можно было бы решить, что природа наделила их каким-то особым побочным свойством, не имеющим с ними ничего общего, и что это свойство, эта сила, подобная электричеству, была способна возбуждать мою любовь, то есть направлять все мои поступки и быть причиной всех моих страданий. Но красота, или ум, или доброта этих женщин были совершенно отграничены от этого свойства. Мои любовные влечения, словно электрический ток, от которого мы вздрагиваем, сотрясали меня, я их переживал, я их чувствовал; никогда не удавалось мне их увидеть или продумать их. Я даже склонен считать, что, отдаваясь этим влечениям (я оставляю в стороне физическое удовольствие, обычно сопровождающее их, но недостаточное для того, чтобы они возникли), мы не к женщине, а к этим невидимым силам, сопутствующим ей, обращаемся словно к неведомым божествам. Нам нужна их благосклонность, мы ищем соприкосновения с ними, не обретая в нем подлинного наслаждения. В течение свидания женщина знакомит нас с этими богинями — и только. Мы, как бы готовя дары, обещали им драгоценности, путешествия, произносили формулы, означающие, что мы их обожаем, и формулы, означающие, напротив, что мы равнодушны. Мы пускали в ход все наши возможности, чтобы добиться нового свидания, но так, чтобы просьба о нем не вызвала досады. Но разве, — не будь этих таинственных сил, — мы бы ради самой женщины стали так стараться, если после ее ухода мы даже не можем сказать, как она была одета, и отдаем себе отчет, что мы даже не глядели на нее?

Поскольку зрение — чувство обманчивое, то человеческое тело, даже любимое, как тело Альбертины, от нас как будто отдалено, хотя бы нас разделяло всего несколько метров, несколько сантиметров. И с душой, присущей ему, — то же самое. Только когда что-нибудь заставляет резко переместиться эту душу по отношению к нам, показывая нам, что она любит других существ, а не нас, тогда по биению нашего расстроенного сердца мы чувствуем, что любимое существо — не в нескольких шагах от нас, а в нас самих. В нас самих, в сферах более или менее внешних. Но слова: «Эта подруга — мадмуазель Вентейль» — явились тем Сезамом, который я сам неспособен был бы найти и который дал Альбертине проникнуть в глубь моего растерзанного сердца. И я мог бы сто лет стараться открыть дверь, захлопнувшуюся за ней, и не знать, как это сделать.

Некоторое время я не слышал этих слов, — пока Альбертина была со мной. Целуя ее, как я в Комбре целовал мою мать, чтобы успокоить свою тревогу, я почти что верил в невинность Альбертины, или, по крайней мере, не думал без конца об открытии, касавшемся ее порока. Но теперь, когда я был один, слова эти снова звучали, как те шумы, что возникают внутри уха, когда с нами перестают

разговаривать. Теперь в ее пороке для меня уже не было сомнений. Свет встающего солнца, изменяя вещи вокруг меня, заставил меня по-новому, словно я переместился по отношению к ним, и еще более мучительно осознать мое страдание. Я никогда не видел утра ни столь прекрасного, ни столь мучительного. Подумав обо всех тех безразличных пейзажах, которые сейчас озарятся и которые накануне наполнили бы меня только желанием посмотреть на них, я не смог удержаться от рыданий, как вдруг, словно совершая некое машинальное даропринижение, символизировавшее, как мне показалось, ту кровавую жертву, которую мне предстояло приносить каждое утро, отрешаясь от всякой радости, до самой моей смерти, то обновление повседневной тоски и моей кровоточащей раны, которое мне суждено торжественно праздновать на каждом рассвете, — золотое солнечное яйцо, как бы подталкиваемое в силу нарушенного равновесия, которое в момент коагуляции могло бы быть вызвано изменением плотности, окруженное огненными зубцами, точно на картине, одним прыжком прорвало занавес, за которым, как это уже чувствовалось несколько мгновений, оно скрывалось, трепещущее и готовое выступить на сцену и устремиться ввысь, и пурпур которого, таинственно сгустившийся, оно растворило в волнах света. Я сам услышал, что плачу. Но в эту минуту, совершенно неожиданно, дверь отворилась, и мне, чувствовавшему, как бьется мое сердце, показалось, что передо мной стоит бабушка, как в одном из тех видений, которые уже бывали у меня, но только во сне. Не было ли это все только сном? Увы, я бодрствовал. «Ты находишь, что я похожа на твою покойную бабушку», — сказала мне мама, ибо это была она, мягким тоном стараясь смягчить мой испуг, впрочем подтверждая это сходство прекрасной улыбкой скромной гордости, никогда не знавшей кокетства. Ее растрепавшиеся волосы, седые пряди которых она не прятала, так что они, извиваясь, обрамляли ее беспокойные глаза, ее постаревшие щеки, бабушкин капот, который она теперь носила, — все это на один миг помешало мне узнать ее и заставило усомниться, не сплю ли я и не воскресла ли бабушка. Моя мать уже давно гораздо более напоминала бабушку, чем ту молодую и веселую маму, которую я знал в детстве. Но об этом я уже не думал. Вот так, если мы долгое время заняты чтением, то в рассеянности не замечаем, что время идет, и вдруг видим, что солнце, так же светившее вчера в этот самый час, создает вокруг себя те же самые гармонии, те же самые сочетания, которые готовят закат. На мою ошибку мама указала мне, улыбаясь, потому что ей приятно было такое сходство со своей матерью. «Я пришла, — сказала мне моя мать, — потому что во сне мне показалось, что кто-то плачет. От этого я проснулась. Но каким образом ты еще не лег? И глаза у тебя полны слез. Что с тобой?» Я обхватил ее голову моими руками: «Мама, вот что, я боюсь, что ты сочтешь меня очень непостоянным. Но, во-первых, я вчера не очень хорошо отозвался при тебе об Альбертине; то, что я тебе сказал, было несправедливо». — «Но какая в этом может быть беда?» — сказала мне моя мать и, заметив восходящее солнце, она печально улыбнулась при мысли о своей матери, а для того, чтобы я не упустил зрелища, которое, к сожалению моей бабушки, мне никогда не приходилось видеть, она указала мне на окно. Но за бальбекским пляжем, за морем, за восходом солнца, на который мне показывала мама, я видел, не скрывая своего отчаяния, которое от нее не ускользнуло, комнату в Монжувене, где Альбертина, розовая, с задорным носиком, свернувшаяся клубочком, словно большая кошка, занимала место подружки мадмуазель Вентейль и говорила с раскатистым сладострастным своим смехом: «Ну что ты! Если нас увидят, будет еще лучше. Я! — я-то не осмелюсь плюнуть на эту старую обезьяну?» Эту сцену я и видел сквозь ту, которая развевалась в окне и была лишь мрачным покрывалом, лежавшим на ней словно отблеск. Действительно, она сама казалась почти нереальной, как нарисованная панорама. Прямо перед нами, там, где в море выступали утесы Парвиля, маленький лесок, где мы играли в хорька, отлого спускался к воде, открывая, в соседстве с ее золотисто-свежим гляncем, картину своей листвы, как это часто бывало в тот вечерний час, когда мы с Альбертиной, отправившись туда посидеть, снимались с места при виде заходящего солнца. Среди беспорядочных розовых и голубых ключев ночного тумана, которые еще клубились над водой, усеянной перламутровыми осколками зари, появлялись лодки, которые улыбались косым лучам, окрасивавшим в желтый цвет парус и кончик бушприта, словно при их вечернем возвращении к берегу, — сцена воображаемая, леденяще-холодная и безлюдная, вызванная исключительно воспоминанием о закате, не предполагающая, как картины вечера, последовательной цепи дневных часов, предшествовавших им в моем представлении, оторванная, случайная, еще более зыбкая, чем страшный монжувенский образ, который она не в силах была истребить, закрыть, спрятать, — поэтический и тщетный символ памяти и сна. «Да полно, — сказала мне моя мать, — ты мне ничего дурного не говорил про нее, ты мне говорил, что она тебе немного надоела, что ты рад своему решению — отказаться от мысли о женитьбе на ней. Это не причина, чтобы так плакать. Подумай, что твоя мама сегодня уезжает и будет в отчаянии, если в таком состоянии оставит своего волчонка. Тем более, мой мальчик, что у меня совсем нет времени тебя утешать. Хоть мои вещи и уложены, все-таки в день отъезда никогда не хватает времени». — «Это все не то». И вот, измерив будущее, взвесив мою волю, поняв, что такая нежность Альбертины к подружке мадмуазель Вентейль, длившаяся уже с таких давних пор, не могла быть невинной, что Альбертина была посвящена во все это и, поскольку на это указывала вся ее манера держаться, родилась с предрасположением к пороку, который мои тревоги столько уже раз позволяли мне предчувствовать, которому она, должно быть, никогда не переставала предаваться (которому, быть может, она предавалась в эту минуту, пользуясь моментом, когда меня не было с ней), я сказал моей матери, зная, какое я ей доставил огорчение, хотя она и скрыла его от меня, а говорило о нем только серьезное, озабоченное выражение, которое появлялось у нее, когда она сравнивала опасность огорчить меня и опасность нанести мне вред, — выражение, которое впервые появилось у нее в Комбре, когда она согласилась провести ночь у моей постели, выражение, которым она в эту минуту необыкновенно напоминала бабушку, позволившую мне выпить коньяку, — я сказал моей матери: «Я знаю, как я тебя огорчу. Во-первых, вместо того чтобы оставаться здесь, как ты хотела, я еду в одно время с тобой. Но это еще ничего. Я здесь плохо чувствую себя, я предпочитаю вернуться. Но ты меня выслушай и не очень огорчайся. Вот что. Вчера я ошибся, я невольно ввел и тебя в заблуждение, я думал всю ночь. Я непременно должен — и решил это сразу же, потому что теперь я вполне отдаю себе отчет, потому что я уже больше не изменюсь и потому что без этого я не смогу жить, — я непременно должен жениться на Альбертине».

1 По-французски: «Charles attend», что звучит так же, как «charlatan» — «шарлатан». Прим. перев.

2 Сенной лихорадкой и цветочной лихорадкой.

3 Перевод стихов Инн. Оксенова.

4 Перевод стихов Инн. Оксенова.

5 Игра слов в оригинале: «Chantepie» — название, составленное из слов «chante» (поет) и «pie» (сорока). Прим. перев.

6 Couleuvre — уж.

7 Sylva (или silva, латинское слово) — лес.

8 Evier — кухонный стол.

9 Diminuendo (муз. термин) — снижение, ослабление. Прим. перев.

10 Verjus — незрелый виноград.